

И.А.БУНИН

3



*Ив. Бунин*



И·А  
БУНИН



И·А·БУНИН

3

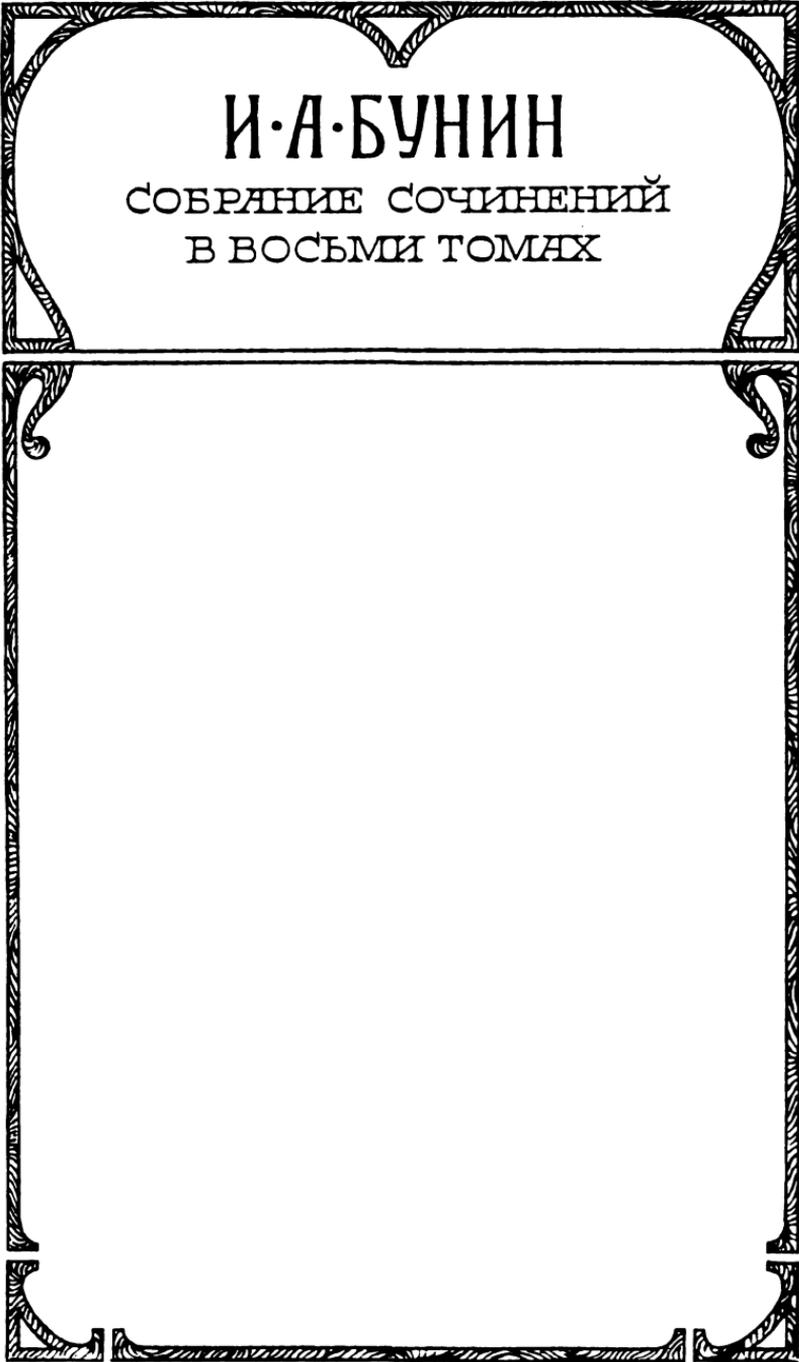
ЮБИЛЕЙНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

---

*К 125-летию  
со дня рождения  
Ивана Алексеевича Бунина*



И. А. Бунин. 1911.



И·А·БУНИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ВОСЬМИ ТОМАХ



И·А·БУНИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ВОСЬМИ ТОМАХ





ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
1909 - 1914



ББК 84Р1  
Б 91

Вступительные статьи  
*Ф. А. Степуна и Мих. Цетлина*

Составление, подготовка текста и  
комментарии *А. К. Бабореко*

Художник  
*Г. В. Котлярова*

Издательство благодарит И. А. Костомарову за предоставленные фотографии из Музея И. А. Бунина в Орле, художника Б. А. Мессерера — за фото из его личного архива с изображением Бунина и Алданова, с автографом Бунина, художника А. А. Данилина — за фотографии с видами старой Москвы, Антона П. Ковача (Одесса) — за снимок гостиницы «Лондонская».

**Бунин И. А.**  
**Б 91**      **Собрание сочинений в 8 томах: Рассказы. Повести, 1909—1914. Том третий/ Предисловия Ф. А. Степуна и Мих. Цетлина. Составление, подготовка текста, комментарии А. К. Бабореко.— М.: Моск. рабочий, 1994.— 560 с.**

**Б**    4702010100 — 21    Подписное  
          М172(03) — 94

**ББК 84Р1**

ISBN 5-239-01669-0 (т. 3)    © *А. К. Бабореко*. Составление, подготовка  
ISBN 5-239-01655-0        текста, комментарии, подбор иллюстраций, 1994



## ИВАН БУНИН

Допустим, что Нобелевская премия присуждена была Бунину самой историей, и, допустив это, спросим себя: чем оправдан выбор Бунина, что хотела история сказать нам этим решением.

Говорю сразу: дело не в том, что Бунин самый большой талант среди русских писателей. Какого-либо аппарата для измерения степени талантливости еще не изобретено и, конечно, никогда изобретено не будет. У всех нас есть в душе некая, унаследованная и личным опытом проверенная, скала\* оценок; мы чувствуем первоклассное, второсортное, третьестепенное, но законом объективного размещения людей и талантов по этим рубрикам не владем. Конечно, Бунин принадлежит к немногим, безусловно и безоговорочно первоклассным, художникам, живущим и творящим среди нас. Но все же он не единственный. Почему же жребий пал (говорю в плане объективного духа) на него, а не на кого-либо другого? В чем провиденциальность этого избрания?

Если бы мне сказали, что среди современных русских писателей есть люди, превосходящие в том или ином направлении Бунина, я бы не стал спорить. Я согласился бы, что есть умы более широкого охвата, есть искусники упорнее Бунина, ищущие новых и своеобразных путей художественного творчества, есть поэты большей пророческой силы и есть, наконец, кисти более яркие и размашистые. Не согласился бы я лишь с одним — с тем, что у нас есть таланты, равные Бунину по своей внутренней п о д л и н н о с т и и по совершенству своих проявлений. В этом смысле Бунин мне действительно представляется почти единственным и в этой своей единственности всем нам, в особенности же поднимающемуся в Европе русскому писательскому молодянку, особенно нужным и ценным мастером.

В современной, в особенности в современной европейской, культуре всего много: мыслей, теорий, чувств, страстей, опыта, планов, знаний, умений и т. д. и т. д. Но всем этим своим непомерным богат-

---

\* От *итал. scala* — градация. (*Ред.*)

ством современный человек в современной культуре все же не устроен. Скорее наоборот — всем этим он расстроен, замучен, сбит с толку и подведен к пропасти. Исход из лжи и муки этого, разлагающего жизнь богатства, в котором мысль не отличима от выдумок, воля от желаний, искусство от развлечений, рок от случайностей и нужное от ненужностей, возможен только в обретении дара различения духов, т. е. в возврате к той подлинности и той первичности мыслей и чувств, которыми держится и которым служит искусство Бунина.

На обращаемые ко мне вопросы иностранцев: в чем особая заслуга Бунина перед мировым искусством, оправданно ли то внимание, которое ему сейчас уделяют, подлинно ли он талантлив и оригинален, я упорно отвечаю, что талант и оригинальность его, конечно, весьма значительны, но что не это самое главное в нем, а та подлинность, или, еще лучше, *первозданность его таланта*, которой в мире становится все меньше, хотя сознание, что без нее ни жить, ни творить дальше нельзя, всюду растет. Вот тот смысл, в котором выделение Бунина мне представляется не случайным, а симптоматически существенным.

\* \* \*

Всем нам кажется, что мы хорошо знаем, что такое подлинность, и что мы подлинное всегда отличим от неподлинного. Такое представление, конечно, — величайший самообман. Если бы мы опытно знали и логически осознали грань, отделяющую подлинное от неподлинного, мы бы не ошибались постоянно так страшно и в себе, и в других, как мы ошибаемся. Раскрыть сущность подлинности — значит раскрыть тайну бунинского творчества. Сделать это не так легко, как это на первый взгляд кажется. На вопрос о сущности подлинности большинство людей ответит, что подлинность — это верность себе. Такой ответ правилен, но недостаточен.

Без верности себе подлинность, конечно, немислима, но немислима она и без отказа от своего «я» в случае его столкновения с истиной. Тайна подлинности очень близка тайне личности, т. е. тайне органического единства между человеческой особью и абсолютной истиной. Подлинен тот человек, и прежде всего только тот художник, для которого истина — не отвлеченно стоящая над ним идея, а кровь и плоть его духовно-душевно-телесного существа. В неподлинность и произвол потому легко соскальзывают люди, утверждающие свое «я» вне связи с истиной, или люди, утверждающие его на чужой истине. Для проблемы духовной жизни, и прежде всего для проблемы художественного творчества, второй случай важнее первого. Типичный для современной Европы, а отчасти (пусть в меньшей степени) и для России, как советской, так и эмигрантской, процесс вытеснения первичного искусства умелым писательством связан прежде всего с той

легкостью, с которой современный образованный человек сливает свое творческое «я» с любой, а потому и чужой истиной, с чужой идеологией, с чужим социальным заказом. Все, что мы ощущаем и называем литературной модой, веянием, направлением, тенденцией, манерой, — все это в большинстве случаев творчество на чужой счет, раздувание своего «я» мехами чужих, не личным опытом добытых, не своею жизнью взращенных и оплаченных истин. Все это, говоря банковским языком, сплошная инфляция, т. е. нечто прямо противоположное подлинности.

Неподлинность, инфляционность творчества может быть элементарно грубой, исходящей из социального заказа власть имущих (таков сказ и репортаж в Советской России, таково многое из того, что появляется сейчас в Германии\*), но она может быть и гораздо более утонченной. Она может исходить из бессознательного желания придать своему творчеству, путями его полунасильственного сближения с духом времени, вес и значительность, остроту и занимательность.

На этих путях при наличии большого таланта, ума, вкуса и образованности возможны очень большие и ценные достижения, но невозможно не только большое, но даже и самое малое подлинное искусство.

\* \* \*

Установить справедливое отношение к России кануна революции людям моего поколения нелегко. С уверенностью можно сказать лишь то, что время между революцией 1905 года и войной 1914 года войдет в историю, с одной стороны, порой подлинного расцвета и углубления русской культуры, а с другой — порой явно нездорового, исполненного ядовитых соблазнов, утончения русской интеллигентской духовности. Молодому писателю было в ту пору нелегко внутренне справиться с богатством наступавших на него идей; еще труднее — отстоять себя от внешнего подчинения им. Слева наступала на него политика: Маркс, пролетарий, община, Пресня, Дума; справа эстетика: Ницше, Соловьев, соборность, Бодлер, Маларме, Ибсен, «оркестра»... Этого столпотворения идей и теорий, проповедей и провозглашений не выдерживал почти никто.

Годы, в которые креп и развивался талант Бунина, были поэтому годами более или менее опасных срывов почти у всех значительных русских писателей. Это были годы, когда Леонид Андреев, инстинктом наталкивавшийся на «проклятые вопросы», которые ему не удалось увидеть при свете разума, безоглядно губил ложными надуманностями свой настоящий талант; годы, когда Максим Горький

---

\* Написано во время нацистской диктатуры в Германии.

марксистской схемой и нищиеанским афоризмом подстругивал волжского босняка под европейского пролетария; когда Арцыбашев, как бы в предчувствии увлечения «физкультурой», превозносил блуд и Аполлона, а Михаил Кузмин писал свои, стилистически замечательно сделанные, повести, светложурчащие, как струи Версальских фонтанов, и все же отравленные тонкими ядами какой-то камерной хлыстовщины; когда такой подлинный и такой высокодаровитый поэт, как Сологуб, после замечательного «Мелкого беса» писал ненужные «Навыи чарь»; когда Андрей Белый чертил мистическую геометрию своей «Эмблематики смысла»; а умнейший и ученейший Вячеслав Иванов, творец не только глубокомысленной, но и верной теории религиозного символизма, проповедовал, идя на поводу у Георгия Чулкова, сумбурную теорию мистического анархизма. И даже единственный Александр Блок, в непонятной aberrации внутреннего зрения, сливал образ «Прекрасной Дамы» с образом «Незнакомки».

Не мне, еще школьником читавшему Мережковского, участнику «Мусагета», сотруднику «Трудов и дней», члену религиозно-философского общества и редактору «Логоса», близко знавшему большинство символистов и никогда не бывавшему на «реалистических» «Средах», отмежевываться от «мистиков» и «декадентов» начала столетия. Я этим миром был, в свое время, страстно захвачен и от многого из того, что он мне дал, и поныне не отказываюсь. Но эта моя «добрая память» о прошлом не мешает мне видеть, сколько в нем было неподлинного и какое количество мало самостоятельных людей и талантов было им искажено и извращено. И та свобода и самостоятельность, с которыми Бунин прошел и мимо всех эстетических нарочитостей декадентства, и мимо всех политических утробностей общечестности, представляются поэтому мне поистине замечательными. Этой царственной свободе, укорененной в твердом, инстинктивном знании того, что ему, т. е. его таланту, нужно и что не нужно, он прежде всего и обязан всем тем, чего он достиг.

А достиг Бунин в известном смысле абсолютного, ибо он достиг по-своему непреложного. У него, как у всякого писателя, есть вещи сильные и слабые, в нем свыше зачатые и им самим задуманные, но у него нет ни одной внутренне лживой или пустой страницы. Все, что Буниным написано,—серьезно, точно, предметно. Все, что Бунин описывает, он знает так же хорошо, как свою комнату, как свое лицо в зеркале. Как ни вслушивайся в Бунина, в его повествованиях никогда не услышишь полого звука. Даже в самых сжатых его миниатюрах есть благородная тяжесть; все они на вес так же солидны, как на глаз. В этом чувствуется высокая проба какой-то человеческой честности. С этой честностью связано и целомудрие Бунина: боязнь красоты, риторики, умствования. Его музыкальное и искусное писательство ни в какой мере и степени не «орнаментальная» проза. В его образах и мыслях никогда не слышно фальцета, того головного звука, которым безголосые тенора берут верхи. У Бунина все верхи грудные, все

мысли изжитые, своей жизнью проверенные, своей кровью оплаченные. У него, как у смерти в одном из его рассказов, «все свое, особое». Один из самых подлинных и, в шиллеровском смысле этого слова, «наивных» художников, никогда не говорящий о вещах, но заставляющий вещи говорить с нами, Бунин, естественным образом, не разрешает в своих произведениях «мировых задач», не развертывает в них «психологических бездн», не решает «социальных вопросов». Упрекать его художественную подлинность в некоторой теоретической бедности при желании можно, но не видеть громадного ума Бунина зрячему человеку нельзя.

Не надо забывать, что греческое слово «теория» означает не мышление, а созерцание. Талант Бунина это помнит. Бунин думает глазами, и лучшие страницы его наиболее глубоких вещей являются живым доказательством того, что созерцание мира умными глазами стоит любой миросозерцательной глубины. У Бунина же зрение предельно обострено; ему отпущены не только орлиные глаза для дня, но и совиные для ночи. Поистине он в с е в и д и т. И все же ни его талант, ни его умные глаза не создали бы «Арсеньева», если бы у Бунина, кроме таланта, не было бы еще какого-то, совсем не моралистического, чувства ответственности за свой талант.

Бунин не написал ни одной вещи, в которой чувствовалось бы, что он поставил своему таланту непосильную для него задачу, чтобы он занес над ним по каким-либо посторонним побуждениям кнут насильствующей воли или искажающей идеи. В отличие от многих своих собратьев по перу Бунин, всю жизнь служа своему таланту, никогда не заставлял свой талант служить себе, не пытался при его помощи «выйти в люди». Он, думается, всегда знал цену себе и своему дарованию, но он никогда, даже и подсознательно, не выставлял своей кандидатуры на роль «духовного вождя», «властителя дум», «общественной совести» или даже просто любимца публики. За всем этим Бунин никогда не гнался, вероятно, потому, что инстинктивно чувствовал, что он и без того идет впереди.

В его творческом облике всегда гармонически сочетались вера в свой творческий путь с полным отсутствием мелкой самоуверенности. Лишь этой верой в правду своего пути объяснимы многие из известных бунинских оценок инопородных ему явлений (Достоевского, Блока и т. д.). Один из самых зорких людей среди всех, с кем мне довелось повстречаться на своем жизненном пути, Бунин способен на такие несправедливые высказывания, как мало кто другой. За эту несправедливость его часто бессмысленно зло корят, но часто и слишком благожелательно оправдывают, ссылаясь на то, что «священный огонь» исключительного дарования — не электричество, приспособленное к равномерно трезвому освещению любых явлений жизни. Не думаю, чтобы это сравнение было очень убедительно, но оставим его в стороне, как и всю проблему вины. Спросим себя лучше, в чем, собственно, дело, почему зоркий Бунин становится иногда слепым? Думаю, что

вопрос этот сложнее, чем кажется, и что в гневных вспышках Бунина наряду с очевидной слепотой есть и своя прозорливость. Когда Бунин видит, как аполлиническое пушкинское «упоение в бою и бездны мрачной на краю» превращается под влиянием Достоевского в обывательскую толчею у мистической бездны, он кричит на Достоевского, что тот «сует Христа в свои бульварные романы». Когда он слышит, как трагический срыв Блока — скатывание «Прекрасной Дамы» до «Незнакомки» — становится модой дня и как по салонам и кабакам начинается какая-то мистика под гитару, он обрушивается на Блока и доказывает, что это всего только изолгавшийся Аполлон Григорьев.

Что и говорить, по отношению к Достоевскому и Блоку все его обвинения несправедливы и неверны (думается, что Бунин подчас это и сам лучше всех нас знал), — но по отношению к той угрозе духовной трезвости и подлинности, которую таят в себе не Достоевский и Блок, а блок-достоевщина, страстные бунинские запальчивости, от которых не спрячешься и мимо которых не пройдешь, не только верны, но и справедливы. Во всяком случае, они не беспредметны. Нельзя не видеть, что, когда Бунин, по-видимому совершенно бессмысленно, спичку называет чертом, он правильно чувствует, что в аду пахнет серой. В этом смысле его будто бы «слепые злостности» — зоркие предостережения.

\* \* \*

Созерцание мира умными глазами стоит любой мирозерцательной глубины. В чем же ум бунинских глаз и в чем глубина его мирозерцания? Ответить на эти вопросы нелегко, так как искусство Бунина лишено, как было уже сказано выше, всякой проблематики. Известное замечание, что среди писателей больше всего описателей, кажется как нельзя более применимым к Бунину. И действительно, все его вещи — прежде всего описания: мира, людей, событий; медленные, подробные, тщательные, бесконечно совершенные, но на первый взгляд как будто внешние. Этой внешностью Бунина, в особенности в прежние годы, часто корили; за нее упрекали его в холодности, в жесткой справедливости. Эта ходячая характеристика всегда связывалась с расточением похвал по адресу замечательного языка, которым пишет Бунин. Помню, как Иван Алексеевич однажды шутил по этому поводу: «Какой такой особый у меня язык; пишу русским языком, язык, конечно, замечательный, но я-то тут при чем?» Эта шутка больше, чем шутка: в ней слышится упрек тем, кто считает его, Бунина, обладателем блистательного, но, в сущности, лишь формального дарования, в совершенстве отражающего мир, но не имеющего ничего сказать миру в целях его совершенствования.

Такое представление о Буinine, конечно, глубоко неверно. Верно лишь то, что он не учит мир совершенству, а усовершенствует его

своим искусством, не наставляет его на путь истинный, а воистину преображает его. Причем преобразование это совершается Буниным, как настоящим художником, совсем незаметно, легким положением рук на вещи, без всякого насильнического вмешательства в мир, без самовольного разгрома его форм, без самовольного переоформления. Во всех писаниях Бунина перед нами предстает мир, до конца знакомый и все же неузнаваемый; совершенно внешний и все же бесконечно глубокий.

Бунин любит и ценит чуть ли не выше всего Гете. Слова первого отдела «Максим и рефлексий» являются лучшим определением бунинского творчества: «Художник всегда изобразитель. Высшая форма изображения та, что способна на успешное соревнование с действительностью, т. е. на такое одухотворение вещей, которое делает их для всех нас абсолютно живыми. На своих вершинах искусство всегда к а ж е т с я совершенно внешним. Чем больше оно погружается вовнутрь, тем оно ближе к падению». Изумительные и изумительно верные слова. А потому не будем снижать «как будто бы совершенно внешнего» искусства Бунина глубокомысленными размышлениями над его мирозерцанием. Все, что может сделать критик,— это указать на главные мотивы душевного раздумья художника над сущностью мира и жизни. Раздумье Бунина,— в стихах это, пожалуй, виднее, чем в рассказах и повестях,— замороженно вращается все в том же скорбно-восторженном кругу, к которому уже не раз приходили искренние и глубокие умы и сердца.

Страстная жажда жизни:

Снова накануне. И с годами  
Сердце не считается. Иду  
Молодыми, легкими шагами  
И опять, опять чего-то жду.

Затем срыв, скорбь, смерть:

Познал я...  
Ненужную для мира боль и муку  
И эти одинокие часы  
Безмолвного, полуночного бденья,  
Презрения к земле и отчужденья  
От всей земной бессмысленной красоты.

И тут же упоение красотой скорби, восторг о бессмертии смерти, а тем самым уже и обретение смысла в бессмысленном:

Зачем пленяет старая могила  
Блаженными мечтами о былом?  
Зачем зеленым клонится челом  
Та ива, что могилу осенила?  
Так горестно, так нежно и светло,  
Как будто все, что было и прошло,  
Уже познало радость воскресенья  
И в лоне всепрощенья и забвенья  
Небесными цветами поросло.

Я не случайно назвал круг бунинского мироощущения трагичным.

Он трагичен потому, что Бог Бунина, под взором которого вращается мир, — н е м о й, не отвечающий на наши вопросы Бог.

Весь мир молчит — затем,  
Что в мире Бог, а Бог от века нем.

Этот немой Бог бунинской мистики отличается от Бога-Слова христианской догматики тем, что в нем «бессмысленность» мира в сущности не преодолевается, но лишь обретает ту предельную глубину, которую Бунин ощущает то древним ужасом, то вечной красотой. Нерасторжимое единство ужасности и прекрасности мира Бунин острее всего чувствует в смерти. Казалось бы, что после Толстого ничего нового о смерти сказать нельзя. Однако Бунин нашел слова и образы, не сказанные и не найденные и Толстым. С одной стороны, смерть ощущается и изображается Буниным еще физиологичнее, еще тлетворнее, чем Толстым, но с другой — в его словах о ней (см. «К роду отцов своих») слышатся такая таинственность, мистичность и даже отраженная от церковного обряда литургичность, которых у Толстого нет. У Толстого смерть, несмотря на «Три смерти», прежде всего процесс, происходящий в душе человека; у Бунина она космическое событие, совершающееся в недрах Бытия. Касаясь темы смерти, Толстой всегда превращается в психолога и мыслителя; в Бунине та же тема пробуждает поэта. Как ни страшна в изображении Бунина смерть, она все же остается душой и музыкой его искусства. Об этом хочется сказать несколько более подробных и более точных слов.

Есть, в сущности, две смерти. Смерть, как подкрадывающийся извне к о н е ц нашей жизни — «Мы все сойдем под вечны своды, и чей-нибудь уж близок час», — и смерть, как неустанно происходящее в нас умирание нашего прошлого и настоящего. По отношению к этой, второй смерти мы сами — те «вечные своды», под которыми годы-могилишки хоронят и то, что «зачалось и быть могло, но стать не возмогло», и то, что, ставши, отошло и умерло.

Над первой смертью мы не вольны. Вне благодатной веры она сплошной ужас и трепетанье твари. Над второй смертью у нас есть власть. Имя этой власти — искусство. Магический жест этого искусства — память. Конечно, не та «вечная память», о сотворении которой молится церковь при отпевании умершего, но все же таинственно связанная с нею. В сущности, каждый подлинный художник — творец вечной памяти и заклинатель смерти; великое подлинное искусство — прообраз и предвосхищение в земных условиях последней мистерии, обещанной нам, мистерии воскресения наших неустанно во времени умирающих дней к вечной жизни в преображенной плоти.

Оба облика и оба переживания смерти всегда тесно связаны между собой. Формы этой связи у разных людей различны, но для всех нас одинаково определительны и показательны.

Для творчества Бунина характерно сочетание какого-то предельного, кальвинистически мрачного отчаяния и трепетания твари перед

крышкой гроба с редкой силой творческого преобразования земных обликов и свершений нашей бременной жизни. Сочетание это не случайно. Бунин сам прекрасно и глубоко вскрывает его религиозный смысл, объясняя свое стремление к «словесному ремеслу» страхом перед «гробом беспамятства».

Тема памяти одна из самых глубоких тем мистической и религиозной литературы. Ее, столь важная для проникновения в сущность искусства, постановка невозможна без строгого разграничения памяти и воспоминаний. В своем прекрасном прологе к поэме «Деревья» Вячеслав Иванов строго делит и даже противопоставляет друг другу оба начала:

Ты, память, Муз родившая, свята —  
Бессмертия залог, венец сознания,  
Нетленного в истлевшем  
красота,  
Тебя зову — но не воспоминаю.

Сущность памяти, как то прекрасно выражает подчеркнутая третья строка ивановской строфы, в спасении образов жизни от власти времени. Несбереженное памятью прошлое проходит во времени, — сбереженное обретает вечную жизнь. В отличие от воспоминаний, всегда стремящихся «вернуть невозвратное», память никогда не спорит со временем, потому что она над ним властвует. Для нее, в ее последней глубине, не важно, умирает ли нечто во времени или нет, потому что в ней все восстает из мертвых. Возвышаясь над временем, она естественно возвышается и над всеми измерениями его, над прошлым, настоящим и будущим, почему в ней и легко совмещаются несовместимые во времени явления. Память — это тишина и мир.

Связь памяти и вечности Бунин прекрасно выразил еще в 1916 году:

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет  
Поэзией зовет. Она в моем наследстве:  
Чем я богаче им, тем больше я поэт.  
Я говорю себе, почуяв темный след  
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:  
— Нет в мире разных душ и времени в нем нет.

После «окаянных дней» революции творчество Бунина не сразу «пришло в память». Но, начиная с «Несрочной весны», свет ее все сильнее и одухотвореннее озаряет писателя Бунина. Тема Баратынского, тема призрачных, но бессмертных «летейских теней», торжествующих над тяжестью утрат и горестей, тема «неземной обители», в которой «утверждаются» или, быть может точнее, возрождаются к вечной жизни умершие на земле образы, становится главной темой бунинского творчества.

\* \* \*

Зарубежная литература очень богата произведениями, посвященными отошедшей России. И это вполне понятно: тоска о прошлом — нерв нашей эмигрантской жизни. Но в отличие от Бунина большинство писателей «зовёт» не память, а воспоминанья, всегда свои, всегда очень личные, каждому милые, но болезненные и больные. Отсюда нервность, сентиментальность, развинченность и взвинченность многих эмигрантских произведений, их белоствольные березки, кустарные петушки и росяные слезы.

У Бунина этого всего нет. Строй его последних созданий высок, прозрачен и спокоен. Многие страницы по своему настроению напоминают пушкинскую осень.

Есть люди, — и их немало, — которым этот строй не под силу, которых бунинское изображение дореволюционной России, в котором ничто не трепещет, не рыдает и не надрывается, оставляет холодными и неудовлетворенными, им более близки другие писатели, которые не служат, подобно Бунину, строгой панихиды по дорогой их сердцу России, а просто по человечеству воют и убиваются по ней. Предпочтение это вполне понятно: проникновение в Бунина требует духовности и обостренного художественного зрения, а не только искренней душевности и повышенной нервности, которых в мире гораздо больше, чем духа и дара.

\* \* \*

Бунин не сразу поднялся на высоту своих последних вещей. Своим путем художника, путем «прояснения материи» (Г. Адамович), он шел медленно и осмотрительно. Раньше всего ему открылся сокровенный лик природы. О бунинском изображении природы я пишу в статье о «Митиной любви». Потому скажу лишь кратко, что природа Бунина при всей реалистической точности его письма все же совершенно иная, чем у двух величайших наших реалистов — у Толстого и Тургенева. Природа Бунина зыблее, музыкальнее, психичнее и, быть может, даже мистичнее природы Толстого и Тургенева. Разница эта объясняется не столько тем, что Бунин — поэт, сколько иным, чем у Толстого и Тургенева, отношением между природой и человеком. Тургенев и Толстой прежде всего заняты людьми, их душами и судьбами. У Бунина же, в сущности, нет ни одной вещи, в которой человеку было бы указано с о в е р ш е н и о особое место в мире, в котором он был бы показан как существо, принципиально несоизмеримое со всеми другими существами. Всякий метафизический антропологизм, составляющий силу Достоевского, глубоко чужд Бунину. Человек в творчестве Бунина, конечно, присутствует; меткость и сила его портретного мастерства изумительна, но человек присутствует в художественном

мире Бунина как бы в растворенном виде; не как сверхприродная вершина, а как природная глубина. И оттого, что в бунинской природе растворен человек, она так утонченно человечна.

В «Митиной любви» Бунин впервые выдвинул человека, как имя собственное. Но этим новым для себя путем в дальнейшем он не пошел. В последних вещах у него на первом плане снова природа, история, память, люди, но не отдельные лица и их индивидуальные судьбы.

«Странствия» — один за другим возникают лики России — монастыри: Данилов — в Москве, Макарьевский — на Волге, монастырь Саввы с собором XIV века, Троицкая лавра; старинные поместья: Измайловское, вотчина Алексея Михайловича, Троицкое Румянцова, Остафьево, где в кабинете Карамзина под стеклом лежат вещи Пушкина, и другие, не столь знаменитые, но столь же дорогие памятливому сердцу места. Так возникает в «странствиях» незапятнанная, нерушимая Русь и над нею вопрос, — а что, если разрушится нерушимое и забудется незапамятное?

«Жизнь Арсеньева» — это, конечно, не роман в традиционном смысле этого слова (он ведь так и не назван автором), а нечто совершенно особое. Что? — сказать трудно. Отчасти философская поэма, а отчасти симфоническая картина. Но названия, в конце концов, безразличны. Сила и сущность «Арсеньева» в том, что в нем встретились и слились две темы: метафизически психологическая тема высветления бунинских воспоминаний в вечную память и исторически бытовая тема гибели царской России.

Действующие лица «Арсеньева» не отдельные люди. Ни сам Арсеньев, ни его близкие не занимают первого плана. На первом плане стоят «вещи и дела человеческие», которым посвящены недоумения и раздумья Арсеньева-Бунина. Картины этой философской поэмы развертываются в нескольких планах — в природном, социальном, историческом и метафизическом. Очень сильно чувствуется природный круговорот: весна, лето, осень, зима; очень сильно прочерчивается географический крест: север, юг, восток и запад; очень живы в быту и психологии отдельные сословия — дворяне, купцы, крестьяне, мещане; также отдельные народности и полосы России, ее города и дали. Крепко остаются в памяти (начало «Истока»), как бы из космического тумана возникшие первоосновы жизни — базар, тюрьма, собор. За этими как бы вечными столпами всякого человеческого бытия выступают менее существенные, но не менее характерные для России детали: перила и колонки провинциальных дворянских гостиниц, красные ковры под начальственными ногами у всеношной, двуносые мещанские рукомойки, табачные дымки в канцеляриях, присутствиях и провинциальных редакциях, поезда и вокзалы, тарантасы, большаки и т. д. и т. д. Всего этого очень много, конечно, и во всех других романах. Но в «Арсеньеве» все это существует по-иному и по-особому.

Очевидно, потому, что города и веси, вещи и обличья, изображаемые Буниным в «Арсеньеве», отнюдь не случайности, попадающиеся на глаза его герою, но предметно и формально необходимые факторы всего повествования. При всей страстности и интуитивности бунинского письма в «Арсеньеве» есть нечто почти исследовательское, есть какой-то свой, бунинским глазом за всю его жизнь собранный и на страницах «Арсеньева» прекрасно размещенный краеведческий и этнографический музей, в котором каждая вещь поставлена и повернута так, что, раз увидев, ее никогда не забудешь. Этот элемент художественного поэтики представляется мне особенно важным и ценным в бунинском изобразительстве. Без него «Арсеньев» не мог бы превратиться в ту симфоническую картину России, которую он собой представляет.

Осуществление этой картины оказалось Бунину под силу исключительно благодаря тому мастерству, с которым он владеет главным даром художника: умением выбора между необходимым и, пусть столь же прекрасным, но излишним. Гетевское слово о самоограничении, как о высшем мастерстве художника, ни к кому из русских писателей не применимо с такой безоговорочностью, как к Бунину. О Смоленске и Витебске — одна страница; но на ней, благодаря выбору образов, запад России дан с исчерпывающей полнотой. Мерзлый кабан, местечковые евреи, желтый костел и железный рыцарь в нем. Так же дана и весенняя Москва: вначале как бы случайное слово о «восточном излишестве» торговли, а в заключение подробное описание картины в тракторе Егорова, изображающей китайцев, пьющих чай. Как будто бы пустыя, а между тем Москва этим пустыяком сразу зрительно сдвинута на восток. Этим приемом замены сложных и длинных описаний точнейшим изображением нескольких символически репрезентативных предметов Бунин пользуется очень часто и с большим мастерством. Совершенно изумителен конец XV главы второй части. Страсть так часто описывали, что, приближаясь к ее описанию, невольно начинаешь бояться за автора. Бунин сразу успокаивает. Вместо страсти он описывает ветер и грача, но, читая его описание, чувствуешь перебой в сердце. «В нашем городе бушевал пьяный азовский ветер!» — так начинается страница, а затем просто: «Я запер дверь на ключ, ледяными руками опустил на окнах шторы, — ветер качал за ними черно-весеннее дерево, на котором кричал и мотался грач...» Замечательно. Короче и точнее о налетности и космичности страсти, о ее мотающей душу силе сказать нельзя.

\* \* \*

В заключение одно слово к читателю. Признаемся, что мы все развращены ловкостью, острословием, занятностью и интересностью современного писательства; что мы читаем невнимательно, неряшли-

во и приблизительно, не погружаясь в отдельные слова, а лишь скользая по ним, т. е. читаем вовсе не то, что написано, а нечто лишь отдаленно на написанное похожее. Незначительные писатели, больше литераторы, чем художники, такое чтение переносят. Так как они сами творят вполруки, то их можно «вполруки» и читать. Бунин такого чтения не переносит. При приблизительном чтении от него почти ничего не остается; это видно по переводам его вещей. Он почти непереволим. Потому добрый совет всем тем, которые сейчас снова, а может быть, и впервые, возьмутся за книги Бунина. Читать его надо медленно и погруженно, всматриваясь в каждый образ и вслушиваясь в каждый ритм, памятуя о знаменитых словах Шопенгауэра: «Искусство суровый властитель; подчас надо долго ждать, пока оно соизволит заговорить с тобой».

Ф. А. Степун\*



---

\* Опубликовано в книге: Федор Степун. Встречи. Мюнхен, 1962.



## «ЧАША ЖИЗНИ»

### 1

В издательстве «Русская земля» вышла в свет книга рассказов и стихотворений Бунина «Чаша Жизни». Таким образом, с прежде вышедшими в том же издательстве «Деревней» и «Господином из Сан-Франциско», а также книгами, изданными в Праге и Берлине, мы имеем за границей почти всего Бунина, словно драгоценную ношу, взятую нами с собою в изгнание. «Чаша Жизни», так же как и «Господин из Сан-Франциско», книги, совсем не соприкасающиеся с общественностью, с вопросами о народе, революции, и, говоря о них, можно не касаться жгучей и разделяющей области публицистики. Это — книги «чистого» искусства и если соприкасаются с какой-либо смежной областью, то скорее с областью философии.

На связь и родственность искусства и философии было указано уже не раз. Недавно в «Современных записках» С. В. Лурье писал, что «в России корни философии срослись с соседним стволом и отдали ему все жизненные соки». «Основной импульс к философствованию — выявление мироощущения — находит для себя и иные пути. Один из этих путей, путь, излюбленный русским гением, путь искусства».

Иногда спрашиваешь себя: в чем ценность этих небольших рассказов, кажущихся невнимательному читателю отрывками без сюжета и композиции, но вместе с тем покоряющих каждого читателя, не совсем чуждого искусству. Ценность, значительность Бунина чувствуешь непосредственно, как это всегда бывает с произведениями искусства, но труднее логически показать, в чем эта ценность. Многие говорят: в мастерстве стиля, в богатстве языка, в тонкой прелести почти незаметного сюжета, в тоже невидной, но всегда невидимо скрепляющей и формирующей рассказ композиции. Да, все это есть. К прозе Бунина можно применить определение поэзии: «лучшие слова в лучшем порядке». Но что делает стиль Бунина благородным и гармоничным, хотя и далеким от простоты, что насыщает язык богатой добычей метких слов и образов, почему нигде не найдешь ни одной художественно лишней черты? Что подымает эти рассказы на высоту и объединяет эти отрывки в одно прекрасное целое? Нам кажется, что это таинственное «ничто» есть свойственное каждому большому художнику цельное мироощущение автора. Бунина всегда интересует

«мир, как целое», он остро и напряженно вглядывается в отдельные явления этого мира, но и за мельчайшими подробностями чувствуется некий общий метафизический «воздух». Свое «мироощущение» хочет он воплотить и дать почувствовать читателю. Его искусство воистину, как определял всякое искусство Шопенгауэр, чистая контемплиация, *созерцание* мира. Не это ли позволяет Бунину иногда пренебрегать сюжетом? Сюжет есть как бы скрепа, стержень рассказа. Но у Бунина есть другая скрепа — его мироощущение. И потому так законченны даже его «отрывки ни о чем» или длинные, необычные по форме повествования, которые он сам принужден называть поэмами.

Трудно передать это мироощущение. Если бы это было иначе — искусство потеряло бы смысл, все можно было бы сказать прямо и непосредственно, а не внушать сложными чарами слова. Приходится искать, к чему близко это своеобразное и непередаваемое мироощущение. Разумеется, «философия» Бунина не есть какая-то сознательно проводимая система. Нет, как у истинного художника, это лишь непосредственно и незаметно проникающая все творчество атмосфера. Только изредка мелькают следы какого-нибудь влияния, например интереса к буддийским легендам и преданиям в последних рассказах. Как мудрый художник, Бунин знает, из каких ключей ему надо пить. Но привлекло его к буддизму только то, что соответствовало его собственному мироощущению, которое во многом далеко от «восточной мудрости», даже противоположно ей.

«Чаша Жизни»... Какова она, эта чаша, какова жизнь? Несколько человек в глухом, провинциальном городе были влюблены в одну и ту же девушку. Бунин рассказывает нам о судьбе, о «чаше жизни» этих нескольких людей. На мгновение, на одно мгновение, почти незаметное, почти иллюзорное, расцвела коротким цветом жизнь. «Саня была особенно беззаботна и счастлива в то лето... носила цветистый мордовский костюм», чувствовала себя красивой, окруженной вниманием. Из ее поклонников один и, увы, не тот, который ей нравился, нежно прижимая ее руку, сказал ей: «Я хотел бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна». Это было в одно лето, в одно мгновение. Но что с ними стало потом в жизни, и с ней и с ее поклонниками! И это не гейневская *alte Geschichte*. Нет, это вечная история жизни. Муж ее становится старым и бездушным ростовщиком. Ее душевные силы уходят в одну жалкую мечту о переводе дома на ее имя, чтобы родные не выгнали ее после смерти мужа, да еще в смутную любовь — воспоминание к первому своему поклоннику, о Киру Иорданскому, мрачному и умному чудачу и пьянице. Все они умирают, остается жить только один из поклонников Александры Васильевны, учитель Горизонтов. Этот гигант, которого звали Мандриллой, умирать не хочет, ест за десятерых: «живность — шпучно, суп, борщ не в тарелочках, а в мисочках», ведет маниакально гигиенический образ жизни и продает свой «костяк» анатомическому музею «для увеличения своего

благосостояния». Один этот юродствующий «мандрилла» верит в жизнь, любит жизнь.

— Зачем ты живешь на свете?.. В чем заключается твоя цель? — спрашивает его о. Кир.

— В долголетию и наслаждении жизнью... Крепко и заботливо держу в руках драгоценную чашу жизни.

— Ты достоин своей позорной клички, — восклицает о. Кир. И действительно, он позорит жизнь, утверждая ее, этот человек, поставивший себе целью долголетие во что бы то ни стало. Жизнь жалка, уродлива, за исключением только короткого, почти прозрачного мига цветения любви.

Разве не слышим мы за этим рассказом слов Будды: «Рождение есть страдание, старость есть страдание, болезнь есть страдание, смерть есть страдание, *соединение с немилым есть страдание*, разлука с милым есть страдание, — короче говоря, пятерная привязанность к земному есть страдание».

## 2

Бунин видит и умеет описывать страдание, и ущерб, и уродство человеческой жизни. Но все же он далек от цельности буддийского пессимизма. Если иллюзорна человеческая жизнь, то природа для него ничуть не Майя. Напротив, есть в его пейзаже что-то скульптурное, немного неподвижное, сияющее многоцветной мозаикой. Он любит и рисует природу как некую «вещь в себе». Ни у одного писателя ни в России, ни на Западе я не знаю столько описаний природы, такой жизни с природой. В природе истинная красота и в любовании этой красотой истинная, необманчивая радость. Мир слишком *красив*, чтобы быть прозрачным. Иногда, особенно на океане, в ночи под тропиками, которые Бунин так мастерски описывает (рассказ «Братья»), охватывает человека «голубая бездна бездн», «влажное свободное дыхание чего-то, от века свободного», «зыбкая хлябь, о которой так ужасно говорит Библия», хаос и тайна. Но и здесь слова Бунина так красивы и гармоничны, что бессильны передать таинственный хаос, а дают почувствовать только грозную красоту.

Прекрасна природа, прекрасно и то, что в человеческой жизни близко к природе, к весне, — молодость, пробуждающаяся любовь. Бунин изумительно чувствует и передает и то и другое. Рассказ «При дороге» весь пронизан смутными дуновениями пробуждения пола, любви. Бунину изумительно удаются фигуры совсем молоденьких девушек. В них нет душевной прелести и поэзии тургеневских героинь, нет и хрупкой красоты Чехова. Но зато есть какая-то необыкновенная подлинность, духовно-физическое обаяние, прелесть весенних почек, полевых цветов и плодов. Такова Парашка в «При дороге». А как

нарисован соблазнивший ее мещанин: два-три штриха, и дана вся его романтическая, таинственная обаятельность.

Природа прекрасна, а человеческая жизнь тяжела и уродлива. Но человеческое метафизически не противоположно природному, это только, увы, очень часто некрасивая, грязная, мутная часть природы. Порой кажется даже, что Бунин не чувствует психического как чего-то особого. Есть нечто единое, что овеивается легким дыханием духа, похожим на веяние ветра, пролетающего в мире. Что-то горит, что-то дышит в деревьях, в людях, в зорях. Душевно-физическое настолько слитно, что достаточно описать наружность человека, чтобы он был *весь* дан. Это не «тайновидение плоти» по Мережковскому, это изумительно сильное и напряженное видение. Бунин описывает людей, как он их видит и как они видят. По-своему и напряженно видеть — вот главный завет эстетики Бунина. Достоевский восхищался всечеловечностью Пушкина. Бунин поражает своим умением рисовать и американского миллионера, и англичанина, и французскую женщину, и собаку, и рикшу-сингалеза. Но Пушкин не выезжал из России, а Бунину нужно было объехать весь мир и *увидеть*. Но кто другой так увидел бы? Таким проникновенным, таким беспощадным взором? Вот англичане, «с конопатыми руками», в «дорогой, но грубой обуви», плотно усаживающиеся, повелительно каркающие. Вот девушка-сингалезка: «...у нее были круглая головка, выпуклый лобик, круглые, сияющие глаза, в которых детская робость уже смешивалась с радостным лобопытством к жизни, с затаенной женственностью...» Чтобы исчерпать богатство образов, пришлось бы переписать чуть ли не всю книгу! Бунин умеет смотреть как бы изнутри того человека, которого он описывает, взором юноши-сингалеза смотрит он на Цейлон в «Братьях», взором крестьянской девушки в «При дороге». Он видит так тонко и остро, что это приводит к некоторой неправдоподобности. Не может быть, чтобы его герои обладали таким зрением, которое дано немногим писателям. Великие живописцы, голландцы, Сезанн умели так напряженно видеть...

Бунин не верит в абсолютную, метафизическую реальность личности, индивидуального. В стихах он прямо говорит:

«...Твоя душа, Вергилий,  
не твоя и не моя!»

В прозе он не говорит этого так определенно. Но чувствуешь, что мир для него — какая-то единая и цельная духовно-материальная субстанция. Правда, она заузляется в бесконечные индивидуальные формы. Бунин видит и описывает мельчайшие заузления, но как бы не придает им истинного значения. Что-то звучит единым глубоким звуком через все его рассказы, что и есть *главное*. Можно, понятно, назвать это «звучание» просто лирическим настроением автора, которое все окрашивает в один цвет, что и делает его мир *особым* миром. Но мне кажется, что это нечто большее. К каждому герою Бунина, как бы ни был он индивидуален, как ярко мы его бы ни видели, — можно,

кажется, приложить слова буддийского мудреца о себе самом: «Нагасена — это только имя, обозначение, простое слово; *субъекта* же здесь никакого нет». Но если так — возражают ему — значит, не существует ни добра, ни зла. «Даже если бы кто-нибудь убил тебя, почтенный Нагасена, так и тот не совершил бы убийства?» Не оттого ли убийство на фоне весеннего вечера (в рассказе под этим названием) не очень страшно, естественно и не нарушает хрупкой чистоты и прохлады вечера, весенней красоты природы?

Эта эпическая сила изображения не подтверждает ли уже высказывавшегося в критике мнения о бесстрастности и объективности Бунина? Но бесстрастие и объективность не то же самое. Напряженность и богатство эмоциональной жизни необходимо художнику. И Бунин меньше, чем кто-либо другой, обладает добродетелью бесстрастия. Но вспомните снова то, что говорил об искусстве Шопенгауэр: искусство есть преодоление страсти, «воли» (которых в художнике больше, чем в других людях), оно есть чистое созерцание. Вспомните слова буддийского мудреца: «Там, где существует жар, там ищут прохлады; точно так же там, где существует тройной огонь — любви, ненависти и заблуждения, — там нужно искать прекращения огня». Для буддиста такое прекращение — «нирвана». Для художника есть другая «нирвана» — искусство. Оно словно ледяные узоры на стеклах от соединения тепла и мороза. Чем сильнее страсть, тем прекраснее ее преодоление в искусстве. Чем сильнее огонь, тем явственнее охлаждение. Есть в иных рассказах Бунина какая-то особая атмосфера прозрачного холода, который бывает в ясные весенние вечера. Они похожи на драгоценные камни, холодные на ощупь, но огонь, заключенный в них, — это огонь, горевший в душе художника. Их бережно сохранит сокровищница русской литературы.

*Мих. Цетлин\**

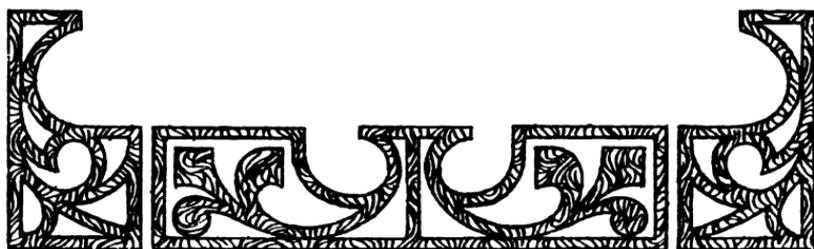


---

\* Опубликовано в газете «Последние новости». Париж, 1922. Август.



ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
1909-1914



ИВ. БУНИНЪ.

# ДЕРЕВНЯ



МОСКОВСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ



## ДЕРЕВНЯ

### I

Прадеда Красовых, прозванного на дворне Цыганом, за-  
травил борзыми барин Дурново. Цыган отбил у него, у своего  
господина, любовницу. Дурново приказал вывести Цыгана в  
поле, за Дурновку, и посадить на бугре. Сам же выехал со  
сворой и крикнул: «Ату его!» Цыган, сидевший в оцепенении,  
кинулся бежать. А бегать от борзых не следует.

Деду Красовых удалось получить вольную. Он ушел с  
семьей в город — и скоро прославился: стал знаменитым во-  
ром. Нанял в Черной Слободе хибарку для жены, посадил ее  
плести на продажу кружево, а сам, с каким-то мещанином  
Белокопытовым, поехал по губернии грабить церкви. Когда  
его поймали, он вел себя так, что им долго восхищались по  
всему уезду: стоит себе будто бы в плисовом кафтане и в  
козловых сапожках, нахально играет скулами, глазами и поч-  
тительнейше сознается даже в самом малейшем из своих не-  
сметных дел:

— Так точно-с. Так точно-с.

А родитель Красовых был мелким шибам. Ездил по уезду,  
жил одно время в родной Дурновке, завел было там лавочку,  
но прогорел, запил, воротился в город и помер. Послужив по  
лавкам, торгашили и сыновья его, Тихон и Кузьма. Тянутся,  
бывало, в телеге с рундуком посередке и заунывно орут:

— Ба-абы, това-ару! Ба-абы, това-ару!

Товар — зеркальца, мыльца, перстни, нитки, платки, игол-  
ки, крендели — в рундуке. А в телеге все, что добыто в обмен  
на товар: дохлые кошки, яйца, холсты, тряпки...

Но, проездив несколько лет, братья однажды чуть ножами  
не порезались — и разошлись от греха. Кузьма нанялся к гур-  
товщику, Тихон снял постоялый дворик на шоссе при стан-  
ции Воргол, верстах в пяти от Дурновки, и открыл кабак и  
«черную» лавочку: «торговля мелочного товару чаю сахару  
тобаку сигар и протчего».

Годам к сорока борода Тихона уже кое-где серебрилась. Но

красив, высок, строен был он по-прежнему; лицом строг, смугл, чуть-чуть ряб, в плечах широк и сух, в разговоре властен и резок, в движениях быстр и ловок. Только брови стали сдвигаться все чаще да глаза блестеть еще острее, чем прежде.

Неутомимо гонял он за станowymi — в те глухие осенние поры, когда взыскивают подати и идут по деревне торги за торгами. Неутомимо скупал у помещиков хлеб на корню, снимал за бесценок землю... Жил он долго с неюй кухаркой, — «не плохо, ничего не разбредет!» — имел от нее ребенка, которого она приспала, задавила во сне, потом женился на пожилой горничной старухи-княжны Шаховой. А женившись, взяв приданого, «доконал» потомка обнищавших Дурново, полного, ласкового барчука, лысого на двадцать пятом году, но с великолепной каштановой бородой. И мужики так и ахнули от гордости, когда взял он дурновское именьице: ведь чуть не вся Дурновка состоит из Красовых!

Ахали они и на то, как это ухитрялся он не разорваться: торговать, покупать, чуть не каждый день бывать в именье, ястребом следить за каждой пядью земли... Ахали и говорили: — Лют! Зато и хозяин!

Убеждал их в этом и сам Тихон Ильич. Часто наставлял:

— Живем — не мотаем, попадешься — обротаем. Но — по справедливости. Я, брат, человек русский. Мне твоего даром не надо, но имей в виду: своего я тебе тринки не отдам! Баловать, — нет, заметь, не побалуя!

А Настасья Петровна (ходившая по-утиному, носками внутрь, переваливаясь, — от постоянной беременности, все кончавшейся мертвыми девочками, — желтая, опухшая, с редкими белесыми волосами) стонала, слушая:

— Ох, и прост же ты, посмотрю я на тебя! Что ты с ним, глупым, трудишься? Ты его уму-разуму учишь, а ему и горя мало. Ишь, ноги-то расставил, — эмирский бухар какой!

Осенью возле постоянного двора, стоявшего одним боком к шоссе, другим к станции и элеватору, стоном стонал скрип колес: обозы с хлебом сворачивали и сверху и снизу. И поминутно визжал блок то на двери в кабак, где отпускала Настасья Петровна, то на двери в лавку, — темную, грязную, крепко пахнущую мылом, сельдями, махоркой, мятным пряником, керосином. И поминутно раздавалось в кабаке:

— У-ух! И здорова же водка у тебя, Петровна! Аж в лоб стукнула, пропади она пропадом.

— Сахаром в уста, любезный!

— Либо она у тебя с нюхальным табаком?

— Вот и вышел дураком!

<sup>I</sup>  
Докоректорно исправле-

но для нового изда-  
ния 20 окт. 1953г.

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

*И.В.Б.*

**И. А. БУНИНА**

**II**

---

**П Е Т Р О П О Л И С Ъ**

В этом томе (Берлин, 1934) напечатана «Деревня».  
На обложке — надпись Бунина.

А в лавке было еще люднее:

— Ильич! Хунтик ветчинки не отвесишь?

— Ветчинкой я, брат, нынешний год, благодаря Богу, так обеспечен, так обеспечен!

— А почему?

— Дешевка!

— Хозяин! Деготь у вас хороший есть?

— Такого дегтю, любезный, у твоего деда на свадьбе не было!

— А почему?

Потеря надежды на детей и закрытие кабаков были крупными событиями в жизни Тихона Ильича. Он явно постарел, когда уже не осталось сомнений, что не быть ему отцом. Сперва он пошучивал.

— Нет-с, уж я своего добьюсь,— говорил он знакомым.— Без детей человек — не человек. Так, обсевок какой-то...

Потом даже страх стал нападать на него: что же это,— одна приспала, другая все мертвых рождает! И время последней беременности Настасьи Петровны было особенно тяжким временем. Тихон Ильич томился, злобился; Настасья Петровна тайком молилась, тайком плакала и была жалка, когда потихоньку слезала по ночам, при свете лампадки, с постели, думая, что муж спит, и начинала с трудом становиться на колени, с шепотом припадать к полу, с тоской смотреть на иконы и старчески, мучительно подниматься с колен. С детства, не решаясь даже самому себе признаться, не любил Тихон Ильич лампадок, их неверного церковного света: на всю жизнь осталась в памяти та ноябрьская ночь, когда в крохотной, кособокой хибарке в Черной Слободе тоже горела лампадка,— так смиренно и ласково-грустно,— темнели тени от цепей ее, было мертвенно-тихо, на лавке, под святыми, неподвижно лежал отец, закрыв глаза, подняв острый нос и сложив на груди восковые руки, а возле него, за окошечком, завешенным красной тряпкой, с буйно-тоскливыми песнями, с воплями и не в лад орущими гармоньями, проходили годные... Теперь лампадка горела постоянно.

Кормили на постоялом дворе лошадей владимирские коробочники — и в доме появился «Новый полный оракул и чародей, предсказывающий будущее по предложенным вопросам с присовокуплением легчайшего способа гадать на картах, богах и кофе». И Настасья Петровна надевала по вечерам очки, катала из воска шарик и начинала кидать его на круги оракула. А Тихон Ильич искоса поглядывал. Но ответы получались все грубые, зловещие или бессмысленные.

— «Любит ли меня мой муж?» — спрашивала Настасья Петровна.

И оракул отвечал:

— «Любит, как собака палку».

— «Сколько детей будет у меня?»

— «Судьбой назначено тебе умереть, худая трава из поля вон».

Тогда Тихон Ильич говорил:

— Дай-ка я кину...

И загадывал:

— «Затевать ли мне тяжбу с известною мне особою?»

Но и ему выходила чепуха:

— «Считай во рту зубы».

Раз, заглянув в пустую кухню, Тихон Ильич увидал жену возле люльки кухаркина ребенка. Пестренький цыпленок, попискивая, бродил по подоконнику, стучал клювом в стекла, ловя мух, а она сидела на нарах, качала люльку и жалким, дрожащим голосом пела старинную колыбельную песню:

Где мой дитяtko лежит?  
Где постелюшка его?  
Он в высоком терему,  
В колыбельке расписной.  
Не ходите к нам никто,  
Не стучите в терему!  
Он уснул, започивал,  
Темным пологом покрыт,  
Расцвеченною тафтой...

И так изменилось лицо Тихона Ильича в эту минуту, что, взглянув на него, Настасья Петровна не смутилась, не оробела, — только заплакала и, сморкаясь, тихо сказала:

— Отвези ты меня, Христа ради, к угоднику...

И Тихон Ильич повез ее в Задонск. Но дорогой думал, что все равно Бог должен наказать его за то, что он, в суете и хлопотах, только под Светлый день бывает в церкви. Да и лезли в голову кощунственные мысли: он все сравнивал себя с родителями святых, тоже долго не имевшими детей. Это было не умно, но он уже давно заметил, что есть в нем еще кто-то — глупей его. Перед отъездом он получил письмо с Афона: «Боголюбивейший благодетель Тихон Ильич! Мир вам и спасение, благословение Господне и честный Покров Всепетой Богоматери от земного Ея жребия, св. горы Афонской! Я имел счастье слышать о ваших добрых делах и о том, что вы с любовью уделяете лепты на созидание и украшение храмов Божиих, на келии иноческия. Ныне хижина моя пришла от времени в такое ветхое состояние...» И Тихон Ильич послал на поправку этой

хижины красненькую. Давно прошло то время, когда он с наивной гордостью верил, что и впрямь до самого Афона дошли слухи о нем, хорошо знал, что уж слишком много афонских хижин пришло в ветхость, — и все-таки послал. Но не помогло и это, кончилась беременность прямо мукою: перед тем, как родить последнего мертвого ребенка, стала Настасья Петровна, засыпая, вздрагивать, стонать, взвизгивать... Ею, по ее словам, мгновенно овладевала во сне какая-то дикая веселость, соединенная с невыразимым страхом: то видела она, что идет к ней по полям, вся сияя золотыми ризами, Царица Небесная и несется откуда-то стройное, все растущее пение; то выскакивал из-под кровати чертенок, неотличимый от темноты, но ясно видимый зрением внутренним, и так-то звонко, лихо, с перехватами, начинал отжаривать на губной гармонье! Легче было бы спать не в духоте, на перинах, а на воздухе, под навесом амбаров. Но Настасья Петровна боялась:

— Подойдут собаки и голову нанюхают...

Когда пропала надежда на детей, стало все чаще приходиться в голову: «Да для кого же вся эта каторга, пропади она пропадом?» Монополия же была солью на рану. Стали трестись руки, болезненно сдвигаться и подниматься брови, стало косить губу, — особенно при фразе, не сходявшей с языка: «Имейте в виду». По-прежнему он молодился — носил щеголеватые опойковые сапоги и расшитую косоворотку под двубортным пиджаком. Но борода седела, редела, путалась...

А лето, как нарочно, выдалось жаркое, засушливое. Совсем пропала рожь. И наслаждением стало жаловаться покупателям.

— Прекращаем-с, прекращаем-с! — с радостью, отчеканивая каждый слог, говорил Тихон Ильич о своей винной торговле. — Как же-с! Монополия! Министру финансов самому захотелось поторговать!

— Ох, посмотрю я на тебя! — стонала Настасья Петровна. — Договорись ты! Загонят тебя, куда ворон костей не таскал!

— Не испугаете-с! — отсекал Тихон Ильич, вскидывая бровями. — Нет-с! На всякий роток не накинешь платок!

И опять, еще резче чеканя слова, обращался к покупателю:

— И ржица-с радуется! Имейте в виду: всех радуется! Ночью-с — и то видать. Выйдешь на порог, глянешь по месяцу в поле: сквозит-с, как лысина! Выйдешь, глянешь: блистает!

В Петровки в тот год Тихон Ильич пробыл четверо суток в городе на ярмарке и расстроился еще больше — от дум, от жары, от бессонных ночей. Обычно отправлялся он на ярмарку

с большой охотой. В сумерки подмазывали телеги, набивали их сеном; в ту, в которой ехал сам хозяин с работником-стариком, клали подушки, чуйку. Выезжали поздно и, поскрипывая, тянулись до рассвета. Сперва вели дружественные разговоры, курили, рассказывали друг другу страшные старинные истории о купцах, убитых в дороге и на ночевках; потом Тихон Ильич укладывался спать — и так приятно было слышать сквозь сон голоса встречающих, чувствовать, как зыбко покачивается и как будто все под гору едет телега, ерзает щека по подушке, сваливается картуз и холодит голову ночная свежесть; хорошо было и проснуться до солнца, розовым росистым утром, среди матово-зеленых хлебов, увидеть вдаль, в голубой низменности, весело белеющий город, блеск его церквей, крепко зевнуть, перекреститься на отдаленный звон и взять вожжи из рук полусонного старика, по-детски ослабевшего на утреннем холодке, бледного как мел при свете зари... Теперь Тихон Ильич отослал телеги со старостой, а сам поехал один, на бегунках. Ночь была теплая, светлая, но ничто не радовало; за дорогу он устал; огоньки на ярмарке, в остроге и больнице, что при въезде в город, видны в степи верст за десять, и казалось, что до них никогда не доедешь, до этих дальних, сонных огоньков. А на постоялом дворе на Щепной площади было так жарко, так кусали блохи и так часто раздавались голоса у ворот, так гремели въезжавшие на каменный двор телеги и так рано заорали петухи, заворковали голуби и побелело за открытыми окнами, что он и глаз не сомкнул. Мало спал и вторую ночь, которую попробовал провести на ярмарке, в телеге: ржали лошади, горели огни в палатках, кругом ходили и разговаривали, а на рассвете, когда так и слипались глаза, зазвонили в остроге, в больнице — и над самой головой подняла ужасный рев корова...

— Каторга! — поминутно приходило в голову за эти дни и ночи.

Ярмарка, раскинувшаяся по выгону на целую версту, была, как всегда, шумна, бестолкова. Стоял нестройный гомон, ржание лошадей, трели детских свистулек, марши и польки гремящих на каруселях оркестрионов. Говорливая толпа мужиков и баб валом валила с утра до вечера по пыльным, унавоженным переулкам между телегами и палатками, лошадьми и коровами, балаганами и съестными, откуда несло вонючим чадом сальных жаровен. Как всегда, была пропасть барышников, придававших страшный азарт всем спорам и сделкам; бесконечными вереницами, с гнусавыми напевами тянулись слепые и убогие, нищие и калеки, на костылях и в тележках; медленно

двигалась среди толпы гремящая бубенчиками тройка исправника, сдерживаемая кучером в плисовой безрукавке и в шапочке с павлиньими перьями... Покупателей у Тихона Ильича было много. Подходили сизые цыгане, рыжие польские евреи в парусиновых балахонах и сбитых сапогах, загорелые мелкопоместные дворяне в поддевах и картузах; подходил красавец гусар князь Бахтин с женой в английском костюме, дряхлый севастопольский герой Хвостов — высокий и костистый, с удивительно крупными чертами темного морщинистого лица, в длинном мундире и в обвислых штанах, в сапогах с широкими носками и в большом картузе с желтым околышем, из-под которого были начесаны на виски крашенные волосы мертвого бурого цвета... Бахтин откидывался назад, глядя на лошадь, сдержанно улыбался в усы с подусниками, поигрывая ногой в рейтузе вишневого цвета. Хвостов, дошаркав до лошади, косившей на него огненным глазом, останавливался так, что казалось, что он падает, поднимал костыль и в десятый раз спрашивал глухим, ничего не выражающим голосом:

— Сколько просишь?

И всем надо было отвечать. И Тихон Ильич отвечал, но через силу, стискивая челюсти, и ломил такую цену, что все отходили ни с чем.

Он очень загорел, похудел и побледнел, запылится, чувствовал смертельную тоску и слабость во всем теле. Он расстроил желудок, да так, что начались корчи. Пришлось сходить в больницу. Но там он часа два ждал очереди, сидел в гулком коридоре, нюхая противный запах карболки, и чувствовал себя не Тихоном Ильичом, а так, как будто он был в прихожей хозяина или начальника. И когда доктор, похожий на дьякона, красный, светлоглазый, в кургузом черном сюртуке, пахнущем медью, сопя, приложил холодное ухо к его груди, он поспешил сказать, что «живот почти прошел», и только по робости не отказался от касторки. А воротясь на ярмарку, проглотил стакан водки с перцем и с солью и опять стал есть колбасу и подрукавный хлеб, пить чай, сырую воду, кислые щи — и все не мог утолить жажды. Звали знакомые «пивком освежиться» — и он шел. Орал квасник:

— Вот квасок, попыривает в носок! По копейке бокал, самый главный лимонад!

И он останавливал квасника.

— Вот-от морожено! — тенором кричал лысый потный мороженщик, брюхатый старик в красной рубахе.

И он ел с костяной ложечки мороженое, почти снег, от которого жестоко ломило в висках.

Пыльный, истолченный ногами, колесами и копытами, засоренный и унавоженный выгон уже пустел,— ярмарка разъезжалась. Но Тихон Ильич, точно назло кому-то, все держал и держал на жаре и в пыли непроданных лошадей, все сидел на телеге. Господи Боже, что за край! Черномзем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода. Город на всю Россию славен хлебной торговлей,— ест же этот хлеб досыта сто человек во всем городе. А ярмарка? Нищих, дурачков, слепых и калек,— да все таких, что смотреть страшно и тошно,— прямо полк целый!

Домой Тихон Ильич ехал в солнечное жаркое утро по Старой большой дороге. Ехал сперва городом, базаром, потом через мелкую и кислую от кожевенных заводов речку, а за речкой — в гору, через Черную Слободу. На базаре он когда-то служил вместе с братом в лавке Маторина. Теперь на базаре все кланялись ему. В Слободe прошло его детство,— на этой полугоре, среди вросших в землю мазанок с прогнившими и почерневшими крышами, среди навоза, который сушат перед ними для топки, среди мусора, золы и тряпок... Теперь и следа не было той мазанки, где родился и рос Тихон Ильич. На ее месте стоял новый тесовый домик со ржавой вывеской над входом: «Духовный портной Соболев». Все прочее было в Слободe по-старому: свиньи и куры возле порогов; высокие шесты у ворот, а на шестах — бараньи рога; белые большие лица кружевниц, выглядывающих из-за горшков с цветами, из крохотных окошечек; босые мальчишки с одной помочей через плечо, запускающие бумажного змея с мочальным хвостом; белобрысые тихие девочки, играющие возле завалинок в любимую игру — похороны кукол... На горе, в поле, он перекрестился на кладбище, за оградой которого, среди старых деревьев, была когда-то страшная могила богача и скряги Зыкова, провалившаяся в ту же минуту, как только засыпали ее. И, подумав, повернул лошадь к воротам кладбища.

У этих больших белых ворот сидела и вязала чулок старуха, похожая на старуху из сказки,— в очках, с клювом, с провалившимися губами — одна из вдов, живущих в приюте при кладбище.

— Здорово, бабка! — крикнул Тихон Ильич, привязывая лошадь к столбу у ворот.— Можешь мою лошадь постеречь?

Старуха встала, низко поклонилась и прошамкала:

— Могу, батюшка.

Тихон Ильич снял картуз, еще раз, подкатывая глаза под лоб, перекрестился на картину Успения Богородицы над воротами и прибавил:

- Много вас тут теперь?
- Целых двенадцать старушек, батюшка.
- Что ж, часто ругаетесь?
- Часто, батюшка...

И Тихон Ильич не спеша пошел среди деревьев и крестов, по аллее, ведущей к старой деревянной церкви. На ярмарке он постриг волосы, подравнивал и укоротил бороду — и очень по-молодел. Молодила его и худоба после болезни. Молодил загар, — белели нежной кожей только выстриженные треугольники на висках. Молодили воспоминания детства и молодости, новый парусиновый картуз. Он шел и глядел по сторонам... Как коротка и бестолкова жизнь! И какой мир и покой вокруг, в этом солнечном затишье, в ограде старого погоста! Горячий ветер проносился по верхушкам светлых деревьев, сквозившим на безоблачном небе, до времени поредевшим от зноя, волновал по камням, памятникам их прозрачную, легкую тень. А когда затихал, жарко пригревало солнце цветы и травы, сладко пели птицы в кустах, в сладкой истоме замирали на горячих дорожках бабочки... На одном кресте Тихон Ильич прочел:

Какие страшные оброки  
Смерть собирает от людей!

Но ничего страшного не было вокруг. Он шел, даже как бы с удовольствием замечая, что кладбище растет, что появилось много новых мавзолеев среди тех старинных камней в виде гробов на ножках, тяжких чугунных плит и огромных, грубых и уже гниющих крестов, которыми полно оно. «Скончалась 1819 года Ноября 7 в 5 часов утра» — такие надписи было жутко читать, нехороша смерть на рассвете ненастного осеннего дня, в старом уездном городе! Но рядом светил среди деревьев своей белизной гипсовый ангел с очами, устремленными в небо, и на цоколе под ним были выбиты золотые буквы: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе!» На железном, радужном от непогоды и времени, памятнике какого-то коллежского асессора можно было разобрать стихи:

Царю он честно послужил,  
Сердечно ближнего любил,  
Был уважаем от людей...

Стихи эти показались Тихону Ильичу лживыми. Но — где правда? Вот в кустах валяется человеческая челюсть, точно сделанная из грязного воска, — все, что осталось от человека... Но все ли? Гниют цветы, ленты, кресты, гробы и кости в земле, — все смерть и тлен! Но шел далее Тихон Ильич и читал:

«Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении».

Все надписи трогательно говорили о покое и отдыхе, о нежности, о любви, которой как будто нет и не будет на земле, о той преданности друг другу и покорности Богу, о тех горячих упованиях на жизнь будущую и свидание в иной, блаженной стране, которым веришь только здесь, и о том равенстве, что дает только смерть, — те минуты, когда мертвого нищего целуют в уста последним целованием, как брата, сравнивают его с царями и владыками... А там, в дальнем углу ограды, в кустах бузины, дремлющих на припеке, увидел Тихон Ильич свежую детскую могилку, крест, а на кресте — двустипшие:

тише, листья, не шумите,  
мово Костю не будите! —

и, вспомнив своего ребенка, задавленного во сне немой кухаркой, заморгал от наворачнувшихся слез.

По шоссе, идущему мимо кладбища и пропадающему среди волнистых полей, никто никогда не ездит. Ездят по пыльному проселку, рядом. По проселку поехал и Тихон Ильич. Навстречу ему пронеслась ободранная извозчичья пролетка, — лихо носятся уездные извозчики! — а в пролетке — городской охотник: у ног — пегая легавая собака, на коленях — ружье в чехле, на ногах — высокие болотные сапоги, хотя болот в уезде и не бывало. И Тихон Ильич сердито стиснул зубы: в работники бы этого лодаря! Полдненное солнце палило, ветер дул горячий, безоблачное небо становилось грифельным. И все сердитее отвертывался Тихон Ильич от пыли, летевшей по дороге, все озабоченнее косился на тощие, до времени подсыхающие хлеба.

Мерным шагом, с высокими посошками, шли толпы замученных усталостью и зноем богомолков. Они отвешивали Тихону Ильичу низкие, смиренные поклоны, но теперь ему уже опять все казалось жульничеством.

— Смирenniцы! А грызутся небось на ночевках, как собаки!

Подымая тучи пыли, гнали лошадемок пьяные мужики, возвращавшиеся с ярмарки, — рыжие, сивые, черные, но все одинаково безобразные, тощие и лохматые. И, обгоняя их гремящие телеги, Тихон Ильич мотал головой:

— У, нищелброды, пропади вы пропадом!

Один, в изорванной на ленты ситцевой рубахе, спал, колоутился, как мертвый, лежа на спине, закинув голову, задрал окровавленную бороду и распухший в засохшей крови нос.

Другой бежал, догонял сорванную ветром шапку, споткнулся — и Тихон Ильич с злобным наслаждением вытянул его кнутом. Попалась телега, полная решет, лопат и баб: сидя к лошади спинами, они тряслись и подпрыгивали; у одной на голове был новый детский картузик козырьком назад, другая пела; третья махала руками и с хохотом орала вдогонку Тихону Ильичу:

— Дядя! Чеку́ потерял!

За заставой, где свернуло шоссе в сторону, где отстали гремящие телеги и охватила тишина, простор и зной степи, опять почувствовал он, что все-таки самое главное на свете — «дело». Эх, и нищета же кругом! Дотла разорились мужики, трынки не осталось в оскудевших усадьбишках, раскиданных по уезду... Хозяина бы сюда, хозяина!

На полпути было большое село Ровное. Суховей пронесился вдоль пустых улиц, по лозинкам, спаленным жарою. У порогов ерошились, зарывались в золу куры. Грубо торчала на голом выгоне церковь дикого цвета. За церковью блестел на солнце мелкий глинистый пруд под навозной плотиной — густая желтая вода, в которой стояло стадо коров, поминутно отправлявшее свои нужды, и намыливал голову голый мужик. Он по пояс вошел в воду, на груди его блестел медный крестик, шея и лицо были черны от загара, а тело поразительно бледно и бело.

— Разнуздай-ка лошадь-то, — сказал Тихон Ильич, въезжая в пруд, пахнувший стадом.

Мужик кинул мраморно-синеватый обмылок на черный от коровьего помета берег и, с серой, намыленной головой, стыдливо закрываясь, поспешил исполнить приказание. Лошадь жадно припала к воде, но вода была так тепла и противна, что она подняла морду и отвернулась. Посвистывая ей, Тихон Ильич покачал картузом:

— Ну, и водица у вас! Ужли пьете?

— А у вас-то ай сахарная? — ласково и весело возразил мужик. — Тыщу лет пьем! Да вода что — вот хлебушка нетути...

За Ровным дорога пошла среди сплошных ржей, — опять тощих, слабых, переполненных васильками... А возле Выселок, под Дурновкой, тучей сидели на дуплистой корявой раките грачи с раскрытыми серебристыми клювами, — любят они почему-то пожарище: от Выселок осталось в эти дни только одно звание — только черные остовы изб среди мусора. Мусор курился молочно-синеватым дымком, кисло воняло гарью... И мысль о пожаре молнией пронзила Тихона Ильича. «Беда!» —

подумал он, бледнея. Ничего-то у него не застраховано, все может в один час слететь...

С этих Петровок, с этой памятной поездки на ярмарку, Тихон Ильич начал попивать — и таки частенько, не допьяну, но до порядочной красноты лица. Однако это ничуть не мешало делам, да не мешало, по его словам, и здоровью. «Водка кровь полирует», — говорил он. Жизнь свою он и теперь нередко называл каторгой, петлей, золотой клеткой. Но шагал он по своей дороге все увереннее, и несколько лет прошло так однообразно, что все слилось в один рабочий день. А новыми крупными событиями оказалось то, чего и не чаяли, — война с Японией и революция.

Разговоры о войне начались, конечно, бахвальством. «Казак желтую-то шкуру скоро спустит, брат!» Но скоро послышались иные речи.

— Своей земли девать некуда! — строгим хозяйственным тоном говорил и Тихон Ильич. — Не война-с, а прямо бессмыслица!

И в злорадное восхищение приводили его вести о страшных разгромах русской армии:

— Ух, здорово! Так их, мать их так!

Восхищала сперва и революция, восхищали убийства.

— Как дал этому самому министру под жилу, — говорил иногда Тихон Ильич в пылу восторга, — как дал — праху от него не осталось.

Но как только заговорили об отчуждении земель, стала просыпаться в нем злоба. «Все жиды работают! Все жиды-с, да вот еще лохмачи эти — студенты!» И непонятно было: все говорят — революция, революция, а вокруг — все прежнее, будничное: солнце светит, в поле ржи цветут, подводы тянутся на станцию... Непонятен был в своем молчании, в своих уклончивых речах народ.

— Скрытен он стал, народ-то! Прямо жуть, как скрытен! — говорил Тихон Ильич.

И, забыв о «жидах», прибавлял:

— Положим, что и музыка-то вся эта нехитрая-с. Правительство сменить да земелькой поровнять — это ведь и младенец поймет-с. И, значит, дело ясно, за кого он гнет, — народ-то. Но, конечно, помалкивает. И надо, значит, следить, да так норовить, чтоб помалкивал. Не давать ему ходу! Не то держись: почует удачу, почует шлею под хвостом — вдребезги расшибет-с!

Когда он читал или слышал, что будут отнимать землю только у тех, у кого больше пятисот десятин, он и сам стано-

вился «смутьяном». Даже в спор с мужиками пускался. Случалось — стоит возле его лавки мужик и говорит:

— Нет, это ты, Ильич, не толкуй. По справедливой оценке — это можно, взять-то ее. А так — нет, не хорошо...

Жарко, пахнет сосновым тесом, сваленным возле амбаров, напротив двора. Слышно, как за деревьями и за постройками станции сипит, разводит пары горячий паровоз товарного поезда. Без шапки стоит, шурясь и хитро улыбаясь, Тихон Ильич. Улыбается и отвечает:

— Так. А если он не хозяин, а лодарь?

— Кто? Барин-то? Ну, это дело особая. У такого-то и со всеми потрохами отнять не грех!

— Ну вот то-то и оно-то!

Но приходила другая весть — будут и меньше пятисот брать! — и сразу овладевала душой рассеянность, придирчивость. Все, что делается по дому, начинало казаться отвратительным.

Выносил из лавки Егорка, подручный, мучные мешки и начинал вытрясать их. Макушка клином, волосы жестки и густы — «и отчего это так густы они у дураков?» — лоб вдавленный, лицо как яйцо косое, глаза рыбы, выпуклые, а веки с белыми, телячьими ресницами точно натянуты на них: кажется, что не хватило кожи, что, если малый сомкнет их, нужно будет рот разинуть, если закроет рот — придется широко раскрыть веки. И Тихон Ильич злобно кричал:

— Далдон! Дулеб! Что ж ты на меня-то трясешь?

Горница его, кухня, лавка и амбар, где прежде была винная торговля, — все это составляло один сруб, под одной железной крышей. С трех сторон вплотную примыкали к нему навесы скотного варка, крытые соломой, — и получался уютный квадрат. Амбары стояли напротив дома, через дорогу. Направо была станция, налево шоссе. За шоссе — березовый лесок. И когда Тихону Ильичу было не по себе, он выходил на шоссе. Белой лентой, с перевала на перевал, убегало оно к югу, все понижаясь вместе с полями и снова поднимаясь к горизонту только от далекой будки, где его пересекала идущая с юго-востока чугунка. И если случалось, что ехал кто-нибудь из дурновских мужиков, — конечно, кто подельнее, поразумнее, например, Яков, которого все зовут Яковом Микитичем за то, что он «богат» и жаден, Тихон Ильич останавливал его.

— Хоть бы картузишко-то купил себе! — кричал он с усмешкой.

Яков, в шапке, в замашной рубахе, в коротких тяжелых портках и босой, сидел на грядке телеги. Он натягивал веревочные вожжи, останавливая сытую кобылу.

— Здорово, Тихон Ильич, — сдержанно говорил он.

— Здорово! Шапку-то, говорю, пора пожертвовать на галчиные гнезда!

Яков, с хитрой усмешкой в землю, кивал головой.

— Это... как сказать?.. не плохо бы. Да капитал-то, к примеру, не позволяет.

— Будет толковать-то! Знаем мы вас, казанских сирот! Девку отдал, малого женил, деньги есть... Чего тебе еще от Господа Бога желать?

Это льстило Якову, но сдерживало еще более.

— О, Господи! — вздыхая, бормотал он дрожащим голосом. — Деньги... У меня их, к примеру, и в заведение-то не бывало... А малый... что ж малый? Малый не радуется... Прямо надо сказать — не радуется!

Был Яков, как многие мужики, очень нервен и особенно тогда, когда доходило дело до его семьи, хозяйства. Был очень скрытен, но тут нервность одолевала, хотя изобличала ее только отрывистая, дрожащая речь. И, чтобы уже совсем растревожить его, Тихон Ильич участливо спрашивал:

— Не радуется? Скажи, пожалуйста! И все из-за бабы?

Яков, озираясь, скреб ногтями грудь:

— Из-за бабы, родимец ее расшиби...

— Ревнует?

— Ревнует... В снохачи меня записали...

И у Якова бегали глаза:

— Там нажалилась мужу, там нажалилась! Да что — отравить хотела! Иной раз, к примеру, остудишься... покуришь маленько, чтоб на груди полегчало... Ну, и сунула мне под подушку сигарку... Кабы не глянул — пропал бы!

— Что ж за сигарка такая?

— Костей мертвых натолкла да вместо табаку и всыпала...

— То-то малый-то дурак! Поучил бы ее по-русски!

— Куда тебе! Мне же, к примеру, на грудь полез! А сам как змей вьется!.. Ухвачу за голову, ан голова-то стриженная... Ухвачу за пельки — рубаху драть жалко!

Тихон Ильич качал головой, молчал минуту и, наконец, решился:

— Ну, а как у вас там? Все бунту ждете?

Но тут скрытность сразу возвращалась к Якову. Он усмехался и махал рукой.

— Ну! — скороговоркой бормотал он. — Какого там рожна — бунту! У нас народ смиренный... Смиренный народ...

И натягивал вожжи, будто не стоит лошадь.

— А сходка-то зачем в воскресенье была? — вдруг злобно кидал Тихон Ильич.

— Сходка-то? А чума их знает! Погалдели, к примеру...

— Знаю, о чем галдели-то!

— Да что ж, я не таюсь... Болтали, к примеру, что вышла, мол, распоряжение... вышла будто распоряжение — никак не работать у господ по прежней цене...

Очень обидно было думать, что из-за какой-то Дурновки руки отваливаются от дела. И дворов-то в этой Дурновке всего три десятка. И лежит-то она в чертовой яруге: широкий овраг, на одном боку — избы, на другом — усадьбишка. И переглядывается эта усадьбишка с избами и со дня на день ждет како-го-то «распоряжения»... Эх, взять бы несколько казаков с плетями!

Но «распоряжение» таки вышло. Пронесся в одно из воскресений слух, что в Дурновке — сходка, вырабатывается план наступления на усадьбу. С злобно-радостными глазами, с ощущением необычной силы и дерзости, с готовностью «самому черту рога сломать», Тихон Ильич крикнул «запречь в бегунки жеребчика» и через десять минут уже гнал его вдоль шоссе к Дурновке. Солнце садилось после дождливого дня в серо-красные тучи, стволы в березовом лесочке были алые, проселок, резко выделявшийся черно-фиолетовой грязью среди свежей зелени, был тяжел. С ляжек жеребчика, со шлеи, ерзавшей по ним, падала розовая пена. Крепко щелкая вожжами, Тихон Ильич свернул от чугунки, взял направо полевой дорогой и, увидав Дурновку, на минуту усомнился в правдивости слухов о бунте. Мирная тишина была вокруг, мирно пели свои вечерние песни жаворонки, просто и спокойно пахло влажной землей и сладостью полевых цветов... Но вдруг взгляд упал на пары возле усадьбы, густо усеянные желтым донником: на его парах пасся мужицкий табун! Началось, значит! И, передернув вожжи, Тихон Ильич пролетел мимо табуна, мимо риги, заросшей лопухами и крапивой, мимо низкорослого сада, полного воробьями, мимо конюшни и людской избы и вскочил во двор...

А потом творилось что-то несуразное: в сумерках, замирая от злости, обиды и страха, Тихон Ильич сидел в поле на бегун-

ках. Сердце колотилось, руки дрожали, лицо горело, слух был чуток, как у зверя. Он сидел, слушал крики, доносившиеся из Дурновки, и вспоминал, как толпа, показавшаяся огромной, повалила, завидя его, через овраг к усадьбе, наполнила двор галдой и бранью, сгрудилась у крыльца и прижала его к двери. В руках у него был только кнут. И он махал им, то отступая, то отчаянно кидаясь в толпу. Но еще шире и смелее махал палкой наступающий шорник, — злой, поджарый, с провалившимся животом, востроносый, в сапогах и лиловой ситцевой рубахе. Он, от лица всей толпы, орал, что вышло распоряжение «пошабашить это дело» — пошабашить в один и тот же день и час по всей губернии: согнать из всех экономий посторонних батраков, заступить на их работу местным, — по целковому на день! И Тихон Ильич орал еще неистовее, стараясь заглушить шорника:

— А-а! Вот как! Навострился, бродяга, у агитаторов? Насобачился?

И шорник цепко, на лету, ловил его слова.

— Ты бродяга-то! — вопил он, наливаясь кровью. — Ты, дурак седой! Ай я сам не знаю, сколько земли-то у тебя? Сколько, кошкодер? Двести? А у меня — черт! — у меня ее и всей-то с твое крыльцо! А почему? Кто ты такой? Кто ты такой есть, спрашиваю я тебя? Из каких таких квасов?

— Ну, помни-и, Митька! — крикнул наконец Тихон Ильич беспомощно и, чувствуя, что голова его мутитя, кинулся сквозь толпу к бегункам. — Помни ты это себе!

Но никто не боялся угроз — и дружный гогот, рев и свист понесли ему вслед... А потом он колесил вокруг усадьбы, замирал, слушал. Он выезжал на дорогу, на перекресток и становился лицом к заре, к станции, готовый каждую минуту ударить по лошади. Было тихо, тепло, сыро и темно. Земля, поднимаясь к горизонту, где еще тлел красноватый слабый свет, была черна, как пропасть.

— С-стой, стерва! — сквозь зубы шептал Тихон Ильич шевелившейся лошади. — Сто-ой!

А издали доносились голоса, крики. И изо всех голосов выделялся голос Ваньки Красного, уже два раза побывавшего на донецких шахтах. А потом над усадьбой вдруг поднялся темно-огненный столб: мужики зажгли в саду шалаш — и пистолет, забытый в шалаше сбежавшим мещанином-садовником, стал сам собой палить из огня...

Впоследствии узнали, что, и правда, совершилось чудо: в один и тот же день взбунтовались мужики чуть не по всему уезду. И гостиницы города долго были переполнены помещи-

ками, искавшими защиты у властей. Но впоследствии Тихон Ильич с великим стыдом вспоминал, что искал и он ее: со стыдом потому, что весь бунт кончился тем, что поорали по уезду мужики, сожгли и разгромили несколько усадеб, да и смолкли. Шорник вскоре как ни в чем не бывало опять стал появляться в лавке на Воргле и почтительно снимал шапку на пороге, точно не замечая, что Тихон Ильич в лице темнеет при его появлении. Однако еще ходили слухи, что собираются дурновцы убить Тихона Ильича. И он побаивался запаздывать на пути из Дурновки, ощупывал в кармане «бульдог», надоедливо оттягивавший карман шаровар, давал себе клятву сжечь дотла Дурновку в одну прекрасную ночь... отравить воду в дурновских прудах... Потом прекратились и слухи. Но Тихон Ильич стал твердо подумывать развязаться с Дурновкой. «Не те деньги, что у бабушки, а те, что в пазушке!»

В этот год Тихону Ильичу сровнялось уже пятьдесят. Но мечта стать отцом не покидала его. И вот она-то и столкнула его с Родькой.

Родька, долговязый, хмурый малый из Ульяновки, пошел назад тому два года во двор ко вдовому брату Якова, Федоту; женился, схоронил Федота, умершего с перепоя на свадьбе, и ушел в солдаты. А молодая,— стройная, с очень белой, нежной кожей, с тонким румянцем, с вечно опущенными ресницами,— стала работать в усадьбе, на поденщине. И эти ресницы волновали Тихона Ильича страшно. Носят дурновские бабы «рога» на голове: как только из-под венца, косы кладутся на макушке, покрываются платком и образуют нечто дикое, коровье. Носят старинные темно-лиловые поневы с позументом, белый передник вроде сарафана и лапти. Но Молодая,— за ней так и осталась эта кличка,— была и в этом наряде хороша. И однажды вечером, в темной риге, где Молодая одна дومتала колос, Тихон Ильич, оглянувшись, быстро подошел к ней и быстро сказал:

— В полсапожках ходить будешь, в платках шелковых... Четвертного не пожалею!

Но Молодая молчала как убитая.

— Слышишь, что ли? — шепотом крикнул Тихон Ильич.

Но Молодая точно окаменела, склонив голову и кидая граблями.

И так он и не добился ничего. Как вдруг явился Родька: раньше срока, кривой. Было это вскоре после бунта дурновцев, и Тихон Ильич тотчас же нанял Родьку вместе с женой в дурновскую усадьбу, ссылаясь на то, что «без солдата теперь не обойдешься». Под Ильин день Родька уехал в город за новыми

метлами и лопатами, а Молодая мыла полы в доме. Шагая через лужи, Тихон Ильич вошел в комнату, глянул на склонившуюся к полу Молодую, на ее белые икры, забрызганные грязной водой, на все ее раздавленное в замужестве тело... И вдруг, как-то особенно ловко владея своей силой и желанием, шагнул к Молодой. Она быстро выпрямилась, подняла возбужденное, покрасневшее лицо и, держа в руке мокрую ветошку, странно крикнула:

— Так и смажу тебя, малый!

Пахло горячими помоями, горячим телом, потом... И, схватив руку Молодой, зверски стиснув ее, тряхнув и выбив ветошку, Тихон Ильич правой рукой поймал Молодую за талию, прижал к себе, да так, что хрустнули кости, — и понес в другую комнату, где была постель. И, откинув голову, расширив глаза, Молодая уже не билась, не противилась...

Стало после этого мучительно видеть жену, Родьку, зная, что он спит с Молодой, что он свирепо бьет ее — ежедневно и еженощно. А вскоре стало и жутко. Неисповедимы пути, по которым доходит до правды ревнующий человек. И Родька дошел. Худой, кривой, длиннорукий и сильный, как обезьяна, с маленькой, коротко стриженной черной головой, которую он всегда гнул, глядя глубоко запавшим блестящим глазом исподлобья, он стал страшен. В солдатах он нахватался хохлацких слов и ударений. И если Молодая осмеливалась возражать ему на его краткие, жесткие речи, он спокойно брал ременный кнут, подходил к ней с злой усмешкой и, сквозь зубы, спокойно спрашивал, ударяя на «во»:

— Вы шо говóрите?

И так вытягивал ее, что у нее в глазах темнело.

Раз наткнулся на эту расправу Тихон Ильич и, не выдержав, крикнул:

— Что ты делаешь, мерзавец ты этакий?

Но Родька спокойно сел на лавку и только глянул на него.

— Вы шо говóрите? — спросил он.

И Тихон Ильич поспешил хлопнуть дверью...

Стали мелькать уже дикие мысли: подстроить так, например, чтобы Родьку где-нибудь придавило крышей или землей... Но прошел месяц, прошел другой, — и надежда, та надежда, которая и опьянила-то этими мыслями, жестоко обманула: Молодая не забеременела! Из-за чего же было после этого продолжать играть с огнем? Надо было разделаться с Родькой, как можно скорее прогнать его.

Но кем было его заменить?

Выручил случай. Неожиданно Тихон Ильич помирился с братом и уговорил его взять на себя управление Дурновкой.

Узнал он от знакомого в городе, что Кузьма долго служил конторщиком у помещика Касаткина и, что всего удивительнее,— стал «автором». Да, напечатали будто бы целую книжку его стихов и на обороте обозначили: «Склад у автора».

— Та-ак-с! — протянул Тихон Ильич, услышавши это.— Он Кузьма, а ничего! И что же, позволите спросить, так и напечатали: сочинение Кузьмы Красова?

— Все честь честью,— ответил знакомый, твердо веривший, впрочем,— как и многие в городе,— что стихи свои Кузьма «сдирает» из книг, из журналов.

Тогда Тихон Ильич, не сходя с места, за столом в трактире Даева, написал брату твердую и краткую записку: пора старикам помириться, покаяться. А на другой день и примирение, и деловой разговор у Даева.

Было утро, в трактире еще пусто. Солнце светило в запыленные окна, озаряло столики, покрытые сыроватыми красными скатертями, темный, только что вымытый отрубями пол, пахнувший конюшней, половых в белых рубашках и белых штанах. В клетке на все лады, как неживая, как заведенная, заливалась канарейка. Тихон Ильич, с нервным и серьезным лицом, сел за стол, и, как только потребовал пару чаю, над его ухом раздался давно знакомый голос.

— Ну, здравствуй.

Был Кузьма ниже его ростом, костистее, суше. Было у него большое, худое, слегка скуластое лицо, насупленные серые брови, небольшие зеленоватые глаза. Начал он не просто.

— Спервоначально изложу я тебе, Тихон Ильич,— начал он, как только Тихон Ильич налил ему чаю,— изложу тебе, кто я такой, чтоб ты знал...— Он усмехнулся: — С кем ты связываешься...

И у него была манера отчеканивать слоги, поднимать брови, расстегивать и застегивать при разговоре пиджак на верхнюю пуговицу. И, застегнувшись, он продолжал:

— Я, видишь ли,— анархист...

Тихон Ильич вскинул бровями.

— Не бойся. Политикой я не занимаюсь. А думать никому не закажешь. И вреда тебе тут — никакого. Буду хозяйствовать исправно, но, прямо говорю,— драть шкур не буду.

— Да и времена не те,— вздохнул Тихон Ильич.

— Ну, времена-то все те же. Можно еще,— драть-то. Да нет, не годится. Буду хозяйствовать, свободное же время отдам саморазвитию... чтению то есть.

— Ох, имей в виду: считаешься — в кармане не досчитаешься! — сказал, тряхнув головой и дернув кончиком губы, Тихон Ильич. — Да, пожалуй, и не наше это дело.

— Ну, я так не думаю, — возразил Кузьма. — Я, брат, — как бы это тебе сказать? — странный русский тип.

— Я и сам русский человек, имей в виду, — вставил Тихон Ильич.

— Да иной. Не хочу сказать, что я лучше тебя, но — иной. Ты вот, вижу, гордишься, что ты русский, а я, брат, ох, далеко не славянофил! Много баять не подобает, но скажу одно: не хвалитесь вы, за-ради Бога, что вы — русские. Дикий мы народ!

Тихон Ильич, нахмуриваясь, побарабанил пальцами по столу.

— Это-то, пожалуй, правильно, — сказал он. — Дикий народ. Шальной.

— Ну, вот то-то и есть. Я, могу сказать, довольно-таки пошатался по свету, — ну и что ж? — прямо нигде не видал скучнее и ленивее типов. А кто и не ленив, — покосился Кузьма на брата, — так и в том толку нет. Рвет, гандобит себе гнездо, а толку что?

— Как же так — толку что? — спросил Тихон Ильич.

— Да так. Вить его, гнездо-то, тоже надо со смыслом. Совью, мол, да и поживу по-человечески. Вот этим-то да вот этим-то.

И Кузьма постучал себя пальцем в грудь и в лоб.

— Нам, брат, видно, не до этого, — сказал Тихон Ильич. — «Поживи-ка у деревни, похлебай-ка серых щей, поноси худых лаптей!»

— Лаптей! — едко отозвался Кузьма. — Вторую тыщу лет, брат, таскаем их, будь они трижды прокляты! А кто виноват? Татаре, видишь ли, задавили! Мы, видишь ли, народ молодой! Да ведь авось и там-то, в Европе-то, тоже давили немало — монголы-то всякие. Авось и германцы-то не старше... Ну, да это разговор особый!

— Верно! — сказал Тихон Ильич. — Давай-ка лучше об делу поговорим!

Кузьма, однако, стал договаривать:

— В церковь я не хожу...

— Значит, ты молокан? — спросил Тихон Ильич и подумал: «Пропал я! Видно, надо развязываться с Дурновкой!»

— Вроде молокана, — усмехнулся Кузьма. — Да а ты-то ходишь? Кабы не страх да не нуждишка, — и совсем забыл бы.

— Ну, это не я первый, не я последний, — возразил Тихон

Ильич, нахмуриваясь.— Все грешны. Да ведь сказано: за один вздох все прощается.

Кузьма покачал головою.

— Говоришь привычное! — сказал он строго.— А ты остановись да подумай: как же это так? Жил-жил свиньей всю жизнь, вздохнул — и все как рукой сняло! Есть тут смысл ай нет?

Разговор становился тяжелым. «Правильно и это», — подумал Тихон Ильич, глядя в стол блестящими глазами. Но, как всегда, хотелось уклониться от дум и разговора о Боге, о жизни, и он сказал первое, что подвернулось на язык:

— И рад бы в рай, да грехи не пускают.

— Вот, вот, вот! — подхватил Кузьма, стуча ногтем по столу.— Самое что ни на есть любимое наше, самая погибельная наша черта: слово — одно, а дело — другое! Русская, брат, музыка: жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи! Ну, а засим говори дело...

Канарейка стихла. В трактир набирался народ. Теперь было слышно с базара, как где-то в лавке удивительно четко и звонко бил перепел. И, пока шел деловой разговор, Кузьма все прислушивался к нему и порою вполголоса подхватывал: «Ловко!» А договорившись, хлопнул по столу ладонью, энергично сказал:

— Ну, значит, так, — не стать перетакивать! — и, запустив руку в боковой карман пиджака, вынул целую кипу бумаг и бумажек, нашел среди них в мраморно-серой обложке книжечку и положил ее перед братом.

— Вот! — сказал он.— Уступаю твоей просьбе да своей слабости. Книжонка плохая, стихи необдуманные, давнишние... Но делать нечего. На, бери и прядь.

И опять Тихона Ильича взволновало, что брат его — автор, что на этой мраморно-серой обложке напечатано: «Стихотворения К. И. Красова». Он повертел книжку в руках и несмело сказал:

— А то бы прочитал что-нибудь... А? Уж сделай милость, прочти стишка три-четыре!

И, опустив голову, надев пенсне, далеко отставив от себя книжку и строго глядя на нее сквозь стекла, Кузьма стал читать то, что обычно читают самоучки: подражания Кольцову, Некитину, жалобы на судьбу и нужду, вызовы заходящей туче-непогоде. Но на худых скулах выступали розовые пятна, голос порою дрожал. Блестели глаза и у Тихона Ильича. Не важно было, хороши или дурны стихи, — важно то, что сочинил их его

родной брат, простой человек, от которого пахло махоркой и старыми сапогами...

— А у нас, Кузьма Ильич,— сказал он, когда Кузьма смолк и, сняв пенсне, потупился,— а у нас одна песня...

И неприятно, горько дернул губою:

— У нас одна песня: что́ почем?

Водворив брата в Дурновке, он, однако, принялся за эту песню еще охотнее, чем прежде. Перед тем, как сдать брату на руки Дурновку, он придрался к Родьке из-за новых гужей, съеденных собаками, и отказал ему. Родька дерзко усмехнулся в ответ и спокойно пошел в избу собирать свое добро. Молодая выслушала отказ тоже как будто спокойно,— она, разойдясь с Тихоном Ильичом, опять взяла манеру бесстрастно молчать, не глядеть ему в глаза. Но через полчаса, уже собравшись, Родька пришел вместе с ней просить прощения. Молодая стояла на пороге, бледная, с опухшими от слез веками, и молчала; Родька гнул голову, мял картуз и тоже пытался плакать,— противно гримасничал, а Тихон Ильич сидел да косил бровями, щелкал на счетах. Смиловивился он только в одном — не вычел за гужи.

Теперь он был тверд. Отделяваясь от Родьки и передавая дела брату, он чувствовал себя бодро, ладно. «Ненадежен брат, пустой, кажись, человек, ну, да куда сойдет!» И, возвратясь на Воргол, без усталости хлопотал весь октябрь. И, как бы в лад с его настроением, весь октябрь стояла чудесная погода. Но вдруг она переломилась,— сменилась бурей, ливнями, а в Дурновке случилось нечто совершенно неожиданное.

Родька работал в октябре на линии чугушки, а Молодая без дела жила дома, только изредка зарабатывала пятиалтынный, двугривенный в саду при усадьбе. Вела она себя странно: дома молчала, плакала, а в саду была резко-весела, хохотала, пела песни с Донькой Козой, очень глупой и красивой девкой, похожей на египтянку. Коза жила с мещанином, снимавшим сад, а Молодая, почему-то подружившаяся с ней, вызывающе поглядывала на его брата, нахального мальчишку, и, поглядывая, намекала в песнях, что она по ком-то сохнет. Было ли у нее с ним что-нибудь, неизвестно, но только кончилось все это большой бедой: уезжая под Казанскую в город, мещане устроили у себя в шалаше «вечерок», — пригласили Козу и Молодую, всю ночь играли на двух ливенках, кормили подруг жамками, поили чаем и водкой, а на рассвете, когда уже запрягли телегу, внезапно, с хохотом, повалили пьяную Молодую наземь, связали ей руки, подняли юбки, собрали их в жгут над головою и стали закручивать веревкой. Коза кинулась бежать, забилась

со страху в мокрые бурьяны, а когда выглянула из них,— после того, как телега с мещанами шибко покатила вон из сада,— то увидела, что Молодая, по пояс голая, висит на дереве. Был печальный туманный рассвет, по саду шептал мелкий дождик, Коза плакала в три ручья, зуб на зуб не попадал, развязывая Молодую, клялась отцом-матерью, что скорее ее, Козу, гром убьет, чем узнают на деревне, что случилось в саду... Но не сровнялось и недели, как пошли по Дурновке слухи о позоре Молодой.

Проверить эти слухи было, конечно, невозможно: «видеть — никто не видал, ну, а Коза-то и сбрехать недорого возьмет». Однако разговоры, вызванные слухами, не прекращались, и все с великим нетерпением ожидали прихода Родьки и его расправы с женой. Волнуясь,— опять выбившись из колеи! — ожидал этой расправы и Тихон Ильич, узнавший историю в саду от своих работников: ведь история-то могла кончиться убийством! Но кончилась она так, что еще неизвестно, что поразило бы Дурновку сильнее,— убийство или такой конец: в ночь на Михайлов день Родька, пришедший домой «рубашку сменить», умер «от живота»! На Воргле стало известно об этом поздно вечером, но Тихон Ильич тотчас же приказал запрячь лошадь и в темноте, под дождем, понесся к брату. И сгоряча, выпив за чаем бутылку наливки, в страстных выражениях, с бегающими глазами, покаялся ему:

— Мой грех, брат, мой грех!

Кузьма долго молчал, выслушав его, долго ходил по комнате, перебирая пальцы, ломая их и хрустя суставами. Наконец ни с того ни с сего сказал:

— Вот ты и подумай: есть ли кто лютее нашего народа? В городе за воришкой, схватившим с лотка лепешку грошовую, весь обжорный ряд гонится, а нагонит, мылом его кормит. На пожар, на драку весь город бежит, да ведь как жалеет-то, что пожар али драка скоро кончились! Не мотай, не мотай головой-то: жалеет! А как наслаждаются, когда кто-нибудь жену бьет смертным боем, али мальчишку дерет как сидорову козу, али потешается над ним? Это-то уж самая что ни на есть веселая тема.

— Имей в виду,— горячо перебил Тихон Ильич,— охальников всегда и везде было много.

— Так. А ты сам не привозил этого... ну, как его? Дурачка-то этого?

— Мотю-Утиную-Головку, что ли? — спросил Тихон Ильич.

— Ну, вот, вот... Не привозил ты его к себе на потеху?

И Тихон Ильич усмехнулся: привозил. Раз даже по чугунке

доставили к нему Мотю — в бочке сахарной. Начальство знакомое — ну, и доставили. А на бочке написали: «Осторожно. Дурак битый».

— И учат этих самых дураков для потехи рукоблудству! — горько продолжал Кузьма. — Мажут бедным невестам ворота дегтем! Травят нищих собаками! Для забавы голубей сшибают с крыш камнями! А есть этих голубей, видите ли, — грех великий. Сам дух святой, видите ли, голубиный образ принимает!

Самовар давно остыл, свечка оплыла, в комнате тускло синел дым, вся полоскательница полна была вонючими размокшими окурками. Вентилятор, — жестяная труба в верхнем углу окна, — был открыт, и порою в нем что-то начинало визжать, кружиться и скучно-скучно ныть — «как в волостном правлении», — думал Тихон Ильич. Но накурено было так, что не помогли бы и десять вентиляторов. А по крыше шумел дождь, а Кузьма ходил как маятник из угла в угол и говорил:

— Да-а, хороши, нечего сказать! Доброта неописанная! Историю считаешь — волосы дыбом станут: брат на брата; сват на свата, сын на отца, вероломство да убийство, убийство да вероломство... Былины — тоже одно удовольствие: «распорол ему груди белые», «выпускал черева на землю»... Илья, так тот своей собственной родной дочери «ступил на леву ногу и подернул за праву ногу»... А песни? Все одно, все одно: мачеха — «лихая да алчная», свекор — «лютый да придиричивый», «сидит на палате, ровно кобель на канате», свекровь опять-таки «лютая», «сидит на печи, ровно сука на цепи», золовки — непременно «псовки да клязницы», деверья — «злые насмешники», муж — «либо дурак, либо пьяница», ему «свекор-батюшка вялит жану больней бить, шкуру до пят спустить», а невестушка этому самому батюшке «полы мыла — во щи вылила, порог скребла — пирог спекла», к муженьку же обращается с такой речью: «Встань, постылый, пробудися, вот тебе помой — умойся, вот тебе онучи — утрися, вот тебе обрывок — удавися»... А прибаутки наши, Тихон Ильич! Можно ли выдумать грязней и похабнее! А пословицы! «За битого двух небитых дают»... «Простота хуже воровства»...

— Значит, по-твоему, нищим-то лучше жить? — насмешливо спросил Тихон Ильич.

И Кузьма радостно подхватил его слова:

— Ну, вот, вот! Нету во всем свете голее нас, да зато и нету охальнее на эту самую голь. Чем позлей уязвить? Бедностью! «Черт! Тебе лопать нечего...» Да вот тебе пример: Дениска... ну, этот... сын Серого-то... сапожник... на днях и говорит мне...

— Стой,— перебил Тихон Ильич,— а как поживает сам Серый?

— Дениска говорит — «с голоду околевает».

— Стерва мужик! — сказал Тихон Ильич убежденно.— И ты мне про него песен не пой.

— Я и не пою,— сердито ответил Кузьма.— Слушай лучше про Дениску-то. Вот он и рассказывает мне: «Бывало, в голодный год, выйдем мы, подмастерья, на Черную Слободу, а там этих пристигуток — видимо-невидимо. И голодные, шкуры, преголодные! Дашь ей полхунта хлеба за всю работу, а она и сожрет его весь под тобой... То-то смеху было!..» Заметь! — строго крикнул Кузьма, останавливаясь: — «То-то смеху было!»

— Да постой ты, Христа ради,— опять перебил Тихон Ильич,— дай мне про дело-то слово сказать!

Кузьма остановился.

— Ну, говори,— сказал он.— Только что говорить-то? Как быть тебе? Да никак! Денег дать — вот и вся недолга. Ведь ты подумай: топить нечем, есть нечего, хоронить не на что! А потом опять ее нанять. Ко мне, в кухарки...

Домой уехал Тихон Ильич чем свет, холодным туманным утром, когда еще пахло мокрыми гумнами и дымом, сонно пели петухи на деревне, скрытой туманом, спали собаки у крыльца, спала старая индюшка, взгромоздясь на сук полуголой, расцвеченной мертвыми осенними листьями яблони возле дома. В поле в двух шагах ничего не было видно за густой серой мглой, гонимой ветром. Спать Тихону Ильичу не хотелось, но чувствовал он себя измученным и, как всегда, шибко гнал лошадь, большую гнедую кобылу с подвязанным хвостом, намокшую и казавшуюся худей, щеголеватей, чернее. Он отвернулся от ветра, поднял справа холодный и влажный воротник чуйки, серебрившейся от мельчайшего дождевого бисера, сплошь покрывшего ее, глядел сквозь холодные капельки, висевшие на ресницах, как все толще наворачивается липкий чернозем на бегущее колесо, как стоит перед ним и не проходит целый фонтан высоко толкущихся комьев грязи, уже залепивших его голенища, косился на работающую ляжку лошади, на ее прижатые затуманенные уши... А когда он, с пестрым от грязи лицом, подлетел, наконец, к дому, первое, что кинулось ему в глаза, была лошадь Якова у коновязки. Быстро замотав вожжи на передок, он соскочил с бегунков, подбежал к отворенной двери лавки — и в испуге остановился.

— Далдо-он! — говорила за стойкой Настасья Петровна, видимо подражая ему, Тихону Ильичу, но больным, ласковым

голосом, и все ниже склонялась к ящику с деньгами, роясь в гремящих медяках и не находя в темноте монеты для сдачи.— Далдон! Где он, керосин-то, нынче дешевле продается?

И, не найдя, разогнулась, поглядела на стоящего перед ней в шапке и армяке, но босого Якова, на его косую бороду неопределенного цвета и прибавила:

— А не отравила она его?

И Яков поспешно забормотал:

— Не наша дело, Петровна... Чума ее знает... Наша дело — сторона... Сторона, к примеру...

И весь день у Тихона Ильича дрожали руки при воспоминании об этом бормотанье. Все, все думают, что отравила!

К счастью, тайна так и осталась тайной: Родьку схоронили, Молодая голосила, провожая гроб, так искренно, что была даже неприлична,— ведь эта голосьба должна быть не выражением чувств, а исполнением обряда,— и мало-помалу тревога Тихона Ильича улеглась.

Хлопот к тому же было по горло, а помощников — нет. От Настасьи Петровны помощи было мало. В батраки Тихон Ильич нанимал только «полетчиков» — до осенних заговен. И они уже разошлись. Остались только годовые,— кухарка, старик-караульщик, прозванный Жмыхом, да малый Оська, «олух царя небесного». А сколько заботы требовала одна скотина! Зимовало двадцать штук овец. В закуте сидело шесть черных, вечно угрюмых и чем-то недовольных кабанов. На варке стояло три коровы, бычок, красная телушка. На дворе — одиннадцать лошадей, а на стойле — сивый жеребец, злой, тяжелый, гривастый, грудастый,— мужик, но рублей в четыреста: отец аттестат имел, полторы тысячи стоил. И все это требовало глаза да глаза.

Настасья Петровна давно собиралась поехать погостить к знакомым в город. И наконец собралась и уехала. Проводив ее, Тихон Ильич бесцельно побрел в поле. По шоссе проходил с ружьем за плечами начальник почтового отделения в Ульяновке Сахаров, известный таким свирепым обращением с мужиками, что они говорили: «Подаешь письмо — руки-ноги трясутся!» Тихон Ильич вышел к нему под дорогу. Приподняв бровь, он глянул на него и подумал:

«Дурак старик. Ишь, слоны слоняет по грязи».

И дружелюбно крикнул:

— С полем, что ли, Антон Маркыч?

Почтарь остановился. Тихон Ильич подошел и поздоровался.

— Ну, какое там поле! — сумрачно ответил почтарь, ог-

ромный, сутулый, с густыми серыми волосами, торчавшими из ушей и ноздрей, с большими бровными дугами и глубоко запавшими глазами.— Так, прошелся ради геморроя,— сказал он, особенно старательно выговаривая последнее слово.

— А имейте в виду,— с неожиданной горячностью отозвался Тихон Ильич, протягивая руку с растопыренными пальцами,— имейте в виду: совсем опустели наши палестины! Звания не осталось — что птицы, что зверя-с!

— Леса везде вырубил, — сказал почтарь.

— Да еще как-с! Как вырубил-то-с! Под гребеночку! — подхватил Тихон Ильич.

И неожиданно прибавил:

— Линяет-с! Все линяет-с!

Почему сорвалось с языка это слово, Тихон Ильич и сам не знал, но чувствовал, что сказано оно все-таки недаром. «Все линяет,— думал он,— вот как скотина после долгой и трудной зимы...» И, простившись с почтарем, долго стоял на шоссе, недовольно поглядывая кругом. Опять накрапывал дождь, дул неприятный мокрый ветер. Над волнистыми полями — озимями, пашнями, жнивьями и коричневыми перелесками — темно. Сумрачное небо все ниже спускалось к земле. Оловом поблескивали залитые дождем дороги. На станции ждали почтового поезда в Москву, оттуда пахло самоваром, и это будило тоскливое желание уюта, теплой чистой комнаты, семьи...

Ночью опять лил дождь, темь была, хоть глаз выколи. Спал Тихон Ильич плохо, мучительно скрипел зубами. Его знобило, — верно, простыл, стоя вечером на шоссе, — чуйка, которой он прикрылся, сползала на пол, и тогда снилось то, что преследовало с самого детства, когда по ночам зябла спина: сумерки, какие-то узкие переулки, бегущая толпа, скачущие на тяжелых телегах, на злых вороних битюгах пожарные... Раз он очнулся, зажег спичку, глянул на будильник, — он показывал три, — поднял чуйку и, опять засыпая, стал тревожиться: обворуют лавку, сведут лошадей...

Иногда казалось, что он на постоялом дворе в Данкове, что ночной дождь шумит по навесу ворот и поминутно дергается, звонит колоколец над ними, — приехали воры, привели в эту непроглядную темь его жеребца и, если узнают, что он тут, убьют его... Иногда же возвращалось сознание действительности. Но и действительность была тревожна. Старик ходил под окнами с колотушкой, но то казалось, что он где-то далеко-далеко, то Буян, захлебываясь, рвал кого-то, с бурным лаем убежал в поле и вдруг снова появлялся под окнами и будил, упорно брехал, стоя на одном месте. Тогда Тихон Ильич соби-

рался выйти, глянуть,— что такое, все ли в порядке. Но как только доходило до того, чтобы решиться, встать, как гуще и чаще начинал стрекотать в темные окошечки крупный косой дождь, гонимый ветром из темных беспредельных полей, и милей отца-матери казался сон...

Наконец стукнула дверь, понесло сырым холодом,— караульщик, Жмых, шурша, втащил в прихожую вязанку соломы. Тихон Ильич открыл глаза: мутно, водянисто светало, окошечки были потные.

— Протопи, протопи, братуша,— сказал Тихон Ильич сиплым со сна голосом.— Да пойдем кормочку скотине дадим, и иди себе спать.

Старик, похудевший за ночь, весь синий от холода, сырости и усталости, глянул на него провалившимися мертвыми глазами. В мокрой шапке, в мокром коротком чекменишке и растрепанных лаптях, насыщенных водой и грязью, он что-то глухо заворчал, с трудом становясь на колени перед печкой, набивая ее холодной пахучей старновкой и вздувая серник.

— Ай язык-то корова отжевала? — сипло крикнул Тихон Ильич, слезая с постели.— Что под нос-то бубнишь?

— Цельную ночь шатался, теперь — кормочку давай,— пробормотал старик, не поднимая головы, как бы сам с собою.

Тихон Ильич покосился на него:

— Видел я, как ты шатался!

Он надел поддевку и, пересиливая мелкую дрожь в животе, вышел на истоптанное крылечко, на ледяную свежесть бледного ненастного утра. Всюду налило свинцовых луж, все стены потемнели от дождя. Чуть моросило, «но, верно, к обеду опять польет»,— подумал он. И с удивлением глянул на лохматого Буяна, кинувшегося к нему из-за угла: глаза блестят, язык свеж и красен, как огонь, горячее дыхание так и пышет псиной... И это после целой ночи беготни и лая!

Он взял Буяна за ошейник и, шлепая по грязи, обошел, оглядел все замки. Потом привязал его на цепь под амбаром, вернулся в сени и заглянул в большую кухню, в избу. В избе противно и тепло воняло; кухарка спала на голом конике, закрыв лицо фартуком, выставив костреч и подогнув к животу ноги в старых больших валенках с толсто натопанными по земляному полу подошвами; Оська лежал на нарах, в полушубке, в лаптях, уткнув голову в сальную тяжелую подушку.

«Связался черт с младенцем! — подумал Тихон Ильич с отвращением.— Ишь, всю ночь распутничала, а под утро — на лавочку!»

И, оглянув черные стены, маленькие окошечки, лохань с

помоями, громадную плечистую печь, громко и строго крикнул:

— Эй! Господа-бояре! Пора и честь знать!

Пока кухарка затапливала печку, варила кабанам картошки и раздувала самовар, Оська, без шапки, спотыкаясь от дремоты, таскал хоботье лошадям и коровам. Тихон Ильич сам отпер скрипучие ворота варка и первый вошел в его теплый и грязный уют, обнесенный навесами, денниками и закутами. Выше шиколки был унавожен варок. Навоз, моча, дождь — все слилось и образовало густую коричневую жижу. Лошади, уже темнея бархатной зимней шерстью, бродили под навесами. Овцы грязно-серой массой сбились в один угол. Старый бурый мерин одиноко дремал возле пустых яслей, измазанных тестом. С неприветливого ненастного неба над квадратом двора моросило и моросило. Кабаны болезненно, настойчиво ныли, урчали в закуте.

«Скука!» — подумал Тихон Ильич и тотчас же свирепо гаркнул на старика, тащившего вязанку старновки:

— Что ж по грязи-то тащишь, старая транда?

Старик бросил старновку наземь, поглядел на него и вдруг спокойно сказал:

— От транды слышу.

Тихон Ильич быстро оглянулся, — вышел ли малый, — и, убедившись, что вышел, быстро и тоже как будто спокойно подошел к старику, дал ему в зубы, да так, что тот головой мотнул, схватил его за шиворот и изо всей силы пустил к воротам.

— Вон! — крикнул он, задохнувшись и побледнев, как мел. — Чтоб твоего и духу здесь не пахло больше, рвань ты этакая!

Старик вылетел за ворота — и через пять минут, с мешком за плечами и с палкой в руке, уже шагал по шоссе, домой. Тихон Ильич трясущимися руками напоил жеребца, засыпал ему свежего овса, — вчерашний он только перерыл, переслунявил, — и, широко шагая, утопая в жиже и навозе, пошел в избу.

— Готово, что ли? — крикнул он, приотворив дверь.

— Поспеешь! — огрызнулась кухарка.

Избу застилало теплым пресным паром, валившим из чугуна от картошек. Кухарка, вместе с малым, яростно толкла их толкачами, посыпая мукой, и за стуком Тихон Ильич не слышал ответа. Хлопнув дверью, он пошел пить чай.

В маленькой прихожей он поддал ногой грязную тяжелую попону, лежавшую у порога, и направился в угол, где, над табуреткой с оловянным тазом, был прибит медный рукомой-

ник и на полочке лежал обмызганный кусочек кокосового мыла. Гремя рукомыльником, он косил, двигал бровями, раздувал ноздри, не мог остановить злого, бегающего взгляда и с особенной отчетливостью говорил:

— Вот так работнички! Скажи ты ему слово — он тебе десять! Скажи ему десять — он тебе сто! Да нет, брешешь! Авось не к лету, авось вас, чертей, много! К зиме-то, брат, жрать захочешь, — придешь, сукин сын, приде-ешь, покло-о-нишься!

Утирка висела возле рукомыльника с Михайлова дня. Она была так затерта, что, взглянув на нее, Тихон Ильич стиснул челюсти.

— Ох! — сказал он, закрывая глаза и тряся головой. — Ох, Мати Царица небесная!

Две двери вели из прихожей. Одна, налево, — в комнату для приезжающих, длинную, полутемную, окошечками на варок; стояли в ней два больших дивана, жестких, как камень, обитых черной клеенкой, переполненных и живыми и раздавленными, высохшими клопами, а на простенке висел портрет генерала с лихими бобровыми бакенбардами; портрет окаймляли маленькие портреты героев русско-турецкой войны, а внизу была подпись: «Долго будут дети наши и славянские братушки помнить славные дела, как отец наш, воин смелый, Сулейман-пашу разбил, победил врагов неверных и прошел с детьми своими по таким крутизнам, где носились лишь туманы да пернатые цари». Другая дверь вела в комнату хозяев. Там, направо, возле двери, блестела стеклами горка, налево белела печь-лежанка; печь когда-то треснула, ее, по белому, замазали глиной — и получились очертания чего-то вроде изломанного худого человека, крепко надоевшего Тихону Ильичу. За печью высилась двуспальная постель; над постелью был прибит ковер мутно-зеленых и кирпичных шерстей с изображением тигра, усатого, с торчащими кошачьими ушами. Против двери, у стены, стоял комод, крытый вязаной скатертью, на нем — венчалась шкатулка Настасьи Петровны...

— В лавку! — крикнула, приотворив дверь, кухарка.

Дали затянуло водянистым туманом, опять становилось похоже на сумерки, моросил дождь, но ветер повернул, дул с севера, — и воздух посвежел. Веселее и звончей, чем за все последние дни, крикнул на станции отходивший товарный поезд.

— Здорово, Ильич, — сказал, кивая мокрой маньчжурской папайой, трегубый мужик, державший у крыльца мокрую пегую лошадь.

— Здорово, — кинул Тихон Ильич, косо глянув на белый

крепкий зуб, блестящий из-за раздвоенной губы мужика.—  
Что надо?

И, торопливо отпустив соли и керосину, торопливо вернулся в горницы.

— Лба не дадут перекрестить, собаки! — бормотал он на ходу.

Самовар, стоявший на столе возле простенка, бурлил, хлопотал, зеркальце, висевшее над столом, подернулось налетом белого пара. Отпотели окна и олеография, прибитая под зеркалом, — великан в желтом кафтане и красных сафьяновых сапогах, с российским стягом в руках, из-за которого глядел башнями и глазами московский кремль. Фотографические карточки в рамках из раковин окружали эту картину. На самом почетном месте висел портрет знаменитого иерея в муаровой рясе, с реденькой бородкой, с припухшими щеками и маленькими пронзительными глазками. И, взглянув на него, Тихон Ильич истово перекрестился на икону в углу. Потом снял с самовара закопченный чайник, налил стакан чаю, крепко пахнущего распаренным веником.

«Лба не дадут перекрестить, — думал он, страдальчески морщась. — Зарезали, будь они прокляты!»

Казалось, что нужно что-то вспомнить, сообразить или просто лечь и выспаться как следует. Хотелось тепла, покоя, ясности, твердости мысли. Он встал, подошел к горке, задремавшей стеклами и посудой, взял с полки бутылку рябиновки, кубастенький стаканчик, на котором было написано: «Его же и монаси приемлют»...

— Ай не надо? — сказал он вслух.

И налил и выпил, еще налил и еще выпил. И, закусывая толстым кренделем, сел за стол.

Он жадно хлебал с блюдечка горячий чай, сосал, держа на языке, кусочек сахара. Он рассеянно и подозрительно покосился, хлебая чай, на простенок, на мужика в желтом кафтане, на карточки в рамках из раковин и даже на иерея в муаровой рясе.

«Не до леригии нам, свиньям!» — подумал он и, как бы оправдываясь перед кем-то, грубо прибавил: — Поживи-ка у деревни, похлебай-ка кислых щей!

Косясь на иерея, он чувствовал, что все сомнительно... даже, кажется, и обычное благоговение его к этому иерею... сомнительно и не продумано. Если подумать хорошенько... Но тут он поспешил перевести взгляд на московский кремль.

— Страм сказать! — пробормотал он. — В Москве сроду не бывал!

Да, не бывал. А почему? Кабаны не велят! То торгашество

не пускало, то постоянный двор, то кабак. Теперь вот не пускают жеребец, кабаны. Да что — Москва! В березовый легишко, что за шоссе, и то десять лет напрасно прособирался. Все надеялся как-нибудь урвать свободный вечерок, захватить с собой ковер, самовар, посидеть на траве, в прохладе, в зелени,— да так и не урвал... Как вода меж пальцев, скользят дни, опомниться не успел — пятьдесят стукнуло, вот-вот и конец всему, а давно ли, кажись, без порток бегал? Прямо вчера!

Неподвижно смотрели лица из рамок-раковинок. Вот, на полу (но среди густой ржи) лежат двое — сам Тихон Ильич и молодой купец Ростовцев — и держат в руках стаканы, ровно до половины налитые темным пивом... Какая дружба завязалась было между Ростовцевым и Тихоном Ильичом! Как запомнился тот серый масленичный день, когда снимались! Но в каком году это было? Куда исчез Ростовцев? Теперь нет даже уверенности, жив он или нет... А вот стоят, вытянувшись во фронт и окаменев, три мешанина, гладко причесанные на прямой ряд, в вышитых косоворотках, в длинных сюртуках, в расчищенных сапогах,— Бучнев, Выставкин и Богомолов. Выставкин, тот, что посредине, держит перед грудью хлеб-соль на деревянной тарелке, прикрытой полотенцем, расшитым петухами, Бучнев и Богомолов — по иконе. Эти снимались в пыльный, ветреный день, когда освящали элеватор,— когда приезжали архиерей и губернатор, когда Тихон Ильич так горд был тем, что попал в число публики, приветствовавшей начальство. Но что осталось в памяти от этого дня? Только то, что часов пять ждали возле элеватора, что тучей летела белая пыль по ветру, что губернатор, длинный и чистый покойник в белых штанах с золотыми лампасами, в шитом золотом мундире и треуголке, шел к депутации необыкновенно медленно... что было очень страшно, когда он заговорил, принимая хлеб-соль, что всех поразили необыкновенной худобой и белизной его руки, их кожа, тончайшая и блестящая, как снятая со змеи шкурка, блестящие, размытые перстни и кольца на сухих тонких пальцах с прозрачными длинными ногтями... Теперь губернатора этого уже нет в живых, нет в живых и Выставкина... А через пять, десять лет так же будут говорить и про Тихона Ильича:

— Покойный Тихон Ильич...

В горнице стало теплей и уютней от нагретой печки, зеркальце прояснилось, но за окнами ничего не было видно, стекла белели матовым паром,— значит, на дворе свежело. Все слышнее доносился нудный стон голодных кабанов,— и вдруг этот стон превратился в дружный и мощный рев: верно, кабаны

заслышали голоса кухарки и Оськи, тащивших к ним тяжелую лоханку с месивом. И, не кончив дум о смерти, Тихон Ильич кинул папиросу в полоскательницу, надернул поддевку и поспешил на варок. Широко и глубоко шагая по хлопляющему навозу, он сам отворил закуту — и долго не сводил жадных и тоскливых глаз с кабанов, кинувшихся к корыту, в которое с паром вывалили месиво.

Думу о смерти перебивала другая: покойный-то покойный, а этого покойного, может быть, в пример будут ставить. Кто он был? Сирота, нищий, в детстве не жравший по два дня куска хлеба... А теперь?

— Твою биографию жизни описать следует, — насмешливо сказал однажды Кузьма.

А насмехаться-то, пожалуй, и не над чем. Значит, была башка на плечах, если из нищего, едва умевшего читать мальчишки вышел не Тишка, а Тихон Ильич...

Но вдруг кухарка, тоже пристально глядевшая на кабанов, теснивших друг друга и залезавших в корыто передними ножками, икнула и сказала:

— Ох, Господи! Кабы у нас какой беды нынче не было! Вижу нынче во сне — нагнали к нам будто бы скотины на двор, нагнали овец, коров, свиней всяких... Да все черных, все черных!

И опять засосало сердце. Да, вот скотина эта самая! От одной скотины удавиться можно. Трех часов не прошло, — опять берись за ключи, опять таскай корм всему двору. В общем деннике — три дойных коровы, в отдельных — красная телушка, бык Бисмарк: им теперь подавай сена. Лошадям, овцам в обед полагается хоботье, а жеребцу — и сам черт не придумает что! Жеребец просунул морду в решетчатый верх двери, поднял верхнюю губу, обнажил розовые десны и белые зубы, исказил ноздри... И Тихон Ильич, с неожиданным для самого себя бешенством, вдруг гаркнул на него:

— Балуй, анафема, разрази тебя громом!

Опять он промочил ноги, прозяб — шла крупа — и опять выпил рябиновки. Ел картошки с подсолнечным маслом и солеными огурцами, щи с грибной подливкой, пшеничную кашу... Лицо покраснелось, голова отяжелела.

Не раздеваясь, — только стащив нога об ногу грязные сапоги, — он лег на постель. Но тревожило то, что придется вот-вот опять вставать: лошадям, коровам и овцам надо к вечеру задать овсяной соломы, жеребцу — тоже... или нет, лучше перебить ее с сеном, а потом полить и посолить хорошенько...

Только ведь непременно проспишь, если дашь себе волю. И Тихон Ильич потянулся к комоду, взял будильник и стал заводить его. И будильник ожил, застучал — и в горнице стало как будто покойнее под его бегущий мерный стук. Мысли спутались...

Но только что спутались, как внезапно раздалось грубое и громкое церковное пение. В испуге открыв глаза, Тихон Ильич сперва разобрал только одно: орут в нос два мужика, а из прихожей несет холодом и запахом мокрых чекменей. Потом вскочил, сел и разглядел, что это за мужики: один был слепец, рябой, с маленьким носом, длинной верхней губой и большим круглым черепом, а другой — сам Макар Иванович!

Был Макар Иванович когда-то просто Макаркою — так и звали все: «Макарка Странник» — и зашел однажды в кабак к Тихону Ильичу. Брел куда-то по шоссе, — в лаптях, скуфье и засаленном подряснике, — и зашел. В руках — высокая палка, выкрашенная медянкой, с крестом на верхнем конце и с копьём на нижнем, за плечами — ранец и солдатская манерка; волосы длинные, желтые; лицо — широкое, цвета замазки, ноздри — как два ружейных дула, нос — переломленный, вроде седельного арчака, а глаза, как это часто бывает при таких носах, светлые, остро-блестящие. Бесстыжий, сметливый, жадно куривший сигарку за сигаркой и пускавший дым в ноздри, говоривший грубо и отрывисто, тоном, совершенно исключаящим возражения, он очень понравился Тихону Ильичу, и как раз за этот тон, — за то, что сразу было видно: «прожженный сукин сын».

И Тихон Ильич оставил его у себя — за подручного. Скинул с него бродяжью одежду и оставил. Но вором Макарка оказался таким, что пришлось жестоко избить его и прогнать. А через год Макарка на весь уезд прославился прорицаниями — настолько зловещими, что его посещения стали бояться как огня. Подойдет к кому-нибудь под окно, заунывно затынет «со святыми упокой» или подаст кусочек ладану, щепотку пыли — и уж не обойтись тому дому без покойника.

Теперь Макарка, в своей прежней одежде и с палкой в руке, стоял у порога и пел. Слепой подхватывал, закатывая молочные глаза под лоб, и по той несоразмерности, которая была в его чертах, Тихон Ильич сразу определил его как беглого каторжника, страшного и беспощадного зверя. Но еще страшнее было то, что пели эти бродяги. Слепой, сумрачно шевеля поднятыми бровями, смело заливался мерзким гнусавым тено-

ром. Макарка, остро блестя неподвижными глазами, гудел свирепым басом. Выходило что-то не в меру громкое, грубо-стройное, древнецерковное, властное и грозящее.

Расплачется мать сыра-земля, разрыдается! — заливался слепой.

Ра-спла-че-тся, раз-ры-да-ется! — убежденно вторил Макарка.

Перед Спасом, перед образом, — вопил слепой.

Авось грешники покаются! —

угрожал Макарка, раскрывая нахальные ноздри. И, сливая свой бас с тенором слепого, твердо выговаривал:

Не минуют суда Божьего!  
Не минуют огня вечного!

И вдруг оборвал, — в лад со слепым, — крикнул и просто, своим обычным дерзким тоном, приказал:

— Пожалуйте, купец, рюмочкой погреться.

И, не дождавшись ответа, шагнул через порог, подошел к постели и сунул Тихону Ильичу в руки какую-то картинку.

Это была простая вырезка из иллюстрированного журнала, но; взглянув на нее, Тихон Ильич почувствовал внезапный холод под ложечкой. Под картинкой, изображавшей гнущиеся от бури деревья, белый зигзаг по тучам и падающего человека, была подпись: «Жан-Поль Рихтер, убитый молнией».

И Тихон Ильич опешил.

Но тотчас же медленно изорвал картинку на мелкие клочки. Потом слез с постели и, натягивая сапоги, сказал:

— Ты напугивай кого подурее меня. Я-то, брат, хорошо знаком с тобою! Получи, что следует, и — с Богом.

Потом пошел в лавку, вынес Макарке, стоявшему со слепым возле крыльца, два фунта кренделей, пару селедок и повторил еще строже:

— С Господом!

— А табачку? — нагло спросил Макарка.

— Табачку у самого к одному бочку, — отрезал Тихон Ильич. — Меня, брат, не перебрешешь!

И, помолчав, прибавил:

— Удавить тебя, Макарка, мало за твои шашни!

Макарка поглядел на слепого, стоявшего прямо, твердо, с высоко поднятыми бровями, и спросил его:

— Человек Божий, как по-твоему? Удавить ай расстрелять?

— Расстрелять вернее, — ответил слепой серьезно. — Тут, по крайности, прямая сообщение.

Смеркалось, гряды сплошных облаков синели, холодели, дышали зимою. Грязь густела. Спровадив Макарку, Тихон Ильич потопал озябшими ногами по крыльцу и пошел в горницу. Там он, не раздеваясь, сел на стул возле окошка, закурил и опять задумался. Вспомнились лето, бунт, Молодая, брат, жена... и то, что еще до сих пор не платил по квиткам за рабочую пору. Был у него обычай затягивать платежи. Девки и ребята, ходившие к нему на поденщину, по целым дням стояли осенью у его порога, жаловались на самые крайние нужды, раздражались, говорили иногда дерзости. Но он был непреклонен. Он кричал, призывая Бога во свидетели, что у него «во всем доме две тринки, хоть обыщи!» — и вывертывал карманы, кошелек, в притворном бешенстве плевал, как бы пораженный недоверием, «бессовестностью» просителей... И нехорошим показался ему этот обычай теперь. Беспощадно-строг, холоден был он с женой, чужд ей на редкость. И вдруг и это поразило его: Боже мой, да ведь он даже понятия не имеет, что она за человек! Чем она жила, что думала, что чувствовала все эти долгие годы, прожитые с ним в непрестанных заботах?

Он кинул папиросу, закурил другую... Ух, и умен эта бестия, Макарка! А раз умен, разве не может он предугадать — кого, что и когда ждет? Его же, Тихона Ильича, ждет непременно что-нибудь скверное. Ведь уж и не молоденький! Сколько его сверстников на том свете! А от смерти да старости — спасенья нет. Не спасли бы и дети. И детей бы он не знал, и детям был бы чужой, как чужд он всем близким — и живым и умершим. Народу на свете — как звезд на небе; но так коротка жизнь, так быстро растут, мужают и умирают люди, так мало знают друг друга и так быстро забывают все пережитое, что с ума сойдешь, если вдумаешься хорошенько! Вот он давеча про себя сказал:

— Мою жизнь описать следует...

А что описывать-то? Нечего. Нечего или не стоит. Ведь он сам почти ничего не помнит из этой жизни. Совсем, например, забыл детство: так, мерещится порой день какой-нибудь летний, какой-нибудь случай, какой-нибудь сверстник... Кошку чью-то опалил однажды — секли. Плеточку со свистулькой подарили — и несказанно обрадовали. Пьяный отец подозвал как-то, — ласково, с грустью в голосе:

— Поди ко мне, Тиша, поди, родной!

И неожиданно сгреб за волосы...

Если б жив был теперь шибай Илья Миронов, Тихон Ильич кормил бы старика из милости и не знал бы, едва замечал его.

Ведь было же так с матерью, спроси его теперь: помнишь мать? — и он ответит: помню какую-то гнутую старуху... навоз сушила, печку топила, тайком пила, ворчала... И больше ничего. Чуть не десять лет служил он у Маторина, но и эти десять лет слились в один-два дня: апрельский дождик накрапывает и пятнит железные листы, которые, грохоча и звеня, кидают на телегу возле соседней лавки... серый морозный полдень, голуби шумной стаей падают на снег возле лавки другого соседа, торгующего мукой, крупой, халуем, — гуртуют, воркуют, трепещут крыльями, — а они с братом бычьим хвостом подхлестывают жужжащий у порога кубарь... Маторин был тогда молод, крепок, сизо-красен, с чисто выбритым подбородком, с рыжими бачками, срезанными до половины. Теперь он обеднел, шмыгает старческой походкой в своей выгоревшей на солнце чуйке и глубоком картузе от лавки к лавке, от знакомого к знакомому, играет в шашки, сидит в трактире Даева, пьет понемножку, хмелеет и приговаривает:

— Мы — люди маленькие: выпили, закусили, расплатились — и домой!

А встречая Тихона Ильича, не узнает его, жалко улыбается:

— Никак ты, Тиша?

А сам Тихон Ильич не узнал при первой встрече, нынешней осенью, — брата родного: «Да неужели это Кузьма, с которым столько лет скитались по полям, деревням и проселкам?»

— Постарел ты, брат!

— Есть малость.

— А раненько!

— На то я и русский. У нас это — живо!

Закуривая третью папиросу, Тихон Ильич упорно и вопросительно глядел в окошко:

— Да неужели так и в других странах?

Нет, не может того быть. Бывали знакомые за границей, — например, купец Рукавишников, — рассказывали... Да и без Рукавишникова можно сообразить. Взять хоть русских немцев или жидов: все ведут себя дельно, аккуратны, все друг друга знают, все приятели, — и не только по пьяному делу, — все помогают друг другу; если разъезжаются — переписываются, портреты отцов, матерей, знакомых из семьи в семью передают; детей учат, любят, гуляют с ними, разговаривают, как с равными, — вот вспомнить-то ребенку и будет что. А у нас все враги друг другу, завистники, сплетники, друг у друга раз в год бывают, мечутся как угорелые, когда нечаянно заедет кто, кидаются комнаты прибираться... Да что! Ложки варенья жалуют гостю! Без упрасиваний гость лишнего стакана не выпьет...

Мимо окон прошла чья-то тройка. Тихон Ильич внимательно оглядел ее. Лошади поджарые, но, видно, резвые. Тарантас в исправности. За кем бы это? Поблизости ни у кого нет такой тройки. Поблизости помещики такая голь, что без хлеба по три дня сидят, последние ризы с икон продали, разбитого стекла вставить, крышу поправить не на что; окна подушками затыкают, а по полу, как дождь, лотки и ведра расставляют, — сквозь потолок как сквозь решета льет... Потом прошел Дениска-сапожник. Куда это? И с чем? Никак с чемоданом? Ох, и дурак же, прости Ты, Господи, мое согрешение!

Тихон Ильич сунул ноги в калоши и вышел на крыльцо. Выйдя и глубоко дохнув свежим воздухом предзимних синеватых сумерек, опять остановился, сел на лавочку... Да, вот тоже семейка — Серый с сыном! Мысленно Тихон Ильич сделал ту дорогу, которую одолел Дениска по грязи, с чемоданом в руке. Увидел Дурновку, свою усадьбу, овраг, избы, сумерки, огонек у брата, огоньки по дворам... Кузьма сидит небось и читает. Молодая стоит в темной и холодной прихожей, возле чуть теплой печки, греет руки, спину, ждет, когда скажут — «ужинать!» — и, поджав постаревшие, подсохшие губы, думает... О чем? О Родьке? Брехня все это, будто она его отравила, брехня! А если отравила... Господи Боже! Если отравила — что должна она чувствовать? Какой могильный камень лежит на ее скрытной душе!

Мысленно он взглянул с крыльца своего дурновского дома на Дурновку, на черные избы по косогору за оврагом, на риги и лозинки на задворках... За полями влево, на горизонте, — железнодорожная будка. В сумерки мимо нее проходит поезд — бежит цепь огненных глаз. А потом загораются глаза по избам. Темнеет, становится уютней — и неприятное чувство шевельнется каждый раз, когда взглянешь на избы Молодой и Серого, что стоят почти среди Дурновки, через три двора друг от друга: ни в той, ни в другой нет огня. Детишки Серого, как кроты, сплунут, шалеют от радости и удивления, когда удастся в какой-нибудь счастливый вечер осветить избы...

— Нет, грешно! — твердо сказал Тихон Ильич и поднялся с места. — Нет, безбожно! Надо хоть маленько помочь делу, — сказал он, направляясь к станции.

Морозило, душистее тянуло от вокзала запахом самовара. Чище блестели там огни, звучно громыхали бубенчики на тройке. Хоть куда троечка! Зато лошаденки мужиков-извозчиков, их крохотные тележки на полурассыпавшихся, косых колесах, облепленных грязью, — смотреть жалко! Визжала и глухо хлопала за палисадником вокзальная дверь. Обогнув его,

Тихон Ильич поднялся на высокое каменное крыльцо, на котором шумел двухведерный медный самовар, краснея, как огненными зубами, своей решеткой, и столкнулся как раз с кем и нужно было,— с Дениской.

Дениска, в раздумье опустив голову, стоял на крыльце и держал в правой руке дешевый серый чемоданишко, щедро усеянный жестяными шляпками и перевязанный веревкой. Был Дениска в поддевке, старой и, видимо, очень тяжелой, с обвисшими плечами и очень низкой талией, в новом картузе и разбитых сапогах. Ростом он не вышел, ноги его, сравнительно с туловищем, были очень коротки. Теперь, при низкой талии и сбитых сапогах, ноги казались еще короче.

— Денис? — окликнул Тихон Ильич.— Ты зачем здесь, архаровец?

Никогда и ничему не удивлявшийся Дениска спокойно поднял на него свои темные и томные, с грустной усмешкой, с большими ресницами глаза и стащил с волос картуз. Волосы у него были мышинового цвета и не в меру густы, лицо землистое и как будто промасленное, но глаза красивые.

— Здравствуйте, Тихон Ильич,— ответил он певучим городским тенорком и, как всегда, как будто застенчиво.— Еду... в эту самую... в Тулу.

— Это зачем же, позвольте спросить?

— Може, место какая выйдет...

Тихон Ильич оглядел его. В руке — чемодан, из кармана поддевки торчат какие-то зеленые и красные книжечки, свернутые в трубку. Поддевка...

— А щеголь-то ты не тульский!

Дениска тоже оглядел себя.

— Поддевка-то? — скромно спросил он.— Что ж, вот наживу в Туле денег, вендерку себе куплю,— сказал он, называя венгерку вендеркой.— Я летом как было справился! Газетами торговал.

Тихон Ильич кивнул на чемодан:

— А это что ж за штука такая?

Дениска опустил ресницы:

— Чумадан себе купил.

— Да уж в венгерке без чемодана никак нельзя! — насмешливо сказал Тихон Ильич.— А в кармане что?

— Так, кляповинка разная...

— Покажь-ка.

Дениска поставил чемодан на крыльцо и вытащил из кармана книжечки. Тихон Ильич взял и внимательно переглядел их. Песенник «Маруся», «Жена-развратница»; «Невинная де-

вушка в цепях насилия», «Поздравительные стихотворения родителям, воспитателям и благодетелям», «Роль...».

Тут Тихон Ильич запнулся, но Дениска, следивший за ним, бойко и скромно подсказал:

— Роль проталерията в России.

Тихон Ильич качнул головой.

— Новости! Жрать нечего, а чемоданы да книжки покупаешь. Да еще какие! Верно, недаром тебя смутьяном-то зовут. Ты, говорят, все царя ругаешь? Смотри, брат!

— Да авось не имение купил,— ответил Дениска с грустной усмешкой.— А царя я не трогал. На меня брешут, как на мертвого. А я и в мыслях того не держал. Ай я лунатик какой?

Завизжал блок на двери, показался станционный сторож,— седой отставной солдат с свистящей и хрипящей одышкой,— и буфетчик, толстый, с заплывшими глазками, с сальными волосами.

— Посторонитесь-ка, господа купцы, позвольте самоварчик взять...

Дениска посторонился и опять взялся за ручку чемодана.

— Спер, верно, где-нибудь? — спросил Тихон Ильич, кивая на чемодан и думая о деле, по которому пошел на станцию.

Дениска промолчал, нагнув голову.

— И пустой ведь?

Дениска рассмеялся.

— Пустой...

— С места-то прогнали?

— Я сам ушел.

Тихон Ильич вздохнул.

— Живой отец! — сказал он.— Тот тоже всегда так-то: наладят его в шею, а он — «я сам ушел».

— Глаза лопни, не брешу.

— Ну, хорошо, хорошо... Дома-то был?

— Был две недели.

— Отец-то опять без дела?

— Таперь без дела.

— Таперь! — передразнил Тихон Ильич.— Деревня сторосовая! А еще революцанер. Лезешь в волки, а хвост собачий.

«Авось и ты-то из тех же квасов»,— с усмешечкой подумал Дениска, не поднимая головы.

— Значит, сидит себе Серый да покуривает?

— Пустой малый! — убежденно сказал Дениска.

Тихон Ильич постучал ему в голову костяшками.

— Хоть бы дурь-то свою не выказывал! Кто ж так-то про отца говорит?

— Стар кобель, да не батькой звать,— ответил Дениска спокойно.— Отец — так корми. А он дюже меня кормил?

Но Тихон Ильич не дослушал. Он выбирал удобную мину-ту, чтобы начать деловой разговор. И, не слушая, перебил:

— А на билет-то до Тулы есть?

— А на кой он мне, билет-то? — ответил Дениска.— Приду в вагон,— прямо, Господи благослови, под лавку.

— А книжечки-то где расчитывать? Под лавкой-то не расчитывается.

Дениска подумал.

— Вона! — сказал он.— Не все ж под лавкой. Залезу в нужник,— читай хошь до свету.

Тихон Ильич сдвинул брови.

— Ну вот что,— начал он.— Вот что: всю эту музыку пора тебе бросать. Не маленький, дурак. Вали-ка назад, на Дурновку,— пора к делу прибиваться. А то ведь на вас смотреть тошно. У меня вон... надворные советники лучше живут,— сказал он, разумея дворовых собак.— Помогу, уж так и быть... на первое время. Ну, на товаришко там, на струмент... И будешь и сам кормиться, и отцу хоть немного подавать.

«К чему это он гнет?» — подумал Дениска.

А Тихон Ильич решил и закончил:

— Да и жениться пора.

«Та-ак!» — подумал Дениска и не спеша стал завертывать сигарку.

— Что ж,— спокойно и чуть-чуть печально отозвался он, не поднимая ресниц.— Я каляниться не стану. Жениться можно. По приституткам-то хуже ходить.

— Ну вот то-то и оно-то,— подхватил Тихон Ильич.— Только, брат, имей в виду,— жениться с умом надо. Их, детей-то, с капиталом хорошо водить.

Дениска захохотал.

— Чего гогочешь-то?

— Да как же! Водить! Вроде кур али свиней.

— Не меньше кур и свиней есть просят.

— А на ком? — с печальной усмешкой спросил Дениска.

— Да на ком? Да... на ком хочешь.

— Это на Молодой, что ли?

Тихон Ильич густо покраснел.

— Дурак! А Молодая чем плоха? Баба смирная, работающая...

Дениска помолчал, ковыряя ногтем жестяную шляпку на чемодане. Потом прикинулся дураком.

— Их, молодых-то, много,— сказал он протяжно.— Не

знаю, про какую вы балакаете... Про энту, что ль, с какой вы жили?

Но Тихон Ильич уже оправился.

— Жил я ай нет,— это не твоего, свинья, ума дело,— ответил он и так быстро и внушительно, что Дениска покорно пробормотал:

— Да мне одна честь... Я ведь это так... к слову...

— Ну, значит, и не брещи попусту. Людьми сделаю. Понял? Приданого дам... Понял?

Дениска задумался.

— Вот съезжу в Тулу...— начал он.

— Нашел петух земчужное зерно! На кой ляд тебе Тула-то?

— Дюже дома оголодал...

Тихон Ильич распахнул чуйку, сунул руку в карман поддевки,— решил было дать Дениске двугривенный. Но спохватился,— глупо деньги швырять, да еще и зазнается этот толкач, подкупают, мол,— и сделал вид, что ищет что-то.

— Эх, папиросы забыл! Дай-ка свернуть.

Дениска подал ему кисет. Над крыльцом уже зажгли фонарь, и при его тусклом свете Тихон Ильич вслух прочел крупно вышитое белыми нитками на кисете:

«Каво люблю таму дарю люблю сердечна дарю кисет на вечно».

— Ловко! — сказал он, прочитав.

Дениска застенчиво потупился.

— Значит, уж есть краля-то?

— Мало ль их, сук, шатается! — ответил Дениска беспечно.— А жениться я не отказываюсь. Ворочусь к мясоеду, и, Господи благослови...

Из-за палисадника загремела и с грохотом подкатила к крыльцу телега, вся закиданная грязью, с мужиком на грядке и ульяновским дьяконом Говоровым посредине, в соломе.

— Ушел? — тревожно крикнул дьякон, выкидывая из соломы ногу в новой калоше.

Каждый волос его красно-рыжей лохматой головы буйно вился, шапка съехала на затылок, лицо разорделось от ветра и волнения.

— Поезд-то? — спросил Тихон Ильич.— Нет-с, еще и не выходил-с.

— Ага! Ну, слава Богу! — радостно воскликнул дьякон и все-таки, выскочив из телеги, стремглав кинулся к дверям.

— Ну, стало быть, так,— сказал Тихон Ильич.— Стало быть — до мясоеда.

В вокзале пахло мокрыми полушубками, самоваром, ма-

хоркой, керосином. Накурено было так, что точило горло, еле светили лампы в дыму, в полумраке, сырости и холоде. Визжали и хлопали двери, толпились и галдели мужики с кнутами в руках — извозчики из Ульяновки, дожидавшиеся седока иногда по целой неделе. Среди них, подняв брови, ходил еврей-хлеботорговец, в котелке, в пальто с капюшоном. Возле кассы мужики тащили на весы чьи-то господские чемоданы и корзины, обшитые клеенкой, на мужиков кричал телеграфист, исполнявший должность помощника начальника станции, — молодой коротконогий малый с большой головой, с кудрявым желтым коком, по-казацки взбитым из-под картуза на левом виске, — и крупной дрожью дрожал сидевший на грязном полу пойнтер, пятнистый, как лягушка, с печальными глазами.

Протолкавшись среди мужиков, Тихон Ильич подошел к буфетной стойке, поболтал с буфетчиком. Потом пошел назад домой. На крыльце все еще стоял Дениска.

— Что я вас хотел попросить, Тихон Ильич, — сказал он еще застенчивее, чем всегда.

— Что еще такое? — сердито спросил Тихон Ильич. — Денег? Не дам.

— Нет, каких денег! Письмо мое прочитать.

— Письмо? К кому?

— К вам. Хотел давеча отдать, да не насмелился.

— Да об чем?

— Так... житье свое описал...

Тихон Ильич взял из рук Дениски клочок бумажки, сунул его в карман и зашагал домой по упругой, застывшей грязи.

Теперь он настроен был мужественно. Хотелось работы, и он с удовольствием подумал, что опять надо корм скотине задавать. Вот жалко — погорячился, Жмыха прогнал, придется теперь самому ночь не спать. На Оську надежда плохая. Небось спит уже. А не то сидит с кухаркой и ругает хозяина... И, пройдя мимо освещенных окон избы, Тихон Ильич прокрался в сени и прильнул ухом к двери. За дверью послышался смех, потом голос Оськи:

— А то вот еще история была. Жил на селе мужик, — бедный-пребедный, беднее во всем селе не было. И выехал раз, братцы мои, этот самый мужик пахать. И увяжись за ним кобель рябый. Мужик пашет, а кобель сычует по полю и все чтой-то роет. Рыл-рыл, да как заво-оет! Что за притча такая? Кинулся мужик к нему, глядь в яму, а там — чугуун...

— Чугуун? — спросила кухарка.

— Да ты слушай. Чугун-то чугуун, а в чугууне-то золото! Видимо-невидимо... Ну и забогател мужик...

«Ах, пустоболты!» — подумал Тихон Ильич и жадно стал слушать, что дальше будет с мужиком.

— Забогател мужик, расстроился, как купец какой...

— Не хуже нашего Тугоногого, — вставила кухарка.

Тихон Ильич усмехнулся: он знал, что его уже давно зовут Тугоногим... Нет человека без прозвища!

А Оська продолжал:

— Еще побогаче... Да... А кобель-то возьми да околеет. Как тут быть? Мочи нет — жалко кобеля, надо его честь честью хоронить...

Раздался взрыв хохота. Захохотал и сам рассказчик и еще кто-то — со старческим кашлем.

— Никак Жмых? — встрепенулся Тихон Ильич. — Ну, слава Богу. Ведь говорил дураку: верне-ешься!

— Пошел мужик к попу, — продолжал Оська, — пошел к попу: так и так, батюшка, кобель околеет, — надо хоронить...

Кухарка опять не выдержала и радостно крикнула:

— У, пропасти на тебя нету!

— Да дай досказать-то! — крикнул и Оська и опять перешел на повествовательный тон, изображая то попа, то мужика.

— Так и так, батюшка, — надо кобеля хоронить. Как затопает поп ногами: «Как хоронить? Кобеля на кладбище хоронить? Да я тебя в остроге сгною, да я тебя в кандалы забью!» — «Батюшка, да ведь это не простой кобель: он, как околевал, вам пятьсот целковых отказал!» Как ускочит поп с места: «Дурак! Да разве я тебя за то браню, что хоронить? За то браню — где хоронить? Его в церковной ограде надо хоронить!»

Тихон Ильич громко кашлянул и отворил дверь. За столом, возле коптящей лампочки, разбитое стекло которой было заклеено с одного боку почерневшей бумажкой, сидела, наклонив голову и завесив все лицо мокрыми волосами, кухарка. Она чесалась деревянным гребнем и сквозь волосы рассматривала гребень на свет. Оська, с сигаркой в зубах, хохотал, откинувшись назад и болтая лаптями. Возле печки, в полутемноте, краснел огонек — трубка. Когда Тихон Ильич дернул дверь и показался на пороге, хохот сразу оборвался и куривший трубку робко поднялся с места, вынул ее изо рта и сунул в карман... Да, Жмых! Но, как будто и ничего не было утром, Тихон Ильич бодро и дружелюбно крикнул:

— Ребят! Корм задавать...

С фонарем бродили по варку, освещая застывший навоз, рассыпанную солому, ясли, столбы, кидая огромные тени, будя кур на переметах под навесами. Куры слетали, падали и, наклоняясь вперед, засыпая на бегу, бежали куда попало. Боль-

шие лиловые глаза лошадей, поворачивавших на свет головы, блестели и глядели странно и великолепно. От дыхания шел пар, — точно все курили. И когда Тихон Ильич опускал фонарь и взглядывал вверх, он с радостью видел над квадратом двора, в глубоком чистом небе, яркие разноцветные звезды. Слышно было, как сухо шуршал по крышам и морозной свежестью дул в щели северный ветер... Слава тебе, Господи, зима!

Отделавшись и заказав самовар, Тихон Ильич с фонарем ходил в холодную пахучую лавку, выбрал маринованную селедку получше — неплохо перед чаем-то подсолонцевать! — и за чаем съел ее, выпил несколько стаканчиков горько-сладкой, желто-красной рябиновки, налил чашку чаю, нашел в кармане письмо Дениски и стал разбирать его каракули.

«Деня получил 40 рублей деняг патом собрал вещи...»

«Сорок! — подумал Тихон Ильич. — Ах, голоштаный!»

«Пашел Деня на станцию Тула и как раз его обабрали вытащили Все докопеки детца некуда и Взяла ево тоска...»

Разбирать эту брехню было трудно и скучно, но вечер длинен, делать нечего... Самовар хлопотливо бурлил, спокойным светом светила лампа — и была в тишине и покое вечера грусть. Мерно ходила колотушка под окнами, звонко выделявала на морозном воздухе плясовую...

«Патом соскучился я как ехоть домой дюже отец грозен...»

«Ну и дурак же, прости, Господи! — подумал Тихон Ильич. — Это Серый-то грозен!»

«Пайду В дремучай лес выбрать повыше ель и взять от сахарной головы бечевычку определится на ней навечную жизнь вновых брюках но безсапох...»

— Без сапог, что ли? — сказал Тихон Ильич, отставляя от уставших глаз бумажку. — Вот что правда, то правда...

Кинув письмо в полоскательницу, он поставил локти на стол, глядя на лампу... Чудной мы народ! Пестрая душа! То чистая собака человек, то грустит, жалкует, нежничает, сам над собою плачет... вот вроде Дениски или его самого, Тихона Ильича... Стекла запотели, четко и бойко, по-зимнему, выговаривала колотушка что-то ладное... Эх, если бы дети! Если бы — ну, любовница, что ли, хорошая вместо этой пухлой старухи, которая осточертела одними своими рассказами о княжне и о какой-то благочестивой монахине Поликарпии, что зовут в городе Полукарпией! Да поздно, поздно...

Расстегнув шитый ворот рубахи, Тихон Ильич с горькой усмешкой ощупал шею, впадины по шее за ушами... Первый знак старости эти впадины, — лошадиной становится голова! Да и прочее недурно. Он нагнул голову, запустил пальцы в

бороду... И борода седая, сухая, путаная. Нет, шабаш, шабаш, Тихон Ильич!

Он пил, хмелел, все плотнее стискивал челюсти, все пристальнее, щура глаза, глядел на горящий ровным огнем фитиль лампы... Вы подумайте: к брату родному нельзя съездить,— кабаны не пускают, свиньи! А и пустили бы,— тоже радости мало. Читал бы ему Кузьма нотации, стояла бы с поджатыми губами, с опущенными ресницами Молодая... Да от одних этих опущенных глаз сбежишь!

Сердце ныло, голову туманило... Где это слышал он эту песню?

Пришел мой скучный вечер,  
Не знаю, что начать,  
Пришел мой друг любезный,  
Он стал меня ласкать...

Ах да, это в Лебедяни, на постоялом дворе. Сидят в зимний вечер девки-кружевницы и поют... Сидят, плетут и, не поднимая ресниц, звонкими грудными голосами выводят:

Целует, обнимает,  
Прощается со мной...

Голову туманило,— то казалось, что все еще впереди — и радость, и воля, и беззаботность,— то опять начинало безнадежно ныть сердце. То он бодрился:

— Были б денежки в кармане,— будет тетушка в торгу!

То зло глядел на лампу и бормотал, разумея брата:

— Учитель! Проповедник! Филарет милосливый... Голоштаный черт!

Он допил рябиновку, накурил так, что потемнело... Неверными шагами, по зыбкому полу, вышел он в одном пиджаке в темные сени, ощутил крепкую свежесть воздуха, запах соломы, запах псины, увидел два зеленоватых огня, мелькнувших на пороге...

— Буян! — позвал он.

Изо всей силы ударил Буяна сапогом в голову и стал мочиться на порог.

Мертвая тишина стояла над землей, мягко черневшей в звездном свете. Блестели разноцветные узоры звезд. Слабо белело шоссе, пропадая в сумраке. Вдали глухо, точно из-под земли, слышался все возрастающий грохот. И вдруг вырвался наружу и загудел окрест: бело блистая цепью окон, освещенных электричеством, разметав, как летящая ведьма, дымные косы, ало озаренные из-под низу, несся вдали, пересекая шоссе, юго-восточный экспресс.

— Это мимо Дурновки-то! — сказал Тихон Ильич, икая и возвращаясь в горницу.

Сонная кухарка вошла в нее, тускло освещенную выгорающей лампой и провонявшую табаком, внесла сальный чугунок со щами, захватив его в черные от сала и сажи ветошки. Тихон Ильич покосился и сказал:

— Сию минуту выйди вон.

Кухарка повернулась, толкнула ногой дверь и скрылась.

Уже хотелось в постель, но он еще долго сидел, стискивая зубы и сонно, мрачно глядя в стол.

## II

Кузьма всю жизнь мечтал учиться и писать.

Что стихи! Стихами он только «баловался». Ему хотелось рассказать, как погибал он, с небывалой беспощадностью избразить свою нищету и тот страшный в своей обыденности быт, что калечил его, делал «бесплодной смоковницей».

Обдумывая свою жизнь, он и казнил себя и оправдывал.

Что ж, его история — история всех русских самоучек. Он родился в стране, имеющей более ста миллионов безграмотных. Он рос в Черной Слободе, где еще до сих пор насмерть убивают в кулачных боях, среди великой дикости и глубочайшего невежества. Буквам и цифрам выучил его и Тихона сосед, залищик калош Белкин; но и то только потому, что работы у него никогда не было, — уж какие там калоши в Слободе! — что драть кого-нибудь за «виски» всегда приятно и что не все же сидеть на завалинке распояской, наклонив и подставив солнцу лохматую голову, поплеывая на пыль между босыми ногами. В базарной лавке Маторина братья постигли письмо, чтение, стал Кузьма и книжками увлекаться, которые дарил ему базарный вольнодумец и чудак, старик-гармонист Балашкин. Но до чтения ли в лавке! Маторин очень часто кричал: «Я тебе уши оболтаю за твоих Гуаков, дьяволенок ты этакий!»

Там Кузьма и писать стал, — начал рассказом о том, как один купец ехал в страшную грозу, ночью, по Муромским лесам, попал на ночлег к разбойникам и был зарезан. Кузьма горячо изложил его предсмертные мольбы, думы, его скорбь о своей несправедливой и «так рано пресекшейся жизни...». Но базар без пощады окатил его холодной водой:

— Ну и дурак же ты, прости, Господи! «Рано»! Давно пора черту пузатому! Да и как же это ты узнал-то, что он думал? Ведь его же зарезали?

Тогда Кузьма написал кольцовским ладом песню престарелого витязя, завещающего сыну своего верного коня. «Он носил меня в моей младости!» — восклицал в песне витязь.

— Так! — сказали ему. — Сколько же лет было этому самому коню? Ах, Кузьма, Кузьма! Ты бы лучше дельное-то что-нибудь сочинил, — ну, хоть про войну, к примеру...

И Кузьма, подделываясь под базарный вкус, стал писать о том, о чем толковал тогда базар, — о русско-турецкой войне: о том, как —

В семьдесят седьмом году  
Вздумал турка воевать,  
Подвигал свою орду  
И хотел Россию взять, —

и как эта орда —

В безобразных колпаках  
Подкрадалась под Царь-Пушку...

С большой болью сознавал он потом, сколько тупости, невежества было в таких виршах и чего стоит этот хамский язык, это русское презрение к чужим колпакам!

Бросив лавку и продав, что осталось после умершей матери, стали они торговать. В родном городе бывать случалось часто, и с Балашкиным Кузьма дружил по-прежнему, книги, которые ему давал или указывал Балашкин, читал жадно. Однако, беседуя с Балашкиным о Шиллере, страстно мечтал он в то же время выпросить у него в долг «ливенку». Восторгаясь «Дымом», он, однако, твердил, что «кто умен, да не учен, в том без ученья много света». Побывав на могиле Кольцова, с восхищением записал безграмотную надпись на плите ее: «Подсим памятником погребено тело мещанина и поэта воронежскаго алесея василевича Калцова награжденного монаршаю милостию *просвещеннаго безнаука природою...*»

Старый, огромный, худой, зиму и лето не снимавший позеленевшей чуйки и теплого картуза, большелицкий, бритый и косоротый, Балашкин бывал почти страшен своими злыми речами, своим глубоким стариковским басом, колючей серебристой щетиной на серых щеках и зеленым левым глазом, выпученным, сверкавшим и косившим в ту сторону, куда был скошен и рот его. И как рявкнул он однажды, выслушав речь Кузьмы «о просвещении без наук», как сверкнул этим глазом, отшвырнул сигарку, которую насыпал махоркой над коробкой из-под килек!

— Ослиная челюсть! Что мелешь? Обдумал ли, что значит это наше «без наук просвещение»?

И опять схватил сигарку и стал глухо реветь:

— Боже милосливый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаев? Скажешь,— правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят?

Тревожно теребя пуговицы длиннополого сюртука, то застегиваясь, то расстегиваясь, хмурясь и ухмыляясь, смущенный Кузьма сказал в ответ:

— Такой народ! Величайший народ, а не «такой», позвольте вам заметить.

— Не смей призы раздавать! — опять крикнул Балашкин.

— Нет-с, посмею! Ведь писатели-то эти — дети этого самого народа. Платон Каратаев — вот признанный тип этого народа!

— А почему же не Ерошка, почему не Лукашка? Я, брат, ежели литературу-то захочу тряхнуть, всем богам по сапогам найду! Почему Каратаев, а не Разуваев с Колупаевым, не мироед-паук, не поп-лихоимец, не дьяк продажный, не Салтычиха какая-нибудь, не Карамазов с Обломовым, не Хлестаков с Ноздревым али, чтобы не далеко ходить, не твой негодяй-братец?

— Платон Каратаев...

— Вши съели твоего Каратаева! Не вижу тут идеала!

— А русские мученики, подвижники, угодники, Христа ради юродивые, раскольники?

— Что-о? А Колизеи, хрестовые походы, войны леригиозные, секты несметные? Лютер, наконец того? Нет, шалишь! Мне-то сразу клык не сломишь!

Да, нужно было одно — учиться. Но когда, где?

Целых пять лет торгашества — и это в самую лучшую пору жизни! Великим счастьем казался даже приезд в город. Отдых, знакомые, запах пекарен и железных крыш, мостовая на Торговой улице, чай, булки и персидский марш в трактире «Карс»... Политые из чайников полы в лавках, бой знаменитого перепела у дверей Рудакова, запах рыбного ряда, укропа, романовской махорки... Хорошая и страшная улыбка Балашкина при виде подходящего Кузьмы... Потом — громы и проклятия славянофилам, Белинский и скверная брань, бессвязное и страстное забрасывание друг друга именами, цитатами... И самые безнадежные выводы — в конце концов. «Теперь-то уж и впрямь шабаш,— во весь дух ломим назад, в Азию! — гудел старик и вдруг, понижая голос, озирался: — Слышал? Салты-

ков, говорят, помирает. Последний! Отравили, говорят...» А наутро — опять телега, степь, зной или грязь, напряженно-мучительное чтение под толчки бегущих колес... Долгое созерцание степной дали, сладко-тоскливый напев стихов в душе, перебиваемый думами о выручке или перебранкой с Тихоном... Волнующий запах дороги — пыли и дегтя... Запах мятных пряников и удушливая вонь кошачьих шкур из тележного ящика... Поистине изнурили эти годы, — по две недели не снимаемые рубахи, еда всухомятку, хромота от кривых сапог, от сбитых в кровь пяток, ночевки в чужих избах и сенцах!

Широко перекрестился Кузьма, когда наконец выскочил из этой кабалы. Но опять нужно было добывать как-нибудь кусок хлеба. Послужив без году неделю у гуртовщика под Ельцом, подался он на Воронеж. В Воронеже давно началась у него любовь, связь с чужой женой — туда и потянуло. И почти десять лет околачивался он в Воронеже — возле ссыпки хлеба, маклерства и пописывая в газетах статейки по хлебному делу, отводя или, вернее, растрawляя душу статьями Толстого, сатирами Щедрина. И все томился неотступной думой, что пропадает, пропала его жизнь.

В начале девяностых годов умер от грыжи Балашкин, а незадолго до того видел его Кузьма в последний раз. И что это за свидание было!

— Писать надо, — хмуро и зло жаловался один. — Вянешь, как лопух в поле...

— Да, да, — гудел другой, уже сонно кося своим помертвевшим глазом, с трудом ворочая челюстью и не попадая махоркой в сигарку. — Сказано: каждый час учись, каждый час мысли... гляди кругом-то — на все беды и убожества наши...

Потом застенчиво ухмыльнулся, отложил сигарку и полез в столик.

— Вот, — забормотал он, роясь в пачке каких-то истершихся бумаг и вырезок из газет. — Вот тут, друг, куча добра... Я все почитывал, да вырезывал, да записывал... Помру, — годится тебе, матерьял о русской жизни дьявольский. Да вот постой, я тебе найду сейчас одну историйку...

Но рылся, рылся — и не нашел, стал искать очки, стал тревожно шарить по карманам — и махнул рукой. И, махнув, насупился и замотал головой:

— Да нет, нет, — этого ты пока и касаться не смей. Ты еще неуч слабоумный. Руби древо по себе. На эту тему, что давал-то я тебе, про Сухоносова-то, написал? Нет еще? Ну, и вышел ослиная челюсть. Какая тема-то!

— Про деревню бы надо, про народ,— сказал Кузьма.— Вот, сами же говорите: Россия, Россия...

— А Сухоносый не народ, не Россия? *Да она вся — деревня, на носу заруби себе это!* Глянь кругом-то: город это, по-твоему? Стадо кажный вечер по улицам прет — от пыли соседа не видеть... А ты — «город»!

Сухоносый... Много лет не выходил из головы Кузьмы этот гнусный слободской старик, все имущество которого заключалось в загаженном клопами тюфяке и съеденном молью салопе,— в наследстве после жены. Он побирался, болел, голодал, ютился за полтинник в месяц в углу у торговки из «обжорного ряда» и, по мнению ее, мог отлично поправить свои обстоятельства продажей наследства. Но он дорожил им как зеницей ока — и, конечно, совсем не в силу нежных чувств к покойной: оно давало ему сознание, что у него есть, не в пример прочим, имущество. Ему казалось, что стоит оно дьявольски дорого: «Нынче таких салопов-то уж нетути!» Он не прочь, совсем не прочь был продать его. Но ломил такие нелепые цены, что в столбняк приводил покупателей... И Кузьма очень хорошо понимал эту слободскую трагедию. Но, начиная обдумывать, как изложить ее, начинал жить всем сложным бытом слободы, воспоминаниями детства, молодости — и запутывался, топил Сухоносова в обилии картин, осаждавших воображение, опускал руки, подавленный потребностью высказать свою собственную душу, выложить все, что калечило его собственную жизнь. А в этой жизни страшной всего было то, что она проста, обыденна, с непонятной быстротой размывается на мелочи...

С тех пор прошло еще немало бесплодных лет. Он маклерствовал в Воронеже, потом, когда умерла в родильной горячке женщина, с которой он жил, маклерствовал в Ельце, торговал в свечной лавке в Липецке, был конторщиком в экономии Касаткина. Стал он было страстным приверженцем Толстого: с год не курил, в рот не брал водки, не ел мяса, не расставался с «Исповедью», хотел переселиться на Кавказ, к духоборам... Но вот поручили ему побывать по делам в Киеве. Был ясный конец сентября, все было весело, прекрасно: и чистый воздух, и нежаркое солнце, и бег поезда, и открытые окна, и цветистые леса, мелькавшие вдоль них... Вдруг, на остановке в Нежине, увидел Кузьма большую толпу у дверей вокзала. Толпа окружала кого-то и кричала, волновалась, спорила. У Кузьмы застучало сердце, и он побежал к ней. Быстро протолкался — и увидел красную фуражку начальника станции и серую шинель рослого жандарма, который распекал трех покорно, но упрямо стоявших перед ним хохлов в коротких толстых свитках, в

несокрушимых сапогах, в коричневых бараньих шапках. Шапки эти едва держались на чем-то страшном — на круглых головах, увязанных жесткой от засохшей сукровицы марлей, над запухшими глазами, над вздутыми и остекленевшими лицами в зелено-желтых кровоподтеках, в запекшихся и почерневших ранах: хохлы были искусаны бешеным волком, отправлены в Киев в лечебницу и по суткам сидели чуть не на каждой большой станции без хлеба и без копейки денег. И узнав, что их не пускают теперь только потому, что поезд называется скорым, Кузьма внезапно пришел в ярость и, под одобрительные крики евреев из толпы, заорал, затопал ногами на жандарма. Его задержали, составили протокол, и, ожидая следующего поезда, напился он до беспамятства.

Хохлы были из Черниговской губернии. Всегда она представлялась ему глухим краем, с тусклой, пасмурной синью над лесами. О временах Владимира, о давней жизни, боровой, древнемужицкой, напомнили эти люди, испытавшие рукопашную схватку с бешеным зверем. И, напиваясь, наливая рюмку трясущимися после скандала руками, Кузьма восторгался: «Ах, и время же было!» Он задохнулся от злобы и на жандарма, и на этих покорных скотов в свитках. Тупые, дикие, будь они прокляты... Но — Русь, древняя Русь! И слезы пьяной радости и силы, искажающей всякую картину до противоестественных размеров, застилали глаза Кузьмы. «А непротивление?» — вспоминал он порою и качал головой, ухмыляясь. Спинай к нему, за общим столом, обедал молодецкий чистенький офицер; и Кузьма ласково-нагло смотрел на его белый китель, такой короткий, с такой высокой талией, что хотелось подойти, одернуть его. «И подойду! — думал Кузьма. — А вскочит, крикнет — в рыло! Вот тебе и непротивление...» Затем поехал в Киев и, махнув рукой на дела, три дня проходил, хмельной и радостно возбужденный, по городу, по обрывам над Днепром. И в Софийском соборе, за обедней, многие с удивлением оглядывали худого кацапа, стоявшего перед саркофагом Ярослава. Вид имел он странный: обедня кончалась, народ выходил, сторожа тушили свечи, он же, сжав зубы, опустив на грудь редкую сереющую бородку и страдальчески-счастливо закрыв глубоко запавшие глаза, слушал звон, певуче и глухо гудевший над собором... А вечером видели его у лавры. Он сидел возле калек-мальчишки, с мутной и грустной усмешкой глядя на ее белые стены, на золото мелких куполов в осеннем небе. Мальчишка был без шапки, с холщовой сумой через плечо, в грязной рвани на тощем теле, в одной руке держал он деревянную чашечку, с копейкой на дне, а другой все перекладывал, как

чужую, как вещь, свою уродливую, обнаженную до колена правую ногу, вялую, неестественно-тонкую, дочерна загорелую и поросшую золотистой шерстью. Никого не было кругом, но, сонно и болезненно откинув стриженую, жесткую от солнца и пыли голову, показывая тонкие детские ключицы и не обращая внимания на мух, точивших его сопли, мальчишка непрестанно тянул:

Взгляните, мамыши,  
какие мы есть несчастные, страдащие!  
Ах, не дай, Господь, мамыши,  
таким страдащим быть!

И Кузьма поддакивал: «Так, так! Правильно!»

В Киеве он ясно понял, что у Касаткина держаться ему осталось теперь недолго и что впереди — нищета, потеря лика человеческого. Так и случилось. Продержался он еще некоторое время, но в положении очень постыдном и тяжком: вечно полупьяный, неопрятный, охрипший, насквозь пропитанный махоркой, через силу скрывающий свою непригодность к делу... Затем пал еще ниже: вернулся в родной город, проживал последние гроши; ночевал целую зиму в общем номере на подворье Ходова, дни убивал в трактире Авдеича на Бабьем базаре. Из этих грошей много ушло на глупую затею — на издание книжки стихов, и пришлось потом шататься среди посетителей Авдеича и навязывать им книжку за полцены... Да мало того: он шутом стал! Раз стоял он на базаре возле мучных лавок и глядел на босяка, который кривлялся перед купцом Мозжухиным, вышедшим на порог. Мозжухин, сонно-насмешливый, похожий лицом на отражение в самоваре, занят был больше котом, который лизал его расчищенный сапог. Но босяк не унимался. Он ударил себя кулаком в грудь, стал, поднимая плечи и хрипя, декламировать:

Кто пьянствует с похмелья,  
Тот действует умно...

И Кузьма, блестя запухшими глазами, внезапно подхватил:

Да здравствует веселье,  
Да здравствует вино!

А проходившая мимо старуха мещанка, похожая лицом на старую львицу, остановилась, исподлобья поглядела на него и, подняв костыль, раздельно, зло сказала:

— Небось молитву-то не заучил так-то!

Ниже падать стало некуда. Но это-то и спасло его. Он пережил несколько страшных сердечных припадков — и сразу

оборвал пьянство, твердо решив начать самую простую, трудовую жизнь, снимать, например, сады, огороды...

Мысль эта радовала его. «Да, да,— думал он,— давно пора!» И правда, нужен был отдых, нищая, но чистая жизнь. Стал он уже стареть. Совсем посерела его бородка, поредели, приобрели железный цвет его причесанные на прямой ряд, завивавшиеся на концах волосы, потемнело и еще худее стало широкое в скулах лицо...

Весной, за несколько месяцев до мира с Тихоном, Кузьма прослышал, что сдается сад в селе Казакове, в родном уезде, и поспешил туда.

Было начало мая; после жары завернули холода, дожди, шли над городом осенние мрачные тучи. Кузьма, в старой чуйке и старом картузе, в сбитых сапогах, шагал на вокзал, за Пушкирную Слободу, и, качая головой, морщась от сигарки в зубах, заложив руки назад, под чуйку, иронически улыбался: навстречу ему только что пробежал босоногий мальчишка с кипой газет и на бегу бойко крикнул привычную фразу:

— Всяобщая забастовка!

— Опоздал, малый,— сказал Кузьма.— Поновой-то чего нету?

Мальчишка, блестя глазами, приостановился.

— Новые городской на вокзале отнял,— ответил он.

— Ай да конституция! — едко сказал Кузьма и двинулся дальше, прыгая среди грязи под темными от дождей, гнилыми заборами, под ветвями мокрых садов и окнами косых хибарок, сходявших под гору, в конец городской улицы. «Чудеса в решете!» — думал он, прыгая. Прежде в такую погоду по лавкам, трактирам зевали, еле перекидывались словами. Теперь по всему городу — толки о Думе, о бунтах и пожарах, о том, как «Муромцев отбрил пример-министра»... Ну, да ненадолго лягушке хвост! В городском саду играет оркестр стражников... Казаков прислали целую сотню... И третьего дня на Торговой улице один из них, пьяный, подошел к открытому окну общественной библиотеки и, расстегивая штаны, предложил барышне-библиотекарше купить «арихметику». Старик извозчик, стоявший подле, стал стыдить его, а казак выхватил шашку, рассек ему плечо и с матерной бранью кинулся по улице за летящими куда попало, ошалевшими от страха прохожими и проезжими...

— Кошкодер, кошкодер, завалился под забор! — тонкими голосами завопили за Кузьмой девочки, прыгавшие по камням мелкого слободского ручья.— Там кошек дерут, ему лапку дадут!

— У, паршивые! — цыкнул на них шедший впереди Кузьмы кондуктор в страшно тяжелой даже на вид шинели. — Ровесника нашли!

Но по голосу можно было понять, что он сдерживает смех. Старые глубокие калоши кондуктора были в засохшей грязи, хлястик шинели висел на одной пуговице. Бревенчатый мостик, по которому он шел, лежал косо. Дальше, возле рвов, промытых вешней водой, росли чахлые лозинки. И Кузьма невесело взглянул и на них, и на соломенные крыши по слободской горе, на дымчатые и синеватые тучи над ними, и на рыжую собаку, грызшую во рву кость...

«Да, да, — думал он, поднимаясь на гору. — Ненадолго лягушке хвост!» Поднявшись, увидав среди пустых зеленых полей красные вокзальные постройки, он опять ухмыльнулся. Парламент, депутаты! Вчера воротился он из сада, где, по случаю праздника, была иллюминация, взвивались ракеты, а стражники играли «Тореадора» и «Возле речки, возле моста», «Матчиш» и «Тройку», вскрикивая среди галопы: «Эй, мила-и!» — вернулся и стал звонить у ворот своего подворья. Дергал, дергал гремящую проволоку — ни души. Ни души и кругом, тишина, сумерки, холодное зеленоватое небо на закате за площадью в конце улицы, над головой — тучи... Наконец, плетется кто-то за воротами, кричит. Гремит ключами и бормочет:

— В отделку охромел...

— Отчего это? — спросил Кузьма.

— Лошадь убила, — ответил отворявший и, распахнув калитку, прибавил: — Ну, теперь еще двое осталось.

— Это судейские, что ли?

— Судейские.

— А не знаешь, зачем суд приехал?

— Депутата судить... Говорят, реку хотел отравить.

— Депутата? Дурак, да разве депутаты этим занимаются?

— А чума их знает...

На окраине слободы, возле порога глиняной мазанки, стоял высокий старик в опорках. В руке у старика была длинная ореховая палка, и, увидав проходящего, он поспешил притвориться гораздо более старым, чем был, — взял палку в обе руки, поднял плечи, сделал усталое, грустное лицо. Сырой, холодный ветер, дувший с поля, трепал космы его серых волос. И Кузьма вспомнил отца, детство... «Русь, Русь! Куда мчишься ты?» — пришло ему в голову восклицание Гоголя. — «Русь, Русь!.. Ах, пустоболты, пропасти на вас нету! Вот это будет почище — «депутат хотел реку отравить»... Да, но с кого и зыскивать-то? Несчастный народ, прежде всего — несчаст-

ный!..» И на маленькие зеленые глаза Кузьмы навернулись слезы — внезапно, как это стало часто случаться с ним последнее время. Забрел он недавно в трактир Авдеича на Бабьем базаре. Вошел во двор, утопая по щиколку в грязи, и со двора поднялся во второй этаж по такой вонючей, насквозь сгнившей деревянной лестнице, что даже его, человека, выдавшего виды, затошнило; с трудом отворил тяжелую, сальную дверь в клоках войлока, в рваных ветошках вместо обивки, с блоком из веревки и кирпича, — и ослеп от табачного дыма, оглох от звона посуды на стойке, от топота бегущих во все стороны половых и гнусавого крика граммофона. Затем прошел в дальнюю комнату, где народу было меньше, сел за столик, спросил бутылку меду... Под ногами, на затоптанном и заплеванном полу — ломтики высосанного лимона, яичная скорлупа, окурки... А у стены напротив сидит длинный мужик в лаптях и блаженно улыбается, мотает лохматой головой, прислушиваясь к кричащему граммофону. На столике сотка водки, стаканчик, крендели. Но мужик не пьет, а только мотает головой, смотрит себе на лапти и вдруг, почувствовав на себе взгляд Кузьмы, открывает радостные глаза, поднимает чудесное доброе лицо в рыжей вьющейся бороде. «Ну, залетел!» — восклицает он радостно и изумленно. И спешит добавить — в оправдание: «У меня, господин, брат тут служа... Брат родной...» И, сморгнув слезы, Кузьма стиснул зубы. У, анафемы, до чего затоптали, забили народ! «Залетел!» Это к Авдеичу-то! Да мало того: когда Кузьма поднялся и сказал: «Ну, прощай!» — поспешно поднялся и мужик и от полноты счастливого сердца, с глубокой благодарностью и за роскошь обстановки, и за то, что поговорили с ним по-человечески, поспешно ответил: «Не прогневайтесь...»

В вагонах прежде разговаривали только о дождях и засухах, о том, что «цены на хлеб Бог строит». Теперь у многих в руках шуршали газетные листы, а толк шел опять-таки о Думе, о свободах, отчуждении земель — никто и не замечал проливного дождя, шумевшего по крышам, хотя ехал народ все жадный до весенних дождей — хлеботорговцы, мужики, мешане с хуторов. Прошел молодой солдат с отрезанной ногой, в желтухе, с черными печальными глазами, ковыляя, стуча деревяшкой, снимая маньчжурскую папаху и, как нищий, крестясь при каждом подаении. И поднялся шумный негодующий говор о правительстве, о министре Дурново и каком-то казенном овсе... Издеваясь, вспомнили то, чем прежде восхищались: как «Витя», чтобы напугать японцев в Портсмуте, приказывал свои чемоданы увязывать... Сидевший против Кузьмы молодой че-

ловек, стриженный бобриком, покраснел, заволновался и поспешил вмешаться:

— Позвольте, господа! Вот вы говорите — свобода... Вот я служу письмоводителем у податного инспектора и посылаю статейки в столичные газеты... Разве это его касается? Он уверяет, что он тоже за свободу, а между тем узнал, что я написал о ненормальной постановке нашего пожарного дела, призывает меня и говорит: «Если ты будешь, сукин сын, писать эти штуки, я тебе голову отмотаю!» Позвольте: если мои взгляды левее его...

— Взгляды? — альтом карлика вдруг крикнул сосед молодого человека, толстый скопец в сапогах бутылками, мучник Черняев, все время косивший на него свиными глазками. И, не дав ему опомниться, завопил:

— Взгляды? Это у тебя-то взгляды? Это ты-то левее? Да я тебя еще без порток видал! Да ты с голоду околевал, не хуже отца своего, побирушки! Ты у инспектора-то ноги должен мыть да юшку пить!

— Кон-сти-ту-у-ция,— тонким голосом, перебивая скопца, запел Кузьма и, поднявшись с места, задевая колени сидящих, пошел по вагону к дверям.

Ступни у скопца были маленькие, полные и противные, как у какой-нибудь старой ключницы, лицо тоже бабье, большое, желтое, плотное, губы тонкие... Да хорош был и Полозов,— учитель прогимназии, тот, что так ласково кивал головой, слушая скопца и опираясь на трость, коренастый человек в серой шляпе и серой крылатке, ясноглазый, с круглым носом и роскошной русой бородой во всю грудь... Отворив дверь на площадку вагона, Кузьма с отрадой вздохнул холодной и душистой дождевой свежестью. Дождь глухо гудел по навесу над площадкой, лил с него ручьями, летел брызгами. Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свежее-зеленые опушки орешника. Пестрая куча мальчишек вдруг выскочила из-под насыпи и звонко, хором закричала что-то. Кузьма умиленно улыбнулся, и все лицо его покрылось мелкими морщинами. А подняв глаза, он увидел на противоположной площадке странника: доброе, измученное крестьянское лицо, седую бороду, широкополую шляпу, драповое пальто, подпоясанное веревкой, мешок и жестяной чайник за плечами, на тонких ногах — бахилки. И крикнул сквозь грохот и шум:

— С богомолья?

— Из Воронежа,— с милой готовностью ответил слабым криком странник.

— Жгут там помещиков?

— Жгут...

— И чудесно!

— Ась?

— Чудесно, говорю! — крикнул Кузьма.

И, отвернувшись, дрожащими руками, смаргивая набежавшие слезы умиления, стал свертывать сигарку... Но мысли опять спутались. «Странник — народ, а скопец и учитель — не народ? Рабство отменили всего сорок пять лет назад,— что ж и взыскивать с этого народа? Да, но кто виноват в этом? Сам же народ!» И лицо Кузьмы опять потемнело и осунулось.

На четвертой станции он слез и нанял подводу. Мужики-извозчики просили сперва семь рублей — до Казакова было двенадцать верст,— потом пять с полтиной. Наконец один сказал: «Трояк отдашь — повезу, а то и язык трепать нечего. Нынче вам не прежде...» Но не выдержал тона и прибавил привычную фразу: «Опять же корма дорогие...» И повез за полтора. Грязь была непролазная, телега маленькая, еле живая, лошаденка — ушастая, как осел, слабосильная. Медленно потянулись со двора станции, мужик, сидевший на грядке, стал томиться, дергая веревочные вожжи, как бы желая всем своим существом помочь лошади. Он на станции хвастался, что ее «не удержишь», и теперь, видимо, стыдился. Но что было хуже всего, так это он сам. Молодой, огромный, полный, в лаптях и белых онучах, в коротком чекмене, подпоясанном оборкой, и в старом картузе на прямых, желтых волосах. Пахнет курной избой, коноплей,— пахарь времен царя Гороха! — лицо белое, безусое, а горло распухшее, голос сильный.

— Как тебя зовут? — спросил Кузьма.

— Звали Ахванасьем...

«Ахванасьем!» — подумал Кузьма с сердцем.

— А дальше?

— Меньшов... Н-но, анчихрист!

— Дурная, что ль? — кивнул Кузьма на горло.

— Ну, уж и дурная,— пробормотал Меньшов, отводя глаза в сторону.— Квасу холодного напился.

— Да глотать-то больно?

— Глотать — нет, не больно...

— Ну, значит, и не болтай попусту,— сказал Кузьма строго.— Налаживай-ка лучше в больницу поскорее. Жена-тый небось?

— Женатый...

— Ну, вот видишь. Пойдут дети — и наградишь ты их всех в лучшем виде.

— Уж это как пить дать, — согласился Меньшов.

И, томясь, стал дергать вожжи. «Но-но... Сладу с тобой нету, анчихрист!» Наконец бросил это бесполезное занятие и успокоился. Долго молчал и вдруг спросил:

— Собрали, купец, Думу-то ай нет?

— Собрали.

— А Макаров-то, говорят, жив, — только не велел сказывать...

Кузьма даже плечами вздернул: черт знает что в этих степных головах! «А богатство-то какое!» — думал он, мучительно сидя с поднятыми коленями на голом дне телеги, на клоке соломы, крытом веретьем, и оглядывая улицу. Чернозем-то какой! Грязь на дорогах — синяя, жирная, зелень деревьев, трав, огородов — темная, густая... Но избы — глиняные, маленькие, с навозными крышами. Возле изб — разошедшие водовозки. Вода в них, конечно, с головастиками... Вот богатый двор. Старая рига на гумне. Варок, ворота, изба — все под одной крышей, под старновкой в начес. Изба кирпичная, в две связи, простенки разрисованы мелом: на одном — палочка и по ней вверх — рогульки, — елка, на другом что-то вроде петуха; окошечки тоже окаймлены мелом — зубцами. «Творчество! — ухмыльнулся Кузьма. — Пещерные времена, накажи, Бог, пещерные!» На дверях пунек — кресты, написанные углем, у крыльца — большой могильный камень, — видно, дед или бабка про смерть приготовили... Да, двор богатый. Но грязь кругом по колено, на крыльце лежит свинья. Окошечки — крохотные, и в жилой половине избы небось темнота, вечная теснота: полати, ткацкий стан, здоровенная печь, лохань с помоями... А семья большая, детей много, зимой — ягнята, телята... И сырость, угар такой, что зеленый пар стоит. А дети хнычут — и орут, получая подзатыльники; невестки ругаются — «чтоб тебя громом расшибло, сука подворотная!» — желают друг другу «подавиться куском на Велик день»; старушонка-свекровь поминутно швыряет ухваты, миски, кидается на невесток, засучивая темные жилистые руки, надывается от визгливой брани, брызжет слюной и проклятиями то на одну, то на другую... Зол, болен и старик, изнурил всех наставлениями...

Дальше повернули на выгон. На выгоне налаживалась ярмарка. Уже кое-где торчали остовы палаток, навалены были

Г юль-восточн  
ный

тящая вѣдьма, дымныя косы, ало озаренныя изъ-подъ  
низу, несся вдали, пересѣкая шоссе, ~~экспрессъ~~ ~~и~~ ~~и~~.

— Это мимо Дурновки-то! — сказала Тихонъ  
Ильичъ, икая. ~~Мимо Стрелы? Ахъ, забойщина!~~

Сонная кухарка вошла въ комнату, тускло освѣ-  
щенную выгорающей лампой и провонявшую таба-  
комъ, внесла салыный чугуничекъ со щами, захвативъ  
его въ черныя отъ сала и сажки ветошки. Тихонъ Иль-  
ичъ покосился и сказалъ:

— Сию минуту выйди вонъ.

Кухарка повернулась, толкнула ногой дверь и скры-  
лась.

~~Тогда онъ взглянул на календарь Гаскуша, обманула  
назадъ проу... рывкомъ перекинулъ и тѣмъ стискивалъ  
Онъ... сонно... слезы... глазами... безъ конца  
плетъ по... календарь... вдали... поварочка  
Гаскуша, Гаскуша, Гаскуша, Гаскуша~~

горнич-  
цу.

Нее,

Уже хотѣлось въ  
постель, но онъ еще  
должен сидѣть, ~~зубы~~  
~~зубы~~ стискавалъ  
зубы и сонно,  
мрачно глядя  
въ столъ,

колеса, глиняная посуда; дымилась смазанная на живую руку печь, пахло оладьями; серела походная кибитка цыган, и возле колес ее сидели овчарки на цепях. Дальше, возле казенного кабака, стояла тесная толпа девок, мужиков, и раздавались вскрикивания.

— Гуляет народ,— задумчиво сказал Меньшов.

— Это с какой радости? — спросил Кузьма.

— Надеется...

— На что?

— Известно, на что... На домового!

— И-их! — крикнул кто-то в толпе под крепкий глухой топот:

Не пахать, не косить —  
Девкам жамки носить!

И невысокий мужик, стоявший сзади толпы, вдруг взмахнул руками. Все на нем было домовито, чисто, прочно — и лапти, и онучи, и новые тяжелые портки, и очень коротко, кургузо подрезанная сборчатая юбка поддевки из толстого сивого сукна. Он вдруг мягко и ловко топнул лаптем, взмахнул руками, тенором крикнул: «Расступись, дай купцу глянуть!» — и, вскочив в разомкнувшийся круг, отчаянно затряс портками перед молодым высоким малым, который, склонив картуз, дьявольски вывертывал сапогами и, вывертывая, сбрасывал с себя, с новой ситцевой рубахи, черную поддевку. Лицо малого было мрачно, бледно и потно.

— Сынок! Желанный! — вопила, среди гама и дробного топота, старушка в поневе, протягивая руки.— Будя тебе за ради Христа! Желанный, будя — помрешь!

И сынок вдруг вскинул голову, сжал кулаки и зубы и с яростным лицом и топотом выкрикнул:

Ц-цьц, бабка, не кукуй...

— А она и так последние холсты для него продала,— говорил Меньшов, тащась по выгону.— Любит она его без памяти,— дело вдове,— а он почесть каждый день мордует ее, пьяный... Знать, того стоит.

— Это каким же манером — «того стоит»? — спросил Кузьма.

— А таким... Не потакай...

У одной избы сидел на скамейке длинный мужик — краше в гроб кладут: ноги стоят в валенках, как палки, большие мертвые руки ровно лежат на острых коленях, на протертых портках. На лоб по-стариковски надвинута шапка, глаза заму-

ченные, просящие, нечеловечески-худое лицо вытянуто, губы пепельные, полураскрытые...

— Это Чучень,— сказал Меньшов, кивая на больного.— От живота второй год помирает.

— Чучень? Это что ж — прозвище?

— Прозвища.

— Глупо! — сказал Кузьма.

И отвернулся, чтобы не видеть девчонки возле следующей избы: она, перевалившись назад, держала на руках ребенка в чепчике, пристально глазела на проезжих и, высовывая язык, нажевывала, готовила для ребенка соску из черного хлеба. А на крайнем гумне гудели от ветра лозинки, трепалось покосившееся пугало пустыми рукавами. Гумно, что выходит в степь, всегда неуютно, скучно, а тут еще это пугало, осенние тучки, от которых лежит на всем синеватый тон, и гудит ветер с поля, раздувает хвосты кур, бродящих по току, заросшему лебедой и чернобыльником, возле риги с раскрытым хребтом...

Лесок, синевший на горизонте,— две длинных лощины, заросших дубняком,— назывался Порточками. И около этих Порточек захватил Кузьму проливной дождь с градом до самого Казакова. Лошаденку Меньшов гнал под селом вскачь, а Кузьма, зажмурясь, сидел под мокрым холодным веретьем. Руки костенели от стужи, за ворот чуйки текли ледяные струйки, отяжелевшее под дождем веретье воняло прелым закромом. В голову стучали градины, летели лепешки грязи, в колесах, под колесами, шумела вода, где-то бляели ягнята... Наконец стало так душно, что Кузьма отшвырнул веретье с головы назад. Дождь редел, вечерело, мимо телеги по зеленому выгону бежало к избам стадо. Тонконогая черная овца отбилась в сторону, и за ней гонялась, накрывшись мокрой юбкой, блестя белыми икрами, босая баба. На западе, за селом, светлело, на востоке, на сизо-пыльной туче, над хлебами, стояли две зелено-фиолетовые дуги. Густо и влажно пахло зеленью полей и тепло — жильем.

— Где тут господский двор? — крикнул Кузьма плечистой бабе в белой рубахе и красной шерстяной юбке.

Баба стояла на каменном пороге избы и держала за руку голосившую девочку. Девочка голосила с невероятной пронзительностью.

— Двор? — повторила баба.— Чей?

— Господский.

— Чей? Ничего не слышать... А, да захлебнись ты, родимец те расшиби! — крикнула баба, дернув девочку за руку так сильно, что та перевернулась.

Расспросили в другом дворе. Проехали широкую улицу, взяли влево, потом вправо и мимо чьей-то старосветской усадьбы с забитым наглухо домом стали спускаться под крутую гору, к мосту через речку. С лица, с волос, с чекменя Меньшова падали капли. Умытое толстое лицо его с белыми крупными ресницами казалось еще тупее. Он с любопытством заглядывал куда-то вперед. Глянул и Кузьма. На том боку, на покатоном выгоне,— темный казаковский сад, широкий двор, обнесенный разрушающимися службами и развалинами каменной ограды; среди двора, за тремя засохшими елками,— обшитый серым тесом дом под ржаво-красной крышей. Внизу, у моста,— кучка мужиков. А впереди, на крутой размытой дороге, бьется в грязи, вытягивается вверх тройка худых рабочих лошадей, запряженных в тарантас. Оборванный, но красивый батрак, бледный, с красноватой бородкой, с умными глазами, стоял возле тройки, дергал вожжи и, надсаживаясь, кричал: «Н-но! Н-но-о!» А мужики с гоготом и свистом подхватывали: «Тпру! Тпру!» И отчаянно простирала вперед руки сидевшая в тарантасе молодая женщина в трауре, с крупными слезами на длинных ресницах. Отчаяние было и в бирюзовых глазах толстого рыжеусого человека, сидевшего с ней рядом. Обручальное кольцо блестело на его правой руке, сжимавшей револьвер; левой он все махал, и, верно, ему было очень жарко в верблюжьей поддевке и суконном картузе, съехавшем на затылок. А со скамеечки против сиденья с кротким любопытством озирались дети — мальчик и девочка, бледные, закутанные в шали.

— Это Мишка Сиверский,— громко и силло сказал Меньшов, объезжая тройку и равнодушно глядя на детей.— Его сожгли вчера... Видно, стоит того.

Делами господ Казаковых правил староста, бывший солдат-кавалерист, человек рослый и грубый. К нему, в людскую, и надо было обратиться, как сказал Кузьме работник, въезжавший на двор в телеге с накошенной крупной мокро-зеленой травой. У старосты случилось в этот день несчастье — умер ребенок,— и встречен был Кузьма неласково. Когда он, оставив Меньшова за воротами, подошел к людской, заплаканная, серьезная старостиха несла от сада рябую курицу, смиренно сидевшую у нее под мышкой. Среди колонок на ветхом крыльце стоял высокий молодой человек в высоких сапогах и ситцевой косоворотке и, увидав старостиху, крикнул:

— Агафья, куда-й-то ты ее несешь?

— Резать,— ответила старостиха серьезно и печально.

— Дай-ка я зарежу.

И молодой человек направился к леднику, не обращая внимания на дождь, снова начавший накрапывать с насупившегося неба. Отворив дверь ледника, он взял с порога топор — и через минуту раздался короткий стук, и безголовая курица, с красным обрубочком шеи, побежала по траве, спотыкнулась и завертелась, трепыхая крыльями и разбрасывая во все стороны перья и брызги крови. Молодой человек кинул топор и направился к саду, а старостиха, поймав курицу, подошла к Кузьме:

— Тебе что?

— Насчет сада, — сказал Кузьма.

— Федор Иваныча подожди.

— А где он?

— Сейчас с поля приедет.

И Кузьма стал ждать у открытого окна людской. Он заглянул туда, увидел в полутьме печь, нары, стол, корытце на лавке у окна — гробик корытцем, где лежал мертвый ребенок с большой, почти голой головкой, с синеватым личиком... За столом сидела толстая слепая девка и большой деревянной ложкой ловила из миски молоко с кусками хлеба. Мухи, как пчелы в улье, гудели над ней, ползали по мертвому личику, потом падали в молоко, но слепая, сидя прямо, как истукан, и уставив в сумрак бельма, ела и ела. Кузьме стало страшно, и он отвернулся. Порывами дул холодный ветер, от туч становилось все темнее. Среди двора возвышались два столба с перекладиной, на перекладине, как икона, висела большая чугунная доска: значит, по ночам боялись, били в нее. По двору валялись худые борзые собаки. Мальчик лет восьми бегал среди них, возил на тележке белоголового бурдастого братишку в большом черном картузе — и тележка неистово визжала. Дом был сер, грузен и, должно быть, чертовски скучен в эти сумерки. «Хоть бы огонь зажгли!» — подумал Кузьма. Он смертельно устал, ему казалось, что он выехал из города чуть не год тому назад...

А вечер и ночь он провел в саду. Староста, приехав верхом с поля, сердито сказал, что «сад давно сдаден», а на просьбу о ночлеге только нагло изумился. «Однако ты умен! — крикнул он. — Постоялый двор какой нашел! Много вас теперь таких шатается...» Но смилостивился — разрешил ночевать в саду, в бане. Кузьма расчелся с Меньшовым и пошел мимо дома к воротам липовой аллеи. Из темных раскрытых окон, из-за железных сеток от мух, гремел рояль, покрываемый великолепным голосом, затейливыми вокализациями, совершенно не идущими ни к вечеру, ни к усадьбе. По грязному песку покато́й аллеи, в конце которой, как на краю света, тускло белело облачное небо, не спеша двигался навстречу Кузьме темно-ры-

жий мужичок с ведром в руке, распоясанный, без шапки и в тяжелых сапогах.

— Ишь, ишь! — насмешливо говорил он на ходу, прислушиваясь к вокализмам.— Ишь, раздoleвается!

— Кто раздoleвается? — спросил Кузьма.

Мужичок поднял голову и приостановился.

— Да баггчук-то,— весело сказал он, сильно картавя.— Говорят, семей год так-то!

— Это какой же,— что курицу рубил?

— Н-нет, другой... Да это еще что! Иной раз как примется кричать: «Нонче ты, завтра я» — прямо бяда-а!

— Учится, верно?

— Хороша ученье!

Все это было рассказано как будто небрежно, вскользь, с передышками, но с такой едкой усмешкой и картавостью, что Кузьма внимательно глянул на встречного. Похож на дурачка. Волосы прямые, в скобку. Лицо небольшое, незначительное, старинно-русское, суздальское. Сапоги огромные, тело тощее и какое-то деревянное. Глаза под большими сонными веками — ястребиные. Опустит веки — обыкновенный дурачок, поднимет — даже жутко немного.

— Ты в саду сидишь? — спросил Кузьма.

— В саду. А то где же?

— А как тебя зовут?

— Меня-то? Аким... А тебя?

— Я сад хотел снять.

— Вона... хватился!

И Аким, насмешливо мотнув головой, пошел своей дорогой.

Ветер дул все порывистее, сыпля брызги с ярко-зеленых деревьев, за садом, где-то низко, гремел тугой гром, бледно-голубые сполохи озаряли аллею, и повсюду пели соловьи. Совершенно непонятно было, как могут они так старательно, в таком упорном забвении, так сладко и сильно цокать, щелкать и рассыпаться под этим тяжким свинцово-облачным небом, среди гнущихся от ветра деревьев, в густых мокрых кустах. Но еще непонятнее было, как проводят караульщики на этом ветру ночи, как спят они на сырой соломе под навесом гнилого шалаша!

Их было трое. И все были больны. Один молодой, бывший пекарь, теперь босяк, жаловался на лихорадку; у другого, Митрофана, тоже босяка, была чахотка, хоть он и говорил, что ему ничего, «только промеж крыльев холодит»; Аким страдал «куриной слепотой» — от худосочия плохо видел в сумерках. Пе-

карь, бледный и ласковый, сидел, когда подошел Кузьма, возле шалаша на корточках и, засучив на худых, слабых руках рукава ватной кофты, промывал в деревянной чашке пшено. Чахоточный Митрофан, человек небольшого роста, широкий и темнолицый, весь в мокром отрепье и опорках, сбитых и жестких, как старое лошадиное копыто, стоял возле пекаря и, подняв плечи, карими блестящими глазами, расширенными и ничего не выражающими, глядел на его работу. Аким притащил ведро и разводил, поддувал в земляной печурке против шалаша огонь. Он входил в шалаш, выбирал там пуки соломы посуше и опять шел к пахуче дымившему под чугуном костру, все бормоча что-то, дыша со свистом и насмешливо-загадочно, небрежно улыбаясь на подтруниванья сотоварищей, зло и ловко срезая их порою. А Кузьма закрывал глаза и слушал то разговор, то соловьев, сидя на сырой скамейке возле шалаша, осыпaeмый ледяными брызгами, когда по аллее под сумрачным, вздрагивавшим от бледных зарниц и рокошущим небом пронесился сырой ветер. Под ложечкой сосало от голода и тютюна. Кулеш, казалось, никогда не поспеет, из головы не выходила мысль, что, может, и самому придется жить такой же звериной жизнью, как эти караульщики... И раздражали порывы ветра, дальний однообразный гром, соловьи и медлительная небрежно-едкая картавость Акима, его скрипучий голос.

— Ты бы, Акимушка, хотя поясок-то купил,— притворно-просто говорил пекарь, труня и поглядывая на Кузьму,— приглашая и его послушать Акима.

— Вот погоди,— рассеянно-насмешливо отвечал Аким, снимая длинной ложкой из закипевшего котелка пенистую жижу.— Вот отживем у хозяина лето — сапоги тебе со скрипом куплю.

— «Со скггипом»! Да я у тебя не прошу.

— А сам в опорках!

И Аким стал заботливо пробовать с ложки жижу.

Пекарь смутился и вздохнул:

— Уж где нам сапоги носить!

— Да будет вам,— сказал Кузьма,— вы вот лучше скажите, как вы тут коштуетесь. Небось каждый день все кулеш да кулеш?

— А тебе что ж — рыбки, ветчинки захотелось? — спросил Аким, не оборачиваясь и облизывая ложку.— Она бы ничего так-то: водочки осьмушку, сомовинки хунтика три, хвостик ветчинки, чайку хруктового... А это не кулеш, а называется реденькая кашка.

— А щи, похлебку варите?

— У нас, брат, были они, ши-то, да какие еще! На кобеля плеснешь — шерсть соскочит!

Кузьма покачал головой:

— А ведь это ты от болезни так зол! Полечился бы, что ли, маленько...

Аким не ответил. Огонь уже потухал, под чугуном краснела горка угольков: сад темнел и темнел, и голубые сполохи при порывах ветра, раздувавших рубаху Акима, стали бледно озарять лица. Митрофан сидел рядом с Кузьмой, опершись на палку, пекарь — на пне под липой. Услышав последние слова Кузьмы, пекарь стал серьезен.

— А я так полагаю,— сказал он покорно и грустно,— что не иначе, как все Господь. Не даст Господь здоровья, так никакие доктора тебе не помогут. Вон Аким правду говорит: раньше смерти не помрешь.

— Доктора! — подхватил Аким, глядя на угли и особенно едко выговаривая это слово: дохтогга!..— Доктора, брат, свой карман блюдут. Я б ему, доктору-то энтому, кишки за его дела выпустил!

— Не все блюдут,— сказал Кузьма.

— Я всех не видал.

— Ну, и не бреши, если не видал,— строго сказал Митрофан.

Но тут насмешливое спокойствие внезапно покинуло Акима. И, выкотив свои ястребиные глаза, он вдруг вскочил и закричал с запальчивостью идиота:

— Что? Это я-то не брешу? Ты был в больнице-то? Был? А я был! Я в ней семь дён сидел,— много он мне булок-то давал, дохтор-то твой? Много?

— Да дурак,— перебил Митрофан,— булки не всем же полагаются: это по болезни.

— А! По болезни! Ну, и подавись он ими, пузо его лопни! — крикнул Аким.

И, бешено озираясь, шваркнул длинную ложку в «реденькую кашку» и пошел в шалаш.

Там он, со свистом дыша, зажег лампочку, и в шалаше стало уютно. Потом достал откуда-то из-под крыши ложки, кинул их на стол и крикнул: «Несите, что ль, кулеш-то!» Пекарь встал и пошел за чугуном. «Милости просим»,— сказал он, проходя мимо Кузьмы. Но Кузьма попросил только хлеба, посолил его и, с наслаждением жуя, опять вернулся к скамейке. Стало совсем темно. Бледно-голубой свет все шире, быстрее и ярче озарял шумящие деревья, точно раздуваемый ветром, и при каждом сполохе мертвенно-зеленая листва становилась на мгновение видна, как днем, после чего все заливалось могиль-

ной чернотой. Соловьи смолкли,— сладко и сильно цокал и рассыпался только один — над самым шалашом. «Даже и не спросили, кто я, откуда? — думал Кузьма.— Народ, пропади он пропадом!» И шутливо крикнул в шалаш:

— Аким! А ты и не спросил даже: кто я, откуда?

— А на что ты мне нужен-то? — ответил Аким.

— Я вот его о другом спрашиваю,— послышался голос пекаря,— сколько он от Думы земли чаёт получить? Как думаешь, Акимушка? А?

— Я не письмённый,— сказал Аким.— Тебе из навозу видней.

И пекарь, должно быть, опять смутился: на минуту наступило молчание.

— Это он насчет нашего брата,— заговорил Митрофан.— Я рассказывал как-то, что в Ростове бедный народ, пролетариат то есть, зимой в навозе спасается...

— Выйдет за город,— радостно подхватил Аким,— и — в навоз! Зароется не хуже свиньи, и горя мало.

— Дурак! — отрезал Митрофан.— Чего гогочешь? Застигнет бедность — зароешься!

Аким, опустив ложку, сонно посмотрел на него. И снова с внезапной запальчивостью раскрыл свои пустые ястребиные глаза и бешено крикнул:

— А-а! Бедность! По часам захотел работать?

— А как же? — бешено крикнул и Митрофан, раздувая свои дагомейские ноздри и в упор глядя на Акима блестящими глазами.— Двадцать часов за двугривенный?

— А-а! А тебе бы час за целковый? Дюже жаден, пузо твое лопни!

Но ссора столь же быстро и потухла, как разгорелась. Через минуту Митрофан уже спокойно говорил, обжигаясь кулешом:

— Это он-то не жаден! Да он, дьявол слепой, за копейку в алтаре удавится. Верите ли — жену за пятиалтынный продал! Ей-Богу, не шучу. Там у нас в Липецке есть такой старичок, Панков прозывается, тоже прежде садовничал, ну, а теперь на покое и очень любил это дело...

— Аким, значит, тоже липецкий? — спросил Кузьма.

— Из деревни Студенки,— равнодушно сказал Аким, точно и не про него шел толк.

— При брате живет,— подтвердил Митрофан.— Землей, двором сообча владеет с ним, но только все-таки вроде как заместо дурачка, и жена от него, конечно, уж сбежала; а отчего сбежала — как раз от этого от самого: сторговался с Панковым за пятиалтынный, чтоб пустить его, заместо себя, ночью в клеть — и пустил.

Аким молчал, постукивая ложкой по столу и глядя на лампочку. Он уже наелся, утерся и теперь что-то думал.

— Брехать, малый, не пахать,— сказал он наконец.— А хоть бы и пустил: ай она слиняет?

И, прислушиваясь, осклабился, поднял брови, и его суздальское личико стало радостно-грустно, покрылось крупными деревянными морщинами.

— Вот бы из ружья-то его! — сказал он особенно скрипуче и картаво.— Так бы и кувыркнулся!

— Это ты про кого же? — спросил Кузьма.

— Да про соловья-то этого...

Кузьма сжал зубы и, подумав, сказал:

— А стерва ты мужик. Зверь.

— Поцелуй меня в ж... теперь,— отозвался Аким. И, икнув, поднялся:

— Ну, что ж даггом огонь-то жечь?

Митрофан стал завертывать сигарку, пекарь — убирать ложки, а он вылез из-за стола, повернулся к лампочке спиной и, поспешно перекрестившись три раза, с размаху поклонился в темный угол шалаша, встряхнул мочальными прямыми волосами и, подняв лицо, зашептал молитву. От него пала на какие-то тесовые ящики и переломилась большая тень. Он опять торопливо перекрестился и опять с размаху поклонился — и Кузьма уже с ненавистью взглянул на него. Вот Аким молится — и попробуй-ка спросить его, верит ли он в Бога! Из орбит выскочат его ястребиные глаза! Разве он татарин какой!

Казалось, что год тому назад выехал он из города и что никогда-то теперь не доберешься до него. Тяготил мокрый картуз, ныли холодные ноги, сжатые грязными сапогами. Лицо за день обветрилось, горело. Поднявшись со скамьи, Кузьма пошел навстречу сырому ветру, к воротам в поле, к пустоши давно упраздненного погоста. Из шалаша падал на грязь слабый свет, но, как только Кузьма отошел, Аким дунул на лампочку, свет исчез, и сразу наступила ночь. Голубоватая зарница блеснула смелее, неожиданней, раскрыла все небо, всю глубину сада до самых отдаленных елок, где стояла баня, и вдруг залила все такой чернотой, что закружилась голова. И опять где-то низко загремел дальний гром. Постояв и различив тусклый просвет в воротах, Кузьма вышел на дорогу, пролежавшую вдоль вала, мимо шумящих старых лип и кленов, и стал медленно ходить взад и вперед. На картуз, на руки опять посыпался дождь. И опять глубоко распахнулась черная тьма, засверкали капли дождя, и на пустоши, в мертвенно-голубом свете, вырезалась фигура мокрой тонкошейей лошади. Бледное, ме-

галлически-зеленое поле овсов мелькнуло за пустошью на чернильном фоне, а лошадь подняла голову — и Кузьме стало жутко. Он повернул назад, к воротам. Когда же ощупью добрался до бани, стоявшей в ельнике, дождь обрушился на землю с такой силой, что, как в детстве, стали мелькать страшные мысли о потопе. Он дернул спичкой, увидел широкие нары возле окошечка и, свернув чуйку, кинул ее в изголовье. В темноте влез на нары и с глубоким вздохом растянулся на них, лег по-стариковски, на спину, и закрыл усталые глаза. Боже мой, какая нелепая и тяжкая поездка! И как это он попал сюда? В барском доме теперь тоже тьма, и зарницы, на лету, украдкой отражаются в зеркалах... В шалаше, под проливным дождем, спит Аким... Вот в этой бане не раз, конечно, видали чертей: верит ли Аким хоть в черта как следует? Нет. А все-таки с уверенностью рассказывает о том, как его покойник дед — непременно дед и непременно покойник — пошел раз в ригу за хоботьем, а черт сидит себе на водиле, ножки переплел, лохматый, как собака... И, выставив одно колено, Кузьма положил кисть руки на лоб и стал, вздыхая и тоскуя, задремывать...

Лето он провел в ожидании места. Мечты о садах оказались очень глупы. Возвратясь в город и хорошенько обдумав свое положение, начал он искать места приказчика, конторщика; потом стал соглашаться на любое — лишь бы был кусок хлеба. Но поиски, хлопоты, просьбы пропадали даром. В городе он давным-давно слыл за большого чудака. Пьянство и безделье превратили его в посмешище. Жизнь его сперва изумляла город, потом стала казаться подозрительной. Да и правда: где это видано, чтобы мещанин в его годы жил на подворье, был холост и нищ, как шарманщик: всего имущества — сундучок да тяжелый старый зонт! И Кузьма стал посматривать в зеркало: что это, в самом деле, за человек перед ним? Ночует в «общем номере», среди чужих, приезжающих и уезжающих людей, утром плетется по жаре на базар, в трактиры, где ловит слухи о местах; после обеда спит, потом сидит у окна и читает, глядит на пыльную белую улицу и бледно-голубое от жары небо... Для кого и для чего живет на свете этот худой и уже седой от голода и строгих дум мещанин, называющий себя анархистом и не умеющий толком объяснить, что значит — анархист? Сидит, читает; вздохнет, пройдетя по комнате; опустится на корточки, отомкнет свой сундучок; переложит поаккуратнее истрепанные книжки и рукописи, две-три линючих косоворотки, старый длиннополый сюртук, жилетку, истершеся метрическое свидетельство... А что дальше делать?

И лето тянулось бесконечно долго. Теперь в городе стояла

адская сушь. Угловой дом подворья жарился на солнце. По ночам от духоты кровь стучала в голову, и будил каждый звук за открытыми окнами. А на сеновале нельзя было спать от блох, крика петухов и вони навозного двора. Все лето не покидала Кузьму мечта съездить в Воронеж. Хоть бы от поезда до поезда побродить по воронежским улицам, посмотреть на знакомые тополя, на тот голубенький домик за городом... Да зачем? Истратить десять, пятнадцать рублей, а потом отказывать себе в свечке, в булке? Да и стыдно старику предаваться любовным воспоминаниям. А что до Клаши, так его ли еще дочь-то она? Видел он ее года два тому назад: сидит у окна, плетет кружево, облик милый и скромный, но похожа только на мать...

К осени Кузьма убедился, что необходимо или по святым местам уйти, в монастырь какой-нибудь, или — просто дернуть по горлу бритвой. Наступала осень. Уже пахло на базаре яблоками, сливами. Навезли гимназистов. Стало солнце садиться за Щепной площадью: выйдешь из ворот вечером и, переходя перекресток, ослепнешь: налево вся улица, упирающаяся вдаль в площадь, залита низким скучным блеском. Сады за заборами — в пыли, паутине. Идет Полозов навстречу — на нем крылатка, но шляпу уже сменил картуз с кокардой. В городском саду ни души. Забита раковина музыкантов, забит киоск, где продавали летом кумыс и лимонад, закрыт дощатый буфет. И однажды, сидя возле этой раковины, Кузьма так затосковал, что уже не шутя задумался о самоубийстве. Солнце садилось, свет его был красноватый, летела мелкая розовая листва по аллее, дул холодный ветер. В соборе звонили ко всеобщей, и под этот мерный, густой звон, уездный, субботний, душа ныла нестерпимо. Вдруг под раковиной послышался кашель, кряхтенье... «Мотья», — подумал Кузьма. И правда: вылез из-под лестницы Мотя-Утиная-Головка. Был он в рыжих солдатских сапогах, в очень длинном гимназическом мундире, обсыпанном мукой, — видно, базар позабавился, — и в соломенной шляпе, много раз попадавшей под колеса. Не раскрывая глаз, отплеываясь и шатаясь с похмелья, он прошел мимо. Кузьма, сдерживая слезы, сам окликнул его:

— Моть! Иди потолкуем, покурим...

И Мотя вернулся, сел на скамью, стал сонно, шевеля бровями, завертывать сигарку, но, кажется, плохо соображал, кто это рядом с ним, кто это жалуется ему на свою судьбу...

А на другой день тот же Мотя принес Кузьме записку Тихона.

В конце сентября Кузьма переехал в Дурновку.

### Ш

В ту давнюю пору, когда Илья Миронов года два жил в Дурновке, был Кузьма совсем ребенок, и остались у него в памяти только темно-зеленые пахучие конопляники, в которых тонула Дурновка, да еще одна темная летняя ночь: ни единого огня не было в деревне, а мимо избы Ильи шли, белея в темноте рубахами, «девять девок, девять баб, десятая удова», все босые, простоволосые, с метлами, дубинами, вилами, и стоял оглушительный звон и стук в заслонки, в сковороды, покрываемый дикой хоровой песнью: вдова тащила соху, рядом с ней шла девка с большой иконой, а прочие звонили, стучали и, когда вдова низким голосом выводила:

Ты, коровья смерть,  
Не ходи в наше село! —

хор, на погребальный лад, протяжно вторил:

Мы опахиваем —

и, тоскуя, резкими горловыми голосами подхватывал:

Со ладаном, со крестом...

Теперь вид дурновских полей был будничным. Ехал Кузьма с Воргла веселый и слегка хмельной, — Тихон Ильич угощал его за обедом наливкой, был очень добр в этот день, — и с удовольствием смотрел на равнины сухих бурых пашен, растилавшиеся вокруг него. Почти летнее солнце, прозрачный воздух, бледно-голубое ясное небо, — все радовало и обещало долгий покой. Седой, корявой полыни, вывороченной с корнем сохами, было так много, что ее возили возами. Под самой усадьбой стояла на пашне лошаденка, с репьями в холке, и телега, высоко нагруженная полынью, а подле лежал Яков, босой, в коротких запыленных портках и длинной посконной рубахе, и, придавив боком большого седого кобеля, держал его за уши. Кобель рычал и косился.

— Ай кусается? — крикнул Кузьма.

— Лют — мочи нет! — торопливо отозвался Яков, поднимая свою косую бороду. — На морды лошадям сигает...

И Кузьма засмеялся от удовольствия. Уж мужик так мужик, степь так степь!

А дорога шла под изволок, и горизонт суживался. Впереди зеленела новая железная крыша риги, казавшаяся потонувшей в глухом низкорослом саду. За садом, на противоположном косогоре, стоял длинный ряд изб из глинобитных кирпичей, под соломой. Справа, за пашнями, тянулся большой лог, вхо-

Ив. Бунинъ

# ЗОЛОТОЕ ДНО

РАЗСКАЗЫ 1903 — 07 г.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ  
ВЪ МОСКВѢ.

дивший в тот, что отделял усадьбу от деревни. И там, где лога сходились, торчали на мысу крылья двух раскрытых ветряков, окруженных несколькими избами однодворцев,— Мысовых, как назвал их Оська,— и белела на выгоне вымазанная мелом школа.

— Что ж, учатся ребятишки-то? — спросил Кузьма.

— Обязательно,— сказал Оська.— Ученик у них — бядовый!

— Какой ученик? Учитель, что ли?

— Ну, учитель, одна часть. Вышколил, говорю, ихнего брата — куда годишься. Солдат. Бьет не судом, да зато у него уж и прилажено все! Заехали мы как-то с Тихоном Ильичом — как вскочут все разом да как гаркнут: «Здравия желаем!» — где тебе и солдатам так-то!

И опять засмеялся Кузьма.

А когда проехали гумно, прокатили по убитой дороге мимо небольшого сада и повернули влево, на длинный двор, подсохший, золотившийся под солнцем, даже сердце заколотилось: вот он и дома наконец. И, взойдя на крыльцо, переступив порог, Кузьма низко поклонился темной иконе в углу прихожей...

Против дома, задом к Дурновке, к широкому логу, стояли амбары. С крыльца дома, чуть влево, видна была Дурновка, вправо — часть мыса: ветряк и школа. Комнаты были малы и пусты. В кабинете была ссыпана рожь, в зале и гостиной стояло только несколько стульев с продранными сиденьями. Гостиная выходила окнами в сад, и всю осень Кузьма ночевал в ней на продавленном диване, не закрывая окон. Пол никогда не мели: за кухарку первое время жила вдова Однодворка, бывшая любовница молодого Дурново, которой надо было и к ребятишкам своим бегать, и себе кое-что стряпать, и Кузьме с работником. Кузьма сам ставил по утрам самовар, потом сидел под окном в зале, пил чай с яблоками. В утреннем блеске, за логом, густо дымились крыши деревни. Сад свежо благоухал. А в полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду рдели клены и липы, тихо роняя разноцветные листья. Голуби, пригретые солнцем, весь день спали на скате кухонной крыши, желтевшей новой соломой в ясном синем небе. Отдыхал после обеда работник. Однодворка уходила домой. А Кузьма бродил. Он шел на гумно, радуясь солнцу, твердой дороге, высохшим бурьянам, побуревшему подсвечельнику, милому позднему цвету голубого цикория и тихо летевшему по воздуху пуху татарок. Пашни в поле блестели под солнцем шелковистыми сетями паутины, затянувшей их на

необозримое пространство. По огороду на сухих репейниках сидели щеглы. На гумне, в глубокой тишине, на припеке, горячо сипели кузнечики... С гумна Кузьма перелезал через вал, возвращался в усадьбу садом, по ельнику. В саду болтал с мешанами, съемщиками сада, с Молодой и Козой, сбиравшими падальцы, залезал с ними в крапивную глушь, где лежали самые спелые. Порой он брел на деревню, в школу...

Солдат-учитель, глупый от природы, на службе сбился с толку совершенно. По виду это был самый обыкновенный мужик. Но говорил он всегда так необыкновенно и нес такую чепуху, что приходилось только руками разводиться. Он все чему-то с величайшей хитростью улыбался, глядел на собеседника снисходительно, шурясь, на вопросы никогда не отвечал сразу.

— Как величать-то тебя? — спросил его Кузьма, в первый раз зайдя в школу.

Солдат прищурился, подумал.

— Без имени и овца баран, — сказал он наконец, не спеша. — Но спрошу и я вас: Адам — это имя ай нет?

— Имя.

— Так. А сколько же, к примеру, народу померло с тех пор?

— Не знаю, — сказал Кузьма. — Да ты это к чему?

— А к тому самому, что нам этого отроду не понять! Я, к примеру, солдат и коновал. Иду недавно по ярмарке — глядь, лошадь в сапе. Сейчас к становому: так и так, ваше высокоблагородие. «А можешь ты эту лошадь пером зарезать?» — «С великим удовольствием!»

— Каким пером? — спросил Кузьма.

— А гусиным. Взял, очинил, в жилу становую чкнул, дунул маленько в перо-то, — и готово. Дело-то, кажись, просто, ан поди-ка ухитрись!

И солдат лукаво подмигнул и постучал себя пальцем в лоб:

— Тут еще есть смекалка-то!

Кузьма пожал плечами и смолк. И, уж проходя мимо Одноворки, от ее Сеньки узнал, как зовут солдата. Оказалось — Пармен.

— А что вам задано на завтра? — прибавил Кузьма, с любопытством глядя на огненные вихры Сеньки, на его живые зеленые глаза, конопатое лицо, щуплое тельце и потрескавшиеся от грязи и цыпок руки и ноги.

— Задачи, стихи, — сказал Сенька, подхватив правой рукой поднятую назад ногу и прыгая на одном месте.

— Какие задачи?

— Гусей сосчитать. Летело стадо гусей.

— А, знаю,— сказал Кузьма.— А еще что?

— Еще мышей...

— Тоже сосчитать?

— Да. Шли шесть мышей, несли по шесть грошей,— быстро забормотал Сенька, косясь на серебряную часовую цепочку Кузьмы.— Одна мышь поплоче несла два гроша. Сколько выйдет всего...

— Великолепно. А стихи какие?

Сенька выпустил ногу.

— Стихи — «Кто он?»

— Выучил?

— Выучил...

— А ну-ка.

И Сенька еще быстрее забормотал — про всадника, ехавшего над Невой по лесам, где были только

Ель, сосна да мох сядой...

— Седой,— сказал Кузьма,— а не сядой.

— Ну, сидой,— согласился Сенька.

— А всадник-то этот кто же?

Сенька подумал.

— Да колдун,— сказал он.

— Так. Ну, скажи матери, чтоб она хоть виски-то тебе подстригла. Тебе же хуже, когда учитель дерет.

— А он уши найдет,— беспечно сказал Сенька, снова берясь за ногу, и запрыгал по выгону.

Мыс и Дурновка, как это всегда бывает со смежными деревнями, жили в постоянной вражде и взаимном презрении. Мысовые считали разбойниками и побирушками дурновцев, дурновцы — мысовых. Дурновка была «барская», а на Мысу обитали «галманы», однодворцы. Вне вражды, вне распрей находилась только Однодворка. Небольшая, худая, аккуратная, она была жива, ровна и приятна в обращении, наблюдательна. Она знала, как свою, каждую семью и на Мысу и в Дурновке, первая извещала усадьбу о каждом, даже малейшем деревенском событии. Да и ее жизнь знали все отлично. Она никогда и ни от кого ничего не скрывала, спокойно и просто рассказывала о муже, о Дурново.

— Что ж делать-то,— говорила она, легонько вздыхая.— Бедность была лютая, хлебушка и в новину не хватало. Мужик меня, правду надо сказать, любил, да ведь покоришься. Целых три воза ржи дал за меня барин. «Как же быть-то?» — говорю мужику. «Видно, иди»,— говорит. Поехал за рожью, таскает мерку за меркой, а у самого слезы кап-кап, кап-кап...

Днем работала она не покладая рук, по ночам штопала, шила, воровала щиты на чугушке. Раз, поздно вечером, выехал Кузьма к Тихону Ильичу, поднялся на изволок и обмер от страха: над потонувшими во мраке пашнями, на чуть тлеющей полосе заката росло и плавно несло на Кузьму что-то черное, громадное...

— Кто это? — слабо крикнул он, натягивая вожжи.

— Ой! — слабо, в ужасе крикнуло и то, что так быстро и плавно росло в небе, и с треском рассыпалось.

Кузьма очнулся — и сразу узнал в темноте Однодворку. Это она бежала на него на своих легких босых ногах, согнувшись, взгромоздив на себя два саженных щита, — из тех, что ставят зимой вдоль чугушки от заносов. И, оправившись, с тихим смехом, зашептала:

— Напугали вы меня до смерти. Бежишь так-то ночью — дрожишь вся, а что ж делать-то? Вся деревня топится ими, только тем и спасаемся...

Зато совершенно неинтересный человек был работник Кошель. Говорить с ним было не о чем, да он и не словоохотлив был. Как большинство дурновцев, он все только повторял старые немудреные изречения, подтверждал то, что давным-давно известно. Погода портилась — и он посматривал на небо:

— Портится погодка. Дожжок теперь для зеленой первое дело.

Двоили пар — и он замечал:

— Не передвоишь — без хлеба посидишь. Так-то старички-то говаривали.

Он служил в свое время, был на Кавказе, но солдатчина не оставила на нем никаких следов. Он ничего не мог рассказать о Кавказе, кроме того только, что там гора на горе, что из земли бьют там страшно горячие и странные воды: «положишь баранину — в одну минуту сварится, а не вынешь вовремя — опять сырая станет...» И нисколько не гордился тем, что повидал свет; он даже с презрением относился к людям бывалым: ведь «шатаются» люди только поневоле или по бедности. Ни одному слуху не верил — «все брешут!» — но верил, божился, что недавно под сельцом Басовым катилось в сумерки тележное колесо — ведьма, а один мужик, не будь дурак, взял да и поймал это колесо, всунул во втулок подпояску и завязал ее.

— Ну, и что же? — спрашивал Кузьма.

— Да что? — отвечал Кошель. — Проснулась эта ведьма на-рани, глядь — а у ней подпояска из рота и из заду торчит, на животе завязана...

- А чего ж она не развязала-то ее?
- Видно, узел закрещен был.
- И тебе не стыдно такой чепухе верить?
- А мне что ж стыдиться? Люди ложь, и я тож.

И любил Кузьма только напевы его слушать. Сидишь в темноте у открытого окна, нигде ни огонька, деревня чуть чернеет за логом, тихо так, что слышно падение яблок с лесовки за углом дома, а он медленно похаживает по двору с колотушкой и заунывно-мирно напевает себе фальцетом: «Смолкни, пташка-канарейка...» До утра он караулил усадьбу, днем спал,— дела почти не было: с дурновскими делами Тихон Ильич поспешил в этот год управиться рано, из скотины оставил всего лошадь да корову.

Ясные дни сменились холодными, синевато-серенькими, беззвучными. Стали щеглы и синицы посвистывать в голом саду, цыкать в елках клесты, появились свиристели, снегири и еще какие-то неторопливые крохотные птички, стайками перелетавшие с места на место по гумну, падрины которого уже проросли ярко-зелеными всходами; иногда такая молчаливая легонькая птичка одиноко сидела где-нибудь на былинке в поле... На огородах за Дурновкой докапывали последние картошки. Стало рано темнеть, и в усадьбе говорили: «Как поздно машина-то теперь проходит!» — хотя расписание поездов ничуть не изменилось... Кузьма, сидя под окном, целый день читал газеты; он записал свою весеннюю поездку в Казаково и разговоры с Акимом, делал заметки в старой счетоводной книге,— то, что видел и слышал в деревне... Больше всех занимал его Серый.

Серый был самый нищий и бездельный мужик во всей деревне. Землю он сдавал, на местах не жил. Дома сидел в голоде и холоде, но думал только о том, как бы разжиться покурить. На всех сходках бывал он, не пропускал ни одной свадьбы, ни одних крестин, ни одних похорон. Магарычи никогда не обходились без него: он встрявал не только во все мирские, но и во все соседские — после купли, продажи, мены. Наружность Серого оправдывала его кличку: сер, худ, росту среднего, плечи обвислые, полущубочек короткий, рваный, замызганный, валенки разбиты и подшиты бечевой, о шапке и говорить нечего. Сидя в избе, никогда не снимая этой шапки, не выпуская изо рта трубки, вид он имел такой, будто все ждал чего-то. Но ему, по его мнению, чертовски не везло. Не подпадало дела настоящего, да и только! Ну, а в бирюльки играть был он не охотник. Всякий, конечно, норовил охаять...

— Да ведь язык-то без костей,— говорил Серый.— Ты сперва дело в руки дай, а потом уж и брешь.

Земли у него было порядочно — три десятины. Но податей зашло — на десятерых. И отвалились от земли руки у Серого: «Поневоле сдашь ее, землю-то: ее, матушку, в порядке надо держать, а уж какой тут порядок!» Сам он сеял не больше полнивы, но и ту продавал на корню,— «милое за немилое сбывал». И опять с резонном: дождись-ка ее, попробуй! — «Все, к примеру, дождаться-то лучше...» — бормотал Яков, глядя в сторону и зло усмехаясь. Но усмехался и Серый — печально и презрительно.

— Лучше! — хмыкал он.— Тебе хорошо брехать: девку отдал, малого женил. А у меня — глянь, угол-то сидит... ребятишек-то. Не чужие ведь. Я вон козу для них держу, поросенка выкармливаю... Тоже небось пить-есть просят.

— Ну, коза, к примеру, в этом деле не повинна,— возражал, раздражаясь, Яков.— Это у нас, к примеру, все водочки да трубочки на уме... трубочки да водочки...

И, чтоб не поругаться с соседом без толку, спешил отойти от Серого. А Серый спокойно и дельно замечал ему вслед:

— Пьяница, брат, проспится, дурак никогда.

Разделившись с братом, долго скитался Серый по квартирам, нанимался и в городе и по имениям. Ходил и на клевера. И вот на клеверах-то и повезло ему однажды. Нанялась артель, к какой пристрлял Серый, отделать большую партию по восьми гривен с пуда, а клевер возьми и дай большую двух пудов. Вытрясли его — Серый подрядился машонку бить. Нагнал в азадки зерна и купил их. И забогател: в ту же осень поставил кирпичную избу. Но не рассчитал: оказалось, что избу нужно топить. А чем, спрашивается? Да нечем было и кормиться. И пришлось сжечь верх избы, и простояла она без крыши год, почернела вся. А труба пошла на хомут. Правда, лошади еще не было; да ведь надо же когда-нибудь начинать обзаведение... И Серый махнул рукой: решил продать избу, поставить или купить подешевле, глинобитную. Рассуждал он так: будет в избе — ну, на худой конец, десять тысяч кирпичей, за тысячу дают пять, а то и шесть рублей; выходит, значит, больше полсотни... Но кирпичей оказалось три с половиной тысячи, за матицу пришлось взять не пять целковых, а два с полтиной... Озабоченно приглядывая себе новую избу, целый год приторговывался он только к тем, что были совсем не по деньгам ему. И примирился с теперешней только в твердой надежде на будущую — крепкую, просторную, теплую.

— В этой я, прямо говорю, не жилец! — отрезал он однажды.

Яков внимательно посмотрел на него, тряхнул шапкой.

— Так. Значит, ждешь, корабли приплывут?

— И приплывут,— ответил Серый загадочно.

— Ой, брось дурь,— сказал Яков,— наймись куда ни на есть, да зубами, к примеру, держись за место...

Но мысль о хорошем дворе, о порядке, о какой-то ладной, настоящей работе отравляла всю жизнь Серому. Скучал он на местах.

— Она, видно, работа-то, не мед,— говорили соседи.

— Небось была бы мед, кабы хозяин попался путный!

И Серый, вдруг оживившись, вынимал изо рта холодную трубку и начинал любимую историю: как он, будучи холостым, целых два года честно-благородно отжил у попа под Ельцом.

— Да я и сейчас поди туда — с руками оторвут! — восклицал он.— Только слово сказать: пришел, мол, папаша, поработаться на вас.

— Ну, к примеру, и шел бы...

— Шел бы! Когда у меня детей цельный угол сидит! Вестимо: чужую беду — руками разведу. А тут человек без толку пропадает...

Без толку пропадал Серый и нынешний год. Всю зиму с озабоченным видом просидел дома, без огня, в холоде, в голоде. Великим постом пристроился каким-то манером к Русановым под Тулой: в своих-то местах его уж не брали. Но не прошло и месяца, как осточертела ему русановская экономия хуже горькой редьки.

— Ой, малый! — сказал раз приказчик.— Наскрозь тебя вижу: придираешься ты лыжи наладить. Забираете сукины дети, денежки вперед, да и норовите в кусты.

— Это, может, бродяга какой так-то норовит, а не мы,— отрезал Серый.

Но приказчик намек не понял. И пришлось действовать решительнее. Заставили раз Серого навозить к вечеру хоботья для скотины. Он поехал на гумно и стал навивать воз соломы. Подошел приказчик:

— Разве я тебе не русским языком сказал — хоботье накладывать?

— Не время его накладывать,— твердо ответил Серый.

— Это почему?

— Путные хозяева хоботье в обед дают, а не на ночь.

— Да ты-то что за учитель такой?

— Не люблю морить скотину. Вот и учитель весь.

— А везешь солому?

— На все время надо знать.

— Сию же минуту брось накладывать!

Серый побледнел.

— Нет, дела я не брошу. Дела мне нельзя бросать.

— Дай сюда вилы, собака, и отойди от греха.

— Я не собака, а хрещеный человек. Вот отвезу — и отойду.

И совсем уйду.

— Ну, брат, навряд! Уйдешь, да вскорости и назад, в волюсть припрешь.

Серый соскочил с воза, бросил вилы в солому:

— Это я-то припру?

— Ты-то!

— Ой, малый, не припри ты! Авось и за тобой знаем. Тоже, брат, не похвалит хозяин...

Толстые щеки приказчика налились сизой кровью, белки выпучились.

— А-а! Вот как! Не похвалит? Говори же, когда такое дело, — за что?

— Мне нечего говорить, — пробормотал Серый, чувствуя, что у него сразу отяжелели ноги от страха.

— Нет, брат, брешешь — скажешь!

— А куда мука девалась? — внезапно крикнул Серый.

— Мука? Какая такая мука? Какая?

— Сляпая. С мельницы...

Приказчик мертвой хваткой сгреб Серого за ворот, за душу — и на мгновение оба замерли.

— Ты что же это, — за пельки хватать? — спросил Серый спокойно. — Задушить хочешь?

И вдруг яростно завизжал:

— Ну, бей, бей, пока сердце кипит!

И, рванувшись, вырвался и схватил вилы.

— Ребята! — заорал приказчик, хотя кругом никого не было. — За старостой! Прислушайте: он меня заколоть хотел, сукин сын!

— Не суйся, нос сшибешь, — сказал Серый, держа вилы наперевес. — Авось не прежнее вам времечко!

Но тут приказчик размахнулся — и Серый торчмя головой полетел в солому...

Все лето Серый сидел опять дома, поджидая милостей от Думы. Всю осень шатался от двора к двору, надеясь пристроиться к кому-нибудь, едущему на клевера... Загорелся однажды новый омет на краю деревни. Серый первым явился на пожар и орал до сипоты, опалил ресницы, промок до нитки, распоряжаясь водовозами, теми, что кидались с вилами в огромное

розово-золотое пламя, растаскивали во все стороны огненные шапки, и теми, что просто метались среди жара, треска, льющейся воды, гама, наваленных возле изб икон, кадушек, прялок, попон, рыдающих баб и сыплющихся с обгорелых лозин черных листьев... Как-то в октябре, когда после проливных дождей и ледяной бури застыл пруд и соседский боров соскользнул с мерзлого бугра, проломил лед и стал тонуть, Серый первый, со всего разбега, шархнулся в воду — спасать... Боров все равно утонул, но это дало Серому право прибежать с пруда в людскую, потребовать водки, табаку, закуски. Сперва он был весь лиловый, зуб на зуб не попадал, еле шевелил белыми губами, переодеваясь во все чужое, в Кошелево. Потом ожил, захмелел, стал хвастать — и опять рассказал о том, как он честно-благородно служил у попа и как ловко выдал прошлый год свою дочь замуж. Он сидел за столом, с жадностью жевал, заглатывал брусочки сырой ветчины и самодовольно повествовал:

— Хорошо. Снюхалась она, Матрюща-то, с Егоркой с этим... Ну, снюхалась и снюхалась. Нехай. Сижу как-то под окошечком, вижу — раз Егорка прошел мимо избе, два... а моя — все нырь да нырь к окошечку... Значит, обдумали дело, думаю себе. И говорю бабе: ты тут кормочку скотине дай, а я пойду, — на сходку повещали. Сел за избой в солому, сижу, жду. А уж снежок первый напал. Вижу — опять снизу крадется Егорка... А она и вот она. Зашли за погреб, потом — шмыг в избу в новую, в пустую, рядом. Подождал я сколько-нибудь...

— История! — сказал Кузьма и болезненно усмехнулся.

Но Серый принял это за похвалу, за восхищение его умом и хитростью. И продолжал, то возвышая голос, то едко понижая его:

— Стой, слухай, что дальше-то будет. Подождал, говорю, сколько-нибудь — да за ними... Вскочил на порог — прямо на ней и прихватил! Перепугались они — до страсти. Он, как куль, наземь с нее свалился, а она обмерла, лежит, как утка... «Ну, говорит, бей меня теперь». Это он-то. «Бить, говорю, ты мне не нужно-он...» Поддевочку его взял, пинжачок — тоже, оставил в одних подштанниках, — почесть в чем мать родила... «Ну, говорю, ступай теперь, куды хочешь...» А сам домой. Смотрю — и он сзади идет: снег белый — и он белый, идет, сопит... Деться-то некуда, — куда кинешься? А моя Матрена Миколавна, как я только из избе, — в поле! Закатилась — на силу соседка под самым Басовым за рукав поймала, ко мне привела. Дал я ей отдохнуть и говорю: «Мы люди бедные ай нет?» Молчит. «Мать-то у тебя убогая ай умная?» Опять мол-

Книгоиздательство „УТРО“.

Подъ редакціей И. А. Бѣлоусова.

---

Ив. Бунинъ.

# ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

ДЛЯ ЮНОШЕСТВА.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.



Типо-литографія Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°. Пименовская ул., соб. домъ.  
Москва—1909..

чит. «Как ты нас оконфузила? А! Ты что ж, полон угол мне их нашвыряешь, выbleдков-то своих, а я глазами моргай?» Ну, и зачал ее лудить,— был у меня тут кнутик похоженький... Просто сказать, всю поясницу ей изрубил! А он сидит на лавке, голосит. Взялся потом за него, за голубчика...

— И женил? — спросил Кузьма.

— Вона! — воскликнул Серый и, чувствуя, что хмель одолевает его, стал сгребать с тарелки куски ветчины и пихать в карманы порток.— Еще как свадьбу-то сыграли! На расходы я, брат, жмуриться не стану...

«Ну и рассказ!» — долго думал Кузьма после этого вечера. А погода портилась. Писать не хотелось, тоска усиливалась. Только и радости, что явится кто-нибудь с просьбой. Приезжал несколько раз Гололобый из Басова,— совершенно лысый мужик в огромной шапке,— писать прошение на свата, переломившего ему ключицу. Приходила вдова Бутылочка с Мыса — писать письма к сыну, вся в лохмотьях, вся мокрая и ледяная от дождя. Начнет диктовать,— в слезы.

— Город Серьпухов, при дворянской бане, дом Желтухин... И заплачет.

— Ну? — спрашивает Кузьма, скорбно кося брови, по-стариковски глядя на Бутылочку — поверх пенсне.— Ну, написал. Дальше что?

— Дальше-то? — спрашивает Бутылочка шепотом и, стараясь овладеть голосом, продолжает:

— Дальше-то пиши, касатик, покладнее... Передать, значит, Михал Назарычу Хлусову... в собственные руки...

И продолжает — то с остановками, то совсем без остановок:

— Письмо милому и дорогому сыночку нашему Мише, что же ты, Миша, про нас забыл, никакого слуху нету от вас... Ты сам знаешь, мы на хватере, а теперича нас сгоняют долой, куда ж мы теперича денемся... Дорогой наш сыночек Миша, просим мы вас за-ради Господа Бога, чтоб вы приезжали домой как ни можно скорей...

И опять сквозь слезы шепотом:

— Мы тут с вами хоть землянку выкопаем, и то будем у своем угле...

Бури и ледяные ливни, дни, похожие на сумерки, грязь в усадьбе, усеянная мелкой желтой листвой акаций, необозримые пашни и озими вокруг Дурновки и без конца идущие над ними тучи опять томили ненавистью к этой проклятой стране, где восемь месяцев метели, а четыре — дожди, где за нуждой приходится идти на варок или в вишенник. Когда завернуло

ненастье, пришлось гостиную забить наглухо и перебраться в зал, чтоб уже всю зиму и ночевать в нем, и обедать, и курить, и проводить долгие вечера за тусклой кухонной лампочкой, шагая из угла в угол в картузе и чуйке, едва спасавших от холода и ветра, дувшего в щели. Иногда оказывалось, что забыли запастись керосином, и Кузьма проводил сумерки без огня, а вечером зажигал какой-нибудь огарок только для того, чтобы поужинать картофельной похлебкой и теплой пшенной кашей, что молча, с строгим лицом подавала Молодая.

«Куда бы поехать?» — думал он порою.

Соседей поблизости было всего только трое: старуха княжна Шахова, которая не принимала даже предводителя дворянства, считая его невоспитанным; отставной жандарм Закржевский, геморроидально-злой человек, который и на порог не пустил бы к себе; и, наконец, мелкопоместный дворянин Басов, живший в избе, женившийся на простой бабе, говоривший только о хомутах и скотине. Отец Петр, священник из Колодезей, куда Дурновка была приходом, посетил раз Кузьму, но вести знакомство не возымел охоты ни тот, ни другой. Кузьма угостил священника только чаем — священник резко и неловко захохотал, увидав на столе самовар. «Самоварчик? Отлично! Вы, я вижу, не тороваты на угощенье!» И хохот совсем не шел к нему: точно другой кто-то хохотал за этого высокого, худого человека с большими лопатками и черными крупными волосами, с бегающим взглядом.

Нечасто бывал Кузьма и у брата. А тот приезжал только тогда, когда был чем-нибудь расстроен. И одиночество было так безнадежно, что порою Кузьма называл себя Дрейфусом на Чертовом острове. Сравнивал он себя и с Серым. Ах, ведь и он, подобно Серому, нищ, слаб волен, всю жизнь ждал каких-то счастливых дней для работы!

По первому снегу Серый куда-то ушел и пропадал с неделю. Явился домой сумрачный.

— Ай опять к Русанову ходил? — спросили соседи.

— Ходил, — ответил Серый.

— Зачем?

— Уговаривали наняться.

— Так. Не согласился?

— Дурей их не был да до́ веку и не буду!

И Серый, не снимая шапки, опять надолго засел на лавку. И в сумерки тоскливо становилось на душе при взгляде на его избу. В сумерки за широким снежным логом скучно чернела Дурновка, ее риги и лозинки на задворках. Но темнело и — загорались огоньки, казалось, что в избах мирно, уютно. И

неприятно чернела только темная изба Серого. Она была глуха, мертва. Кузьма уже знал: если войдешь в ее темные полураскрытые сени, почувствуешь себя на пороге почти звериного жилья — пахнет снегом, в дыры крыши видно сумрачное небо, ветер шуршит навозом и хворостом, кое-как накиданным на стропила; найдешь ощупью покосившуюся стену и отворишь дверь, встретишь холод, тьму, чуть мерцающее во тьме мерзлое окошечко... Никого не видно, но угадываешь: хозяин на лавке,— угольком краснеет его трубка; хозяйка,— смиренная, молчаливая, с придурью баба,— тихонько покачивает повизгивающую люльку, где болтается бледный, сонный от голода рахитик. Детишки забились на чуть теплую печку и что-то шепотом рассказывают друг другу. В гнилой соломе под нарами шуршат, возятся коза и поросенок — большие друзья. Страшно разогнуться, чтобы не удариться головой в потолок. Повертываешься тоже с опаской: от порога до противоположной стены всего пять шагов.

— Кто-й-то? — раздается из темноты негромкий голос.

— Я.

— Никак Кузьма Ильич?

— Он самый.

Серый подвигается, опрастывает место на лавке. Кузьма садится, закуривает. Понемногу начинается разговор. Угнетенный темнотой, Серый прост, грустен, сознается в своих слабостях. Голос его порою дрожит...

Зима наступила долгая, снежная.

Бледно-белеющие под синевато-сумрачным небом поля стали шире, просторней и еще пустыннее. Избы, пуньки, лозины, риги резко выделялись на первых порошах. Потом завернули вьюги и намели, навалили столько снега, что деревня приняла дикий северный вид, стала чернеть только дверями да окошечками, еле выглядывающими из-под нахлобученных белых шапок, из белой толщи завалинок. За вьюгами подули по затвердевшему серому насту полей жесткие ветры, оборвали последние коричневые листья с бесприютных дубовых кустарников в логах, пошел тонуть в непролазных наносах, испещренных заячьими следами, однодворец Тарас Миляев, спокон веку приверженный охоте, превратились в мерзлые глыбы водовозки, выросли ледяные скользкие бугры вокруг прорубей, накатались дороги по сугробам — и зимние будни установились. Начались по деревне повальные болезни: оспа, горячка, скарлатина... Вокруг прорубей, из которых пила вся Дурновка, над вонючей темно-бутылочной водой, по целым дням стояли, согнувшись и подоткнув юбки выше сизых голых колен, в

мокрых лаптях, с большими, закутанными головами, бабы. Они вытаскивали из чугунов с золою свои серые замашные рубахи, мужицкие тяжевые портки, детские загаженные свивальники, полоскали их, били вальками и перекликались, сообщая друг другу, что руки «зашлись с пару», что во дворе у Матютиных помирает в горячке бабка, что у снохи Якова завалило горло... Смеркалось часа в три, лохматые собаки сидели на крышах, почти сровнявшихся с сугробами. Ни единая душа не знала, чем питаются эти собаки. Однако они были живы и даже свирепы.

Просыпались в усадьбе рано. На рассвете, в синеватой темноте, когда зажигались по избам огоньки, затапливались печи и сквозь застрехи медленно шел густой молочный дым, а во флигеле с замерзшими серыми окнами становилось холодно, как в сенцах, Кузьму будил стук дверей и шуршанье мерзлой, со снегом, соломы, которую таскал из розвальней Кошель. Слышался его негромкий сиплый голос, — голос человека, проснувшегося рано, натошак озябшего. Гремела трубой самовара и строгим шепотом переговаривалась с Кошелем Молодая. Она спала не в людской, где тараканы до крови обтачивали руки и ноги, а в прихожей, и вся деревня была убеждена, что это неспроста. Деревня хорошо знала, что пережила Молодая за осень. Молчаливая Молодая была строже и печальнее схимницы. Но что с того? Кузьма уже знал от Однодворки, что говорили на деревне, и, просыпаясь, всегда вспоминал об этом со стыдом и отвращением. Он стучал кулаком в стену, давая знать, что ждет самовара, и, кряхтя, закуривал сигарку: это успокаивало сердце, облегчало грудь. Он лежал под тулупом и, не решаясь расстаться с теплом, курил и думал: «Бесстыжий народ! Ведь у меня дочь ровесница ей...» То, что за стеной ночевала молодая женщина, волновало его только отеческой нежностью: днем она была серьезна, скупа на слова, когда спала, было в ней что-то детское, грустное, одинокое. Но разве деревня могла верить этой нежности? Не верил даже Тихон Ильич: что-то уж очень странно усмеялся он порою. Он и всегда-то был недоверчив, подозрителен, груб в своих подозрениях, а теперь и совсем потерял ум: что ему ни скажи, — у него на все один ответ.

— Слышал, Тихон Ильич? Закржевский, говорят, от катара помирает: в Орел повезли.

— Брехня. Знаем мы этот катар!

— Да мне фельдшер говорил.

— А ты слушай его побольше...

— Хочу газетку выписать, — скажешь ему. — Дай мне, пожалуйста, в счет жалованья рублей десять.

— Гм! Охота же человеку брехней голову забивать. Да, признаться, со мной и денег-то всего пятиалтынный, не то двугривенный...

Войдет Молодая с опущенными ресницами:

— Муки, Тихон Ильич, у нас осталось чуть...

— Это как же так — чуть? Ой, брешешь, баба!

И перекосит брови. А доказывая, что муки должно было хватить, по крайней мере, еще дня на три, все быстро поглядывает то на Кузьму, то на Молодую. Раз даже спросил, усмехнувшись:

— А как спать-то вам, — ничего, тепло?

И Молодая густо покраснела и, нагнув голову, вышла, а у Кузьмы от стыда и злобы похолодели пальцы.

— Стыдно, брат, Тихон Ильич, — пробормотал он, отвертываясь к окну. — И особенно после того, что ты сам же открыл мне...

— А чего ж она покраснела? — зло, смущенно и неловко улыбаясь, спросил Тихон Ильич.

По утрам неприятнее всего было умываться. В прихожей несло морозом от соломы, плавал, как битое стекло, лед в рукомойнике. Кузьма порой принимался за чай, вымыв только руки, и со сна казался совсем стариком. От нечистоты и холода он сильно похудел и поседел за осень. Похудели руки, кожа на них стала тоньше, глянцевитее, покрылась какими-то мелкими лиловыми пятнышками.

Утро было серое. Под затвердевшим серым снегом серой была и деревня. Серыми мерзлыми лубками висело на перекладинах под крышами пунек белье. Намерзало возле изб — лили помои, выкидывали золу. Оборванные мальчишки спешили по улице между избами и пуньками в школу, избегали на сугробы, скатывались с них на лаптях; на всех были холщовые мешки с грифельными досками и с хлебом. Навстречу им, приседая под коромыслом с двумя ушатами и неловко ступая безобразными задубевшими валенками, обшитыми свиной кожей, шел в одном армячишке старый, больной, темнолицый Чугунок; тянулась с бугра на бугор и, раскатываясь, расплескивалась чья-нибудь заткнутая соломой водовозка; проходили бабы, занимавшие друг у друга то соли, то пшена, то совок мучицы на лепешки или саламату. На гумнах было пусто, — только у Якова дымилась ворота риги: он, подражая богатым мужикам, молотил зимою. А за гумнами, за голым лозняком на задвор-

ках, расстилалось под низким белесым небом серое снежное поле, пустыня волнообразного наста.

Порой Кузьма ходил завтракать к Кошелю в людскую — горячими, как огонь, картошками или вчерашними кислыми шами. Он вспоминал город, где прожил всю жизнь, и дивился: совсем не тянуло его туда. У Тихона город был заветной мечтой, он презирал и ненавидел деревню всей душой. Кузьма только силился ненавидеть. Он теперь с еще большим страхом, чем прежде, оглядывался на свое существование: он совсем одичал в Дурновке, — часто не умывался, весь день не снимал чуйки, хлебал из одной миски с Кошелем. Но хуже всего было то, что, страшась своего существования, которое старило его не по дням, а по часам, он чувствовал, что оно все-таки приятно ему, что он, кажется, возвратился в ту именно колею, какая, может быть, и надлежала ему от рождения: недаром, видно, текла в нем кровь дурновцев!

После завтрака он гулял иногда, по усадьбе или по деревне. Бывал на гумне у Якова, в избе у Серого или Кошеля, старуха которого жила одна, слыла колдуньей, была высока и страшно худа, зубаста, как смерть, говорила грубо и решительно, как мужик, курила трубку: истопит печку, сядет на нары и покури-вает себе, мотая тонкой длинной ногой в тяжелом черном лапте. Раза два за весь пост Кузьма выезжал — был на почте и у брата. И поездки эти были тяжелы: промерзал Кузьма до того, что не чувствовал, есть у него тело или нет. Бараний тулуп его служил так давно, что весь пошел лысынами. А ветер в поле был свирепый. После сидения в Дурновке нельзя было надыхаться крепкой свежестью зимнего воздуха. После долгого созерцания деревни поражал снежно-серый простор, по-зимнему синееющие дали казались неоглядными, красивыми, как на картине. Бодро, отфыркиваясь, неслась против жестокого ветра лошадь, смерзшиеся глудки со стуком летели из-под кованых копыт в передок саней. Кошель, с черно-лиловой обмороженной щекой, бодро кряхтя, соскакивал с облучка на раскатах и на бегу боком вскакивал на него. Но ветер продувал насквозь, ноги, поставленные в солому, перебитую со снегом, ныли и коченели, лоб и скулы ломило... А в низенькой почтовой конторе в Ульяновке было скучно так, как может быть скучно только в захолустных казенных местах. Пахло плесенью, сургучом, оборванный почтальон стучал штемпелем, угрюмый Сахаров орал на мужиков, сердясь, что Кузьма не догадывается прислать ему пяток кур или пуд муки. Возле дома Тихона Ильича волновал запах паровозного дыма, напоминал, что есть на свете города, люди, газеты, новости. Поговорить с

братом, отдохнуть у него, согреться было бы приятно. Но разговор не налаживался. Брата поминутно отрывали в лавку, по хозяйству, говорил он тоже только о хозяйстве, о брехне, о подлости и злобе мужиков,— о необходимости поскорее, поскорее развязаться с имением. Настасья Петровна была жалка. Она, видимо, стала страшно бояться мужа; невпопад встревала в беседу, невпопад хвалила его,— его ум, зоркий хозяйский глаз, то, что он по хозяйству во все, во все вникает сам.

— Уж такой доступный до всего, такой доступный! — говорила она — и Тихон Ильич грубо обрезал ее. Через час такой беседы Кузьму начинало тянуть домой, в усадьбу. «Он рехнулся, ей-ей, рехнулся!» — бормотал Кузьма на пути домой, вспоминая угрюмое и злое лицо Тихона, его замкнутость, подозрительность и утомительное повторение одного и того же. И покрикивал на Кошеля, на лошадь, торопясь скрыть в своем домишке и тоску свою, и старую холодную одежду...

На святках к Кузьме повадился Иванушка из Басова. Это был старозаветный мужик, ошалевший от долголетия, некогда славившийся медвежьей силой, коренастый, согнутый в дугу, никогда не подымавший лохматой бурой головы, ходивший носками внутрь. В холеру девяносто второго года вся огромная семья Иванушки вымерла. Уцелел только сын, солдат, служивший теперь будочником на чугунке, недалеко от Дурновки. Можно было дожить век и у сына, но Иванушка предпочел бродить, побираться. Он косолапо шел по двору с палкой и шапкой в левой руке, с мешком в правой, с раскрытой головой, на которой белел снег,— и овчарки почему-то не брехали на него. Он входил в дом, бормотал: «Дай, Бог, дому сему да хозяина в дому»,— и садился у стены на пол. Кузьма отрывался от книги и с удивлением, с робостью смотрел на него поверх пенсне, как на какого-то степного зверя, присутствие которого было странно в комнате. Молча, с опущенными ресницами, с легкой ласковой улыбкой, мягко ступая лаптями, появлялась Молодая, подавала Иванушке миску вареных картошек и целую краюху хлеба, серую от соли, и становилась у притолки. Она носила лапти, в плечах была плотна, широка, и красивое поблекшее лицо ее было так крестьянски-просто и старинно, что, казалось, иначе и не могла она называть Иванушку, как дедушкой. И она, улыбаясь,— она улыбалась только ему одному,— негромко говорила:

— Закуси, закуси, дедушка.

А он, не поднимая головы, зная ее ласку только по голосу, тихо ныл в ответ, иногда бормотал: «Спаси тебе Господь, внучка», широко и неловко, точно лапой, крестился и жадно

принимался за еду. На его бурых волосах, нечеловечески густых и крупных, таяло. С лаптей текло по полу. От ветхого бурого чекменя, надетого на грязную посконную рубаху, пахло курной избой. Изуродованные долголетней работой руки, корявые негнущиеся пальцы с трудом ловили картошки.

— Небось холодно в одном чекмене-то? — громко спрашивал Кузьма.

— Ась? — слабым нытьем отзывался Иванушка, подставляя закрытое волосами ухо.

— Холодно тебе небось?

Иванушка думал.

— Чем холодно? — отвечал он с расстановкой. — Ничаво ня холодно... В старину куда стюдяней было.

— Подними голову-то, волосы-то поправь!

Иванушка медленно качал головою.

— Таперь, брат, не подынешь... Гнеть к земле-то...

И с тусклой улыбкой силился поднять свое страшное, заросшее волосами лицо, свои крохотные, сощуренные глазки.

Наевшись, он вздыхал, крестился, собирал и дожевывал крошки с колен; потом шарил возле себя — искал мешок, палку и шапку, а найдя и успокоившись, начинал неторопливую беседу. Он мог просидеть молча весь день, но Кузьма и Молодая расспрашивали — и он, как во сне, откуда-то издали, отвечал. Он рассказывал своим неуклюжим старинным языком, что царь, говорят, весь из золота, что рыбу царь не может есть — «дюже солона», что пророк Илья раз проломил небо и упал на землю: «дюже был грузен»; что Иван Креститель родился лохматый, как баран, и, крестя, бил крестника костью железным в голову, чтобы тот «очухался»; что всякая лошадь раз в году, в день Флора и Лавра, норовит человека убить; рассказывал, что в старину ржи были такие, что уж не мог проползти, что косили прежде в день по две десятины на брата; что у него был мерин, которого держали «на чепах» — так силен и страшен был он; что однажды, лет шестьдесят тому назад, у него, у Иванушки, украли такую дугу, за которую он двух целковых не взял бы... Он был твердо убежден, что семья его вымерла не от холеры, а оттого, что перешла после пожара в новую избу, ночевала в ней, не дав сперва переночевать кочету, и что он с сыном спасся только случайно: спал в риге... Под вечер Иванушка поднимался и уходил, не обращая внимания ни на какую погоду, не склоняясь ни на какие увещания остаться до утра... И простудился насмерть — и под Крещение скончался в будке сына. Сын уговаривал его причаститься. Иванушка не согласился: сказал, что, причастившись, помрешь, а смер-

ти он твердо решил «не поддаваться». Он по целым дням лежал без памяти; но даже и в бреду просил невестку сказать, что его дома нет, если постучится смерть. Ночью раз пришел в себя, собрал силы, слез с печи и стал на колени перед образом, озаренным лампадкой. Он тяжело вздыхал, долго бормотал, повторял: «Господи-батюшка, прости мои прегрешения...» Потом задумался, долго молчал, прикинув головою к полу. И вдруг поднялся и твердо сказал: «Не, не поддамся!» Но утром увидал, что невестка разваливает пироги, жарко топит печь...

— Ай мне на похороны? — спросил он дрогнувшим голо- сом.

Невестка промолчала. Он опять собрал силы, опять слез с печи, вышел в сенцы: да, верно, — у стены стоймя стоял громадный лиловый гроб с белыми восьмиконечными крестами! Тогда он вспомнил, что было лет тридцать тому назад с соседом, стариком Лукьяном: Лукьян захворал, ему купили гроб — тоже хороший, дорогой гроб, — привезли из города муки, водки, соленого судака; а Лукьян возьми да и поправься. Куда было девать гроб? Чем оправдать траты? Лукьяна лет пять проклинали потом за них, сживали попреками со свету... Иванушка, вспомнив это, поник головой и покорно побрел в избу. А ночью, лежа на спине без памяти, стал дрожащим, жалобным голосом петь, да все тише, тише — и вдруг затряс коленами, заикал, высоко поднял грудь вздохом и, с пеной на раскрытых губах, застыл...

Чуть не месяц Кузьма пролежал из-за Иванушки в постели. Утром на Крещенье говорили, что птица мерзнет на лету, а у Кузьмы даже валенок не было. И все-таки он поехал взглянуть на мертвого. Руки его, сложенные и заочевенные под огромной грудью на чистой посконной рубахе, уродованные мозолистыми наростами в течение целых восьмидесяти лет первобытно-тяжкой работы, были так грубы и страшны, что Кузьма поспешил отвернуться. А на волосы, на мертвое звериное лицо Иванушки он даже и покоситься не мог, — поскорее кинул белый коленкор. Чтобы согреться, он выпил водки и посидел перед жарко пылающей печкой. В будке было тепло и празднично-чисто, над возглавием широкого лилового гроба, закрытого коленкором, мерцал золотистый огонек восковой свечки, прилепленной к угловому темному образу, пестрела яркими красками лубочная картина — продажа братьями Иосифа. Приветливая солдатка легко поднимала на рогаче и вдвигала в печь пудовые чугуны, весело говорила о казенных дровах и все упрасивала остаться до возвращения из села

мужа. Но Кузьму била лихорадка; лицо горело, от водки, отравой разлившейся по озябшему телу, стали навертываться на глаза беспричинные слезы... И, не согревшись, Кузьма поехал по белым крепким волнам полей к Тихону Ильичу. Заиндевший, бело-кудрявый мерин бежал шибко, екая селезенкой, кидая из ноздрей столбы серого пара; козырьки голосили, звонко визжали железными подрезами по жесткому снегу; сзади, в морозных кругах, желтело низкое солнце; спереди, с севера, несло жгучим, захватывающим дух ветром; вешки клонились в густом кудрявом инее, и крупные серые овсянки стаей летели перед меринком, рассыпались по лоснящейся дороге, клевали мерзлый навоз, опять взлетали и опять рассыпались. Кузьма глядел на них сквозь тяжелые, белые ресницы, чувствовал, что задеревеневшее лицо его с белыми кудрями усов и бороды стало похоже на святочную маску... Солнце садилось, снежные волны мертвенно зеленели в оранжевом блеске, от их хребтов и зазубрин тянулись голубые тени... Кузьма круто повернул лошадь и погнал ее назад, домой. Солнце село, в доме с запушенными серыми стеклами брезжил тусклый свет, стояли сизые сумерки, было нелюдимо и холодно. Снегирь, висевший в клетке возле окна в сад, окошел, лежал вверх лапками, распушив перья, раздув красный зобик.

— Готов! — сказал Кузьма и понес снегиря выкидывать.

Дурновка, занесенная мерзлыми снегами, такая далекая всему миру в этот печальный вечер среди степной зимы, вдруг ужаснула его. Кончено! Горящая голова мутна и тяжела, он сейчас ляжет и больше не встанет... Скрипя по снегу лаптями, к крыльцу подошла с ведром в руке Молодая.

— Заболел я, Дунюшка! — ласково сказал Кузьма, в надежде услышать от нее ласковое слово.

Но Молодая равнодушно, сухо ответила:

— Самовар, что ль, поставить?

И даже не спросила, чем заболел. Не спросила ничего и об Иванушке... Кузьма вернулся в темную комнату и, весь дрожа, со страхом соображая, как же это и куда он будет ходить теперь за нуждой, лег на диван... И вечера смешались с ночами, ночи с днями, счет их потерялся...

В первую ночь, часа в три, он очнулся и постучал в стену кулаком, чтобы попросить воды: мучила во сне жажда и мысль, выкинули ли снегиря. Но на стук никто не отозвался. Молодая ушла ночевать в людскую. И Кузьма вспомнил, почувствовал, что он смертельно болен, и его охватила такая тоска, точно он очнулся в склепе. Значит, в прихожей, пахнувшей снегом, соломой и хомутами, было пусто! Значит, он, больной и беспомощ-

ный, совсем один в этом темном ледяном домишке, где тускло сереют окна среди мертвой тишины бесконечной зимней ночи и висит ненужная клетка!

— Господи, спаси и помилуй, Господи, помоги хоть сколько-нибудь,— зашептал он, поднимаясь и шаря дрожащими руками по карманам.

Он хотел зажечь спичку. Но шепот его был горячечный, в пылающей голове шумело и звенело, руки, ноги леденели... Приехала Клаша, его родная, милая дочь, быстро распахнула дверь, положила его голову на подушку, села на стул возле дивана... Одета она была барышней,— бархатная шубка, шапочка и муфта из белого меха,— руки ее пахли духами, глаза блестели, щеки с мороза покраснелись... «Ах, как хорошо распуталось все!» — шептал кто-то, но нехорошо было то, что Клаша почему-то не зажгла огня, что приехала она не к нему, а на похороны Иванушки... что она внезапно басом запела под гитару: «Хаз-Булат удалой, бедна́ сакля твоя...»

В смертельной тоске, отравлявшей душу в начале болезни, Кузьма бредил снегирем, Клашей, Воронежем, но даже в бреде не покидала его мысль — сказать кому-то, чтобы хоть в одном сжалились над ним — не хоронили в Колодезях. Но, Боже мой, не безумие ли надеяться на жалость в Дурновке! Раз он пришел в себя утром, когда топили печку,— и простые, спокойные голоса Кошеля и Молодой показались ему так беспощадны, чужды и странны, как всегда кажется беспощадна, чужда и странна большим обыденная жизнь здоровых. Он хотел крикнуть, попросить поставить самовар — и онемел: послышался сердитый шепот Кошеля, говорившего, конечно, о нем, о больном, и отрывистый ответ Молодой:

— А, да ну его! Помрет — похоронят...

Потом светило в окна, сквозь голые ветви акаций, предвечернее солнце. Синел табачный дым. Возле постели сидел старичок-фельдшер, пахнувший лекарствами и морозной свежестью, отдиравший с усов ледяные сосульки. На столе кипел самовар, и Тихон Ильич, высокий, седой, строгий, заваривал, стоя у стола, душистый чай. Фельдшер говорил о своих коровах, ценах на муку и масло, а Тихон Ильич рассказывал, как чудесно, богато хоронили Настасью Петровну, как он рад, что нашелся наконец покупатель на Дурновку. Кузьма понимал, что Тихон Ильич только что из города, что Настасья Петровна умерла там внезапно, по дороге на вокзал; понимал, что стоили Тихону Ильичу похороны страшно дорого и что он уже взял задаток за Дурновку — и был совершенно равнодушен...

Проснувшись однажды очень поздно, чувствуя лишь сла-

бость, он сел за самовар. День был пасмурный, теплый, навалило много свежего снега. Отпечатывая в нем следы лаптей, испещренные крестиками, прошел под окном Серый. Вокруг него, обнюхивая его рваные полы, бежали овчарки. А он тянул за повод высокую грязно-соловую лошадь, безобразную от старости и худобы, с истертыми хомутом плечами, с побитой спиной, с жидким нечистым хвостом. Она ковыляла на трех ногах, четвертую, переломленную ниже колена, волочила. И Кузьма вспомнил, что третьего дня был Тихон Ильич и сказал, что велел Серому полакомить овчарок,— найти и зарезать старую лошадь, что Серый и прежде промышлял иногда этим делом — покупкой дохлой или негодной скотины на шкуру. С Серым, говорил Тихон Ильич, был недавно страшный случай: готовясь резать какую-то кобылу, Серый забыл ее спутать, связал и затянул на сторону только морду,— и кобыла, как только он, перекрестившись, ударил ее тонким ножичком в жилу возле ключицы, взвизгнула и, с визгом, с желтыми, оскаленными от боли и ярости зубами, с бьющей на снег струей черной крови, кинулась на своего убийцу и долго, как человек, гонялась за ним — и настигла бы, да «спасибо, снег был глубокий»... Кузьму так поразил этот случай, что теперь, заглянув в окно, он опять почувствовал тяжесть в ногах. Он стал глотать горячий чай — и понемногу оправился. Покурил, посидел... Наконец встал, вышел в прихожую и взглянул на голый, редкий сад за оттаявшим окном: в саду, на белоснежном покрове поляны, краснела бокастая кровавая туша с длинной шеей и ободранной головой; собаки, сгорбившись и упершись лапами в мясо, жадно вырывали и растягивали кишки; два старых черно-сизых ворона боком подпрыгивали к голове, взлетали, когда собаки, рыча, кидались на них, и опять опускались на девственно-чистый снег. «Иванушка, Серый, вороны... — подумал Кузьма. — Господи, спаси и помилуй, вынеси меня отсюда!»

Недомогание не покидало Кузьму еще долго. Грустно и радостно трогала мысль о весне, хотелось поскорее вон из Дурновки. Он знал, что зиме еще и конца не предвидится; но оттепели уже начинались. Первая неделя февраля была темная, туманная. Туман скрывал поля, съедал снег. Деревня чернела, между грязными сугробами стояла вода; становой проехал однажды по деревне гуськом, весь закиданный конским пометом. Пели петухи, из вентилятора тянуло волнующей весенней сыростью... Жить еще хотелось — жить, ждать весны, переезда в город, жить, покоряясь судьбе, и делать какое угодно дело, хотя бы за один кусок хлеба... И, конечно, у брата,— какой он

ни есть. Брат ведь уже предлагал ему, больному, переселиться на Воргол.

— Куда ж мне гнать-то тебя,— сказал он, подумав.— Я и лавку с двором с первого марта передаю,— поедем-ка, братуша, в город, подальше от этих живорезов!

И правда: живорезы. Была Однодворка и передавала подробности недавней истории с Серым. Дениска вернулся из Тулы и околачивался без дела, болтая по деревне, что хочет жениться, что у него есть денежки и что скоро заживет он за первый сорт. Деревня сперва называла эти рассказы брехнею, потом, по намекам Дениски, сообразила, в чем дело, и поверила. Поверил и Серый и стал заискивать в сыне. Но, ободрав лошадь, получив целковый от Тихона Ильича и нажив полтинник на шкуре, загордел и загулял: пил два дня, потерял трубку и лег отлеживаться на печке. Голова болела, покурить было не из чего. Вот он и стал обдирать на сигарки потолок, который Дениска оклеивал газетами и разными картинками. Обдирал он, конечно, тайком, но раз таки застал его Дениска за этим делом. Застал и заорал. Серый с похмелья тоже заорал — и Дениска стащил его с печки и бил смертным боем до тех пор, покуда не сбежались соседи... Но, думал Кузьма, не живорез ли и Тихон Ильич, с упорством сумасшедшего настаивавший на свадьбе Молодой с одним из этих живорезов!

Услыхав об этой свадьбе впервые, Кузьма твердо решил, что не допустит ее. Какой ужас, какая нелепость! Потом, приходя в себя во время болезни, он даже радовался этой нелепости. Удивило и поразило его равнодушие Молодой к нему, больному. «Зверь, дикарь! — думал он и, вспоминая о свадьбе, злобно прибавлял: — И отлично! Так ей и надо!» Теперь, после болезни, исчезли и решимость и злоба. Как-то заговорил он с Молодой о намерении Тихона Ильича — и она спокойно ответила:

— Да что ж, я уж балакала с Тихоном Ильичом об этом деле. Дай Бог ему доброго здоровья, это он хорошо придумал.

— Хорошо? — изумился Кузьма.

Молодая посмотрела на него и покачала головою:

— Да как же не хорошо-то? Чудны вы, ей-Богу, Кузьма Ильич! Денег сулит, свадьбу берет на себя... Опять же не вдовца какого-нибудь придумал, а малого молодого, без порока... не гнилого, не пьяницу...

— А лодыря, драчуна, дурака набитого,— прибавил Кузьма.

Молодая потупила глаза, помолчала. Вздохнула и, повернувшись, пошла к двери.

— Да как знаете,— сказала она с дрожью в голосе.— Дело ваше... Отговаривайте... Бог с вами.

Кузьма широко раскрыл глаза и крикнул:

— Стой, да ты с ума сошла! Разве я тебе зла желаю?

Молодая обернулась и остановилась.

— А разве не зла? — горячо и грубо заговорила она, краснея и блестя глазами.— Куда ж, по-вашему, мне деваться? Век чужие пороги обивать? Чужую корку глотать? Бездомной побирушкой шататься? Ай вдовца, старика искать? Мало я слезо поглотала?

И голос ее сорвался. Она заплакала и вышла. Вечером Кузьма убедил ее, что он и не думал расстраивать дела, и она наконец поверила, ласково и застенчиво усмехнулась.

— Ну, спасибо вам,— сказала она тем милым тоном, каким говорила с Иванушкой.

Но и тут на ресницах ее задрожали слезы — и опять развел руками Кузьма.

— А теперь-то ты о чем? — сказал он.

И Молодая тихо ответила:

— Да авось и Дениска не радость...

Кошель привез с почты газеты почти за полтора месяца. Дни стояли темные, туманные, и Кузьма с утра до вечера читал, сидя у окна. И, кончив, ошеломив себя числом новых «террористических актов» и казней, оцепенел. Косо неслась белая крупа, падая на черную нищую деревушку, на ухабистые, грязные дороги, на конский навоз, лед и воду; сумеречный туман скрывал поля...

— Авдотья! — крикнул Кузьма, поднимаясь с места.— Скажи Кошелю — лошадь в козырьки запречь!

Тихон Ильич был дома. Он сидел за самоваром, в одной ситцевой косоворотке, смуглый, с белой бородой, с насуспенными серыми бровями, большой и сильный, и заваривал чай.

— А! братуша! — приветливо воскликнул он, не раздвигая бровей.— Вылез на свет Божий? Смотри, не рано ли?

— Уж очень соскучился, брат,— ответил Кузьма, целуясь с ним.

— Ну, а соскучился, давай греться и балакать...

Расспросив друг друга, нет ли новостей, стали молча пить чай, потом закурили.

— Очень ты похудел, братуша! — сказал Тихон Ильич, затягиваясь и исподлобья глядя на Кузьму.

— Похудеешь,— ответил Кузьма тихо.— Ты не читаешь газет?

Тихон Ильич усмехнулся.

— Брехню-то эту? Нет, Бог милует.

— Сколько казней, если бы ты знал!

— Казней? Поделом... Ты не слыхал, что под Ельцом-то было? На хуторе братьев Быковых?... Помнишь небось,— картошечки-то?... Сидят эти Быковы, не хуже нас с тобою, этак вечерком, играют в шашки... Вдруг — что такое? Топот на крыльце, крик: «Отворяй!» И не успели, братец ты мой, эти самые Быковы глазом моргнуть — вваливается ихний работник, мужичишка на манер Серого, а за ним — два архаровца какие-то, золоторотцы, короче сказать... И все с ломами. Подняли ломы да как заорут: «Руки вверх, мать вашу так!» Быковы, конечно, перепугались не на живот, а на смерть, вскочили, кричат: «Да что такое?» А мужичишка свое: вверх да вверх!

И Тихон Ильич сумрачно улыбнулся и, задумавшись, смолк.

— Да договаривай же,— сказал Кузьма.

— Да и договаривать-то нечего... Подняли, конечно, руки и спрашивают: «Да что вам надо-то?» — «Ветчину подавай! Где ключи у тебя?» — «Да сукин сын! Тебе ли не знать? Да вот они, на притолке на гвоздике висят...»

— Это с поднятыми-то руками? — перебил Кузьма.

— Конечно, с поднятыми... Ну, да и всыпят им теперь за эти руки! Удавят, конечно. Они уж в остроге, голубчики...

— Это за ветчину-то удавят?

— Нет, за транду, прости ты, Господи, мое согрешение,— полусердито, полшутливо отозвался Тихон Ильич.— Будет тебе, ей-Богу, ерепениться-то, Балашкина из себя корчить! Пора бросать...

Кузьма потеревил свою серенькую бородку. Измученное, худое лицо его, скорбные глаза, косо поднятая левая бровь отражались в зеркале, и, поглядев на себя, он тихо согласился:

— Ерепениться-то? Верно, что пора... давно пора...

И Тихон Ильич перевел разговор на дела. Видимо, он и задумался-то давеча, среди рассказа, только потому, что вспомнил что-то гораздо более важное, чем казни,— какое-то дело.

— Вот я уж сказал Дениске, чтобы он как ни можно скорее кончал эту музыку,— твердо, четко и строго заговорил он, из горсти подсыпая в чайник чаю.— И прошу тебя, братуша,— прими ты участие в ней, в музыке-то этой. Мне, понимаешь, неловко. А после того перебирайся сюда. Гårно, братуша, будет! Раз мы уж порешили раскассировать все вдребезги, сидеть тебе там без толку нечего. Только расходы двойные. И, переехавши, запрягайся со мной рядом. Свалим с плеч обузу,

доберемся, Бог даст, до города,— за ссыпку примемся. Тут, в этой яруге, не развернешься. Отрясем от ног прах ее,— и хоть в тартарары провались она. Не погибать же в ней! У меня, имей в виду,— сказал он, сдвигая брови, протягивая руки и стискивая кулаки,— у меня еще не вывернешься, мне еще рано на печи-то лежать! Черту рога сломя!

Кузьма слушал, почти со страхом глядя в его остановившийся, сумасшедшие глаза, в его косивший рот, хищно чеканивший слова,— слушал и молчал. Потом спросил:

— Брат, скажи ты мне за-ради Христа, какая у тебя корысть в этой свадьбе? Не пойму, Бог свидетель, не пойму. Дениску твоего я прямо видеть не могу. Этот новенький типик, новая Русь, почище всех старых будет. Ты не смотри, что он стыдлив, сентиментален и дурачком прикидывается,— это такое циничное животное! Рассказывает про меня, что я с Молодой живу...

— Ну, уж ты ни в чем меры не знаешь,— нахмуриваясь, перебил Тихон Ильич.— Сам же долбишь: несчастный народ, несчастный народ! А теперь — животное!

— Да, долблю и буду долбить! — горячо подхватил Кузьма.— Но у меня ум за разум зашел! Ничего теперь не понимаю: не то несчастный, не то... Да ты послушай: ведь ты же сам его, Дениску-то, ненавидишь! Вы оба ненавидите друг друга! Он про тебя иначе и не говорит, как «живорез, в холку народу въелся», а ты *его* живорезом ругаешь! Он нагло хвастается на деревне, что теперь он — кум королю...

— Да знаю я! — опять перебил Тихон Ильич.

— А про Молодую он, знаешь, что говорит? — продолжал Кузьма, не слушая.— У нее, понимаешь, такой нежный, белый цвет лица, а он, животное, знаешь, что говорит? «Чисто кафельная, сволочь!» Да наконец пойми ты одно: ведь он не будет жить в деревне, его, бродягу, теперь арканом в деревне не удержишь. Какой он хозяин, какой семьянин? Вчера, слышу, идет по деревне и поет блядским голоском: «Прикрасна, как андел небесный, как деман коварна и зла...»

— Знаю! — крикнул Тихон Ильич.— Не будет жить в деревне, ни за что не будет! Ну, и черт с ним! А что он не хозяин, так и мы с тобой хороши хозяева! Я, помню, об деле тебе говорю,— в трактире-то, помнишь? — а ты перепела слушаешь... Да дальше-то, дальше-то что?

— Как что? И при чем тут перепел? — спросил Кузьма.

Тихон Ильич побарабанил пальцами по столу и строго, раздельно отчеканил:

— Имей в виду: воду толочь — вода будет. Слово мое есть свято во веки веков. Раз я сказал — сделаю. За грех мой не

свечку поставлю, а сотворю благое. Хоть и лепту одну подам, да за лепту эту попомнит мне Господь.

Кузьма вскочил с места.

— Господь, Господь! — воскликнул он фальцетом. — Какой там Господь у нас! Какой Господь может быть у Дениски, у Акимки, у Меньшова, у Серого, у тебя, у меня?

— Постой, — строго спросил Тихон Ильич. — У какого такого Акимки?

— Я вон околевал лежал, — продолжал Кузьма, не слушая, — много я о нем думал-то? Одно думал: ничего о нем не знаю и думать не умею! — крикнул Кузьма. — Не научен!

И, оглядываясь бегающими страдальческими глазами, застегиваясь и расстегиваясь, прошел по комнате и остановился перед самым лицом Тихона Ильича.

— Запомни, брат, — сказал он, и скулы его покраснели. — Запомни: наша с тобой песня спета. И никакие свечи нас с тобой не спасут. Слышишь? Мы — дурновцы!

И, не находя слов от волнения, смолк. Но Тихон Ильич уже опять думал что-то свое и внезапно согласился:

— Верно. Ни к черту не годный народ! Ты подумай только...

И оживился, увлеченный новой мыслью:

— Ты подумай только: пашут целую тысячу лет, да что я! больше! — а пахать путем — то есть ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать! Когда надо сеять, когда косить! «Как люди, так и мы», — только и всего. Заметь! — строго крикнул он, сдвигая брови, как когда-то кричал на него Кузьма. — «Как люди, так и мы!» Хлеба ни единая баба не умеет спечь, — верхняя корка вся к черту отваливается, а под коркой — кислая вода!

И Кузьма опешил. Мысли его спутались.

«Он рехнулся!» — подумал он, бессмысленными глазами следя за братом, зажигавшим лампу.

А Тихон Ильич, не давая ему опомниться, с азартом продолжал:

— Народ! Сквернословы, лентяи, лгуны, да такие бесстыжие, что ни единая душа друг другу не верит! Заметь, — заорал он, не видя, что зажженный фитиль полыхает и чуть не до потолка бьет копотью, — не нам, а друг другу! И все они такие, все! — закричал он плачущим голосом и с треском надел стекло на лампу.

За окнами посинело. На лужи и сугробы летел молодой белый снег. Кузьма смотрел на него и молчал. Разговор принял такой неожиданный оборот, что даже горячность Кузьмы про-

пала. Не зная, что сказать, не решаясь взглянуть в бешеные глаза брата, он стал свертывать папиросу.

«Рехнулся,— думал он безнадежно.— Да туда и дорога. Все равно!»

Закурил, стал успокаиваться и Тихон Ильич. Сел и, глядя на огонь лампы, тихо забормотал:

— А ты — «Дениска»... Слышал, что Макар Иванович-то, странник-то, наделал? Поймали, с дружкой со своим, бабу на дороге, оттащили в караулку в Ключиках — и четыре дня ходили насиловали ее... поочередно... Ну, теперь в остроге...

— Тихон Ильич,— ласково сказал Кузьма,— что ты городишь? К чему? Ты нездоров, должно быть. Перескакиваешь с одного на другое, сейчас одно утверждаешь, а через минуту другое... Пьешь ты, что ли, много?

Тихон Ильич промолчал. Он только махнул рукою, и в глазах его, устремленных на огонь, задрожали слезы.

— Пьешь? — тихо повторил Кузьма.

— Пью,— тихо ответил Тихон Ильич.— Да запьешь! Ты думаешь, легко мне досталась эта клетка-то золотая? Думаешь, легко было кобелем цепным всю жизнь прожить, да еще со старухою? Ни к кому у меня, братуша, жалости не было... Ну, да и меня не много жалели! Ты думаешь, я не знаю, как меня ненавидят-то? Ты думаешь, не убили бы меня на смерть лютую, кабы попала им, мужичкам-то этим, шлея под хвост, как следует,— кабы повезло им в этой революции-то? Погоди, погоди,— будет дело, будет! Зарезали мы их?

— А за ветчину — давить? — спросил Кузьма.

— Ну уж и давить,— отозвался Тихон Ильич страдальчески.— Это ведь я так, к слову пришлось...

— Да ведь удавят!

— А это — не наше дело. Им отвечать Всевышнему.

И, сдвинув брови, задумался, закрыл глаза.

— Ах! — сокрушенно сказал он с глубоким вздохом.— Ах, брат ты мой милый! Скоро, скоро и нам на суд перед престолом Его! Читаю я вот по вечерам требник — и плачу, рыдаю над этой самой книгой. Диву даюсь: как это можно было слова такие сладкие придумать! Да вот, постой...

И он быстро поднялся, достал из-за зеркала толстую книжку в церковном переплете, дрожащими руками надел очки и со слезами в голосе, торопливо, как бы боясь, что его прервут, стал читать:

— Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду в гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, безгласну, не имущую вида...

— Воистину суета человеческая; житие же — сень и соние. Ибо всеу мятется всяк земнородный, яко же рече Писание: егда мир приобретаем, тогда во гроб вселимся, иде же вкупе царие и нишии...

— Царие и нишии! — восторженно-грустно повторил Тихон Ильич и закачал головою. — Пропала жизнь, братуша! Была у меня, понимаешь, стряпуха немая, подарил я ей, дуре, платок заграничный, *а она взяла да и истаскала его наизнанку...* Понимаешь? От дури да от жадности. Жалко налицо по будням носить, — праздника, мол, дождусь, — а пришел праздник — лохмотья одни остались... Так вот и я... *с жизнью-то своей*. Истинно так!

Возвращаясь в Дурновку, Кузьма чувствовал только одно — тупую тоску. В тупой тоске прошли и все последние дни его в Дурновке.

Шел снег эти дни, а снегу только и ждали в дворе Серого, чтобы дорога поправилась к свадьбе.

Двенадцатого февраля, перед вечером, в сумраке холодной прихожей произошел негромкий разговор. У печки стояла Молодая, надвинув на лоб желтый с черным горошком платок, глядя на свои лапти. У дверей — коротконогий Дениска, без шапки, в тяжелой, с обвислыми плечами поддевке. Он тоже смотрел вниз, на полусапожки с подковками, которые вертел в руках. Полусапожки принадлежали Молодой. Дениска починил их и пришел получить пятак за работу.

— Да у меня нету, — говорила Молодая. — А Кузьма Ильич, никак, заснул. Ты подожди до завтра-то.

— Мне, был, ждать-то нельзя, — певуче и задумчиво ответил Дениска, ковыряя ногтем подковку.

— Ну, как же теперь быть?

Дениска подумал, вздохнул и, тряхнув своими густыми волосами, вдруг поднял голову.

— Ну, что ж язык-то даром трепать, — громко и решительно сказал он, не глядя на Молодую и пересиливая застенчивость. — Говорил с тобой Тихон Ильич?

— Говорил, — ответила Молодая. — Надоел даже.

— Так я приду сейчас с отцом. Все равно ему, Кузьме-то Ильичу, встать сейчас, чай пить...

Молодая подумала.

— Дело твое...

Дениска поставил полусапожки на подоконник и, не напоминая больше о деньгах, ушел. А через полчаса на крыльце послышался стук обиваемых от снега лаптей: Дениска вернулся с Серым — и Серый был зачем-то подпоясан по чекмену, по

кострецам красной подпояской. Кузьма вышел к ним. Дениска и Серый долго крестились в темный угол, потом трянули волосами и подняли лица.

— Сват, не сват, а добрый человек! — не спеша начал Серый необычно-развязным и ладным тоном. — Тебе нареченную дочь отдавать, мне сына женить. По доброму согласию, на ихнее счастье давай речь промеж себя держать.

И степенно, низко поклонился.

Сдерживая болезненную улыбку, Кузьма велел кликнуть Молодую.

— Беги, ищи, — шепотом, как в церкви, приказал Серый Дениске.

— Да я тут, — сказала Молодая, выходя из-за двери, от печки, и поклонилась Серому.

Наступило молчание. Самовар, стоявший на полу и красневший в темноте решеткой, кипел и клокотал. Лиц не было видно.

— Ну, как же, дочка, решай, — усмехаясь, сказал Кузьма.

Молодая подумала.

— Я малого не корю...

— А ты, Денис?

Дениска тоже помолчал.

— Что ж, жениться все равно когда-нибудь надо... Может, Бог даст, ничего...

И сваты поздравили друг друга с начатием дела. Самовар унесли в людскую. Одноворка, раньше всех узнавшая новость и прибежавшая с Мыса, зажгла в людской лампочку, послала Кошеля за водкой и подсолнухами, посадила невесту с женихом под икону, налила им чаю, сама села рядом с Серым и, чтобы нарушить неловкость, высоко и резко запела, поглядывая на Дениску, на его землистое лицо и большие ресницы:

Как у нас да по садику,  
Зеленóm виноградику,  
Ходил, гулял молодец,  
Пригож, бел-белешенек...

На другой день всякий, кто слышал от Серого об этом пире, хмылялся и советовал: «Ты бы хоть немножко-то помог молодым!» То же сказал и Кошель: «Дело их молодое, молодым помогать надо». Серый молча ушел домой и принес Молодой, которая гладила в прихожей, два чугуничка и моток черных ниток.

— Вот, невестушка, — сказал он смущенно, — на, свекровь прислала. Может, на что годится... Нету ведь ничего, — кабы было что, из рубахи выскочил бы...

Молодая поклонилась и поблагодарила. Она гладила гардину, присланную Тихоном Ильичом «заместо фаты», и глаза ее были влажны и красны. Серый хотел утешить, сказать, что и ему «не мед», но помялся, вздохнул и, поставив чугунок на подоконник, вышел.

— Нитки-то я в чугунок положил,— пробормотал он.

— Спасибо, батюшка,— еще раз поблагодарила Молодая тем ласковым и особенным тоном, каким говорила только с Иванушкой, и как только вышел Серый, неожиданно улыбнулась слабой насмешливой улыбкой и запела: «Как у нас да по садику...»

Кузьма высунулся из зала и строго посмотрел на нее поверх пенсне. Она смолкла.

— Слушай,— сказал Кузьма.— Может, кинуть всю эту историю?

— Теперь поздно,— негромко ответила Молодая.— Уж и так страму не оберешься... Ай не знают все, на чьи деньги пировать-то будем? Да и расход уж начали...

Кузьма пожал плечами. Правда, вместе с гардиной Тихон Ильич прислал двадцать пять рублей, мешок крупчатой муки, пшена и худую свинью... Но не пропадать же из-за того, что свинью эту зарезали!

— Ох,— сказал Кузьма,— измучили вы меня! «Срам, расход»... Да ай ты дешевле свиньи?

— Дешевле не дешевле,— мертвых с погоста не носят,— просто и твердо ответила Молодая и, вздохнув, аккуратно сложила выглаженную, теплую гардину.— Обедать-то сейчас будете?

Лицо ее стало спокойным. «Ну, шабаш,— тут пива не сварить!» — подумал Кузьма и сказал:

— Ну, как знаешь, как знаешь...

Пообедав, он курил и смотрел в окно. Темнело. В людской, он знал, уже спекли ржаную витушку — «ряженный пирог». Готовились варить два чугуна студня, чугунок лапши, чугунок щей, чугунок каши — все с убиной. И Серый хлопотал на снежном бугре между амбарами и сараем. На бугре, в синеватых сумерках, оранжевым пламенем пылала солома, которой завалили убитую свинью. Вокруг пламени, поджидая добычи, сидели овчарки, и белые морды их, груди были шелковисто-розовые. Серый, утопая в снегу, бегал, поправлял костер, замахивался на овчарок. Полы зипуна он развернул и поднял, заткнул за пояс, шапку все сдвигал на затылок кистью правой руки, в которой блестел нож. Бегло и ярко озаряемый то с той, то с другой стороны, Серый кидал на снег большую пляшущую

ть, — тень язычника. Потом мимо амбара, по тропинке, на деревяню, пробежала и скрылась под снежным бугром Однодворка — созывать игриц и просить у Домашки елку, сберегаемую в погребе, переходившую с девишника на девишник. А когда Кузьма, причесавшись и переменяв пиджак с продранными локтями на заветный длиннополый сюртук, оделся и вышел на побелевшее от падающего снега крыльцо, в мягкой серой темноте, у освещенных окон людской уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор, играли сразу на трех гармонях и все разное. Кузьма, горбясь, перебирая пальцы и хрустя ими, дошел до толпы, протолкался и, нагнувшись, вошел в темь, в сени. Было людно, тесно и в сенях. Мальчишки шныряли между ног, их хватали за шеи и выталкивали вон, — они снова лезли...

— Да пустите, ради Бога! — сказал Кузьма, сдавленный у дверей.

Его сдавили еще больше — и кто-то рванул дверь. В клубах пара он перешагнул порог и остановился у притолки. Тут теснился народ почище — девки в цветных шальях, ребята во всем новом. Пахло красным товаром, полушубками, керосином, махоркой, хвоей. Маленькое зеленое деревцо, убранное кумачными лоскутами, стояло на столе, простирая ветки над тусклой жестяной лампочкой. Вокруг стола, под мокрыми, оттаявшими окошечками, у черных сырых стен, сидели наряженные игрицы, грубо нарумяненные и набеленные, с блестящими глазами, все в шелковых и шерстяных платочках, с радужными вьющимися перьями из хвоста селезня, заткнутыми на висках в волосы. Как раз когда Кузьма вошел, Домашка, хромая девка с темным, злым и умным лицом, с черными острыми глазами и черными сросшимися бровями, затанула грубым и сильным голосом старинную величальную песню:

Как у нас при вечеру-вечеру,  
При последнем конце вечера,  
При Авдотьином девишнику...

Девки дружным и нестройным хором подхватили ее последние слова — и все обернулись к невесте: она сидела, по обычаю, возле печки, необранная, с головой накрытая темной шалью, и должна была ответить песне громким плачем и причитаниями: «Родный мой батюшка, родимая матушка, как мне век вековать, замужем горе горевать?» Но невеста молчала. И девки, кончив песню, недовольно покосились на нее. Потом пошептались и, нахмурившись, медленно и протяжно запели «сиротскую»:

Растопися, банюшка,  
Ты ударь, звонкий колокол!

И у Кузьмы задрожали крепко сжатые челюсти, пошел мороз по голове и по голениям, сладостно заломило скулы, и глаза налились, помутились слезами. Невеста завернулась в шаль и вдруг вся затряслась от рыданий.

— Будя, девки! — крикнул кто-то.

Но девки не слушали:

Ты ударь, звонкий колокол,  
Разбуди мово батюшку...

И невеста со стоном стала падать лицом на свои колени, на руки, захлебываясь от слез... Дрожащую, шатающуюся, ее увели наконец в холодную половину избы — наряжать.

А потом Кузьма благословил ее. Жених пришел с Васькой, сыном Якова. Жених надел его сапоги; волосы жениха были подстрижены, шея, окаймленная воротом голубой рубахи с кружевом, докрасна выбрита. Он умылся с мылом и очень помолодел, был даже недурен и, зная это, степенно и скромно опускал темные ресницы. Васька, дружкó, в красной рубахе, в романовском полушубке нараспашку, войдя, строго покосился на игриц.

— Будя драть-то! — грубо сказал он и прибавил то, что полагалось по обряду: — Вылязайте, вылязайте.

Игрицы хором ответили:

— Без троицы дом не строится, без четырех углов — изба не кроется. Положь по рублю на каждом углу, пятый — посередке да бутылку водки.

Васька вытащил из кармана полштоф и поставил его на стол. Девки взяли — и поднялись. Стало еще теснее. Опять распахнулась дверь, опять понесло паром и холодом — вошла, расталкивая народ, Однодворка с фольговой иконкой, а за ней невеста, в голубом платье с баской, и все ахнули: так была она бледна, спокойна и красива. Васька наотмашь дал затрепину в лоб широкоплечему, головастому мальчишке на кривых, как у такса, ногах — и кинул на солому посреди избы чей-то старый полушубок. На него стали жених и невеста. Кузьма, не поднимая головы, взял икону из рук Однодворки — и стало так тихо, что слышно было свистящее дыхание любопытного головастого мальчишки. Жених и невеста разом упали на колени и поклонились в ноги Кузьме. Поднялись и опять упали. Кузьма взглянул на невесту, и в глазах их, встретившихся на мгновение, мелькнул ужас. Кузьма побледнел и с ужасом подумал: «Сейчас брошу образ на пол...» Но руки его невольно

сделали иконой крест в воздухе — и Молодая, чуть приложившись к ней, поймала губами его руку. Он сунул икону кому-то в сторону, схватил голову Молодой с отцовской болью и нежностью и, целуя новый пахучий платок, горько заплакал. Потом, ничего не видя от слез, повернулся и, расталкивая народ, шагнул в сени. Снежный ветер ударил ему в лицо. Занесенный порог белел в темноте, крыша гудела. А за порогом несла непроглядная вьюга, и свет, падавший из окошечек, из толщи снежной завалинки, стоял дымными столбами...

Вьюга не стихла и утром. В серой несущейся мути не было видно ни Дурновки, ни мельницы на Мысу. Порой светлело, порой становилось похоже на сумерки. Сад побелел, гул его сливался с гулом ветра, в котором все чудился дальний колокольный звон. Острые хребты сугробов дымились. С крыльца, на котором, жмурясь, обоняя сквозь свежесть вьюги теплый вкусный запах из трубы людской, сидели облепленные снегом овчарки, с трудом различал Кузьма темные, туманные фигуры мужиков, лошадей, сани, позвякиванье колокольцев. Под жениха запрягли пару, под невесту одиночку. Сани покрыли казанскими войлоками с черными разводами на концах. Поезжане подпоясались разноцветными подпоясками. Бабы надели ватные шубки, накрылись шальями, шли к саням опасливо, мелкими шажками, церемонно приговаривая: «Батюшки, свету Божьего не видно!..» На невесте и шубку и голубое платье завернули на голову — она села в сани на белую юбку, чтобы платье не измять. Голова ее, убранная венком бумажных цветов, была закутана шальями, подшальниками. Она так ослабела от слез, что как во сне видела темные фигуры среди вьюги, слышала шум ее, говор, праздничный звон колокольцев. Лошади прижимали уши, воротили морды от снежного ветра, ветер разносил говор, крик, слепил глаза, белил усы, бороды, шапки, и поезжане с трудом узнавали друг друга в тумане и сумраке.

— Ух, мать твою не замать! — бормотал Васька, нагибая голову, беря вожжи и садясь рядом с женихом.

И грубо, равнодушно крикнул на ветер:

— Господа бояре, бословите жениха по невесту ехать!

Кто-то отозвался:

— Бог бословит...

И бубенцы заныли, полозья заскрипели, сугробы, разрываемые ими, задымились, завихрились, вихри, гривы и хвосты понесло в сторону...

А на селе, в церковной сторожке, где отогревались в ожидании священника, все угорели. Угарно было и в церкви, угарно,

холодно и сумрачно — от вьюги, низких сводов и решеток в окошечках. Свечи горели только в руках жениха и невесты да в руке черного, с большими лопатками священника, наклонявшегося к книге, закапанной воском, и быстро читавшего сквозь очки. По полу стояли лужи — на сапогах и лаптях натаскали много снега, — в спины дул ветер из отворяемых дверей. Священник строго поглядывал то на двери, то на жениха с невестой, на их напряженные, ко всему готовые фигуры, на лица, застывшие в покорности и смирении, золотисто освещенные снизу свечами. По привычке, он произносил некоторые слова как бы с чувством, выделяя их с трогательной мольбой, но совершенно не думая ни о словах, ни о тех, к кому они относились.

«Боже пречистый и вся твари содетелю...— говорил он торопливо, то понижая, то повышая голос.— Иже раба твоего Авраама благословивый и разверзый ложесна Саррина... иже Исаака Ревекце даровавый... Иакова Рахили сочетаваый... подаждь рабом Твоим сим...»

— Имя? — строгим шепотом, не меняя выражения лица, перебивал он самого себя, обращаясь к псаломщику. И, поймав ответ: «Денис, Авдотья...» — продолжал с чувством:

«Подаждь рабом Твоим сим Денису и Евдокии живот мирен, долгоденствие, целомудрие... сподоби я видеть чада чадов... и даждь има от росы небесныя свыше... исполни дома их пшеницы, вина и елея... возвыси я яко кедры ливанские...»

Но окружающие, если бы даже слушали и понимали его, все же помнили бы о доме Серого, а не Авраама и Исаака, о Дениске, а не о кедре ливанском. Ему же самому, коротконогому, в чужих сапогах, в чужой поддевке, было неловко и страшно держать на неподвижной голове царский венец — медный огромный венец с крестом наверху, надетый глубоко, на уши. И рука Молодой, казавшейся в венце еще красивей и мертвее, дрожала, и воск тающей свечи капал на оборки ее голубого платья...

Вьюга в сумерках была еще страшнее. И домой гнали лошадей особенно быстро, и горластая жена Ваньки Красного стояла в передних санях, плясала, как шаман, махала платочком и орала на ветер, в буйную темную муть, в снег, летевший ей в губы и заглушавший ее волчий голос:

У голубя, у сизого  
Золотая голова!

ИВ. БУНИНЪ

# СУХОДОЛЬ

ПОВѢСТИ и РАЗСКАЗЫ  
1911—1912 г.



„КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ“  
МОСКВА



## СУХОДОЛ

### I

В Наталье всегда поражала нас ее привязанность к Суходолу.

Молочная сестра нашего отца, выросшая с ним в одном доме, целых восемь лет прожила она у нас в Лунево, прожила как родная, а не как бывшая раба, простая дворовая. И целых восемь лет отдыхала, по ее же собственным словам, от Суходола, от того, что заставил он ее выстрадать. Но недаром говорится, что, как волка ни корми, он все в лес смотрит: выйдя, вырастив нас, снова воротилась она в Суходол.

Помню отрывки наших детских разговоров с нею:

— Ты ведь сирота, Наталья?

— Сирота-с. Вся в господ своих. Бабушка-то ваша Анна Григорьевна куда как рано ручки белые сложила! Не хуже моего батюшки с матушкой.

— А они отчего рано померли?

— Смерть пришла, вот и померли-с.

— Нет, отчего рано?

— Так Бог дал. Батюшку господа в солдаты отдали за провинности, матушка веку не дожила из-за индюшат господских. Я-то, конечно, не помню-с, где мне, а на дворе сказывали: была она птишницей, индюшат под ее начальством было несть числа, захватил их град на выгоне и заporол всех до единого... Кинулась бечь она, добежала, глянула — да и дух вон от ужаси!

— А отчего ты замуж не пошла?

— Да жених не вырос еще.

— Нет, без шуток?

— Да говорят, будто госпожа, ваша тетенька, заказывала. За то-то и меня, грешную, барышней ославили.

— Ну-у, какая же ты барышня!

— В аккурат-с барышня! — отвечала Наталья с тонкой усмешечкой, морщившей ее губы, и обтирала их темной стару-

шечьей рукой.— Я ведь молочная Аркадь Петровичу, тетенька вторая ваша...

Подрастая, все внимательнее прислушивались мы к тому, что говорилось в нашем доме о Суходоле: все понятнее становилось непонятное прежде, все резче выступали странные особенности суходольской жизни. Мы ли не чувствовали, что Наталья, полвека своего прожившая с нашим отцом почти одинаковой жизнью, — истинно родная нам, столбовым господам Хрущевым! И вот оказывается, что господа эти загнали отца ее в солдаты, а мать в такой трепет, что у нее сердце разорвалось при виде погибших индюшат!

— Да и правда, — говорила Наталья, — как было не пасть запертво от такой оказии? Господа за Можай ее загнали бы!

А потом узнали мы о Суходоле нечто еще более странное: узнали, что проще, добрей суходольских господ «во всей вселенной не было», но узнали и то, что не было и «горячее» их; узнали, что темен и сумрачен был старый суходольский дом, что сумасшедший дед наш Петр Кириллыч был убит в этом доме незаконным сыном своим, Герваськой, другом отца нашего и двоюродным братом Натальи; узнали, что давно сошла с ума — от несчастной любви — и тетя Тоня, жившая в одной из старых дворовых изб возле оскудевшей суходольской усадьбы и восторженно игравшая на гудящем и звенящем от старости фортепиано экосезы; узнали, что сходила с ума и Наталья, что еще девчонкой на всю жизнь полюбила она покойного дядю Петра Петровича, а он сослал ее в ссылку, на хутор Сошки... Наши страстные мечты о Суходоле были понятны. Для нас Суходол был только поэтическим памятником былого. А для Натальи? Ведь это она, как бы отвечая на какую-то свою думу, с великой горечью сказала однажды:

— Что ж! В Суходоле с татарками за стол садились! Вспомнить даже страшно.

— То есть с арапниками? — спросили мы.

— Да это все едино-с, — сказала она.

— А зачем?

— А на случай ссоры-с.

— В Суходоле все ссорились?

— Борони Бог! Дня не проходило без войны! Горячие все были — чистый порох.

Мы-то млели при ее словах и восторженно переглядывались: долго представлялся нам потом огромный сад, огромная усадьба, дом с дубовыми бревенчатыми стенами под тяжелой и черной от времени соломенной крышей — и обед в зале этого дома: все сидят за столом, все едят, бросая кости на пол,

охотничьим собакам, косятся друг на друга — и у каждого арапник на коленях: мы мечтали о том золотом времени, когда мы вырастем и тоже будем обедать с арапниками на коленях. Но ведь хорошо понимали мы, что не Наталье доставляли радость эти арапники. И все же ушла она из Лунева в Суходол, к источнику своих темных воспоминаний. Ни своего угла, ни близких родных не было у ней там; и служила она теперь в Суходоле уже не прежней госпоже своей, не тете Тоне, а вдове покойного Петра Петровича, Клавдии Марковне. Да вот без усадьбы-то этой и не могла жить Наталья.

— Что делать-с: привычка,— скромно говорила она.— Уж куда иголка, туда, видно, и нитка. Где родился, там годился...

И не одна она страдала привязанностью к Суходолу. Боже, какими страстными любителями воспоминаний, какими горячими приверженцами Суходола были и все прочие суходольцы!

В нищете, в избе обитала тетя Тоня. И счастья, и разума, и облика человеческого лишил ее Суходол. Но она даже мысли не допускала никогда, несмотря на все уговоры нашего отца, покинуть родное гнездо, поселиться в Лунево:

— Да лучше камень в горе бить!

Отец был беззаботный человек; для него, казалось, не существовало никаких привязанностей. Но глубокая грусть слышалась и в его рассказах о Суходоле. Уже давным-давно выселился он из Суходола в Лунево, полевое поместье бабки нашей Ольги Кирилловны. Но жаловался чуть не до самой кончины своей:

— Один, один Хрущев остался теперь в свете. Да и тот не в Суходоле!

Правда, нередко случалось и то, что, вслед за такими словами, задумывался он, глядя в окна, в поле, и вдруг насмешливо улыбался, снимая со стены гитару.

— А и Суходол хорош, пропади он пропадом! — прибавлял он с тою же искренностью, с какой говорил и за минуту перед тем.

Но душа-то и в нем была суходольская,— душа, над которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степи, косного ее быта, той древней семейственности, что воедино сливала и деревню, и дворню, и дом в Суходоле. Правда, столбовые мы, Хрущевы, в шестую книгу вписанные, и много было среди наших легендарных предков знатных людей вековой литовской крови да татарских князьков. Но ведь кровь Хрущевых мешалась с кровью дворни и деревни спокон веку. Кто дал жизнь Петру Кириллычу? Разно говорят о том предания. Кто был родителем Герваськи, убийцы его? С ранних лет

мы слышали, что Петр Кириллыч. Откуда истекало столь резкое несходство в характерах отца и дяди? Об этом тоже разно говорят. Молочной же сестрой отца была Наталья, с Герваськой он крестами менялся... Давно, давно пора Хрущевым почитаться родней с своей дворней и деревней!

В тяготенье к Суходолу, в обольщении его стариною долго жили и мы с сестрой. Дворня, деревня и дом в Суходоле составляли одну семью. Правила этой семьей еще наши пращурь. А ведь и в потомстве это долго чувствуется. Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна. Но темной глубиной своей да вот еще преданиями, прошлым и сильна-то она. Письменными и прочими памятниками Суходол не богаче любого улуса в башкирской степи. Их на Руси заменяет предание. А предание да песня — отравя для славянской души! Бывшие наши дворовые, страстные лентяи, мечтатели, — где они могли отвести душу, как не в нашем доме? Единственным представителем суходольских господ оставался наш отец. И первый язык, на котором мы заговорили, был суходольский. Первые повествования, первые песни, тронувшие нас, — тоже суходольские, Натальины, отцовы. Да и могли кто-нибудь петь так, как отец, ученик дворовых, — с такой беззаботной печалью, с таким ласковым укором, с такой слабобольной задумчивостью про «верную-манерную сударушку свою»? Мог ли кто-нибудь рассказывать так, как Наталья? И кто был роднее нам суходольских мужиков?

Распри, ссоры — вот чем спокон веку славилась Хрущевы, как и всякая долго и тесно живущая в единении семья. А во времена нашего детства случилась такая ссора между Суходолом и Луневым, что чуть не десять лет не переступала нога отца родного порога. Так путем и не видали мы в детстве Суходола: были там только раз, да и то проездом в Задонск. Но ведь сны порой сильнее всякой яви. И смутно, но неизгладимо запомнили мы летний долгий день, какие-то волнистые поля и заглохшую большую дорогу, очаровавшую нас своим простором и кое-где уцелевшими дуплистыми ветлами; запомнили улей на одной из таких ветел, далеко отошедшей с дороги в хлеба, — улей, оставленный на волю Божью, в полях, при заглохшей дороге; запомнили широкий поворот под изволок, громадный голый выгон, на который глядели бедные курные избы, и желтизну каменистых оврагов за избами, белизну гольшей и щебня по их днищам... Первое событие, ужаснувшее нас, тоже было суходольское: убийство дедушки Герваськой. И, слушая повествования об этом убийстве, без конца грезили мы этими желтыми, куда-то уходящими оврагами: все казалось, что по ним-

то и бежал Герваська, сделав свое страшное дело и «канув как ключ на дно моря».

Мужики суходольские навещали Лунево не с теми целями, что дворовые, а насчет земельки больше; но и они как в родной входили в наш дом. Они кланялись отцу в пояс, целовали его руку, затем, тряхнув волосами, троекратно целовались и с ним, и с Натальей, и с нами в губы. Они привозили в подарок мед, яйца, полотенца. И мы, выросшие в поле, чуткие к запахам, жадные до них не менее, чем до песен, преданий, навсегда запомнили тот особый, приятный, конопляный какой-то запах, что ощущали, целуясь с суходольцами; запомнили и то, что старой степной деревней пахли их подарки: мед — цветущей гречей и дубовыми гнилыми ульями, полотенца — пуньками, курными избами времен дедушки... Мужики суходольские ничего не рассказывали. Да и что им рассказывать-то было! У них даже и преданий не существовало. Их могилы безыменны. А жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны! Ибо плодами трудов и забот их был лишь хлеб, самый настоящий хлеб, что съедается. Копали они пруды в каменистом ложе давно иссякнувшей речки Каменки. Но пруды ведь ненадежны — высыхают. Строили они жилища. Но жилища их недолговечны: при малейшей искре дотла сгорают они... Так что же тянуло нас всех даже к голому выгону, к избам и оврагам, к разоренной усадьбе Суходола?

## II

В усадьбу, породившую душу Натальи, владевшую всей ее жизнью, в усадьбу, о которой так много слышали мы, довелось нам попасть уже в позднем отрочестве.

Помню так, точно вчера это было. Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и ослепительно-быстрыми, огненными змеями молний, когда мы под вечер подъезжали к Суходолу. Черно-лиловая туча тяжело свалилась к северо-западу, величаво заступила полнеба напротив. Плоско, четко и мертвенно-бледно зеленела равнина хлебов под ее огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно сразу похудевшие лошади шлепали, блестя подковами, по синей грязи, тарантас влажно шуршал... И вдруг, у самого поворота в Суходол, увидали мы в высоких мокрых ржах высокую и престранную фигуру в халате и шлыке, фигуру не то старика, не то старухи, бьющую хворостиной пегую комолую корову. При нашем

приближении хворостина заработала сильнее, и корова неуклюже, крутя хвостом, выбежала на дорогу. А старуха, что-то крича, направилась к тарантасу и, подойдя, потянулась к нам бледным лицом. Со страхом глядя в черные безумные глаза, чувствуя прикосновение острого холодного носа и крепкий запах избы, поцеловались мы с подошедшей. Не сама ли это Баба-Яга? Но высокий шлык из какой-то грязной тряпки торчал на голове Бабы-Яги, на голое тело ее был надет рваный и по пояс мокрый халат, не закрывавший тощих грудей. И кричала она так, точно мы были глухие, точно с целью затеять яростную брань. И по крику мы поняли: это тетя Тоня.

Закричала, но весело, институтски-восторженно и Клавдия Марковна, толстая, маленькая, с седенькой бородкой, с необыкновенно живыми глазками, сидевшая у открытого окна в доме с двумя большими крыльцами, вязавшая нитяный носок и, подняв очки на лоб, глядевшая на выгон, слившийся с двором. Низко, с тихой улыбкой поклонилась стоявшая на правом крыльце Наталья — дробненькая, загорелая, в лаптях, в шерстяной красной юбке и в серой рубаше с широким вырезом вокруг темной, сморщенной шеи. Взглянув на эту шею, на худые ключицы, на устало-грустные глаза, помню, подумал я: это она росла с нашим отцом — давным-давно, но вот именно здесь, где от дедовского дубового дома, много раз горевшего, остался вот этот, невзрачный, от сада — кустарники да несколько старых берез и тополей, от служб и людских — изба, амбар, глиняный сарай да ледник, заросший польнью и под-свекольниковом... Запахло самоваром, посыпались расспросы; стали появляться из столетней горки хрустальные вазочки для варенья, золотые ложечки, истончившиеся до кленового листа, сахарные сушки, сбереженные на случай гостей. И, пока разгорался разговор, усиленно дружелюбный после долгой ссоры, пошли мы бродить по темнеющим горницам, ища балкона, выхода в сад.

Все было черно от времени, просто, грубо в этих пустых, низких горницах, сохранивших то же расположение, что и при дедушке, срубленных из остатков тех самых, в которых обитал он. В углу лакейской чернел большой образ святого Меркурия Смоленского, того, чьи железные сандалии и шлем хранятся на солее в древнем соборе Смоленска. Мы слышали: был Меркурий муж знатный, призванный к спасению от татар Смоленского края гласом иконы Божьей Матери Одигитрии Путеводительницы. Разбив татар, святой уснул и был обезглавлен врагами. Тогда, взяв свою главу в руки, пришел он к городским

воротам, дабы поведать бывшее... И жутко было глядеть на суздальское изображение безглавого человека, держащего в одной руке мертвенно-синеватую голову в шлеме, а в другой икону Путеводительницы,— на этот, как говорили, заветный образ дедушки, переживший несколько страшных пожаров, расколовшийся в огне, толсто окованный серебром и хранивший на оборотной стороне своей родословную Хрущевых, писанную под титлами. Точно в лад с ним, тяжелые железные задвижки и вверху и внизу висели на тяжелых половинках дверей. Доски пола в зале были непомерно широки, темны и скользки, окна малы, с подъемными рамами. По залу, уменьшенному двойнику того самого, где Хрущевы садились за стол с татарками, мы прошли в гостиную. Тут, против дверей на балкон, стояло когда-то фортепиано, на котором играла тетя Тоня, влюбленная в офицера Войткевича, товарища Петра Петровича. А дальше зияли раскрытые двери в диванную, в угольную,— туда, где были когда-то дедушкины покои...

Вечер же был сумрачный. В тучах, за окраинами вырубленного сада, за полуголой ригой и серебристыми тополями, вспыхивали зарницы, раскрывавшие на мгновение облачные розово-золотистые горы. Ливень, верно, не захватил Трошина леса, что темнел далеко за садом, на косогорах за оврагами. Оттуда доходил сухой, теплый запах дуба, мешавшийся с запахом зелени, с влажным мягким ветром, пробегавшим по верхушкам берез, уцелевших от аллеи, по высокой крапиве, бурьянам и кустарникам вокруг балкона. И глубокая тишина вечера, степи, глухой Руси царила надо всем...

— Чай кушать пожалуйста-с,— окликнул нас негромкий голос.

Это была она, участница и свидетельница всей этой жизни, главная сказительница ее, Наталья. А за ней, внимательно глядя сумасшедшими глазами, немного согнувшись, церемонно скользя по темному гладкому полу, подвигалась госпожа ее. Шлыка она не сняла, но вместо халата на ней было теперь старомодное барежевое платье, на плечи накинута блекло-золотистая шелковая шаль.

— *Où êtes-vous, mes enfants?*<sup>1</sup> — жантильно улыбаясь, кричала она, и голос ее, четкий и резкий, как голос попугая, странно раздавался в пустых черных горницах...

---

<sup>1</sup> Где вы, дети мои? (*фр.*)

### III

Как в Наталье, в ее крестьянской простоте, во всей ее прекрасной и жалкой душе, порожденной Суходолом, было очарование и в суходольской разоренной усадьбе.

Пахло жасмином в старой гостиной с покосившимися полами. Сгнивший, серо-голубой от времени балкон, с которого, за отсутствием ступенек, надо было прыгивать, тонул в крапиве, бузине, бересклете. В жаркие дни, когда его пекло солнце, когда были отворены осевшие стеклянные двери и веселый отблеск стекла передавался в тусклое овальное зеркало, висевшее на стене против двери, все вспоминалось нам фортепиано тети Тони, когда-то стоявшее под этим зеркалом. Когда-то играла она на нем, глядя на пожелтевшие ноты с заглавиями в завитушках, а он стоял сзади, крепко подпирая талию левой рукой, крепко сжимая челюсть и хмурясь. Чудесные бабочки — и в ситцевых пестренких платьницах, и в японских нарядах, и в черно-лиловых бархатных шаях — залетали в гостиную. И перед отъездом он с сердцем хлопнул однажды ладонью по одной из них, трепетно замиравшей на крышке фортепиано. Осталась только серебристая пыль. Но, когда девки, по глупости, через несколько дней стерли ее, с тетей Тоней сделалась истерика. Мы выходили из гостиной на балкон, садились на теплые доски — и думали, думали. Ветер, пробегая по саду, доносил до нас шелковистый шелест берез с атласно-белыми, испещренными чернью стволами и широко раскинутыми зелеными ветвями, ветер, шумя и шелестя, бежал с полей — и зелено-золотая иволга вскрикивала резко и радостно, колом проносясь над белыми цветами за болтливými галками, обитавшими с многочисленным родством в развалившихся трубах и в темных чердаках, где пахнет старыми кирпичами и через слуховые окна полосами падает на бугры серо-фиолетовой золы золотой свет; ветер замирал, сонно ползали пчелы по цветам у балкона, совершая свою неспешную работу, — и в тишине слышался только ровный, струящийся, как непрерывный мелкий дождик, лепет серебристой листвы тополей... Мы бродили по саду, забирались в глушь окраин. Там, на этих окраинах, слившихся с хлебами, в прадедовской бане с провалившимся потолком, в той самой бане, где Наталья хранила украденное у Петра Петровича зеркальце, жили белые трусы. Как они мягко выпрыгивали на порог, как странно, шевеля усами и раздвоенными губами, косили свои далеко расставлен-

ные, выпученные глаза на высокие татарки, кусты белены и заросли крапивы, глушившей терн и вишенник! А в полуоткрытой риге жил филин. Он сидел на перемете, выбрав место посумрачнее, торчком подняв уши, выкатив желтые слепые зрачки — и вид у него был дикий, чертовский. Опускалось солнце далеко за садом, в море хлебов, наступал вечер, мирный и ясный, куковала кукушка в Трошином лесу, жалобно звенели где-то над лугами жалейки старика пастуха Степы... Филин сидел и ждал ночи. Ночью все спало — и поля, и деревня, и усадьба. А филин только и делал, что ухал и плакал. Он неслышно носился вокруг риги, по саду, прилетал к избе тети Тони, легко опускался на крышу — и болезненно вскрикивал... Тетя просыпалась на лавке у печки.

— Исусе Сладчайший, помилуй мя,— шептала она, вздыхая.

Мухи сонно и недовольно гудели по потолку жаркой, темной избы. Каждую ночь что-нибудь будило их. То корова чесалась боком о стену избы; то крыса пробегала по отрывисто звенящим клавишам фортепиано и, сорвавшись, с треском падала в черепки, заботливо складываемые тетей в угол; то старый черный кот с зелеными глазами поздно возвращался откуда-то домой и лениво просился в избу; или же прилетал вот этот филин, криками своими пророчивший беду. И тетя, перебивая дремоту, отмахиваясь от мух, в темноте лезших в глаза, вставала, шарила по лавкам, хлопала дверью — и, выйдя на порог, наугад запускала вверх, в звездное небо скалку. Филин, с шорохом, задевая крыльями солому, срывался с крыши — и низко падал куда-то в темноту. Он почти касался земли, плавно доносился до риги и, взмыв, садился на ее хребет. И в усадьбу опять доносился его плач. Он сидел, как будто что-то вспоминая, — и вдруг испускал вопль изумления; смолкал — и внезапно принимался истерически ухать, хохотать и взвизгивать; опять смолкал — и раздражался стонами, всхлипываниями, рыданиями... А ночи, темные, теплые, с лиловыми тучками, были спокойны, спокойны. Сонно бежал и струился лепет сонных тополей. Зарница осторожно мелькала над темным Трошиным лесом — и тепло, сухо пахло дубом. Возле леса, над равнинами овсов, на прогалине неба среди туч, горел серебристым треугольником, могильным голубцом Скорпион...

Поздно возвращались мы в усадьбу. Надышавшись росой, свежестью степи, полевых цветов и трав, осторожно поднимались мы на крыльцо, входили в темную прихожую и часто заставляли Наталью на молитве перед образом Меркурия. Бо-

сая, маленькая, поджав руки, стояла она перед ним, шептала что-то, крестилась, низко кланялась ему, невидному в темноте, — и все это так просто, точно беседовала она с кем-то близким, тоже простым, добрым, милостивым.

— Наталья? — тихо окликали мы.

— Я-с? — тихо и просто отзывалась она, прерывая молитву.

— Что же ты не спишь до сих пор?

— Да авось еще в могиле-с наспимся...

Мы садились на коник, раскрывали окно; она стояла, поджав руки. Таинственно мелькали зарницы, озаряя темные горницы; перепел бил где-то далеко в росистой степи. Предостерегающе-тревожно крикала проснувшаяся на пруде утка...

— Гуляли-с?

— Гуляли.

— Что ж, дело молодое... Мы, бывалыча, так-то все ночи напролет прогуливали... Одна заря выгонит, другая загонит...

— Хорошо жилось прежде?

— Хорбшо-с...

И наступало долгое молчание.

— Чего это, нянечка, филин кричит? — говорила сестра.

— Не судом кричит-с, пропасти на него нету. Хоть бы из ружья пострелять. А то прямо жуть, все думается: либо к беде какой? И все барышню пугает. А она ведь до смерти пуглива!

— А как захворала она?

— Да известно-с: все слезы, слезы, тоска... Потом молиться зачали... Да все лютее с нами, с девками, да все сердитей с братцами...

И, вспоминая арапники, мы спрашивали:

— Не дружно, значит, жили?

— Куда как дружно! А уж особенно после того, как заболели-то оне, как дедушка померли, как вошли в силу молодые господа и женился покойник Петр Петрович. Горячие все были — чистый порох!

— А пороли дворовых часто?

— Этого у нас и в заведении не было-с. Я как провинилась-то! А и было-то всего-навсего, что приказали Петр Петрович голову мне овечьими ножницами ободванить, затрапезную рубаху надеть да на хутор отправить...

— А чем же ты провинилась?

Но ответ далеко не всегда следовал прямой и скорый. Рассказывала Наталья порою с удивительной прямоотой и тщательностью; но порою запиналась, что-то думала; потом легонько вздыхала, и по голосу, не видя лица в сумраке, мы понимали, что она грустно усмехается:

— Да тем и провинилась... Я ведь уж сказывала... Молода-глупа была-с. «Пел на грех, на беду соловей во саду...» А, известно, дело мое было девичье...

Сестра ласково просила ее:

— Ты уж скажи, нянечка, стихи эти до конца.

И Наталья смушалась.

— Это не стихи-с, а песня... Да я ее и не упомяну-с теперь.

— Неправда, неправда!

— Ну, извольте-с...

И скороговоркой кончала:

— «Как на грех, на беду...» То бишь: «Пел на грех, на беду соловей во саду — песню томную... Глупой спать не давал — в ночь темную...»

Пересиливая себя, сестра спрашивала:

— А ты очень была влюблена в дядю?

И Наталья тупо и кратко шептала:

— Очень-с.

— Ты всегда поминаешь его на молитве?

— Всегда-с.

— Ты, говорят, в обморок упала, когда тебя везли в Сошки?

— В омок-с. Мы, дворовые, страшные нежные были... жидки на расправу... не сравнять же с серым однодворцем! Как повез меня Евсей Бодуля, отупела я от горя и страху... В городе чуть не задвохнулась с непривычки. А как выехали в степь, таково мне нежно да жалостно стало! Метнулся офицер навстречу, похожий на них, — крикнула я, да и замертво! А пришедши в себя, лежу этак в телеге и думаю: хорошо мне теперь, ровно в Царстве Небесном!

— Строг он был?

— Не приведи Господи!

— Ну, а все-таки своенравнее всех тетя была?

— Оне-с, оне-с. Докладываю же вам: их даже к угоднику возили. Натерпелись мы страсти с ними! Им бы жить да поживать теперь, как надобно, а оне погордились, да и тронулись... Как любил их Войткевич-то! Ну, да вот поди ж ты!

— Ну, а дедушка?

— Те что ж? Те слабы умом были. А, конечно, и с ними случалось. Все в ту пору были пылкие... Да зато прежние-то господа нашим братом не брезговали. Бывалыча, папаша ваш накажут Герваську в обед, — энтого и следовало! — а вечером, глядь, уж на дворне жируют, на балалайках с ним жундят...

— А скажи, — он хорош был, Войткевич-то?

Наталья задумывалась.

— Нет-с, не хочу соврать: вроде калмыка был. А сурьезный,

настойчивый. Все стихи ей читал, все напугивал: мол, помру и приду за тобой...

— Ведь и дед от любви с ума сошел?

— Те по бабушке. Это дело иное, сударыня. Да и дом у нас был сумрачен,— не веселый, Бог с ним. Вот извольте послушать мои глупые слова...

И неторопливым шепотом начинала Наталья долгое, долгое повествование...

#### IV

Если верить преданиям, прадед наш, человек богатый, только под старость переселился из-под Курска в Суходол: не любил наших мест, их глуши, лесов. Да, ведь это вошло в поговорку: «В старину везде леса были...» Люди, пробиравшиеся лет двести тому назад по нашим дорогам, пробирались сквозь густые леса. В лесу терялись и речка Каменка, и те верхи, где протекала она, и деревня, и усадьба, и холмистые поля вокруг. Однако уже не то было при дедушке. При дедушке картина была иная: полустепной простор, голые косогоры, на полях — рожь, овес, греча, на большой дороге — редкие дуплистые ветлы, а по суходольскому верху — только белый голыш. От лесов остался один Трошин лесок. Только сад был, конечно, чудесный: широкая аллея в семьдесят раскидистых берез, вишеники, тонувшие в крапиве, дремучие заросли малины, акации, сирени и чуть не целая роща серебристых тополей на окраинах, сливавшихся с хлебами. Дом был под соломенной крышей, толстой, темной и плотной. И глядел он на двор, по сторонам которого шли длиннейшие службы и людские в несколько связей, а за двором расстилался бесконечный зеленый выгон и широко раскидывалась барская деревня, большая, бедная и — беззаботная.

— Вся в господ-с! — говорила Наталья. — И господа беззаботны были — не хозяйственны, не жадны. Семен Кириллыч, братец дедушки, разделились с нами: себе взяли что побольше да полутче, престольную вотчину, нам только Сошки, Суходол да четыреста душ прикинули. А из четырех-то сот чуть не половина разбежалась...

Дедушка Петр Кириллыч умер лет сорока пяти. Отец часто говорил, что помешался он после того, как на него, заснувшего на ковре в саду, под яблоней, внезапно сорвавшийся ураган обрушил целый ливень яблок. А на дворне, по словам Натальи, объясняли слабоумие деда иначе: тем, что тронулся Петр Ки-

риллыч от любовной тоски после смерти красавицы бабушки, что великая гроза прошла над Суходолом перед вечером того дня. И доживал Петр Кириллыч,— сутулый брюнет, с черными, внимательно-ласковыми глазами, немного похожий на тетьку Тоню,— в тихом помешательстве. Денег, по словам Натальи, прежде не знали куда девать, и вот он, в сафьяновых сапожках и пестром архалуке, заботливо и неслышно бродил по дому и, оглядываясь, совал в трещины дубовых бревен золотые.

— Это я для Тонечки в приданое,— бормотал он, когда захватывали его.— Надежнее, друзья мои, надежнее... Ну, а за всем тем — воля ваша: не хотите — я не буду...

И опять совал. А не то переставлял тяжелую мебель в зале, в гостиной, все ждал чьего-то приезда, хотя соседи почти никогда не бывали в Суходоле; или жаловался на голод и сам мастерил себе тюрю — неумело толоч и растирал в деревянной чашке зеленый лук, крошил туда хлеб, лил густой пенящийся суровец и сыпал столько крупной серой соли, что тюря оказывалась горькой и есть ее было не под силу. Когда же, после обеда, жизнь в усадьбе замирала, все разбрелись по излюбленным углам и надолго засыпали, не знал куда деваться одинокий, даже и по ночам мало спавший Петр Кириллыч. И, не выдержав одиночества, начинал заглядывать в спальни, прихожие, девичьи и осторожно окликать спящих:

— Ты спишь, Аркаша? Ты спишь, Тонюша?

И, получив сердитый окрик: «Да отвяжитесь вы, ради Бога, папенька!» — торопливо успокаивал:

— Ну, спи, спи, душа моя. Я тебя будить не буду...

И уходил дальше,— минуя только лакейскую, ибо лакеи были народ очень грубый,— а через десять минут снова появлялся на пороге и снова еще осторожнее окликал, выдумывая, что по деревне кто-то проехал с ямщицкими колокольчиками,— «уж не Петенька ли из полка в побывку»,— или что заходит страшная градовая туча.

— Они, голубчики, уж очень грозы боялись,— рассказывала Наталья.— Я-то еще девчонкой простоволосой была, ну, а все-таки помню-с. Дом у нас какой-то черный был... невеселый. Господь с ним. А день летом — год. Дворни девать было некуда... одних лакеев пять человек... Да, известно, започивают после обеда молодые господа, а за ними и мы, холопы верные, слуги примерные. И тут уж Петр Кириллыч не приступайся к нам,— особенно к Герваське. «Лакеи! Лакеи! Вы спите?» А Герваська подымет голову с ларя, да и спрашивает: «А хочешь, я тебе сейчас крапивы в мотню набью?» — «Да ты кому ж это

говоришь-то, бездельник ты этакий?» — «Домовому, сударь: спросонья...» Ну вот, Петр Кириллыч и пойдут опять по залу, по гостиной и все в окна, в сад заглядывают: не видно ли тучи? А грозы, и правда, куда как часто в старину сбирались. Да и грозы-то великие. Как, бывалыча, дело после обеда, так и почнет орать иволга, и пойдут из-за саду тучки... потемнеет в доме, зашуршит бурьян да глухая крапива, попрячутся индюшки с индюшатами под балкон... прямо жуть, скука-с! А они, батюшка, вздыхают, крестятся, лезут свечку восковую у образов зажигать, полотенце заветное с покойника прадедушки вешать,— боялась я того полотенца до смерти! — али ножницы за окошко выкидывают. Это уж первое дело-с, ножницы-то: очень хорошо против грозы...

Было веселее в суходольском доме, когда жили в нем французы,— сперва какой-то Луи Иванович, мужчина в широчайших, книзу узких панталонах, с длинными усами и мечтательными голубыми глазами, накладывавший на лысину волосы от уха к уху, а потом пожилая, вечно зябнувшая мадам-мазель Сизи,— когда по всем комнатам гремел голос Луи Ивановича, оравшего на Аркашу: «Идите и больше не вернитесь!» — когда слышалось в классной: «*Maître corbeau sur un arbre perché*»<sup>1</sup> — и на фортепиано училась Тонечка. Восемь лет жили французы в Суходоле, оставались в нем, чтобы не скучно было Петру Кириллычу, и после того, как увезли детей в губернский город, покинули же его перед самым возвращением их домой на третьи каникулы. Когда прошли эти каникулы, Петр Кириллыч уже никуда не отправил ни Аркашу, ни Тонечку: достаточно было, по его мнению, отправить одного Петеньку. И дети навсегда остались и без ученья и без призора... Наталья говаривала:

— Я-то была моложе их всех. Ну, а Герваська с папашей вашим почти однолетки были и, значит, первые друзья-приятели-с. Только, правда говорится,— волк коню не свойственник. Подружились они это, поклялись в дружбе на вечные времена, поменялись даже крестами, а Герваська вскорости же и начереди: чуть было вашего папашу в пруде не утопил! Коростовый был, а уж на каторжные затей мастер. «Что ж,— говорит раз барчуку,— ты подрастете, будете меня пороть?» — «Буду». — «Ан нет». — «Как так?» — «А так...» И надумал: стояла у нас бочка над прудами, на самом косогоре, а он и запишет ее, да

<sup>1</sup> «Ворон, взобравшись на дерево» (*фр.*).

и подучи Аркадь Петровича залезть в нее и покатиться вниз. «Перва, говорит, ты, барчук, прожжете, а там я...» Ну, а барчук-то и послушайся: залез, толкнулся, да как пошел греметь под гору, в воду, как пошел... Матушка Царица Небесная! Только пыль столбом завихрилась!.. Уж спасибо вблизи пастухи оказались...

Пока жили французы в суходольском доме, дом сохранял еще жилой вид. При бабушке еще были в нем и господа, и хозяйева, и власть, и подчинение, и парадные покои, и семейные, и будни, и праздники. Видимость всего этого держалась и при французах. Но французы уехали, и дом остался совсем без хозяев. Пока дети были малы, на первом месте был как будто Петр Кириллыч. Но что он мог? Кто кем владел: он дворовыми или дворовые им? Фортепиано закрыли, скатерть с дубового стола исчезла, — обедали без скатерти и когда попало, в сенцах проходу не было от борзых собак. Заботиться о чистоте стало некому, — и темные бревенчатые стены, темные полы и потолки, темные тяжелые двери и притолки, старые образа, закрывавшие своими суздальскими ликами весь угол в зале, скоро и совсем почернели. По ночам, особенно в грозу, когда бушевал под дождем сад, поминутно озарялись в зале лики образов, раскрывалось, распахивалось над садом дрожащее розово-золотое небо, а потом, в темноте, с треском раскалывались громовые удары, — по ночам в доме было страшно. А днем — сонно, пусто и скучно. С годами Петр Кириллыч все слабел, становился все незаметнее, хозяйкой же дома являлась дряхлая Дарья Устиновна, кормилица дедушки. Но власть ее почти равнялась его власти, а староста Демьян не вмешивался в управление домом: он знал только полевое хозяйство, с ленивой усмешкой говоря иногда: «Что ж, я своих господ не обиждаю...» Отцу, юноше, не до Суходола было: его с ума сводила охота, балалайка, любовь к Герваське, который числился в лакеях, но по целым дням пропадал с ним на каких-то Мещерских болотцах или в каретном сарае за изучением балалаечных и жалеечных хитростей.

— Так уж мы и знали-с, — говорила Наталья, — в доме только почивают. А не почивают, — значит, либо на деревне, либо в каретном, либо на охоте: зимою — зайцы, осенью — лисицы, летом — перепела, утки либо дряхвы; сядут на дрожки беговые, перекинут ружьецо за плечи, кликнут Дианку, да и с Господом: нынче на Среднюю мельницу, завтра на Мещерские, послезавтра на степя. И все с Герваськой. Тот первый коновод всему был, а прикидывался, что это барчук его таскает. Любил его, врага своего, Аркадь Петрович истинно как

брата, а он чем дальше, тем все злей измывался над ним. Бывалыча, скажут: «Ну, давай, Гервасий, на балалайках! Выучи ты меня, за ради Бога, *«Закатилось солнце красное за лес...»*. А Герваська посмотрит на них, пустит в ноздри дым и этак с усмешечкой: «Поцелуйте перва ручку у меня». Побелеют весь Аркадь Петрович, вскочут с места, бац его, что есть силы, по щеке, а он только головой мотнет и еще черней сделается, накупится, как разбойник какой. «Встать, негодяй!» Встанет, вытянется, как борзой, портки плисовые висят... молчит. «Прости прощенья». — «Виноват, сударь». А барчук задвохнулся — и уж не знают, что дальше сказать. «То-то «сударь»! — кричат. — Я, мол, норовлю с тобой, с негодяем, как с равным обойтись, я, мол, иной раз думаю: я для него души не пожалю... А ты что? Ты нарочно меня озлобляешь?»

— Диковинное дело! — говорила Наталья. — Над барчуком и дедушкой Герваська измывался, а надо мной — барышня. Барчук, — а, по правде-то сказать, и сами дедушка, — в Герваське души не чаяли, а я — в ней... как из Сошек-то вернулась я да маленько образумилась посля своей провинности...

## V

С арапниками садились за стол уже после смерти дедушки, после бегства Герваськи и женитьбы Петра Петровича, после того как тетя Тоня, тронувшись, обрекла себя в невесты Иисусу Сладчайшему, а Наталья возвратилась из этих самых Сошек. Тронулась же тетя Тоня и в ссылке побывала Наталья — из-за любви.

Скучные глухие времена дедушки сменились временем молодых господ. Возвратился в Суходол Петр Петрович, неожиданно для всех вышедший в отставку. И приезд его оказался гибельным и для Натальи и для тети Тони.

Они обе влюбились. Не заметили, как влюбились. Им казалось сперва, что «просто стало веселее жить».

Петр Петрович повернул на первых порах жизнь в Суходоле на новый лад — на праздничный и барский. Он приехал с товарищем, Войткевичем, привез с собой повара, бритого алкоголика, с пренебрежением косившегося на позеленевшие рубчатые формы для желе, на грубые ножи, вилки. Петр Петрович желал показать себя перед товарищем радушным, щедрым, богатым — и делал это неумело, по-мальчишески. Да он и был почти мальчиком, очень нежным и красивым с виду, но по натуре резким и жестоким, мальчиком как будто самоуве-

ренным, но легко и чуть не до слез смущающимся, а потом надолго затаивающим злобу на того, кто смутил его.

— Помнится, брат Аркадий, — сказал он за столом в первый же день своего пребывания в Суходоле, — помнится, была у нас мадера недурная?

Дедушка покраснел, хотел что-то сказать, но не насмелился и только затеребил на груди архалук. Аркадий Петрович изумился:

— Какая мадера?

А Герваська нагло поглядел на Петра Петровича и ухмыльнулся:

— Вы изволили забыть, сударь, — сказал он Аркадию Петровичу, даже и не стараясь скрыть насмешки. — У нас, и правда, девать некуда было этой самой мадеры. Да все мы, холопы, потаскали. Вино барское, а мы ее дуром, заместо квасу.

— Это еще что такое? — крикнул Петр Петрович, заливаясь своим темным румянцем. — Молчать!

Дедушка восторженно подхватил.

— Так, так, Петенька! Фёра! — радостно, тонким голосом воскликнул он и чуть не заплакал. — Ты и представить себе не можешь, как он меня уничтожает! Я уж не однажды думал: подкрадусь и проломлю ему голову толкачом медным... Ей-Богу, думал! Я ему кинжал в бок по эфес всажу!

А Герваська и тут нашелся.

— Я, сударь, слышал, что за это больно наказывают, — возразил он, насупись. — А то и мне все лезет в голову: пора барину в Царство Небесное!

Говорил Петр Петрович, что после такого неожиданно-дерзкого ответа сдержался он только ради чужого человека. Он сказал Герваське только одно: «Сию минуту выйди вон!» А потом даже устыдился своей горячности — и, торопливо извиняясь перед Войткевичем, поднял на него с улыбкой те очаровательные глаза, которых долго не могли забыть все знавшие Петра Петровича.

Слишком долго не могла забыть этих глаз и Наталья.

Счастье ее было необыкновенно кратко — и кто бы мог думать, что разрешится оно путешествием в Сошки, самым замечательным событием всей ее жизни?

Хутор Сошки цел и доньше, хотя уже давно перешел к тамбовскому купцу. Это — длинная изба среди пустой равнины, амбар, журавль колодца и гумно, вокруг которого бахчи. Таким, конечно, был хутор и в дедовские времена; да мало изменился и город, что на пути к нему из Суходола. А провинилась Наташка тем, что, совершенно неожиданно для самой

себя, украла складное, оправленное в серебро, зеркальце Петра Петровича.

Увидела она это зеркальце — и так была поражена красотой его, — как, впрочем, и всем, что принадлежало Петру Петровичу, — что не устояла. И несколько дней, пока не хватились зеркальца, прожила ошеломленная своим преступлением, очарованная своей страшной тайной и сокровищем, как в сказке об аленьком цветочке. Ложась спать, она молила Бога, чтобы скорее прошла ночь, чтобы скорее наступило утро: празднично было в доме, который ожил, наполнился чем-то новым, чудесным с приездом красавца барчука, нарядного, напомаженного, с высоким красным воротом мундира, с лицом смуглым, но нежным, как у барышни; празднично было даже в прихожей, где спала Наташка и где, вскакивая с рундука на рассвете, она сразу вспоминала, что в мире — радость, потому что у порога стояли, ждали чистки такие легонькие сапожки, что их впору было царскому сыну носить; и всего страшнее и праздничнее было за садом, в заброшенной бане, где хранилось двойное зеркальце в тяжелой серебряной оправе, — за садом, куда, пока еще все спали, по росистым зарослям, тайком бежала Наташка, чтобы насладиться обладанием своего сокровища, вынести его на порог, раскрыть при жарком утреннем солнце и насмотреться на себя до головокруженья, а потом опять скрыть, схоронить и опять бежать, прислуживать все утро тому, на кого она и глаз поднять не смела, для кого, она в безумной надежде понравиться, и заглядывалась-то в зеркальце.

Но сказка об аленьком цветочке кончилась скоро, очень скоро. Кончилась позором и стыдом, которому нет имени, как думала Наташка... Кончилось тем, что сам же Петр Петрович приказал остричь, обезобразить ее, принаряжавшуюся, сурьмившую брови перед зеркальцем, создавшую какую-то сладкую тайну, небывалую близость между ним и собой. Он сам открыл и превратил ее преступление в простое воровство, в глупую проделку дворовой девчонки, которую, в затрапезной рубахе, с лицом, опухшим от слез, на глазах всей дворни, посадили на навозную телегу и, опозоренную, внезапно оторванную от всего родного, повезли на какой-то неведомый, страшный хутор, в степные дали. Она уже знала: там, на хуторе, она должна будет стеречь цыплят, индюшек и бахчи; там она спечется на солнце, забытая всем светом; там, как годы, будут долги степные дни, когда в зыбком мареве тонут горизонты и так тихо, так знойно, что спал бы мертвым сном весь день, если бы не нужно было слушать осторожный треск пересохшего гороха, домовитую возню насекомых в горячей земле,

мирно-грустную переключку индюшек, не следить за набегающей сверху жуткой тенью ястреба и не вскакивать, не кричать тонким протяжным голосом: «Шу-у!..» Там, на хуторе, чего стоила одна старуха хохлушка, получившая власть над ее жизнью и смертью и, верно, уже с нетерпением поджидавшая свою жертву! Единственное преимущество имела Наташка перед теми, которых везут на смертную казнь: возможность удавиться. И только одно это и поддерживало ее на пути в ссылку, — конечно, вечную, как полагала она.

На пути из конца в конец уезда чего только она не насмотрелась! Да не до того ей было. Она думала или, скорее, чувствовала одно: жизнь кончена, преступление и позор слишком велики, чтобы надеяться на возвращение к ней! Пока еще оставался возле нее близкий человек, Евсей Бодуля. Но что будет, когда он сдаст ее с рук на руки хохлушке, переночует и уедет, навеки покинет ее в чужой стороне? Наплакавшись, она захотела есть. И Евсей, к удивлению ее, взглянул на это очень просто и, закусывая, разговаривал с ней так, как будто ничего не случилось. А потом она заснула — и очнулась уже в городе. И город поразил ее только скукой, сухью, духотой да еще чем-то смутно-страшным, тоскливым, что похоже было на сон, который не расскажешь. Запомнилось за этот день только то, что очень жарко летом в степи, что бесконечнее летнего дня и длиннее больших дорог нет ничего на свете. Запомнилось, что есть места на городских улицах, выложенные камнями, по которым престранно гремит телега, что издалека пахнет город железными крышами, а среди площади, где отдыхали и кормили лошадь, возле пустых под вечер «обжорных» навесов, — пылью, дегтем, гниющим сеном, клоки которого, перебитые с конским навозом, остаются на стоянках мужиков. Евсей отпряг и поставил лошадь к телеге, к корму; сдвинул на затылок горячую шапку, вытер рукавом пот и, весь черный от зноя, ушел в харчевню. Он строго-настрого приказал Наташке «поглядывать» и, в случае чего, кричать на всю площадь. И Наташка сидела, не двигаясь, не сводила глаз с купола тогда только что построенного собора, огромной серебряной звездой горевшего где-то далеко за домами, — сидела до тех пор, пока не вернулся жующий, повеселевший Евсей и не стал, с калачом под мышкой, снова заводить лошадь в оглобли.

— Припоздали мы с тобой, королевщина, маленько! — оживленно бормотал он, обращаясь не то к лошади, не то к Наташке. — Ну, да авось не удавят! Авось не на пожар... Я и назад гнать не стану, — мне, брат, барская лошадь подороже твоего хайла, — говорил он, уже разумея Демьяна. — Разинул

хайло: «Ты у меня смотри! Я, в случае чего, догляжусь, что у тебя в портках-то...» А-ах! — думаю... Взяла меня обида поперек живота! С меня, мол, господа, и те еще не спускали портки-то... не тебе чета, чернонебому.— «Смотри!» — А чего мне смотреть? Авось не дурей тебя. Захочу — и совсем не ворочусь: девку доправлю, а сам перехрещусь да потуда меня и видели... Я и на девку-то дивуюсь: чего, дура, затужила? Ай свет клином сошелся? Пойдут чумаки либо старчики какие мимо хутора — только слово сказать: в один мент за Ростовым-батюшкой очутишься... А там и поминай как звали!

И мысль: «удавлюсь» — сменилась в стриженной голове Наташки мыслью о бегстве. Телега заскрипела и закачалась. Евсей смолк и повел лошадь к колодцу среди площади. Там, откуда приехали, опускалось солнце за большой монастырский сад, и окна в желтом остроге, что стоял против монастыря, через дорогу, сверкали золотом. И вид острога на минуту еще больше возбудил мысль о бегстве. Вона, и в бегах живут! Только вот говорят, что старчики выжигают ворованным девкам и ребятам глаза кипяченым молоком и выдают их за убогеньких, а чумаки завозят к морю и продают нагайцам... Случается, что и ловят господа своих беглых, забивают их в кандалы, в острог сажают... Да авось и в остроге не быки, а мужики, как говорит Герваська!

Но окна в остроге гасли, мысли путались, — нет, бежать еще страшнее, чем удавиться! Да смолк, отрезвел и Евсей.

— Припоздали, девка, — уже беспокойно говорил он, вскакивая боком на грядку телеги.

И телега, выбравшись на шоссе, опять затряслась, заби-лась, шибко загремела по камням... «Ах, лучше-то всего было бы назад повернуть ее, — не то думала, не то чувствовала Наташка, — повернуть, доскакать до Суходола — и упасть господам в ноги!» Но Евсей погонял. Звезды за домами уже не было. Впереди была белая голая улица, белая мостовая, белые дома — и все это замыкалось огромным белым собором под новым бело-жестяным куполом, и небо над ним стало бледно-синее, сухое. А там, дома, в это время уже роса падала, сад благоухал свежестью, пахло из топившейся поварской; далеко за равнинами хлебов, за серебристыми тополями на окраинах сада, за старой заветной баней догорала заря, а в гостинной были отворены двери на балкон, алый свет мешался с сумраком в углах, и желто-смуглая, черноглазая, похожая и на дедушку и на Петра Петровича барышня поминутно управляла рукава легкого и широкого платья из оранжевого шелка, пристально смотрела в ноты, сидя спиной к заре, ударяя по жел-

тым клавишам, наполняя гостиную торжественно-певучими, сладостно-отчаянными звуками полонеза Огинского и как будто не обращая никакого внимания на стоявшего за нею офицера — приземистого, темноликого, подпиравшего талию левой рукою и сосредоточенно-мрачно следившего за ее быстрыми руками...

«У ней — свой, а у меня — свой», — не то думала, не то чувствовала Наташка в такие вечера с замиранием сердца и бежала в холодный, росистый сад, забивалась в глушь крапивы и остро пахнущих, сырых лопухов и стояла, ждала несбыточного, — того, что сойдет с балкона барчук, пойдет по аллее, увидит ее и, внезапно свернув, приблизится к ней быстрыми шагами — и она не проронит от ужаса и счастья ни звука...

А телега гремела. Город был вокруг, жаркий и вонючий, тот самый, что представлялся прежде чем-то волшебным. И Наташка с болезненным удивлением глядела на разряженный народ, идущий взад и вперед по камням возле домов, ворот и лавок с раскрытыми дверями... «И зачем поехал тут Евсей, — думала она, — как решился он греметь тут телегой?»

Но проехали мимо собора, стали спускаться к мелкой реке по ухабистым пыльным косогорам, мимо черных кузниц, мимо гнилых мещанских лачуг... Опять знакомо запахло пресной теплой водой, илом, полевой вечерней свежестью. Первый огонек блеснул вдали, на противоположной горе, в одиноком домишке близ шлагбаума... Вот и совсем выбрались на волю, переехали мост, поднялись к шлагбауму — и глянула в глаза каменная, пустынная дорога, смутно белеющая и убегающая в бесконечную даль, в синь степной свежей ночи. И лошадь пошла мелкой рысцой, а миновав шлагбаум, и совсем шагом. И опять стало слышно, что тихо, тихо ночью и на земле и в небе, — только где-то далеко плачет колокольчик. Он плакал все слышнее, все певучее — и слился наконец с дружным топотом тройки, с ровным стуком бегущих по шоссе и приближающихся колес... Тройкой правил вольный молодой ямщик, а в бричке, уткнувши подбородок в шинель с капюшоном, сидел офицер. Поравнявшись с телегой, на мгновение поднял он голову — и вдруг увидела Наташка красный воротник, черные усы, молодые глаза, блеснувшие под каской, похожей на ведерко... Она вскрикнула, помертвела, потеряла сознание...

Озарила ее безумная мысль, что это Петр Петрович, и, по той боли и нежности, которая молнией прошла ее нервное дворовое сердце, она вдруг поняла, чего она лишилась: близости к нему... Евсей кинулся поливать ее стриженую, отвалившуюся голову водой из дорожного жбана.

Тогда она очнулась от приступа тошноты — и торопливо перекинула голову за грядку телеги. Евсей торопливо подложил под ее холодный лоб ладонь...

А потом, облегченная, озябнувшая, с мокрым воротом, лежала она на спине и смотрела на звезды. Перепугавшийся Евсей молчал, думая, что она уснула, — только головой покачивал, — и погонял, погонял. Телега тряслась и убегала. А девочке казалось, что у нее нет тела, что теперь у нее одна душа. И душе этой было «так хорошо, ровно в Царстве Небесном»...

Аленьким цветочком, расцветшим в сказочных садах, была ее любовь. Но в степь, в глушь, еще более заповедную, чем глушь Суходола, увезла она любовь свою, чтобы там, в тишине и одиночестве, побороть первые, сладкие и жгучие муки ее, а потом надолго, навеки, до самой гробовой доски схоронить ее в глубине своей суходольской души.

## VI

Любовь в Суходоле необычна была. Необычна была и ненависть.

Дедушка, погибший столь же нелепо, как и убийца его, как и все, что гибли в Суходоле, был убит в том же году. На Покров, престольный праздник в Суходоле, Петр Петрович назвал гостей — и очень волновался: будет ли предводитель, давший слово быть? Радостно, неизвестно чему волновался и дедушка. Предводитель приехал — и обед удался на славу. Было и шумно и весело, дедушке — веселее всех. Рано утром второго октября его нашли на полу в гостиной мертвым.

Выйдя в отставку, Петр Петрович не скрыл, что он жертвует собою ради спасения чести Хрущевых, родового гнезда, родовой усадьбы. Не скрыл, что хозяйство он «поневоле» должен взять в свои руки. Должен и знакомства завести, дабы общаться с наиболее просвещенными и полезными дворянами уезда, а с прочими — просто не порывать отношений. И сначала все в точности исполнял, посетил даже всех мелкопоместных, даже хутор тетушки Ольги Кирилловны, чудовищно толстой старухи, страдавшей сонной болезнью и чистившей зубы нюхательным табаком. К осени уже никто не дивился, что Петр Петрович правит именем единовластно. Да он и вид имел уже не красавчика-офицера, приехавшего на побывку, а хозяина, молодого помещика. Смущаясь, он не заливался таким темным румянцем, как прежде. Он выхолился, пополнел, носил дорогие архалуки, маленькие ноги свои баловал красными татар-

скими туфлями, маленькие руки украшал кольцами с бирюзою. Аркадий Петрович стеснялся смотреть в его карие глаза, не знал, о чем с ним говорить, первое время во всем уступал ему и пропадал на охоте.

На Покров Петр Петрович хотел очаровать всех до единого своим радушием, да и показать, что именно он первое лицо в доме. Но ужасно мешал дедушка. Дедушка был блаженно-счастлив, но бестактен, болтлив и жалок в своей бархатной шапочке с мошей и в новом, не в меру широком синем казакине, сшитом домашним портным. Он тоже вообразил себя радушным хозяином и суетился с раннего утра, устраивая какую-то глупую церемонию из приема гостей. Одна половинка дверей из прихожей в залу никогда не открывалась. Он сам отодвинул железные задвижки и вниз и вверх, сам придвигал стул и, весь трясясь, влезал на него; а распахнув двери, стал на порог и, пользуясь молчанием Петра Петровича, замиравшего от стыда и злобы, но решившегося все претерпеть, не сошел с места до приезда последнего гостя. Он не сводил глаз с крыльца, — и на крыльцо пришлось отворить двери, этого тоже будто бы требовал какой-то старинный обычай, — топтался от волнения, завидя же входящего, кидался к нему навстречу, торопливо делал па, подпрыгивал, кидая ногу за ногу, отвешивал низкий поклон и, захлебываясь, всем говорил:

— Ну, как я рад! Как я рад! Давненько ко мне не жаловали! Милости прошу, милости прошу!

Бесило Петра Петровича и то, что дедушка всем и каждому зачем-то докладывал об отъезде Тонечки в Лунево, к Ольге Кирилловне. «Тонечка больна тоской, уехала к тетеньке на всю осень» — что могли думать гости после таких непрошенных заявлений? Ведь история с Войткевичем, конечно, уже всем была известна. Войткевич, может статься, и впрямь имел серьезные намерения, загадочно вздыхая возле Тонечки, играя с ней в четыре руки, глухим голосом читая ей «Людмилу» или говоря в мрачной задумчивости: «Ты мертвецу святыней слова обручена...» Но Тонечка бешено вспыхивала при каждой его даже самой невинной попытке выразить свои чувства, — поднести, например, ей цветок, — и Войткевич внезапно уехал. Когда же уехал, Тонечка стала не спать по ночам, в темноте сидеть возле открытого окна, точно поджидая какого-то известного ей срока, чтобы вдруг громко зарыдать — и разбудить Петра Петровича. Он долго лежал, стиснув зубы, слушая эти рыдания да мелкий, сонный лепет тополей за окнами в темном саду, похожий на непрерывный дождик. Затем шел успокаивать. Шли успокаивать и заспанные девки, иногда тревожно

прибегал дедушка. Тогда Тонечка начинала топтать ногами, кричать: «Отвяжитесь от меня, враги мои лютые!» — и дело кончалось безобразной бранью, чуть не дракой.

— Да пойми же ты, пойми,— бешено шипел Петр Петрович, выгнав вон девок, дедушку, захлопнув дверь и крепко хватаясь за скобку,— пойми, змея, что могут вообразить!

— Ай! — неистово взвизгивала Тонечка.— Папенька, он кричит, что я брюхата!

И, вцепившись себе в голову, Петр Петрович кидался вон из комнаты.

Очень тревожил на Покров и Герваська: как бы не нагрубил при каком-нибудь неосторожном слове.

Герваська страшно вырос. Огромный, нескладный, но и самый видный, самый умный из слуг, он тоже был наряжен в синий казакин, такие же шаровары и мягкие козловые сапоги без каблуков. Гарусный лиловый платок повязывал его тонкую темную шею. Черные, сухие, крупные волосы он причесал на косой ряд, но остричься под польку не пожелал — подрубил их в кружок. Брить было нечего, только два-три редких и жестких завитка чернело на его подбородке и по углам большого рта, про который говорили: «Рот до ушей, хоть завязочки пришей». Будылястый, очень широкий в плоской костлявой груди, с маленькой головою и глубокими орбитами, тонкими пепельно-синими губами и крупными голубоватыми зубами, он, этот древний ариец, парс из Суходола, уже получил кличку: борзой. Глядя на его оскал, слушая его покашливания, многие думали: «А скоро ты, борзой, издохнешь!» Вслух же, не в пример прочим, величали молокососа Гервасием Афанасьевичем.

Боялись его и господа. У господ было в характере то же, что у холопов: или властвовать, или бояться. За дерзкий ответ дедушке в день приезда Петра Петровича Герваське, к удивлению дворни, ровно ничего не было. Аркадий Петрович сказал ему кратко: «Положительно скотина ты, брат!» — на что и ответ получил очень краткий: «Терпеть его не могу я, сударь!» А к Петру Петровичу Герваська сам пришел: стал на порог и, по своей манере, развязно осев на свои несоразмерно с туловищем длинные ноги в широчайших шароварах, углом выставив левое колено, попросил, чтобы его выпороли.

— Очень я грубиян и горячий, сударь,— сказал он безразлично, играя черными глазницами.

И Петр Петрович, почувствовав в слове «горячий» намек, струсил.

— Успеется еще, голубчик! Успеется! — притворно-строго крикнул он.— Выйди вон! Я тебя, дерзкого, видеть не могу.

Герваська постоял, помолчал. Потом сказал:

— Есть на то воля ваша.

Постоял еще, крутя жесткий волос на верхней губе, поскалил по-собачьи голубоватые челюсти, не выражая на лице ни единого чувства, и вышел. Твердо убедился он с тех пор в выгоде этой манеры — ничего не выражать на лице и быть как можно более кратким в ответах. А Петр Петрович стал не только избегать разговоров с ним, но даже в глаза ему смотреть.

Так же безразлично, загадочно держался Герваська и на Покров. Все сбились с ног, готовясь к празднику, отдавая и принимая распоряжения, ругаясь, споря, моя полы, чистя синеющим мелом темное тяжелое серебро икон, поддавая ногами лезущих в сенцы собак, боясь, что не застынет желе, что не хватит вилок, что пережарятся налевашники, хворостики; один Герваська спокойно ухмылялся и говорил бесившемуся Казимиру, алкоголику-повару: «Потише, отец дьякон, подрясник лопнет!»

— Смотри не напейся,— рассеянно, волнуясь из-за предводителя, сказал Герваське Петр Петрович.

— С отроду не пил,— как равному кинул ему Герваська.— Не интересно.

И потом, при гостях, Петр Петрович даже заискивающе кричал на весь дом:

— Гервасий! Не пропадай ты, пожалуйста. Без тебя как без рук.

А Герваська вежливейше и с достоинством отзывался:

— Не извольте, сударь, беспокоиться. Не посмею отлучиться.

Он служил, как никогда. Он вполне оправдывал слова Петра Петровича, вслух говорившего гостям:

— До чего дерзок этот дылда, вы и представить себе не можете! Но положительно гений! Золотые руки!

Мог ли он предположить, что роняет в чашу именно ту каплю, которая переполнит ее? Дедушка услышал его слова. Он затеребил на груди казакин и вдруг через весь стол закричал предводителю:

— Ваше превосходительство! Подайте руку помощи! Как к отцу, прибегаю к вам с жалобой на слугу моего! Вот на этого, на этого — на Гервасия Афанасьева Куликова! Он на каждом шагу уничтожает меня! Он...

Его прервали, уговорили, успокоили. Взволновался дедуш-

ка до слез, но его стали успокаивать так дружно и с таким почтением, конечно насмешливым, что он сдался и почувствовал себя опять детски-счастливым. Герваська стоял у стены строго, с опущенными глазами и слегка поворотив голову. Дедушка видел, что у этого великана чересчур мала голова, что она была бы еще меньше, если бы остричь ее, что затылок у него острый и что особенно много волос именно на затылке — крупных, черных, грубо подрубленных и образующих выступ над тонкой шеей. От загара, от ветра на охоте темное лицо Герваськи местами шелушилось, было в бледно-лиловых пятнах. И дедушка со страхом и тревогой кидал взгляды на Герваську, но все-таки радостно кричал гостям:

— Хорошо, я прощаю его! Только за это я не отпущу вас, дорогие гости, целых три дня. Ни за что не отпущу! Особливо же прошу, не уезжайте на́ вечер. Как дело на́ вечер, я сам не свой: такая тоска, такая жуть! Тучки заходят, в Трошином лесу, говорят, опять двух французов бонапартишкиных поймали... Я беспременно помру вечером,— попомните мое слово! Мне Мартын Задека предсказал...

Но умер он рано утром.

Он настоял-таки: «ради него» много народу осталось ночевать; весь вечер пили чай, варенья было страшно много и все разное, так что можно было подходить и пробовать, подходить и пробовать; затем наставили столов, зажгли столько спермацетовых свечей, что они отражались во всех зеркалах, и по комнатам, полным дыма душистого жуковского табаку, шума и говора, был золотистый блеск, как в церкви. Главное же, многие ночевать остались. И значит, впереди был не только новый веселый день, но и большие хлопоты, заботы: ведь если бы не он, не Петр Кириллыч, никогда не сошел бы так отлично праздник, никогда не было бы такого оживленного и богатого обеда.

«Да, да,— волнуясь, думал дедушка ночью, скинув казакин и стоя в своей спальне перед аналоем, перед зажженными на нем восковыми свечечками, глядя на черный образ Меркурия.— Да, да, смерть грешнику люта... Да не з́айдет солнце в гневем нашем!»

Но тут он вспомнил, что хотел подумать что-то другое; горбясь и шепча пятидесятый псалом, прошелся по комнате, поправил тлевшую на ночном столике курительную монашку, взял в руки Псалтирь и, развернув, снова с глубоким, счастливым вздохом поднял глаза на безглавого святого. И вдруг напал на то, что хотел подумать, и засиял улыбкой:



И. А. Бунин, М. А. Алданов; фотография с шуточной надписью:  
«Муссолини и я. Ив. Бунин». 1930-е гг.



Л. А. Бунина, мать И. А. Бунина



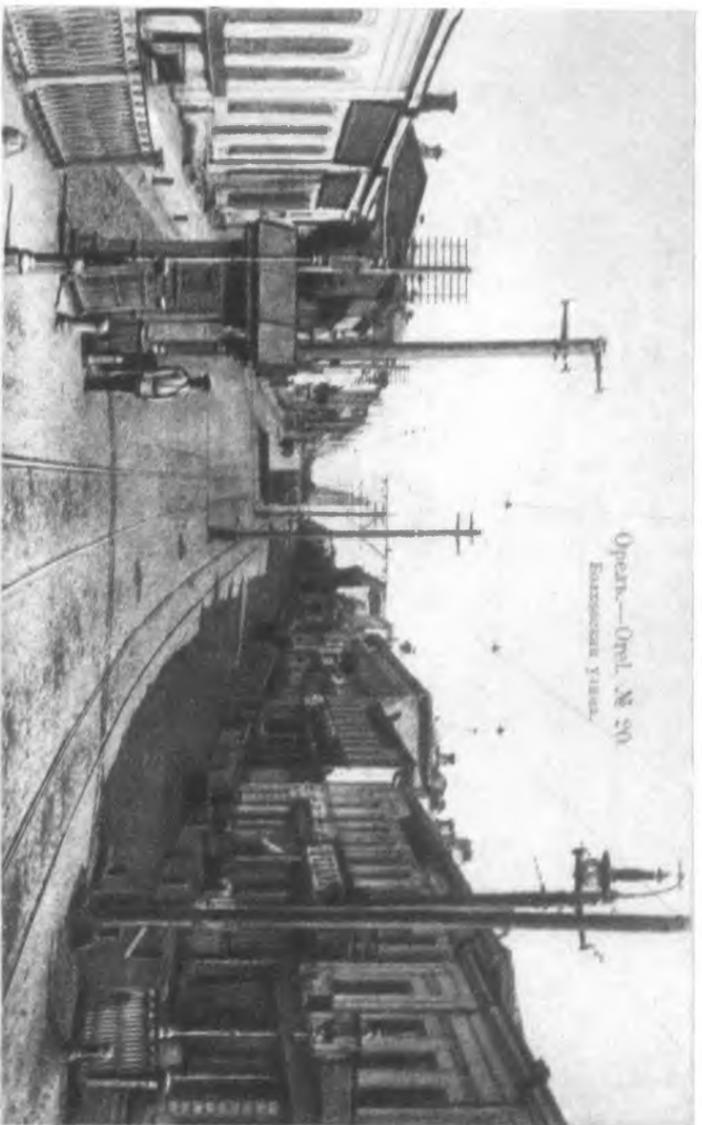
И. А. Бунин. 1887



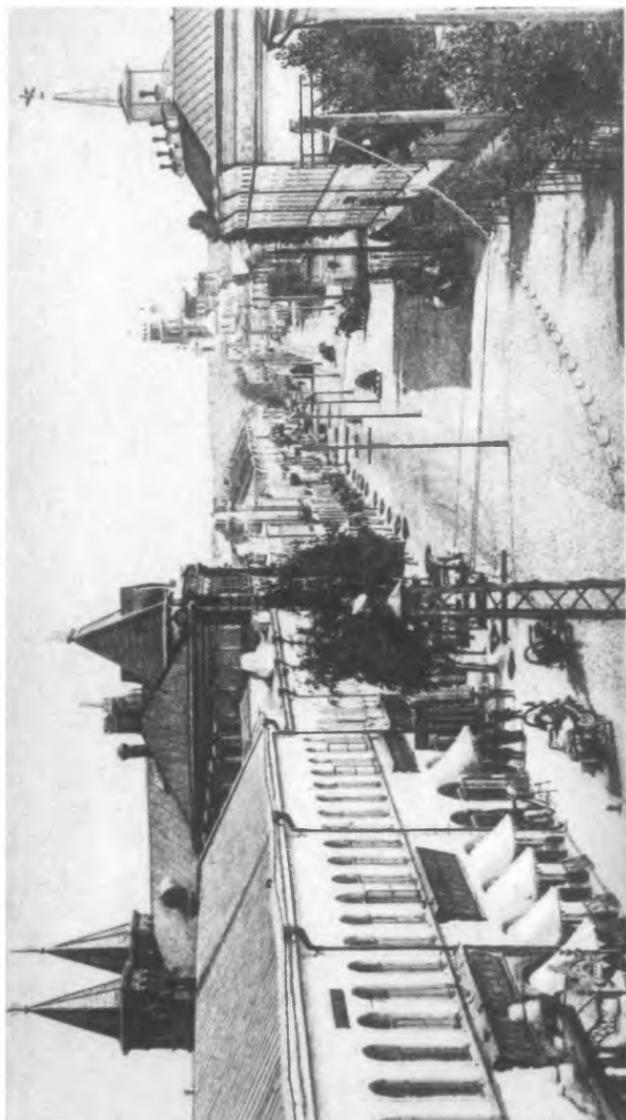
А. Н. Цакни. Одесса, 1898



А. Н. Цакни. Одесса, август 1961 г.



ოქრბი. ბორჯომის ქუჩა.



Московский Улица.  
Rue Moskowskaja.

Орел.  
Orel.

Орел, Московская ул.,  
1910

Страстной монастырь. — Strastnoi monastère 168.

МОСКВА. — MOSCOW.



Страстной Мона-  
стырь (XVII в.), Унич-  
тожен коммунисти-  
ческими властями в  
1937 г. На месте, где  
он стоял, теперь кино-  
театр «Россия» и  
сквер



А. М. Федоров у себя  
на даче. Одесса



В. Н. Муромцева-Булнина. 1907



Москва. Красные ворота. В 1709 г. были построены деревянные ворота в память о победе под Полтавой. В 1752 г. архитектор В. Д. Ухтомский возвел каменные ворота. Их уничтожили коммунистические власти в 1934 г.



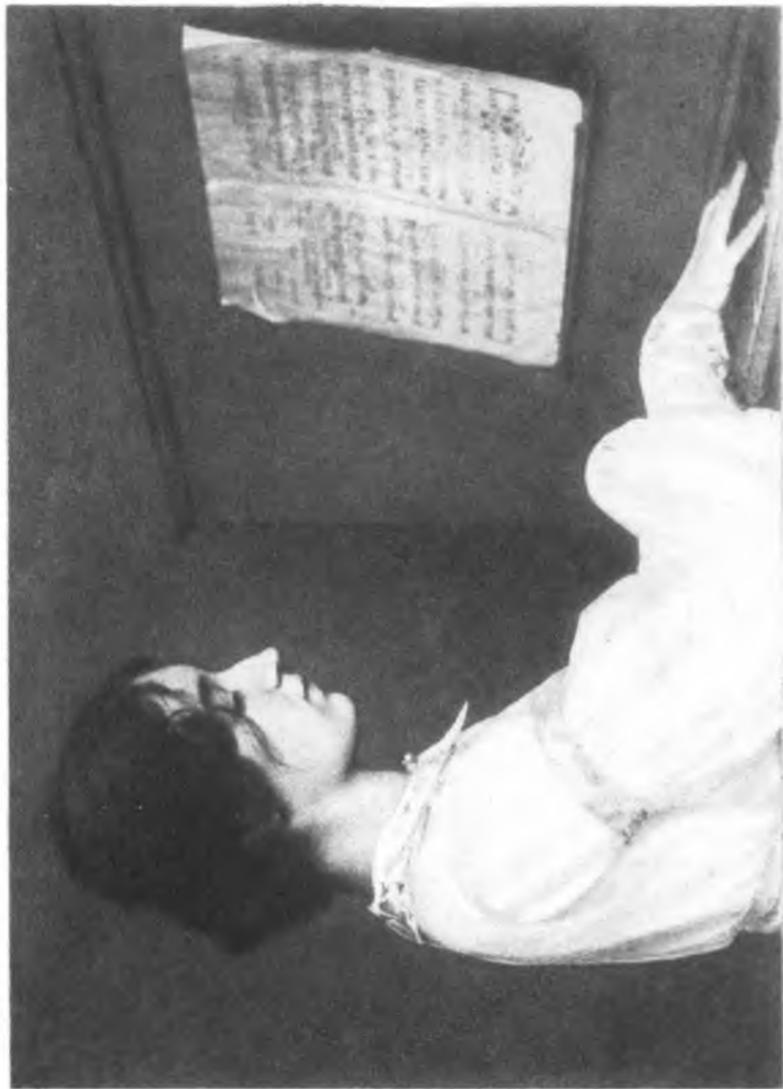
Фотография с надписью Бунина: «В. Н. Бунина. Париж, 1927»



Фотография с надписью: «1915 г. Москва, Ив. Бунин»

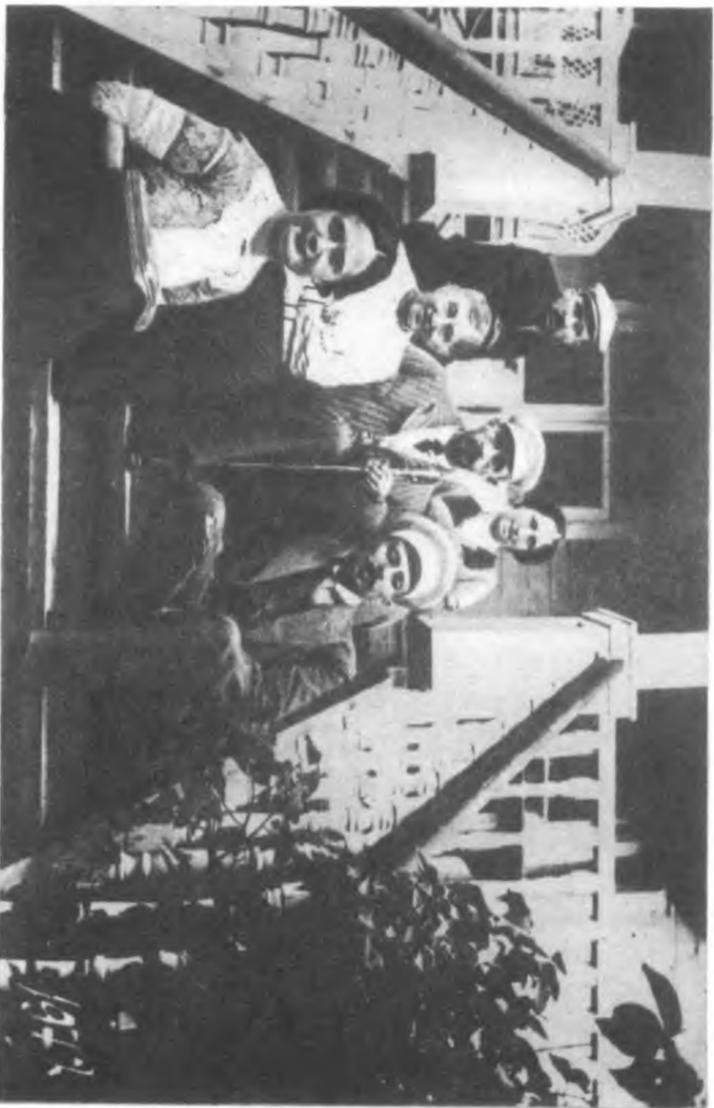
Фотография с надписью  
Буннина: «15. VII. 1916. В  
шляпе я, в тележке кале-  
ка, возле его головы тот  
мужик, что возит его»





В. Н. Муромцева-Бунина, 1907

Фотография с надписью Буннина: «В имени поэта Черемнова в Витебской губ., лето 1912 г. 1-й ряд: Н. А. Пучешников и В. Н. Буннина (Муромцева); 2-й ряд: приемная мать Черемнова, Черемнова, Черемнов»

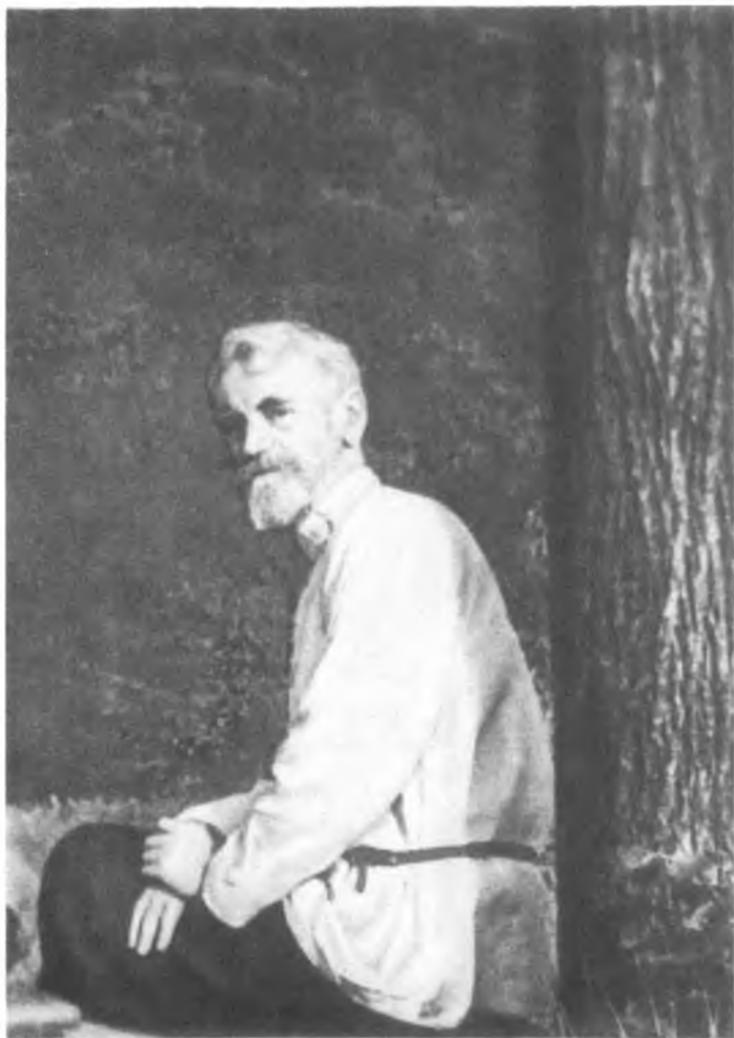




Е. А. Бучин, его жена  
Настасья Карловна,  
с детьми



М. К. Давыдова; в замужестве — Куприна-Иорданская. Бунин публиковал в ее журнале «Мир Божий» (позднее называвшемся «Современный мир») «Деревню» и другие произведения. Он ценил ее за ум и остроумие



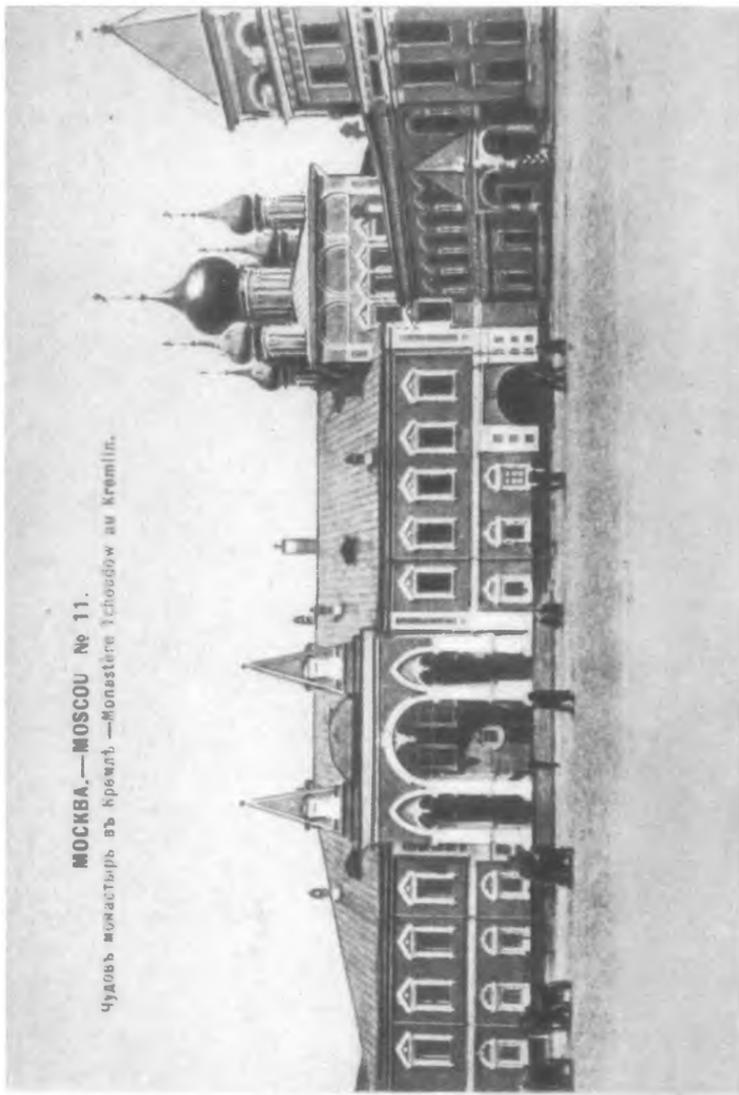
**Н. С. Родионов, исследователь творчества Л. Н. Толстого; по первой жене — родственник В. Н. Буниной, она его любила, посылала ему письма из Парижа; во время женитьбы в 1912 г. Бунин был его шафером**

Москва, Кремль. Царские терема. Спас-на-Бору (XIV в.) и императорский двор. Бунин писал в дневнике «Ожиданные дни» 20 февраля 1918 г.: «Великие князья, терема, Спас-на-Бору, Архангельский собор — до чего все родное, кровное и только теперь как следует почувствованное, понатое! Взорвать? Все может быть. Теперь все возможно». И взорвали. Спас-на-Бору больше нет



**МОСКВА.—MOSCOU № 11.**

Чудовъ монастырь въ Кремль. —Monastère Tchoudow au Kremlin.



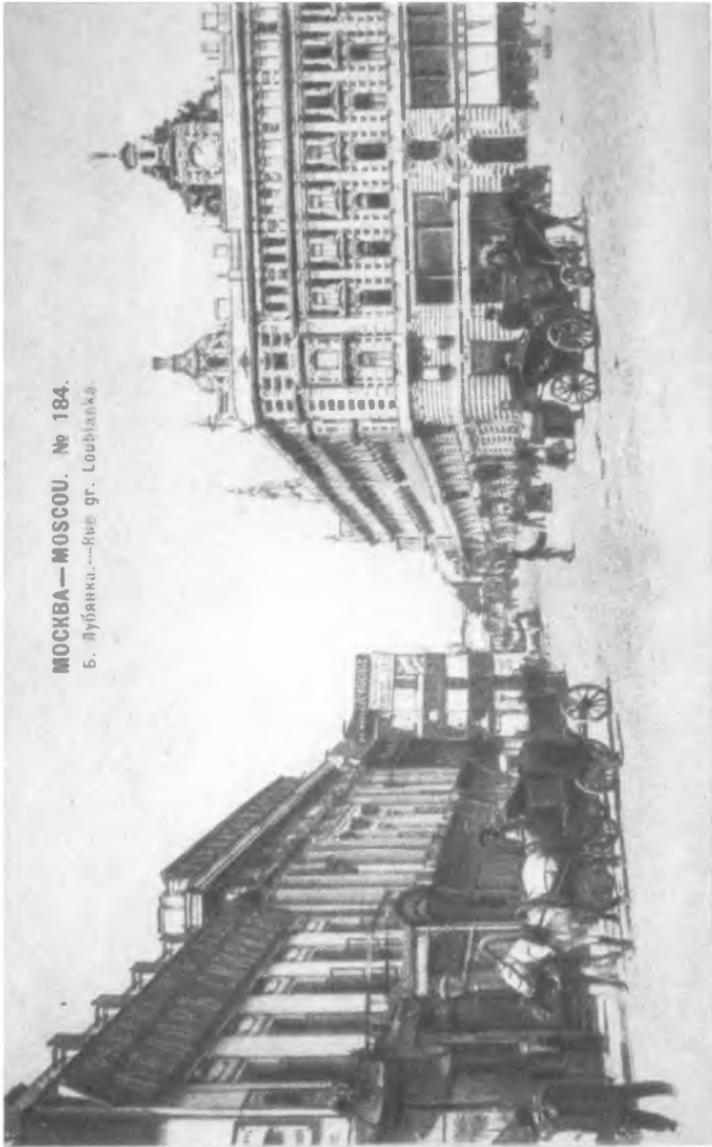
Москва. Чудов монастырь в Кремле. Основан в 1365 г. Был центром просвещения с XVI в. В нем размещалось Греко-латинское училище; переводились иностранные книги. Здесь был крещен Петр Великий. Новые владыки Кремля разрушили в 1930 г.

Москва. —Moscou. № 27.

Дубинская площадь — Place de la Doubianka.

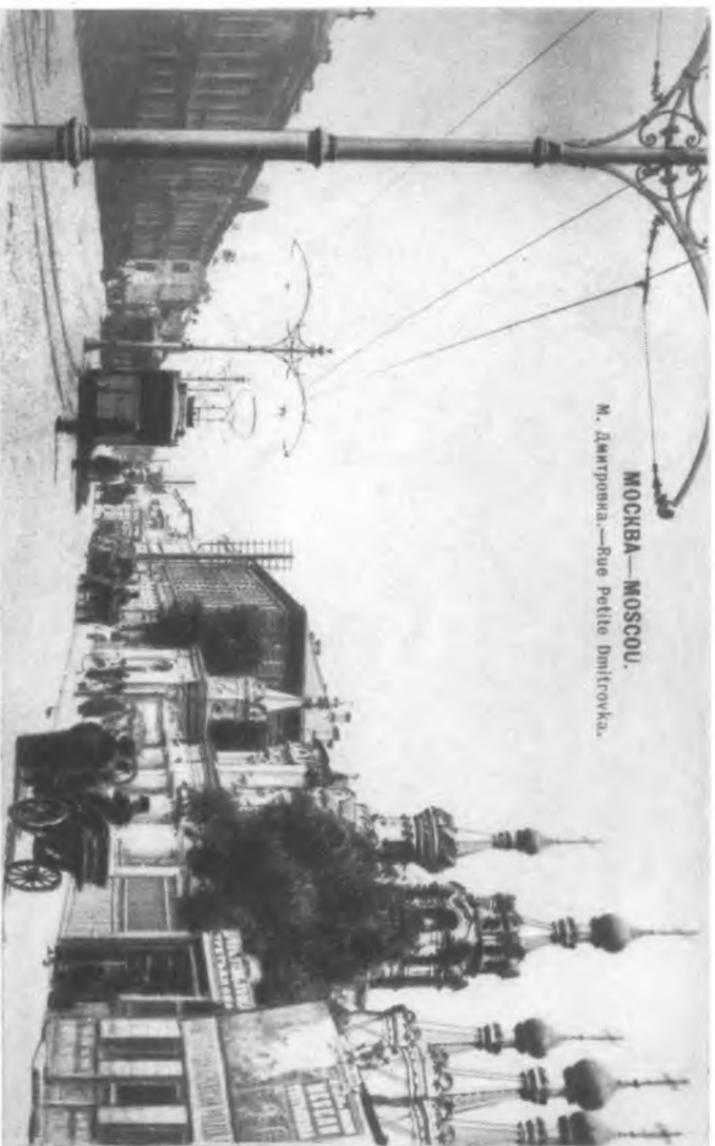


Москва. Дубин-  
ская площадь



МОСКВА — MOSCOW. № 184.  
Б. ЛУБЯНКА. — Биге гт. Лубянка.

Москва. Большая  
Лубянка



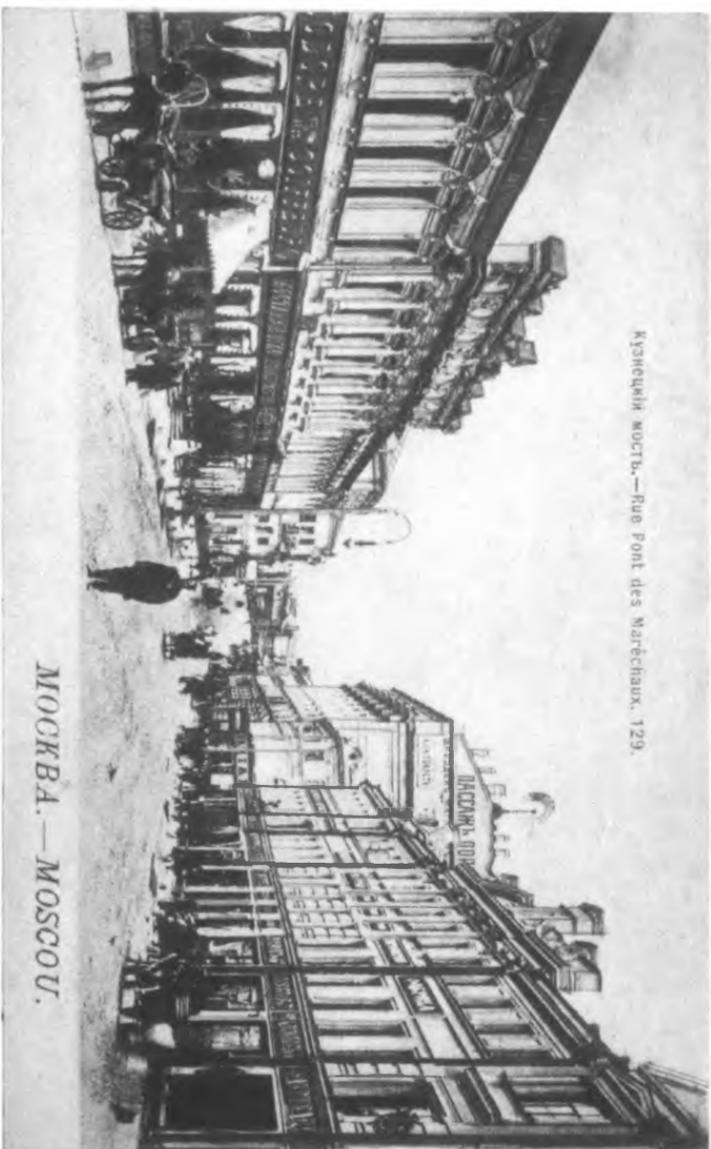
Малая Дмитровка  
(ныне ул. Чехова)



Москва. — Moscow, № 240.  
Никольская ул. — Rue Nicolskaia.

Москва. Николь-  
ская ул.

Кузнецкий мостъ.—Rue Pont des Marchaux. 129.



МОСКВА.—MOSCOU.

Москва. Кузнец-  
кий мост

**МОСКВА—MOSCOU.**

Церковь Рождества Богородицы въ Путинкахъ.  
Eglise de la Nativité de la S-te Vierge à Poutinky.



Москва. Церковь Рождества Богородицы в Путинках

МОСКВА. — MOSCOW. № 216.  
Арбат. — Rue Arbate.



**МОСКВА. — MOSCOU. № 217.**

Большая Московская Гостиница. — Grand Hôtel de Moscou.



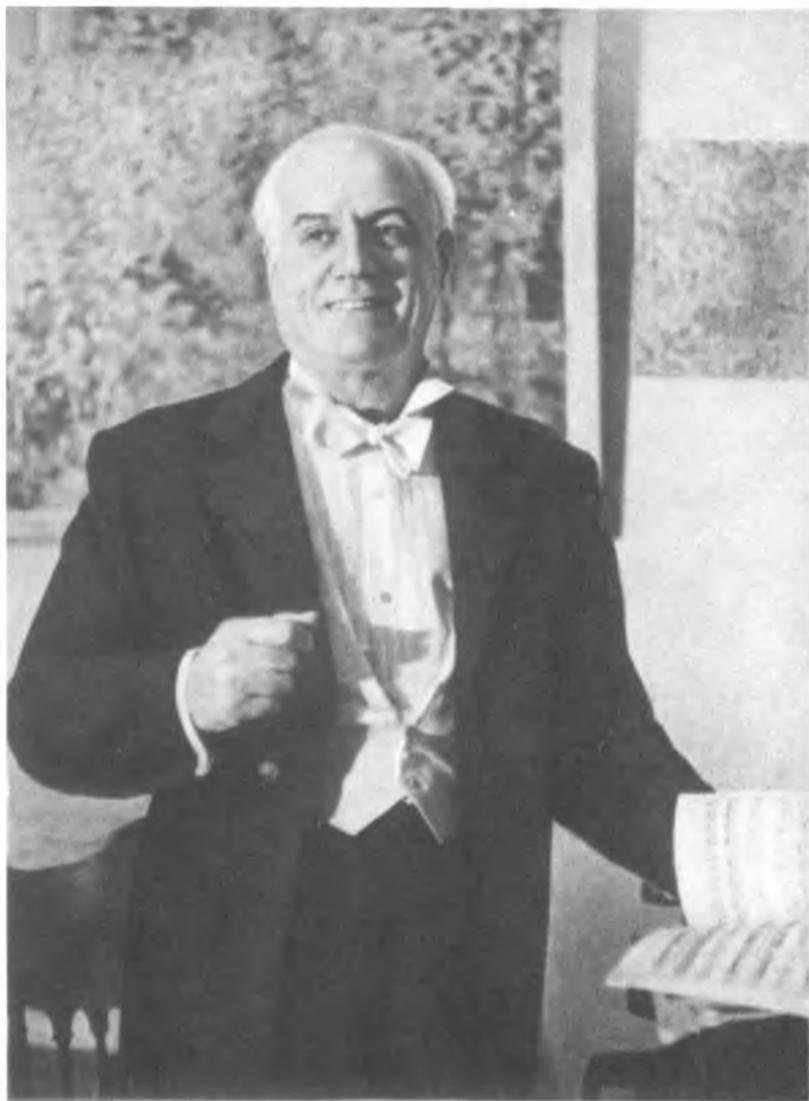
Москва. Большая  
Московская гости-  
ница и ресторан.  
Здесь останавли-  
вались, приезжая в  
Москву, Бунин,  
Чехов, Шаляпин

Художник Е. И. Буквецкий. Одесса,  
1916. Комната в особняке на Княжеской  
ул., 27, где жил Бунин в 1918—1920 гг.





Наталья Гончарова, Леонид Массин,  
Лев Бакст, Михаил Ларионов, Игорь  
Стравинский



**И. С. Козловский. Он сказал в одном из интервью: «Русский писатель, которого я необычайно люблю, это Бунин». Иван Семенович — вдохновенный исполнитель романсов С. В. Рахманинова на слова Бунина**

— Да, да: есть старик — убил бы его, нет старика — купил бы его!

Боясь проспать, не распорядиться о чем-то, он почти не спал. А рано утром, когда в комнатах, еще не убранных и пахнувших табаком, стояла та особенная тишина, что бывает только после праздника, осторожно, на босу ногу вышел он в гостиную, заботливо поднял несколько мелков, валявшихся у раскрытых зеленых столов, и слабо ахнул от восторга, взглянув на сад за стеклянными дверями: на яркий блеск холодной лазури, на серебро утренника, покрывшего и балкон и перила, на коричневую листву в голых зарослях под балконом. Он отворил дверь и потянул носом: еще горько и спиртуозно пахло из кустов осенним тлением, но этот запах терялся в зимней свежести. И все было неподвижно, успокоенно, почти торжественно. Чуть показавшееся сзади, за деревней, солнце озаряло вершины картинной аллеи, полуголых, осыпанных редким и мелким золотом, белоствольных берез, и прелестный, радостный, неуловимо-лиловатый тон был в этих белых с золотом вершинах, сквозивших на лазури. Пробежала собака в холодной тени под балконом, хрустя по сожженной морозом и точно солью осыпанной траве. Хруст этот напомнил зиму — и, с удовольствием передернув плечами, дедушка вернулся в гостиную и, затаивая дыхание, стал передвигать, расставлять тяжелую, рычащую по полу мебель, изредка поглядывая в зеркало, где отражалось небо. Вдруг неслышно и быстро вошел Герваська — без казакина, заспанный, «злой, как черт», как он сам же про себя рассказывал потом.

Он вошел и строго крикнул шепотом:

— Тише ты! Чего лезешь не в свое дело?

Дедушка поднял возбужденное лицо и, с той нежностью, которая не покидала его весь вчерашний день и всю ночь, шепотом ответил:

— Вот видишь, какой ты, Гервасий! Я простил тебя вчерась, а ты, вместо благодарности барину...

— Надоел ты мне, слюнтяй, хуже осени! — перебил Герваська.— Пусти.

Дедушка со страхом взглянул на его затылок, еще более выступавший теперь над тонкой шеей, торчавшей из ворота белой рубахи, но вспыхнул и загородил собою ломберный стол, который хотел тащить в угол.

— Ты пусти! — мгновение подумав, негромко крикнул он.— Это ты должён уступить барину. Ты доведешь меня: я тебе кинжал в бок всажу!

— А! — досадливо сказал Герваська, блеснув зубами, и наотмашь ударил его в грудь.

Дедушка поскользнулся на гладком дубовом полу, взмахнул руками — и как раз виском ударился об острый угол стола.

Увидя кровь, бессмысленно-раскосившиеся глаза и разинутый рот, Герваська сорвал с еще теплой дедушкиной шеи золотой образок и ладанку на заношенном шнуре... оглянулся, сорвал и бабушкино обручальное кольцо с мизинца... Затем неслышно и быстро вышел из гостиной — и как в воду канул.

Единственным человеком из всего Суходола, видевшим его после этого, была Наталья.

## VII

Пока жила она в Сошках, произошло в Суходоле еще два крупных события: женился Петр Петрович и отправились братья «охотниками» в Крымскую кампанию.

Вернулась она только через два года: о ней забыли. И, вернувшись, не узнала Суходола, как не узнал ее и Суходол.

В тот летний вечер, когда телега, присланная с барского двора, закрипела возле хуторской хаты и Наташка выскочила на порог, Евсей Бодуля удивленно воскликнул:

— Ужли это ты, Наташка?

— А то кто же? — ответила Наташка с чуть заметной улыбкой.

И Евсей покачал головою:

— Добрё ты не хороша-то стала!

А стала она только не похожа на прежнюю: из стриженной девчонки, круглолицой и ясноглазой, превратилась в невысокую, худощавую, стройную девку, спокойную, сдержанную и ласковую. Она была в плахте и вышитой сорочке, хотя покрыта темным платочком по-нашему, немного смугла от загара и вся в мелких веснушках цвета проса. А Евсею, истому суходольцу, и темный платок, и загар, и веснушки, конечно, казались некрасивыми.

На пути в Суходол Евсей сказал:

— Ну, вот, девка, и невестой ты стала. Хочется замуж-то?

Она только головой помотала:

— Нет, дядя Евсей, никогда не пойду.

— Это с какой же радости? — спросил Евсей и даже трубку из рта вынул.

И не спеша она пояснила: не всем же замужем быть; отдадут ее, верно, барышне, а барышня обрекла себя Богу и, значит,

замуж ее не пустит; да и сны уж очень явственные снились ей не раз...

— Что ж ты видела? — спросил Евсей.

— Да так, пустое,— сказала она.— Напугал меня тогда Герваська до смерти, наговорил новостей, раздумалась я... Ну, вот и снилось.

— А ужли правда, завтракал он у вас, Герваська-то?

Наташка подумала:

— Завтракал. Пришел и говорит: пришел я к вам от господ по большому делу, только дайте сперва поесть мне. Ему и накрыли, как путному. А он наелся, вышел из избы и мне моргнул. Я выскочила, он рассказал мне за углом все дочиستا, да и пошел себе...

— Да что ж ты хозяев-то не кликнула?

— Эко-ся. Он убить пригрозил. До вечера не велел сказывать. А им сказал,— спать под анбар иду...

В Суходоле с большим любопытством глядела на нее вся дворня, приставали с расспросами подруги и сверстницы по девичьей. Но и подругам отвечала она все так же кратко и точно любуясь какой-то ролью, взятой на себя.

— Хорошо было,— повторяла она.

А раз сказала тоном богомолки:

— У Бога всего много. Хорошо было.

И просто, без промедлений вступила в рабочую, будничную жизнь, как бы совсем не дивясь тому, что нет дедушки, что ушли молодые господа на войну «охотниками», что барышня «тронулась» и бродит по комнатам, подражая дедушке, что правит Суходолом новая, всем чужая барыня,— маленькая, полная, очень живая,беременная...

Барыня крикнула за обедом:

— Позовите же сюда эту... как ее? — Наташку.

И Наташка быстро и неслышно вошла, перекрестилась, поклонилась в угол, образам, потом барыне и барышне — и стала, ожидая расспросов и приказаний. Расспрашивала, конечно, только барыня,— барышня, очень выросшая, похудевшая, востроносая, глядя своими неправдоподобно-черными глазами пристально-тупо, ни слова не проронила. Барыня же и определила ее состоять при барышне. И она поклонилась и просто сказала:

— Слушаю-с.

Барышня, глядя все так же внимательно-равнодушно, внезапно кинулась на нее вечером и, яростно раскосив глаза, жестоко и с наслаждением изорвала ей волосы — за то, что она неумело дернула с ее ноги чулок. Наташка по-детски заплака-

ла, но смолчала; а, выйдя в девичью, сев на коник и выбирая вырванные волосы, даже улыбнулась сквозь висевшие на ресницах слезы.

— Ну, люта-а! — сказала она. — Трудно мне будет.

Барышня, проснувшись утром, долго лежала в постели, а Наташка стояла у порога и, опустив голову, искоса поглядывала на ее бледное лицо.

— Что ж видела во сне? — спросила барышня так равнодушно, точно кто-то другой говорил за нее.

Она ответила:

— Кажись, ничего-с.

И тогда барышня, опять так же внезапно, как вчера, вскочила с постели, бешено запустила в нее чашку с чаем и, упав на постель, горько, с криком зарыдала. От чашки Наташка увернулась — и вскоре научилась увертываться с необыкновенной ловкостью. Оказалось, что глупым девкам, отвечавшим на вопрос о снах: «Ничего-с не видала», — барышня кричала иногда: «Ну, полги что-нибудь!» Но так как лгать Наташка была не мастерица, то и пришлось ей развивать в себе другое умение: увертываться.

Наконец к барышне привезли лекаря. Лекарь дал много пилюль, капель. Боясь, что ее отравят, барышня заставила перепробовать эти пилюли и капли Наташку — и та без отказа перепробовала их все подряд. Вскоре после приезда узнала она, что барышня ждала ее «как света белого»: барышня-то и вспомнила о ней — все глаза проглядела, не едут ли из Сошек, горячо уверяла всех, что будет совсем здорова, как только вернется Наташка. Наташка вернулась — и встречена была совершенно равнодушно. Но не были ли слезы барышни слезами горького разочарования? У Наташки дрогнуло сердце, когда она сообразила все это. Она вышла в коридор, села на рундук и опять заплакала.

— Что ж, лучше тебе? — спросила барышня, когда она вошла к ней потом с опухшими глазами.

— Лучше-с, — шепотом сказала Наташка, хотя от лекарств у нее замирало сердце и кружилась голова, и, подойдя, горячо поцеловала руку барышни.

И долго после того ходила с опущенными ресницами, боясь поднять их на барышню, умиленная жалостью к ней.

— У, хохлушка подколодная! — крикнула раз одна из подруг ее по девичьей, Солошка, чаще всех пытавшаяся стать наперсницей всех тайн и чувств ее и постоянно натывавшаяся на краткие, простые ответы, исключавшие всякую прелесть девичьей дружбы.

Наташка грустно умехнулась.

— А что ж,— сказала она задумчиво.— И то правда. С кем поведешься, от того и наберешься. Я иной раз по отцу-матери не жалкую так-то, как по хохлам своим...

В Сошках она сперва совсем не придавала значения тому новому, что окружало ее. Приехали под утро — и странным показалось ей в это утро только то, что хата очень длинна и бела, далеко видна среди окрестных равнин, что хохлушка, топившая печь, поздоровалась приветливо, а хохол не слушал Евсея. Евсей молчал без умолку — и о господах, и о Демьяне, и о жаре в пути, и о том, что ел он в городе, и о Петре Петровиче, и уж конечно о зеркальце,— а хохол, Шарый, или, как звали его в Суходоле, Барсук, только головой мотал и вдруг, когда Евсей смолк, рассеянно глянул на него и превесело занял под нос: «Круть, верть, метелица...» Потом стала она понемногу приходить в себя — и дивоваться на Сошки, находить в них все больше прелести и несходства с Суходолом. Одна хата хохлацкая чего стоила — ее белизна, ее гладкая, ровная, очеретёная крыша. Как богато казалось в этой хате внутреннее убранство по сравнению с неряшливым убожеством суходольских изб! Какие дорогие фольговые образа висели в углу ее, что за дивные бумажные цветы окружали их, как красиво пестрели полотенца, висевшие над ними! А узорчатая скатерть на столе! А ряды сизых горшков и махоточек на полках возле печи! Но удивительнее всего были хозяева.

Чем они удивительны, она не совсем понимала, но чувствовала постоянно. Никогда еще не видала она таких опрятных, спокойных и ладных мужиков, как Шарый. Был он невысок, голову имел клином, стриженую, в густом крепком серебре, усы, — он только усы носил,— тоже серебряные, узкие, татарские, лицо и шею черные от загара, в глубоких морщинах, но тоже каких-то ладных, определенных, нужных почему-то. Ходил он неловко,— тяжелы были его сапоги,— в сапоги заправлял порты из грубого беленого холста, в порты — такую же рубаху, широкую под мышками, с отложным воротом. На ходу гнулся слегка. Но ни эта манера, ни морщины, ни седины не старили его: не было ни усталости нашей, ни вялости в его лице; небольшие глаза глядели остро, тонко-насмешливо. Старика-серба, откуда-то заходившего однажды в Суходол с мальчиком, игравшим на скрипке, напомнил он Наташке.

А хохлушку Марину суходольцы прозвали Копьем. Стройна была эта высокая пятидесятилетняя женщина. Желтоватый загар ровно покрывал тонкую, не суходольскую кожу ее широкоскулого лица, грубоватого, но почти красивого своей прямо-

той и строгой живостью глаз — не то агатовых, не то янтарно-серых, менявшихся, как у кошки. Высоким тюрбаном лежал на ее голове большой черно-золотой, в красном горошке, платок; черная, короткая плахта, резко оттенявшая белизну сорочки, плотно облегла удлиненные бедра и голени. Обувалась она на босу ногу, в башмаки с подковками, голые берцы ее были тонки, но округлы, стали от солнца как полированное желто-коричневое дерево. И когда она порою пела за работой, сдвигнув брови, сильным грудным голосом, песню об осаде неверными Почаева, о том,

Як зійшла зоря вечірова  
Та над Почаевом стала,

как сама Божья Матерь святой монастырь «ртяувала», в голосе ее было столько безнадежности, завывания, но вместе с тем столько величия, силы, угрозы, что Наташка не спускала в жутком восторге глаз с нее.

Детей хохлы не имели; Наташка была сирота. И живи она у суходольцев, звали бы ее дочкой приемной, а порой и воровкой, то жалели бы ее, то глаза кололи. А хохлы были почти холодны, но ровны в обращении, совсем не любопытны и не многоречивы. Осенью пригоняли на косьбу, на молотьбу калужских баб и девок, которых звали за их пестрые сарафаны «распашонками». Но распашонок Наташка чуждалась: слыли они распутными, дурно-болезными, были грудасты, охальны и дерзки, ругались скверно и с наслаждением, прибаутками так и сыпали, на лошадь садились по-мужичьи, скакали как угорелые. Рассеялось бы ее горе в привычном быту, в откровенностях, в слезах и песнях. Да с кем было откровенничать или песни петь? Распашонки затягивали своими грубыми голосами, подхватывали их не в меру дружно и зычно, с ёканьем и свистом. Шарый пел только насмешливо-плясовое что-то. А Марина в своих песнях, даже любовных, была строга, горда и задумчиво-сумрачна.

В кінці греблі шумлять верби,  
Що я посадила,—

тоскливо-протяжно рассказывала она — и прибавляла, понижая голос, твердо и безнадежно:

Нема мого  
Миленкого,  
Що я полубила...

И в одиночестве, медленно испила Наташка первую, горько-сладкую отраву неразделенной любви, перестрадала свой

стыд, ревность, страшные и милые сны, часто снившиеся ей по ночам, несбыточные мечты и ожидания, долго томившие ее в молчаливые степные дни. Часто жгучая обида сменялась в ее сердце нежностью, страсть и отчаяние — покорностью, желанием самого скромного, незаметного существования близ *него*, любви, навеки скрытой от всех и ничего не ждущей, ничего не требующей. Вести, новости, доходившие из Суходола, отрезвляли. Но не было долго вестей, не было ощущения будничной суходольской жизни — и начинал казаться Суходол таким прекрасным, таким желанным, что не хватало сил терпеть одиночество и горе... Вдруг явился Герваська. Он торопливо-резко выкинул ей все суходольские новости, в полчаса рассказал то, что другой не сумел бы и в день рассказать, — вплоть до того, как он насмерть «толкнул» деда, и твердо сказал:

— Ну, а теперь прощай дóвеку!

Он, прожигая ее, ошеломленную, своими глазищами, крикнул, выходя на дорогу:

— А дурь из головы пора вон выбить! Он вот-вот женится, ты ему и в любовницы не годишься... Образуемся!

И она образумилась. Пережила страшные новости, пришла в себя — и образумилась.

Дни потянулись после того мерно, скучно, как те богомолки, что шли и шли по шоссе мимо хутора, вели, отдыхая, долгие беседы с ней, учили терпению да надежде на Господа Бога, имя которого произносилось тупо, жалобно, а пуще всего правило: не думать.

— Думай не думай — по-нашему не будет, — говорили богомолки, перевязывая лапти, морща измученные лица и ослабленно глядя в степную даль. — У Господа Бога всего много... Сорви-ка ты нам, деушка, лучку украдкой...

А иные, как водится, и страшали — грехами, тем светом, сулили еще и не такие беды и страхи. И однажды приснилось ей чуть не подряд два ужасных сна. Все думала она о Суходоле, — трудно было сначала не думать-то! — думала о барышне, о дедушке, о своем будущем, гадала, выйдет ли она замуж, и если выйдет, то когда, за кого... Думы так незаметно перешли однажды в сон, что совершенно явственно увидела она предвечернее время знойного, пыльного, тревожно-ветреного дня и то, что бежит она на пруд с ведрами — и вдруг видит на глинисто-сухом косогоре безобразного, головастого мужика-карлика в разбитых сапогах, без шапки, со всклокоченными ветром рыжими кудлами, в распоясанной, развевающейся огненно-красной рубахе. «Дедушка! — крикнула она в тревоге и ужасе. — Ай пожар?» — «До шпенту все слетит сейчас! — тоже криком, заглу-

шаемым горячим ветром, отозвался карлик. — Туча идет несказанная! И думать не могли замуж собираться!» А другой сон был и того страшнее: стояла она будто бы в полдень в жаркой пустой избе, припертая кем-то снаружи, замирала, ждала чего-то — и вот выпрыгнул из-за печки громадный серый козел, вскинулся на дыбы — и прямо к ней, непристойно возбужденный, с горящими, как уголья, радостно-бешеными и молящими глазами. «Я твой жених!» — крикнул он человеческим голосом, быстро и неловко подбегая, мелко топоча маленькими задними копытцами — и с размаху упал ей на грудь передними...

Вскакивая после таких снов на своей постели в сенцах, чуть не умирала она от сердцебиения, от страха темноты и мысли, что не к кому кинуться ей.

— Господи Иисусе,— скороговоркой шептала она.— Матушка Царица Небесная! Угодники Божии!

Но оттого, что все угодники представлялись ей коричневыми и безглавыми, как Меркурий, делалось еще страшнее.

Когда же стала она обдумывать сны, то в голову стало приходить, что девичьи годы ее кончены, что судьба ее уже определилась,— недаром выпало ей на долю нечто необычное, любовь к барину! — что ждут ее еще какие-то испытания, что надо подражать хохлам в сдержанности, а богомолкам — в простоте и смирении. И так как любят суходольцы играть роли, внушать себе непреложность того, что будто бы должно быть, хотя сами же они и выдумывают это должное, то взяла на себя роль и Наташка.

## VIII

У нее ноги отнялись от радости, когда, выскочив на порог накануне Петрова дня, поняла она, что Бодуля — за нею, когда увидела она запыленную, растрепанную суходольскую телегу, увидела рваную шапку на лохматой голове Бодули, его выцветшую на солнце путаную бороду, его лицо, усталое и возбужденное, до времени состарившееся и безобразное, даже непонятное какое-то в убожестве и несоразмерности черт, увидела знакомого кобеля, тоже лохматого, имеющего какое-то сходство не только с Бодулей, но со всем Суходолом,— мутно-серого на спине, а спереди, с груди, с густоопушенной шеи, точно прокопченного темным дымом курной избы. Но она быстро овладела собою. Бодуля по пути домой плел, что в голову влезет, о Крымской войне, то как будто радовался ей, то сокрушался, и Наташка рассудительно говорила:

— Что ж, видно, надобно окоротить их, французов-то...

Весь долгий день на пути к Суходолу прошел в жутком ощущении — смотреть новыми глазами на старое, знакомое, переживать, приближаясь к родному углу, прежнюю самое себя, замечать перемены, узнавать встречаемых. При повороте в Суходол с большой дороги, на парах, заросших сергибусом, бегал третьяк жеребенок: мальчишка, став на веревочный повод босой ногой, уцепился за шею жеребенка и силился закинуть другую на спину, а жеребенок не давался, бегал, тряс его. И Наташка радостно взволновалась, признав в мальчишке Фомку Пантюхина. Повстречался столетний Назарушка, сидевший в пустой телеге уже не по-мужичьи, а по-бабы,— с прямо вытянутыми ногами,— с напряженно, высоко и слабо-сильно поднятыми плечами, с бесцветными, жалко-грустными глазами, исхудевший до того, что «нечего в гроб положить», без шапки и в длинной ветхой рубахе, сизой от золы, от постоянного лежания в печке. И опять содрогнулось сердце,— вспомнилось, как года три тому назад добрейший и беззаботнейший Аркадий Петрович хотел пороть этого Назарушку, пойманного на огороде с хвостиком редьки и плакавшего среди дворни, окружившей его, еле живого от страха, и с хохотом кричавшей:

— Нет, дед, не калянся: видно, уж придется подгузники скидывать! Не минуешь!

А как забилось сердце, когда увидела она выгон, ряд изб — и усадьбу: сад, высокую крышу дома, задние стены людских, амбаров, конюшен. Желтое ржаное поле, полное васильков, вплотную подходило к этим стенам, к бурьянам, татаркам; чей-то белый в коричневых пятнах теленок тонул среди овсов, стоял в них, объедая кисти. Все вокруг было мирно, просто, обычно — все необычнее, все тревожнее становилось только в ее уме, который и совсем помутился, когда шибко покатила телега по широкому двору, белевшему спящими борзыми, как погост камнями, когда, впервые после двухлетнего пребывания в избе, вошла она в прохладный дом, так знакомо пахнувший восковыми свечами, липовым цветом, буфетной, казацким седлом Аркадия Петровича, валявшимся на лавке в прихожей, опустевшими перепелиными клетками, висевшими над окном,— и робко взглянула на Меркурия, перенесенного из дедушкиных покоев в угол прихожей...

По-прежнему весело озарен был сумрачный зал солнцем, светившим из сада в маленькие окна. Цыпленок, неизвестно зачем попавший в дом, сиротливо пищал, бродя по гостиной. Липовый цвет сох и благоухал на горячих, ярких подоконниках... Казалось, все старое, что окружало ее, помолодело, как

всегда бывает это в домах после покойника. Во всем, во всем — и особенно в запахе цветов — чувствовалась часть ее собственной души, ее детства, отрочества, первой любви. И жаль было выросших, умерших, изменившихся — самое себя, барышню. Выросли ее сверстники и сверстницы. Многие старики и старухи, качавшие от дряхлости головами и порою тупо выглядывавшие с порогов людских на мир Божий, навсегда исчезли из этого мира. Исчезла Дарья Устиновна. Исчез дедушка, так по-детски боявшийся смерти, думавший, что смерть будет овладевать им медленно, приуговоря его к страшному часу, и так неожиданно, молниеносно скошенный ее косою. И не верилось, что нет его, что под могильным бугром возле церкви села Черкизова истлел именно он. Не верилось, что эта черная, худая, востроносая женщина, то равнодушная, то бешеная, то тревожно-болтливая и откровенная с ней, как с равной, то вырывающая ей волосы, — барышня Тонечка. Непонятно было, почему хозяйствует в доме какая-то Клавдия Марковна, маленькая, крикливая, с черными усиками... Раз робко заглянула Наташка в ее спальню, увидала роковое зеркальце в серебряной оправе — и сладостно прихлынули к ее сердцу все ее прежние страхи, радости, нежность, ожидание стыда и счастья, запах росистых лопухов на вечерней заре... Но все чувства, все помыслы затаивала, подавляла она в себе. Старая, старая суходольская кровь текла в ней! Слишком пресный хлеб ела она с того суглинка, что окружал Суходол. Слишком пресную воду пила из тех прудов, что изрыли ее деды в русле иссякнувшей речки. Не пугали ее изнуряющие будни — пугало необычное. Не страшила даже смерть; но в трепет приводили сны, ночная темнота, буря, гром и — огонь. Как ребенка под сердцем, носила она смутное ожидание каких-то неминуемых бед...

Это ожидание старило ее. Да и неустанно внушала она себе, что молодость миновала, во всем искала доказательства тому. И не сровнялось года с приезда ее в Суходол, как уже следа не осталось от того молодого чувства, с которым перешагнула она порог суходольского дома.

Родила Клавдия Марковна. Федосью-птичницу произвели в няньки — и Федосья, женщина еще молодая, надела темное старушечье платье, стала смиренной, богобоязненной. Еще едва тарачил молочные бессмысленные глазки, пускал пузырями слюну, беспомощно падал вперед, одолеваемый тяжестью собственной головы, и свирепо орал новый Хрущев. А его уже называли барчуком, — уже слышались из детской старье, старье причитания:

— Вон он, вон он, старик-то с мешком... Старик, старик! Не ходи к нам, мы не дадим тебе барчука, он не будет кричать...

И Наташка подражала Федосье, считая себя тоже нянькой — нянькой и подругой больной барышни. Зимой умерла Ольга Кирилловна — и она выпросилась ехать со старухами, доживавшими свой век в людских, на похороны, ела там кутью, которая внушала ей отвращение своим пресным и приторным вкусом, а воротясь в Суходол, с умилением рассказывала, что лежала барыня «почесть совсем как живая», хотя даже старухи не решались глядеть на гроб с этим чудовищным телом.

А весной привозили к барышне колдуна из села Чермашного, знаменитого Клима Ерохина, благообразного, богатого однодворца, с сивой большой бородой, с сивыми кудрями, расчесанными на прямой ряд, очень дельного хозяина и очень разумного, простого в речах обычно, но преобразавшегося в волхва возле болящих. На редкость крепка и опрятна была его одежда — поддевка из сермяги железного цвета, красная подпояска, сапоги. Хитры и зорки были его маленькие глаза, исто-во искал он ими образа, осторожно, немного согнув свой ладный стан, входил он в дом, деловито начинал разговор. Говорил он сперва о хлебах, о дождях и засухе, потом долго, аккуратно пил чай, потом опять крестился — и уже после всего этого, сразу меняя тон, спрашивал о болящем.

— Зорька... темнеет... пора,— говорил он таинственно.

Барышню била лихорадка, она готова была покатиться в судорогах на пол, когда, сидя в сумерках в спальне, ожидала она появления на пороге Клима. С ног до головы была охвачена жутью и Наталья, стоявшая возле нее. Стихал весь дом,— даже барыня набивала девками свою комнату и разговаривала шепотом. Ни единого огня не смел никто зажечь, ни единого голоса возвысить. У веселой Солошки, дежурившей в коридоре,— на случай зова, приказаний Клима,— мутилось в глазах и колотилось в горле сердце. И вот он проходил мимо нее, развязывая на ходу платочек с какими-то колдовскими косточками. Затем из спальни раздавался в гробовой тишине его громкий, необычный голос:

— Встань, раба Божия!

Затем показывалась его сивая голова из-за двери.

— Доску,— кидал он безжизненно.

И на доску, положенную на пол, ставили барышню, с выкатившимися от ужаса глазами, похолодевшую, как покойник. Уже так темно было, что едва различала Наталья лицо Клима. И вдруг он зачинал странным, отдаленным каким-то голосом:

— Взыдет Филат... Окна откроет... Двери растворит... Кликнет и скажет: тоска, тоска!

— Тоска, тоска! — восклицал он с внезапной силой и грозной властью. — Ты иди, тоска, во темные леса, — там твои мяста! На море, на окяне, — бормотал он глухой зловещей скороговоркой, — на море, на окяне, на острове Буяне лежит сунища, на ей серая рунища...

И чувствовала Наталья, что нет и не может быть более ужасных слов, чем эти, сразу переносящие всю ее душу куда-то на край дикого, сказочного, первобытно-грубого мира. И нельзя было не верить в силу их, как не мог не верить в нее и сам Клим, делавший порою прямо чудеса над одержимыми недугом, — тот же Клим, что так просто и скромно говорил, сидя после волхования в прихожей, вытирая потный лоб платочком и опять принимаясь за чай:

— Ну, теперь еще две зорьки осталось... Авось, Бог даст, полегчает маленько... Сеяли гречишку-то в нынешнем годе, сударыня? Хороши, говорят, нонче гречихи! Дюже хороши!

Летом ждали из Крыма хозяев. Но прислал Аркадий Петрович «страховое» письмо с новым требованием денег и вестью, что раньше начала осени нельзя им вернуться — по причине небольшой, но требующей долгого покоя раны Петра Петровича. Послали к пророчице Даниловне в Черкизово спросить, благополучно ли кончится болезнь. Даниловна заплясала, зашелкала пальцами, что, конечно, означало: благополучно. И барышня успокоилась. А барышне и Наталье не до них было. Барышне сперва полегчало. Но с конца Петровок опять началось: опять тоска и такой страх гроз, пожаров и еще чего-то, что она затаивала, что не до братьев ей было. Не до них стало и Наталье. На каждой молитве она поминала Петра Петровича за здоровье, как потом всю жизнь свою, до гробовой доски, поминала его за упокой. Но барышня была ей уже ближе всех. И барышня все больше заражала ее своими страхами, ожиданиями бед — и тем, что держала она в тайне.

Лето же было знойное, пыльное, ветреное, с каждодневными грозами. По народу бродили темные, тревожные слухи — о какой-то новой войне, о каких-то бунтах и пожарах. Одни говорили, что вот-вот отойдут все мужики на волю, другие, что напротив, будут с осени забривать в солдаты всех мужиков поголовно. И, как водится, появились в несметном количестве бродяги, дурачки, монахи. И барышня чуть не в драку лезла с барыней из-за них, оделяла их хлебом, яйцами. Приходил Дроня, длинный, рыжий, не в меру оборванный. Был он просто пьяница, но играл блаженного. Он так задумчиво шел по двору

прямо к дому, что стучался головой в стену и с радостным лицом отскакивал:

— Птушечки мои! — фальцетом вскрикивал он, подпрыгивая, изламывая все тело и правую руку, делая из нее как бы щиток от солнца.— Полетели; полетели по поднебесью мои птушечки!

И Наталья, подражая бабам, смотрела на него так, как и полагается смотреть на Божьих людей: тупо и жалостно. А барышня кидалась к окну и кричала со слезами, жалким голосом:

— Угодниче Божий Дроние, моли Бога за мя, грешную!

И при этом крике у Наташки глаза останавливались от страшных предположений.

Ходил из села Кличина Тимоша Кличинский: маленький, женоподобно-жирный, с большими грудями, с лицом косоного младенца, одуревшего и задыхающегося от полноты, желтоволосый, в белой коленкоровой рубаше и коротеньких коленкорových порточках. Торопливо, мелко и с носка ступал он маленькими налитыми ножками, приближаясь к крыльцу, и узенькие глазки его смотрели так, точно из воды выскочил он или спасся от неминуемой гибели.

— Бяда! — бормотал он, задыхаясь.— Бяда...

Его успокаивали, кормили, ждали от него чего-то. Но он молчал, сопел и жадно чавкал. А начавкавшись, опять вскидывал мешок за спину и тревожно искал свою длинную палку.

— Когда ж еще придешь, Тимоша? — кричала ему барышня.

И он отзывался тоже криком, нелепо высоким альтом, за чем-то коверкая отчество барышни:

— О святой, Лукьяновна!

И жалостно вопила вослед ему барышня:

— Угодниче Божий! Моли Бога за мя, грешную, Марию Египетскую!

Каждый день приходили отовсюду вести о бедах — о грозах и пожарах. И все возрастал в Суходоле древний страх огня. Чуть только начинало меркнуть песчано-желтое море зреющих хлебов под заходящей из-за усадьбы тучей, чуть только взвивался первый вихрь по выгону и тяжело прокатывался отдаленный гром, кидались бабы выносить на порог темные дощечки икон, готовить горшки молока, которым, как известно, скорей всего усмирится огонь. А в усадьбе летели в крапиву ножницы, вынималось страшное заветное полотенце, завешивались окна, зажигались дрожащими руками восковые свечки... Не то притворялась, не то и впрямь заразилась страхом даже барыня. Прежде она говорила, что гроза — «явление природы». Теперь она тоже крестилась и жмурилась, вскрикивала

при молниях, а чтобы увеличить и свой страх, и страх окружающих, все рассказывала о какой-то необыкновенной грозе, разразившейся в 1771-м году в Тироле и сразу убившей сто одиннадцать человек. А слушательницы подхватывали — торопились рассказать свое: то о ветле, дотла сожженной на большой дороге молнией, то о бабе, пришибленной на днях в Черкизове громом, то о какой-то тройке, столь оглушенной в пути, что вся она упала на колени... Наконец, к этим радениям пристрял некто Юшка, «провиненный монах», как он называл себя.

## IX

Родом Юшка был мужик. Но палец о палец не ударил он никогда, а жил, где Бог пошлет, платя за хлеб, за соль рассказами о своем полнейшем безделье и о своей «провинности». — «Я, брат, мужик, да умен и на горбатого похож, — говорил он. — Что ж мне работать!»

И правда, смотрел он как горбун — едко и умно, растительности на лице не имел, плечи, по причине рахитизма грудной клетки, держал приподнятыми, грыз ногти, пальцы его, которыми он поминутно закидывал назад длинные красно-бронзовые волосы, были тонки и сильны. Пахать показалось ему «непристойно и скучно». Вот он и пошел в Киевскую лавру, «подрос там» — и был изгнан «за провинность». Тогда, сообразив, что прикидываться странником по святым местам, человеком, спасающим душу, — старо, а может оказаться и неприбыльно, попробовал прикинуться иначе: не снимая подрясника, стал открыто хвастаться своим бездельем и похотливостью, курить и пить сколько влезет, — он никогда не пьянел, — издеваться над лаврой и поясянть, за что именно изгнан он оттуда, при посредстве непристойнейших жестов и телодвижений.

— Ну, известно, — рассказывал он мужикам, подмигивая, — известно, сейчас меня, раба Божья, за это за самое пошее. Я и закатился домой, на Русь... Не пропаду, мол!

И точно — не пропал: Русь приняла его, бесстыжего грешника, с не меньшим радушием, чем спасающих души: кормила, поила, пускала ночевать, с восторгом слушала его.

— Так и зарекся ты навек работать? — спрашивали мужики, блестя глазами в ожидании едких откровенностей.

— Черт меня теперь заставит работать! — отзывался Юшка. — Набалован, брат! Яровит я пуще козла лаврского. Девки эти самые, — мне бабы и даром не надобны! — боятся меня до смерти, а любят. Да что ж! Я и сам хоть куда: пёрушком не хорош, зато косточкой строён!

Явившись в суходольскую усадьбу, он, как человек бывалый, прямо вошел в дом, в прихожую. Там на лавке сидела Наташка, напевая: «Я мела, млада, сенюшки, нашла себе сахарцу...» Увидев его, она в ужасе вскочила.

— Да кто-й-то? — крикнула она.

— Человек, — ответил Юшка, быстро оглядывая ее с ног до головы. — Доложи барыне.

— Кто это? — крикнула и барыня из зала.

Но Юшка в одну минуту успокоил ее: сказал, что он бывший монах, а вовсе не беглый солдат, как она, верно, подумала, что он возвращается на родину, — и просит обыскать его, а затем разрешить ему переночевать, отдохнуть немного. И так поразил своей прямоотой барыню, что на другой же день мог перебраться в лакейскую и стать совсем своим человеком в доме. Шли грозы, а он без устали забавлял хозяек рассказами, придумал забить слуховые окна, чтобы обезопасить крышу от молний, выбегал под самые страшные удары на крыльцо, чтобы показать, как они не страшны, помогал девкам ставить самовары. Девки косились на него, чувствуя на себе его быстрые, похотливые взгляды, но смеялись его шуткам, а Наташка, которую он уже не раз останавливал в темном коридоре быстрым шепотом: «Влюбился я в тебя, девка!» — глаз не смела на него поднять. Он был и гадок ей запахом махорки, пропитавшим весь его подрясник, и страшен, страшен.

Она уже твердо знала, что будет. Она спала одна, в коридоре, возле двери в спальню барышни, а Юшка уже отрубил ей: «Приду. Хоть зарежь, приду. А закричишь — дотла вас сожгу». Но что пуще всего лишало ее сил, так это сознание, что совершается нечто *неминуемое*, что близко осуществление страшного сна ее, — в Сошках, про козла, — что, видно, на роду написано ей погибать вместе с барышней. Уже все понимали теперь: по ночам вселяется в дом сам дьявол. Все понимали, что именно, помимо гроз и пожаров, с ума сводило барышню, что заставляло ее сладко и дико стонать во сне, а затем вскакивать с такими ужасными воплями, перед которыми ничто самые оглушительные удары грома. Она вопила: «Змий эдемский, иерусалимский душит мя!» А кто же этот змий, как не черт, не тот серый козел, что входит по ночам к женщинам и девушкам? И есть ли что-либо в мире более страшное, чем приходы его в темноте, в ненастные ночи с немолчными перекатами грома и отблесками молний по черным иконам? Та страсть, та похоть, с которой шептал Наташке проходимец, была тоже нечеловеческая: как же можно было противиться ей? Думая о своем роковом, неминуемом часе, сидя ночью на полу

в коридоре, на своей попонке, и с бьющимся сердцем вглядываясь в темноту, прислушиваясь к каждому малейшему треску и шороху в спящем доме, уже чувствовала она первые приступы той тяжкой болезни, что долго мучила ее впоследствии: внезапно возникал зуд в ее ступне, проходила по ней острая, колючая судорога, гнула, крючила все пальцы к подошве — и бежала, изуверски, сладострастно крутя жилы, по ногам, по всему телу, вплоть до глотки, до того момента, когда хотелось вскрикнуть еще неистовее, еще сладожнее и мучительнее, чем вскрикивала барышня...

И неминуемое свершилось. Юшка пришел — как раз в страшную ночь конца лета, в ночь под Илью Наделящего, древнего огнеметателя. Не было грома в ту ночь, и не было сна у Наташки. Она задремала — и вдруг, как от толчка, очнулась. Было самое глухое время — она поняла это своим безумно колотившимся сердцем. Она вскочила, глянула в один конец коридора, в другой: со всех сторон вспыхивало, воспламенялось, трепетало и слепило золотыми и бледно-голубыми сполохами молчаливое, полное огня и таинств небо. В прихожей поминутно делалось светло, как днем. Она побежала — и остановилась как вкопанная: осиновые бревна, давно лежавшие на дворе за окном, ослепительно белели при вспышках. Она сунулась в зал: там было одно окно поднято, слышался ровный шум сада, было темнее, но тем ярче сверкал огонь за всеми стеклами, мраком заливалось все, но тотчас же опять вздрагивало, загоралось то там, то тут, — и мелькал, рос, трепетал и сквозил на огромном, то золотом, то бело-фиолетовом небосклоне весь сад своими кружевными вершинами, призраками бледно-зеленых берез и тополей.

— На море, на окияне, на острове Буяне... — зашептала она, кидаясь назад и чувствуя, что совсем губит себя колдовскими заклинаниями. — Там лежит сучнища, серая рунища...

И лишь только сказала эти первобытно-грозные слова, как увидела, обернувшись, Юшку, с поднятыми плечами стоявшего в двух шагах от нее. Озарилось лицо его молнией — бледное, с черными кругами глаз. Неслышно подбежал он к ней, быстро обхватил ее длинными руками за талию, — и, сдавив, одним махом кинул сперва на колени, потом навзничь, на холодный пол прихожей...

Пришел к ней Юшка и на следующую ночь: Ходил и еще много ночей — и она, теряя сознание от ужаса и отвращения, покорно отдавалась ему: и думать не смела она ни противиться, ни просить защиты у господ, у дворни, как не смела противиться барышня дьяволу, по ночам наслаждавшемуся ею, как,

говорят, не смела противиться даже сама бабушка, властная красавица, своему дворовому Ткачу, отчаянному негодяю и вору, сосланному, в конце концов, в Сибирь, на поселение... Наконец наскучила Наташка Юшке, наскучил и Суходол — и он так же внезапно исчез, как внезапно и явился.

Через месяц после того она почувствовала себя матерью. А в сентябре, на другой день по возвращении молодых господ с войны, загорелся и долго, страшно пылал суходольский дом: исполнилось и второе ее сновидение. Загорелся он в сумерки, в проливной дождь от молнии, от золотого клубка, который, как говорила Солошка, выскочил из печки в дедушкиной спальне и помчался, подпрыгивая, по всем комнатам. А Наталья, которая, увидав дым и огонь, со всех ног бежала от бани, — от бани, где она проводила целые дни и ночи в слезах, — рассказывала потом, что наткнулась она в саду на кого-то, одетого в красный жупан и высокую казацкую шапку с позументом: он тоже бежал со всех ног по мокрым кустам и лопухам... Было ли все это или только померещилось, Наталья не могла ручаться. Достоверно только то, что ужас, поразивший ее, освободил ее от будущего ребенка.

И с этой осени она поблекла. Жизнь ее вошла в ту будничную колею, из которой она уже не выходила до самого конца своего. Тетю Тоню свозили к мощам угодника в Воронеж. Дьявол после того уже не смел приближаться к ней; и она успокоилась, стала жить, как все, — расстройство ума и души ее сказывалось только в блеске диких глаз, в крайней неряшливости, в бешеной раздражительности и тоске при дурной погоде. Была с нею у мощей и Наталья — и тоже обрела в этой поездке спокойствие, разрешение всего, из чего, казалось, уж нет выхода. В какой трепет приводила ее одна мысль о встрече с Петром Петровичем! Как ни приготавлилась она к ней, представить ее себе спокойно она была не в силах. А Юшка, а ее позор, гибель! Но самая исключительность этой гибели, необычная глубина ее страданий, то роковое, что было в ее несчастии, — ведь недаром же почти совпал с ним ужас пожара! — и паломничество к угоднику дали ей право просто и спокойно глядеть в глаза не только всем окружающим, но даже и Петру Петровичу: и сам Бог отметил их с барышней губительным перстом своим — им ли было бояться людей! Черничкой, смиренной и простой слугой всех, легкой и чистой, точно после предсмертного причастия, вошла она в суходольский дом, возвратясь из Воронежа, смело подошла к руке Петра Петровича. И только на мгновение дрогнуло ее сердце молодо, нежно, по-девичьи, когда коснулась она губами его маленькой смуглой руки с бирюзовым перстнем...

Буднично стало в Суходоле. Пришли определенные слухи о воле — и вызвали даже тревогу и на дворе и в деревне: что-то будет впереди, не хуже ли? Легко сказать — начинать жить по-новому! По-новому жить предстояло и господам, а они и по-старому-то не умели. Смерть дедушки, потом война, комета, наводившая ужас на всю страну, потом пожар, потом слухи о воле — все это быстро изменило лица и души господ, лишило их молодости, беззаботности, прежней вспыльчивости и отходчивости, а дало злобу, скуку, тяжелую придирчивость друг к другу: начались «нелады», как говорил отец, дошло до татарок за столом... Нужда стала напоминать о настоятельной необходимости поправить как-нибудь дела, вконец испорченные Крымом, пожаром, долгами. А в хозяйстве братья только мешали друг другу. Один был нелепо жаден, строг и подозрителен, другой — нелепо щедр, добр и доверчив. Столковавшись кое-как, решились они на предприятие, долженствовавшее принести большой доход: заложили имение и скупили около трехсот захудавших лошадей, — собрали их чуть не со всего уезда при помощи какого-то Ильи Самсонова, цыгана. Лошадей они хотели выправить за зиму и с барышом распродать весной. Но, истребив огромное количество муки и соломы, лошади почти все, одна за другою, к весне почему-то поколели...

И все рос раздор между братьями. Доходило иногда до того, что они хватались за ножи и ружья. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы новое несчастье не свалилось на Суходол. Зимой, на четвертый год после возвращения своего из Крыма, Петр Петрович уехал однажды в Лунево, где была у него любовница. Он прожил на хуторе двое суток, все время пил там, хмельной и домой поехал. Было очень снежно; в розвальни, покрытые ковром, была запряжена пара лошадей. Петр Петрович приказал отстегнуть пристяжную, молодую, горячую лошадь, по брюхо тонувшую в рыхлом снегу, и привязать ее к розвальням сзади, а сам лег, — будто бы головой к ней, — спать. Наступали туманные, сизые сумерки. И, засыпая, Петр Петрович крикнул Евсею Бодуле, которого он часто брал с собой вместо кучера Васьки Казака, боясь, что Васька убьет его, сильно озлобившего против себя дворню побоями, — крикнул: «Пошел!» — и ударил Евсея в спину ногой. И сильный гневом коренник, уже мокрый, дымясь и екая селезенкой, понес их по тяжелой снежной дороге, в туманную муть глухого поля, навстречу все густеющей, хмурой зимней ночи... А в полночь, когда уже мертвым сном спали все в Суходоле, в окно прихожей, где ночевала Наталья, быстро и тревожно застучал кто-то. Она вскочила с лавки, босиком выбежала на крыльцо.

У крыльца смутно темнели лошади, розвальни и с кнутом в руках стоявший Евсей.

— Беда, девка, беда, — забормотал он глухо, странно, как во сне, — барина лошадь убила... пристяжная... Набежала, осунулась и — копытом... Все лицо раздавила. Он уже холодеть стал... Не я, не я, вот те Христос, не я!

Молча сойдя с крыльца, утопая в снегу босыми ногами, Наталья подошла к розвальням, перекрестилась, упала на колени, обхватила ледяную окровавленную голову, стала целовать ее и на всю усадьбу кричать дико-радостным криком, задыхаясь от рыданий и хохота...

## Х

Когда случалось нам отдыхать от городов в тихой и нищей глуши Суходола, снова и снова рассказывала Наталья повесть своей погибшей жизни. И порою глаза ее темнели, останавливались, голос переходил в строгий, ладный полусшепот. И все вспоминался мне грубый образ святого, висевший в углу лакейской старого нашего дома. Обезглавленный, пришел святой к согражданам, на руках принес свою мертвую голову — во свидетельство своего повествования...

Уже исчезали и те немногие вещественные следы прошлого, что застали мы когда-то в Суходоле. Ни портретов, ни писем, ни даже простых принадлежностей своего обихода не оставили нам наши отцы и деды. А что и было, погибло в огне. Долго стоял в прихожей какой-то сундук, в клоках задеревеневшей и лысой тюленьей кожи, которой был обшит он чуть не сто лет тому назад, — дедовский сундук с выдвижными ящичками из карельской березы, набитый обгорелыми французскими вокабулами да церковными книгами, донельзя закапанными воском. Потом исчез и он. Изломалась, исчезла и тяжелая мебель, что стояла в зале, гостиной... Дом ветшал, оседал все более. Все те долгие годы, что прошли над ним со времени последних событий, здесь рассказанных, были для него годами медленного умирания... И все легендарнее становилось его прошлое.

Росли суходольцы среди жизни глухой, сумрачной, но все же сложной, имевшей подобие прочного быта и благосостояния. Судя по косности этого быта, судя по приверженности к нему суходольцев, можно было думать, что ему и конца не будет. Но податливы, слабы, «жидки на расправу» были они, потомки степных кочевников! И как под сохой, идущей по полю, один за другим бесследно исчезают холмики над подземными ходами и норами хомяков, так же бесследно и быстро

исчезали на наших глазах и гнезда суходольские. И обитатели их гибли, разбегались, те же, что кое-как уцелели, кое-как и коротали остаток дней своих. И мы застали уже не быт, не жизнь, а лишь воспоминания о них, полудикую простоту существования. Все реже навещали мы с годами наш степной край. И все более чужим становился он для нас, все слабее чувствовали мы связь с тем бытом и сословием, из коего вышли. Многие из соплеменников наших, как и мы, знатны и древни родом. Имена наши поминают хроники; предки наши были и стольниками, и воеводами, и «мужами именитыми», ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И называйся они рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы! Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчезло с лица земли целое сословие, что столько нас выродилось, сошло с ума, наложило руки на себя, спилось, опустилось и просто потерялось где-то! Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем все труднее становится нам воображать даже то, что было полвека тому назад!

То место, где стояла луневская усадьба, было уже давно распаханно и засеяно, как распахана, засеяна была земля на местах многих других усадеб. Суходол еще кое-как держался. Но, вырубив последние березы в саду, по частям сбыв почти всю пахотную землю, покинул ее даже сам хозяин ее, сын Петра Петровича, — ушел на службу, поступил кондуктором на железную дорогу. И тяжело доживали свои последние годы старые обитательницы Суходола — Клавдия Марковна, тетя Тоня, Наталья. Сменялась весна летом, лето осенью, осень зимою... Они потеряли счет этим сменам. Они жили воспоминаниями, снами, ссорами, заботами о дневном пропитании. Летом те места, где прежде широко раскидывалась усадьба, тонули в мужицких ржах: далеко стал виден дом, окруженный ими. Кустарник, остаток сада, так одичал, что перепела кричали у самого балкона. Да что лето! «Летом нам рай!» — говорили старухи. Долги, тяжки были дождливые осени, снежные зимы в Суходоле. Холодно, голодно было в пустом разрушающемся доме. Заметали его вьюги, насквозь продувал морозный сарматский ветер. А топить — топили очень редко. По вечерам скудно светила из окон, из горницы старой барыни, — единственной жилой горницы, — жестяная лампочка. Барыня, в очках, в полушубке и валенках, вязала чулок, наклоняясь к ней, Наталья дремала на холодной лежанке. А барышня, похажывая на сибирского шамана, сидела в своей избе и курила труб-

ку. Когда не бывала тетя в ссоре с Клавдией Марковной, ставила Клавдия Марковна лампочку свою не на стол, а на подоконник. И сидела тетя Тоня в странном слабом полусвете, доходившем из дома во внутренность ее ледяной избы, заставленной обломками старой мебели, заваленной черепками битой посуды, загроможденной рухнувшим набор фортепиано. Такая ледяная была эта изба, что куры, на заботы о которых направлены были все силы тети Тони, отмораживали себе лапы, ночуя на этих черепках и обломках...

А теперь уже и совсем пуста суходольская усадьба. Умерли все помянутые в этой летописи, все соседи, все сверстники их. И порою думаешь: да полно, жили ли и на свете-то они?

Только на погостах чувствуешь, что было так; чувствуешь даже жуткую близость к ним. Но и для этого надо сделать усилие, посидеть, подумать над родной могилой, — если только найдешь ее. Стыдно сказать, а нельзя скрыть: могил дедушки, бабушки, Петра Петровича мы не знаем. Знаем только то, что место их — возле алтаря старенькой церкви в селе Черкизове. Зимой туда не проберешься: там по пояс сугробы, из которых торчат редкие кресты и верхушки голых кустов, прутья. В летний день проедешь по жаркой, тихой и пустой деревенской улице, привяжешь лошадь у церковной ограды, за которой темно-зеленой стеной стоят, пекутся в зное елки. За откинутой калиткой, за белой церковью с ржавым куполом — целая роща невысоких ветвистых вязов, ясени, лимов, всюду тень и прохлада. Долго бродишь по кустам, буграм и ямам, покрытым тонкой кладбищенской травой, по каменным плитам, почти ушедшим в землю, пористым от дождей, поросшим черным рассыпчатым мохом... Вот два-три железных памятника. Но чьи они? Так зелено-золотисты стали они, что уже не прочесть надписей на них. Под какими же буграми кости бабушки, дедушки? А Бог ведает! Знаешь только одно: вот где-то здесь, близко. И сидишь, думаешь, силясь представить себе всеми забытых Хрущевых. И то бесконечно далеким, то таким близким начинает казаться их время. Тогда говоришь себе:

— Это не трудно, не трудно вообразить. Только надо помнить, что вот этот покосившийся золоченый крест в синем летнем небе и при них был тот же... что так же желтела, зрела рожь в полях, пустых и знойных, а здесь была тень, прохлада, кусты... и в кустах этих так же бродила, паслась вот такая же, как эта, старая белая кляча с облезлой зеленоватой холкой и розовыми разбитыми копытами.



## КРИК

Однажды, ранней весной, шли мы в Батум из Порт-Саида. В Стамбуле были чумные случаи, дела наш грузовик там не имел; мы решили миновать Золотой Рог, а рассвета дожидаться в Коваках, у входа в Черное море: ночью из Босфора не выпускают. И вот отправили с нами из Дарданелл двух турок, двух карантинных стражей, дабы они удостоверили, придя в Коваки, что остановки на Босфоре не делалось.

Снялись мы из Дарданелл в четыре. В пять матросы обедают. Перед обедом полагается им по манерке спирту. Но был чистый четверг, некоторые сочли за грех пить в такой день. А чтобы спирт не пропадал даром,— поднесли — для потехи — туркам. Спирт свалил их, непривычных к вину, с ног, и они заснули: один, рослый, дюжий, на корме, над самым винтом, другой, маленький, на крышке трюма между кормой и машинной частью. И перед тем, как заснуть, этот маленький долго бормотал и по-турецки, и по-гречески, и даже по-русски:

— Русс — карашо, араб — нет карашо!

Он рассказывал, что у него, человека простого и бедного, жена была такая красавица, что он даже по имени не звал ее никогда, а говорил: «Джаным, сердце мое», что она уже давно умерла, родив ему сына, что и сын его был красив, нежен и почтителен, как девушка, да увезли его в Стамбул, отправили на войну, в Аравию. А уж из Аравии не вернешься, нет! — говорил он. И, вскакивая, громко вскрикивал, как бы стреляя из карабина, падал на спину, изображая убитого наповал, и задираал свои кривые ноги в шерстяных полосатых чулках. Штаны его, очень узкие книзу, были в заплатках, мундир — коротенький, истрепанный, феска грязная, бараньи глаза мутны, усы вислые, подбородок давно не брит, лицо все в морщинах. И матросы хохотали и жалостно говорили:

— Вино-то, вино-то, братцы, что делает!

Вечером я лег спать, приказав разбудить себя, лишь только

откроется маяк. Около двух часов ночи вестовой постучал в дверь моей каюты и негромко сказал:

— Подходим.

Я оделся и вышел. В кают-компаниии тускло и печально горел один рожок. Легкий свежий бриз дул в открытую дверь, за которой синела лунная ночь, и, сухо шелестя, чуть трепетали перистые веточки карликовой японской пальмы, стоявшей в горшке у камина. Среди тишины, царившей всюду, выделялись только этот шелест да медленное постукивание стенных часов. А чуть слышный звон рюмок, которыми увешан потолок в буфете, и та слабая дрожь, которой дрожит весь пароход от машины, работающей в глубине его глухо и мерно, как огромное сердце, не нарушали тишины. Я вышел на левый борт — и загляделся на приближающийся Стамбул, на редкие ночные огни его, матово блестящие за белесым тонким паром, на его призрак, фантастический и величавый, таинственно-бледный на синеве лунной ночи...

Потом поднялся на мостик. Глядя вперед, за фок-мачту, дежурили у телеграфа капитан и вахтенный помощник, в шапках, в теплых куртках. Они не обернулись, когда я стал за ними, возле штурманской рубки, где, в сумраке, держась за рога рулевого колеса и не спуская глаз с компаса, освещенного низко спущенной электрической лампочкой под колпаком, каменел рулевой. Они, тоже замороженные ночью и Стамбулом, роняли слова команды медленно, вполголоса.

— Пять градусов лево, — бесстрастно, не оборачиваясь, говорил капитан.

— Есть пять градусов лево, — протяжным сиплым альтом отзывался рулевой.

Мерно, медленно отдавались из глубины вздохи машины, и медленно шло и развertyвалось перед нами сказочное царство великого города.

— Так держать, — просто и осторожно говорил капитан.

— Та-ак держа-ать! — на четыре тона выше брал рулевой.

Я поднялся на штурманскую рубку... Мертвый штиль. Полная ясная луна стоит справа, почти сзади нас, над туманными силуэтами Принцевых островов. Огромная золотая полоса продольно блещет между ними, под той тенью, что всегда лежит по горизонту за лунным блеском. Блеск зеленоватого стекла возникает и гаснет, переливается по волнам возле самого борта. Но все в отдалении, — и холмистые побережья, и Золотой Рог, медленно раскрывающийся перед нами, и бледные призраки Скутари, Стамбула, Галаты, — все подернуто матово-белесой чадрой, нежной, прозрачной, как драгоценные

брусские газы. И за этой чадрой, как несметные глаза, таинственные и прекрасные, матово и недвижно блещут несметные, далекие и близкие огни: золотые, мелкие — густо насыпанные, среди темных садов, на skutарийском берегу; роями усеявшие сверху донизу гору Галаты; изумрудные и рубиновые, крупные — на мачтах в Золотом Роге, на буюх, сторожевых лодках, длинно отражающиеся в зеркальной воде; редкие и сонные — в Стамбуле, спящем с открытыми блестящими глазами на своих холмах против луны... Я различал деревянные дома его предместий, легкие высокие минареты вокруг чашеобразных куполов белой Ахмедиез, древний, дорогой мне купол Софии, сады Сералья и серую стену дворца Константина. Я опять обонял этот особый, сладкий и сухой аромат берегов Турции... Вдруг откуда-то издали пронесся в тишине чей-то слабый рыдающий зов.

— Юсу-уф! — крикнул кто-то.

Все ближе роились огни. Мы шли, а мимо нас несло назад красные фонарики на сторожевых лодках. Я подумал: это, верно, кто-нибудь на сторожевой лодке крикнул; может быть, это убийство и вопль о пощаде; может быть, контрабандиста-грека поймали.

Вот опять негромкая команда и альт рулевого. Луна меняет место, надвигается справа skutарийский берег — далеко по зеркальной воде легла тень его. Уже прошла гора Галаты, сплошь залитая каменным городом, подернутая прозрачно-белым покровом. Сзади остались два сонных сквозных изумруда, низко, один над другим повисших над водой, — там, где торчит из воды белая башенка Леандра. Нос парохода медленно поворачивает, — закрывается выход в Мраморное море, блещущий, как стеклянно-золотое поле, возле Серальского мыса. Это поле меркнет; раздается короткий хрустальный звон нашего телеграфа; мы все круче забираем вправо. Теперь уже нигде нет блеска. Беломраморные дворцы тянутся по левому побережью, купая в воде широкие ступени своих мраморных пристаней. Тень достигает и до них; зеленовато-бледен в тени мрамор...

— Юсуф! — опять долетает откуда-то издали.

Я прислушиваюсь.

— Юсуф! — страстно, захлебываясь слезами, кличет голос с кормы. — Юсу-уф!

Спустившись с рубки, я быстро пошел туда. Сбежал по трапу со спардека, прошел возле мерно и глубоко вздымающейся машины, обдавшей меня своим теплом и запахом разогретого масла... Опять луна переменяла место. Она далеко за кормой,

над золотым огромным озером, которым стал теперь Босфор среди сомкнувшихся берегов... И, еще раз сбжав, увидел я черную фигурку, на коленях, спиной ко мне, стоящую на крышке трюма. Она садилась порою на пятки, как делают это во время молитвы, порывисто поднималась, что-то искала в рогожке, служившей ей вместо молитвенного коврика, и опять откидывалась и, воздевая руки, страстно, кратко, с несказанной болью и мольбою вскрикивала:

— Юсу-уф!

И я все понял.

Он, этот маленький турок, заснул, набормотавшись, напевшись спяну греческих песен. Он проспал все Мраморное море... И вдруг очнулся возле самого Стамбула, отнявшего у него сына... Он покорно, как истый муслим, принял и затаил в сердце свое горе. Никто не замечал следов скорби в его равнодушных морщинах, в бесстрастно поднятых бровях и висячих усах. Да и слишком тупо ныла эта скорбь в его сердце. Но вот это путешествие в Коваки, эти чужие люди, начавшие угощать его махоркой и огненной водкой... Сведенный ею с ума, чувствуя, что он плывет в город самого падишаха, стал он с болезненным восхищением вспоминать, как увозили туда его сына, представлять себе с непонятным восторгом, как убили его в Аравии... И свалился, наконец, потерял сознание... А потом вдруг очнулся. Что-то тяжело томило его в пьяном, тяжком сне. Когда же открылись его глаза, почувствовал он позднюю ночь по той тишине, которая окружала его, увидал величавый и фантастический в лунном свете призрак Стамбула — и внезапно, всем существом своим, постиг всю глубину того, что сделал Стамбул с его никому не нужной, жалкой жизнью и с прекрасной молодостью Юсуфа. И это о нем, о сыне, рассказывал он хохотавшим русским собакам!

Я подошел к нему. Он повернул ко мне бледное в лунном свете, все мокрое от слез, с мокрыми висячими усами лицо, выпучил на меня свои бараньи, остекленевшие от алкогольного яда, от рыданий и натуги глаза... Зачем под ним эта скомканная рогожка? Он вспомнил еще и то, что проспал вечернюю молитву, и кинулся, падая и опять поднимаясь, расстилать эту рогожку... Но до молитвы ли! Все мешается в его мозгу, он чувствует только одно — ужас и тоску. И вдруг начинает кричать Стамбулу, лунной ночи, что он один и погибает. Нет, этого не может быть! Сын жив, он должен быть жив, он должен вернуться!

Я взял его ледяную руку. Он отшатнулся, вырвал ее. И опять, не сладив с хмелем, тяжело упал задом на пятки. Не-

удержимо катившиеся слезы застилали его изумленные глаза, пьяный насморк затыкал дыхание.

— Юсуф! — крикнул он тупо и кратко, как человек, вынырнувший из воды.

И завопил, затрясшись от рыданий, захлебываясь и простирая руки к Стамбулу:

— Юсуф! Юсу-уф!

Неслась вода мимо борта. Золотое озеро за кормою меркло.

28.VI.1911





## СМЕРТЬ ПРОРОКА

Во имя Бога милостивого, милосердного.

Вот рассказ о смерти пророка,— мир ему! — дабы утвердились сомневающиеся в необходимости покоряться Вожатому.

«Мы не видели и не видим Его»,— говорят они. Но солнце не виновато, что глазам летучей мыши не дано зрения. Сердце человека ищет веры и защиты. Кто же прибегает к защите совы? Лучше мечтать о сени феникса, хотя бы феникс и не существовал в мире. Сень же Творца существует от века.

Черноух следует за львом: лев знает, где добыча, а черноух питается остатками его трапезы. Так шли евреи за пророком из Египта. По милости Божией, он совершил подвиг.

Он испытал сладость сна, пробуждения и ласки в детстве. Царская дочь качала его на своих темных и круглых руках, гладких, как змея, но теплых, как плод на солнце. Она радостно и пристально смотрела на него черными глазами и порывисто целовала, прижимая к холодным грудям; она притворно душила его, как делают это все девушки. Вспоминая подобное, не один восклицает в сердце: «Зачем не юношей был я тогда!» Но всему свое время.

Фараон дал ему перстень власти и одежды царедворца. Когда утренняя свежесть сменяется теплом солнца, когда на базаре поливают укроп, чтобы привлечь обоняние покупателя, когда пахнет из труб и туманов с большой реки, по которой медленно, в пару, идут высокие белые паруса, а редкобородый буйвол, сизый и шершавый, как свинья, тупо глядит на них из прибрежного ила,— пророк, чувствуя силы и бодрость, ехал в колеснице надзирать за полевыми работами и мог по голове стегать бичом ленивых, кричать на них до красноты лица, чтобы сладко, в сознании исполненного долга, отдохнуть потом в легкой тени пальм, на сухой плотине между каналами.

Возмужав, он провел десять лет в супружестве. Он спал с женщиной богатой и дородной, он наслаждался ею ночью, а

днем — своими распоряжениями и заботами, питьем и пищей, легкостью тела, любившего и сухой жар внутри двора, и прохладное веяние ветра по дому, приходившего с реки и от цветущих садов острова. Он гордился почетом людей. И был счастлив, как многие. Но незримая рука натягивала лук его жизни; она пробовала тетиву и древко, готовясь пускать стрелы истины. И еще десять лет провел он в работе ума и сердца, в молчаливом постижении мудрости Египта, ибо стене предшествует основание, а речи — мысль. И сказал о жрецах: «Глупцы! Рабам, страдающим от зноя, простительно вздевать руки к солнцу и призывать его, как Бога. Но солнце — не Бог. Бога никто не может видеть. Он не постижим. Его можно только чувствовать. Он один. У него нет детей». И тогда фараоном овладела ярость, как диким ослом, гуром. «Кто смеет жить и верить без моего соизволения? — воскликнул он. — У него нет драгоценных колец на пальцах, нет ожерелья на шее. Он мой раб. Вот я воздвигну гонение на него и на весь народ его. Я блесну, как молния, я оглушу, как гром». Пророк же напряг силы, как человек, стоящий перед крутым подъемом в гору, и пошел своим путем без страха и уверенно.

Мускус растирают, алоэ кладут на огонь, чтобы дали они запах. Водолаз не сорвал бы ни единой жемчужной раковины, если бы боялся задерживать дыхание, бросаясь в море. И когда настало время поднять самый тяжкий камень для здания, вскинуть его на колено, перехватить покрепче и нести, пророк вскинул его до боли в паху. И сорок лет нес в пустыне, напряженный, изнемогающий и радостный сознанием, что творит волю Бога, а не фараона. И, донеся куда нужно, куда указано Строителем, кинул камень ладно и плотно, и выпрямился, и отер пот с лица — рукой дрожащей, ослабевшей и ноющей до самого плеча.

И настало время умереть ему.

Он познал истинного Бога. Он убедился, что безумно изображать его в виде идолов из камня, глины и металла. Бог возложил на него подвиг освобождения еврейского народа от рабства и соблазна идолопоклонства: и он порвал шелковые сети мира, восстал и одолел в борьбе. Бог послал ему испытание: сорок лет быть вождем строптивых и слабых, предводительствовать и поучать в голодной и знойной пустыне. И сорок лет был он властен, как царь, неутомим, как поденщик, обремененный детьми, нищ, как пастух, крепок и высок, как борец, силен и рыж, как лев. Тело его, лишь по чреслам препоясанное звериной шкурой, стало черным от солнца и ветра, а ступни грубы и мозолисты, как у верблюда. В старости он стал стра-

шен для людей, и никто из них не думал, что он смертен. Но час его приблизился.

Вы, слушающие! В Книге написано: «Все зачаты в лоне истины,— это родители делают из детей евреев, христиан, огнепоклонников». Мудрый как слепой: он ощупывает палкой каждый камень, выбирая путь правый, он поднимает лицо вверх, тянется к единственному источнику света и тепла. Он думает о жизни и о смерти, уменьшая страх свой перед нею. И было немало тех, что приняли чашу неизбежного спокойно; были и те, что говорили: она сладостна так же, как чаша жизни. Только глупец тянется к чаше смерти при жизни. Вид его противен. Но и тот глупец, кто не думает о неизбежном, кто забывает, что у всех смертных должен быть единый Возлюбленный, обладающий благодатью и требующий покорности. Вы, слушающие! Слушайте внимательно, как всегда должен слушать человек человека, и, слушая, думайте. Ибо мы говорим, мешая чужие хорошие слова со своими порядочными, о том, что не чуждо ни единому из нас, и цель наша — утешение.

В Книге написано: «Мы к человеку ближе, чем его сонная жила». Бог милосерд. Он знает, что хорошо и что дурно для нас. Он сотворил нас смертными, мы же думаем противиться смерти. Напрасный труд! Слышали ли вы, чего стоило Искандеру Двурогому достигнуть Страны Мрака? Все же ему не удалось испить воды вечной жизни, о которой ему говорили: она в Стране Мрака. Ангел ветров не заботится о том, что от крыл его погаснет светильник бедной вдовы. Гонец смерти не внемлет ни мольбе пастуха, ни воплю владыки. Погоди: земля выест мозги из наших черепов, полных замыслов. Смерть не могил, и ты не Атабек-Абубекр: от нее не откупишься золотом.

Пророк воспротивился воле Бога в пустыне; и за послушание был наказан тяжко: Бог запретил ему войти в землю обетованную. Пророк возмущился духом, когда вспомнил, что он смертен и что смерть уже близка к нему, ибо он был стар. Он сказал: «Я вступлю в единоборство с нею». В полдень, проходя по еврейскому стану в горах Моава, он не увидел на белых камнях возле себя своей тени. И затрепетал от страха, и помутилось в голове его, как у человека, сраженного лихорадкой. Тогда пошел он к шатру своему той поступью, какой идет раненый зверь на противника. И препоясался мечом и приказал подать пищи. И ел много и жадно, до пресыщения. И почувствовал боли и тошноту, как бы от яда, как бы от плода с адского древа Заккум, и позеленел в лице, покрылся потом, как рождающая женщина, и лег на землю, крича дико: «Вот я умираю, обнажите мечи и встаньте на защиту мою!» Так кричал он первый день.

На второй день боли усилились, и он стал молить, стная и злобствуя: «Позовите врача ко мне!» Когда же врач обнаружил свое бессилие, и настал третий день, пророк сказал тихо: «О, пожалейте меня! Смерть непобедима!» И ослабел, и впал в сон, и спал весь день, и боли отступили от него. И, очнувшись, увидел, что уже ночь, и он один, и опять ощутил сладость жизни и печаль разлуки. Тогда вошли к нему два темных ангела, чтобы утешить и приготовить его.

Один сел в возглавии, другой — в ногах пророка. «Говори!» — сказали они. Но он молчал и не ответил им, думая. Он глядел в ночь, за приподнятую полу шатра, в страхе чувствуя их присутствие, ибо еще не вошла во все жилы его истина. И было так тихо в шатре и в пустыне, что все трое слышали шорох горячего ветра, пробежавшего в темноте мимо. Звезды же горели сумрачно, как во все жаркие ночи.

«Бог милосерд к Своим созданиям», — сказал ангел, сидящий в головах пророка.

«Но вот человек страдающий: он умирает и умирает», — сказал ангел, сидящий в ногах его.

Они хотели испытать пророка, но он понял это. И ответил, думая:

«Это не смерть, а болезнь, наказание. Не лучше ли так думать? Ибо испытавший смерть не может говорить о ней. Мы не знаем ее».

«Солнце — источник жизни», — сказал ангел, сидящий в возглавии.

«Но оно же и смертельно, как рогатая гадюка», — сказал ангел, сидящий напротив.

Они хотели испытать пророка, но он понял это. И ответил, думая:

«Мы не знаем цели Бога. А Он благ, и цель Его — благая. Не лучше ли так думать? Каждое мгновение свое должен человек посвящать жизни, помня о смерти лишь затем, дабы взвешивать дела свои на весах ее и без страха встретить час неизбежный. Как бы знал торгующий, что он честен с покупателем, что он дает ему должное, если бы не было весов? Как бы провел свой день человек, если бы сердца его не покидало возмущение, что зайдет в свой час солнце, если бы овладело им желание не допустить этого? Был бы он безумен и бесплоден».

«Сон мертвых сладок», — сказал ангел, сидящий в возглавии.

«Но вот умер в стане еврейском человек счастливый, молодой, любимый», — сказал ангел, сидящий напротив. — Ты послушай: вот шорох горячего ветра, пробегающего в темноте

мимо, звезды горят сумрачно, и гиены плачут и скулят от злого счастья, торопливо разрывая могилу, принохиваясь к зловопию и предвкушая пожирание внутренностей. Скорбь же близких умершего страшной самой могилы».

Они хотели испытать пророка и ранили сердце его. Но, думая, он сказал им:

«Я вспоминаю каждое мгновение моей жизни: сладкого детства, радостной молодости, трудового мужества — и оплакиваю их. Вы говорите о могиле, — и руки мои холодеют от страха. Прошу вас: не утешайте меня, ибо утешение лишает мужества. Прошу вас: не напоминайте мне о теле, ибо оно сгниет. Не лучше ли иначе думать? И стоянку, долину, защищенную от ветров, где провел человек хотя бы один день, покидает он с сожалением; но он должен идти, если идти необходимо. Говоря со страхом о могиле, не говорим ли мы словами древних, знавших тело и не знавших Бога и бессмертия душ? Страшно величие дел Божиих. Не принимаем ли мы этот страх за страх смерти? Чаше говорите себе: час ее не так страшен, как мы думаем. Иначе не мог бы существовать ни мир, ни человек».

«Он мудр», — сказал ангел, сидящий в возглавии.

«Он был строптив и дерзок, — сказал ангел, сидящий напротив. — Он мечтал бороться с Богом и вот снова будет наказан: ни единый смертный не укажет могилы его в горах Моава. И тем уменьшится слава его».

Они хотели испытать пророка, но он понял их и ответил им твердо:

«Благостна слава достойных славы; но должно быть уменьшено то, что заслужило уменьшения. Ибо и самого славного радует только истинная мера славы».

Тогда ангелы, пораженные его мудростью, воскликнули, вставая с мест:

«Воистину сам Бог утешит тебя! Мы же поклоняемся тебе».

Они были темны и стояли в темном шатре. Но глаза их сияли, и пророк видел звездное сияние их глаз. Они отошли в ночь, как тени, чуть склонясь при выходе из шатра. Пророк же остался один среди ночи и пустыни, лежа на земле. И когда взошло солнце из-за каменистых гор и стало светло и жарко в шатре, пророк, чувствуя великую жажду отдыха в прохладе, оставил свое ложе и пошел в долину среди гор, ища тени. Но и в долине уже не было ее. В недрах же одной горы была пещера. И вот два невольника острыми кирками осекают вход в пещеру. Камни у входа были белы, как снег горный, и горячи от солнца. И черные волосы медноликих невольников и повязки вокруг чресл их были мокры от пота. Но два свежих плода, два

яблока лежало на камне возле пещеры, а в пещере были мрак и прохлада. И сказали работавшие, опуская кирки:

«Приветствуем тебя, господин и вождь, во имя Бога милостивого, милосердного. Вот мы кончили свой труд».

И пророк спросил их:

«Кто вы и что вы делали?»

Они же ответили ему:

«Мы готовили для царя кладохранилище. Войди, взгляни и отдохни от пути и зноя. Уста свои освежи плодами и скажи нам: какой слаще из них?»

И, войдя в пещеру, пророк сел на каменное ложе у стены ее и почувствовал тень и прохладу. И, откусив первого плода, сказал:

«Воистину это сама жизнь: я пью ключевую воду, я обоняю благоухание полевых цветов и чувствую вкус осинога меда. Я бодр и силен».

И, откусив второго, воскликнул:

«Воистину это ни с чем не сравнимо: я пью вина райские, запечатанные печатью из мускуса, смешанные с водой источника, утоляющего жажду тех, что приближаются к Вечному. Я обоняю аромат Сада небесного и чувствую вкус меда из цветов его: в этом меде нет горечи. И вот, сон блаженный туманит мне голову. Не будите меня, невольники, доколе не исполнится мой срок».

И невольники,— это были невольники Божии,— стали тихо продолжать затихающую речь его:

«Доколе,— сказал первый, читая суру о Великой Вести,— доколе солнце не будет согнуто, не падут с неба звезды, не сдвинутся с места горы, не будут покинуты верблюдицы, не соберутся в стаи дикие звери, не закипят моря...»

«Я Син,— сказал второй, читая Суру Отходную.— Слава Царствующему надо всем миром! Вы все возвратитесь к Нему...»

И, слушая невольников, их тихое, мерное чтение, пророк возлег на ложе и опочил сном смерти, не ведая того. И они закрыли вход в могильную пещеру и отошли к Господину, посылавшему их. И приложился пророк к народу своему, насыщенный днями и не заметив конца своих дней. Никто, даже доньне, не созерцал его могилы в горах Моава. Но мудрость его запечатлена в памяти всех народов и записана на небесах в книге вечной — Гилльюн.

Шейх Саади,— да будет благословенно его имя! — шейх Саади,— много его жемчужин нанизали мы рядом со своими на нитку хорошего слога! — рассказал нам о человеке, испы-

тавшем сладость приближения к Возлюбленному. Человек этот был погружен в созерцание; когда же очнулся он, спросили его с ласковой умешкой: «Где же цветы из сада мечты твоей?» И человек ответил: «Я хотел набрать для друзей моих целую полу роз; но, когда я приблизился к розовому кусту, так опьянил меня аромат его, что я выпустил ее из рук».

Кто может, тот свяжет рассказ поэта с нашим.

Мир и радость всем живущим!

*Капри. 1911*





## СНЕЖНЫЙ БЫК

В час ночи, зимней, деревенской, до кабинета доносится из дальних комнат жалобный детский плач. Дом, усадьба, село — все давно спит. Не спит только Хрущев. Он сидит читает, порою останавливает усталые глаза на огнях свечей: — Как все прекрасно! Даже этот голубой стеарин!

Огни, их золотисто-блестящие острия с прозрачными яркосиними основаниями, слегка дрожат, — и слепит глянцевиный лист большой французской книги. Хрущев подносит к свече руку, — становятся прозрачными пальцы, розовеют края ладони. Он, как в детстве, засматривается на нежную, ярко-алую жидкость, которой светится и сквозит против огня его собственная жизнь.

Плач раздается громче, — жалобный, умоляющий.

Хрущев встает и идет в детскую. Он проходит темную гостиную, — чуть мерцают в ней подвески люстры, зеркало, — проходит темную диванную, темную залу, видит за окнами лунную ночь, ели палисадника и бледно-белые пласты, тяжело лежащие на их черно-зеленых, длинных и мохнатых лапах. Дверь в детскую открыта, лунный свет стоит там тончайшим дымом. В широкое окно без занавесок просто, мирно глядит снежный озаренный двор. Голубовато белеют детские постели. В одной спит Арсик. Спят на полу деревянные кони, спит на спине, закатив свои круглые стеклянные глаза, беловолосая кукла, спят коробки, которые так заботливо собирает Коля. Он тоже спит, но во сне поднялся в своей постельке, сел и заплакал горько, беспомощно, — маленький, худенький, большеголовый...

— В чем дело, дорогой мой? — шепчет Хрущев, садясь на край постельки, вытирая платком личико ребенка и обнимая его щупленькое тельце, что так трогательно чувствуется сквозь рубашечку своими косточками, грудкой и бьющимся сердечком.

Он берет его на колени, покачивает, осторожно целует.

Ребенок прижимается к нему, дергается от всхлипываний и понемногу затихает... Что это будит его вот уже третью ночь?

Луна заходит за легкую белую зыбь, лунный свет, бледнея, тает, меркнет — и через мгновение опять растет, ширится. Опять загораются подоконники, косые золотые квадраты на полу. Хрущев переводит взгляд с пола, с подоконника на раму, видит светлый двор — и вспоминает: вот оно что, опять забыли сломать это белое чудище, что дети сбили из снега, поставили среди двора, против окна своей комнаты! Днем Коля боязливо радуется на него, — это человекоподобный обрубок с бычьей рогатой головой и короткими растопыренными руками, — ночью, чувствуя сквозь сон его страшное присутствие, вдруг, даже не проснувшись, заливается горькими слезами. Да снегур и впрямь страшен ночью, особенно если глядеть на него издали, сквозь стекла: рога поблескивают, от головы, от растопыренных рук падает на яркий снег черная тень. Но попробуй-ка сломать его! Дети будут реветь с утра до вечера, хотя он все равно уже тает понемногу: скоро весна, мокнут и дымятся в полдень соломенные крыши...

Хрущев осторожно кладет ребенка на подушку, крестит его и на цыпочках выходит. В прихожей он надевает оленью шапку, оленью куртку, застегивается, поднимая черную узкую бороду. Потом отворяет тяжелую дверь в сени, идет по скрипучей тропинке за угол дома. Луна, не высоко стоящая над редким садом, что сквозит на белых сугробах, ясна, но по-мартовски бледна. Раковинки легкой облачной зыби тянутся кое-где по небосклону. Тихо мерцают в глубокой прозрачной синеве между ними редкие, голубые звезды. Молодой снежок чуть запорошил крепкий, старый. От бани в саду, стеклянно блещущей крышей, бежит гончая Заливка. «Здравствуй, — говорит ей Хрущев. — Мы одни с тобой не спим. Жалко спать, коротка жизнь, поздно начинаешь понимать, как хороша она...»

Он подходит к снегuru и медлит минуту. Потом решительно, с удовольствием ударяет в него ногою. Летят рога, рассыпается белыми комьями бычья голова... Еще один удар, — и остается только куча снега. Озаренный луной, Хрущев стоит над нею и, засунув руки в карманы куртки, глядит на блещущую крышу. Он наклоняет к плечу свое бледное лицо с черной бородой, свою оленью шапку, стараясь уловить и запомнить оттенок блеска. Потом поворачивается и медленно идет по тропинке от дома к скотному двору. Двигается у ног его, по снегу, косая тень. Дойдя до сугробов, он пробирается между ними к воротам. Ворота отзынуты. Он заглядывает в щель, откуда резко тянет северным ветром. Он с нежностью думает

о Коле, думает о том, что в жизни все трогательно, все полно смысла, все значительно. И глядит во двор. Холодно, но уютно там. Под навесами сумрак. Сереют передки телег, засыпанные снегом. Над двором — синее, в редких крупных звездах небо. Половина двора в тени, половина озарена. И старые, косматые белые лошади, дремлющие в этом свете, кажутся зелеными.

*29.VI.1911*





## ДРЕВНИЙ ЧЕЛОВЕК

Рано чувствуется осень, ее спокойствие. Начало августа, а похоже на сентябрь, когда жарко лишь в затишье, на припеке.

Учитель Иваницкий, человек молодой. Но необыкновенно серьезный, глубоко задумывающийся по самому малейшему поводу, медленно поднимается на пологую гору, прогоном через усадьбу князей Козельских. Заложив одну руку за широкий пояс, которым подпоясана его длинная чесучовая рубаха, а другой пощипывая кончики редких белесых усов, учитель горбит свой истязной стан и щурит зоркие зеленоватые глаза.

Направо — большой сад за соломенным валом; налево — старая кузня, развалины псарни, пустые сушилки из розовых кирпичей, а между ними — проезд на бесконечное и тоже пустое гумно. В саду, уже поредевшем, тишина, косой солнечный блеск; кое-где золотится паутина; спокойно лежат пятна теней под яблонями; порой с коротким стуком падает в шелковистую, сухую траву спелое яблоко. Дерновая вогнутая крыша кузни вся в наростах мха, бархатно-изумрудных, с коричневым отливом. Раскрытые сушилки тяжелы, грубы, очертаниями своими говорят о чем-то давнишнем. И все это — мох на кузне, псарня, заросшая лопухами, голые стропила над розовыми стенами, — все так чудесно на ясном голубом небе среди белых круглых облаков. На огромном пустыре гумна воробьи ливнем пересыпаются с одной крапивной чащи на другую. За этими чащами поднимается порозовевший осинник... Учитель идет к Соловьевым, еще раз хочет повидаться с их дедом Таганком. Древен он, как говорят в Козельщине: ему сто восемь, он знаменитость.

За усадьбой учитель поворачивает налево, в ту широкую улицу, что пролегает между валом гумна и старыми избами бывших княжеских крепостных. Конец ее как бы упирается в небосклон — чуть зеленоватый, сентябрьский. Сентябрь и в верхушках лозин, кое-где растущих перед избами и сквозящих

мелкой, желтеющей листвой на белых облаках и лазури; сентябрь в золотистом солнечном свете и в прозрачной тени, падающей от изб на улицу, на водовозки, прикрытые пегими попонами и армяками... Учитель идет и косится на избы, на их окошечки и крыльца.

Окошечки крохотные, темные. Крыльца, пороги обросли грязью. Да не лучше и возле них. В крепкой, как чугун, засохшей грязи, в которую вросли тряпки, сгнившие лапти, лежат большие камни, на которых летом обедают и ужинают. Дети кричат, перекликаются, лазят по ним. Много детей в Козельщине, и как сопливы они, в каких болячках их щеки и губы!

— Как тебя зовут? — спрашивает учитель толстого голубоглазого мальчика под лозинкой у двора Фоминых.

Мальчик молчит. Учитель повторяет вопрос. Мальчик пятится к лозинке, поднимает грудь, надувается так, что багровеет, и молчит.

Озабоченно бродят куры, раздирают лапами золу, землю, клюют что-то, кудахтают, приманивая цыплят. У двора Климовых спит под водовозкой старуха. Тень от избы скосилась, передвинулась, солнце падает на водовозку, печет лицо, так густо облепленное мухами, точно на нем черный рой привился, печет худой кострец, голые ноги, блестящие от загара. Мальчик в штанах с помочами и шерстяных красных чулках носится среди цыплят, бегающих и на бегу клюющих по земле и по ногам старухи мух, и все норовит затоптать хоть одного из них; цыплята с писком рассыпаются, и он останавливается, выжидает, когда они соберутся в кучку, а как только соберутся, опять со всех ног летит на них.

Соловьевы разделились. Таганок живет у Глеба. Но учитель идет сперва к двору его другого внука, плотника Григория. Григорий стоит на прогалине между избою и погребом, в проходе на гумна, посреди квадрата из трех ярусов новых, телесного цвета бревен: рубит себе амбаришко. На нем городской картуз, еще не мытая ситцевая рубаха, вздутая розовым измятым пузырем, штаны из чертовой кожи и сапоги: Соловьевы — первые жители в Козельщине. Увидав гостя, он легонько и ловко всекает в бревно блеснувший на солнце топор. Здороваются, садятся на сруб, закуривают.

— К Таганку? — спрашивает Григорий.

— К нему. Давно не видал...

— Что ж, дело хорошее. Пройдите, проведайте. Он это любит.

— А как он? Дряхлеет?

— Нет, скрипит еще помаленьку. А, конечно, не наше с вами дело: ведь сто восемь. Да и житье, конечно, не сладкое.

— А что?

— Да что, надо правду говорить: голодом они его морят, вот главная вещь.

— Все сноха?

— Известно, она. Да я так думаю, всему причина брат Иглеб. Его допущение. Он должен защищать, кому же больше? Сам-то Таганок, вы знаете, какой: за всю жизнь цыпленка не обидел.

— Seriously, морят?

— Еще как серьезно-то! У них вон шесть пудов одной ветчины висит,— поверите, ребрышка никогда не дадут. Сами, как праздник, за чай, а он чашечки попросить боится. Ничтожности жалеют...

— Нда-а,— задумчиво говорит учитель.

Спят кузнечики в бурьяне на припеке. Все сохнет, роняет черные зерна: крапива, белена, репы, подснежник. Баба, в красной юбке, в белой рубахе, стоит в чаше конопляников выше ее ростом, берет замашки. За конопляниками сереют риги, желтеют новые скирды.

— Нда-а,— говорит учитель, едко затягиваясь.— Скирды-то ваши?

— Нынешний год дал Господь,— скромно, боясь сглазить, отвечает Григорий.

— А шашки чаю жалеют,— ухмыляется учитель.— Что он, и теперь еще хорошо помнит все?

— На удивление прямо! Все помнит: что когда сделать по дому, что, например, прибрать, купить, где что дешевле,— все первый скажет. Насчет корму, например, разумней его человека нету...

Проходят к Таганку задами. За двором Григория несколько колодок пчел. Учитель гнется, боится их, а Григорий смеется, уверяет, что пчелы чистого человека не трогают. Тут чуть тянет холодком с севера, под солнцем пыльно и сытно пахнут конопляники. Против конопляников приделано к каменной стене варка нечто вроде шалаша, сбитого из кольев и обшитого замашками. Это и есть летнее жилище знаменитого человека.

— Де-ед? — окликает учитель, отворяя дверку.

Никто не отзывается — в шалаше пусто. Верно, Таганок в избе. И Григорий уходит искать его. А гость спешит осмотреть шалаш. Все то же. И все так же трогательно. Чтобы не надо-есть снохе своим присутствием, сократиться насколько возможно, перебирается сюда Таганок чуть не с Великого поста.

Гнилые розвальни без оглоблей, покрытые соломой, служат ему постелью. На соломе нет даже попонки. В изголовье, вместо подушки, — свернутый рваный чекмень, и по цвету видно, что чекменю этому полвека. У изголовья — столик из дощечки и кольев; на дощечке — подобие шкатулки, а в ней все добро, все хозяйство Таганка: моток ниток, варежки, тавлинка из бересты с нюхательным табаком... Боже мой, Боже мой! Драгоценнейшим даром, даром сказочного долголетия одарила судьба своего избранника! А к чему он тут, этот дар?

У шалаша лежит большой обрубок, корень дуба. На нем дед отдыхает, греется, — обрубок отшлифован полушубком. Учитель садится и ждет. Когда же за углом слышатся шаркающие шаги, поднимается, чтобы уступить Таганку привычное место. Таганок показывается из-за угла, — невысокий, с опущенными плечами, — и подвигается неловко, вразвалку, опадая с одной ноги на другую. Ноги толсто опутаны онучами, в больших лаптях. Полушубок, почти голый с исподу, — вытерлась овчина, — стал широк, полы его висят. Большая шапка надета глубоко, немного криво. Увидав гостя, Таганок стаскивает ее обеими руками, как ребенок, кланяется низко. Длинные волосы, уцелевшие вокруг его темного черепа, белы и легки, как ковыль. Легка, бела и косая борода его. Выцветшие, налитые слезами глаза ничего не выражают, кроме не то покорности, не то грусти.

— Здорово, дедушка, — говорит учитель, садясь на землю. — Как поживаешь? Надевай шапку-то...

Таганок колеблется. Он, одолев больше века, невольно и сам считает себя особенным человеком. Но заслужил ли он наконец право быть при господах в шапке, этого он еще не знает. Поколебавшись, обеими руками надевает ее.

— Садись на обрубок-то, тебе покойнее будет...

Таганок, помедлив, садится; поправляет полы, складывает на коленях черные руки и что-то думает.

— Энтих уж нету, — говорит он медленно и так, точно разговаривает не с учителем, а с кем-то другим. — Энтих уж нету, что покоили-то...

— В старину лучше было? — спрашивает учитель.

— Гм! — слабо улыбается Таганок. — В два раза лучше было...

Все старики играют, притворяются чересчур старыми. Таганок не играет. Он нечеловечески прост. Учитель, как всегда, не спускает с него глаз; его волнуют странные мысли: подумать только — при Таганке прошел один из самых замечательных веков! Сколько было за этот век переворотов, открытий, войн,

революций, сколько жило, славилось и умерло великих людей! А он даже малейшего понятия не имел никогда обо всем этом. Целых сто лет видел он только вот эти конопляники да думал о корме для скотины! И сидит он так смиренно, так неподвижно. Опустил плечи, сложил на худых коленях черные, спеченные столетием руки, перекрестил искривленные работой и простудой пальцы, а мухи ползают по ним, сучат ножками. Белый мотылек спокойно, как на дереве, замер на его детски худой и черной шее, окаймленной воротом серой рубахи. Шапка надвинута глубоко; из-под шапки видны концы редких, длинных, зеленовато-белых бровей, устало приподнятых. Нижнее веко левого глаза немного разорвано и оттянуто книзу; этот глаз, полный слезою, совсем безжизнен. В правом — слабая мысль, слабая жизнь, чуждая всему нашему миру. Он, этот столетний человек, еще слышит, видит, разумно толкует с внуками о хозяйстве, помнит все, что нужно нынче или завтра сделать по дому, знает, где что лежит, что требует поправки, присмотра... И все же весь он в забвении, в мире своих далеких воспоминаний. Что же это за воспоминания? Часто охватывает страх и боль, что вот-вот разобьет смерть этот драгоценный сосуд огромного прошлого. Хочется поглубже заглянуть в этот сосуд, узнать все его тайны, сокровища. Но он пуст, пуст! Мысли, воспоминания Таганка так поразительно просты, так несложны, что порою теряешься: человек ли перед тобою? Он разумный, милый, добрый. Следовало бы с благодарностью поцеловать его руку за то, что явил он нам, воплотив в себе редкое благословение неба. Но — человек ли он?

Говорит Таганок очень медленно, но не путаясь; выражает мысли с трудом, но точно. Он знает, что, волею судьбы, возложена на него обязанность толковать с гостями прежде всего о старине. И сам спешит дать повод к вопросам.

— Тепло,— говорит он, поводя плечом, что пригрето опускающимся солнцем.— Кровь-то моя уж холодеет... Студился, бывало, часто... А все отчего? В старину ведь в извозы ходили...

Учитель начинает расспрашивать его. И опять, опять слышит только давным-давно знакомое. Был дед два раза у хохлов, за Воронежем; был два раза в Москве, раз пять в Калуге; и много, много раз в Белеве...

— Что же? — спрашивает учитель, домогаясь обобщений.— Нравились тебе хохлы?

— Хохлы-то? — отвечает Таганок.— Ничего...

И, уже покончив с общим, переходит к частному:

— Мы туда под Сретенье поехали... У меня тогда четыре лошади было... Прокорми-ка их!.. Ну, поехали туда порожня-

ком... Оттуда пшеницу наклали... Доправили все честь честью, стали барыши считать... Ан только себя самих да лошадей оправдали...

— А француза помнишь?

Таганок думает.

— Француза-то? — спокойно говорит он. — Это какой в Москву приехал? Нет, не помню...

— А Москва при тебе велика, хороша была?

— Большая... Приедем, бывало, в нее... Поставят нас на Болоте в ряд... Мы и стоим... Как хлаг спустят, может, значит, купец, какой купил что, подойти, взять свой товар... Ну, подойдет, глянет и отправит его: либо на Воробьиные горы, либо еще куда...

Учитель нервно курит, хмурится: нет, ничего путного не выходит из его расспросов!

Он щиплет концы усов, собирается с мыслями, стараясь представить себе невозможное, — картину одной из самых долгих человеческих жизней, картину целого столетия; он силится войти в душу и тело этого необыкновенного человека — и никак не может примириться с тем, что говорит необыкновенный человек очень обыкновенно, даже чересчур обыкновенно, рассказывает же только пустяки. «Систематически надо, систематически, — думает учитель, — с самого начала надо начать...» Но краткие, трогательные и пустяковые ответы Таганка сбивают с толку, вызывают беспокойство, лишают охоты спрашивать. «Рано ты начал помнить себя?» — «А Бог его знает, не знаю... Ведь мы, — слабо улыбается дед, — народ темный, в лесу живем, ням молимся... Допрежь тут везде леса были...» — «Какие леса?» — «А всякие. Дуб, например, сосна... Разбойники водились...» — «Разбойники? Ты историю какую-нибудь о них помнишь?» — «Нет, истории, слава Богу, никакой не было...» — «Ну, а село какое было? Меньше теперешнего?» — «Все такая же... Церковь только на старом кладбище стояла, а не возле училища... Я четырех попов пережил...» Но каковы были эти попы, похожи ли на теперешних, этого Таганок не умеет рассказать. Но, может быть, он хорошо помнит господ, князей Козельских, и о них расскажет что-нибудь путное? — Помнить-то помнит... Но узнаёт учитель только то, что было три генерала: Семен Милыч, Мил Семеныч и Григорий Милыч; что господа они были хорошие, что особенно «лихим» нравом отличался Мил Семеныч...

— Тебя пороли? — спрашивает учитель.

— Нет, Бог не привел, — отвечает Таганок. — Одна́ только. Да еще раз в шею дал мне Мил Семеныч... На постройке...

Я бревно не тое ухватил... Вот продавать — продавали... Возили... Осерчал барин на нас, на ребят... Ну, и отправил одиннадцать голов... В энтот, в Белев-то... Ну, привезли нас на базар, постановили друг с дружкой... Подшел бурмистр селезневский... Мы было дюже оробели, да не сошлось что-й-то дело... А за меня хорошо — полтора ста пять давали...

Солнце уже скрылось за далеким полем; гуще и свежее пахнут конопляники в вечерней тени, роса пала на огороды. Почти черное, гробовое лицо Таганка стало еще безжизненнее, глаза совсем остекленели. Ему холодно, он кутается в полушубок, оправляет полы, глубже надвигает шапку и засовывает руки в рукава.

— Покойник Семен Милыч был крут! А помер он, заступил его место Мил Семеныч, — стало и совсем никуда... Молили мужики, чтобы ему Бог смерти дал... А я, бывало, скажу: «Напрасно вы его сбываете. Не сбывайте, — хуже будет...» Так оно и вышло... Да...

Таганок отдыхает; потом опять заводит медленную речь:

— Да... А как помер Мил Семеныч, привезли гроб в засмоленном рундуке... Сквозь рундук дрянь, кровь пролила... Не хорошо помер, без болезни, тело не выболело... Как, значит, кому назначено...

Учитель с трудом дослушивает этот тяжкий рассказ и поднимается.

— Ну, прощай, до свидания, дед, — говорит он. — Дай, Бог тебе еще пожить.

Таганок кротко поднимает брови.

— Пожить-то? — отвечает он. — Да ведь и так уж сто с восьмеркой...

И, помолчав, опускает голову.

— Но ведь хочется небось?

— А Бог ее знает...

— Но позволь, ты-то сам как чувствуешь?

— Да что ж чувствовать? Тут чувствовать нечего... Чувствуй, не чувствуй...

— Позволь: ну, а если бы тебе, например, предложили пять лет прожить или год, — что ты выбрал?

Таганок слабо улыбается, глядя в землю:

— А Господь ее знает...

И учитель тупо, долго глядит на него. Потом решительно пожимает его твердую ледяную руку и уходит.

Он уходит за деревню, в поле, и долго шагает в полутьме по мягкой пыльной дороге.

Возвращается уже в сумерки. Не спеша идет по улице. Огней

нет, избы темны и тихи. Все спят. Пахнет жильем — как-то особенно, тепло, по-ночному. Сухо трюкают осторожные сверчки. Вот опять изба Глеба. Она вымазана известкой, слабо белеет. Стекла ее сини от вечера, в них еще слабо отражается небо. Внизу, по земле, реет какой-то еле заметный отсвет, отчего изба и полушубок кого-то сидящего на голыше возле нее странно выделяются. Кто это? Неужели Таганок?

— Дедушка, еще здравствуй,— негромко говорит учитель, очень тронутый видом этого одинокого, чужого всему миру человека, пережившего и всех сверстников своих и всех детей их.

— Кто это? — тихо откликается Таганок.

— Да я, учитель... Что же ты не спишь?

Таганок думает. Отвечает он теперь еще медленнее:

— Да какой наш сон... Древен я... А ночь эта — как медведь идет она на меня...

«Это не ночь, а смерть»,— думает учитель; и, помолчав, спрашивает:

— Ну, а как же? Пожил бы еще?

Тихо. Трюкают сверчки. На порог избы вышла дымчатая кошка, сбежала на землю — и стала невидима. Слабо белеет борода Таганка. Темного, гробового лица его не видно. Жив ли он?

Жив. Долго спустя он отзывается:

— Пожил бы... И пять годов одолел бы еще... Да за пять-то годов...

Он, видно, вспоминает сноху, свой шалаш, свою беспризорность, беспомощность.

И легонько вздыхает:

— За пять-то годов вошь съест. А то пожил бы.

8.VII.1911





## СИЛА

Шел осенний, мгlistый дождь в сумерках.

Прижав уши, стояла на барском дворе, в грязи возле людской, донская кобыла, темная от дождя, худая, будылястая, с тонкой длинной шеей, с обвислым задом, с подвязанным хвостом, запряженная в тележку, плетеный кузов которой был очень мал по тяжелым дрогам и крепко ошинованным колесам.

Мещанин Буравчик, приехавший в этой тележке к старосте, не заставший его дома и сидевший в людской за кубастым самоварчиком красной меди, был человек старенький, ростом с мальчика. Череп его был гол и желт. Над ушами и по затылку курчавились остатки черных жестких волос. Курчавилась и борода его. Мокрые усы, прокопченные табачным дымом, лезли в добрый, беззубый рот. На темном морщинистом личике, под сдвинутыми бровями, живо и весело блестели кофейные глазки. Он и хмурился и вместе улыбался, тянул с блюда горячую воду, сося кусочек сахара, и все шарил по впалой груди, ощупывая карманы ветхого длиннополого сюртука, порыжевшего на лопатках.

Горела над столом висячая лампочка.

Буравчик поглядывал на нее, — она коптила, — и без умолку говорил. А беременная старостиха, сидевшая на нарах у печки и за веревку ногой качавшая люльку, закрытую ситцевым пологом, похожую на маленький шатер, рассеянно слушала, думая свое и заводя глаза от дремоты.

— Вот они распарятся, я их и подберу, — говорил Буравчик и схлебывал с блюда, указывая на стакан, набитый разбухшими кусками кренделей. — Распарятся, тогда и съем. А так нет, не угрызу. Нечем.

И Буравчик, засмеявшись, полез сухим, бурым от окурков пальцем в рот.

— О! Ишь! — сказал он с удовольствием. — Ни аноо не

аалось,— сказал он, желая сказать: «ни одного не осталось», и вода пальцем по голой розовой десне.

— По какой же такой притчине? — равнодушно спросила старостиха, с трудом поднимая веки и думая о том, что этот веселый старичок в обтертых сапожках и линючей розовой косоворотке пережил двух жен, вырастил шестерых сыновей, купил барское имение под городом, а прежних повадок все не кидает — живет побирушкой, торгует на селе в лавчонке, конокрадствует и, говорят, вот-вот опять должен в острог садиться.

Буравчик зорко глянул на старостиху, на ее большое сонное лицо.

— По какой притчине-то? — ответил он, вытирая палец о борт сюртука.— А совсем не по той, что ты думаешь. А совсем не по той. На меня несут, брешут, как на мертвого, ну, а хоть бы и правда была, так не родился еще тот человек, сударыня, какой смел бы коснуться меня. Не-ет, Бог миловал! Меня голой рукой не возьмешь! У меня вон шесть сынов-бугаев, озорней их, чертей, во всем селе нету, а ты глянь, как я их вышколил: взгляду моего бояться! Пересолишь — хлебать не станешь,— прибавил он ни с того ни с сего одну из тех прибауток, связь которых с предыдущей речью очень часто оставалась совершенно непонятна его собеседникам.— Зуб же я своих лишился потому, что дюже болели они у меня, а добрые люди возьми да и научи купоросу в роту подержать. Ты вот послушай, какую антимионию расскажу я тебе про эти самые зубы. Муженек твой, без сомнения, застрял где-й-то, давай его, дружка милого, ждать да беседовать от скуки...

— Обещался к вечеру быть,— сказала старостиха.— Да, вишь, грязь-то какая.

— А мы его подождем,— ответил Буравчик и, поставив блюдце на стол, полез в боковой карман за кисетом с махоркой.— А мы его подождем. Да. История же эта самая такого рода была...

И не спеша, с удовольствием стал рассказывать. Череп его блестел от пота, брови хмурились, глаза блестели, выражая старческое довольство жизнью. «Беспреренно сынки его дельце какое-нибудь нынче в ночь обработают,— думала старостиха.— Для того он и из дому уехал». А Буравчик, свертывая сигарку, рассказывал:

— Сила не в зубах, сударыня моя. Зубаст кобель, да прост. Опять же и не в медведе сила. У нас на Руси силу в пазухе носи... Да ты вот лучше послушай. В некотором царстве, не в нашем государстве, ехали мы раз, сударыня, с возами своими по белвской по большой дороге. А нужно тебе заметить, что мы

тогда с братом Егором коробошниками были, кампанировали с ним по этой части да денежки плутовством наживали, откровенно же сказать — прямо муку мученическую терпели от этих от самых дождей и холодов. Вот и тут тоже подобное случилось: едем мы, едем, а дождь, Господь с ним, как зарядил с утра, да так до вечера и остался. Холит нас да холит, будто за хорошую цену нанялся, и до того добил, искоренил, что повернули мы, не долго думая, в лес какой-то встречный, к караулке. Надуваемся, ползем, ломим целиком, а по лесу, понимаешь, как мга какая от дождя синееет, а от лошадей альни дым валит: накаталось на колеса грязи этой самой с листьями — чертям невпроворот! Подъезжаем, наконец того...

Буравчик хлебнул с блюдца и остановился. Послышалось шлепанье лаптей по мокрой соломе в сенцах. Кто-то подошел к двери и стал шарить, ища скобки.

— Кажись, он? — спросила старостиха, прислушиваясь.

Прислушался и Буравчик. Дверь чмокнула, распахнулась, открыла на мгновение черную темноту, и вошел не староста, а работник Александр, большой мужик лет пятидесяти, лысый, бородатый, с ясными серыми глазами и нежным цветом крупного лица, в полушубке и чистой замашной рубахе. И опять зорко блеснули глаза Буравчика.

— А я насчет твоей лошади зашел,— сказал Александр, чему-то улыбаясь и садясь на лавку.— Прибрать ее, ай нет?

Буравчик подумал.

— Да нет, погоди,— ответил он с притворной беспечностью.— Я еще, может, поеду. Я ведь этих дождей нисколько не боюсь. Мы, брат, люди русские, травленные...

— Дело твое,— сказал Александр и поглядел в сторону.— Я, признаться, и шел-то больше за тем, чтоб на тебя поглядеть: какой такой, мол, Буравчик этот бытует? Давно слышу: Буравчик, Буравчик... А что за Буравчик,— неизвестно. Дай, думаю, гляну.

— Наслышан, значит, обо мне? — спросил Буравчик.— Ну что ж, гляди. Меня уж давно так кличут. У меня их две, фамилии-то: одна, значит, улишная, а другая журнальная. А ты кто же такой? На работника не похож что-й-то.

— И то не похож,— сказал Александр.— Это меня нуждишка заставила батраком-то на старости лет быть. Я панютинский, у нас село богатое. Я и сам хорошо жил, хозяином. Да такая оказия: третий раз горю дотла! Справлюсь-справлюсь, придет лето, хлебушко уберу... ну, думаю, слава Тебе, Господи... Ан нет: опять сумку надевай! Просто хоть удавись,—

прибавил он с застенчивой улыбкой.— Двое ребятишек сторе-  
ло...

— Да что ты? — с притворным участием и даже ужасом воскликнул Буравчик.— Это не мед,— сказал он, качая головой.— Это не мед. Избавь, Бог.

И, помолчав, опять обратился к старостихе:

— Да, так вот я и говорю: заехали мы в лес, подъезжаем к караулке. Становим лошадей во двор, всходим в избу, самовар требуем. А лесник, надо тебе заметить, оказывается, вдовец, старик древний, да такой, что я и отродясь не видывал: просто орутан какой-то! Брат Егор даже испугался маленько. Глянул на меня, да и говорит мне по фарам, чтобы, значит, не понял нас лесник: «Брафарат, афара вефередь эферетофоро звеферерь. Офорон мофорожеферет уфурубифирить нафарас». То есть, по-русски сказать так: «Брат, а ведь это зверь. Он может убить нас...» А на зверя лесник, и правда, похож: рубаха ниже колен, лыком подпоясана, на ногах лаптищи, руки длинные, вроде корней дубовых... Дикий, одно слово, человек и силы, видать, неописанной.

— Этот орутан в зверильнице живет,— вставил Александр.— Видел я его в городе.

— Он самый, он самый,— подтвердил Буравчик.— Да его и по избам большое число попадается... Да... И все, знаешь, гнется, кряхтит, в землю смотрит...

— А виски небось серые, невпрочес, как у кобеля хороше-  
го,— опять вставил Александр.

— И то правильно,— сказал Буравчик.— Ты догадлив живешь, сударушка. Ну, только против дикого, как говорится, и сам дик да хитер будь. Мужик тебя ралою, а ты его жалом... Да. Обращаемся к леснику: «Чайку с нами милости просим». — «Можно, говорит, спасибо». И опять этак сумрачно, а главная вещь — шамкает. Сел за стол, налили мы ему чаю,— в корец, понятно, а не в чашечку какую-нибудь,— а он и давай, вот не хуже моего, скорки хлебные крошить да в чаю их распаривать. Чтó, думаем, за чудеса такие? «Дед, говорим, да ай у тебя зуб-то нету? Фигура у тебя знаменитая, а зуб нету: что, мол, за притча такая?» А он, понявши, без сомнения, такие слова, и совсем голову угнул. Молчал-молчал, да и выложил нам, дуракам, свое назидание.

— Стравил тоже чем-нибудь, зубы-то? — из вежливости спросила старостиха.

Буравчик закурил, закашлялся и ответил веселой скороговоркой:

— Да нет, в том и басня вся, что не стравил. За грех поплатился, за гордость. Ты вот послушай.

И опять перешел на размеренный тон:

— Он, понимаешь, лесник-то этот, так прямо и сказал нам: назидание мое, говорит, в том самом есть, что окоротил меня Господь за грех тяжкий, за глупость мою. И вот каюсь я теперь, ребята, и конному и пешему. Видите, какая дисни-то у меня? О, гляньте,— сказал Буравчик, представляя лесника, и опять запустил в рот палец,— ни одного не осталось. А почему не осталось,— человека я хотел убить, на силу свою глупую понадеялся. Зашел ко мне, ребята, годов семьдесят тому назад солдат один из Польши: шел домой в отпуск несрочный и ночевать, значит, попросился. И было, вот как перед истинным Богом, росту в том солдате не более двух аршин, а силы — и на двух вшей не хватит...

— На взгляд-то, значит,— сказал Александр, чтобы показать, что он понимает, к чему клонил лесник в своем назидании.— На первый взгляд, то есть... Вот вроде как у тебя,— прибавил он насмешливо и дружелюбно.

— Во, во, в аккурат! — подхватил Буравчик, блеснув в его сторону глазами.— Совсем коростовый, глядеться... И зачни, понимаешь, деньгами перед лесником хвастать. «Сел, говорит, за стол, похлебал моей похлебочки, закурил трубочку, снял ранец с себя — и давай деньги из него таскать, пересчитывать. А денег этих самых у него — прямо туча: все сотельныя одне, и все в стопки, в кирпичи складены и оборочками хрест-нахрест перевязаны. «Да это еще что! — говорит.— У меня, говорит, еще гаман за гашником спрятан, полный золотом». И как, значит, глянул я на этакое богатство, потемнело у меня в глазах от жадности, отнялись мои ручки, ноженьки,— аж штаны ходуном заходили. Посчитал деньги солдат, попихал их в ранец свой и бает: «Что ж, пора и на печь, дядюшка!» А я в ответ ему мычу только да зубами стукаю, зубы же мои в ту пору таковы были, что мог я ими очень даже просто доску столовую перешибить. Ну, завалился, без сомнения, солдат мой на печь, потушил я лучину, нашарил топор-колун под лавкою, лег и жду, а сам думаю: тюкну, мол, обухом, разок, и капут ему, суслику!»

— Ан суслик-то умнее нас вышел,— вставил Александр, показывая, что он уже предугадал и развязку притчи.

— «Долго ли, коротко ли,— продолжал Буравчик,— только слышу — успокоился солдат. Ну, думаю, слава тебе, Господи, во сне-то ему легче помирать будет, он и сам небось кого-нибудь сонного пришиб,— больше неоткуда было ему такую

уйму денег накопить. Подкрался с обухом своим к печке,— а в обухе том весу, никак, более пуда было,— стал покрепче на приступку, повернул колун тылом, нащупал голову стриженую, размахнулся — раз!.. Мать честная! Только мокро, мол, останется!.. И что ж вы, ребяташки, думаете?»

Буравчик остановился и вытаращил глаза, держа блюдце на отлете.

— «Что же вы думаете? — говорит лесник.— Очнулся солдат, потянул в себя носом и покойненько этак кличет меня: «Хозяин, а хозяин. Что-й-то у тебя тут делается! Либо у тебя прусаки водятся? Мне сейчас здо-оровый прусак на голову упал...» А хорош прусак, колун-то мой? Я прямо обомлел от этих слов, свалился с приступки, прижукнулся — и ни вздоху, ни пыху! Зачал однакося опять ждать своего...»

— Этот солдат, значит, слово знал такое,— сказала старостиха и, скрестив руки под грудями, перестала мотать ногой.

Александр, насмешливо и ласково улыбаясь, только розовольсой головой покачал. А Буравчик вскочил с места, торопливо поправил коптившую лампочку, опять сел и крикнул, открывая беззубый рот, с детскою гордостью и радостью:

— Ха! Слово! Слово слову рознь, а тут не иначе, как кочетинное слово было! Слушай, что дальше-то будет, чай, примечай, куда чайки летят. Лесник мой не унялся, опять полез на печь. «Нащупал я, говорит, темя солдатова, обернул востряком колун и ухнул со всей силы-возможности. Ухнул и жду, а солдат приподнялся, да как захо-хо-о-чет! «Ну, говорит, хозяин, видно, у тебя не выспишься. У тебя, говорит, черти, без сомнения, водятся: видно, подложили плотники щетины под матицу и развели у тебя этих самых чертей видимо-невидимо. Сейчас один меня ровно прутом каким по лбу жиганул. Аж засвирибело...» Что тут делать? Отполз я от печи, а солдат поднялся и, слышу, обувается. «Хозяин, а хозяин, говорит, скоро свет, мне пора итить, проводи меня из лесу». Ну, думаю, и того лучше: угомоню его в лесу, мне же выгодней,— избу поганить не надо. Вскочил, будто спросонья: «А? Что? Проводить? Ладно, мол, идем...» Надеваю армяк, трясусь с ног до головы, никак в рукав не попаду, а сам за дубинку ловлюсь: стояла у меня в уголке на ту пору ха-а-рошая орясина, пудиков трех весом. А солдат умывается и — хохочет! Берет в рот воду из махоточки, льет из рота на руки, нагинается, моет лицо и хохочет... Чисто черт какой! Вышли, наконец того, пошли... Мне бы, дураку, давно пора понять, что никак не возьмет сила моя супротив ума солдатова, а я пру да пру, на затылок его стриженный гляжу. Он передом, в ранце своем телячьем, сам

меньше ранца, я — за ним, по пятам, вроде медведя какого. Стало, вижу, белеть вверху, дождь редеть да редеть, прояснилось в лесу. Дождалься я спуску в ложок, приподнял свой корешок да и пустил с навесу по затылку солдатову. А солдат...»

Буравчик быстро взглянул на свесившуюся голову старости и уставился радостно-блестящими глазами в Александра:

— «А солдат клюнул этак носом, шапку подхватил, поправил, обернулся, будто удивился очень, да и говорит этак строго да внятно: «А-а, говорит, вот какой домовой-то в избе у тебя завелся! Понима-аю! Видно, надо поучить его маленько...» Поставил тихим манером ружьецо свое берданское к сосне, засучил рукава... «Ну-ка разинь рот»,— говорит. А я уж и дубинку уронил от ужаста и ничего не смыслю. Однако разеваю. «Да нет, говорит, ты пошире, пошире, стыдиться тут нечего!» Разеваю, сколько есть моей силы. Берет тогда солдат меня за зуб пальцами, давит его, как клещами залезными, и вынимает вон из рта, в горсть себе кладет. Вынимает опосля того и другой тем же побытом, вынимает и третий, вынимает четвертый...»

Остановились и у Александра его ясные глаза. А Буравчик, насладившись его ожиданием, уперся руками в колени, лихо расставил локти и отчетливо, раздельно стал доканчивать:

— «Выбрал он мне, без сомнения, зубы до единого, вынул лычко из карманчика: «Держи подол»,— говорит. Я держу, подставляю. Положил солдат в подол цельную горсть моих зуб, завернул, закатал и так-то аккуратненько завязал, закрутил его лычком. «Это, говорит, мужичок-серячок, на память тебе, а это на помин души моей...» И вынимает, подает мне сотельный билет!»

— Это не плохо,— с улыбкой мотнул головой Александр.

Буравчик залился смехом.

— Дай Бог всякому! — воскликнул он. — Да ведь знаешь, сладок мед, а не по две ложки в рот. Деньги-то он приобрел, а зуб лишился. «Я, говорит, деньги-то беру, а сказать ничего не могу: хочу слово сказать, да с непривычки только челюстью ворочаю. А-а, а-а,— только и всего. Хочу сказать: солдатушка...»

Буравчик, смеясь, поднял брови, сделал жалкое лицо:

— «Хочу сказать,— смеясь и почти плача, закричал он тонким голосом,— хочу сказать: солдатушка, а выходит: саатушка...»

Стягивая с блюда воду и куски кренделей, он еще долго крутил головой, морщился, смеялся и повторял последние сло-

ва. Старостиха, сложив руки, крепко спала. Лампочка коптила, прусаки, пользуясь сумраком, бегали по старым бревенчатым стенам. На черных стеклах блестели капли дождя.

— Побаску твою понимаю,— сказал наконец Александр.

— Сила, значит, не в медведе,— пояснил Буравчик.

— Не иначе,— подтвердил Александр.— Был и у нас слухай подобный. Я сам очевидец был. Будет этому, дай, Бог, не солгать, лет небось пятнадцать тому назад. Был у нас в Панютино малый — дурак, звали его Бурлыга. Потому не мог он чисто сказать: тоже двух зубов на передке не хватало,— кобыла вышибла. Все, бывало: бур, бур. За то и Бурлыгой прозвали. Малый, говорю, был дурак, картавый, а вот, не хуже твоего лесника, рослый, здоровый, чистый палач. Потому его внешность позволяла. Так вот, случись у нас в селе ярманка. Собрались его товарищи по пьяному виду, сидят на выгоне. Конечно, тут и водка, и всякая закуска при них. Зашел разговор, как вот у нас с тобой, про силу, а он, конечно, пьяный,— бывает, твердый того не сказал бы, а тут: бур, бур, я, говорит, никого не боюсь, и Бога никакого нету...

— Ну, уж это-то сдуру,— рассеянно сказал Буравчик, вздыхая после смеха, завертывая новую сигарку и думая о чем-то.— Это уж сдуру.

— Понятно, сдуру,— подтвердил Александр.— Подивились все ему. Мол, не снесешь ты, малый, своей головы! А он поднялся, пошел в народ, увидел свою кралю, сделал ей любовный знак. Подходит она к нему. Зачал он при ей еще пуще куражиться. Глаза помутил, полушубок размахнул, усы мокрые косицами в щербину лезут. Видит — сидит какой-то старичок на телеге, лопатами торгует, а в телеге лежит, связан, большой белый баран, тоже, значит, продается. Лобик, поясника краской фуксином помечены. Рога здоровые, хвост толстый. А сам старичок легонький, как пух, в сером халатику, в белом колпачке из простой холстины и в чуньках покойничких. Сидит на грядке, закусывает калачиком. А малый-то мой сдуру куражится, ломается, лезет на него...

— Своей беды не чувствует,— вставил Буравчик в лад Александру, тем же тоном, каким и Александр вставлял замечания в его рассказ.

— Да, беды своей не чувствует,— повторил Александр.— «Сейчас, говорит, пойду, всю его амуницию расшибу и барану хвост отломлю». Любовница его мазаная, конечно, тоже уродничает, притворяется, спрашивает его. А он-то качается, ломается, будто пьян дюже! «Прошу тебе, не трожь ты мне, а то я хуже наделаю. Против силы моей, говорит, богатыря во всей держа-

ве не найдется». Подходит, значит, к старичку. «Бур, бур, дай, говорит, калачика мне». Старичок вынимает из телеги калач свежий, подает, а малый Бурлыга берет, а сам прицеливается барана сгресть, хвост ему зачать ломать. А старичок поглядел этак скромненько, слез с грядки, лопату поднял, да как размахнется, да как ахнет... Норовил-то по малому, а попал мерину по боку — аж по всей ярманке отозвалось! Мерин с ног долой, порядочно лопат переломал, ухнув,дохнул, да и каюк,— красная вода носом пошла. Тут, конечно, народ бежит, а старичок зашел за народ — да потуда его и видели. Как в воду канул. Мерин завалился, лежит, а баран сидит в телеге и на Бурлыгу лупится...

— Ну, а старик-то,— рассеянно перебил Буравчик,— он-то куда ж мог пропасть?

Александр подумал.

— А шат его знает,— сказал он.— Значит, слово такое знал. Значит, тоже прикоснулся он сатане... вот не хуже солдата твоего либо тебя.

— Меня? — с притворным удивлением крикнул Буравчик, и глаза его блеснули довольством.— Ай ты очумел? Я-то тут при чем?

— Будя толковать-то! — сказал Александр ласково и грустно.— Авось слышали про тебя. Ты, брат, тоже мал, да удал. Тоже хорош... Живучее всякой кошки али, скажем, козюли. Ты ее ралом, она тебя жалом... Ну, ты сам посуди: что ты предо мной? Я тебя могу двумя щептями задавить. А куда ж мне, дураку, справиться с тобой? Ты захочешь — кровинки во мне не оставишь, дотла всего высосешь. Я, к примеру, могу две полнивы за день вздрать... Да и вздрал-таки на своем веку, дай, Бог, всякому. А чего добился? Один хрест на шее, только и всего. А ты вот тысячами ворочаешь... Нет, как можно! — сказал он с непонятым восхищением.— Я твоего ногтя не стою!

Буравчик молчал, загадочно и довольно улыбаясь. Что-то думая, он наклонил самовар и стал нацеживать последнюю чашку.

16.VIII.1911





## ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ

Моя жизнь хорошая была, я, чего мне желалось, всего добилась. Я вот и недвижимым имуществом владаю, — старичок-то мой прямо же после свадьбы дом под меня подписал, — и лошадей, и двух коров держу, и торговлю мы имеем. Понятно, не магазин какой-нибудь, а просто лавочку, да по нашей слободе сойдет. Я всегда удачлива была, ну только и характер у меня настойчивый.

Насчет занятия всякого меня еще батенька заучил. Он хоть и вдовый был, запойный, а, не хуже меня, ужасный умный, дельный и бессердечный. Как вышла, значит, воля, он и говорит мне:

— Ну, девка, теперь я сам себе голова, давай деньги наживать. Наживем, переедем в город, купим дом на себе, отдам я тебя замуж за отличного господина, буду царевать. А у своих господ нам нечего сидеть, не стоят они того.

Господа-то наши, и правда, хоть добрые, а бедные-пребедные были, просто сказать — побирушки. Мы и переехали от них в другое село, а дом, скотину и какое было заведение продали. Переехали под самый город, сняли капусту у барыни Мещериной. Она фрелиной при царском дворце была, нехорошая, рябая, в девках поседела вся, никто замуж не взял, ну и жила себе на спокойе. Сняли мы, значит, у ней луга, сели, честь честью, в салаш. Стыдь, осень, а нам и горя мало. Сидим, ждем хороших барышей и не чуем беды. А беда-то и вот она, да еще какая беда-то! Дело наше уж к развязке близилось, вдруг — скандал ужасный. Напились мы чаю утром, — праздник был, — я и стою так-то возле салаша, гляжу, как по лугу народ от церкви идет. А батенька по капусте пошел. День светлый такой, хоть и ветренный, я и загляделась, и не вижу, как подходят вдруг ко мне двое мужчин: один священник, высокий этакий, в серой рясе, с палкой, лицо все темное, землистое, грива, как у лошади хорошей, так по ветру и раздымается, а другой — простой

мужик, его работник. Подходят к самому салашу. Я оробела, поклонилась и говорю:

— Здравствуйте, батюшка. Благодарим вас, что проведать нас вздумали.

А он, вижу, злой, пасмурный, на меня и не смотрит, стоит, калмышки палкой разбивает.

— А где,— говорит,— твой отец?

— Они,— говорю,— по капусте пошли. Я, мол, если угодно, покликать их могу. Да вон они и сами идут.

— Ну, так скажи ему, чтоб забирал он все свое добришко вместе с самоварчиком этим паршивым и увольнялся отсюда. Нынче мой караульщик сюда придет.

— Как,— говорю,— караульщик? Да мы уж и деньги, девяносто рублей, барыне отдали. Что вы, батюшка? (Я хоть и молода, а уж продувная была.) Ай вы,— говорю,— смеетесь? Вы,— говорю,— бумагу нам должны предъявить.

— Не разговаривать,— кричит.— Барыня в город переезжает, я у нее луга эти купил, и земля эта теперь моя собственная.

А сам махает, бьет палкой в землю,— того гляди в морду заедет.

Увидал эту историю батенька, бежит к нам,— он у нас ужасный горячий был,— подбегает и спрашивает:

— Что за шум такой? Что вы, батюшка, на нее кричите, а сами не знаете, чего? Вы не можете палкой махать, а должны откровенно объяснить, по какому такому праву капуста вашей сделалась? Мы, мол, люди бедные, мы до суда дойдем. Вы,— говорит,— духовное лицо, вражду не можете иметь, за это вашему брату к святым дарам нельзя касаться.

Батенька-то, выходит, и слова дерзкого ему не сказал, а он, хоть и пастырь, а злой был, как самый обыкновенный серый мужик, и как, значит, услышал такие слова, так и побелел весь, слова не может сказать, альни ноги под рясой трясутся. Как завизжит, да как кинется на батеньку, чтобы, значит, по голове палкой его огреть! А батенька увернулся, схватился за палку, вырвал ее у него из рук вон, да об коленку себе — раз! Тот было — на грудь, а батенька пересадил ее пополам, отшвырнул куда подале и кричит:

— Не подходите, за-ради Бога, ваше священство! Вы,— кричит,— черный, жуковатый, а я еще жуковатей!

Да и схвати его за руки!

Суд да дело, сослали батеньку за это за самое, за духовное лицо, на поселенье. Осталась я одна на всем белом свете и думаю себе: что ж мне делать теперь? Видно, правдой не про-

живешь, надо, видно, с оглядочкой. Подумала годок, пожила у тетки, вижу,— деться мне некуда, надо замуж поскорей. Был у батеньки приятель хороший в городе, шорник,— он и посватался. Не сказать, чтоб из видных жених, да все-таки выгодный. Нравился мне, правда, один человек, крепко нравился, да тоже бедный, не хуже меня, сам по чужим людям жил, а этот все-таки сам себе хозяин. Приданого за мной копейки не было, а тут, вижу, берут без ничего, как такой случай упустить? Подумала, подумала и пошла, хоть, конечно, знала, что был он пожилой, пьяница, всегда разгоряченный человек, просто сказать — разбойник... Вышла и стала, значит, уж не девка простая, а Настасья Семеновна Жохова, городская мещанка... Понятно, лестно казалось.

С этим мужем я девять лет мучилась. Одно званье, что мещане, а бедность такая, что хоть и мужикам впору! Опять же дразги, скандалы каждый Божий день. Ну, да пожалел меня Господь, прибрал его. Дети от него помирали все, остались только два мальчика, один Ваня, по девятому году, другой младенец на руках. Ужасный веселый, здоровый был мальчик, десяти месяцев стал ходить, разговаривать,— все они у меня, дети-то, на одиннадцатом месяцу начинали ходить и говорить,— сам стал чай пить, уцопится, бывало, обоими ручонками за блюдце, не выдерешь никак... Ну только и этот мальчик помер, году еще не было. Пришла я раз с речки домой, а мужнина сестра,— мы с ней квартиру-то снимали,— и говорит:

— Твой Костя нынче цельный день кричал, закатывался. Я уж перед ним и так и этак, и руками, и в щелчки, и сладкой воды давала — давится, да и только, и вода через нос назад идет. Либо он остудился, либо съел чего, ведь они, дети-то, всё в рот ташут, разве углядишь?

Я так и обомлела. Кинулась к люльке, отмахнула положок, а уж он томиться стал: даже и кричать не может. Сбегала сестра за фельшером знакомым, пришел он,— чем вы, говорит, его кормили?

— Ел, мол, кашу манную, только и всего.

— А ничем не играл?

— Так точно, играл,— говорит сестра.— Тут все колечко медное с хомута валялось, он и играл им.

— Ну,— говорит фельшер,— обязательно он его проглотил. Чтоб у вас руки,— говорит,— отсохли! Натворили вы делов, ведь он помрет у вас!

Понятно, по его и вышло. Двух часов не прошло — кончился. Повинтовали мы, повинтовали, да делать нечего,— видно, против Бога не пойдешь. Так и этого похоронила, остался один

Ваня. Остался один, да ведь, как говорится, и один — господин. Невелик человек, а все не меньше взрослого съест, сопьет. Стала я ходить к воинскому полковнику Никулину полы мыть. Люди они были с капиталом хорошим, квартиру снимали, тридцать рублей помесечно платили. Сами в верхнем этаже, внизу кухня. Стряпуха у них была совсем безответная, а распутная. Ну, и забеременела, понятно. Полы мыть нагинаться нельзя, чугуна из печки не вытащит... Ушла она рожать, а я и захвати ее место: так-то ловко к хозяевам подкатилась. Я ведь, правда, смолоду ловкая и хитрая была, за что, бывало, ни возьмусь, сделаю все чисто, аккуратно, любого официанта засушу, опять же и угодить умела: что ни скажут господа, а я все «да-с» да «так точно» да «истинная ваша правда...». Встану, бывало, чуть лунно, полы подотру, печку истоплю, самовар расчищу, — господа пока проснутся, а уж у меня все готово. Ну, и сама я, понятно, была чистоплотная, ладная, из себя, хоть и сухая, а красивая. Мне ину пору даже жалко, бывало, себя станет: за что, мол, красота моя и звание на этакой черной работе пропадают?

Думаю себе — надо случаем пользоваться. А случай такой, что сам полковник ужасный здоровый был и видеть меня покойно не мог, а полковничиха у него была немка, толстая, больная, старе его годов на десять. Он не хорош, грузный, коротконогий, на кабана похож, а она того хуже. Вижу, стал он за мной ухаживать, в кухне у меня сидеть, курить меня заучать. Как жена со двора, он и вот он. Прогонит денщика в город, будто по делу, и сидит. Надоел мне до смерти, а, понятно, прикидываюсь: и смеюсь, и ногой сажу-мотаю, — всячески, значит, разжигаю его... Ведь что ж поделаешь, бедность, а тут, как говорится, хоть шерсти клок, и то дай сюда. Раз как-то в царский день он всходит в кухню во всем своем мундире, в эполетах, подпоясан этим своим белым поясом, как обручем, в руках перчатки лайковые, шею надул, застегнул, альни синий стал, весь духами пахнет, глаза блестят, усы черные, толстые... Входит и говорит:

— Я сейчас с барыней в собор иду, обмахни мне сапоги, а то пыль дюже — не успел по двору пройтись, запылился весь.

Поставил ногу в лаковом сапоге на скамейку, чисто тумбу какую, я нагнулась, хотела обтереть, а он схватил меня за шею, платок даже сдернул, потом затиснул за грудь и уж за печку тащит. Я туда, сюда, никак не выдерусь от него, а он так жаром и обдает, так кровью и наливается, старается, значит, одолеть меня, поймать за лицо и поцеловать.

— Что вы,— говорю,— делаете! Барыня идет, уйдите заради Христа!

— Если,— говорит,— полюбишь меня, я для тебя ничего не пожалею!

— Как же, мол, знаем мы эти посулы!

— С места не сойти, умереть мне без покаяния!

Ну, понятно, и прочее тому подобное. А, по совести сказать, что я тогда смыслила? Очень просто могла польститься на его слова, да, слава Богу, не вышло его дело. Зажал он меня опять как-то не вовремя, я вырвалась, вся растрепанная, разозлилась до смерти, а она, барыня-то, и вот она: идет сверху, наряженная, вся желтая, толстая, как покойница, стонет, шуршит по лестнице платьем. Я вырвалась, стою без платка, а она и вот она — прямо к нам. Он мимо нее да драло, а я стою, как дура, не знаю, что делать. Постояла она, постояла против меня, подержала шелковый подол,— как сейчас помню, в гости нарядилась, в коричневом шелковом платье была, в митенках белых, с зонтиком и в шляпке маленькой, вроде корзиночки,— постояла, застонала и вышла. Выговаривать, правда, ни ему, ни мне ни слова не стала. А как уехал полковник в Киев, она и прогнала меня.

Собрала я свое добришко и вернулась к сестре (Ваня-то у сестры жил). Сошла с этого места и опять думаю: пропадает задаром мой ум, ничего я не могу себе нажить, прилично замуж выйти и свое собственное дело иметь, обидел меня Бог! Запрягусь, думаю, сызнава и уж жива не буду, а добыюсь своего, будет у меня свой капитал! Подумала, подумала так-то, отдала Ваню в ученье к портному, а сама в горничные, к купцу Самохвалову определилась, да и отдежурила цельных семь лет... С того и поднялась.

Жалованье положили мне два с четвертаком. Прислуги две — я да девушка Вера. Один день я за столом, она посуду моет, другой я посуду мою, она к столу подает. Семейство не сказать, чтоб большое: хозяин Матвей Иваныч, хозяйка Любовь Иванна, две взрослых дочери, два сына. Сам хозяин человек был серьезный, неразговорчивый, в будни никогда и дома не бывал, а как праздник, сидит у себя наверху, читает всякие газеты и сигару курит, а хозяйка простая, добрая, тоже, как я, из мещанок. Дочерей своих, Аню и Клашу, они скоро просватали и две свадьбы в один год сыграли,— выдали за военных. Тут-то, правду сказать, и начала я копить маленько: уж очень много на чай военные давали. Сделаешь просто даже безделицу какую-нибудь — спички когда так-то подашь, шинель с калошами,— глядишь, двадцать копеек, тридцать... Да и хаж-

вали мы чисто, нравились военным. Вера, та, правда, из себя все что-й-то строила, барышню какую-то, — ходит мелкими шажками, нежна и обидчива до крайности, сейчас, чуть что, брови свои пушистые сдвинет, губы как вишни, задрожат и уж слезы на ресницах, — хороши, правда, ресницы были, большие, я таких ни у кого не видывала! — ну, а я-то поумней была. Я, бывало, надену лиф гладкий, с прошивками, рукава короткие, на голову косу накладную с черным бантом бархатным, белый передник подкрахмаленный — так на меня даже взглянуть интересно. Вера, та все в корсет затягивалась, — затянется мочи нет как туго, и сейчас же голова у ней до рвоты разболится, — а я никогда и не знала этого корсета, и так ладная была... А сошли военные, стали сыновья хозяйские давать.

Старшóму-то уж годов двадцать сровнялось, как я на место заступила, а меньшóму четырнадцатый пошел. Этот мальчик был сидяка убогий. Все руки, ноги себе переломал, я и то сколько разов видела это дело. Как сломает, приходит к нему сейчас доктор, всякой ватой, марлей забинтует, потом зальет чем-то вроде как известка, известка эта самая с марлей засохнет, станет как лубок, а как подживет, доктор и разрежет, все долой снимет, — рука-то, глядь, и срослась. Ходить он сам не мог, а полозил на заде. Бывало, и через пороги, и по лестницам — так и жжет. Даже через весь двор в сад проползал. Голова у него была большая, на отцову похожа, виски грубые, рыжие, как шерсть собачья, лицо широкое, старое. Потому как ел он страсть сколько: и колбасу, и бомбы шоколадные, и крендели, и слоенки — чего только его душа захочет. А ножки, ручки тонкие, как овечьи, все переломаны, в рубцах. Водили его долго без ничего, рубахи шили длинные. Грамоте учительница из духовного училища учила, на дом к нам ходила. Здóрово занимался, умная был голова! А уж как на гармонье играл — где тебе и хорошему так-то сыграть! Играет и подпевает. Голос сильный, пронзительный. Бывало, как подымет, подымет: «Я монах, красив собою!..» Эту песню часто певал.

Старший сын был здоровый, а тоже вроде дурачка, ни к каким делам не способен. Отдавали его в ученье во всякие училища — везде выгоняли, ничему не выучили. Как ночь, зальется куда-нибудь — и до самой зари. Матери все-таки боялся и через парадный ни за что, бывало, не пойдет. Я вечером отделаюсь и жду, — как хозяева заснут, прокрадусь по горницам, растворю окно в его кабинетике, а сама опять на свое место. Он сапоги на улице снимет, пролезет в окно в одних чулках — и ни стуку, ни хрупы. На другой день встал, — как нигде и не был, а мне в невидном месте и сунет, что следует.

Мне-то что ж, какая забота, беру с великой радостью! Сломит себе голову — его дело... А тут и от меньшого, от Никанор Матвейча, пошел доход.

Добивалась я тогда своего прямо день и ночь. Как забрала себе в голову одно обстоятельство, чтобы беспрерывно обеспечить себя, так и укрепились в этой жизни. Каждую копейку, бывало, берегу: деньги-то, оне с крылушками, только выпусти из рук! Сжила Веру эту самую — да она, по совести сказать, и без надобности была, я так и хозяевам сказала: я, мол, и одна справлюсь, вы лучше прибавьте мне какую ни на есть безделицу — осталась одна и ворочаю. Жалованье не стала на руки брать: как нарастет рублей двадцать, двадцать пять, сейчас прошу хозяйку в банк съездить, на мое имя положить. Платье, башмаки — все хозяйское шло, куда ж мне тратить? А тут еще, на счастье мое, на его беду, влюбился в меня, прости, Господи, убогий этот...

Теперь-то, понятно, часто думается: может, за него-то и наказал меня Господь сынком! Иной раз из головы не идет,— я вот сейчас расскажу, что он над собой сделал,— да ведь надо понять, что уж очень обидно было: гляну, бывало, на него, головастого, и такая-то досада возьмет! «Чтоб тебе, мол, подеялось, в рубашке ты родился! Вот ведь и калека, а в каком богатстве живет. А мой и хорош, да в праздник того не съест, не сопнет, что ты в будни, походя!» Стала я замечать — похоже, влюбился он в меня: ну, прямо глаз с моего лица не сводит. Он уж тогда лет шестнадцати был и шаровары стал носить, рубашку подпоясывать, усы красные стали пробиваться. А нехороший, конопатый, зеленоглазый — избавь, Бог. Лицо широкое, а худощавый, как кость. Сперва-то он, видно, то в голову себе забрал, что понравиться может,— зачал прифранчиваться, подсолнухи покупать и так-то лихо, бывало, на гармонье заливаешься,— заслушаешься. Хорошо, правда, играл. Потом видит, что дело его не выходит,— притих, задумчивый стал. Раз стою на галерее, вижу — ползет с новой немецкой гармоньей по двору,— опять подбрислся, причесался, рубаху синюю с косым высоким воротом надел, в три пуговицы,— голову запрокинул, меня, значит, ищет. Поглядел, поглядел, глаза томные, мутные сделал — и-и залился под польку:

Пойдем, пойдем поскорее  
С тобой польку танцевать,  
В танцах я могу смелее  
Про любовь свою сказать...

А я, будто и не заметила,— как шваркну из полоскательницы! Шваркнула, да и сама не рада, очень испугалась: будет,

мол, мне теперь на орехи! А он ползет, бьется наверх по лестнице, обтирается одной рукой, другой гармонью тащит, глаза опустил, весь побелел и говорит этак скромно, с дрожью:

— Чтоб у вас руки отсохли. Грех вам за это будет, Настя.

И только всего... Правда, смиренный был.

Худел он это время ну прямо не по дням, а по часам, и уж доктор сказал, что не жилец он на белом свете, обязан от чахотки помереть. Я гребовала, бывало, и прикоснуться к нему. Да, видно, гребовать бедному человеку не приходится, деньгами все можно сделать, вот он и стал подкупать меня. Как, бывало, позаснут все после обеда, он сейчас и зовет меня к себе — либо в сад, либо в горницу свою. (Он отдельно ото всех, внизу жил, горница большая, теплая, а скучная, все окна во двор, потолки низкие, шпалеры старые, коричневые.)

— Ты, — говорит, — посиди со мною, я тебе за это деньжонок дам. Мне от тебя ничего не надо, просто я влюбился в тебя и хочу посидеть с тобой: меня одного стены съели.

Ну, я возьму и посижу. И набрала таким манером с полсотни. Да жалованья у меня лежало с процентами сотни четыре. Значит, думаю себе, пора мне теперь понемножку вылезать из хомута. А все жалко было — хотелось еще годок-другой пережить, еще покопиться маленько, главная же вещь — проговорился он мне, что у него задушевная копилка есть, рублей двести по мелочам от матери набрал: понятно, болен часто, лежит один в постели, ну, мать и сует для забавы. А я нет-нет, да и подумаю: прости, Господи, мое согрешение, лучше бы он мне эти деньги отдал! Ему все равно без надобности, вот-вот помрет, а я могу на весь век справиться. Выжидаю только, как бы поумней дело это сделать. Стала, понятно, поласковее с ним, стала чаще сидеть. Войду, бывало, в его горницу, да еще нарочно оглянусь, будто крадучись вошла, дверь притворю и заговорю шепотком:

— Ну вот, мол, я и отделалась, давайте сидеть парочкой.

Значит, делаю вид, вроде как будто у нас свидание назначено, а я будто и робею, и рада, что отделалась, могу теперь побыть с ним. Потом стала скучной, задумчивой прикидываться. А он-то добивается:

— Насть, что ты такая грустная сделалась?

— Так мол, — мало ли у меня горя!

Да еще вздохну, примолкну и на руку щекой обопрусь.

— Да в чем, — говорит, — дело-то?

— Мало ли, мол, делов у бедных людей, да какая кому печаль об них? Я даже этим разговором и наскучать вам не хочу.

Ну, он вскорости и догадался. Умный, говорю, был, хоть бы здоровому впору. Раз пришла к нему,— дело, как сейчас помню, на средокрестной было, погода этакая сумрачная, мокрая, туман стоит, в доме все спят после обеда,— я вошла к нему с работой в руках,— шила себе что-й-то,— села возле постели и только это хотела было вздохнуть, опять скучной прикинуться и зачать его полегоньку на ум наводить, он и заговори сам. Лежит, как сейчас вижу, в рубашке розовой, новой, еще не мытой, в шароварах синих, в новых сапожках с лакированными голенищами, ножки крест-накрест сложил и смотрит искося. Рукава широкие, шаровары того шире, а ножки, ручки — как спички, голова тяжелая, большая, а сам маленький,— даже смотреть нехорошо. Глянешь — думается, мальчик, а лицо старое, хоть и моложавое будто — от бритья-то,— и усы густые. (Он почесть каждый Божий день брился, так, бывало, и пробивает борода, все руки конопатые и то все в волосах рыжих.) Лежит, говорю, причесался на бочок, отвернулся к стенке, шпалеры ковыряет и вдруг говорит:

— Насть!

Я даже дрогнула вся.

— Что вы, Никанор Матвеич?

А у самой так сердце и подкатилось.

— Ты знаешь, где моя копилка лежит?

— Нет,— говорю,— я этого, Никанор Матвеич, не могу знать. Я плохого против вас никогда в уме не держала.

— Встань, отодвинь нижний ящик в гардеропе, возьми старую гармонью, она в ней лежит. Дай мне ее сюда.

— Да зачем она вам?

— Так. Хочу деньги посчитать.

Я слазила в ящик, крышку на гармонье открыла, а там в мехах слон жестяной забит, порядочно тяжелый, чувствую. Вынула, подаю. Он взял, погремел, положил подле,— чистый, ей-Богу, ребенок! — и задумался об чем-то. Молчал, молчал, усмехнулся и говорит:

— Я, Насть, нынче сон один счастливый видел, даже досвету проснулся от него, и очень хорошо мне было весь день до обеда. Глянь-ка, я даже прифрантился для тебя.

— Да вы, мол, Никанор Матвеич, и всегда чисто ходите.

А сама даже не понимаю, что говорю, до того разволновалась.

— Ну,— говорит,— ходить-то мне, видно, уж на том свете придется. Уж какой я красавец на том свете буду,— ты даже представить себе того не можешь!

Мне даже жалко его стало.

— Над этим,— говорю,— грех смеяться, Никанор Матвеевич, и к чему вы это говорите, я даже понять не могу. Может,— говорю,— Господь даст, поздоровеете еще. Вы лучше мне скажите, какой такой сон видели?

Он было опять обвиняками стал говорить, стал посмеиваться,— какой я, мол, житель! — стал ни к селу ни к городу про нашу корову толковать,— скажи ты, говорит, за-ради Бога мамаше, чтоб продала она ее, мочи моей нету, надоела она мне, лежу на кровати и все смотрю через двор на сарайчик, где она помещается, и она все смотрит в решетку на меня обратно,— а сам все деньгами погромыхивает и в глаза не смотрит. А я слушаю и тоже половины не понимаю,— чисто помешанные какие, несем, что попало, и с Дону и с моря,— наконец того, не вытерпела,— ведь вот-вот, думаю, проснутся все, самовар требуют, и пропало тогда все мое дело! — и поскорее перебиваю его, на хитрости пускаюсь:

— Да нет,— говорю,— вы лучше скажите, какой сон вы видели? *Про нас что-нибудь?*

Хотела, понятно, приятное ему сказать и так-то ловко попала. Взял он вдруг эту копилку, вынул ключик из шаровар, хочет отпереть — и никак не может, никак в дырку не попадет, до того руки трясутся,— наконец того, отпирает, высыпает ее себе на живот,— как сейчас помню, две серии и восемь золотых,— сгрел их в руку и вдруг говорит шепотом:

— Можешь ты меня один раз поцеловать?

У меня руки, ноги и отнялись от страху, а он-то с ума сходит, шепчет, тянется:

— Настечка, только раз! Бог свидетель тебе,— никогда больше не попрошу!

Я оглянулась — ну, думаю, была не была! — и поцеловала его. Так он даже задохнулся весь,— ухватил меня за шею, поймал губы и с минуту небось не пускал. Потом сунул все деньги в руку мне — и к стенке:

— Иди,— говорит.

Я выскочила и прямо в свою горницу. Заперла деньги на замок, схватила лимон и давай губы тереть. До того терла, альни побелели все. Очень, правда, боялась, что пристанет от него ко мне чахотка...

Ну, хорошо,— это дело, значит, слава Богу, вышло, начинаю другое обделывать, поглавное, из-за какого я и билась-то пуще всего. Чую — быть скандалу, боюсь, не будут меня с места пускать, начнет, думаю, приставать теперь с любовью, мужевать меня из-за этих денег... Нет, смотрю, ничего. Лезть не лезет, обходится по-прежнему, аккуратно, будто ничего и не

было промеж нас, даже, думается, еще скромнее, и в горницу не зовет: держит, значит, слово. Подвожу тогда хозяевам разговор,— мол, пора мне об сыну позаботиться маленько, ослободиться на время. Хозяева и слышать не хотят. А уж про него и говорить нечего. Намекнула ему раз, так он прямо побелел весь. Отвернулся к стенке и говорит этак с усмешечкой:

— Ты,— говорит,— не имеешь права этого сделать. Ты меня завлекла, приучила к себе. Ты должна подождать — я помру скоро. А уйдешь — я удавлюсь.

Хорош скромник оказался? Ах, думаю, бессовестные твои глаза! Я же из-за тебя себя неволила, а ты еще грозить мне! Ну, нет, не на такую напался! И зачала еще пуще предлог искать. Родилась тут кстати у хозяйки еще девочка, наняли к ней мамку — я и придерись, что с ней жить не могу. Злая, правда, оголтелая старуха была, сама хозяйка и то ей боялась, да и пьяная к тому же,— полштоф под кроватью так и дежурил,— и возле себя прямо терпеть никого не могла. Стала она на меня наговаривать, смутьянить всячески. То белье не так выгладила, то подать ничего не умею... А скажешь ей слово, затрясется вся — и жалиться бежит. Плачет навзрыд, а больше, понятно, не от обиды, а от притворства. Дальше, больше, я и говорю хозяевам:

— Так и так, увольте меня, мне от этой самой старухи белый свет не мил, я на себя руки наложу.

А сама уж дом на Глухой улице приглядела. Ну, хозяйка и не стала больше меня неволить. Правда, как прощалась со мной, страсть как звала опять к себе жить, или хоть приходите когда к празднику, к именинам:

— Обязательно,— говорит,— чтоб ты приходила всегда все прибрать, приготовить. Я,— говорит,— только при тебе и покойна. Я к тебе как к родной привыкла.

Я, конечно, благодарю всячески. Наобещала всего с три суммы, накланялась в пояс — и сошла. И сейчас же, Господи, благослови, за дело. Купила дом этот, открыла кабак. Торговля пошла ужасная хорошая,— стану вечером выручку считать: тридцать да сорок, а то и всех сорок пять в кассе,— я и надумай еще лавочку открыть, чтоб уж, значит, одно к одному шло. Сестра мужнина замуж давно вышла за сторожа из Красного Креста, он все кумой меня звал, дружил со мной,— я к нему: взяла безделицу в долг на всякое обзаведенье, на права — и заторговала. А тут как раз и Ваня из ученья вышел. Советуюсь с умными людьми, куда, мол, его устроить.

— Да куда,— говорят,— его устраивать, у тебя и дома работы девать некуда.

И то правда. Сажаю Ваню в лавку, сама в кабак становлюсь. Пошла жожка в ход! И мыслить, понятно, забыла обо всех этих глупостях, хоть, по совести сказать, он, убогий-то, даже в постель слег, как я уходила. Никому ни одного словечка не сказал, а слег прямо как мертвый, даже гармонью свою забыл. Вдруг, здорово живешь,— Полканиха на двор, мамка эта самая. (Ее мальчишки Полканихой прозвали.) Является и говорит:

— Тебе, говорит, один человек велел кланяться, беспременно велел проведать его.

Тут меня даже в жар бросило со зла да стыда! Каков, думаю себе, голубчик! Что в голову свою забрал! Подружку какую себе нашел! Не стерпела и говорю:

— Мне его поклоны не надобны, он про свое убожество должен помнить, а тебе, старому черту, стыдно в сводни лезть. Слышала ай нет?

Она и осеклась. Стоит, согнулась, смотрит на меня исподлобья пухлыми глазами, да только качаном своим мотает. Либо от жары, либо от водки ошалела.

— Эх ты,— говорит,— бесчувственная! Он,— говорит,— даже плакал об тебе. Весь вечер вчера лежал, к стенке отвернувшись, а сам плакал навзрыд.

— Что ж,— говорю,— и мне, что ль, залиться в три ручья? И не стыдно ему было, красноперому, реветь на людях? Ишь ребеночек какой! Ай от сиськи отняли?

Так и выпроводила старуху эту без ничего и сама не пошла. А он вскорости возьми да и взаправду удавился. Тут-то я, понятно, пожалела, что не пошла, а тогда не до него было. У самой в доме скандал за скандалом пошел.

Две горницы в доме я под квартиру сдала, одну наш постовой городской снял, отличный, серьезный, порядочный человек. Чайкин по фамилии, в другую барышня-проститутка переехала. Белокурая такая, молоденькая, и с лица ничего, красивая, Феней звали. Ездил к ней подрядчик Хóлин, она у него на содержанье была, ну, я и пустила, понадеялась на это. А тут, глядь, вышла промеж них расстройка какая-то, он ее и бросил. Что тут делать? Платить ей нечем, а прогнать нельзя — восемь рублей задолжала.

— Надо,— говорю,— барышня, с вольных добывать, у меня не странноприимный дом.

— Я,— говорит,— постараюсь.

— Да вот, мол, что-й-то не видно вашего старанья. Вместо того, чтоб стараться, вы каждый вечер дома да дома. На Чайкина, говорю, нечего надеяться.

— Я постараюсь. Мне даже совестно слушать вас.

— А-ах,— говорю,— скажите пожалуйста, совесть какая!

Постараюсь-постараюсь, а старанья, правда, никакого. Стала пуще округ Чайкина увиваться, да он и глядеть на нее не захотел. Потом, вижу, за моего принялась. Гляну, гляну — все он возле ней. Затеял вдруг новый пинжак шить.

— Ну, нет,— говорю,— перегодишь! Я тебя и так одеваю барчуку хорошему впору: что сапожки, что картузик. Сама, мол, во всем себе отказывала, каждую копейку орлом ставила, а тебя снабжала.

— Я,— говорит,— хорош собою.

— Да что ж мне, на красоту твою дом, что ль, продать?

Замечаю, пошла торговля моя хуже. Недочеты, ущербы пошли. Сяду чай пить — и чай не мил. Стала следить. Сижу в кабаке, а сама все слушаю,— прислонюсь к стенке, затаюсь и слушаю. Нынче, послушу, гудят, завтра гудят... Стала выговаривать.

— Да вам-то,— говорит,— что за дело? Может, я на ней жениться хочу.

— Вот тебе раз, матери родной дела нету! Замысел твой,— говорю,— давно вижу, только не бывать тому во веки веков.

— Она без ума меня любит, вы не можете ее понимать, она нежная, застенчивая.

— Любовь хорошая,— говорю,— от поганки ото всякой распутной! Она тебя, дурака, на смех подымает. У ней,— говорю,— дурная, все ноги в ранах.

Он было и окаменел: глядит себе в переносицу и молчит. Ну, думаю, слава тебе, Господи, попала по нужному месту. А все-таки до смерти испугалась: значит, видимое дело — врезался, голубчик. Надо, значит, думаю, как ни могá, поскорей ее добивать. Советуюсь с кумом, с Чайкиным. Надоумьте, мол: что нам с ними делать? Да что ж, говорят, прихватить надо и вышвырнуть ее, вот и вся недолга. И такую историю придумали. Прикинулась я, что в гости иду. Ушла, походила сколько-нибудь по улицам, а к шести часам, когда, значит, смена Чайкину, тихим манером — домой. Подбегаю, толк в дверь — так и есть: заперто. Стучу — молчат. Я в другой, в третий — опять никого. А Чайкин уж за углом стоит. Зачала я в окна колотить — альни стекла зудят. Вдруг задвижка — стук: Ванька. Белый, как мел. Я его в плечо со всей силы — и прямо в горницу. А там уж чистый пир какой: бутылки пивные пустые, вино столовое, сардинки, селедка большая очищена, как янтарь розовая,— все из лавки. Фенька на стуле сидит, в косе лента голубая. Увидала меня, привскочила, глядит во все

глаза, а у самой аж губы посинели от страху. (Думала, бить кинусь.) А я и говорю этак просто, хоть по правде сказать, даже продохнуть не могу:

— Что-й-то у вас,— говорю,— ай сговор? Ай именинник кто? Что ж не привечаете, не угощаете?

Молчат.

— Что ж,— говорю,— молчите? Что ж молчишь, сынок? Такой-то ты хозяин-то, голубчик? Вот куда, выходит, денежки-то мои кровные летят!

Он было шерсть взбудоражил:

— Я сам в лета взошел!

— Та-ак,— говорю,— а мне-то как же? Мне, значит, от твоей милости с сучкой с этой из своего собственного дома выходить? Так, что ль? Пригрела я, значит, змейку на свою шейку?

Как он на меня заорет!

— Вы не можете ее обижать! Вы сами молоды были, вы должны понимать, что такое любовь!

А Чайкин, услышавши такой крик, и вот он: вскочил, ни слова не сказавши, сгрел Ваньку за плечи, да в чулан, да на замо́к. (Человек ужасный сильный был, прямо гайдук!) Запер и говорит Феньке:

— Вы барышней числитесь, а я вас волчком могу сделать! (С волчьим билетом, значит.)

— Хотите вы, говорит, этого, ай нет? — Нонче же комнату нам ослобонить, чтоб и духу твоего здесь не пахло!

Она — в слезы. А я еще поддала:

— Пусть,— говорю,— денежки мне прежде приготовит! А то я ей и сундучишко последний не отдам. Денежки готовь, а то на весь город ославлю!

Ну, и спровадила в тот же вечер. Как сгоняла-то я ее, страсть как убивалась она. Плачет, захлебывается, даже волосы с себя дерет. Понятно, и ее дело не сладко. Куда деться? Вся состоянье, вся добыча при себе. Ну, однако, съехала. Ваня тоже попритих было на время. Вышел наутро из-под замка — и ни гугу: боится очень, и совесть изобличает. Принялся за дело. Я было и обрадовалась, успокоилась,— да ненадолго. Стало опять из кассы улетать, стала шлюха эта мальчишку в лавку подсылать, а он-то и печеным и вареным снаряжает ее! То сахару навалит, то чаю, то табаку... Платок — платок, мыло — мыло,— что под руку попадет... Разве за ним углядишь? И винцо стал потягивать, да все злей да злей. Наконец того, и совсем лавку забросил: дома и не живет, почесть, только поесть придет, а там и опять поминай как звали. Каждый вечер к ней

отправляется, бутылку под поддевку — и марш. Я мечусь как угорелая — из кабака в лавку, из лавки в кабак — и уж слово боюсь ему сказать: совсем босяк стал! Всегда красивый был, — весь в меня, — лицом белый, нежный, чистая барышня, глаза ясные, умные, из себя статный, широкий, волосы каштановые, вьющие... А тут морда одулась, волосы загустели, по воротнику лежат, глаза мутные, весь обтрепался, гнущся стал — и все молчит, в переносицу себе смотрит.

— Вы меня не тревожьте теперь, — говорит, — я могу ка- торжных дел натворить.

А захмеляет, расслонявится, смеется ничему, задумывается, на гармонье «Невозвратное время» играет, и глаза слезами наливаются. Вижу, плохо мое дело, надо мне поскорей замуж. Сватают мне тут как раз вдовца одного, тоже лавочника, из пригорода. Человек пожилой, а кредитный, состоятельный. Самый раз, значит, то самое, чего и добивалась я. Разузнаю поскорее от верных людей об его жизни — беды, вижу, никакой: надо решаться, надо поскорее знакомство завести, — нас друг другу только в церкви сваха перед тем показала, — надо, значит, предлог найти, побывать друг у друга, вроде как смотрины сделать. Приходит он сперва ко мне, рекомендуется: «Лагутин, Николай Иванович, лавочник». — «Очень приятно, мол». Вижу, совсем отличный человек, — ростом, правда, невеличек, седенький весь, а приятный такой, тихий, опрятный, политичный: видно бережной, никому, говорят, гроша за всю жизнь не задолжал... Потом и я к нему будто по делу затеялась. Вижу, ренсковый погреб и лавка со всем, что к вину полагается: сало там, ветчина, сардинки, селедки. Домик небольшой, а чистая люстра. На окнах гардинки, цветы, пол чисто подметен, даром что холостой живет. На дворе тоже порядок. Три коровы, лошади две. Одна матка, трех лет, пять сот, говорит, уж давали, да не отдал. Ну, я прямо залюбовалась на эту лошадь — до чего хороша! А он только тихонько посмеивается, ходит, семенит и все рассказывает, как прейскурант какой читает: вот тут-то то-то, там-то то-то... Значит, думаю, мудрить тут нечего, надо дело кончать...

Понятно, это я теперь-то так вкратце рассказываю, а что я в ту пору прочувствовала — одна моя думка знает. Ног под собой от радости не чувю, — мол, таки добилась своего, нашла свою партию! — а молчу, боюсь, дрожу вся: а ну-ка расстроится вся моя надежда? Да так оно едва и не случилось, чуть-чуть не пропали задаром все мои хлопоты, а из-за чего, даже теперь невозможно покойно сказать: из-за убогого этого да из-за сыночка милого! Мы так дело тихо, благородно вели, что ни кот,

ни кошка, думалось, не узнает. Ан слышу, уж весь пригород знает про наши с Николай Иванычем замыслы, дошел, понятно, слух и до Самохваловых, — небось сама же Полканиха и шепнула. А он, убогий-то, возьми, говорю, да и повесься! На вот, мол, тебе, — грозил, не верила, так вот же я назло тебе сделаю! Вколотил гвоздик в стену над кроватью, бечевку от сахарной головы приладил, захлестнулся и сполоз с кровати. Штука не хитрая, прибираю кой-что — вдруг кто-й-то грох, грох в ставню в доме! Так у меня сердце и оборвалось. Выскочила на порог — Полканиха.

— Ты что?

— Никанор Матвеич приказал долго жить!

Брякнула, повернулась — и домой. А я сгоряча-то не сообразилась, — меня прямо как варом обварило со страху, — накинула шаль, да за ней. Она бежит, спотыкается — и я бегу... Прямо страм на весь город! Бегу и ничего не понимаю. Одно думаю — пропала моя головушка! Шутка ли, что натворил, не тем Бог помяни! До чего, думаю, совести в людях нету! Подбегаю, а там уж народу, как на пожаре. Парадный настезь, кто хочет, тот и лезет, — всем, понятно, любопытно. Я было, сдурю-то, себе туда же. Да спасибо как по голове меня кто огрел: опомнилась, повернула — да назад. Тем, может, и спаслась, а то бы узнала чижа паленого. Вспомнил бы кто-нибудь, — да хоть та же Полканиха со зла, — вот, мол, ваше благородие, на кого мы думаем, кто всему причиной, извольте ее опросить, — и готова. Поди потом, вывертывайся. Человек-то, бывает, ни сном ни духом, а его за хвост да в мешок... Не первый случай.

Ну, похоронили его — у меня и отлегло от сердца. Готовлюсь к свадьбе, дело свое спешу прикончить, распродать, что можно, без убытку — вдруг опять беда-горе. И так с ног сбилась в хлопотах, спеклась вся от жары, — жара в тот год прямо непереносная стояла, да с пылью, с ветром горячим, особенно у нас, на Глухой улице, на косогорах-то этих, — вдруг еще новость — Николай Иваныч обиделся. Присылает сваху эту самую нашу, какая нас сводила-то, — лютая псовка была, небось сама же, востроглазая, и настрочила его, Николай-то Иваныча, — передает через нее Николай Иваныч, что свадьбу он до первого сентября откладает — делá будто есть — и об сыну, об Ване, наказывает: чтобы, значит, я об нем получше подумала, определила его куда ни на есть, потому как, говорит, в дом я его к себе ни за какие блага не приму. Хоть он, говорит, и сын твой родной, а он нас вчистую разорит и меня будет беспокоить. (И его-то, правда, положение. Как он никогда никакого

шуму не знал, никаких скандалов не подымал, понятно, боялся волноваться: как разволнуется, у него всегда все в голове смешается, слова не может сказать.) Пускай, говорит, она его с рук сбывает. А куда мне его определять, куда сбывать? Малый совсем от рук отбился, в чужих людях, думаю, и совсем голову свернет, а сбывать — не миновать. Я и сама-то с ним на нет сошла с самых с этих пор, как ознакомился он с Фенькой: прямо околдовала, сука! День дрыхнет, ночь пьянствует,— ночь за день сходит... Что я тут горя вытерпела — сказать невозможно! До того добил — стала как свечка таять, ложки держать не могу, руки трясутся. Как стемняет, сяду на скамейку перед домом и жду, пока с улицы вернется, боюсь, ребята слободские умолотят. Раз было убилась до смерти, побежала посмотреть в слободу: слышу шум, крик, думала, его холят, да в овраг и зашуршала...

Ну, получивши такое решение от Николай Иваныча, призываю его к себе: так и так, мол, сынок, терпела я тебя долго, ну, а ты совсем ослаб и заблудился, на всю округу меня ославил. Привык ты нежиться и блаженствовать,— наконец того, совсем босяк, пьяница стал. Такого дарования, как я, ты не имеешь, сколько раз я падала, да опять подымалась, а ты ничего нажать себе не можешь. Я вот и почету себе добилась, и недвижимое имущество у меня есть, и ем, пью не хуже людей, душу свою не морю, а все оттого, что всем мой хрип спокон веку заведовал. Ну, а ты, как был мот, так, видно, и хочешь остаться. Пора тебе с шеи моей слезть...

Сидит, молчит, клеенку на столе ковыряет.

— Что ж ты,— спрашиваю,— молчишь? Ты клеенку-то не дери,— наживи прежде свою,— ты отвечай мне.

Опять молчит, голову гнет и губами дрожит.

— Вы,— говорит,— замуж выходите?

— Это, мол, выду ли, нет ли, неизвестно, а и выду, так за хорошего человека, какой тебя в дом не пустит. Я, брат, не Фенька твоя, не шлюха какая-нибудь.

Как он вскочит вдруг с места, да как затрясется весь:

— Да вы ногтя ее не стоите!

Хорошо, ай нет? Вскочил, заорал не своим голосом, дверью грохнул — и был таков. А я, уж на что не плаксива была, так слезами и задалась. Плачу день, плачу другой,— как подумаю, какие слова он мог мне сказать, так и зальюсь. Плачу и одно в уме держу — довеку не прощу ему такой обиды, со двора долой сгоню... А его все нету. Слышу — у своей пирует, танцы, пляс, пропивает наворованные денежки и мне грозит: я ее, говорит, все равно успокою, выжду, как пойдет куда-нибудь вечером, камнем убью. Присылает,— на смех мне, понятно,—

в лавку за покупками, берет то жамок, то селедок. Я прямо трясусь от обиды, а креплюсь, отпускаю. Сижу раз в лавке — вдруг сам всходит. Пьян — лица нету. Вносит селедки, — утром девчонка приходила, купила, на его, понятно, деньги, четыре штуки, — и как шваркнет их на прилавок!

— Можете вы, — кричит, — присылать такую скверность покупателям? Они вонючие, их собакам только есть!

Орет, ноздри раздувает — предлог ищет.

— Ты, — говорю, — тут не буянь и не ори, сама я селедок не работаю, а бочонками покупаю. Не нравится — не жри, вот тебе твои деньги.

— А если бы я их съел да помер?

— Опять же, — говорю, — ты, свинья, не можешь тут кричать, — какой такой ты мне командир? Авось чин не велик имеешь. Ты честью должен сказать, а не нахрапом лезть в чужое помещение.

А он схватил вдруг безмен с ларя и этак шипом:

— Как жмакну тебя, — говорит, — сейчас по голове, так ты и протянешься!

И со всех ног вон из лавки. А я как села на пол, так и подняться не могу...

Потом слышу — уработали-таки его слободские ребята! Еле живого на извозчике привезли — пьян без памяти, голова мотается, волосы от крови слиплись, все с пылью перебиты, сапоги, часы сняли, новый пинжак весь в клоках — хоть бы где орех целого сукна остался... Я подумала, подумала — принять его приняла и даже за извозчика заплатила, но только в тот же день посылаю Николай Иванычу поклон и твердо наказываю сказать, чтоб он больше ничего не беспокоился: с сыном, мол, я порешила, — прогоню его безо всякой жалости прямо же, как проспится. Отвечает тоже поклоном и велит сказать: очень, говорит, умно и разумно, благодарю и сочувствую... А через две недели и свадьбу назначил. Да...

Ну, да будет пока, тут и сказке моей конец. Больше-то, почесть, и рассказывать нечего. С этим мужем до того я ладно век свековала, — прямо редкость по нынешнему времени. Что я, говорю, прочувствовала, как этого рая добивалась, — сказать невозможно! Ну, и наградил меня, правда, Господь, — вот двадцать первый год живу как за каменной стеной за своим старичком и уж знаю — он меня в обиду не даст: он ведь это с виду только тихий! А, понятно, нет-нет, да и заноеет сердце. Особенно Великим Постом. Умерла бы теперь, думается, — хорошо, покойно, по всем церквам акафисты читают... Опять же иной раз и об Ване соскучусь. Двадцать лет ни слуху ни духу

об нем. Может, и помер давно, да не знаю о том. Мне даже жалко его стало, как привезли-то его тогда. Втащили мы его, взвалили на кровать — целый день спал мертвым сном. Взойду, послушаю дыхание,— жив ли, мол... А в горнице — вонь, кислотой какой-то, лежит он весь ободранный, изгвазданный, храпит и захлебывается... Страм и жалость смотреть, а ведь кровь моя родная! Погляжу, погляжу, послушаю и — выйду. И такая-то тоска меня взяла! Поужинала через силу, прибрала со стола, огонь потушила... Не спится, да и только, — вся дрожу-лежу... А ночь светлая, видная. Слышу, проснулся. Все кашляет, все выходит на двор, дверью хлопает.

— Что это ты,— спрашиваю,— ходишь?

— Живот,— говорит,— болит.

По голосу слышу — тревожится, тоскует.

— Ты,— говорю,— выпей черныбыльнику.

Полежала еще, даже задремала немножко, чувствую сквозь сон — прокрадется кто-й-то по половику. Вскочила — он.

— Мамаша,— говорит,— не пугайтесь меня за-ради Христа...

И как залетется в три ручья! Сел на постель, руки ловит, целует, слезами обливает, а сам даже захлебывается,— так плачет-рыдает. Я не стерпела — и себе! Жалко, понятно, а делать нечего — из-за него вся моя судьба решается. Да он и сам, вижу, понимает это хорошо.

— Простить я тебя,— говорю,— могу, а поделать, ты сам видишь, теперь уж ничего нельзя. И уходи ты куда-нибудь подале, чтоб я и не слыхала про тебя!

— Мамаша,— говорит,— за что вы меня, не хуже сидяки этого, Никанор Матвеича, погубили?

Ну, вижу, человек еще не в своем уме, не стала и спорить. Поплакал, поплакал, поднялся и ушел. А наутро глянула я в горницу, где он спал, а его уж и след простыл. Ушел, значит, пораньше от страму — и как в воду канул. Был слух, жил будто в Задонске при монастыре, потом на Царицын подался, а там небось и голову сломил... Да что об том толковать — только сердце свое тревожить! Воду варить — вода будет...

А что он про Никанор Матвеича сказал, так я даже глупо это считаю. Авось не великими деньгами покорыстовалась, не из кармана вытащила. Он сам свое убожество понимал, сам скучал часто. Бывало, скажет мне:

— И калекой меня, Настя, судьба моя сделала, и характер у меня сумасходный: то мне весело чего-й-то, как перед бедой какой, то такая тоска, особливо летом, в жару, в пыль эту,— просто руки на себя наложил бы! Помру я, похоронят меня на

Чернослободском кладбище — цельный век будет эта пыль  
лететь на мою могилку через ограду!

— Да что ж, мол, Никанор Матвейч, об этом убиваться?  
Мы этого чують не будем.

— Да это, — говорит, — что ж, что чують не будем, — беда  
та, что при жизни о том думаешь...

А, правда, скука, бывало, у нас в доме, у Самохваловых-то,  
как все позаснут после обеда, а ветер несет эту пыль! И руки-то  
он наложил на себя в страшную жару, в самое глухое время.  
Город у нас, правда, ужасный скучный. Я вон была недавно в  
Туле: какое же сравнение!

*Капри. XI.1911*





## СВЕРЧОК

Эту небольшую историю рассказал шорник Сверчок, весь ноябрь работавший вместе с другим шорником, Василием, у помещика Ремера.

Ноябрь стоял темный и грязный, зима все не налаживалась. Ремеру с его молодой женой, недавно поселившимся в дедовской усадьбе, было скучно, и вот они стали ходить по вечерам из своего еще забитого дома, где только внизу, под колоннами, была одна сносная жилая комната, в старый флигель, в упраздненную контору, где зимовала птица и помещались шорники, работник и кухарка.

Вечером под Введение несло непроглядной мокрой вьюгой. В просторной и низкой конторе, когда-то беленной мелом, было очень тепло и сыро, густо воняло махоркой, жестяной лампочкой, горевшей на верстаке, сапожным варом, политурой и мятной кислотой кожи, куски и обрезки которой, вместе с инструментами, новой и старой сбруей, хомутиной, потниками, дратвой и медным набором навалены были и на верстаке, и на затоптанном, сорном полу. Воняло и птицей из темной пристройки, но Сверчок и Василий, ночевавшие в этой вони и каждый день часов по десяти сидевшие в ней с согнутыми спинами, были, как всегда, очень довольны своим помещением, особенно тем, что Ремер не жалеет топки. С узеньких подоконников капало, на черных стеклах сверкало и резко белел липкий, мокрый снег. Шорники пристально работали, кухарка, небольшая женщина в полушубке и мужицких сапогах, называясь за день, отдыхала на продранном стуле у горячей печки. Она грела спину и, не сводя глаз с лампочки, слушала шум ветра, потрясавшего порою весь флигель, постукивание по хомуту, который делал Василий, и старчески-детское дыхание лысого Сверчка, возившегося над шлеей и в затруднительные минуты шевелившего красным кончиком языка.

Лампочка, облитая керосином, стояла на самом краю вер-

стака и как раз посредине между работавшими, чтобы видней было обоим, но Василий то и дело подвигал ее к себе своей сильной, жилистой, смуглой рукой, засученной по локоть. Сила, уверенность в силе чувствовались и во всей осанке этого черноволосого человека, похожего на малайца, — в каждой выпуклости его мускулистого тела, обозначавшегося под тонкой, точно истлевшей рубахой, бывшей когда-то красной, и всегда казалась, что Сверчок, маленький и, несмотря на видимую бодрость, весь разбитый, как все дворовые люди, побаивается Василия, никогда никого не боявшегося. Казалось это и самому Василию, усвоившему себе манеру, как бы в шутку, на забаву окружающим, покрикивать на Сверчка, даже помогавшего этой шутке.

Василий, держа между коленками, прикрытыми засаленным фартуком, новый хомут, обтягивал его темно-лиловой толстой кожей, одной рукой крепко захватывая ее и туго натаскивая на дерево клещами, а другой вынимая из сжатых губ гвозди с медными шляпками, втыкая их в наколы, заранее сделанные шилом, и затем с одного маха, ловко и сильно вколачивая молотком. Он низко нагнул свою большую голову в черных влажно-курчавых волосах, перехваченных ремешком, и работал с той приятной, ладной напряженностью, которая дается только хорошо развитой силой, талантом. Напряженно работал и Сверчок, но напряженность эта была иного рода. Он прошивал концом новую розово-телесного цвета шлею, тоже захватив ее в колени, в голенища и фартук, и с трудом накалывал, с трудом, шевелия языком и принаравливая к свету лысую голову, попадал щетиной в дырочки, хотя раздергивал в разные стороны и закреплял конец даже с некоторой удалью старого, натрелого мастера.

Наклоненное к хомуту лицо Василия, широкое, с выступающими под маслянистой желто-смуглой кожей костями, с редкими и жесткими черными волосами над углами губ, было строго, нахмурено, значительно. А по наклоненному к шлее лицу Сверчка видно было только то, что ему темно и трудно. Он был ровно вдвое старше Василия и чуть не вдвое меньше ростом. Сидел ли он, встал ли, разница была невелика, — так коротки были его ноги, обутые в разбитые, ставшие от старости мягкими, сапоги. Ходил он, — тоже от старости, — неловко, согнувшись, так, что отставал фартук и виден был глубоко провалившийся живот, слабо, по-детски подпоясанный. По-детски темны были его черные глазки, похожие на маслинки, а лицо имело слегка лукавый, насмешливый вид: нижняя челюсть у Сверчка выдавалась, а верхняя губа, на которой тем-

нели две тонких, всегда мокрых косички, западала. Вместо «барин» говорил он «баин», вместо «было» — «быво» и часто всхлипывал, подтирая большой холодной рукой, суставами указательного пальца, свой повисший носик, на конце которого все держалась светлая капелька. Пахло от него махоркой, кожей и еще чем-то острым, как от всех стариков.

Сквозь шум метели послышался из сеней топот обиваемых от снега ног, хлопанье дверей — и, внося с собой свежий хороший запах, вошли господа, залепленные белыми хлопьями, с мокрыми лицами и блестками на волосах и одежде. Темно-красная борода и густые, нависшие над серьезными и живыми глазами брови Ремера, глянцевитый каракулевый воротник его мохнатого пальто и каракулевая шапка казались от этих блесков еще великолепнее, а нежное, милое лицо его беременной жены, ее мягкие длинные ресницы, сине-серые глаза и пуховый платок еще нежнее и милее. Кухарка хотела уступить ей продранный стул, она ласково ее поблагодарила, заставила остаться на своем месте и села на скамью в другой угол, осторожно сняв с нее узду со сломанными удилами; потом слабо зевнула, повела плечами, улыбнулась и тоже засмотрелась на огонь широко раскрытыми глазами. Ремер закурил и стал ходить по комнате, не раздевшись и не сняв шапки. Как всегда, господа пришли только на минутку, — уж очень тяжелый и теплый был у шорников воздух, — но потом, как всегда, забылись, потеряли обоняние... И вот тут-то, неожиданно для всех, и рассказал Сверчок свою историю.

— Однако ты, брат, ловок, — прошепелявил он, когда Василий, поздоровавшись с господами кивком головы, опять придвинул к себе лампочку. — Однако ты, бьат, вовок. Я небось постарше тебя немножко, — сказал он, всхлипывая и подтирая нос.

— Что? — притворно-грозно крикнул Василий, сдвигая брови. — Может, тебе еще газовый рожок зажечь? Ослеп — так в богадельню.

Все улыбнулись, — даже и барыня, которой все-таки немного неприятны были эти шутки, — и подумали, что Сверчок, как всегда, отпустит что-нибудь смешное. Но на этот раз он только головой покрутил и, вздохнув, остановил взгляд на черных стеклах, залепленных белыми хлопьями. Потом, взяв шило своей большой, в крупных жилах рукой с широко расставленными суставами большого и указательного пальцев, неловко и с трудом воткнул его в розоватую сырую кожу. Кухарка, заметив, что он смотрел на окна, заговорила о том, как она боится, что ее мужик, поехавший за коновалом в Чичерино, замерзнет,

собьется с дороги, как вдруг Сверчок, делая вид, что он занят, сказал с грустным добродушием:

— Да, брат, ослеп... Поневоле ослепнешь! Ты вот доживи-ка до моих годов, да прочувствуй с мое! Ан не доживешь! Я вот спокон веку такой, неизвестно, в чем душа держится, а все тянулся, жил — и еще бы столько же прожил, как бы было зачем. Я, брат, очень даже хотел жить, пока было антиресно, и жил, смерти не подавался. А твою-то силу мы еще не знаем. Молода, в Саксоне не была...

Василий посмотрел на него пристально, как посмотрели господа и кухарка, удивленные его необычным тоном,— на минуту, в молчании, особенно явственно стал слышен шум ветра,— и серьезно спросил:

— Что это ты буровишь такое?

— Я-то? — сказал Сверчок, поднимая голову.— Нет, брат, я не буровлю. Я это про сына вспомнил. Слышал небось, какой молодец-то был? Пожалуй, еще почище тебя будет, а вот не мог же того выдержать, что я.

— Ведь он замерз, кажется? — спросил Ремер.

— Я его знал,— ответил Василий и, не стесняясь, как говорят о ребенке при нем же самом, добавил: — Да он и не сын ему, говорят, был,— Сверчку-то. Не в мать, не в отца, а в проезжего молодца.

— Это дело иное,— так же просто сказал и Сверчок,— это все может быть, а почитал он меня не меньше отца, дай, Бог, чтобы твои так-то тебя почитали, да и не докапывался я, сын он мне али нет, моя кровь аль чужая... авось она у всех одинаковая! Сила в том, что он, может, дороже десятых родных мне был. Вы вот, барин, и вы, сударыня,— сказал Сверчок, поворачивая голову к господам и особенно ласково выговаривая: «судаыня»,— вы вот послушайте, как было-с это дело, как замерз-то он. Я ведь его всю ночь на закорках таскал!

— Курá сильная была? — спросила кухарка.

— Никак нет,— сказал Сверчок.— Туман.

— Как туман? — спросила барыня.— Да разве в туман можно замерзнуть? И зачем же вы его таскали?

Сверчок кротко улыбнулся.

— Хм! — сказал он.— Да вы того, сударыня, и вообразить себе не можете-с, до чего он, туман-то этот, может замучить! А таскал я его затем, что уж очень жалко было-с, все думал отстоять его от этого... от смерти-то. Это так вышло,— картаво начал он, обращаясь не к Василию и не к Ремеру, а только к одной барыне,— это вышло-с как раз под самый Николин день...

— А давно? — спросил Ремер.

— Да лет пять или шесть тому назад, — ответил за Сверчка Василий, серьезно слушая и свертывая сигарку.

Сверчок мельком, старчески-строго глянул на него.

— Оставь мне затянуться, — сказал он и продолжал: — Работали мы, сударыня, у барина Савича в Огневке, — он, сын-то, со мной всегда ходил, не отбивался от меня, — ну, работали и работали, а квартеру в селе снимали, жили после смерти матери вроде как два дружных товарища. Подходит, наконец того, Николин день. Надо, думаем, домой отличиться, немножко в порядок себя привести, а то, по совести сказать, уж очень все на нас земле предалось. Собираемся этак на́вечер, а того и не видим, что такая стыдь да еще с туманом к вечеру завернула, альни деревни за лужком не видать, уж не говоря про то, что очень местность везде глухая. Копаемся, прибираем струмент в этой самой бане, где мы, значит, спасались, никак ничего не найдем в темноте, — скупой барин-то был, огарочка не разживешься, — чувствуем, что припоздали маленько, и верите ли, такая тоска вдруг взяла меня, что я говорю: «Дорогой ты мой товарищ, Максим Ильич, ай нам остаться, до утра подождать?»

— А вас Ильей зовут? — спросила барыня, вдруг вспомнив, что она до сих пор не знает имени Сверчка.

— Ильей-с, — ласково сказал Сверчок и, всхлипнув, подтер нос, — Ильей Капитоновым. Но только сын-то меня тоже Сверчком звал и все, — вот не хуже этого Бовы Королевича, Василь Степаныча, — шутил, грубиянил со мной. Ну, конечно, пошутил, закричал и тут: «Это еще, мол, что такое? Поговори у меня!» — Нахлобучил мне шапку по уши, надел свою, ремешком подтянулся, — красавец был, сударыня, истинную вам правду говорю-с! — взял палочку и без дальних разговоров марш на крыльцо. Я за ним... Вижу, туман страсть какой и уж совсем стемняло, барский сад весь сизыми шапками, инеем оброс, — как туча какая в сумерках, в тумане этом мерещится, — да делать, значит, нечего, не хочу молодого человека обижать, молчу. Перешли лужки, поднялись на горку, оглянулись, а окон у барина уж и не видно стало. Отвернулся я от ветру, — в одну минуту дух захватило, так и несет этой мгой, туманом, вроде как дыханье какое, — чувствую, что уж на двух шагах до самых костей прохватило, а сапоги-то на нас нагольные, да и поддевички на шереметьевский счет шиты, и опять говорю: «Ой, вернемся, Максим, не форси!» Он было и задумался... Да известно, дело молодое, по себе небось, сударыня, знаете, — как свою гордость не выказать? — опять пошел. Вхо-

дим в деревню,— конечно, потише стало, везде огни по избам, хоть и мутные, а все-таки жильё,— он и бубнит: «Ну, видишь? Что дрожал? Видишь, на ходу-то куда теплей, это только сначала так стюдено показалось... Не отставай, не отставай, а то подгонять зачну...» А уж какое там, сударыня, тепло, все водовозки на четверть инеем обросли, все лозинки к земле пригнуло, крыш не видать от туману и морозу... Конечно, жильё, да от этих огней туман еще больше выдает, и все ресницы у меня в инее, отяжелели, как у лошади хорошей, а барских окон на том боку и звания не осталось... Одно слово — ночь лютая, самая что ни на есть волчиная.

Василий нахмурился, пустил в обе ноздри дым и, подавая окурок Сверчку, перебил его:

— Ну, ты, «вовчиная», этак до второго пришествия не кончишь. Ты скорей рассказывай.

И деловито перевернул в коленях хомут, намереваясь продолжать работу. Сверчок, шепотками, кончиками прокопченных пальцев взял у него окурок, сильно затянулся и на минуту грустно задумался, как бы слушая свое детское дыхание и шум ветра за стенами. Потом несмело сказал:

— Ну, Бог с тобой, хорошо, покороче скажу. Я только хотел сказать, что просто мы заблудились в двух шагах. Мы, сударыня,— продолжал он увереннее, взглянув на барыню, уловив в ее глазах сочувствие и вдруг острее почувствовав свое давно ставшее привычным горе,— мы дорогу, значит, потеряли. Как только вышли-с за деревню, да попали в эту темь, во мгу, в холод, да прошли, может, с версту, так и заблудились. Тут большой верх, огромный луг, буераки до самого села идут, а над ними дорога всегда есть, вот мы и потрафляли по ней, все думали, что верно держимся, а заместо того влево забрали по чьему-то следу, к бибиковским, значит, оврагам, и след этот тоже, на беду, упустили, а уж там и пошли месить по снегу, по ветру, как попало. Да это все, сударыня, история известная,— кто не блудил, все блудили,— а я то хотел сказать, какую муку-с я за эту ночь принял! Я, правда, до того оробел, до того испугался, как, значит, прокружились мы часа два али три, да зарьяли, задохнулись, обмерзли, стали в пень и видим, что в отделку пропали, до того, говорю, испугался, что у меня аж руки, ноги огнем закололо,— всякому, понятно, свой живот дорог,— но только я и в мыслях не держал, что дальше-то будет, как накажет меня Господь! Я, понятно, думал, что мне первому конец,— много ль во мне духу, сами извольте видеть,— а как увидал, что я-то еще жив, стою, а уж он на снег сел, как увидал его...

Сверчок слегка вскрикнул на последних словах, взглянул на кухарку, которая уже плакала, и, вдруг заморгав, исказив и брови, и губы, и задрожавшую челюсть, стал торопливо искать кисет. Василий сердито сунул ему свой, и он, вертя прыгающими руками сигарку и роняя в табак слезы, опять заговорил, но уже новым, размеренно-твердым и повышенным тоном:

— Дорогая моя сударыня, у нас был барин Ильин, лютей его во всей губернии не было, — до нашего, то есть, брата, до дворового, — так вот он тоже замерз, под городом нашли, — лежит в возке, весь снегом забит и сам окоченел уж давно, и во рту лед, а возле него сидит-дрожит кобель живой, сеттер его любимый, под шубой под енотовой: он, значит, злодей-то такой, шубу свою собственную снял с себя и кобеля накрыл, а сам замерз, и кучер его замерз, и вся тройка мерзлая на оглобли навалилась, поколела... А ведь тут не кобель, тут — сын родной, дорогой мой товарищ! Да, сударыня! Что мне было снять-то с себя? Поддевку-то эту? Да она была ровесница мне, на нем была вдвое теплей... Да тут и шубой не помог бы! Тут хоть рубаху сними — не спасешь, хоть на весь белый свет кричи — никого не докричишься! Он вскорости еще пуше меня испугался и вот от этого от самого и пропали-то мы. Как только упустили мы след, он и заметался. Сперва все покрикивал, зубами ляскал да отдувался, как, значит, до животов-то прохватило нас ветром с морозом, потом вроде как с ума стал сходить. «Стой! — кричу. — Ради Христа, стой, давай сядем, одумаемся!..» Молчит. Я его за рукав хватаю, опять кричу... Молчит, да и только! Либо не понимает ничего, либо не слышит. Темь хоть глаз выколи, ног, рук уж не чуем, все лицо сковало, губ вроде как совсем нету — одна челюсть голая — и ничего не поймешь, ничего не видать! Гудит ветер в уши, несет мгу эту, а он кружится, мечется — и ничего не слушает меня. Бегу, глотаю туман, вязну по пояс... того гляди, думаю, из виду его упушу... вдруг — раз! сорвались куда-й-то, покатались, задохнулись в снегу... чую — в оврагах сидим. Помолчали, помолчали, отдышались — вдруг он и говорит: «Это что, отец? Бибиковские овраги? Ну, сиди, сиди, давай отдохнем. Вылезем — целиком назад пойдем. Теперь я все понимаю. Ты не бойся, не бойся, — я тебя доведу». А уж голос-то дикий. Не говорит, а рубит... И вот тут-то я и понял, что пропали мы. Вылезли, опять пошли, опять ошалели... месили, месили снег еще часа два, попали в кустарник дубовый, да как наткнулись на него да поняли, что мы уж верстах в десяти от Огневки, в степи пустой, — тут он и сел вдруг: «Сверчок, прощай». — «Стой, как прощай? Очнись, Максим!..» Нет, — сел и смолк...

— Долга песня рассказывать, сударыня! — вдруг опять звонко сказал Сверчок, искажая брови. — Тут и страх весь пропал у меня. Как сел он, мне так в голову и вдарило: а-а, думаю, вон что, помирать мне теперь, видно, время нет! Руки стал у него целовать, умолять — мол, подержись хоть немножко еще, не сиди, не давайся сну этому смертному, пойдем целиком, обопрись на меня! Нет, — валится с ног долой, да и только! А я бы и помер от этой страсти, да уж не могу... не в суетности... И когда уж кончился он, смолк совсем, отяжелел, оледенел, я его, мужчину такого, на закорки навалил, под ноги подхватил — и попер целиком. Нет, думаю, стой, нет, шалишь, не отдам, — мертвого буду сто ночей таскать! Бегу, вязну в снегу, а у самого дух от тяжести занимается, волосы дыбом от страху встают, как он своей студеной головой, — картуз-то уж давно свалился, — по плечу моему елозит, до уха касается. А все бегу да кричу: «Нет, постой, не отдам, помирать мне теперь не время!» Думалось так, сударыня, — сказал Сверчок вдруг упавшим голосом и заплакал, вытирая рукавом глаза, выбирая на рукаве местечко менее грязное, ближе к плечу, — думалось так... принесу на село... может, отгадет, ототру...

Долго спустя, когда Сверчок уже успокоился и стал пристально смотреть красными глазами в одну точку перед собою, когда вытерли слезы и облегченно вздохнули и барыня, и кухарка, Василий серьезно сказал:

— А напрасно я тебя окоротил. Ты хорошо рассказываешь. Я и не чаял такой прыти от тебя.

— Вот то-то и оно-то, — тоже серьезно и просто ответил Сверчок. — Тут, брат, всю ночь можно рассказывать, и то не расскажешь.

— А сколько ему было лет? — спросил Ремер, искоса поглядывая на жену, тихо улыбающуюся после слез, и тревожно думая о том, как бы это не повредило ей в ее положении.

— Двадцать пятый-с, — ответил Сверчок.

— И больше у вас не было детей? — робко спросила барыня.

— Нет-с, не было...

— А у меня вон целых семеро, — нахмуриваясь, сказал Василий. — Изба два шага, а их куча. Тоже не велика сласть и дети. Нам, видно, чем раньше помереть, тем выгоднее.

Сверчок подумал.

— Ну, это не нашего ума дело, — еще проще, серьезней и грустней ответил он и опять взялся за шило. — Не замерзни он, меня, брат, до ста лет никакая смерть не взяла бы.

Господа переглянулись и, застегиваясь, поднялись с мест.

Но еще долго стояли и слушали, как отвечал Сверчок на расспросы кухарки о том, донес ли он сына до села, чем кончилось дело. Сверчок отвечал, что донес, но только не до села, а до железной дороги, и упал, споткнувшись, на рельсы. Обморозил руки, ноги и уже совсем терял сознание. Рассвело, шла метель, все белело, а он сидел в степи и смотрел, как заносит снег его мертвого сына, набивается в редкие усы и в белые уши. Подняли их кондуктора товарного поезда, шедшего из Балашова.

— Дивное дело,— сказала кухарка, когда он кончил,— не пойму я того, как ты сам-то в такую страсть не замерз?

— Не до того было, матушка,— ответил Сверчок рассеянно, ища что-то на верстаке, в обрезках кожи.

*Капри. 30.XI.1911*





## НОЧНОЙ РАЗГОВОР

### I

Небо было серебристо-звездно, поле за садом и гумном темнело ровно, на чистом горизонте четко чернела мельница с двумя рогами крыльев. Но звезды искрились, трепетали, часто прорезывали небо зеленоватыми полосками, сад шумел порывисто и уже по-осеннему, холодно. От мельницы, с пологой равнины, с опустевшего жнивья дул сильный ветер.

Работники сытно поужинали, — был праздник, Успенье, — и жадно накурились по дороге через сад на гумно. Накинув армяки сверх полушубков, они шли туда спать, стеречь хлебные вороха. За работниками, таща подушку, шел высокий гимназист и бежали три борзых белых собаки. На гумне, на свежем ветру, хорошо пахло мякиной, новой ржаной соломой. Все уютно улеглись в ней, в самом большом омете, поближе к ворохам и риге. Собаки повозились, пошуршали у ног и тоже успокоились.

Над головами лежавших слабо белел широкий, раздваивающийся дымно-прозрачный рукавами Млечный Путь, наполненный висящей в них мелкой звездной россыпью. В соломе было тепло и тихо. Но по лозняку, что темнел вдоль вала слева, то и дело тревожно шел и, разрастаясь, приближался глухим неприязненным шумом северо-восточный ветер. Тогда до лиц, до рук доходило прохладное дуновение вместе с дурным запахом из проходов между ометами. А по небосклону, за неправильными черными пятнами волновавшегося лозняка, остро мелькали, вспыхивали льдистые алмазы, разноцветными огнями загоралась Капелла.

Улегшись, позевали и закрыли глаза. Ветер дремотно шелестел торчавшей над головами колючей соломой. Но дошла до лиц прохлада — и все почувствовали, что спать еще не хочется, — выспались после обеда. Только один гимназист изнемогал от сладкой жажды сна. Но ему заснуть не давали блохи. Он стал чесаться, раздумался о девках, о вдове, с кото-

рой он, при помощи работника Пашки, потерял в это лето невинность, и тоже разгулялся.

Это был худой, неуклюжий подросток с нежным цветом лица, такого белого, что даже загар не брал его, с синими глазами, с большим кадыком. Он все лето не разлучался с работниками,— возил сперва навоз, потом снопы, оправлял ометы, курил махорку, подражал мужикам в говоре и в грубости с девками, которые дружески поднимали его на смех, встречали криками: «Веретёнкин, Веретёнкин!» — дурацким прозвищем, придуманным подавальщиком в молотилку Иваном. Он ночевал то на гумне, то в конюшне, по неделям не менял белья и парусиновой одежды, не снимал дегтярных сапог, сбил в кровь ноги с непривычки к портянкам, оборвал все пуговицы на летней шинели, испачканной колесами и навозом...

— Совсем отбился от дому! — с ласковой грустью говорила о нем мать, восхищаясь даже его недостатками.— Конечно, поправится, окрепнет, но посмотрите, какая лохматая чушка, даже шею не моет! — улыбаясь, говорила она гостям и теребила его мягкие каштановые лохмы, стараясь добраться до нежного завитка, кудрявившегося, как у девочки, на его затылке, на темной шее, отделявшейся от видного под косовороткой по-детски белого тела, от больших позвонков под тонкой гладкой кожей. А он угрюмо вывертывал голову из-под ее ласковой руки, хмурился, краснел. Он рос не по дням, а по часам и на ходу гнулся, задумчиво свистал, угловато вилял из стороны в сторону. Он еще ел липовый цвет и вишневый клей, носил, хотя уже тайком, в кармане парусиновых панталон рогульку для стрельбы по воробьям, но сгорел бы от стыда, если б это обнаружилось, и не выпускал рук из карманов. Еще зимой он играл с Лилей в краснокожих. Но весной, когда по всем улицам города текли и дрожали ослепительным блеском ручьи, когда в классах горели от солнца белые подоконники, солнцем был пронизан голубой дым в учительской и директорская кошка подстерегала первых зябликов в гимназическом саду, еще полном серебряного снега,— весной он вообразил, что влюбился в худенькую, маленькую, начитанную и серьезную гимназистку Юшкову, подружился с шестиклассником в очках Симашко и решил посвятить все каникулы самообразованию. А летом мечты о самообразовании были уже забыты, было принято новое решение — изучить народ, вскоре перешедшее в страстное увлечение мужиками.

Вечером на Успенье гимназист был налит сном еще за ужином. К концу каждого дня, когда туманилась и на грудь падала голова,— от усталости, от разговоров с работниками, от роли

взрослого,— возвращалось детство: хотелось поиграть с Лилей, помечтать перед сном о каких-нибудь дальних и неведомых странах, о необыкновенных проявлениях страсти и самопожертвования, о жизни Ливингстона, Беккера, а не мужиков Наумова и Нефедова, прочитавших которых дано было Симашке честное слово; хотелось хоть одну ночь переночевать дома и не вскакивать до солнца, на холодной утренней заре, когда даже собаки так томно зевают и тянутся... Но вошла горничная, сказала, что работники уже пошли на гумно. Не слушая криков матери, гимназист накинул на плечи шинель с мотающимся хлястиком и картуз на голову, схватил из рук горничной подушку и в аллее нагнал работников. Он шел, шатаясь от дремоты, таща за угол подушку, и, как только довалился до омета, подлез под старую енотовую шубу, лежавшую там, так сейчас же и поплыл, понесся в сладкую черную тьму. Но огнем стали жечь мелкие собачьи блохи, стали переговариваться работники...

Их было пятеро: добрый лохматый старик Хомут, Кирюшка, хромой, белоглазый, безответный мальчик, предававшийся мальчишескому пороку, о чем все знали и что заставляло Кирюшку быть еще безответнее, молча сносить всяческие насмешки над его короткой, согнутой в колене ногой, Пашка, красивый двадцатичетырехлетний мужик, недавно женившийся, Федот, мужик пожилой, дальний, откуда-то из-под Лебедяни, прозванный Постным, и очень глупый, но считавший себя изумительно умным, хитрым и беспощадно-насмешливым человеком, Иван. Этот презирал всякую работу, кроме работ на земледельческих машинах, носил синюю блузу и всем внушил, что он прирожденный машинист, хотя все знали, что он ни бельмеса не смыслит в устройстве даже простой веялки. Этот все суживал свои сумрачно-иронические глазки и стягивал тонкие губы, не выпуская трубки из зубов, значительно молчал, когда же говорил, то только затем, чтобы убить кого-нибудь или что-нибудь замечанием или прозвищем: он решительно надо всем глумился — над умом и глупостью, над простотой и лукавством, над унынием и смехом, над Богом и собственной матерью, над господами и над мужиками; он давал прозвища нелепые и непонятные, но произносил их с таким загадочным видом, что всем казалось, будто есть в них и смысл и едкая меткость. Он и себя не щадил, и себя прозвал: «Рогожкин»,— сказал он однажды про себя, так веско, так зло на что-то намекая, что все покатались со смеху, а потом уже и не звали его иначе, как Рогожкин. Окрестил он и гимназиста, сказал чепуху и про него: Веретёнкин.

Всех этих людей гимназист, как он думал, хорошо узнал за лето, ко всем по-разному привязался, — даже и к Ивану, издевавшимся над ним, — у всех тому или другому учился, воспринимая их говор, совершенно, как оказалось, не похожий на говор мужиков книжных, их неожиданные, нелепые, но твердые умозаключения, однообразие их готовой мудрости, их грубость и добродушие, их работоспособность и нелюбовь к работе. И, уехавши после каникул в город и на другое лето уже не вернувшись к увлечению мужицкой жизнью, он весь свой век думал бы, что отлично изучил русский народ, — если бы случайно не завязался между работниками в эту ночь длинный откровенный разговор.

Начал старик, лежавший рядом с гимназистом и чесавшийся крепче всех.

— Ай, барчук, донимают? — спросил он. — Чистая беда эти блохи, комут! — сказал он, употребляя слово, которым постоянно определял и всю жизнь свою, и всю тяготу ее, все неприятности.

— Мочи нет, — отозвался гимназист. — Вот баб, девок, тех не трогают. А уж кого бы, кажись, жили́ть, как не их.

— Главная вещь, порток на них не полагается, — равнодушно подтвердил старик, ворочаясь и издавая крепкий запах давно не мытого тела и вытертого зипуна, прокопченного курной избой.

Прочие молчали. Обычно шутили перед сном, расспрашивали Пашку о его супружеской жизни, а он отвечал с таким спокойным и веселым бесстыдством, что даже гимназист, постоянно восхищавшийся им, не сводивший глаз с его умного и живого лица, досадовал — как это можно говорить так о своей молодой жене. Теперь никто не начинал расспросов, и гимназист уже хотел было сам начать их, чтобы еще более взволновать свое воображение, навеки отравленное вдовой, и послушать уверенный голос Пашки, как Пашка потянулся, сел и стал заворачивать сигарку. Старик поднял голову в шапке и покачал ею.

— Ой, спалишь ты, малый, гумно! — сказал он.

— А я на барчука солгусь, — отвечал Пашка, немного хрипя от простуды, и, откашлявшись, засмеялся. — Он сам постоянно курит. Чудная ночь, барчук, сегодня, — сказал он, меняя тон на серьезный и оборачиваясь к гимназисту. — К этой ночи что недостает? Луну.

Чувствовалось, что он хочет рассказать что-то. И, правда, помолчав и не получив ответа, он вдруг спросил:

— Барчук, вы спите? Который теперь час будет?

Гимназист поднялся, вытащил из кармана панталон серебряные часы и при свете звезд стал разглядывать их.

— Половина одиннадцатого, — сказал он, горбясь.

— Ну вот, так я и знал, — весело и уверенно подтвердил Пашка, затиснув набок зубами крючок и закуривая от вонючего серника, загоревшегося в его сложенных ковшиком руках. — В аккурат в это самое время я человека прошлый год убил.

И гимназист сразу разогнулся, опустил руки — и точно окаменел на все время разговора. Он изредка подавал голос, но так, точно другой кто говорил за него. Потом все внутри у него стало дрожать мелкой ледяной дрожью, позывая на отрывистый, нелепый смех, и огнем стало гореть лицо.

## II

Иван, как всегда, значительно молчал. Кирюшка совсем не интересовался тем, что говорили, лежал и думал свое — о гармонии, купить которую было его самой заветной мечтой. Долго молчал, лежа на локте, и Федот, сильный, плоский мужик, в начале лета казавшийся работникам чужим человеком по той причине, что носил он полушубок без талии, без сборок, вроде тех, что носят казанские татары. Чужим казался он и гимназисту. Насколько нравилось ему веселое спокойствие, ладность ухваток, загорелое лицо Пашки, настолько же не располагало его к близости лица Федота, тоже спокойное, но ничего не выражающее, большое, пепельно-серое, морщинистое, с жидкими и всегда мокрыми от слюней, от трубки усами, с крупными отворотами белесых обветренных губ. Федот слушал внимательно, но не вставил в рассказ Пашки ни слова, — только чахоточно покашливал и поплевывал в солому. И сперва поддерживали разговор только пораженный гимназист да старик.

— Что брешешь пустое, — равнодушно сказал старик, улыхав хвастливое заявление Пашки. — Какого такого человека мог ты убить? Где?

— Глаза лопни, не брешу! — горячо отозвался Пашка, поворачиваясь к старику. — Прошлый год убил, на Успенье. Об этом даже во всех газетах писали, в приказе по полку и то было.

— Да где убил-то?

— Да на Кавказе, в Зухденах. Ей-Богу! Конечно, брехать не стану, не я один убил, и Козлов стрелял, — наш же, елецкий, — эта благодарность не одному мне была, дивизии начальник, конечно, и ему спасибо сказал при всем фронте и прямо же нам

по рублю наградил, но только я подлинно знаю, что это я его срезал.

— Кого его? — спросил гимназист.

— Да арестанта, грузинта этого.

— Стой, — перебил старик, — ты толком расскажи. Где вы стояли?

— Опять двадцать пять! — притворно-досадливо сказал Пашка. — Вот чудак, не верит ничему. Стояли мы в этих, в Новых Сеняхах...

— Знаю, — сказал старик. — И мы там стояли восемнадцать дён.

— Ну, вот видишь, — значит, я не пустое брешу и могу тебе все это приблизительно рассказать. Мы там, брат, не восемнадцать дён, а цельный год семь месяцев стояли, а арестантов этих обяваны были до самых до Зухден препровождать. Арестанты эти были прямо что ни на есть самые главные проступники, бунтовщики, и, значит, всех их десять человек, в горах поймали и к нам представили...

— Стой, — перебил гимназист, — а как же ты мне говорил, что не стал бы бунтовщиков стрелять, а скорее офицера, какой будет приказывать стрелять, застрелишь?

— А я и отцу родному не спущу, когда надо, — ответил Пашка, мельком взглянув на гимназиста и опять оборачиваясь к старику. — Я, может, и пальцем бы его не тронул, кабы он не задумал погубить нас, а он на хитрости пошел, и могли мы за него цельный год в арестанских ротах пробыть, а тут даже благодарность получили, немножко поумней его оказались. Ты вот послушай, — сказал он, делая вид, что говорит только со стариком. — Мы их честно-благородно вели. Озорства этого ничего с ними не делали, бить там, например, али прикладом подгонять... А один, худой этакий, малорослый, все идет и на живот жалится, дó ветру все просится. Еле кандалами бряंचит. Наконец того, подходит к старшóму: «Дозвольте на телегу лечь». Ну, ему и дозволили, как путному. Только приходим в Зухдены. А ночь — хоть глаз выколи и дождь холит. Посадили мы их на крыльцо, стережем, у каждого, конечно, по фонарику в руке, а старшой в камеру отлучился, решетки в окна пощупать: известно, затем, что целы ли, мол, не подпилены ли какой пилкой фальшивой...

— Обязательно, — сказал старик. — Он должóн по закону все в исправности принять.

— Про то и толк, — подтвердил Пашка, опять торопливо

пряча зажженный серник в руки, сложенные ковшиком.— Вот ты это дело знаешь, тебе и рассказывать интересно. Ну, пошел старшой,— продолжал он, давая спичку и пуская в ноздри дым,— пошел, осматривает, а мы стоим, клюем рыбу,— спать мочи нет как хочется,— а грузинт этот как вскочит вдруг да за угол! Он, понимаешь, значит, еще в телеге все это дело как следует обдумал, разрезал чем ни на есть ремень кандальный округ пояса, спустил кандалы с себя, подхватил вот так-то рукой,— Пашка нагнулся и, расставляя ноги, показал, как подхватил арестант кандалы,— да и дёрнул! А мы с Козловым, не будь дураки, фонари покидали и — за ним: Козлов тоже за угол, а я прямо наперерез. Бегу, а сам все-норовлю поймать, где звук, где то есть кандалы его звенят,— дуром-то, думаю, и стрелять нечего,— наслышал, наконец того,— раз! Чую — мимо. Я в другой — опять слышу мимо. А Козлов лупит по чем ни попало, того гляди меня срежет... Взяло меня зло: ах, думаю, глаза твои лопни! — приложился, вдарил: слава Тебе, Господи, сорвался, слышу, звук, видно, упал. Выпустил еще два патрона в это место, бегу, а он и вот он: на земли на заде сидит. Сел, руками уперся в грязь, зубы оскалил и храпит: «Скорей, говорит, скорей, рус, вдарь меня в это место штыком», — в грудь, то есть. Я навесил с разбегу ружье — раз ему в самую душу... аж в спину выскочило!

— Ловко! — сказал старик.— Дай-ка затянуться разок... Ну, а Козлов-то где ж?

Пашка быстро, крепко затянулся и сунул старику окурочек.

— А Козлов,— ответил он поспешно и весело, польщенный похвалой,— а Козлов бежит и не судом кричит: «Ай угомонил?» — «Угомонил, говорю, давай тушку тащить...» Взяли его сейчас за кандалы и поволокли назад, к крыльцу... Я его как жожку срезал,— сказал он, меняя тон на более спокойный и самодовольный.

Старик подумал.

— И по рублю, говоришь, наградил вас?

— Верное слово,— ответил Пашка,— прямо из своих рук дал, при всем полном фронте.

Старик, покачивая шапкой, плюнул в ладонь и потушил в слюне окурочек.

Иван не спеша сказал сквозь зубы:

— А дураков, видно, и в солдатах много.

— Это как же так? — спросил Пашка.

— А так,— сказал Иван.— Ты что должен был делать?

Ты должен был не волочь его, а послать с рапортом товарища, а сам с ружьем стать при мертвом теле. Теперь расчухал, ай нет?

### III

Федот заговорил, когда все помолчали и побормотали: «Да-а... ловко» — еще проще.

— А вот я,— начал он медленно, лежа на локте и поглядывая на темную, неподвижно торчавшую перед ним на звездном небе фигуру гимназиста,— а вот я совсем задаром согрешил. Я человека убил, прямо надо сказать, из-за ничтожности: из-за козе своей.

— Как из-за козе? — в один голос перебили старик и Пашка.

— Ей-Богу, правда,— ответил Федот.— Да вы вот послушайте, что за яд была эта коза...

Старик и Пашка опять стали закуривать и уминать солому, przygotowляясь слушать. А Федот серьезно и спокойно продолжал:

— Из-за ней вся и дело вышла. Убил-то, конечно, ненароком... Он же меня первый избил... А потом пошла свара, суд... Он пьяный пришел, а я выскочил сгоряча, вдарил брусом... Да об этом что говорить, я и так в монастыре за него полгода отдежурил, а кабы не было этой козе, и ничего бы не было. Главная вещь, отроду ни у кого у нас не водилось этих коз, не мужицкое это дело, и обращенья с ними мы не можем понимать, а тут еще и коза-то попалась лихая, игривая. Такая стерва была, не приведи Господи. Что борзая сучка, то она. Может, я и не захотел бы ее приобретать,— и так все смеялись, отговаривали,— да прямо нужда заставила. Угодий у нас нету, простору и лесов никаких... Прогону своего у нас спокон веку не было, а какая мелочная скотина, так она просто по парам питается. Крупную скотину, коров мы на барский двор отдавали, а полагалось с нашего брата, мужичка, за всю эту инструкторию две десятины скосить-связать, две десятины пару вспахать, три дни с бабой на покосе отбить, три дни на молотье... Сосчитать, сколько это будет? — сказал Федот, поворачивая голову к старику.

Старик сочувственно подтвердил:

— Избавь Господи!

— А козу купить,— продолжал Федот,— ну, от силы семь, али, скажем, восемь целковых отдать, а в напор она даст бутылки четыре, не мене, и молоко от ней гуще и слаже. Неудоб-

ство, конечно, от ней та, что с овцами ее нельзя держать — бьет их дюже, когда кóтна, а зачнет починать, злей собаки исделается, зрить их не может. И такая цопкая скотина — что ей на избу залезть, на ракутку, — ничего не стоит. Есть ракутка, так она ее беспременно обдерет, всю шкурку с ней спустит — это самая ее удовольствие!

— Ты же хотел рассказать, как человека убил, — с трудом выговорил гимназист, все глядя на Пашку, на его лицо, неясное в звездном свете, не веря, что этот самый Пашка — убийца, и представляя себе маленького мертвого грузина, которого волокут за кандалы, по грязи, среди темной, дождливой ночи, два солдата.

— Да а я-то про что ж? — ответил Федот грубовато и заговорил немного живее. — Ты не можешь этого дела понимать, ты своим домом жить-то еще не пробовал, а за мамашей жить — это всякий проживет. Я про то и говорю, что этакий грех прямо из-за пустого вышел. Я из-за ней трех овец зарезал, — сказал он, обращаясь к старику. — Девять с полтиной за овец взял, а за нее восемь заплатил. Не дешево тоже обошлась... И опять же с бабой пошли каждый день скандалы. Взял, говорю, пустое, восемь за козу отдал, ну, там кой-чего для хозяйства купил, кой-какую вещь, ребятам свистулек набрал, пошел домой, пер, пер, пришел к утру — глядь, полтинника нету: сунул, значит, в карман и посеял. Стала баба деньги считать. — «Где ж, говорит, полтинник? проглотил? Говорила тебе, дураку, тушками продать, а овчины себе оставить...» Слово за слово... Такой скандал пошел, не приведи Господи! Она у меня такая, правду сказать, собака, во всей губернии поискать...

— Это своя допущенье, — деловито вставил Пашка. — Их не бить, добра не видать.

— Понятная дело, — сказал Федот. — Ну, одумалась, покорилась. А подоила козу, и совсем повеселела: хороша, правда, на удой оказалась, и молоко отличная. Мы было и обрадовались. Погнали в стадо. Дал я пастушатам на табак, поднес по чашке водки... а то они, сукины дети, брухаться приучают... Только ворочается вечером стадо — смотрю, нету моей козе. Я к пастуху: почему нашей козе нету? А потому, говорит, пригнали мы стадо на лесной пар, зачала твоя коза с коровами играть, схватилась с быком: отойдет от него, разлетится, разлетится — раз его в кичку! До того его изняла, стал за коров от ней прятаться, а кинешься отгонять, она — шарк в овес... Мы прямо из сил выбились! А потом ушла, бегал за ней подпасок, весь лес выбегал, нигде не нашел, — как сквозь земь провалилась...

— Ну, правда, — яд коза! — сказал старик.

— Ха! — злорадно ответил Федот. — Да это еще что, ты послухай, что дальше-то будет! Как пропала эта самая коза, мы с бабой прямо очумели. Ну, думаем, каюк, попанется она волку на зубы. А того, понятно, и в голове не держим, что куда бы лучше было, кабы ее черти задрали. Кинулись наране в лес, кажись, живого места не оставили, все до шпенту обьелозили — нигде нету! Затужил я бо-зна как, однако еду пахать, — как раз пахота подошла. Взял с собой хлебушка в платочке, положил под мѣжу, пашу, а на другом бугре малый наш деревенский пашет — вдруг, слышу, кричит что-й-то, показывает рукой. Оглянулся я да так и ахнул: коза! Вытащила узелок, схватила в зубы, растрясла и стоит, дергает бородой, хлеб лопаает... Кинул я поскорей соху — к ей. Я к ей, а она от мене. Я к ей, она от мене: отбежит, остановится, жует хлеб — и горюшка мало. И ведь такая веселая да умная стерва — за всем моим движением следит. А меня сердце на нее берет, очень хочется поймать, так бы, кажись, и расшиб ее! Сожрала хлеб и пошла: обертывается, поглядывает, хвостом трясет, — ну, прямо насмешничает!

— Что и говорить, скотина беспечная! — сказал старик.

— Про что ж я-то говорю! — воскликнул Федот, поощренный сочувствием. — Я про то и говорю, что она прямо сокрушила нас! Тут и недели не прошло, стали все на меня обижаться, так, говорят, и живет коза твоя в мужицких хлебах, у меня у самого весь осьминник истолкла, все кисти с овса оборвала. Раз как-то зашла гроза, зачала молонья польхатъ, опустился дождь — смотрю, несется моя белая коза, что есть духу, прямо к нам, орет не своим голосом — и прямо в сенцы. Я со всех ног за ей, зажал ее в угол, затянул через рога подпояской, зачал ее утюжить... гром гремит, молонья жжет, а я ее деру, я ее деру! Должно, боле часу драл, верное слово. Посадил потом на варке, привязал на подпояске... да тот-то ее знает, либо подпояска была гнилая, либо еще что, только глянули мы наране — опять нету козе! Так, веришь ли, аж слеза меня со зла прошибла!

#### IV

Тон Федота стал так прост, сердечен, так полон хозяйственного огорчения, что никому бы и в голову не пришло, что это рассказывает о своем грехе убийца. Да и слушали его просто. Кирюшка неподвижно лежал вниз животом, с головой покрытый армяком, выставив из-под него толсто опутанные белыми

онучами, в больших лаптях ноги. Иван, надвинув на лоб шапку, запустив руки в рукава, лежал на боку и тоже не двигался, молчал же строго и серьезно потому, что считал ниже своего достоинства интересоваться дураками. Ему так было мало дела, убийцы перед ним или нет, что он даже крикнул раз:

— Спать пора! Завтра домелете!

А Пашка и старик, полулежа и задумчиво перекусывая соломинки, только головами покачивали да порою усмехались: ну, правда, и зазнал горя Федот с козой! И Федот, видимо, считая себя уже оправданным этим сочувствием к его смешному и горькому положению, совсем перестал стесняться отступлениями. И гимназист, стиснув зубы и от ветра, и от внутреннего холода, порою дико, с изумлением оглядывался: где он и что это за странная ночь? Но была все такая же, простая, знакомая, деревенская ночь, каких было много: темнело поле, черным треугольником вырезывалась в звездном небе рига, дул ветер по лозняку, за которым вспыхивали и пропадали звезды, доходило до лиц и рук прохладное дуновение с запахом мякины, шуршало в соломе и опять стихало... Глубоким сном спали, утонув в соломе белыми клубками, собаки... И страшное было только в том, что было уже поздно, что высоко поднялась с северо-востока кучка серебряных звезд, что глухо, по-осеннему шумит вдали темная туча дремотного сада, что блестят в звездном свете глаза на лицах разговаривающих...

— Да, братец ты мой,— говорил Федот,— истинно до слез меня довела! Сказывают мне, наконец того,— загнал ее мужик на Прилепах. Иду добывать, делать нечего, такой уж, видно, жребий мой. Прихожу на деревню, где ни гляну,— никого нету, все на работе. Едет мальчик за водой, спрашиваю: где дом Бочкова? «А вон, говорит, где старуха в красной поневе под лозинкой сидит». Подхожу: «Это Бочков двор?» Махает мне старуха рукой, на варок показывает...

— Ошалела, значит, от старости,— вставил Пашка, так хорошо засмеявшись, что гимназист с изумлением и страхом оглянулся на него и подумал: «Да нет, не может быть — это он все наврал на себя!»

— Ошалела,— подтвердил Федот.— Только рукой махает. А я уж давно слышу, свинья на варке юзжит. Отворяю дверь в клетушку, где эта самая свинья сохраняется. Вижу, возит бабу здоровенная матка: навалилась на нее баба, держит одной рукой, другой из ведра на нее поливает. А свинья вся черная от грязи, возит ее, таскает, никак баба с ней не сладит, заголилась до самого живота. И смех и грех! Увидала меня, обдернула подол, ноги, руки, вся лицо в навозе... «Что тебе нужно?» —

«Что нужно? По делу. Вы мою козу загнали, держите прибрлудный скот, а объявление не делаете». — «Никакой, говорит, твоей козе мы не держим. Мы ее выпустили. Ее на барском дворе загнали». И смеется чего-й-то. Та-ак, думаю, значит, опять моя дело табак. Ну, погоди ж ты! Вышел, пошел. Только зашел за соседний двор, повернул на стезжку по конопям, откуда ни явись, мальчишка чей-то рыжий навстречу. «Ты за козой приходишь?» — «За козой. А что?» Вдруг слышу, кричит баба за избой: «Кузьма, куда тебя закружило, глаза твои накройся?» — «Скорей, говорю, беги, вон мать с крапивой идет». А она и вот она — увидала его, бежит: «Не тебе сказала за малым смотреть? А тебе куда завихрило, такой-сякой?» Потом как вскинется на меня! «Ты чей?» — «А тебе, мол, что за дело?» — «Да нет, ты скажи, ты чей?» — «Старой транде казначей. Чего орешь? Я козу свою ищу». — «А, так это ты, глаза твои накройся, с своей козой спокою всему селу не даешь!..» И вижу вдруг — несется ко мне высокий мужик от рыги — без шапки, распяской, в сапогах. Набежал со всех ног: «Твоя коза?» — «Моя». Развернулся — как ахнет мне в ухо!

— Чисто! — в один голос воскликнули старик и Пашка, а гимназист даже взвизгнул: вот оно, самое страшное-то! Но Федот спокойно вытянул из-под себя полу полушубка и спокойно продолжал:

— Да, так огрел, аж в голове у меня зажундело. Я сгреб его за руки, спрашиваю: за что? А тут уж народ бежит... Я при всех прошу просвидетельствовать это дело, опять спрашиваю: что такое моя коза натворила? Оказывается, ребенка с ног долой сшибла, голову до крови проломила, рубаху сжевала, рож истолкла. Чудесно, — подавай в суд, там и с меня спросят, и тебя не помилуют. Теперь-то, мол, елдак ты с меня возьмешь! Шапку надел и пошел поскорей на барский двор. Повеселел маленько: коза теперь, думаю, не уйдет, а взыскивать с меня ты теперь не можешь — драться-то погодить было надо. Подхожу, вижу, едет на лошадке с подрубленным хвостиком мальчик в атласном картузике, с голыми руками, ногами, жокей называется. Лошадь подыгрывает, а он ее хлыстиком жиллет. «Здравия желаем, мол, дозвольте спросить: у вашей милости моя коза?» — «А вы кто такой?» — «Хозяин этой козе». — «Ну, так ее мой папаша велел загнать». Расчудесное дело, иду дальше, взошел на барский двор, стоит, вижу, возле дома, на песочном току, карета четвериком, — лошади жирные, рьяные. На крыльце лакей с двумя бородами. Выходит барышня взрослая в шляпке с лентами, вся лицо в кисее. «Даша, — кричит в дом горничной, — скажите барину, чтобы шел скорей. Он в

манеже». Я к манежу. Вижу, стоит сам барин в мундире с зеленым воротом, а мальчишка на крыше сидит, запустил руку под пелену, ищет что-й-то. Должно, шкворцов, думаю себе. Ан нет, воробьями занялся. Он глядит, кричит: «Лови, лови их, сукиных детей», — а мальчишка ловит воробьят голых, вытаскивает и об землю бьет. Увидал меня: «Ты что?» — «Да вот, говорю, мою козу ваш садовник на землянике прихватил. Дозвольте ее взять, убить». — «Уж это не в первый раз, говорит, я тебя оштрахую на два цалковых». — «Согласен, говорю, с вами, виноват, подписываюсь в этом. Такой грех, говорю, — у меня ее завсегда две девки стерегут, а вчерась, как нарочно, — пострел их знает, сырых грибов, что ль, наелись, — катаются, блюют, а жена-то, признаться, тоже не доглядела, в пуньке лежала, на крик кричала — рука развилась...» Надо ведь как-нибудь оправдываться. Рассказываю ему, какая у меня коза яд, как меня съездили по уху за нее, — смеется, подобрел. «Сколько, говорю, ни преследую, никак не поймаю, и так хотел у вашей милости порошок попросить да у огородника ружье взять, из ружья ее пристрелить». Ну, он и дозволил взять, а я тут же и пристукнул ее.

— Пристукнул-таки? — спросил старик.

— Обязательно, — сказал Федот. — «Ну, бери, говорит, только смотри с моими не смешай». — «Никак нет, говорю, я хорошо ее личность знаю». Пошли на варок, взяли пастуха Пахомку. Глянул я, — сейчас же и заметил ее через овец: стоит, жустрит что-й-то, косится на меня. Согнали мы с Пахомкой овец в угол поплочнее, стал я к ей подходить. Шага два сделал, — она сиг через барана! И опять стоит, глядит. Я опять к ей... Как она уткнет голову рогами в землю да как стреканет по овцам, — так те от ней, как вода, раздались! Взяло меня зло. Говорю Пахомке: «Ты ее подгоняй потише, а я, где потемнее, влезу на перемет, за рога ее перехвачу». А навозу на дворе страсть сколько, под самые переметы в иных местах. Залез я на перемет, лег, облапил покрепче, а Пахомка подпугивает ее ко мне. Дождался я, наконец, того, пока она под самый перемет подошла — цоп ее за рог! Как закричит она, — даже жуть меня взяла! Свалился с перемета, ногами упираюсь, держусь за рог, а она прет меня по двору, вытащила вон, рванулась... Глянул я, а она уж на крыше: вскочила на навоз, с навозу на крышу, с крыши — в бурьян... Слышим, зашумели собаки на дворе, подхватили ее, турят по деревне. Мы, конечно, выскочили — и за ней. А она летит, что ни есть духу, и прямо к крайней избе: там изба новая строилась, еще окна заложены были замашками и сенец нету, а положены к крыше наскосьяк лозинки голые. Так она по ним на самый князек взвилась — взнесла же ее вихорная

сила! Подбежали мы поскорее, а она, видно, почувяла смерть — плачет благим матом, боится. Подхватил я здоровый кирпич, изловчился — да так ловко залепил, что она аж подскакнула, да как зашуршит вниз по крыше! Подбежали мы, а она лежит, дергает языком по пыли... дернет и захрипит, дернет и захрипит... А язык длинный, чисто как у змеи... Ну, понятно, через какой-нибудь полчаса и околела.

## V

Помолчали. Федот приподнялся, сел и, согнувшись, разводя руками, стал медленно развивать оборки, которыми были опутаны его старые, все спускавшиеся онучи. И через минуту гимназист с ужасом и отвращением увидел то, что прежде видел столько раз совершенно спокойно: голую мужицкую ступню, мертвенно-белую, огромную, плоскую, с безобразно разросшимся большим пальцем, криво лежащим на других пальцах, и худую волосатую берцу, которую Федот, распутав и кинув онучу, стал крепко, с сладостным ожесточением чесать, драть своими твердыми, как у зверя, ногтями. Надрыв, он пошевелил пальцами ступни, взял в обе руки онучу, залубневшую, вогнутую и черную в тех местах, что были на пятке и подошве, — точно натертую черным воском, — и тряхнул ею, развевая, по свежему ветру нестерпимое зловоние. «Да, ему ничего не стоит убить! — дрожа, подумал гимназист. — Это нога настоящего убийцы! Как он страшно убил эту прелестную козу! Но Пашка! Пашка! Как он мог так весело рассказывать? И с наслаждением: «Аж в спину выскочило!»

Вдруг, не поднимая головы, сумрачно заговорил Иван:

— Дураков и в алтаре бьют. А тебя-то, Постный, за эту козу задрать мало. За что ж ты ее убил? Ты бы продал-то ее. Какой же ты после этого хозяин, когда не понимаешь, что без скотины мужику нельзя быть? Ее ценить надо. Да будь у меня коза-то...

Он не договорил, помолчал и вдруг усмехнулся.

— Это вот в Становой была история, ну, правда что... Вот не хуже твой козе, бык у барина Мусина завелся озорной. Прямо проходу никому не давал. Двух пастушат заколол, на чепь приковывали, и то срывался, уходил. Тоже вот так-то весь хлеб у мужиков истолок, а согнать никто не смеет: бояться, за версту обходят. Ну, рога, понятно, спилили, вылегчили... по-смирнел. Только мужики припомнили ему. Как пошли эти бунты, так они что сделали: поймали его на поле, веревками обротали, свалили с ног долой... бить не стали, а взяли да

освеживали дочиста. Так он, голый, и примчался на барский двор,— разлетелся, грохнулся и околел тут же... кровью весь исшел.

— Как? — сказал гимназист.— Кожу содрали? С живого?

— Нет, с вареного,— пробормотал Иван.— Эх, ты, московский обуватель!

Все захохотали, а Пашка, хохоча пуще всех, подхватил:

— Ну и разбойники! А ты так-то говоришь, миловать нас! Нет, брат, знать, без нашего брата, прохожего солдата, тут не обойдешься! Мы вот, когда после Сеняк под Курском стояли, так тоже смиряли одно село. Затеялись там мужики барина разбивать... И барин-то, говорят, добрый был... Ну, пошли на него всем селом, и бабы, конечно, увязались, а навстречу им — стражники. Мужики с кольями, с косами,— на них. Стражники сделали залп, да, понятно, драло... какая там черт сила в этих мужланах! — а одна пуля и жильни ребенка на руках у бабе. Баба жива осталась, а он, понятно, и не пискнул, так ножками и брыкнул. Так, Господи ты Боже мой! — сказал Пашка, мотая головой и усаживаясь поудобней,— чего только не натворили мужики! Все в лоск, вдребезги разнесли, барина этого самого в закуту загнали, затолкли, а мужик этот, отец-то этого ребенка, прибежал туда с этим самым ребенком, задохнулся, очумел от горя — и давай барина по голове этим ребенком мертвым охаживать! Сгреб за ножки — и давай бузовать. А тут другие навалились и, значит, миром-сбором и прикончили. Нас пригнали, а уж он тлеть стал...

Тут неожиданно зашевелился и Кирюшка и с детской наивностью сказал, поднимая голову:

— А вот что было, когда Кочергина-барина разбивали... бядя! Я тогда в пастухах у него жил... Так они все зеркала в пруд покидали... Ходили потом с деревни купаться и все из тины их вытаскивали... Нырнешь, станешь, а она под ногой так и скользнет... А эту... как ее... фортопьяну в рожь заволокли... Мы, бывало, придем...— Кирюшка приподнялся и, смеясь облокотился.— Мы придем, а она стоит... Возьмешь дубинку, да по ней, по косточкам-то... с угла на угол... Так она лучше всякой гармоньи играет!

Все опять засмеялись. Федот переобулся, опять аккуратно перекрестил онучи оборками и, оправившись, принял прежнее положение. И, выждав минуту молчания, размеренно стал докладывать свою историю:

— Да-а, шмурыгнул меня по уху да еще в суд на меня подал... за эти, значит, за все протери-убытки, за потраву. Звали его Андрей Богданов... Андрей Иванов Богданов. Рос-

лый мужик, красный, худой, завсегда злой, пьяный. Ну, и подал на меня. Меня же огрел по уху и на меня же подал! Тут самая рабочая пора подошла, дохнуть некогда, а я при за пятнадцать верст... За то-то, видно, и покарал его Господь...

Глядя в солому, глухо покашливая и обтирая ладонью свои плоские губы, Федот говорил все сумрачнее и выразительнее. Сказав: «Покарал его Господь», — он помолчал и продолжал:

— Дело-то на нет, понятно, свели. Помирили нас. Обоюдная, значит, обида. Но только он тем не пронялся. Помирился со мной, да тут же отшел, пьяный напился, стал грозить убить меня. При всех кричит: «Погоди, говорит, погоди, это я еще не пьян сейчас, а выпью, я тебя утешу». Хочу от скандалу уйтить, — за пельки хватает... потом на деревню к нам зачал ходить: придет, пьяный, под окна и давай меня матерком пушить. А у меня дочь взрослая...

— Неладно! — сочувственно крикнул старик и зевнул.

— Хороша лада! — сказал Федот. — Ну, вот и пришел под Кирики, вечером. Слышу, шумит по улице. Я встал, ни слова не говоря, ушел на двор, сел на борону, стал косу отбивать. А такая зло берет, аж в глазах темнеет. Слышу — подшел к избе, буянит. Должно, стекла хочет бить, думаю себе. А он погамел и уж пошел было прочь. Тем бы и кончилось, может, да выскочила Олька, дочь моя... да и закричи не своим голосом: «Отец, караул, меня Андрюшка бьет!» Я выскочил с брусом от косе, да сгоряча — раз его в голову! А он и наэземь. Подскачили к нему, а он лежит, хрипит и уж слюни пускает. Прибежал народ, стали водой отливать... А он лежит и уж только икает... Может, тут надо было походатайствовать чем-нибудь... какой-нибудь примочки там приложить, али еще что... в больницу бы свезть поскорей, да доктору десятку, да где ее взять? Ну, он поикал, поикал, да и помер к ночи. Побился, побился, на спину запрокинулся, вытянулся и готов. И народ кругом стоит, смотрит, молчит. А уж огни зажгли...

Весь дрожа мелкой дрожью, с пылающим лицом, гимназист поднялся и, утопая по пояс в соломе, пошел по омету вниз. Борзая, испуганная им, вдруг вскочила и отрывисто брехнула. Гимназист опять сел в солому и замер. Шумел холодный ветер, над самой головой белела кучка холодных осенних звезд, а за бугром шелестевшей соломы слышался мерный, низкий голос Федота:

— Я в пуньке под стражей два-дни сидел и все это в окошечке видел... как анатомили-то его. Сошелся народ со всех деревень, смотреть этого убиенца и меня, конечно, в том числе. Лезут под самую пуньку... Вынесли две скамейки на выгон,

поставили под самой пунькой, положил на них убиенца. Под голова чурбан подсунули. Резаку и следователю стулья, стол принесли. Подошел резак, рубаху оборвал, портки оборвал — лежит, вижу, труп совсем голый, уж твердый весь, где зеленый, где желтый, а лицо вся восковая, красная борода редкая так и отделяется. На причинное место резак лопух положил. Тут же, обыкновенно, ящик с разными причандалами. Подошел резак, разобрал ему волосы от уха к уху, сделал надрез и зачал половинки с волосами зачищать. Где отóнок, ножичком скоблит. Отодрал их на обе стороны, открыл одну, на нос положил. Стал виден черепок весь — как колгушка какая... А на нем пятно черная окол правого уха, черная стуженная кровь,— где, значит, удар-то был. Резак говорит следователю, а тот пишет: «На таких-то сводах три трещины...» Потом зачал черепок кругом подпиливать. Пила не взяла, так он вынул молоточек с зубрильцем и по этому следку, где пилкой-то наметил, зубрильцем прострочил. Черепок так и отвалился, как чашка, стал весь мозг виден...

— Что делают, разбойники-живорезы! — хрипло заметил задремавший было старик.

А Федот твердо договаривал:

— Потом вынул толстый нож, стал резать грудь по хрушшам. Вырубил косяк, стал отдирать — трещит даже... Стало видать желудок весь, легкие синие, всю нутренность...

Глухой от стука собственного сердца, гимназист поднялся на ноги, во весь свой длинный рост, в картузе, сдвинутом на затылок, в легкой шинельке, которая была уже коротка ему. Серый, большой, страшный в своем монгольском спокойствии, Федот мерно говорил, держа трубку в зубах, но он уже не слушал его. Он во все глаза глядел на всех этих, таких знакомых и таких чужих, непонятных, всю душу его перевернувших в эту ночь людей. Жалкий в своем пороке и смиренности, в своей пастушеской первобытности, Кирюшка спал, покрывшись армяком, выставив из-под него толстую, в белых онучах, согнутую в колене ногу. Спал Иван с сумрачным, презрительным лицом, Иван, в черной землянке которого на краю голой деревни, в темноте и грязи, под низким потолком, под дерновой крышей, уже третий год лежит, умирает и все никак не умрет его страшная, черная старуха мать, а зубастая, худая жена кормит темно-желтой, длинной тошей грудью голопузого, сопливого, ясноглазого ребенка, с губами, в кровь источенными несметными избяными мухами. Спал крепким, здоровым сном, на свежем ветру, счастливый Пашка, в своем солдатском картузе, тяжелых сапогах и новом полушубке. А старик Хомут, у которого нет даже полушубка,— есть только зипун с боль-

шой прорехой на плече,— у которого так низко висят всегда на дряблых ляжках истертые портки, сидел спиной к ветру, без шапки, голый по пояс. Он, старчески-худой, желтотелый, с косо поднятыми плечами, с искривленным крупным позвоночником, блестящим при свете звезд, сидел, наклонив лохматую голову, которую ерошил свежий ветер, согнув свою уже тонкую, всю в жестких морщинах шею, пристально осматривал снятую рубаху и, слушая Федота, порою крепко давил ногтями ее ворот.

Гимназист соскочил на твердую и гладкую осеннюю землю и, горбясь, быстро пошел к темному шумящему саду, домой.

Все три собаки тоже поднялись и, смутно белея, бочком побежали за ним, круто загнув хвосты.

*Канри. 19—23.XII.1911*





## ВЕСЕЛЫЙ ДВОР

### I

Мать Егора Минаева, печника из Пажени, так была суха от голода, что соседи звали ее не Анисьей, а Ухватом. Прозвали и двор ее — окрестили в насмешку веселым...

Егор, как говорили в Пажени, весь выдался в Мирона, покойного отца своего: такой же пустоболт, сквернослов и курильщик, только подобрей характером.

— Сосед он хоть куда, — говорили про него, — и печник хороший, а дурак: ничего нажить не может.

Зарботки у Егора всегда были плохи, надел не выходил из сдачи. Изба его, огромная, нескладная, с каждым годом все больше да больше сгнивала, разваливалась без призора. Раз он принес откуда-то и налепил снаружи на ее косою простенок, на трухлявые бревна, большую солдатскую мишень — черной краской напечатанное на белом бумажном листе туловище, с ружьем на плечо, в фуражке набекрень, с вытарашенными глазами. А вот поправить крышу, законопатить пазы, переложить печку, боровá почистить — на это у него догадочки не хватало, и зимой в избе волков можно было морозить: по всем углам нарастала снежная опушка. Давным-давно по чурке растаскали бы все это тырло добрые люди. Да мешала Анисья.

Егор был белес, лохмат, не велик, но широк, с высокой грудью. Ходил Егор в облезлом, голубом от времени и тяжелом от пота, гимназическом картузе, в посконной рубахе с обитым, скатавшимся воротом, в обвисших, протертых и вытянутых на коленях портках, в лаптях, обожженных известкой. Всюду много и без толку болтал он, постоянно сосал трубку, до слез надрываясь мучительным кашлем, и, откашлявшись, блестя запухшими глазами, долго сипел, носил своей всегда поднятой грудью. Кашлял он от табаку, — курить начал по восьмому году, — а глубоко дышал от расширения легких, и когда дышал, все раскрывалась, показывалась в продольную прореху вóрота бурая полоска загара, резко выделявшаяся на мертвенно-бледном теле. Уродливы были его руки: большой

палец правой руки похож на обмороженную култышку, ноготь этого пальца — на звериный коготь, а указательный и средний пальцы — короче безымянного и мизинца: в них было только по одному суставу. Но ловко мял он этими тугими култышками золу в хлюпающей трубке, кашлял надрывисто, но даже с наслаждением как будто: «А-ах, так-то его так!» Глядя на него, не верилось, что бывают матери у таких хрипунов и сквернословов. Не верилось, что Анисья мать его.

Да и нельзя было верить. Он белес, широк, она — суха, узка, темна, как мумия; ветхая понева болтается на тонких и длинных ногах. Он никогда не разуается, она вечно боса. Он весь болен, она за всю жизнь не была больна ни разу. Он пустоболт, порой труслив, порой, с кем можно, смел, нахален, она молчалива, ровна, покорна. Он бродяга, любит народ, беседы, выпивки,— сём, пересём, лишь бы день перешел. А ее жизнь проходит в вечном одиночестве, в сиденье на лавке, в непрестанном ощущении тянущей пустоты в желудке и непрестанной грусти, с которой она уже сроднилась: «Земля забыла меня, грешную!» Единственным оправданием такой забывчивости была, по мнению Анисьи, необходимость стеречь, сохранять для Егора избу: все думала,— авось, уж не молоденький, авось, образумится, женится. Нежно и сладко туманили ей голову мечты об этом несбыточном счастье. А он постоянно твердил: «Дóвеку не женюсь! Теперь я — вольный казак, а женишься — журишь о жене. Да пропади она пропадом!..» Он не признавал ни семью, ни собственности, ни родины.

Наняться куда-нибудь, работать мешала Анисье, помимо избы, еще и та беда, что очень слаба была она, да и крива вдобавок. Много лет ходил по лавке возле нее, по лавке, на которой провела она столько долгих дней, старый черный с золотом петух: она сидит и думает, подпирая тонкой рукой щеку, а он похаживает, клюет мух по мутным, собранным из кусочков стеклам. Раз сунулась она к окошку,— кто-то ехал по деревне с колокольчиками,— а петух как стукнет в левый глаз ее! И глаз вытек, впалые веки стянуло, осталась одна серая щелочка... Прежде сеяла она коноплю на огороде, брала замашки, мяла пеньку: все был доходишко. Но Егор и огород сдал. Прежде на поденщину принимали ее — к мелкому помещику Панаеву, что в версте от Пажени. Да стали обижаться девки,— «старый черт работу отбивает!» — стали наговаривать приказчику, будто все у нее, сóслепу, из рук валится, стали тайком всовывать краденые из барского сада яблоки в тот платочек, в который, идя на работу, завязывала она свой завтрак — горбушку черствого хлеба...

Замуж вышла Анисья рано, — рано одна на свете осталась. Любить Анисье в молодости некого было. Но и не любить не могла она. С несознаваемой готовностью отдать кому-нибудь душу выходила она за Мирона, — тоже печника, вольноотпущенного дворового, — и любила его долго, терпеливо, затем, что, скинув вскоре после свадьбы от побоев, долго лишена была возможности на детей перенести свою любовь. Во хмелю Мирон бывал буен. Дело известное: трезвый ребенка не обидит, а напьется — святых вон выноси. Бьет стекла, гоняется за сыном и женой с дубинкой. «Ну, опять у Минаевых крестный ход пошел! — говорили соседи, радуясь такой забаве. — И веселый же двор, ей-Богу!» Когда нехотя просил он прощенья, протрезвившись, скоро сдавалась она на ласковое слово, только тихо говорила сквозь слезы: «Что ж, над тобой же будут люди смеяться, если калеккой меня сделаешь!»

Все же, после смерти Мирона, даже такое прошлое стало казаться счастьем Анисье. Да, когда-то были и молодость, и семейная жизнь, и хозяйство у нее; был муж, были дети, были радости и горести — все как у людей... Двадцать лет тому назад замерз Мирон, — ни с того ни с сего увязался пьяный за чужим обозом в Ливны, — и много ночей провела она без сна, сидя в темной избе на конике, вспоминая и думая; но никто не узнал ее дум. Всех умерших детей оплакала она горькими слезами, но оплакала тоже тайком, в одиночестве. Нищета, разорившая дотла ее двор, часто заставляла ее кланяться соседям, просить у них помощи ради сироты-сына, пока мал он был; но никогда не насмеливалась она напоминать людям, что в былое время помогала и она им. И вышло так, что в Пажени никому и не верилось, что жила она когда-то по-людски. Чаяла она отдохнуть хоть в старости, за сыном. Мужик он вышел добрый, — на словах только бесстыж и горяч, не то, что отец-покойник. Руки у него золотые, говорила она, еще как жили-то бы, не брось он дома!

Нынешней зимой даже Пажень удивил Егор: всего могли ждать от него, но только не того, что вдруг бросит он свое дело, и ни с того ни с чего, — вот как Мирон за чужим обозом, — уйдет, всем на посмешище, в золотари в Москву. Но и в Москве пробыл он без году неделю. Думала порой Анисья, в самое сердце пораженная вестью об его уходе, что, быть может, ради ее вечного голода, ради хорошего заработка, с затаенною целью поправить свою жизнь ушел Егор. Но вот он внезапно вернулся, — оборванный, без копейки денег; ночевал три ночи дома, но и двух слов путных не сказал ни с соседями, ни с матерью, — был какой-то хоть и не скучный, а рассеянный;

даже не сумел объяснить толком, зачем шатался в Москву,— сказал только: «Да ай велика беда?» — и опять исчез.

В мае нанялся он караулить Ланскóе, лес помещика Гурьева, что от Пажени верстах в пятнадцать. Положили ему отведенное только да три рубля в месяц. А что такое три рубля? То купи, другое купи... на спички даже не хватает... И, нанявшись, Егор совсем перестал помогать матери.

В Петровки, доев последнюю корку занятого с великим трудом хлеба, решила она наконец побывать в Ланском, повидаться с сыном, проведать его, а главное, хоть малость подкрепиться. Доедала она хлеб с большой осторожностью — и все слабела, слабела. Не в меру стало клонить в сон, рябить в глазу, звенеть в ушах; стали пухнуть ноги, стала томить неотвязная мечта: поесть чего-нибудь горячего, с солью. Боязно было сказать себе: пойду. Да надоумили, разговорили, настроили прохожие. Зашли они напиться — старушка и молодая; ходили в Гурьево, поминать умершего. Старушке умерший был сыном, молодой — мужем. И вот все трое разгрустились, разговорились о своей женской доле, о мужьях, сыновьях. Молодая, — крупная, с большим бледным лицом и большими серыми глазами навыкат, хорошо и нарядно одетая — в новую корсетку из коричневой сермяги со сборками назад, в красную шерстяную юбку и полсапожки, с черной бархаткой, украшенной белыми пуговками, на шее, — та все молчала. Старушка, сухонькая, чистенькая, устало-оживленная, говорила без умолку, а молодая за все время только раз, просто и не спеша, вставила свое слово: когда старушка запнулась, запаматовала город, куда угнали в солдаты ее меньшого сына.

— Три недели тому назад схоронили, сударушка, — ласково говорила старушка Анисья. — Съездил в город, был ужасный веселый, а приехал домой, погнал лошадей в ночное, двух десятин до Щедринского хутора не догнал, — мы через Щедрина, через его поле скотину-то гоняем, — воротился. Пришла я с холстами, вижу, лежит он на печи, полушубком накрылся... «Умираю, говорит, мамаш, заболел я. Погнал вчерась в ночное, двух десятин до Щедринского рубежа не догнал — понесло на меня вроде как холодом, ознобом, насилу назад дошел, ноги подламываются...»

Анисья вздохнула, и на глаз ее навернулась слеза. «Дитя-то хоть криво, а матери рóдной все мило, — подумала она и вздохнула от грустной нежности к сыну. — Пойду, была не была, авось не чужая...» А старушка продолжала, вытирая углы тонких, сморщенных, стянутых в оборочку губ худыми твердыми пальчиками:

— Что тут, ягодка, делать? Дала я ему две просвирки, одну заздравную, другую за упокой. Съешь, говорю, сынок, може, полегчает. На третий день он и кличет меня: «Мамаш, добре нынче день хорош, поводите меня, а то тут, в избе, дух чижелый». Повели мы его на гумно, посадили на солому, сами отлучились на минутку — óвцу стричь. Немного годя приходим, а он уж и голову уронил, едва дышит: раньше лицо красная, как сукно, была, а тут уж ото лба белеть стала. Приподняли мы его, а он уж кончился. Не дождался, значит, нас...

И Анисья задумалась. Растроганная беседой, умиленная материнской нежностью, материнскими горестями, стала она советоваться с прохожими, как ей быть: идти или нет? Если уж идти, так не лучше ли с умом идти: не затем только, чтобы проведать, а чтобы на все лето остаться? Вон, говорят, он теперь отвесное получает; а ведь при отвесном и она прокормится, — авось не объест, много ль ей и надо-то...

Старушка сказала:

— Да ведь как сказать? — не угадаешь, как лучше, сударушка. Мой-то Тихон не пример другим. Уж такой степенный был, один в свете разумный и задумчивый! А послышишь кругом, — правда, не те сыновья ноне пошли, не чета моему, вероломные... Ну, а все-таки я бы пошла. Мой сгад — иди.

— Он не может не кормить матери, — прибавила молодая.

И Анисья повеселела.

— Ну, ин, пойду, — сказала она нерешительно. — Ведь он только скучлив у меня, а никто плохого не скажет, — не драчун, не пьяница. Вот только дома не любит сидеть... А мне голодно, да и скука съела. Иной раз думаешь: хоть бы захворал, что ли, все бы дома пожил... Мужик он добрый, да, конечно, рабочий человек, обидчивый. У меня одна душа, у него другая. Придешь, думается, а он ну-ка обидится...

Проводив прохожих, она долго оглядывала пустую избу: нельзя ли продать что? Но все богатство ее состояло в старой укладке, где хранился единственный подарок Егора, — погребальный платок, купленный в монастырской лавке в Задонске, большой белый коленкорový платок, весь усеянный черными черепами, сложенными крест-накрест черными костями и черными надписями: «Святый Боже, святой крепкий...» Грех продавать такую вещь, да и жалко, правду сказать: принес Егор свой подарок с искренним желанием порадовать мать, выпивши... Ну, да сам же виноват, думала она, — забыл мать, до крайности довел. А Бог милостив, Он видит нужду: похоронят и без платка, с бедной старухи на том свете не взыщется... И пошла продавать платок. Тонет в хлебах, в лозняке Пажень.

Одна кирпичная изба богача Абакумова далеко видна. Она на фундаменте, под железной крышей, с разноцветными мальвами, с палисадником. В воскресенье пошла Анисья к Абакумову. Абакумов зорко оглядел платок своими татарскими глазками, кликнул мать, сумрачную толстую, отекающую старуху в ватной кофте и валенках.

— Что ж просишь? — медленно выходя из избы, исподлобья оглядывая крыльцо и горбясь, неприветливо спросила старуха.

Анисья, чувствуя недоброе, стала хвалить платок, показывать товар лицом — накинула его на плечи, прошлась. Абакумов, подумав, положил «два орла» — гривенник; потом, усмехнувшись, прибавил еще пятак — «за манеру». Анисья покачала головой и пошла домой, даже не сняв с себя платка. А дома, сидя в этом трауре, долго разглядывала его концы своим единственным глазом, что-то обдумывая. Потом облокотилась на стол, уже ничего не думая, а только слушая звон в ушах... В пазах стола застряло когда-то порядочно пшена. Она наковыряла с полгорсти, съела. Потом спрятала платок в укладку, легла на большие голые нары возле большой треснувшей печки, когда еще не смерклось путем, говоря себе: надо поскорее заснуть, а то не дойдешь, надо выйти пораньше да уходя не забыть запереть укладку, закрыть трубу на случай грозы...

Продумав всю ночь сквозь сон что-то тревожное, неотступное, просувив ногами, — жгли их блохи, жилили мухи, — заснула она крепко лишь под утро. Проснулась, когда уж ободнялось — и болезненно обрадовалась дню, тому, что она жива, что идет в Ланское, начинает какую-то новую, может, хорошую жизнь... Бог милостив — чувствовать себя на белом свете, видеть утро, любить сына, идти к нему, это — счастье, сладкое счастье... Изнутри приперла она дверь в сенцах однозубым рогачом, воткнув его в землю, нашла в углу палку, испачканную воробьями, перелезла через обвалившуюся стену... По зеленому выгону, возле пруда, к которому ковыляли приказчиковы гуси, длинными серыми полосами лежали белившиеся холсты. Машка Бычок, конопатая, здоровая девка, навалив по свернутому, мокрому, тяжелому холсту на каждый конец коромысла, шла навстречу, вся виляясь, мелко перебирая белыми крепкими ногами по зелени. Анисья подумала: слава Богу, с полным навстречу...

Весь май, весь июнь перепадали дожди. Хлебá и травы в нынешнем году чудесные. Путаясь худыми ступнями и поневою по межам, заросшим травой и цветами, меряя палкой стежки среди ржей, овсов и гречи, радовалась, по привычке, Анисья на

урожаем, хотя уже давно не было ей никакой пользы от урожая. Ржи были высоки, зыблились, лоснились, только кое-где синели васильки в них. Выметались и тускло серебрились тучные, глянцевиные стеблем овсы. Клины цветущей гречи молочно розовели. День был облачный, ветер дул мягкий, но сильный, — усыплял пчел, мешал им, путал их, сонно жужжащих, в ее кустистой заросли, обдавал порою запахом гретого меда. И то ли от ветра, то ли от этого запаха томно кружилась голова. Шла Анися стежками, межами, чтобы сократить дорогу, но, когда миновала панаевские лощины и выбралась на противоположную гору, вышла в чистое поле, откуда далеко видно, — вплоть до станции на горизонте, — сообразила, что дала крюку.

С самого выхода из дому чувствовала она, что надо обдумать главное: дома ли Егор, застанет ли она его? И все отвлекалась, все не могла собраться с мыслями. Теперь две горлинки, шагах в десяти друг от друга, по одной линии, мелко и споро бежали перед нею вдоль аспидной дороги и мешали думать. Она долго, пока не поднялись они, не могла понять, что это такое: горлинки совсем под цвет дороги, только спинки с брусничным отливом. Они женственно, игриво семенили, потом легко взлетели, распустив серые хвосты с белой каемкой, и опять сели, опять побежали. Анися махнула на горлинок палкой: затрепетал легкий свист крыльев, но не прошло и минуты, как опять увидела она их, бегущих быстро и однообразно. Они мучили, утомляли ее, но и трогали своей красотой, беззаботностью, нежной привязанностью друг к другу. Сколько лет ее черно-зеленой, клетчатой поневе, грязной, ислевшей на высохшем теле рубахе, темному, в желтом горошке платку? Старость, худоба, горе так не идут к красоте горлинок, цветов, плодородной земли, забывшей ее, нищую старуху, — и она болезненно чувствовала это. Она опять неловко и робко махнула на горлинок. Горлинки взлетели — и она постояла, выждала, пока они скрылись...

Она бодрилась, но клонило в сон. Идти по убитому колесами проселку еще легче, чем по мягким стежкам, ступать босыми ногами по теплой земле так сладко. Но махали, махали по горизонту крыльями несуществующие мельницы. А поднимешь глаз на облачное небо — плывет, плывет стеклянный червячок, плывут стеклянные мушки, и никак не поймаешь, не удержишь их на месте: только остановишь взгляд, а червячок уж соскользнул куда-то — и опять плывет кверху, скользит, поднимаясь, и множатся, множатся мушки... Она замедляла шаг и переводила дух: «Ой, не дойду! Потихе надо...» И опять шла, и опять, сама того не замечая, начинала спешить...

Теплый ветер, дувший с юга, в бок, нес над простором серозеленых равнин песни жаворонков, аромат цветочной пыли. Мягко, густо и нежно синели дальние деревни, перелески. Вон в далекой дали справа, за полями и верхами, видна церковь Знаменья, родного и уж давно забытого села. Вон налево, еще дальше, за Воргольскими лугами — бедные степные деревушки: Каменка, Сухие Броды, Рябинки... Небо загромождали огромные, но легкие и причудливые, лилово-дымчатые облака. Они собирались по горизонтам в синеватые тучки, и туманно-голубыми полосами опускался из них дождь. А невидимые мельницы все махали и махали крыльями даже и в этих полосах... Разве лечь, подремать? Но нет, нельзя: после отдыха еще труднее идти и работать, она хорошо знает это по долгому опыту. Да вон и едет кто-то... Показалась впереди тройка. Она стала разглядывать ее и оживилась. Тройка, вся в медных бляхах, в дорогой наборной сбруе, приближалась медленно, сдерживая игривую силу. Гнедой козленок, высоко задрав голову, шел шагом, темно-ореховые пристяжные, изгибая лоснящиеся шеи и почти касаясь раздутыми ноздрями дороги, плыли. Прищурился, завалившись в задок тарантаса, ленился молодой кучер, в плисовой безрукавке, в соловой рубахе, в городском картузе, в замшевых рукавицах... Какой-то особый вид у этих гладких, барских лошадей, какой-то особый вкусный запах у этих тарантасов: мягкой кожи, лакированных крыльев, теплой колесной мази, перемешанной с пылью... А вот начинается зелено-оловянное гороховое поле, тоже барское. От тройки Анистья перешла на межу, покосилась на горох, проводила глазом приподнятый задок тарантаса... Да нет, горох еще и не наливался. Кабы налился, наелась бы досыта — и не увидал бы никто! И, сморщив лицо, поглядела Анистья на небо, туда, где чувствовалось за более светлыми и теплыми облаками солнце: должно, едет кучер к часовому поезду на станцию, — у людей обеда на дворе...

Она забыла о мельницах — мельницы стали махать тише. Она шла и шла; межа, вся усыпанная белыми цветами, бежала ей под ноги, белые точки цветов дрожали. А где-то разнообразно, весело ругались бабы — перебивали друг друга звонкие бабьи голоса. Она ясно слышала каждый из них, даже с некоторым удовольствием следила за их изменениями, скороговорками, вскрикиваниями. Но внимания на них не обращала, — дело привычное слушать эти несуществующие голоса! — думала свое, что попало, все еще не будучи в силах собраться подумать о Егоре: думала то о муке какой-то, у кого-то занятой да так и не отданной, то о том, что вчера у соседки теленок жевал весь подол рубахи, висевшей на плетне, то о своей

близкой смерти... «Постыдилась бы, постыдилась бы!» — звонко кричали бабы. «Надо сесть», — отвечала им Анисья мысленно и все дожидалась кем-то назначенного для отдыха места. Кем оно назначено? Богом? «Нет, сыном, Егором!» — крикнул кто-то. Она вздрогнула, мотнула головой, прогоняя дремоту...

И по меже, и во рву под межою — всюду пестрели цветы. Чувствуя, что не добиться ей до назначенного места, Анисья села на первое попавшееся. Бабы смолкли. «Хорошо!» — подумала она. И с задумчиво-грустной улыбкой стала рвать цветы; нарвала, набрала в свою темную грубую руку большой пестрый пук, нежный, прекрасный, пахучий, ласково и жалостно глядя то на него, то на эту плодородную, только к ней одной равнодушную землю, на сочный и густой зелено-оловянный горох, перепутанный с алым мышинным горошком. Бабы молчали, мельницы исчезли. Теперь она плыла, плыла, как тот стеклянный червячок по воздуху. Вон вдали, в горохе, шалашик для сторожа, пока еще пустой: залезть бы в него и — спать... Ветер нес над полями убаюкивающие трели жаворонков, убежала в поля зеленая межа. Не мало росло на ней ромашки, золотой куриной слепоты, бархатисто-лиловых медвежьих ушек, малинового клевера. Прикрывая глаз, Анисья щипала остинки то из медвежьих ушек, то из клеверных шапочек: тошнило, пекло губы, а в остинках были свежие капельки горького меду. Вдруг сердце замерло, — холодом облила голову, отняла плечи, заняла в них и по всему телу прошла та жуткая, как бы предсмертная, тошная волна, что накатывает на человека, высоко вознесшегося на качелях, вдруг сорвавшегося и летящего вниз. Переломив себя, вскочила Анисья с межи, с примятого во влажной траве места, и почти побежала. До дрожи в руках и ногах захотелось застать сына, что-то сказать ему, перекрестить на прощанье...

За горохом пошли пары. Мужики пахали их. Она слабо крикнула, верно ли, что влево поворот в Гурьево, а направо в Ланское? «В Ланское!» — тоже криком отозвался большой босой старик, расстегнувший под своей первобытно-густой бородой ворот длинной рубахи, подоплека которой чернела от пыли и пота. «А напиток, рódный, нечего?» Он, шатаясь, оступясь в борозде, подошел в это время с сохой к меже и, обивая блестящую палицу о подвои, остановился. «Можно», — сказал он. Она подняла с межи кувшин, заткнутый шапкой, и припала к воде, косясь на ступни старика. Он был страшен, похож на лешего или болотного: огромная голова, зеленовато-желтые кудлы, такая же борода, фиолетовое конопатое лицо и совсем

зеленые глаза, свирепо сверкавшие из-под косматых и редких бровей; ступни же его — цвета свеклы — напоминали сошники. Но сразу видно — редкой доброты человек... Она напилась, хотела спросить, нет ли хлебушка, — и не смогла, не сумела...

Теперь она вспомнила места. Оставалось до Ланского версты две, и она не спускала глаза с большого дерева, одиноко белевшего стволом среди моря выколосившейся пшеницы близ лесной опушки, — со старой березы, круглившейся своей вершиной, серебристой от ветра, на облачно-дымчатом небе. За пшеницей, за березой показался шелковистый березовый кустарник, темно-зеленый. Место тут степное, ровное, кажется очень глухим: ничего не видишь, кроме неба и бесконечного кустарника, когдаходишь в Ланское. Везде буйно заросла земля, а уж тут прямо непролазная чаща. Травы — по пояс; где кусты — не прокосишь. По пояс и цветы. От цветов — белых, синих, розовых, желтых — рябит в глазах. Целые поляны залиты ими, такими красивыми, что только в березовых лесах растут. Собирались тучи, ветер нес песни жаворонков, но они терялись в непрерывном, бегущем шелесте и шуме. Еле намечалась среди кустов и пней заглохшая дорога. Сладко пахло клубникой, горько — земляникой, березой, полынью. Анисья спешила, спотыкаясь, путаясь в цветах и травах. Вот и караулка. Но висит на ее дверке большой рыжий замок. И, увидав его, Анисья вдруг сморщила лицо и заголосила.

Но голосить на бегу было трудно. Заколотилось сердце, стало жарко, слезы мешали видеть. И она остановилась. Кругом — полынь, лопухи, крапива, в крапиве — избенка без крыши. Из лопухов вылез кобель, черно-седой, сероусый, с гноющимися глазами, с обрубленным хвостом и обрубленными, в кровь разъеденными всякой мошкаррой ушами. Он поднял эти обрубки и глухо забрежал — каким-то особым, лесным брехом. Она стала и не двигалась с места, глохла от стука собственного сердца. Кобель поглядел на нее — и смолк, отвернулся. И долго оба стояли в нерешительности: он не знал, продолжать ли брехать, она — подходить ли?

— Егорушка! — слабо крикнула она.

Никто не отозвался. Кобель подумал и брехнул еще раз. Потом опустил свои обрубки — и голова его стала круглой, доброй, жалкой. Помахивая толстым, коротким хвостом, он подошел к Анисье, глянул в ее глаз. «Э, да и ты стара! — равнодушно сказал его взгляд. — Ну, нам с тобой делить нечего... А Егора нету...» И, отойдя, кобель рассеянно поднял заднюю ногу на куст мелких ярко-желтых цветов и, не сделав ничего, лег, раскрыл, по привычке, пасть и часто задышал,

мотая головой, отбиваясь от липнущей к уху серо-лимонной мухи. И опять стало скучно, тихо и глухо кругом. Бежал по кустам шелковистый шум и шорох, однообразно и хрустально звенела в них овсянка, жалостно цокали и перелетали с места на место, с былинки на былинку серенькие чекканки, точно ища и все не находя чего-то. Караулка была необыкновенно мала и ветха; вместо крыши рос по ее потолку высокий бледно-серебристый бурьян. Шатаясь, плача, шурша по лопухам, Анися подошла к дверке, пошарила по притолке,— нет ли ключа. Не нашла — и догадалась: отогнула дужку замка,— он, конечно, был не заперт,— и потянула за скобку, перешагнула высокий порог...

Есть — об этом даже думать не хотелось. Все плыло вокруг нее, смутно и горячо разговаривало. Через силу она осмотрелась все-таки — и убедилась, что нигде нет ни единой крохи хлеба. Потом, положив пук увядших цветов на кое-как сбитый из старой доски и свежих березовых колев столик, косо стоявший в углу на ухабистой синей земле, села на лавку возле столика и без движения просидела до самого вечера. Она тупо ждала чего-то — не то сына, не то смерти,— сонно глядела на гнилые стены, на полуразвалившуюся печку. Слабый свет проникал в окошечко над столиком. Дальше, где было другое, без рамы, заткнутое полусубком, клоками грязной овчины, сгущался сумрак. В сумраке прыгали по земле маленькие лягушки.

«Либо мне мерещится?» — подумала Анися — и пригляделась: нет, не мерещится, самые настоящие лягушки...

Весь потолок прорастал грибами — часто висели они, — тонкие стеблем, как ниточки, вниз бархатистыми шляпками, — черными, траурными, коралловыми, — легкими, как тряпочки, обращавшимися в слизь при малейшем прикосновении. Разве поесть? Нет, помрешь — и растащут тогда соседки избу в Пажени по бревнышку... А больше есть нечего. Махоточка стояла на подоконнике, прикрытая дощечкой. Она подняла ее: в махоточке загудела большая страшная муха; поднесла дощечку к глазу, стала разглядывать: так и есть, образок. Греховодник Егор, за то-то и не дает ему Бог счастья! Она перекрестилась, с трудом подняв руку, поцеловала дощечку и положила ее на столик; подумала, вспомнила, что умирает, — и еще раз перекрестилась, заставляя себя выразить во вздохе и особенно медленных, истовых движениях руки всю покорность свою Богу, все свое благоговение перед славой и силой Его, все надежды свои на Его милосердие... На загнетке раскрытой печки, на куче золы лежала сковородка с присохшими к ней корочками яичницы: видно, Егор из птичьих яиц делал, — скор-

лупа-то возле сковородки валялась пестрая. Анисья подумала: чем спасается, батюшка, вроде хорька живет! Все сильнее клонило в сон, в бред, бежала под ноги дорога вместе с тройками и горлинками... Анисья откидывала назад голову — и на минуту приходила в себя, прогоняла видения и ту тревожную зыбкость, в которую все глубже погружалась она. Ветер сонно и глухо шурушал вокруг стен, в крапиве, пронесился по бурьяну на потолке. В окошечко виднелись сонно качающиеся верхушки кустов — бледные на меловато-свинцовом фоне туч. Темнело, наступал вечер...

Она понимала, что заходит дождь, шумит ветер, доносит однообразно повышающийся и понижающийся звон кустовой овсянки: ти-ти-ти-ти-ти-и... Где-то томно кричали молодые грачи: тоже к дождю, к вечеру... Но, все понимая, она спала, спала — и умирала, и воображение ее, чуждое ей, неудержимо работало. Ах, да ведь Егор идет на ярмарку, — надо догнать его! И она видела ярмарку. Там гомон, говор, скрип телег, ржание лошадей, народ валит валом — и все пьяный, страшный; бьет, гремит оркестрион на каруселях, кругом летят на деревянных конях девки в красных басках и ребята в канареечных рубашках — и от этого тошнит, мутит... Жарко, тяжело, а Мирон, молодой, веселый, со сдвинутой на затылок шапкой, продирается к ней через толпу, несет целый узел гостинцев — рожков, сусликов, жамок — и не дает ей допить бутылку квасу, только что откупоренную квасником, стариком, пахавшим пар; Мирон кричит: «Запрягай скорей, надо Егорку догнать!..» Вот какой ты, Мирон, говорит она ему, никогда-то не жалел ты меня в молодости, а теперь вот и смерть пришла... в поле ветер, тучки, дождь мелкий, девки картошки копают, — нет, Миرونушка, видно, надо лечь поскорей... Как лунатик, шатаюсь, шепча, поднялась Анисья с лавки, вытянула из окошка полушубок, свернула, кинула на лавку, в изголовье... В тазу ныло и дрожало, сердце так замирало, что, казалось, поминутно виснет она в воздухе, что нет у нее ног, есть только туловище, как у того страшного солдата, что чернеет на избе в Пажени. Поспешно, стараясь не упасть, легла она и закрыла глаз. Лавка плавно полетела в пропасть...

Она спала, умирая во сне. Лицо ее, лицо мумии, было спокойно, бесстрастно. Прошел дождь, вечернее небо очистилось, в лесу, в полях все смолкло. Вечерний мотылек трепетно-беззвучно поплыл в воздухе. Стали видны в сумраке по земле только белые цветы. Сзади караулки мелким красивым узором чернó зеленели верхи кустарника — на оранжево-алой мути, переходившей выше в прозрачно-лимонную, легкую пустоту.

Против караулки, на бесцветном, пепельном небе стояла полная, ясная, но не яркая луна, еще не дававшая света. И глядела она прямо в окошечко, возле которого лежал не то мертвый, не то еще живой первобытный человек. В другое, без стекла, без рамы, дул теплый ветер...

## II

Егор в детстве, в отрочестве был то ленив, то жив, то смешлив, то скучен — и всегда очень лжив, без всякой надобности. Раз он нарочно объелся белены — насилу молоком отпоили. Потом взял манеру болтать, что удавится. Старик печник Макар, злой, серьезный пьяница, при котором работал он, услышав однажды эту брехню, дал ему жестокую затрещину, и он опять, как ни в чем не бывало, кинулся месить ногами глину. Но через некоторое время стал болтать о том, что удавится, еще хвастливее. Ничуть не веря тому, что он давится, он однажды таки выполнил свое намерение: работали они в пустом барском доме, и вот, оставшись один в гулком большом зале с залитыми известкой полом и зеркалами, воровски оглянувшись, в одну минуту захлестнул ремень на отдушнике — и, закричав от страха, повесился. Вынули его из петли без чувств, привели в себя и так отмотали голову, что он ревел, захлебываясь, как двухлетний. И с тех пор надолго забыл и думать о петле.

Он рос, входил в силу, становился мужиком, хворал, пьянствовал, работал, болтал, шатался по уезду, только изредка вспоминая о заброшенном дворе и о матери, которую почему-то называл своей обузой; жизнь, как ни bestолково мотал он ее, очень нравилась ему, и если находили на него минуты усталости, разбитости и той душевной мути, когда он говорил: «Белый свет не мил мне!» — то ему и в голову не приходило, что есть тут связь с его мальчишеской болтовней о самоубийстве. И так он дожил до тридцати лет, до той зимы, когда ни с того ни с сего ушел он в Москву, связавшись нечаянно с отправлявшимися туда золотарями.

Из Москвы возвращался он пьяный и возбужденный. Чувствуя всю нелепость своей поездки и как бы приготавливаясь к тому отпору, который он даст всякому, кто будет называть его золотарем, он до копейки пропился в дороге, вылезая на каждой станции и нахально проталкиваясь в толпе к буфету. И вот тут-то, сидя в мотающемся, мутном от дыма вагоне, он, чуть ли не впервые после истории в пустом барском доме, стал

опять болтать то, что болтал когда-то, стал доказывать соседям по лавке, мужикам-пильщикам, что он должен удавиться. И опять никто не дал веры его словам, и опять, проспавшись, забыл он о своей болтовне.

Дома, в родных местах, после Москвы, после той непривычной жизни, которой жил он там, после пьянства и возбуждения в дороге, все показалось ему так буднично, что у него даже пропала охота отбрехиваться от насмешливых расспросов, зачем это путешествовал он в Москву. Вид своего разрушающегося двора, вид сильно изменившейся, высохшей и странно-тихой, слегка шальной матери, не произвел на него никакого впечатления. Нехотя прожив дома трое суток, пошел он в Гурьево, на барский двор,— проситься в караульщики в Ланское. Был солнечный мартовский день, дорога сперва таяла, потом,— когда солнце склонилось на безоблачном небе к закату и золотой слюдой заблестели под ним снежные поля, а к юго-востоку позеленела легкая и прозрачная даль,— стала дорога подмерзать, приятно хрустеть под лаптями и приятно, покойно, в лад с этим долгим, ясным и покойным днем, чувствовал себя и Егор. Он поднялся на изрезанную ледяными колеями блестящую гору в селе, вошел на барский двор. Солнце мирно, уже по-весеннему, догорало против него, за рекою; по-весеннему возились и трещали воробьи в золотисто-зелено-серых прутьях, в кустах сирени возле барского дома, четко рисовавшегося белизной стен и бурой железной крышей на зеленоватом небе. На крыльце стояла горничная и вытряхивала самовар. Господ дома нету, сказала она, в город уехали; не то приедут нынче к вечеру, не то нет... И Егор как-то сразу увял, почувствовал тоску; постоял среди розовеющего двора в нерешительности и побрел в людскую. В людской крепко пахло кислыми щами; на лавке возле стола сидел работник Герасим, черный грубый мужик, прикреплял кнут к кнутовищу и бранился с своей женой, Марьей, примостившейся на нарах возле печки, с ребенком на руках. Егор вошел, тряхнул головой и сел. На поклон ему ответили, но браниться не бросили. Ребенок драл ручонками кофту матери, ища грудь; Марья, маленькая, смуглая, не спуская блестящих глаз с мужа и не замечая попыток ребенка, говорила, и Егор скоро понял, что брань началась из-за бритвы, принадлежащей брату Марьи, из-за того, что Герасим кому-то дал эту бритву.

— Свою прежде наживи,— говорила Марья, блестя злыми глазами.— Тогда и давай, когда наживешь. Побирושка, черт!

— Я с тобой никаких делов иметь не хочу и разговаривать не стану,— твердо и размеренно отвечал Герасим, раздувая

ноздри.— Скандалу не смей затевать: у людей праздник завтра.

— Рот ты мне не смеешь зажимать,— говорила Марья со смелостью человека, сознающего свою правоту.

— Молчи лучше,— отвечал Герасим, стараясь удержаться на твердом тоне.

— Не форси, авось тебя не боятся!

— Погоди, девка, побоишься! Авось заступников-то немало!

— Что ж, поплачу да спрячу. Пешего сокола и галки дерут. Не новость...

Егор, привыкший шататься по чужим избам и жить чужими жизнями, любивший скандалы, любивший слушать брань, сначала заинтересовался и этой бранью. Но вдруг и от брани стало нудно ему...

— Что-й-то Москва-то скоро прискучила! — сказала Марья, напоминая мужу его поездку в Москву, поездку столь же нелепую, как и поездка Егора, хотя и не столь позорную, так как Герасим ездил искать места на конке.— Что-й-то скоро появился! Видно, вас таких-то не мало там околачивается!

— Ты лучше, сука, за своим делом смотри,— ответил Герасим.— Ты вон какой кулеш-то сварнакала к обеду нонче? Свиным, что ль, месила? Так ведь тут не свиньи обжорные!

— За мной гаять нечего,— отозвалась Марья.— Ты лучше за своей Гашкой, за своими шурами, любовницами гляди.

Егор хотел солгать, какая редкая и дорогая была у него бритва,— и поленился, промолчал. Он поднялся с места и подумал: «А бесприменно удавлюсь я! Ну их всех... куда подаде!» Он медленно подошел к Герасиму, закуривавшему сигарку, потянулся к нему с трубкой. Не глядя на него, тот подал почти догоревшую спичку. Егор, обжигая пальцы, закурил и стал у двери.

— Гашка-то небось чуточку поболее твоего работает! — говорил Герасим, не зная, что сказать.

— Авось и мне за тобой, за чертом, не сладко,— отвечала Марья.— Десять лет ворочаю!

— А-а! Ишь актриса какая!

— Одних картох по три чугуна трескаете! Весь живот на чугунах сорвала...

Егор не дослушал и вышел.

Весну и начало лета он провел в Ланском. Определенность положения сперва радовала его. Вечно думать о том, будет ли заработок, вечно шататься, искать этого заработка и, как-никак, гнуть хрип — это уже порядочно надоело. А тут работы

никакой, спи сколько угодно, жалование и отвесное идут да идут... Но и дни шли — и все больше становились похожи друг на друга, делались все длиннее да длиннее; нужно было убивать их, а в лесу, в одиночестве как их убьешь? И, ссылаясь на то, что у него на плечах мать-старуха, больная и голодная, Егор повадился на барский двор выпрашивать жалование и отвесное вперед, а выпросив, пропивать и то и другое с приятелем, гурьевским кузнецом. Он чувствовал теперь нечто вроде того, что чувствовала последнее время Анисья: зыбкость во всем теле, неопределенную тревогу и особенную беспорядочность в мыслях. В сумерки он стал плохо видеть, стал бояться приближения сумерек — было жутко в этом молчаливом кустарнике: всюду, где реял вечерний сумрак, представлялся еле видный, неуловимый в очертаниях, но оттого еще более страшный, большой сероватый черт. И черт этот не спускал с Егора глаз, поворачивал за Егором голову, куда бы ни шел Егор. И так как казалось, что это он, черт, заставлял вспоминать о петле, о перемете, о толстых сучьях старой березы в пшенице, то стала страшна и давнишняя, прежде бывшая такой простой, мысль о петле. И Егор совсем забросил лес — стал и дневать и ночевать в Гурьево. На людях, даже тогда, когда он только что выходил из этих глухих степных мест, буйных хлебов и кустарника на дорогу в село, сразу становилось легче.

Вот и в тот день, когда шла в Ланское Анисья, побрел Егор в Гурьево. От ягод сильно знобило по вечерам, он знал это. Но есть хотелось — и, выйдя из избы, он долго лазил на коленях по кустам, по цветам и травам, долго ел землянику и клубнику, иногда очень спелую, иногда совсем зеленую, твердую... Потом не спеша пошел в село.

«Главная вещь — хлебушка надо разжиться», — думал он, выходя из леса за час до того, как прийти туда Анисье.

Где он будет разживаться, он не знал, да мало и надеялся на разживу. Но ведь надо же было оправдать свой уход из леса. И впрямь, плохи были его дела насчет хлебушка. «Ну, да плохи не плохи, авось не первая волку зима!» — говорил он себе, разлато ступая по дороге лаптями, сося трубку, кашляя и глядя вдаль запухшими, блестящими глазами.

Гурьево село большое, старинное, с просторными выгонами, с двумя мельницами, — водяной и ветрянкой, — стоит на реке, тонет в целых рощах лозняка, осинника, и грачей в этих рощах — несметные тысячи. «Такого села, — говорил Егор, — ни в одной Америке не найдешь!» Перед вечером, когда он подходил к селу, над селом прошумел не долгий, но сильный ливень, как видно, не первый за день. Ярко чернели дороги

среди зеленой муравы по выгону, на котором слева, возле барской усадьбы, стояла старая церковь, обитая жостью, возле церкви — новое кирпичное училище, посредине — мирской хлебный амбар, гамазей, а справа — тяжкий ветряк и уютный двор мельника. Дул ветер, но крылья ветряка неподвижно простирались в облачном небе. Всегда серые, они были теперь темны, сыры. С крыши гамазея падали капли; мальчишки, что стерегли лошадей по зеленой мураве, сидели под гамазеем в мокрых зипунах.

«Чудеса,— думал Егор, направляясь к ветряку и обсуждая, как всегда, то, что случайно попадет в голову.— Бесперечь тут дождь. Место привольное, для огородов, к примеру сказать,— клад чистый...»

Еще рано было, а уже гнали разбегающееся по выгону пестрое стадо. Предвечернее солнце проглянуло на минуту далеко за селом, за речной долиной, как раз против училища, блеснуло на новой, похожей на цинковую, крыше его, на золоченом кресте церкви, сделало стадо еще пестрее и опять потухло, скрылось в облаках. Церковь в Гурьеве грубая, скучная, какая-то чуждая всему, училище имеет вид волостного правления, ветряк неуклюж, тяжел, работает редко. Буднично шумели, гамели без толку грачи в лозняке по речке. Бежало, ревело и бляело стадо, перекрикиваясь, гонялись за овцами бабы с накинутыми на голову подолами... Там, в Ланском, в караулке без крыши, среди глухого кустарника, цветов и бурьяна, умирала заматавшаяся до последнего, смиренная мать Егора. А он стоял зачем-то среди выгона в Гурьеве, думал, что попало, ждал зачем-то, пока прогонят стадо. Стадо прогнали — и он долго глядел на двух спутанных мокрых лошадей, шипавших траву и тяжело перепрыгивавших с места на место спутанными передними ногами. Передвигая трубку из угла в угол рта, тяжело дыша, кашляя и сплевывая, он рассеянно водил глазами по выгону, мысленно ругал дураком церковного старосту, обившего старую каменную церковь жостью, глядел на гамазей. Прижавшись к стене гамазея, сидели на большом белом камне мальчишки в мокрых, рваных зипунах. Возле них стоял жеребенок-третьяк. На него капало с крыши: сверху он был темный. Снизу светло-рыжий, сухой... Егор невесело усмехнулся и, скользя, разъезжаясь по грязи лаптями, побрел к избе мельника.

Как всегда, хозяева не обратили на Егора никакого внимания. И, как всегда, это нисколько не смутило его. Он перешагнул порог избы, тряхнул, в знак приветия, головой, своим гимназическим картузом, плоско лежавшим на белых кудлах, и сел

на нары, стал насыпать трубку едкой махорочной пылью, вывертывая истертый кисет. Старик мельник гнулся на лавке возле стола, тупо, упершись ладонями в лавку, глядел на руки своей молодой, беременной бабы, Алены, просеивавшей над столом муку. Алена слывет в Гурьеве красавицей за свою крепость и белое коровье лицо. А сам мельник мал и лыс, голова, безобразен. Он богат, а полушубок на нем рваный, засаленный, темный,— резко выделяется новый оранжевый рукав этого полушубка. Нос у него похож на мухомор, большие открытые ноздри стали от нюхательного табаку темно-зелеными и бархатными. Глядя на муку, серой пылью сыплющую из-под решета, он равнодушно спросил Егора:

— Что, ай соскучился в лесу-то?

— Что ж мне скучать,— не спеша ответил Егор.— Дело есть в селе...

И, сошмыгнув с нар, подошел к загнетке, открыл заслонку и по пояс залез в темную жаркую глубину печки.

— Нуждишка есть,— глухо крикнул он оттуда, вытаскивая своими култышками раскаленный уголь из золы и забивая его в трубку.

Алена, подсевая, ловко хлопая решетом в ладони и тряся широким задом, через плечо покосилась на Егора. «Всю печку выстудит, родимец!» — подумала она. Но Егор, хорошо знавший такие думы, принял, выбравшись из печки, самый беззаботный вид. И, затягиваясь, растревая себе ноздри едким запахом и жаром горящего осинового угля и с мучительным наслаждением кашляя, опять спокойно уселся на нарах. «Ай уйтить? — думал он рассеянно.— Да черт с ними, посижу еще маленько... Жрут, жрут, по два раза на неделю хлебы ставят и все не облопаются», — рассеянно думал он, глядя то на хлебную дежу возле печки, прикрытую старым армяком, то на желтоватую атласную муку, что длинной горкой, вроде крышки гроба, росла на столе, то на Алену. Толстые руки ее, засученные по локоть, были запорошены мукою; на пальцах блестя медные и серебряные кольца. Подол шерстяной красной юбки Алена подняла и заткнула за пояс, толстые ноги в мужицких сапогах, черневших под серой рубахой, поставила твердо и, немного отвалиясь назад, выставляя свой страшный живот, мерно трясла задом.

— Хлебушка я не наживусь у тебя полкраюшечки? — спросил Егор, сплевывая слюну, постоянно набегавшую на его белесые от голода и трубки губы. Алена промолчала. Анютка, ее девочка с лихорадкой на губах и веером подстриженными на лбу жесткими волосами, все лезла, наваливаясь на стол, паль-

чиком проводя в муке полоски. Промолчав на вопрос Егора, Алена вдруг звонко щелкнула девочку в лоб ладонью. Девочка отвалилась, шлепнулась на лавку и заголосила.

— Сказала, ня налягай на муку! — крикнула Алена своим грубым однодворческим голосом.

— А вот я ее ножиком сейчас зарежу, — сказал, входя в избу, Салтык, молодой работник, в овчинной куртке и белом фартуке, только что приехавший с поля, где он подкашивал опушку обитого градом овса.

И стал вешать на стену, на деревянный костыль, вбитый между бревнами, тяжелый новый хомут с белыми гужами и недоуздок, на блестящих удилах которого зеленела наеденная лошадью травяная пена.

Вид у Салтыка, недавно отбившего солдатчину, был самодовольный, лицо, в полубачках, загорелое, приятное, грудь широкая, солдатский картуз сдвинут на затылок. На груди фартука были крупно вышиты красные буквы. И Егор, которому Салтык только кивнул слегка, подумал:

«Верно, Аленка и вышивала. Да и девчонка, конечно, его. Недаром же болтали, что он ее еще до солдатчины управился обдергать. Дурак мельник! Я бы с ней шкуру спустил да на пяло растянул!»

Он, сипя, носил грудь, показывая в прореху обитого ворота бурую полоску загара на мертвенно-бледном теле. Бледно было и отекавшее лицо его. Он был тяжело болен, но чувствовать себя больным давно вошло в привычку, он не обращал на это ни малейшего внимания. Нисколько не обижало его и то, что на него, больного, голодного, даже и посмотреть внимательно никто не хочет. Не испытывал он и злобы к Алене, когда думал: «Я бы ее шкуру на пяло растянул», — хотя растянуть мог бы. Но глухое раздражение не только против этого богатого и скучного двора, но и против всех гурьевцев, все-таки сидело в нем, томило и заставляло думать что-то такое, что не поддавалось работе ума, досадно вертелось в голове, как стертая гайка. Он уже давно освоился с тем, что часто шли в нем сразу два ряда чувств и мыслей: один обыденный, простой, а другой — тревожный, болезненный. Спокойно, даже самодовольно думая о том, что попадется на глаза, что случайно взбредет на ум, часто томился он в это же самое время и тщетным желанием обдумать что-то другое. Он завидовал порой собакам, птицам, курам: они небось никогда ничего не думают! Теперь ему и хотелось и не хотелось сидеть у мельника. Да что делать-то, если не сидеть, куда идти? В лес, в кустарник, в сумерки, где всюду мерещится этот серый черт?

Алена зажгла над столом висячую лампочку, загоревшуюся бледно-зеленым огнем: еще светло было за окнами. Салтык не спеша достал из кармана порток плисовый кисет, не спеша свернул и загнул крючок, икнул и, пропустив в стекло лампочки соломину, закурил, сел на лавку.

— Подсевай, подсевай,— кинул он Алене, затягиваясь.— Что-й-то пирожка хочется.

— А рожна ня хочется? — спросила Алена, говоря с Салтыком тем особым, как будто грубым тоном, каким говорят при народе только с любовниками.

— Их, пироги-то, надо уметь с умом печь,— сказал Салтык, далеко сплевывая.— Надо тебе каталог выписать. Когда я в Тифлисе служил, так там хозяйкина дочь всегда выписывала каталог, по какому все можно приготовить. Вот и ты — пошли в Москву письмо, вложи в него марку семь копеек и напиши: так, мол, и так, вышлите мне всех возможных каталогов.

— И то правда,— отозвался старик.— Ты, известно, все знаешь: где какие жители, где какие города...

Егор покосился и подумал: «Какие города! Много он, дурак, знает, окромя своего Тифлису! Вот я бы ему порассказал...» Ему очень захотелось спора, в котором он вышел бы и умнее, и толковее, и бывалее Салтыка. Но намерение попросить хлеба и еще что-то, чего он не мог определить, связывало его, всегда смелого и болтливого, ставило в тупик — и перед кем же! — перед мужиками, которых он даже и сравнивать никогда не хотел с печниками, плотниками, малярами! Он только независимо откашлялся и, насасывая потухшую трубку, притворяясь рассеянным, стал слушать: что-то еще сбредет Салтык?

— Как же мне не знать! — сказал Салтык.— Да я не то что, я, как осень, беспременно опять туда! Там сейчас самая колбня идет,— сказал он, мельком взглянув на Алену и усмехнувшись.— Да ей-Богу: веселье, гулянье — каждый Божий день, с восьми утра до двух ночи. Особливо в курсовых, в Пятигорске, в Кисловодске, в Висинтуках...

— Значит, скучать не имеют права,— вставил старик и достал из кармана полушубка тавлинку.

— Ну, только там с деньгами хорошо,— продолжал Салтык, не слушая старика.— Без денег туда лучше и не показывайся. Там только вино ничего не сто́ит. Там каждый грузин аграмадный виноградник имеет. Везут на базар в бочках — так и плескается.

— Имеют капитал добывать его, вот и плескается,— сказал Егор.— Авось и это дело знаем не хуже твоего,— пробормо-

тал он, чувствуя, что его опять начинает ломать, знобить, и неотступно думая о полушубке, которым он совершенно напрасно заткнул окно в караулке вместо того, чтобы надеть его, догадаться, что к вечеру после дождя будет прохладно.

Но Салтык не обратил внимания и на это замечание.

— Там, брат,— говорил он, неизвестно к кому обращаюсь,— какие бульвары, сады! Сад князя Чалыкова на три квадратных версты тянется! Только из одного плохо: там, ночь пришла, без бурки ни шагу: стыдь. А в горах всегда снег, круглый год не переводится...

«Дурак! — подумал Егор.— Без бурки! А спроси его, какая такая бурка — ни елды, кислая шерсть, не знает...» Бурка, она, брат, медвежья, иде ты мог ее заметить? — неожиданно для самого себя сказал он вслух.

И закрыл глаза. «Скука теперь в моем блиндаже... И напрасно, едрена мать, не взял я полушубка!» — подумал он, глядя на зеленый огонь лампочки, на лиловеющий воздух за окнами, в которые сек опять набежавший дождь, и вспоминая однообразный звон кустовых овсянок, жалостное цоканье чеканок.

— По горам там везде стёжки проделаны,— говорил Салтык.— Черкес какой-нибудь разнесется... летит, скачет — как только голова цела! А глянешь на горы издали — как тучи заходят. Опять же из девок не плохо. Там к девкам пойтить — по таксе, за восход тридцать копеек. Ты вот старый человек, а она тебя может кажная раскипятить.

— Нет, теперь не гожусь,— отвечал старик, двигая плечами, почесывая их ерзающим полушубком.— А раньше я, правда, до девок враг был! Мог с ними хорошо обойтись.

Егор ухмыльнулся и хотел было рассказать, как один печник бобровым стручем опоил, отуманил, обольстил генеральскую дочь,— рассказать и дать понять, что печник этот был не кто иной, как он сам. Но перебила Алена.

— Будя, бряхучий! — крикнула она тем притворно-злым тоном, которым здоровые бабы, имеющие старого мужа, прикрывают свою любовь к щекотливым разговорам.— Будя, брястыжий! Старый человек, а цо бреша! Табе вон на кладбишшу поместье давно готова! Двух жен похоронил!

— А я что? — сказал старик.— Я ничего.

— Народ там красивый, не униженный,— продолжал Салтык.— Есть старики по сту лет живут...

Егор и на это хотел возразить: живут-то живут, а на кой черт, спрашивается? Но опять его перебили.

— Ну, об этом ты оставь! — сказал старик.— Взять хоть к

примеру меня такого-то; живу я семьдесят годов, шашнадцать человек своей крови похоронил, а прожил бы дó ста лет, от меня опять пошли бы плоды... Где ж тогда жить? И то народу развелось до гибели, а тогда прямо ели бы друг друга, как рыба в море. Вот приходил ко мне старик с того боку — сто пять, говорит. А уронил шапку — поднять не может.

— Это барский-то? Какой тебе! — весело крикнула Алена.— За водой еще сам ездит! Скоропостижной дед!

— Не хуже моей старухи,— сказал Егор.— Животолубивая старуха! А я ее корми, журишь об ней...

— А вот говорят же умные люди,— сказал старик,— можно, говорят, век прожить, а как умрешь, не будешь причинен ни тлению, ни прению. Только, говорят, не надо разгорячительной пищи есть. Я когда у господ жил, так там барчук был, на доктора учился. Был он мне дорогой приятель и, бывало, часто сказывал, будто каждый человек может свое тело заходить, и, как помрет, тело тлеть не будет, а будет в воздух улетучиваться.

— Ну, это зря брешут,— возразил Салтык.

— Книги, значит, доказывают.

— Книги! — ухмыльнулся Салтык.— Ни ж можно с холодной кровью жить?

Егор, обиженный равнодушием, каким встречено было его замечание о матери, опять вмешался и на этот раз уже совсем смело.

— А рыба? — спросил он.— Может же она с холодной кровью жить и распложаться?

Салтык повернул к нему голову.

— Та-ак! — сказал он насмешливо.

И вдруг решительно заговорил:

— Рыба! Да ты погляди, как она, рыба-то, ныряет, козлекает в воде! Ухитришься ты так-то? Ты вон мелешь — она с холодной кровью, а выложи ее на берег: улетучится она ай нет? Никуды она не может улетучиться!

Егор внезапно разгорячился.

— А я так скажу,— крикнул он,— а я тебе скажу, что нашему брату, рабочему человеку, нельзя без горячей пищи! Ты вон мурло наел, тебе хорошо брехать! А я без пищи захворать могу! Я, может, кабы сыт-то был...

— Ну, и вышли оба дураки! — закричал и старик, поднимаясь.— Терпенья у нас не хватает, вот и не можем заходить! А вы гляньте, как святые-то, угодники-то, какие Богу-то угожали да не ели, не пили, как они-то делали? Как Ларивон-то святой делал? Мог же он три года одной редькой питаться?

— Значит, по-твоему выходит, и моя старуха святая будет? — крикнул и Егор, выхватывая трубку изо рта. — Она вон тоже не есть, не пьет... У нас вон даже и редьки твоей нету...

— Постоите, — сказал Салтык, — погодите лапоть-то!

И, обернувшись к старику, неожиданно принял сторону Егора:

— Значит, и мы с тобой могли бы святыми исделаться? Охолодили бы свое тело, налопались редьки, да и вся недолга?

— Да будя вам брехать-то! — громче всех закричала Алена, бросая решето. — Гáлманы!

— Да и правда! — подхватил старик. — Бога-то попомни-те! Он, брат, за такие речи не спускает нам, дуракам!

Алена с нахмуренным лицом подошла к нарам и, косясь на утирку, на которой сидел Егор, дернула ее и злобно крикнула:

— Пусти-ка-ся! Уселся на ширинку — и горя мало! Нябось, и домой пора, нечего до ужина досиживать!

— Это не твоя забота, — возразил Егор, — я и сам свою время знаю. Ужин твой мне без надобности, а балакать ты мне не можешь запретить. Вот посижу еще маленько и пойду...

Дождь прошел, вечернее небо очистилось, в селе было тихо, избы темны: до Ильина дня не вздувают огня летом, ужинают перед избами, на камнях, в полусвете зари. Выйдя от мельника, Егор остановился, даже спросил себя: не вернуться ли в Ланскую? — и повернул в село, в ту большую улицу, что тянется между дворами по косогору над речкой. В полусвете зари, вокруг камней у порогов сидел народ без шапок, хлеба из деревянных чашек кто тюрю, кто молоко. Но Егор, проходя мимо и косясь, плохо различал лица ужинающих: в глазах рябило, по телу проходил озноб, в мыслях была тревожная беспорядочность. Очень хотелось ему обдумать то, о чем спорили у мельника: все чепуху говорили там, один он мог бы сказать что-нибудь путное, если бы ему не мешали разобраться в мыслях. Очень хотелось решить и еще что-то — неотложное, самое что ни на есть главное... Но что? Голова его усиленно работала. Тифлис мешался в голове с рыбой, Салтык с Анисьей, вопрос о том, можно ли ничего не есть и заолодить свое тело, нельзя было решить потому, что не давала покоя злоба против Алены, ее широкого зада и однодворческого говора. И Егор торопливо шел по улице, боясь, что не застанет кузнеца дома, что кузнец ляжет спать, что опять не удастся ни поговорить всласть, ни доказать, что у мельника все чепуху говорили... Но кузнец был дома.

Кузнец был горький пьяница и тоже полагал, что умней его во всем селе нет, что и пьет-то он по причине своего ума. Разве

ему кузнецом бы быть! Он всю жизнь не мог примириться со своей долей; люто презирал село и холодно-зол бывал в трезвом виде, свиреп становился, если ему удавалось попить дня три-четыре подряд. Он ходил тогда с колесным ключом в руке, затевал скандалы с каждым встречным, гоготал под окном лавочника, певшего по праздникам в церкви, вызывая его на состязание в пении. А не то шел в училище экзаменовать мальчишек по закону Божию и грозил учительнице на месте убить ее ключом за единую ошибку. С похмелья он бывал угнетен. В таком положении и застал его Егор.

Он сидел возле кузни, на косогоре над речкой, над плесом, против водяной мельницы. Слабо алел закат за нею, там, где сходилась с темной землей прозрачно-зеленоватый небосклон. Еще светло было над плесом, сталью лежавшим по лугу. Но тот берег, где мельница, был уже совсем темен: только по отражениям в плесе можно было догадаться, что там деревья. И, сидя возле кузни, поставив локти на колени, думал кузнец о том, как глупы были наши генералы во время войны с японцами. Вот, например, в такой вечер... что стоило японцам вплотную подойти к нашим войскам? Небось генералы-то наши, умники-то эти, глядели в свои подзорные трубы за речку, на берег, в темноту, где ничего не видно, когда надо было глядеть вовсе не туда, а в реку, где отражается каждое дерево и все светлые пролеты между деревьями... Мысль эту кузнец немедля высказал Егору, как только тот подошел и сел на косогор рядом с ним. А Егор, обрадовавшись, что у кузнеца есть табак, что кузнец с похмелья и думает, значит, вовсе не о генералах, поглядывал по сторонам, кашляя и ждал, когда наконец додумает кузнец свою думу. Как и у Егора, мертво было тело у кузнеца, рубаху которого все заворачивал сзади ветер, рубаху ситцевую, но очень ветхую, прожженную, в мелких дырочках. Был и кузнец лохмат, но не так, как Егор, а так, как бывают лохматы мастеровые, рабочие. Страшно черны и маслянисты были его волосы, его борода, смугло и маслянисто лицо, болезненно перекошены брови и блестящи глаза. Дул ветерок, темневшая река рябилась; кузнеца трясло. Но вдруг он встал и, наступая сапогом на сапог, начал быстро разуваться, раздеваться.

— Ай ты очумел? — крикнул Егор, со страхом глядя на тощее меловое тело, забелевшее в полусвете зари, когда кузнец, взъерошив волосы, сдернул с себя рубаху.— Ай ты очумел? Да у тебя сердце зайдется в воде в этакую стыдь!

— Вона! — крикнул кузнец хриплым басом.

И вдруг загоготал, скинув штаны вместе с подштанниками и разбегаясь, чтобы шаркнуть в воду:

— Бла-го-сло-ви, вла-ды-ко-о!

Он хорошо знал, что ледяная вода мгновенно даст ему решительность, находчивость. В воде, и впрямь, зашлось у него сердце, но он не дал ему поблажки: он фыркал, нырял, плавал... Не попадая зуб на зуб, выскочил он на берег, неловко и торопливо натянул штаны на мокрое тело, влез в рубаху и, влезая, твердо сказал Егору, что околевать он не намерен, что его душа дороже колес. А каких колес — этого Егору не надо было пояснять: он мгновенно сообразил, что лежат у кузнеца чьи-то колеса, присланные в починку, и что надо как ни можно скорее захватить передки и бежать к мельнику, тайком торгующему водкой, чтобы заложить их ему. И не прошло и получаса, как уже сидел Егор с кузнецом в кузне, возле маленькой жестяной лампочки, поставленной на горн, рядом с бутылкой и горшочком холодной пшенной каши, за оживленной беседой о том, можно ли, питаясь одной редькой, попасть во святые, можно ли заохолодить свое тело, чтобы не тлело оно после смерти...

А во втором часу ночи, при заходящем за тускло блестящими хлебами месяце, Егор, шатаясь и размахивая руками, быстро входил в Ланское. Точно упругие волны несли теперь его тело. Роса серебрилась по мокрым, пахучим, густым цветам и травам. Сильней всего пахло любимым растением Егора — полынью. Длинно темнели тени от кустарников, блестевших верхушками под опускающимся к югу месяцем. И полосы света и теней среди них создавали что-то сказочное для пьяных глаз, сказочно-светла была далекая даль за кустарниками, за полями, над которыми уже дрожала в серебристой прозрачности большая розово-золотая звезда. Шурша по росистым лопухам и напевая, смело подошел Егор к двери, дернул за скобку — и остановился на пороге своей крохотной, чуть светлой избы. Мертвое молчание стлыло во всем мире в этот предрассветный час. Мертвое молчание наполняло и караулку. И в этом молчании, в сонном полусвете, недвижно чернело что-то на лавке под святыми. И, приглядевшись, Егор вдруг закричал таким страшным сиплым голосом, что с шумом выскочила из лопухов старая черно-седая собака...

### III

Гурьев подарил на похороны красную бумажку. Все было справлено честь честью — хоть бы и не Анисье в пору.

Медленно, с большими промежутками, зачинаясь звонко, жалобно, но все строже, падали звуки с колокольни. Падение

это внезапно, нестройно обрывалось терцией баса и альты. И наступало долгое молчание: слышалось только, — из-за ракич по дороге в Ланское, — протяжное, все приближающееся церковное пение: на дороге встретили поп и дьякон телегу, в которой везли Анисью из Ланского. Со двора усадьбы и по улице над косогором бежали на выгон бабы. С ребенком на руках, спотыкаясь, спешила Марья. Стояли на пороге мельник без шапки и мельничиха. Дул западный ветер, а из-за речки опять заходила, опять тускло синела дождевая туча.

Слегка поката дорога между ракичами на въезде в Гурьево. И небольшая толпа, предводительствуемая кузнецом в черной тяжелой поддевке, который нес на голове длинную крышку гроба и на ходу мрачно пел, издали казалась высокой, вырисовываясь на облачном небе. Белел коленкор, что накинут был на крышку, и развевался по ветру. Шли с ноги на ногу, но уже можно было различить, что эти темные фигуры со спутанными от ветра волосами тащат на полотенцах длинный ящик, черный, с оранжевым ободком по краям. Внушительно раздавались голоса попа и дьякона. Как всегда, медлили в пути, оставались, махали кадилом и, пугая самих себя словами, повторяли одно и то же — то зловеще, то с покорностью. Все делалось так, чтобы выходило торжественно и грозно. А та, для кого это делалось, и теперь была так же смиренна, проста, как и при жизни. Темна и суха была она; маленькой стала ее высохшая головка, покрытая новым черным платочком. На груди ее желтел деревянный образок. Парча покрывала до половины мелкий черный ящик, где она покоилась, — парча, знак царственности. И парча эта была так ветха, так грязна и дырява: Боже, скольких уже покрывала она! Дьякон гурьевский, серо-седой человек, тревожно думающий лишь о пасеке своей, всем своим гнутым станом и коротким, но широким лицом похож на зверя. Желтоволосый поп, слабосильный, слабовольный, всегда выпивши, шепелявит. Ризы, епитрахили их так истрепаны, что серебряное шитье, подола, калоши — все в полном соответствии с грязными или пыльными дорогами, с телегами и мелкой, навозной соломой в телегах.

И на выгоне, где паслось барское стадо, поп не выдержал торжественности: начал спешить, бормотать, поглядывать на барского быка: бык этот брухается, закатал недавно пастушонка. Поглядывал поп и на сторожку у церковной ограды: на крыльце сторожки стояла плетушка, обвязанная скатертью, а в плетушке той были «поповские харчи»: ситные пироги, жареная курица, бутылка водки — то, что полагается причту за похороны, помимо денег. И торопливо провел поп теснившу-

юся толпу в церковные ворота. Ветер развеивал тонкие русые волосы, шеи несущих гроб были красны, натерты полотенцами, лица озабочены. Больше же всех старался казаться озабоченным Егор, шедший с полотенцем через плечо в возглавии гроба.

А в церкви все немного оробели. Притихли — и слышалось только шарканье, топот: осторожно опускали гроб на пол. Высвобождая из-под рясы мягкие, трясущиеся, маленькие руки, роздал поп короткие, тонкие свечи, дробя ярко и золотисто пылающий пук их. И, раздав, громко и привычно возгласил. И замелькали сложенные в щепотки пальцы, кланяющиеся и встряхивающиеся головы. Крепко крестились старухи, воздевая глаза к иконостасу. Блистали рассеянные по толпе огоньки, возносилось, гремело кадило. Кадили, обходя большими шагами гроб, кланялись Анисье, быстро говорили на торжественном языке, давно забытом ее нищей родиной, нестройно и притворно-смирненно пели, выражая умиление, что равна теперь она царям и владыкам, выражая надежду, что упокоится она со духи праведных. Но уже не слыхала Анисья этих утешений. Ни кровинки не было в ее голубоватом лице. Закрылось лиловое веко ее правого глаза, запеклись, слиплись и подсохли тонкие губы. И ледяной лоб ее уже был увенчан венцом высшей славы — золоченой бумажкой. И в сизо-восковой, прозрачной руке ее, в скрюченных пальцах, под ногтями которых точками темнела мертвая кровь, уже торчал Отпуск...

Егор, глядя в гроб, крестился размашисто и часто. Он играл ту роль, что полагалась ему у гроба матери. Он моргал, будто готовый заплакать, кланялся низко, наклоня капаящую свечку, крепко зажатую в его култышке. Но далеко были его мысли и, как всегда, в два ряда шли они. Смутно думал он о том, что вот жизнь его переломилась — началась какая-то иная, теперь уже совсем свободная. Думал и о том, как будет он обедать на могиле — не спеша и с толком...

Так и сделал он, засыпав мать землю: ел и пил до отвалу. А под вечер, тут же, у могилы, плясал, всем на потеху, — нелепо вывертывал лапти, бросал картуз наземь и хихикал, ломал дурака; напился так жестоко, что чуть не скончался. Пил он и на другой день и на третий... Потом снова наступили в жизни его будни.

Эти будни были уже не те, что прежде. Постарел он и поддался — в один месяц. И много помогло тому чувство какой-то странной свободы и одиночества, вошедшее в него после смерти матери. Пока жива была она, моложе казался он сам себе, чем-то еще связан был, кого-то имел за спиной. Умер-

ла мать — он из сына Анисьи стал просто Егором. И земля — вся земля — как будто опустела. И без слов сказал ему кто-то: ну, так как же, а?

Он не думал об этом вопросе, — только чувствовал его. И ничего особенного не заметили на лице его те мальчишки из Пажени, с которыми ночевал он в ночном под четвертый день августа, верстах в трех от Пажени, у откоса железной дороги. Он только внезапно проснулся на рассвете и вдруг сел, побледнев.

— Что ты, дядя Егор? — испуганно крикнул мальчишка, лежавший с ним рядом.

Егор, бледный, слабо улыбнулся.

— Так... что-й-то померещилось, — пробормотал он.

И опять прилег.

Было еще рано. Шел туманный, предосенний дождь над опустевшими полями. Егор лежал, прикрывшись полушубком, курил и, кашляя, медленно рассказывал проснувшимся мальчишкам, как он, не боясь никаких судов, бросил свое место, ушел из Ланского. Рассказывая, он к каждому слову прибавлял матерное слово. А рассказав, стал прислушиваться к приближающемуся шуму товарного поезда. Шум рос и близился все грознее и поспешней. Егор спокойно слушал. И вдруг сорвался с места, вскочил наверх, по откосу, вскинув рваный полушубок на голову, и плечом метнулся под громаду паровоза. Паровоз толкнул его легонько в щеку. И Егор волчком перевернулся, головой полетел на насыпь, а ногами на рельсы. И, когда потрясши землю, оглушая, пронесся поезд, увидели мальчишки, что барахтается, бьется рядом с рельсами что-то ужасающее. В песке билось то, что было за мгновение перед тем Егором, билось, поливая песок кровью, вскидывая сверху два толстых обрубка — две ноги, ужасающих своей короткостью. Две других ноги, опутанных окровавленными онучами, в лаптях, лежали на шпалах. А по пустому, осеннему полю, в тумане мелкого дождя, уже тревожно кричал под ветер, к следующей будке, медный рожок выскочившего из ближней будки сторожа...

Так разно кончили свои дни хозяйка и хозяин «веселого» двора в Пажени.

*Капри. XII.1911*





## ИГНАТ

### I

Любка вторую зиму жила на барском дворе в Извалах, у господ Паниных, когда нанялся к ним в пастухи Игнат.

Ему шел двадцать первый год, ей двадцатый. Он был из бедного дома в Чёсменке, одной из деревень, составляющих Извалы, она из такого же в Шатилове, что неподалеку от Извал. Но говорили, что она «полукровка», незаконная дочь шатиловского барина. Да и выросла она при господах. Поэтому, чем более волновала пастуха ее красота, чем более думал он о горничной, тем более робел. А чем более робел, тем чаще думал, тем сумрачнее и молчаливее становился.

В черных блестящих глазах Любки была какая-то ясность, откровенность. Ловко и спокойно крала она одеколон и мыло у барыни, седой вдовы, курившей тонкие душистые папиросы. Иногда была она жива, наивна и казалась моложе своих лет, иногда — старше, все испытавшей женщиной. Да и груди были у нее, как у женщины. А для Игната, еще не знавшего женщин, отношения между мужчинами и женщинами становились все страшнее и желаннее. Непроше, скрытнее его не было малого во всех Извалах. Даже едучи на розвальнях на гумно, за колосом для скотины, никогда не отвечал он прямо и сразу на вопрос: куда едешь? Избегая взгляда Любки, не поднимая угрюмых глаз, стыдясь своих лаптей, шапки и ошмыганного полушубка, он исподлобья следил за ней, и спокойное бесстыдство ее, смутно им понимаемое, было для него и жутко и пленительно.

Усиливали его любовь и барчуки.

Барчуки,— уже лечившийся на Кавказе офицер Алексей Кузьмич и Николай, все переходивший из одного учебного заведения в другое,— приезжали зимой только на большие праздники. В этом году на масленицу приехал сперва младший. И Любка была особенно оживлена, вид имела особенно откровенный, не будучи, впрочем, откровенной ни с кем. Так и сияли ее неподвижные глаза, когда она, черноволосая, крепкая, с

сизым румянцем на смуглых щеках, в зеленом шерстяном платье, во весь дух носилась то за тем, то за другим от людской к дому и от дому к людской, по темнеющей среди снежного двора тропинке. И за масленицу, за эти серые дни, слегка туманившие, делавшие тусклыми сосны и ели в палисаднике, кружившие голову своим теплом и праздничным чадом из труб, Игнату не раз приходилось наткаться на игру барчуков с Любкой.

Как-то в сумерки он видел: она выскочила из дома с злым, раскрасневшимся лицом и растрепанными волосами. За ней, смеясь и что-то крича, выбежал на крыльцо, на тающий снег, Николай Кузьмич, приземистый, большеголовый, с тупым и властным профилем, в косоворотке из белого ластика и лакированных сапогах. А вечером Любка, веселая, запыхавшаяся, столкнулась в темных сенях людской с Игнатом.

— Разорвал баску и целый пузырь персидской сирени подарил,— неожиданно и быстро сказала она, задерживая бег.— Понюхай-ка, как от меня пахнет!

И через мгновение исчезла, а Игнат долго простоял на одном месте, тупо глядя в темноту; пахло кухни, предвесенней свежестью, собаками, глаза которых парными красноватыми изумрудами горели, двигались перед ним, он же слышал только дурманящий сладкий запах духов и еще более дурманящий запах волос, гвоздичной помады, шерстяного платья, пропотевшего под мышками...

Приехал офицер: худой, с карими острыми глазами, с длинным бледно-серым лицом в лиловых, припудренных прыщах. Тяжело, вся сотрясаясь, выбежала на крыльцо молочно-седая барыня, подвитая, наряженная, в туго стянутом корсете, замаяхала белым платочком на звон тройки, выносившей сани из-под горы. У крыльца кучер осадил тройку, и офицер заговорил быстро, не заботясь о том, слушают ли его; потом откинул полость саней размашисто, как у подъезда ресторана, на крыльцо взбежал, ловко и развязно притопывая раскоряченными, очень тонкими ногами в легких и блестящих сапожках, звеня серебряными шпорами и дергая, поправляя приподнятыми плечами широкую николаевскую шинель с бобровым стоячим воротником. Был канун Прощеного дня. Масленица выпала поздняя, и порой казалось, что совсем одолевает зиму весна. С утра грело солнце, сияло голубое небо, сияли его отсветы на снегу, капали капли. Но после полудня стало хмуро, пронзительно-сыро, опять затуманившийся, тускло посиливший палисадник запел в дремоте. Не обращая внимания на сырость и ветер, Любка в одном платье таскала из троечных

саней какие-то кульки. И пастух следил за ней, за тем, как наклонялась она.

Он стоял на широком грязном крыльце людской, пропахнувшей блинным чадом. Крупные хлопья снега падали и таяли перед крыльцом в луже, по которой важно ходил только что прилетевший грач. Работник и кухарка, подоткнутая, в сапогах, вытащили большую лохань, продев в ее ушки палку. В лохани дымилась густая желтая овсянка. Борзые стаей кинулись к ней и, дрожа, горбясь, пропуская между ног судорожно изогнутые тугие хвосты, стали пожирать ее. Кухаркин мальчишка, в красной, праздничной рубашке, ворочал овсянку лопатой и бил то ту, то другую глухо рычащую собаку. Уже были по двору лысины — чернела кое-где земля. Вытаскивая из лохани испачканные желтой гущей морды, собаки катались, терлись по земле, потом гурьбой потянулись через двор к саду за домом. Рядом с красавицей Стрелкой, черноглазой борзой в атласной белой шерсти, шел большой рыжий кобель, дворовый, и, яростно скаля зубы, рыча, захлебываясь, не подпускал к ней никого из борзых. Томимый вождедением, Игнат двинулся за собаками — смотреть на их совокупление. Но в аллее они свернули, побежали по серому насту под кривыми ветвистыми яблонями куда-то в сторону. Игнат вышел за сад, в серое поле, на которое косо летели белые хлопья, снял шапку и достал из разорванного ватного дна ее заветный двугривенный.

Мимо садового вала, по задворкам, он поплелся на деревню, черневшую обтаявшими избами на косогоре. Желтоватые, замасленные санями горбы сугробов, с гладко втертым в них конским навозом, и выбоины, полные студеной вешней воды, тянулись между избами и пуньками. Игнат стукнул в окошечко особенно черной и хилой избы, под стенкой которой, нахохлившись, дремали куры. Изнутри прильнуло к окошечку старое, желтое лицо. Игнат показал двугривенный. И, надернув на босые ноги старые валенки, с головой накрывшись полушубком, баба провела Игната через дорогу в холодную пахучую пуньку с железной дверкой и засунула в подставленный глубокий карман его растянувшихся порток пузырь с водкой.

За пунькой, на скате косогора, покрытом зернистым снегом, он постоял, думая о Любке. Потом запрокинул голову и, не переводя духа, выпил все до капельки. И, пряча пустую посуду в карман, почувствовал, как горячо, хорошо пошла отравка по всему его телу. Он присел на корячки и стал ждать дурману; потом упал, хохоча, наслаждаясь тем, что пьян.

Очнувшись, он долго не мог понять, где он. Он стал маленьким, легким — промерз весь, насквозь. Дул сырой ветер, смер-

калось, снег уже не падал. Со страхом вспомнив, что еще не привезено в дом соломы,— дом топили соломой, Игнат каждый вечер набивал ею задние крыльца,— он вскочил и побежал через деревню, потом через сад к господскому дому. Все чувства его были обострены, ветер особенно волновал их,— он был сладок, хотелось глотать его всей грудью. Игнат знал, что забыл веревку на заднем крыльце, и, запыхавшись, шлепя лаптями по мокрому снегу, повернул из аллеи прямо к нему. В сумраке под навесом крыльца стоял кто-то, прижимал кого-то к стене и на шаги Игната повернул голову.

— Чего тебе? — крикнул он.

Это был офицер, его голос, его длинное бледное лицо, бобриком стриженная, узкая и длинная к затылку голова. За два пальца офицера, не пуская его руку, держала прижатая к стене Любка. Игнат, не сводя глаз с ее слабо белевшего в сумраке передника, отошел; постоял... Сумрачными, смутными клубами нависали над садом дождевые облака. Дул западный ветер — и была в нем пьянящая влажность, сила ранней весны, одолевающей зиму...

А на другой день одолела зима, еще гуще валил снег, к вечеру поля потерялись в тумане вьюги. Барыня уехала к соседке. Офицер, звеня шпорами, вышел на крыльцо, закричал через двор, чтоб запрягли в бегунки Королька, и, наклонясь к сидевшим на крыльце собакам, на спинах и лбах которых снег лежал толстым слоем, стал сладострастно трясти то ту, то другую за ушами и сквозь зубы приговаривать: «А-а, та, та, та, та!» Любка обошла его с блюдом жареной наваги, понесла блюдо в людскую. Он покосился и забормотал еще сладострастнее:

— А-а, собаки, собаками, собачики!

Был Прощеный день. Из-под горы, с реки, глухо доносились голоса, песни, громыхание бубенчиков, звон колокольных: лавочник, сапожник, урядник, мужики — все катались со своими гостями, с барышнями, девками, сватами. Когда Королька запрягли, офицер, в серой ловкой шинельке и папахе, вытащил на крыльцо хохочущую нарумяненную Любку. На ней была шубка с воротником из орехового меха, зеленое платье свое она подобрала, подоткнула. Голова ее была закутана серой шалью, она гнула голову, смеясь, упираясь, сходя с крыльца мелкими, тупыми шагками. Игнат, подав золотисто-рыжего жеребчика, держал его под уздцы, и жеребчик зло и умно косил большим блестяще-лиловым яблоком на офицера, на его шелковый шарфик, красневший из ворота шинели, вокруг тонкой шеи, покрытой зажившими, стянувшимися следами прыщей. А

Игнат все глядел на белый подол Любки, на ее грубые полсапожки, намазанные салом, к которому не прилипал мокрый снег...

Потом он тащился на розвальнях к гумну. И Королек, екая и злясь, фыркая от свежего снега, летевшего ему навстречу, в горячие ноздри, обогнал, обдал дыханием и стал пропадать вместе с бегунками в дыму вьюги, весело и сумрачно разыгравшейся в мутно-сизом поле. Снег хлопьями валил на сытую спину Королька, на папаху, на погоны, на блестящий сапожок со шпорой, крепко поставленный на железный отвод. Левой рукой в замшевой перчатке держал офицер голубые вожжи. Другой захватил голову в серой шали и припал к ней папашой...

И твердо решил Игнат променять работнику Яшке свою гармонию, единственное свое богатство, на старые сапоги. Навозив соломы, он пошел на улицу, к толпе, что сбилась и смутно темнела среди ночной вьюги под застрехой крайней избы, на выгоне перед церковью. Там ловко и бешено перебивали друг друга гармони, заглушаемые песнями и ветром, кружились в дыму поземки, носились, как ведьмы, пляшущие девки. Все были беззаботны, счастливы, один он несчастен!

## II

Великий пост был серый, однообразный.

День за днем дул жесткий ветер, бледно белели поля, тускло синели, скучно напевали сосны и ели в палисаднике, слишком рано прилетевшие грачи куда-то скрылись. Офицер давно уехал. Но Николай Кузьмич зажился. Раз подъехал Игнат на розвальнях к заднему крыльцу дома. Розвальни зашуршали висящей с них старновкой по ступенькам крыльца, и барчук, игравший с Любкой, смеясь, поднялся с соломы. Любка, поправляя волосы, глядела спокойно.

— Вот вы так-то играете,— сказала она,— а по селу пойдут брехать... Хоть бы ты, Игнат, меня замуж взял,— прибавила она, тоже вставая.

Игнат покраснел и насупился. Ни малейшего значения не придал он ее словам, но с этого дня еще больше стала расти в нем ревность, злоба. Косясь на дом, с завистью чувствуя его внутреннюю жизнь, он проезжал на розвальнях по аллее, выезжал на гумно. Собаки пегой стаей, трясясь, бежали за ним. В остатках ометов возились и пищали мыши. Собаки рыли солому, приноживались, настораживались, еще яростнее рвали ее когтями, дрожа и скуля, и, вдруг подпрыгнув, кидались на

добычу хищно и метко. Женственно красивую, с масленистыми черными глазами Стрелку Игнат заманивал в ригу. Она вбегала, он с бьющимся сердцем припирал скрипучие ворота. Холодно пахло током, тепло — ржаным колосом. В сумраке огромного трехугольника, по застрехам, по решетнику и переметам которого серела густая бархатная пыль летней молотыбы, пробивался в длинную щель ворот холодный, бледный свет. Ветер шуршал за ними, дул по току...

В ясный солнечный день на третьей неделе уехал и Николай Кузьмич. Внезапно вернулась весна. Крыши варка, сарая за одни сутки обтаяли, старая, бурая солома их золотилась против солнца, резко отделялась от голубого, умиляющего душу неба. Выпустили плюшевых, обросших за зиму жеребят и коров, они дремали, грелись на солнце. Резко, серебром сверкал сочащийся снег по двору. У парадного крыльца, в тени, возле синей лужи, стояла тройка. Отражались на луже и небо, и белый передник Любки. Вышел Николай Кузьмич в накиннутой поверх поддевки енотовой шубе, вышла барыня. Долго прощались, долго, оборачиваясь, кричал что-то уезжавший, когда тронулись и потянулись сани по ухабистой, текущей дрожащими ручейками дороге, по выступившему, накопившемуся за зиму навозу, похожему на мокрый табак. Где блестела вода по ухабам, лошади, тонконогие, с подвязанными хвостами, взмахивали особенно щеголевато точно вычищенную сталью подков. На солнце грело, много галок собралось на соснах и елях палисадника, зазеленевшего пышно и свежо. А в тени чувствовался северный резкий ветерок. Стоя на парадном крыльце, Любка озябла, щеки ее посизели. Сани скрылись под горой, она напевала задумчиво, чуть слышно «Мчится парочка вдвоем...». Потом встрепенулась, вбежала в дом — и немного погодя выскочила на заднее крыльцо. Игнат, проходивший мимо, вдруг повернул к крыльцу. Она тупо, со страхом, не двигаясь, глядела на него. Игнат подошел вплотную и схватил ее за кисти. И оба смутились, не зная, что сказать, что делать дальше. Вдруг Любка нахмурилась и, вырвав руки, повернулась и хлопнула дверью.

Сад казался особенно редким на серебре снега, испещренным фиолетовыми тенями, аллея — веселой, широкой. И опять, нахмуренный, злой, Игнат пошел по ней на деревню, к бабе шинкарке. И опять очнулся перед вечером на скате в лужок, насквозь промерзший, изумленный. Небо над ним казалось необъятно-огромным и новым.

— Не пара она мне, — твердо и мрачно, вслух сказал Игнат, поднимаясь. — Пропал я.

Прошел пост, прошла Святая. Снега уже нигде, кроме оврагов, не было, в деревнях опушились легкой лимонной дымкой лозины; вокруг деревень лилово чернели пашни, грело солнце, дрожало расплавленное стекло по горизонтам, пели жаворонки. Молодая пахучая травка чуть пробилась. Но Игнат уже ходил за стадом в поля, к милютинскому леску, еще голому, полному сухой дубовой листвы и подснежников. Коровы дремали на припеке, у опушки, галки садились на них, дергали шерсть для своих гнезд. Игнат навалил кнут, лениво поглядывал в солнечную даль, на дороги, где уже лежала пыль, радостно напоминавшая о лете, и загорал от солнца, от апрельского суховея.

Когда были деньги, он был счастлив. В поле, выбрав местечко посуше, он расстилал свой рваный пиджак, ставил на него бутылку, вытаскивал из кармана хлеб, заранее посоленный и отсыревший, холодные картошки. Вскоре голова его начинала кружиться. Солнечный южный горизонт за сереющими равнинами дрожал, тонко струился пар, чуть синевший на солнце над спекшимися кучами навоза, раскинутого по полю, коровы двоились и плыли... Странно,— он все-таки чего-то ждал! Хмельной, он чувствовал это, чувствовал, что связалась его жизнь с жизнью Любки, на беду связалась! Что-то придется сделать, чтобы покорить ее, чтобы стать равным с нею, чтобы вызвать ее любовь. Иначе, если он даже добьется своего, не будет она мужика любить... А весна требовала любви. Плывая, дрожа, опиралась на колени передних ног, потом неуклюже поднимала зад одна корова, другая, третья... Поднимался большой мышастый бык, широколобый, с гладким хвостом, на конце которого висел шелковисто-волнистый мохор, тяжело бежал, мотая нитями стекловидных слюней,— и вдруг, весь наливаясь мощью, вставал на дыбы... У Игната заходило сердце. Он опрокидывался навзничь, на сухие, черные шмоты навозной кучи. Он закрывал глаза, слезы выкатывались из-под его ресниц, он не стирал слез, и мухи пили их... Потом он крепко засыпал и спал до тех пор, пока дошедшее до зенита солнце не начинало печь его голову и плечи. Пригнав стадо домой, он молча обедал в людской и уходил спать в каретный сарай, где у каменной стены была сбита из кольев высокая кровать, покрытая соломой и клоками попоны. После сна он бывал зол и, выгоняя стадо, так драл коров своим длинным хлопающим кнутом, что на боках их вздувались рубцы.

Однажды, в мае, когда лесок уже густо опушился темной зеленью, зарос цветами и травами, когда рано утром уже полетнему было жарко на солнечных полянах, а в росистой тени

свежо и таились ландыши, увидал он, пригнав стадо на пар, сидящую у опушки бабу. Это была нищая, дурочка Фиона. Положив возле себя мешок и палку, она сидела, слегка раскрыв рот, вся в лохмотьях, с мокрым подолом, с блестящими глазами на опухшем лице. Она была пьяна. Когда Игнат подошел, она с гоготом, сдержанно-страстным, повалилась навзничь, выставила колени и стала тереть большими лаптями по росистой траве. В мешке ее были крендели, водка. И, выпив, Игнат не совладел с собой...

С этих пор дурочка стала приходиться к нему чуть не каждый день. До солнца, по холодной крупной росе он выгонял стадо. В полдень напивался. Теперь пили уже на его деньги. Он забрал жалованье за месяц вперед. Но и его деньги наконец иссякли. И дурочка стала зла, нахальна, требовательна, дурочкой уже не притворялась. Когда он являлся без водки, она отказывала ему, морила его по неделе. И раз даже крепко и ловко ударила его по голове палкой. Он поднялся и пошел прочь, странно, неумело рыдая. А наплакавшись, сел на межу и тупо стал думать все о том же, о чем он думал теперь беспрестанно: где бы достать денег? Но достать было негде, украсть — тоже. Сапоги он пропил...

Вся дворня знала его историю, за обедом и ужином над ним часто хохотали. Он багровел и молчал. Что было бы, будь Любка при этом? Но, на счастье его, барчуки не приезжали, слышно было, что Николай Кузьмич у товарища под Харьковом, офицер — на маневрах под Смоленском. А барыня уехала на шесть недель в Липецк и увезла с собой Любку. В усадьбе было тихо и скучно. Да и дурочка стала являться все реже и реже — шаталась по ярмаркам. И вот лето пошло уже к концу — жаркое, длинное. Обмелела речка, дочерна выглодала скотина корма, хлеба поспели, пересохли и сыпались. Пошли косить их, — был уже конец июля.

В конце июля, возвращаясь однажды на закате со стадом в село, Игнат встретился с дурочкой. Она остановилась и показала на лесок.

— Как отделаюсь, так приду, — сказал он, не поднимая глаз.

Но как идти без водки? В унынии стоял он у ворот усадьбы, смотрел на закат. По дороге, наискось пролежавшей по горе, ехали с косьбы и вязки мужики и бабы на пыльных телегах; из телег торчали перевясла, косы и грабли. Малиновое, без лучей, солнце село огромным кругом в сизую сухую

муть за рекой, за полями, уже покрытыми звеньями копен. Игнат вышел из ворот, повернул на выгон, потом мимо сада, к гумну. Впереди его мелко перебирала босыми ножками по пыли очень грязная и кудрявая девочка. Перегнувшись влево, она правой рукой тащила дегтярницу, облитую красно-коричневым дегтем. Игнат ускорил шаг, догнал ее, оглянулся — и схватил ее левый кулачок, в котором были зажаты деньги. Глаза ее стали круглыми от ужаса, личико исказилось, она заголосила и, силой зверька, стиснула кулачок. Игнат схватил ее за горло и повалил на дорогу. Девочка захрипела и распустила пальчики. Игнат выгреб из ее ладони деньги — тридцать копеек.

Купив водки, он пошел прямо к лесу. Справа было жнивье, чуть белеющее в сумраке поле, покрытое копнами. Слева, с тускло чернеющих пашен, с равнины, дул теплый ветер. Впереди, над темной каймой леса, поднимался большой красный Марс. И пастух остановился. Он вдруг вспомнил, что нынче должна приехать барыня, что за нею послали тройку и подводу для вещей. И тотчас же, задержав дыхание, услышал далекий звон колокольчиков.

Казалось ему летом, что минует его то неизбежное, что должно быть. Но теперь он почувствовал, что нет, не бывает тому — не минует. Оно уже близилось, росло, надвигалось... И, постояв, он двинулся вперед.

У перекрестка его оглушила звоном, топотом копыт и обдала пылью тройка. Он, сойдя с дороги, пропустил ее и опять пошел. Вдали слышался глухой грохот телеги. Он делался все явственней. И через минуту увидел Игнат на тусклом звездном небе дугу, лошадь, а за лошадью — сидящую в телеге Любку. Она была лошадь вожжами и тряслась, прыгала, неслась прямо на него.

— Садись, подвезу! — крикнула она весело, сразу признав его в сумраке.

Он повернулся, догнал нагруженную чемоданами телегу, на бегу боком вскочил на грядку...

Что говорила Любка, он не запомнил. Запомнил только первые, ударившие его по сердцу слова, которые она звонко и ласково выкрикнула сквозь грохот телеги:

— Что ж, очень соскучился по мне?

Запомнил только тот момент, когда он вдруг схватил вожжи и, осадив лошадь, перекинул ноги в телегу.

— Постой,— шепотом сказала Любка, но так просто, точ-

но они жили уже много лет, и от этой простоты у него еще больше помутилось в голове,— постой, юбку изменишь... Дай хоть поправить-то...

### III

Прошло четыре года. Стоял декабрь. Игнат, отбив солдатчину, возвращался из города Василькова на родину.

С женой он жил всего три месяца. Вскоре после той июльской ночи, в которую так неожиданно переломилась его судьба, Любка почувствовала себя беременной — и никогда не покидала его злая мысль, что только поэтому вышла она за него. Она говорила, что любит его, устроила его отца, больного старика, на барском дворе скотником; одела и снарядила его в дорогу, провожала со слезами. Он жестоко избил ее, гуляя, куражась рекрутом, вымещая барчуков. Она от побоев скинула, но перенесла их как должное. Когда его угнали в Васильков, она часто посылала ему вместе с письмами деньги, письма писала ласковые, обращаясь к нему на вы. Но он не верил ни единому слову ее, жил в тоске, в непрестанной муке, в ревности, в изобретении самых жестоких наказаний за предполагаемые измены.

Едучи на побывку два года тому назад, он всю дорогу думал, что убьет ее, ежели узнает что плохое. Приехав и наведя справки на своей станции, он узнал, что Любка не отказывала только ленивому. Но она встретила его так радостно, разуврила в слухах так искренно и просто, что у него руки опустились. А чтобы и совсем успокоить его, заявила, что бросает место на барском дворе и переселяется в избу,— будет ждать его дома, будет шить на машинке и тем кормиться. И он уехал унылый и сбитый с толку. Уныл, молчалив был он и на службе, но исполнительен, исправен и бережлив: копил деньги, взятки с молодых солдат. Все еще жила в нем надежда сравняться с Любкой, стать достойным ее настоящей, а не притворной любви. Но вдруг письма от нее перестали приходить. Он писал чуть не каждую неделю — ответа не было. Он грозил, молил — она молчала. Он опять стал пьянствовать — и оступел, измучился.

Все же, отслужив свой срок, он ехал в Извалы.

Он очень изменился. Теперь он был сух, довольно высок и ладен. Оловянные глаза его стали больше, лицо посерело и казалось еще худее от блестящих после бритья мослаков около оттопыренных круглых ушей. Красноватые усы он стриг щеткой, голову — бобриком, и кожа просвечивала в его коротких

стальных волосах. От Киева до Орла он неподвижно сидел в вагоне возле своего грубо разделанного под орех сундучка, не снимал ни фуражки, ни грубой серо-рыжей шинели, натирившей шею, смотрел в пол и грыз подсолнухи. От Орла он стал тревожиться, выходить на станциях к буфету. На вокзале в своем городе он неожиданно встретился с бывшим товарищем по службе, выпил, оставил сундучок у сторожа, и товарищ вывел его на вокзальное крыльцо, нанял извозчика старика, и старик во весь дух треногой кобылы помчал их, возбужденных, куривших папиросу за папиросой, в город. Проехали они прямо в слободу — и там Игнат почти сутки не расставался с маленькой, коротконогой, пожилой, с черными сухими волосами и сильно напудренной брюнеткой, курившей еще жаднее его. Очнулся же он в поле, возле слободы, — и с трудом вспомнил, что его тяжко били, выталкивая. Был мягкий белый день, шел снежок и застревал в складках его шинели. Он встал, шатаясь, чувствуя себя больным, точно отравленным...

Ехать до Извал пришлось в вагоне товарного поезда, вместе с сидящими от жира на задах заводскими свиньями. Свиней везли богатому помещику на племя, провожал их дряхлый садовник помещика, чистый и тихий, бывший дворовый. Но, кроме него, Игната и свиней ехал в товарном вагоне еще еврей, серо-седой, кудрявый, большеголовый и бородатый, в очках, в полуцилиндре, в длинном, до пят, пальто, местами еще синем, а местами уже голубом, с очень низкими карманами. Он все время молчал, был задумчиво-озабочен, ныл какой-то напев и пил чай. Садовник дремал. Свиньи сидели на задах в деревянной загородке, покрытые серыми попонами с вензелями и коронами. Смеркалось, ветер с снегом дул в отворенную дверь и задирали мокрую солому под свиньями. Плыли мутно-белые поля, темневшие кустарники, медленно курившиеся дымом, падавшим на них с паровоза. И тяжелая, неразрешимая тоска давила Игната. Сдвинув брови, стиснув зубы, играя мослаками, он стоял у двери, грыз подсолнухи и косился на еврея. Еврей сидел на опрокинутом ящике, держал в большой покрытой крупными лиловыми жилами руке стакан чаю. Шелуха подсолнухов летела по ветру, попала в чай. Еврей долго, с раздражением смотрел сквозь очки на Игната. Игнат ждал, что скажет еврей, чтобы ударить его после первых же слов сапогом в грудь. Но еврей ничего не сказал: только приподнялся и вылил чай нарочно возле самых ног Игната, возле его плоских и широких казенных сапог.

На станции попутчиков до села не оказалось. И пришлось сидеть, ждать, не навернется ли кто случайно.

Оледенели его руки, помутилась голова, когда, в половине одиннадцатого, медленно надвинулся на него такой знакомый, такой особенный вокзал с его народом и освещенными окнами. Только что ушел пассажирский поезд. В зале третьего класса, холодном, полутемном, тусклом от дыма и потном от дыхания, нужно было пробиваться плечом — так много толпилось в нем на мокром полу мужиков. Двери поминутно с визгом отворялись, хлопали — свежий, легкий, морозный воздух, врываясь в угрюмый, вонючий зал, волновал клубы белого пара над ведерным самоваром в буфете. Из отворенной, ярко и горячо освещенной конторы, где были касса и телеграф, не смолкая ни на секунду, дребезжал и звенел какой-то звонок, как будто кто завел и забыл остановить будильник. И от многолюдства, от этого звонка у Игната ломило в темени.

Расспрашивал он, нет ли попутчиков, тупо, ходил как луна-тик, но все видел и замечал с необыкновенной зоркостью. Толпа армяков и полушубков редела. Игнат вышел на крыльцо, посмотрел, сторонясь, пропуская мимо себя выходящих и разговаривающих, на лошадей, на сани, на мутно-лунное небо, выкурил сигарку, глубоко вдыхая вместе с дымом сладкий зимний деревенский воздух, и вернулся за своим сундучком. Уже буфетчик постепенно, по порядку, с края, убирал со стойки апельсины, папиросы, тарелки с колбасами, потный кусок сыра. Начальник станции под руку провел большую старуху помещицу в шубе, опиравшуюся на костыль. В отворенную дверь видна была бледная, но светлая лунная ночь, деревья в инее. Лошади, стоявшие у крыльца, встряхивались, бормотали глухарями. Потом глухари загромыхали все сразу, заскрипел снег под полозьями... В зале осталась только баба в новом оранжевом полушубке, неподвижно сидевшая на длинном деревянном диване у стены, на котором стоял сундучок Игната. Задом подойдя к дивану, Игнат присел, взвалил сундучок себе на спину, подкинув левое плечо в его ремень, и, думая о той весне, когда он жил с дурочкой, а был беззаботен, свободен, сладко напивался, закусывая холодными картошками, вышел из вокзала.

Шагал он твердо, ровно и споро, повизгивая по снегу сапогами, светлая снежная ночь была вокруг него. В поле было пусто, мертво и тихо, луна крылась за легкими облаками, дорога чуть темнела... И от своих смутных дум очнулся он уже в Извалах, почувствовав, что вошел в большую, просторную раскинутую и давно спящую деревню. Ни одного огня не было

в занесенных снегом избах. Слабые тени лежали на большой дороге от водовозок и пунек. Еще тише как будто стало, воздух — еще слаще и пахучее. По дворам уже пели петухи.

Возле своей пустой избы, на краю деревни, над оврагом, он постоял, не зная, что дальше делать. Маленькая, она была наполовину занесена метелями. Дверь на замке, одно окно забито дощечками. Острый сугроб, покрытый следом лаптей, поднимался возле дырявых ворот во двор, переходил через них. Игнат пошел по следу, заглянул внутрь двора. В раскрытой закутке неприятно ночевала чья-то телушка...

Невдалеке, в избе Марей, светился низкий огонек — из окошечка, почти сровнявшегося с высокой снежной улицей. Он заглянул в окошечко. Чуть не всю избу занимал стан. Немая, с тугим румяным лицом девка, ткала кросна, гремела станом. Игнат стукнул. Девка взглянула со страхом и удивлением. Он вошел в избу. Девка дергала оборку торчавшего с печи лаптя, будя отца. Он долго не откликался, только откашливался. Потом стал слезать — задом, ища лаптем печурку. Слез и по стене, стараясь не наступать на одну, видно, больную ногу, дошел до скамейки возле стола. Бородатый, лохматый, с выпуклыми кровянистыми глазами и хрипучим голосом, вид он имел шальной. Игнат поставил сундук у двери, сел к столу. Девка, поджав руки, стояла у печки. А Марей, попросив закурить, затягиваясь так, что дымилась вся его борода, говорил:

— Хозяйку твою видал... Видал, как же... Из церкви шла... Дома жить не пожелала, все у господ... Их давно нетути, в Москве, говорят, она приказчика согнала, всем сама правит, в барском доме живет... Не по закону живет, не по закону... любовника имеет...

— Знаю, знаю,— сказал Игнат, что-то думая.

— Известно, знаешь... Ну, потращаешь — бросит. Потращать можно... Не пара, значит, оказалась она тебе...

— Я сундук у тебя пока оставляю,— сказал Игнат, не поднимая глаз.

— Это можно... Оставь... Оставить можно,— согласился Марей.

И на порог вышел проводить Игната. Морозило, ясно. Темно синяя в вышине, меж облаков, расчищалось небо. Месяц, яркий, полный, выкатывался на простор, косая белая туча с оранжевым полукругом, падавшим на нее от месяца, сдвигалась к горизонту, к северу. Тени от водовозок стали резче, улица заискрилась.

— Зима обозначается,— хрипло сказал Марей, высовывая голову из низкой двери темных сенец на светлую улицу.

И опять твердым шагом пошел Игнат, не поворачивая завязанной башлыком шеи. Пройдя версты две по деревьям, выйдя на луг, на дорогу в гору, он увидел на горе знакомую усадьбу, темный палисадник во дворе и четыре освещенных окна за ним. Но пошел он к нижнему саду, спускавшемуся по горе от усадьбы до самого луга, перешел по плотине занесенной снегом сажалки, направляясь к длинной и мрачной бревенчатой избе скотного двора, черневшего в глубине сада, под вековыми деревьями. Небо над ними было синее, бездонное, с редкими крупными звездами. Месяц катился в вышине справа. Впереди, среди света и теней, то садясь на задние лапки и поднимая торчком уши, то делая короткие прыжки, двигался заяц, пробираясь на золотую поляну за сажалкой. Красно-золотой звездой казался огонь в избе под деревьями...

Почему не спал, почему так пристально посмотрел на Игната тот бледно-голубой лицом, беловолосый, длинноголовый пастушонок, что отворил дверь этой большой, очень теплой избы? Над столом привешена была к ее блестящему, как каменный уголь, потолку лампочка. В переднем углу — Николай-угодник в малиновом одеянии, с фиолетовой бородой. Коростовая свинка ходила по липкому земляному полу, хрустела, катала что-то по зубам. В загородке возле печи стояли телята, коричневые и желто-белые. Они не спали, клали морды с широкими, нежными, влажно-розовыми ноздрями на загородку, смотрели ясными глазами, мочились тонкими, прямыми светлыми струйками. Отдавало от них запахом мокрой коровьей шерсти, молоком парным, каким-то утробным теплом, — и долго вспоминал потом Игнат этот запах, простой, успокаивающий, а вслед за ним — старика отца. На кровати возле загородки сидел он, спустив бледные волосатые ноги в узких синих портках, лысеющий со лба, худой, как скелет, и, положив большие руки на колени, важно закрыв слепые глаза, шептал что-то.

— Он у нас сумасходный. — тихо сказал пастушонок, пристально глядя на Игната. — Дюже стар стал.

И, услышав его голос, чувствуя чье-то присутствие, еще выше, важнее и печальнее откинул старик голову, свой тонкий, горбившийся от худобы нос.

— Бог благословит, Бог благословит, — пробормотал он.

Обнажив стриженую, в стенках башлыка, голову, но забыв поздороваться с отцом, Игнат спросил мальчика:

— Любовь в доме?

— В доме, в доме, — поспешно отозвался тот. — К ней купец приехал.

Игнат надел фуражку, вышел из избы и пологой горой, через фруктовый сад, по заячьим тропинкам среди яблонь и светлых полян, испещренных тенями, быстро дошел до калитки на барский двор, откинул ее и, согнувшись, утопая в снегу, перебежал в зеленоватый сумрак палисадника. И тотчас за маленьким окном прихожей увидел жену. Но в доме вдруг глухо залаяла собака. Он отскочил — и застыл, замер, прижавшись к стене.

#### IV

Поставив в темных сенях самовар, Любка сидела в прихожей с перегородкой, выбеленной мелом, штопала чулок у старинного огарка, горевшего в медном подсвечнике на подоконнике. Полной казалась теперь эта красивая черноглазая женщина в красной кофте, с мягкими грудями, в белом платочке, под который уходил среди черных волос широкий пробор.

Две большие тени, одна лилово-темная, другая светлее, падали от нее на перегородку, поднимались на потолок. Когда подошел под окно Игнат, она, задумчиво склонив голову набок, поглядела на заштопанную пятку чулка и вынула из него старинную серебряную суповую ложку. Белый, в коричневых пятнах пойнтер, спавший в зале в углу, на репсовой каретной подушке, вдруг басом брехнул, вскочил и с гремящим лаем, стуча ногтями по паркету, побежал к прихожей. Любка живо и серьезно взглянула на дверь в зал. Потом, загородив ладонью щеку от огня, прильнула к стеклу.

— Кто там? — сказала она громко, с хозяйственной строгостью, но тревожно, отдирая сперва одну, потом другую примерзшую форточку и заглядывая в открывшийся, пустой, полный легкого морозного воздуха, квадрат.

Светлая ночь, все звончеющая над мертвой белой окрестностью, над давно спящими деревьями, над застывшей в молчании усадьбой, над живописными и неподвижными под звездным небом садами, крепла, достигала своей высшей красоты и силы. Пятна света на снегу в сумраке палисадника горели зелено. Месяца Любке не было видно, — только подняв голову, увидела она сквозь ветви сосен его зеркальный круг. За стволами просторно белел светлый двор, и колея, прорезанная по нем санками купца, розово сверкала. Любка, приглядываясь, сдвинула пьювки черных бровей. Но только на мгновение смутной тревогой дошло до нее в этой полночной тишине присутствие человека, так близко от нее прижавшегося к стене. Она подо-

ждала ответа, захлопнула форточки и пошла в зал накрывать на стол.

В прохладном большом зале было сдвинуто много мебели, много стульев и старинных кресел. У той стены, где была дверь в прихожую, стоял рояль. Высокие двери в гостиную были заперты. Стол у стены против окон освещала на цепях спускавшаяся с потолка лампа.

Проезжавший из города в купленный на сруб милютинский лесок и ночевавший в усадьбе купец был невысокий, тяжелый человек в черной бороде с бурым подседом и с черными косыми глазками. Расстегнув верхние крючки сизого, очень полного и вонючего романовского полушубка, отвернув на груди пышную дымчатую овчину, он, мягко ступая черными поярковыми валенками, бродил по залу, рассматривал мебель, шифоньерки, бронзового коня под стеклянным колпаком на подзеркальнике. Вскочив, басом забрежал пойнтер,— и он с легкой улыбкой удивления и удовольствия послушал, как отдалось в пустом доме и зазвенели медные струны рояля; он приподнял его крышку, попробовал безмянным пальцем в разных местах клавиши...

— Хорошо у вас тут, тихо,— сказал он входившей и выходящей Любке.

— Скучно,— ответила Любка, чуть усмехнувшись.

Она накрыла стол, принесла вазочку с зеленым вареньем, солонку, в которой соль была перемешана с крошками хлеба, тарелку с куском солонины, радужно-ржавой, в застывшем жире, похожем на вату, и бутылку водки с матовым от мороза налетом на стекле.

— А ты бы забаву какую-нибудь приискала себе,— сказал купец, привычно намекая на то, на что все намекают.

— И то правда,— тоже привычным, беззаботным тоном ответила Любка.

Теперь уже не было прежней живости в ее ответах. Она стала спокойнее, говорила меньше, проще и грубее, привыкнув распоряжаться и ругаться с работниками, отвыкая от господ. Ограниченная, она казалась умной, благодаря этому умению, присущему женщинам, подобным ей, не говорить лишнего.

Когда она принесла и, высоко подняв, поставила на стол самовар, купец пролез за стол на диван, не спуская косых глаз с ее груди. Она вбок блеснула смуглыми белками и, с равнодушным видом, не спеша, отошла, стала, как бы греясь, к холодной печке. Купец сдвинул рукав полушубка с круглившейся из него дымчатой густой шерстью и взял нож в левую руку, а вилку в правую. Любка это заметила. «Левша,— поду-

мала она,— распутный небось». Но опять грубо забрехал пойнтер, глядя в прихожую, и она опять тревожно прислушалась.

— На кого это он все? — спросил купец, выпив и раздувая ноздри.— Как отзывается! — сказал он, послушав.— Как орган.

— Да все, небось, этот пьяница шатается, муж скотницы нашей,— ответила она и, подумав, насмешливо улынулась.— Тут такая потеха идет, не приведи Бог.

Купец, отрезая кусочек солонины и намазывая его горчицей, равнодушно удивился:

— Да что ты!

— Ей-Богу,— сказала Любка.— Закружилась тут с одним, да и другим не отказывает. Ну он и ходит. Грех судить, а только дойдет у них дело до беды.

— Что ж, еще дружка себе нашла?

— Да ай их мало! — сказала Любка, думая не о скотнице, а о себе и о своем любовнике, портном из Шатилова, бешено ревновавшем и все грозившем убить ее.

Говоря, она косилась на окно возле дверей в гостиную. Во всех окнах зелено и остро искрились обледеневшие нижние стекла. В это окно, незамерзшее, видны были редкие звезды на синем небе, зелень палисадника и застреха в снегу. Купец ел, что-то обдумывая. Любка слабо зевнула и опять заговорила:

— А, должно, здоровый мороз будет. Куда вдаль так-то поехать, замерзнешь.

— Очень просто,— сказал купец и посмотрел на пойнтера, положившего морду на лапы.— А собака это же чья?

— Да барина нашего молодого, Николая Кузьмича,— сказала Любка.— Надоела до крайности. На дворе никак не может жить, нежна очень. Голая вся. Два раза в неделю купаю, пропасти на нее нету. Он у нас чудака какой-то.

— Да и дурак, можно сказать, хороший,— вставил купец.

— Дурак, нет ли, не мое бабье дело судить,— сказала Любка, думая, что такой скромный ответ понравится купцу.— Только, правда, никуда не гожается, и дома не живет, а об собаке в каждом письме пишет, беспокоится.

— А ты уж давно здесь проживаешь?

— Давно. Седьмой год, никак.

— И довольна, значит?

— Да чего ж мне? Сама себе голова. Они, господа-то, почать, и не живут тут.

— Муж-то в солдатах?

— В солдатах.

— И на войну не попал?

Любка засмеялась, держа руки за спиною, как бы грея их.

— Они, такие-то, счастливые, черти,— сказала она, смеясь.

— И отслужится небось скоро?

— То-то и беда, что скоро. Все писал, грозил: сопьюсь. А мне какая забота? Сам же будешь под забором лежать,— сказала Любка то, что часто говорила портному.— И опять же ревнив, надоед своей любовью до смерти... Все, бывало, грозит — убью, а скажи ласковое слово — сейчас слюни распустил. Да что ж, и убьет... Ночью, когда так-то кобель забрешет, жутко, правда...

— Ты жаловаться на него имеешь право,— сказал купец.— Это время прошло, чтобы сдуру, здорово живешь, людей бить.

Он съел всю солонину, обрезая ватный жир, допил водку. Глаза его стали маслянистей, полушубок он расстегнул. Икая, он вынул из кармана красную осьмушку табаку, камышовый мундштук, книжечку папиросной бумаги, аккуратно раскрыл ее, отдул один листок, свернул своими короткими пальцами с выпуклыми круглыми ногтями толстую папироску, с наслаждением закурил.

— Давно замуж-то вышла? — спросил он с мутной усмешкой.

— Пятый годок пошел.

— А детей не было?

— Не было.

— Почему же так? Ты, ведь, думается, крепка, хороша была?

— Страшная хорошая! — сказала Любка, польщенная, но улыбаясь насмешливо, и начала врать.— А уж это, видно, не моя вина, я сама по детям скучаю. Значит, он чем-нибудь испорчен, а моя какая может быть вина? Он на то и зло на меня имеет, на то и обижается. А я смолоду горячая была — кусаю его, бывало, до синяков, а у него старанья много, а все без толку... Плохая наша бабья доля,— сказала она.

Купец уставился на нее прищуренными глазами. Затягивался он все глубже, пуская дым в потолок.

— Это верно,— сказал он, не зная, что говорить.— Да что ты все около печки-то спасаешься?

— Греюсь,— ответила Любка с игривой скромностью и села к столу на стул.

Она понимала, что купец начал томиться, не зная, как приступить к делу. Купец, отваливаясь к спинке дивана, порою вздыхал, отдувался, закрывая глаза и хмуро улыбаясь, порою тяжело смотрел на ее грудь, пробор,— и глаза его то стекленели, то вспыхивали. Делая вид, что она ничего не замечает, Любка, опустив ресницы, пила жидкий чай с лимоном, скромно вытирала

концом головного платка потеющую верхнюю губу, покрытую черным пушком. Купец вздохнул еще шумнее и вдруг, не глядя на нее, стал торопливо и неловко расстегивать своей крепкой рукой пазуху синей фланелевой рубахи, под которой был жилет. Расстегнув и жилет, он запустил руку во внутренний боковой карман и вытащил бумажник. Любка сдвинула пальцем тонкий ломтик лимона к краю блюда, положила его в рот и стала высасывать, не в меру морщась, делая вид, что чувствует только одно — острую кислоту. Мгновенно заметила она, что бумажник очень толстый и потертый, быстрым взглядом окинула пухлую пачку розовых кредиток, которую вынул купец из бумажника. Отделив одну кредитку, склеенную бумажной ленточкой, спрятав остальные, он стал левой рукой пихать бумажник обратно, а правую ковшиком положил на нее.

— Довольно, что ли? — спросил он.

Как будто ничего не понимая, Любка равнодушно взглянула на десятирублевку, потом перевела томно-пристальные глаза на него.

— Что говорю-то? — повторил он смело, почти грубо.

Молча взяв и сунув деньги в карман юбки, она поджала руки, навалилась на стол и опять посмотрела на него долгим взглядом. Он, не зная, что говорить и делать, взял ее за правую руку, потянул за концы корявых снизу пальцев. Она не отняла их и, тоже не зная, что сказать, спросила:

— Что ж сало-то не докушали?

И, взяв оставшийся на тарелке кусочек, положила его в рот.

— А я люблю, — сказала она, — она сладкая. Опричь если на сковородке поджарить. — И засмеялась: — Пост, а мы жрем... — И, помолчав, беззаботно добавила: — Ну, да авось, все одно в аду кипеть.

— За что же это? — спросил купец.

— Да за все. Наше место в аду. Старые люди говорят, все одно из мужиков в святые не выходят. Всегда из архиреев, алхимандритов.

И вдруг, разгибаясь, решительным шепотом сказала:

— Ну, пойдёмте, что ль...

## V

Игнат, стоя на снегу, давно не чувствовал ног, окаменела и голова его, насквозь промерзла, стала тонкой, ледяной шинель. Сперва он пошевеливал пальцами в сапогах, двигал пле-

чами. Потом уже не обращал внимания на то, что все последнее тепло сосредоточилось и дрожало у него где-то под ложечкой, что стали деревянными губы, обросли инеем края башлыка, ресницы и усы.

Он не замечал времени, весь поглощен был страстным желанием, чтобы оправдались его подозрения. Пропели вторые петухи. Сила, свет, красота ночи стали ослабевать. Месяц, бледнея, склонялся к западу. Орион, три поперечных звезды его низко стояли на юго-западном горизонте серебряными пуговицами, стал ближе и ярче. От людской, над которой склонялся месяц, пала, полдвора захватила тень. Было так морозно и тихо, что слышно было, как возились на насесте ночевавшие в сенях людской куры, как в конюшне мерно хрустела овсом лошадь купца, как потом она, с глубоким вздохом, легла. Против крайнего, незамерзшего окна зала торчала из снега, под нависшими ветвями ели, скамейка. Снег, местами атласный, местами хрупкий, как соль, рассыпчатый и все твердевший от мороза, визжал и хрустел при каждом, самом осторожном шаге. Затаив дыхание, Игнат добрался до скамьи, стал на нее и, разведя руками глянцевито-ледяную зелень хвои, все забыл, увидав внутренность зала, увидав эту страшную для него, двигающуюся, что-то говорящую и улыбающуюся женщину и человека, бывшего с ней в этот поздний час один на один во всем доме.

Но время шло, шло — и ничего особенного не происходило в зале. Вот Любка села, наконец, к столу, и купец стал вынимать что-то из-за пазухи. Но что? Как ни напрягал Игнат зренья, разглядеть не мог: мешал самовар, посуда... Вот Любка привсталала, облокотилась на стол, подвинулась к купцу, и в незастегнутый разрез ее платья сзади стала видна нижняя белая юбка. И в мире настала такая страшная тишина, что осталось в нем только бешеное биение сердца Игната. Но в тот же миг Любка внезапно разогнулась, быстро пошла по залу, к двери, ведущей внутрь дома, за нею двинулся купец, — и легко, уже ничего не думая, Игнат соскочил со скамейки и побежал под елями в сторону, противоположную парадному крыльцу, чтобы, обогнув дом, вскочить в него с заднего. На пустой синеве небосклона с новыми, предутренними звездами, сквозил, чернея, потонувший в снегах низкий фруктовый сад. Еще давеча заметил Игнат, выходя из сада, кучи хвороста между ним и домом. В хворосте всегда валялся топор. И, добежав до хвороста, Игнат кинулся искать этот знакомый, зазубренный, ржавый топорик со скользкой рукояткой, — стал шарить, обди-

рая руки о ледяные прутья и обжигая их о снег, синевато блестящий против низко опустившейся сонной луны.

Купец, нащупав в кармане полушубка маленький и, как камень, тяжелый револьвер, вошел между тем в темный коридор и протянул вперед руки.

— Тут хворост на топку приготовлен, не упадите,— сказала Любка, и он, наступая на сучки и с треском ломая их, ощутил приятный, горьковатый запах холодной дубовой коры и сухой листвы в снегу.

Любка остановилась, говоря: «Это у нас задняя прихожая»,— пошарила по стене и отворила дверь в большую нежилую комнату, очень холодную, пахнущую ветчиной, освещенную двумя тускло синеющими окнами с незамерзшими верхними стеклами. Месяц стоял далеко, с другой стороны дома, в этой комнате было сумрачно, но все-таки купец разглядел окорока, висевшие под потолком, кадку с соленым салом, сепаратор, слабо поблескивающий никелем велосипед, белеющие на полу крынки и кровать у стены — деревянную, без перины, с одной подушкой без наволочки. И, повернувшись, задом подвигаясь к кровати, Любка предупредила, но уже таинственно, отвечающим моменту шепотом:

— Смотрите, не попадите в масло...

Она стала так, чтобы удобнее было лечь, чтобы купцу можно было повалить ее. И у него сразу отнялись ноги от ее шепота. Она еще что-то шептала, ласково, с дрожью в голосе, но он уже не слушал,— он, охватив и прижимая к себе ее тяжелое тело, толкал ее к кровати все ближе, пока икры ее не уперлись в нее, пока кровать не пришлась под самые ее колени. И тут Любка, дотоле слабо сопротивлявшаяся, безмолвно повалилась. Она чувствовала боль от давления часов, цепочки, одной рукой разглаживала густую мягкую бороду, а другой крепко держала за указательный палец с большим золотым перстнем. Она чувствовала встунающую в тело сладкую муку, волны истомной силы и, как бы сердясь, стала перекусывать волосы бороды, закрывавшей ей рот. Обеими руками охватила она и крепко прижала к себе бычью, сморщенную шею, лохматую голову... Но голова эта вдруг поползла из-под рук вниз, телу Любки стало легко, а ногам больно от тяжести. Она приподнялась. Купец грузно сел на пол, захрипел и упал навзничь, мягко стукнувшись затылком. Она вскочила и кинулась поднимать его. Но он дышал, как умирающий, хрипя и свистя горлом, тело его с высоким, раздувающимся животом, было огромно и тяжело, как мертвое. И страх холодом облил ее голову.

Задрожавшими руками она стала срывать с пуговиц ворот

его фланелевой рубахи, расстегнула пояс с серебряным набором. Потом схватила подушку с кровати и бросила ее на пол. Побежала в прихожую, зажгла огарок, сунула полотенце в ведро с водой и вернулась, освещая в коридоре во все стороны кинувшихся крыс. Поставив огарок на кровать, она накрыла полотенцем лоб и закатившиеся глаза купца, с ужасом глядя на его горой лежащее тело, на распахнутые полы полушубка и на белое полотенце на сизом лице с задранной кверху черной бородой. И вдруг, как гром, раздался стук двери. И, вскинув глаза, Любка окаменела, увидав над собой солдата, показавшегося ей чуть ли не до потолка ростом. В левой руке он держал фуражку, а правой, отведенной назад, сжимал топор. Сделав к Любке шаг, он быстро перехватил его рукоятку, но еще быстрее, ловя последнюю секунду, она твердым голосом приковала его к месту.

— Мой грех, — быстро сказала она. — Добивай скорее. Богаты будем. Скажем, что его удар расшиб. Скорее!

Игнат глянул на ее сразу похудевшее, обрезавшееся лицо, на расширенные и неподвижные черные глаза, красную кофту и засученные смуглые полные руки — и со всего размаху ударил обухом в мокрое полотенце.

## VI

При третьих петухах в людской уже горела лампа и топилась печь. Кухарка, сладко зевая, сидела против нее на лавке, грелась и, не моргая, смотрела на жаркое разноцветное пламя, окликающая спавшего на печи Федьку, работника купца, которому было приказано запрягать пораньше. Он, заспанный, мордастый, с бельмом на глазу, слез с печи, зачерпнул из кадки корец ледяной воды, умылся одной рукой, разодрал кухаркиным деревянным гребнем свои сбитые густые волосы, покрестился в угол, откашливаясь, залез за стол, съел чугуничек горячих картошек, насыпав кучку соли на доску стола и отрезав огромный ломоть хлеба, потом ладно оделся, очень туго и низко подпоясаясь, закурил и бодро, повизгивая по морозному утреннему снегу нагольными, твердыми, как дерево, и рыжими от снега сапогами, мотая закопченным фонарем, в котором горел сальный огарок, пошел запрягать.

Допевали петухи, ночь мешалась с днем. Из неопределенного рассветного сумрака с утренней определенностью выступали предметы. Снег на дворе, на крышах становился бледно-бел, чуть синеват. Бледнело, расширялось небо за садом, за

сквозными деревьями. Воздух был чист и остер, как эфир. В густой зеленой хвое морозно-неподвижного палисадника возились проснувшиеся галки. А на западе еще чувствовалась ночь, ее тайна. Мертво блестел невысокий месяц на сумрачном горизонте, на синеватом небосклоне за снежной долиной реки. Отворив ворота сарая и поставив фонарь на старый тяжелый фазтон, загаженный курами и покрытый замерзшей еще с осени грязью, Федька взялся за холодные оглобли маленьких крашенных санок и, пятясь, скребя по мерзлой земле железными подрезами, поволок их из темноты за порог, на бледный свет утра. Сняв затем с деревянного колка, вбитого в каменную стену сарая, наборную узду, он пошел по твердому, длинному сугробу, мимо забитых снегом окошек конюшни, к деннику, где стоял тяжелый, мохнатый жеребец купца.

В навозном темном деннике тепло, хорошо пахло лошадью, ее свежим пометом и недоеденным сеном. Широкий, весь курчавый и седой от инея жеребец, услышав стук двери, повернул голову на свет и легонько заржал. Федька подошел к нему — и он, играя, опустил голову. Федька подвел узду под нее, — он согнул толстую шею в косматой, жесткой гриве еще круче. И, мотая головой, поталкивая лбом в грудь Федьке, в его тугий полушубок, долго не давался вложить удила. Наконец, Федька втолкнул их в раздавшиеся желтые зубы, обтер руку, испачканную слюной и пеной, о хвост жеребца, делая сразу два дела — обтирая руку и приглаживая, оправляя загнущиеся сверху, зачесавшиеся волосы на холке, — и повел его к водовозке, поить.

С парадного крыльца, из тихого, с мертвыми окнами, занесенного снегом дома вдруг выскочила белая, в коричневых пятнах собака. Отрывисто брехнув, она, как шальная, сделала два круга возле крыльца и опять кинулась в дом. Федька с удивлением поглядел на нее. Но жеребец тянулся к кадке с водой, ударил мордой в лед, покрывший воду, пробил его — и вода слегка задымилась. Жеребец прильнул к ней своими бархатными губами и, посапывая, долго-долго тянул ее; он отрывался, разгрызал льдинки, слегка повернув голову к Федьке, — и Федька ласково, поощрительно посвистывал, глядя на его светлый крупный глаз и светлые капли, падающие с губ.

— Ну, будя, навек все одно не напьешься, — сказал он звучным голосом и повел жеребца к санкам.

Совсем светло стало. В саду, в голых кустах, уже трещали воробьи. Небо за садом помутнело, окрасилось ало-оранжевым. Месяц, краснея, садился за деревней, выделившейся и белевшей крышами на сумрачно-лиловом западе. Заложив же-

ребца, застегнув вожжи, Федька, не выпуская их из рук, кинулся к сиденью в одну сторону, а жеребец, рванув с места, в другую. На бегу ввалившись в санки, разодрав ему удилами челюсти и на повороте крепко взрезав подрезами рассыпчатый наст, Федька с атласным скрипом перевалился через мягкий, новый сугроб в воротах и помчался в поле, на светлый, веселый восток — погреть лошадь.

И старый, тяжелый жеребец быстро запыхался. Федька, сделав версты полторы, обжегши лицо встречным острым ветром, широко завернул и шагом поехал обратно. Шагом въехал он во двор, направляясь к парадному крыльцу — и вдруг раскрыл глаза и натянул вожжи: кухарка с плачем, исказив бледное при золотистом утреннем свете лицо, бежала от крыльца к людской, а на крыльце сидел человек в серо-рыжей шинели, в башлыке, стояком завязанном вокруг шеи, с обнаженной стриженной головою. Наклоняя ее, он правой рукой сгребал с серого наста возле ступенек свежий, белый снег и прикладывал его к темени.

*Капри. Февраль. 1912*





## ЗАХАР ВОРОБЬЕВ

На днях умер Захар Воробьев из Осиновых Дворов.

Он был рыжевато-рус, бородат и настолько выше, крупнее обыкновенных людей, что его можно было показывать. Он и сам чувствовал себя принадлежащим к какой-то иной породе, чем прочие люди, и отчасти так, как взрослый среди детей, держаться с которыми приходится, однако, на равной ноге. Всю жизнь, — ему было сорок лет, — не покидало его и другое чувство — смутное чувство одиночества: в старину, сказывают, было много таких, как он, да переводится эта порода. «Есть еще один вроде меня, — говорил он порою, — да тот далеко, под Задонском».

Впрочем, настроен он был неизменно превосходно. Здоров на редкость. Сложен отлично. Он был бы даже красив, если бы не бурый загар, не слегка вывороченные нижние веки и не постоянные слезы, стеклом стоявшие в них под большими голубыми глазами. Борода у него была мягкая, густая, чуть волнистая, так и хотелось потрогать ее. Он часто, с ласковостью гиганта, удивленно улыбался и откидывал голову, слегка открывая красную, жаркую пасть, показывая чудесные молодые зубы. И приятный запах шел от него: ржаной запах степняка, смешанный с запахом дегтярных, крепко кованных сапог, с кисловатой вонью дубленого полушубка и мятным ароматом нюхательного табаку: он не курил, а нюхал.

Он вообще был склонен к старине. Ворот его суровой замашной рубахи, всегда чистой, не застегивался, а завязывался маленькой красной ленточкой. На пояске висели медный гребень и медная копаушка. Лет до тридцати пяти носил он лапти. Но подросли сыновья, двор справился, и Захар стал ходить в сапогах. Зиму и лето не снимал он полушубка и шапки. И полушубок остался после него хороший, совсем новый, зелено-голубые разводы и мелкие нашивки из разноцветного сафьяна на красиво простроченной груди еще не слиняли. Бурый ко-

тик,— опушка борта и воротника,— был еще остист и жесток. Любил Захар чистоту и порядок, любил все новое, прочное.

Умер он совсем неожиданно.

Было начало августа. Он только что отмахал порядочный крюк. Из Асиновых Дворов прошел в Красную Пальну, на суд с соседом. Из Пальны сделал верст пятнадцать до города: нужно было побывать у барыни, у которой снимал он землю. Из города приехал по железной дороге в село Шипово и пошел в Асиновые Дворы через Жилое: это еще верст десять. Да не то свалило его.

— Что? — удивленно и царственно-строго сказал бы он своим бархатным басом.— Сорок верст?

И добродушно добавил бы:

— Что ты, малый! Да я их тыщу могу исделать.

Был первый Спас. «Хорошо бы таперь для праздничка выпить маленько»,— шутя сказал он в Шипове знакомому, петрищевскому кучеру, проходя по залитому мелом вокзалу, который, как всегда летом, ремонтировали. «Что ж не пьешь? Кстати бы и мне поднес»,— ответил кучер. «Не на что, потрагился, и так в грузовом вагоне ехал»,— сказал Захар, хотя деньги у него были. Кучер подмигнул приятелю, уряднику Голицыну. Пристрял шиповский мужик, пьяница Алешка. И все четверо вышли из вокзала. Захар и Алешка пошли пешком, кучер сел в тележку, запряженную парой,— он выезжал за Петрищевым, да тот не приехал,— урядник на дрожки-бегунки. И Алешка тотчас затеял спор: может ли Захар выпить в час четверть?

— А с закуской? — спросил Захар, широко шагая по сухой земле, изрезанной колеями, возле высокой кобылы урядника и порой осаживая вниз оглоблю, поправляя косившую упряжь.

— Можешь требовать чего угодно, на полтинник,— сказал кучер, человек недалекий, сумрачный.

— А проспоришь,— прибавил Алешка, оборванный мужик с переломленным носом,— а проспоришь, за все втрое отдашь.

— Нехай будя по-вашему,— снисходительно отозвался Захар, думая о том, чего спросить на закуску.

Он не только не устал от путешествия в Пальну,— где дело кончилось превосходно, миром,— не только не истомился, промучившись в городской жаре двое суток, но даже чувствовал подъем, прилив силы. Ему всем существом своим хотелось сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Да что? Выпить четверть — это не Бог весть какая штука, это не ново... Удирать, оставить в дураках кучера — невелик интерес... Но все-таки на спор пошел он охотно. И, принявшись за еду и питье,

сперва наслаждался едой, — есть очень хотелось, каждый кусок был сладок, — потом своим рассказом о суде.

Был жаркий день. Но вокруг села, на просторе желтых полей, покрытых копнами, было уже что-то предосеннее, легкое, ясное. Густая пыль лежала на шиповской площади. Площадь отделяют от села дровяные склады, булочная, винная лавка, почтовое отделение, голубой дом купца Яковлева с палисадником при нем и две лавки его в особом срубе на углу. Возле черной лавки ступеньками навален сосновый тес. Сидя на нем, Захар пил, ел, говорил и смотрел на площадь, на блестящие под солнцем рельсы, на шлагбаум горбатого переезда и на желтое поле за рельсами. Алешка сидел рядом с ним и тоже закусывал — подрукавным хлебом. Урядник — скучный, запыленный человек с подстриженными усами, в обтрепанной шинели с оранжевыми погонами, — урядник и кучер курили, один на дрожках, другой в тележке. Лошади дремали, терпеливо ждали, когда прикажут им трогаться. А Захар рассказывал.

— Чем дело-то кончилось? — говорил он. — Да ничем. Помирились. Я этих судов, пропади они пропадом, с отроду не знавал, ни с кем не судился. Мне сам батюшка покойник заказывал эти свары. А тут и свары-то вышла пустая. Бабы повздорили, а мы сдуру ввязались...

Он уже выпил бутылки три — из деревянного корца, который достал на дворе Яковлева Алешка; он делал свое дело столь легко, будучи столь уверенным в себе, что даже не замечал того, что делал. Кучер, урядник и Алешка из всех сил прикидывались спокойными, хотя душа каждого из них горячо молила Бога, чтобы Захар упал замертво. А он только расстегнул полушубок, чуть сдвинул шапку со лба, раскраснелся. Он съел две таранки, громадный пук зеленого луку и пять французских хлебов, съел с таким вкусом и толком, что даже противники его дивились ему, и оживленно, чуть насмешливо говорил:

— А на судах этих чудно! Я и итить-то туда не хотел. Слышу — подал прошение. Ну, подал и подал, не замай, а я, мол, не пойду. Только вдруг приезжает в Пальну начальство, присылает за мной сам заседатель. Ах, пропасти на тебе нету! Ничего не поделаешь — надо итить. Взял хлебушка, попер. Жара ужасная, пыль по дороге как пыс, альни итить горячо. Ну, однако, прихожу. Шел дюже поспешно, являюсь...

Держа пустеющую бутылку под мышкой, он цедил в темный корец светлую влагу, наполнял его до краев и, разгладив усы, припадал к ней, пахнувшей остро и сытно, влажными губами;

тянул же медленно, с наслаждением, как ключевую воду в жаркий день, а допив до дна, кричал и, перевернув корец, вытряхивал из него последние капельки. Потом осторожно ставил бутылку возле себя. Кучер не спускал с нее своих угрюмых глаз; урядник, уже передвинувший тайком стрелку часов на целую четверть вперед, тревожно переглядывался с Алешкой. А Захар, поставив бутылку, брал две-три стрелки лука, ломая, забивал их в большую деревянную солонку, в крупную серую соль, и пожирал с аппетитным, сочным хрустом. Глаза его налились кровью и слезами, казались страшными. Но он улыбался, грудной бас его был звучен, ласков, приятно смешлив.

— Ну, являюсь,— говорил он, прожевывая и раздувая ноздри.— Вижу, на улице везде народ, под лозинкой в холодке сидит заседатель в майском пинжаку, с русой бородкой, на столике книги усякие, бумаги, а рядом,— Захар повел рукой налево,— урядник что-й-то записывает красным осьмигранным карандашиком. Вызывают хрестьянина Семена Галкина, обуховского. «Семен Галкин!» — «Здесь».— «Поди сюда». Подходит; начинают допрашивать. А он на урядника и не глядит, достает грушу из кармана, стоит, ест. Урядник приказывает: «Кинь грушу!» Он не слушается, доедает...

— По морде бы его этой грушой,— сказал кучер.

— Верно! — подтвердил Захар, разламывая седьмую, последнюю булку.— Стоит и лопает! Обращается заседатель к уряднику. «Вот, говорит, господин урядник, этот самый хрестьянин Семен Галкин, когда я прошлый раз с описью приезжал, отказался платить по исполнительному листу сорок восемь рублей восемь гривен, а когда я хотел описать какой есть его лесишко и анбар, то, говорит, этот самый Галкин со своими друзьями, двумя братьями Иваном и Богданом, сели на деревá, на бревна эти возле избе, и не позволили мне свершить опись. А когда я взошел к нему в избу, то он будто невзначай спросил у своей жаны, где тут у нас безмен, что было сказано про меня, и я это принял на свой счет, а Богдан тем временем подошел к окну и с косой на плече, когда косить ему нечего было, все давно скошено. А как я был один, то принужден был удалиться. Вот извольте спросить его жану Катерину и мать Феклу и показания от ней занести в протокол. А еще в опросный лист занесите показание церковного старосты, хрестьянина Федота Леонова. А еще, что сельский староста Герасим Савельев в этот день пропал без вести и на мои требования не явился, а когда я уходил от Галкина к Митрию Овчинникову, иде был мой мерин, и проходил мимо его избе, то он притра-

вил меня кобелем, а сам спрятался за ворота, что я заметил очень хорошо, и посвистывал, да, слава Богу, так случилось, что кобель меня не поранил, хоть кидался прямо на грудь, сигал как бешеный, все благодаря Митрию, который выскочил с кнутом и тем меня оградил...»

Захар, увлекаясь ладностью своего рассказа, точно прочитал последние слова. Без передышки, звучно и твердо передавая заявление заседателя, он хотел было продолжать, но Алешка не вытерпел и крикнул:

— Потом доскажешь! Пей! Урядник, глянь-ка на часы-то.

— Успеется, успеется,— ответил урядник и подмигнул Алешке.

Но не заметил этого Захар.

— Да не гамазись ты, черт курносый! — гаркнул он добродушно.— Дай доказать-то! Я свою время знаю,— выпью, не бойся!

Ноги его твердо стояли на краешках кованных каблуков,— он с гордостью выставил сапоги и порою без нужды подтягивал голенища,— лицо было красно, но еще не пьяно. Преувеличенно-низко раскланявшись с мужиком, проехавшим мимо в пустой телеге и внимательно оглядевшим его, он шумно, через ноздри дохнул, взял обеими руками борты жаркого полушубка, двинул ворот назад и продолжал, наслаждаясь яркостью картины, занявшей его воображение, игрой своего ума.

— «Катерина Галкина! — громко, грудью говорил он, изображая всех в лицах.— К допросу. Подойди поближе!» Подходит. «Слышала, что господин заседатель сказали?» — «Слышала...» А сама плачет, заикается, ничего толком рассказать не может. «Правда ли, что твой муж безмен про господина заседателя упомянул?» — «Я, говорит, этого ничего знать не могу. Хотел муж осты вешать».— «Значит, ты от этого отказываешься?» — «Ничего про эти дела не знаю. Федька всему первый полководец. Его опросите,— и дело к развязке, и греха меньше...» Кличут сейчас старуху. Феклу. А старуха сухоногая, дерзкая, отвечает — ноздри рвет. «Имушество, говорит, моя, за сына я не плательщица, по правам покойного мужа всем владаю, а у сына ничего нету, одни портки».— «А сын-то чей же?» — «Мой».— «А раз сын твой, и толковать нечего, за неплатеж имушество отвечает. Ступай, не разговаривай, а за дерзкий ответ посажу тебя в арестанку на двое суток на хлеб, на воду...» Угомонил, значит, старуху. Вспрашивает, где церковный титор Федот Левонов? Подходит дочь его Винадорка. «Иде отец?» — «В клетки, после обеда отдыхает».— «Беги, зови его суда. Скажи, начальство требует...» А он через двор живет...

— Близо, значит? — перебил урядник и быстро переглянулся с Алешкой и кучером.— Так, так... Ну, доказывай, доказывай. Ты, брат, на удивление горазд рассказывать!

Он говорил что попало, лишь бы отвлечь внимание Захара,— он, вынув часы и спрятав их между коленями, передвигал стрелку еще на десять минут вперед. И Захар, с просиявшим от похвалы лицом, еще шумнее выдохнул воздух, мотнул головой, отсаживая горячий густой мех полушубка от лопаток, и загудел еще выразительнее.

— Верно! Слухай же, не перебивай, а то осерчаю... Вижу, лезет из низкой клетки приземистый старик... Идет через дорожку в избу — без шапки, в розовой новой рубахе распояской, и ворот от жары расстегнул. А из избе выходит в новой теплой поддевке, подпоясан зеленой подпояской, шапку в руках несет. Подходит. Волосы густые, седые, разложены вроде как рожки у барана, на обе стороны. С урядником, с заседателем — за ручку. (Богатый, видать, старик.) Пошушукался что-й-то с ними, показывает на Сеньку. Потом вынимает большой гаман кожаный, стал отсчитывать трехрублевки обмороженными култышками... Потом Винадорку кличет. Приказывает самовар ставить, зовет к себе урядника и заседателя чай пить: «Приходите мою охоту посмотреть, пчел моих, и какую я себе посуду завел. А еще кобылку мою гляньте. Ну, ясна, светла,— вся писаная, в яблоках!» Смеется, морщится, гнилые корешки в красном роте показывает.... «Не посмотреть, говорит, нельзя, того лошадиный закон требует. А может, и сторгуемся, про что говорили-то...» И опять смеется, сипит, как змей. Пошел к избе, заскребает пыль сапогом по дороге — хворсит...

— Форсит-то, форсит,— опять перебил урядник, вынимая часы,— а ведь пять минут всего осталось. Тебе теперь одним духом надо допивать.

Лицо Захара сразу изменилось.

— Как? — строго крикнул он.— Да ты брешешь! Ужли цельный час прошел?

— Прошел, брат, прошел! — подхватили кучер и Алешка.— Допивай, допивай!

Захардохнул, как кузнечный мех, и закрыл глаза.

— Стойте! — сказал он.— Это неладно. Вы меня обмошенничали. Дайте еще сроку полчаса. Главная вещь, я сопрел весь! Жара! Август. Черт с вами, я вам лучше сам бутылку поставлю. А вы мне сроку накиньте... Ну, хоть доказать только дайте про этот самый суд! — попросил он сумрачно.

— Ага! Покаялся! — крикнул кучер насмешливо.— Жидок на расправу!

Захар остановил на нем кровавый, тяжелый взгляд. Потом, ни слова не говоря, взял бутылку за горло, до дна опорожнил ее, с краями наполнив корец, и до дна высосал его. И, слегка задохнувшись, грубо сказал:

— Ну? Сыт ты ай нет?.. А теперь — буду доказывать! — с упрямством хмелеющего человека сказал он. — Вот ты и глянешь, напоил ты мене, али у тебя и потрохов не хватит на это...

И вдруг опять повеселели страшные глаза его, лицо опять стало важным и добродушным.

— Таперь вы обязаны слухать! — всей грудью сказал он и продолжал, но уже не так складно и хорошо: — Опосля этого вызывают знахаря, Василь Иванова. Этот совсем худой, в поддевке серой, виски вроде пеньки и бородка клинушкой. И еще пуще старика морщится, — не то от солнца, не то от хитрости... шат его знает. Этот, выходит, старуху опоил. Давал ей лекарству какую-то, — бывает, велел пить по маленькому стаканчику, а она и возьмишь глушить его большими стаканами... Вызывает его. «Как тебя зовут?» — «Был Василий». — «Кто тебе дал праву лечить, мерзавец?» А у них уж раньше, конечно, был сговор: Васька небось уж сунул им. Ну, а при народе, известно, надо же для близиру поорать. Вспрашивал, спрашивал, потом опять как закричит на него: «Скройся из глаз моих в осинник!» Тот будто и испужался: шапку поскорее на голову — и шмыг, шмыг в осинник... Так, значит, дело и затерли. Погляделся урядник в зеркальцо, поправил саблю, сложил свои бумаги... «Ну, говорит, идем, что ль, к старику-то? Очень мне хочется, чтоб мерин еще отдохнул». — «А сколько сейчас время?» Вынул урядник новые часы, селебряные, глянул: тридцать восемь первого». — «Ну, пойдете, надо его охоту посмотреть, старик добре гордится». Поднялись, пошли чай пить. А мужики остались, расселись, как вóроны, на срубленных деревьях возле избе, подняли гам. Иные говорят, что не надо до продажи допускать, иные — что нельзя начальство обижать. Пуще всех какой-то худой мужик орет, срезался со стариком одним. Мужик кричит, что плохо у нас жить, по чужим странам лучше, киргизу и то способней, — у того, по крайности, степя аграматные... А старик кричит, — у нас лучше...

Ему казалось, что он мог бы говорить без конца и все занятнее, все лучше, но, послушав его, убедившись, что дело пропало, свелось только на то, что Захар опил, объел их да еще без умолку рассказывает чепуху, кучер и урядник тронули лошадей и уехали, оборвав его на полуслове. Алешка посидел немного, поподдакивал, выпросил четыре копейки на табак и

ушел на станцию. И Захар, совершенно не удовлетворенный ни количеством выпитого, ни собеседниками, остался один. Повздыхал, помотал головой, отодвигая ворот полушубка, и, чувствуя еще больший, чем прежде, прилив сил и неопределенных желаний, поднялся, зашел в винную лавку, купил бутылку и зашагал по переулку вон из села, пошел по пыльной дороге в открытом поле в необозримом пространстве неба и желтых полей. Солнце опускалось, но еще пекло. Полушубок Захара блестел. Направо от него падала на золотистое пересохшее жнивье большая тень с сиянием вокруг головы. Сдвинув горячую шапку на затылок, заложив руки назад, под полушубок, Захар твердо ступал по твердой под слоем пыли земле, не мигая, как орел, смотрел то на солнце, то на широко раскрывшийся после косьбы степной простор, похожий на простор песчаной пустыни, на раскинутые по нем несметные копны, похожие вдали на гусениц, — и по горизонтам, по копнам мелькали перед его кровавыми, слезящимися глазами несметные круги — малиновые, фиолетовые и малахитовые. «А все-таки я пьян!» — думал он, чувствуя, как замирает и бьет в голову сердце. Но это ничуть не мешало ему надеяться, что еще будет нынче что-то необыкновенное. Он останавливался, пил и закрывал глаза. Ах, хорошо! Хорошо жить, но только непременно надо сделать что-нибудь удивительное! И опять широко озирает горизонты. Он смотрел на небо — и вся душа его, и насмешливая и наивная, полна была жажды подвига. Человек он особенный, он твердо знал это, но что путного сделал он на своем веку, в чем проявил свои силы? Да ни в чем, ни в чем! Старуху пронес однажды на руках верст пять... Да об этом даже и толковать смешно: он бы мог десяток таких старух донести куда угодно.

Воображение его, жадное во хмелю до картин, требовало работы. Он шагал все шире, твердо решив не дать солнцу обогнать себя, — дойти до Жилова раньше, чем оно сядет, — и думал. Думал... Бутылка подходила к концу. И он чувствовал, что необходимо выпить еще маленько — у хромого мещанина, сидельца в Жильской винной лавке, на большой дороге. Солнце опускалось; на смену ему поднимался с востока полный месяц, бледный, как облачко, на ровной сухой синеве небосклона. Чуть уловимый, по-вечернему душистый дымок тянул от куда-то в остывающем воздухе; оранжево краснели лучи, сыпавшиеся слева по колкому сквозному жнивью, краснела пыль, поднимаемая сапогами Захара; от каждой копны, от каждой татарки, от каждой былинки тянулась тень. «Да нет, шалишь, не обгонишь!» — думал Захар, поглядывая на солнце, вытирая

пот со лба и вспоминая то битюга-жеребца, которого за передние ноги поднял он однажды на ярмарке, заспорив о силе с мещанами, то литой чугунный привод, который выволок он прошлым летом из риги на гумне барина Хомутова, то эту нищую старуху, которую тащил он на руках, не обращая внимания на ее страх и мольбы отпустить душу на покаяние. Остановясь, раздвинув ноги, от которых столбами пала тень на жнивье, Захар вынул из глубокого кармана полушубка бутылку, глянул на нее против солнца и весело ухмыльнулся, увидав, что и бутылка и водка в ней зарозовели. Закинув голову, он вылил водку в разинутый рот, не касаясь бутылки губами, и хотел было запустить ее выше самого высокого, самого легкого дымчатого облачка в глубине неба. Но, подумав, удержался: и так израсходовался! — сунул бутылку в карман и опять зашагал, с удовольствием вспоминая старуху.

«Ах, расчудесная была старуха!» — думал он, глядя то на солнце, то на сереющие за дальними копнами избы. Шел он недавно по паровому полю. Глядь, лежит на сухой навозной куче старуха побирушка и стонет. Был он порядочно выпивши, и, как всегда во хмелю, жадно искала душа его подвига — все равно, доброго или злого... даже, пожалуй, скорей доброго, чем злого. «Бабка! — крикнул он, быстро подходя к старухе. — Ай помираешь? Ай убил кто? Чем перед кем провинилась?» Старуха, — она была вся в лохмотьях, бледное лицо ее было в запекшейся крови, глаза закрыты, — зашевелилась и застонала. «Да что ж ты молчишь? — гаркнул Захар грозно. — Раз тебе спрашивают, можешь ты мне не отвечать? Значит, так и будешь лежать? Скотину скоро погонят — баран завалиет, замукает... Вставай сию минуту!» Старуха вдруг заголосила, взглянув на него, огромного и страшного. «Батюшка, не трожь меня! Меня и так бык закатал. Пожалей меня, несчастную!» — «Не могу я тебя пожалеть! — еще грознее заорал Захар, почувствовав вдруг жалость и нежность к старухе. — Вставай, говорят тебе!» Старуха приподнялась и тотчас же опять упала и заголосила еще пуше. Тогда, не помня себя от жалости, Захар сгреб ее в охапку и почти бегом помчал к селу. Старуха, обхватив обеими руками его воловью шею, задыхаясь от запаха водки, исходившего от него, тряслась на бегу, а он, боясь заплакать, быстро бормотал, стараясь, сколь возможно, смягчить свой бас: «Да что ты? Ай очумела? Чего боишься? Молчи, — говорю тебе, молчи, ни об ком не думай! Обо всем забудь!» — «Не могу, батюшка! — отвечала старуха. — Никакого счастья не вижу себе, одна во всем свете, ни напитоков, ни наедков сладких отроду не видала...» — «А я тебе говорю, не

голоси! — говорил Захар. — Всякий свою стежку топча! У всякого своя печаль! Копти! — гаркнул он на все поле, ощутив внезапный прилив бурной радости. — Ешь солому, а хворсу не теряй! Сейчас за мое почтение доставлю тебя на хватеру! А за быка за этого тебя драть надо. Чего шатаешься, скитаешься? Зачем к стаду лезла? Тебе надо округ баб находиться. С ними ты можешь разговор поддержать. А бык, он, брат, не помилует!» — «Ох, постой, — застонала старуха, уже смеясь сквозь слезы. — Всю душу вытряса...» И Захар заорал еще грозней: «Бабка, молчи! А то вот шархану тебя в ров — костей не соберешь!» И захохотал, раскрывая пасть, раскачивая старуху и делая вид, что хочет со всего размаху пустить ее с косогора...

Спина его была мокра, лицо сизо от прилива крови и потно, сердце молотами било в голову, когда, гордо глянув на мутно-малиновый шар, еще не успевший коснуться горизонта, быстро вошел он в Жилое. Было мертвенно тихо. Нигде ни единой души. Ровная бледная синева вечернего неба надо всем. Далекий лесок, темнеющий в конце лощины. Над ним полный, уже испускающий сияние месяц. Длинный, голый зеленый выгон и ряд изб вдоль него. Три огромных зеркальных пруда, а между ними две широких навозных плотины с голыми, сухими ветлами — толстыми стволами и тонкими прутьями сучьев. На другом боку другой ряд изб. И так четко все в этот короткий час между днем и ночью: и контуры серых крыш, и зелень выгона, и сталь прудов. Один, слева, чуть розовеет, прочие — две зеркальных бездны, в которых точно влиты отраженный месяц и каждый ствол, каждый сучок.

— Фу, пропасти на вас нету! — шумно вздохнул Захар, приостанавливаясь. — Как подошли все!

Ему захотелось рывкнуть так, чтобы в ужасе высypал на выгоны весь этот мелкий народишко, спрятанный по избам. «Да нет, нет, — подумал он, мотая головой, — ошалел я, пьян... Непристойно думаю, неладно... Домой надо поскорей... Домой...»

И вдруг почувствовал такую тяжкую, такую смертельную тоску, смешанную со злобой, что даже закрыл глаза. Лицо его стало котельного цвета, отделилось от русой бороды, уши вспухли от прилива крови. Как только закрылись его глаза, так сейчас же запрыгали во тьме перед ним тысячи малахитовых и багряных кругов, а сердце замерло, оборвалось — и все тело мягко ухнуло куда-то в пропасть. Ах, домой бы теперь, да в ригу, да в солому! Но, постояв, Захар открыл глаза и, вместо того, чтобы свернуть влево, на Осиновые Дворы, упорно зашагал, перейдя плотину, на большую дорогу, к винной лавке.

О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этих бледных равнинах за нею, в этот молчаливый степной вечер! Но Захар всеми силами противился тоске, говорил без умолку, пил все жаднее, чтобы переломить ее и наказать этого курчаво-рыжего, со стоячими белыми глазами хромого мещанина, подло и радостно засуетившегося, когда Захар предложил ему поспорить: может он, Захар выпить еще две бутылки или нет? Винная лавка, вымазанная мелом, странно белела против блеклой синевы восточного небосклона, на котором все прозрачнее и светоноснее делался круг месяца. Возле лавки стоял столик и скамейка. Мещанин, в ситцевой рубахе и обтертых докрасна опойковых сапогах, торчал возле стола, осев на одну ногу и касаясь земли носком другой,— безобразной, с высоким подъемом, с большим каблуком,— выставив кострец, и, как обезьяна, с необыкновенной ловкостью и быстротой грыз подсолнухи, не спуская своих белым с Захара. А Захар, поднимая грудь, сжимая зубы, стискивая, точно железными клещами, своими огромными пальцами край стола, облизывая сохнувшие губы, обрывая каждое слово бурным вздохом, плохо соображая, что он говорит, поминутно проваливаясь в какую-то черную пропасть, спешил, спешил досказать, как он нес старуху...

И вдруг, размахнувшись всем туловищем, быстро встал, далеко отшвырнул ногой стол вместе с зазвеневшей бутылкой и граненым стаканом и хрипло сказал:

— Слухай! Ты!

И мещанин, уже разинувший было рот, чтобы крикнуть на Захара за бесчинство, взглянув на его бело-сизое лицо, онемел. А Захар, собрав последние силы, не дав сердцу разорваться прежде, чем он скажет, твердо договорил:

— Слухай! Я помираю. Шабаш. Не хочу тебя под беду подводить. Я отойду. Отойду.

И твердо пошел на середину большой дороги. И, дойдя до середины, согнул колени — и тяжело, как бык, рухнул на спину, раскинув руки.

Эта лунная августовская ночь была жутка. Отовсюду бесшумно бежали бабы и ребятишки к кабаку; сдержанно и тревожно переговариваясь, шли мужики. Лунный свет прозрачным дымом стоял над сухими жнивьями. А среди большой дороги белело и блестело что-то огромное, страшное: кто-то покрыл коленкором мертвое тело. И босые бабы, быстро и бесшумно подходя, крестились и робко клали медяки в его возглавии.



## ЕРМИЛ

В наших местах есть довольно большой лес, который зовут Островами. Вот что случилось в нем несколько лет тому назад, на Святках, когда караулил его некто Ермил, малорослый, коротконогий, морщинистый мужичишка.

Лес от села недалеко. Когда нет ни метели, ни поземки, он виден с гумен; бледно сереют поля, склоняется к горизонту низкое небо, по горизонту висит сумрачная полоса тумана, а под нею залегает синеватая полоса леса. Но кажется она далекой — как все зимою. Если же поселиться среди этих волчьих и заячьих оврагов, окруженных лесными островами, в старой избе среди рыжих дубков и кустарников, торчащих из белых пушистых сугробов, то с непривычки будешь чувствовать себя за сто верст от людей. А Ермил был к лесу непривычен: прежде занимался он все по селам, служил много лет при водокачке на станции, стоял при барде на винокурне.

Как многие из тех, что никогда не видали добра ни от начальника, ни от ближнего, он давно мечтал быть от людей подальше. Они его не любили, он их чуждался. Они им помыкали, думая, что он дурак и безответный. Он же, помалкивая, копил в себе утеху — злое сознание, что далеко не так он прост, как думают. Он внушил себе, что все ему лиходеи, и жил, надвинув шапку на глаза, но сторожко. Переселяясь в лес, он гадал пожить хоть одну зиму спокойно.

Был он, как большинство мужиков, труслив. Но однажды на спор сходил в полночь в овин и уверился, что ему все нипочем. Уверенно переселился он в самое глухое осеннее время и в лес. Но оказалось, что он даже и представить себе не мог, до чего жутка лесная жизнь. Ух, как зловеще шумел невидимый лес в те черные, непроглядные ночи, когда пошли ноябрьские дожди, когда стали они лить по ночам без перерыва, когда, как говорится, хоть кричи, не докричишься ни души, когда в полях только ветер, черные пашни, пустые дороги да непробудным

сном умершие деревни! В безграничном море тьмы чувствовал он себя и спал тревожно, при лучине, часто просыпаясь. Мечтал он, бывало: будет у меня в руках дубинка, буду в темные ночи похаживать по лесу — и уж только попадись мне тогда вор, грабитель! Но оказалось, что в такие ночи и за избу-то выйти не возьмешь света белого.

День тоже не радовал: и днем было темно от туч, и днем лил дождь на лес, на лужи — нельзя было на порог показаться. «А придет зима, пойдут святошные вьюги — и совсем хоть пропадай!» — думал Ермил, валяясь после обеда на нарах, поджидая новой долгой ночи. Иногда он садился, собирался плесть лапти, да только все глядел и глядел в окошечко на мокрый кустарник, на тучи. Они к ночи сгущались. Нагоняя тьму, разыгрывалась буря. Ермил слезал с нар, открывал печку, вынимал пук лучин, искал спичек по печуркам. А пока возился, выбирая лучину посуше, и совсем смеркалось. А когда лучина разгоралась и он втыкал ее в светец, окошечко было уже черно. Он опять ложился — и, пользуясь мертвой тишиной и светом, на самую середину избы выбегала седая тощая крыса, жившая под печкой. В лесу же, в его мелочах, в непролазных чащах по оврагам, были волчьи притоны. В самую полуночную пору не раз с визгом, с захлебывающимся лаем, кидались в глубину сеней собаки, ночевавшие у порога. Схватив свою тяжелую, ржавую одностволку, шальной от сна, при дымящей лучине, крича, выскакивал Ермил в сени — и сколько огненно-зеленых глаз рассыпалось перед ним в черной тьме кустарников, по скату оврага! С бьющимся сердцем, бледный, возвращался он, впуская за собою грязных собак, тотчас забивавшихся под лавку. Дымно, красно пылала лучина, роняя огненные искры в лохань под светцем, гоня дрожащие тени. Тяжко и глухо шумел обломный дождь. И Ермил брал рогац, подпояску, прикладывал рогац к притолкам поперек двери, захлестывал подпояской и его и скобку, туго-натуго затягивал... Потом опять ложился на спину, в шапке, в полушубке, задирали тонкие короткие ноги в огромных лаптях на свою укладку. Пронзительные желтые глаза его не моргали.

И вот пришла зима. Ветер повернул. Гнилые бури и ливни сделали свое дело, раскрыли лес, дали студеному облачному небу свободно белеть сквозь него, оборвали листву и завалили ею, мокрой и ржавой, все овраги. Шел снег и таял. Но голый лес гудел уже туго, сурово, по-зимнему. И Ермил повеселел было. Но не сровнялось и недели, как, обходя однажды верховье с дубинкой в руке и одностволкой на плече, слушая холодное, зимнее гуканье красногрудых, раздувавшихся по ветру

снегирей и шлепая лаптями по лесным ухабистым дорогам, полным грязи и бледного снега, между тем как собаки, по своей манере, все бочком, все забирая в сторону, бежали впереди, за стволами, наткнулся он на страшное место: в раскрытых гудящих вершинах высоко висела и качалась на суке высокого дуба веревка, а на веревке — оскаленная, до кости объединенная муравьями собачья голова с двумя-тремя позвонками перегнившей и разорванной шеи. На земле же, у корней дуба, лежали ребра, клоки истлевшей бурой шерсти. И, раскапывая эти клоки дубинкой, Ермил долго, долго, до ряби в глазах, и так и этак вглядывался в них, все стараясь сообразить: велика ли была собака, мужицкая ли, барская ли она, и кто и по какой причине — со зла или для забавы — удавил ее. И вдруг опустил дубинку, замер, скосил глаза в переносицу: а что, если и его вот так-то удавят? Лес, глушь кругом, он один, как перст, на всем свете, жизнь его никому не дорога, о смерти его и узнать-то могут только через месяц и, узнав, не больно-то встревожатся, а тут идут праздники, Святки. Это время жуткое для человека, живущего в лесу, в поле. Что же будет чувствовать он в одиночестве, когда придет оно: одни волчьи свадьбы чего стоят! А ведь и помимо того не Бог весть как просты вечера и ночи на Святках. И лихие люди пользуются этими ночами. Удавили же когда-то мужики лесника в Дехтярном, чтобы натопить из покойника каких-то свечей колдовских... У Ермила, как у стоящего над пропастью, заньло, заломило в ляжках. Он повернулся и, надвигая шапку, поспешно, неловко, задевая за корни, зашагал назад.

Снег валил непроглядный, весь день. К вечеру перестал. Стало теплей, затихло. Ермил слазил на потолок, нашел возле борова старые лыжи, привязал к ним новые оборки и опять пошел к дубу. Но снег был пушист, лыжи тонули, скользить на них Ермил не умел, поминутно попадал одной лыжей на другую — измучился, извихлялся и вернулся к избе. Вечерело. Все вокруг покрыто было снегом. Сизо, с розовым оттенком белел противоположный бугор в мелком чернолесье. «Кажись, опогодится, — подумал Ермил, мучимый странным желанием еще раз поглядеть на собачью голову. — Схожу завтра пеший». Но опять поднялся ночью ветер — и опять на целую неделю понесло снегом. Зима спешила — до Святков оставалось чуть. И Ермил стал готовиться к ним.

Собачья голова не выходила у него из ума. Как только темнело, он крепко-накрепко связывал подпояской рогач и дверную скобку. Спал еще тревожнее. А чем свет слезал с печки, выпускал своего белого лохматого кобеля, — сучка куда-то сбежала, если только не попала на зубы волку, — шел по сугробам в овраг, на

пруд; возвратясь, затапливал, умывался, молился и принимался за работу — вернее, за думы. Были они нехороши, но он все больше входил во вкус их, сосредоточенно поддевая на деревяшке лыко, постукивая кочетыком. Дымил, сипел, стрелял хворост в печи. Сыро и тепло было в избе. За окошечком, на завалинке, задом к стеклу, сидел кобель — наслаждался, зимнее отродье, тем, что его заносит снегом. А Ермил думал: как бы приучить его кидаться чужому человеку прямо на горло; где бы достать волчий капкан, чтобы к святочной ночи положить его возле порога, заровняв соломкой, снегом... Дни шли. Пора было обезопасить себя! Но как? Что выбрать из придуманного? Выбрать надо было то, что исполнимо, то, что вернее и тверже всего. Поумней злодея надо было оказаться! И страх Ермила таял, заменяясь расчетливой злобой.

В избе все белело, все светлело от сугробов вокруг. Лес порыжел, измельчал, день и ночь гудел в зимней дремоте под сумрачным небом. Непорочно-белые наносы, в которых тонули его скрипучие стволы и корявые кустарники, день и ночь росли, дымясь белым дымом. За порогом насквозь прохватывал крутой северный ветер. Весь в снегу ворочался Ермил с пруда. Скинув полушубок, затопив печку, березовым голиком подмахнув земляной пол, он обмывал под своими густыми волосами, вечно гревшими его маленький лоб, свое морщинистое лицо водой с ледяшками, обдергивал свою бессменную посконную рубаху и становился на молитву, врозь раскинув носки спрехвещих лаптей. Щурясь, он устремлял пристальный, но невидящий взор на дощечку в углу, привычно шептал что-то и в определенные моменты с размаху кланялся ей. Но думы его были не возле Бога. Не о Нем думал он и после молитвы, сев за работу.

Он всю жизнь полагал, что верит в Бога, но только полагал. Темная сила — другое дело: в нее он верил, чувствовал ее крепко. Сколько ее не только в мире, но и в человеке! Ермил клал лапоть на колени и долго смотрел своими желтыми глазками в пол. Он вспоминал всю свою жизнь, с тех дней, когда он по-людски женился, по-людски нанялся с женой на барский двор. Теперь ему пятьдесят, тогда было восемнадцать, но и тогда звали его корявым, коротким, а в придачу к тому, был он глуп. Женили его на рябой, высокой; рябая была смела и распутна, и он всем рассказывал, как она ухитрилась провести его, оказаться невинной. Он искал сочувствия, а что же вышло? Его же ославили дураком. Рябая любила медные и серебряные кольца и скоро сошлась с приказчиком. Он было сунулся на него, защищая свою честь. Но как просто, при общем хохоте

сбил с него приказчик шапку и прогнал со двора долой! И примолк Ермил, затаился, покорился судьбе, понес, вдовцом, по чужим углам, камень за пазухой...

Случаи, такие, как в Дехтярном, правда, редки. Да чего не бывает! И, значит, пора подумать покрепче. Идти немедленно в село, как сгоряча хотел Ермил, просить помощи против лихих людей у старосты, урядника, добыть капкан, вырыть яму — все это никуда не годилось, все это скоро стало казаться пустой затеей: надо было похитрее выдумать. Порою, в спокойную минуту, думалось: ну, кто придет давить его! Но тут Ермил начинал разжигать себя. Кто — неизвестно, да в злодеях недостатка нет. За что? А за то-то! Разве не сжили его со станции, с винокурни — и за то только, что он густоволос, морщинист, коротконог, за то, что молчит-то он молчит, а всех насквозь видит. Разве не собирались рабочие то ноги переломать ему, то удушить его сонного полушубками, то, как будто нечаянно, столкнуть в горячую барду? Смирно шел он на Казанскую по селу, а разве не орал за ним пьяный сапожник, Ванька Махор, первый разбойник в селе: «Погоди, погоди, я те подыму со лба волосы!» — Нет, видно, никогда не откажется человек искалечить, пришибить человека, если только с рук сойдет. Глянь, как рвет, молотит мужик вора, стащившего клок соломы. Клок не дорог, да ведь как такой случай упустить! За вора-то ничего не будет. И недаром, знать, пословица лежит: «Зол злодей, а ты позлей злодея окажись».

Наконец все было обдумано. Пора было дело делать.

И прежде всего Ермил испробовал свою ржавую одностволку с самодельным прикладом. Он продул ее, пробил пистолком, зарядил утиной дробью, крепко забил паклей, вышел из избы и с час стоял среди острых сугробов и дымных вихрей, среди рыжего, гудящего леса, по колено в белейшем снегу, поджидая, не сядет ли где поблизости ворона. Ветром принесло ее наконец, глупую, каркающую, голодную. Проваливаясь в наносы по пояс, согнувшись, падая, набивая ствол снегом, Ермил пробрался к тому дереву, на котором раскачивалась она, присел, положил ствол на ближний сучок, долго водил мушкой по грязно-серой, сутулой от карканья птице, — наконец спустил курок. Его оглушило, ослепило, отдало в плечо и в щеку так крепко, что он свалился навзничь. Но тотчас вскочил и, вместе с яростно лаявшим кобелем, кинулся к своей добыче: окровавленная, на клочки изорванная, она валялась, тонула в рыхлом снегу под тем же самым деревом, на котором, за мгновение перед тем, хрипела, тужилась, качалась.

Затем он ловко выбил палкой кусочек стекла в нижнем углу

своего окошечка; попробовал всунуть в него дуло одностволки и присесть на скамейку возле самой лавки: дуло вошло отлично. Ночь будет если и мутная от метели, да все-таки видная, лунная,— это уж наверно. Вот и накидает он на завалинку соломы, чтобы таилось в ней торчащее из окна дуло; потом вернется в избу, потушит огонь, прильнет к стеклу и будет ждать — смотреть на тропинку, поднимающуюся по косогору против окна. Тот, кто будет идти по этой тропинке, ничего не рассмотрит в окне, прикрытом соломой. Самого же Ермила, сидящего в темной избе,— тем более... А что же именно идти будет? Теперь уж самому Ермилу приходилось выбирать. И, подумав еще маленько, он выбрал.

В Сочельник он пошел в село.

Теперь, после целых двух недель размышления об одном и том же и подсчета всего того, чем весь век радовали его люди, он совсем, казалось, освободился от страха. Он был возбужден, был как во хмелю, слабости уже не чувствовал. Напротив. «Нет, постой, меня голой рукой не возьмешь!» — думал он. Теперь, если бы ему сказали, что никто к нему не придет, он бы, кажется, молить стал о том. С дубинкой на плече, ковылял он среди полей, тонувших в тумане вьюги, по чуть видной дороге, к невидному селу, гнул голову от снежных вихрей и решал, что именно надо сделать, у кого побывать и что кому сказать в селе.

Показались за снежной курой прутья лозняка по задворкам, по окраинам скудных мужицких гумен. Скучно, дико было и в селе, а все не то, что в лесу. В лесу и снег-то куда белее, пушистей, глубже,— не жилой это снег, звериный... Он прошел околицу, прошел мимо редких крестов, торчавших из слоистого серого наста на погосте, вечно на юру обдуваемого ветром, перекрестился на деревянную церковь, на решетчатые окна алтаря, до половины прикрытые сугробом... Дальше стало тише, теплей, свободней. Он осунул подпояску на самые кострецы, отвернул с углов обледеневший, затвердевший ворот армяка, пошевелил плечами в толстых низках... Зачернели люди, ехавшие в кабак, в лавку. Ермил не спеша переступил порог ее, стал в сторонке, держа, как нищий, мешок в левой руке, а дубинку в правой, скромно дожидаясь очереди.

Мужики в тулупах, в полушубках, засыпанных снегом, скрипели, входя, мерзлыми лаптями и валенками. Лавочник в поддевке, худой, с чистой желтой кожей, с большими кофейными глазами, с длинной редкой бородкой, похожий на угодника, доведший свою молчаливую ловкость до щегольства, то перевтыкал мерку с медными обручами в подставляемые мешки, ссыпая туда пшено, то наливал, щедро переливая, бутылки

керосином, то бросал свиные середки на иссеченный пенёк, взмахивал топором и с единого взмаха отрубал ровно столько розового мяса и мерзлого сала, сколько требовалось, лишь для видимости прикидывая на ржавых тарелках весов. Раздражающе пахло маринованными сельдями, ситцами, кругами хомутины, на вид как бы копчеными... Ермил сдержанно поздоровался, побалакал кое с кем, взял пшена, соли, спичек, кренделей; платя, нарочно показывал всем трехрублевые бумажки. Потом стал говорить, ни к кому не обращаясь, медленно пряча деньги и закуривая, хотя не курил никогда, — только затем, чтобы подольше побыть в лавке и попользоваться бесплатным табаком, махоркой насыпанной лавочником в коробку из-под килек для угощения покупателей:

— А у вас тут хорошо в селе... Вам жисть. Не то, что мне, в лесу, в глухомани. Вам Святки идут, веселье, пированье, а мне — жуть... Я на это робок... Еще сдуру придет кто да убьет. Да что ж! Небось скажет, у него и деньжонки есть... Человек, мол, скрытный, бережной... А не то, святошное дело, и так только — поугатать вздумает... А я и от того могу беспокоиться. Я слабосилен. Стареть стал...

— А ты вот брешь так-то побольше, накликай на себя, — сказал лавочник, протягивая шерботому, почерневшему курному старику пачку нюхательного табаку. — Брешь побольше. Народ-то и разнесет.

Мужики подхватили:

— Верно. Это уж известно — только пусти слух по народу...

Ермил поглубже надвинул шапку, чтобы скрыть довольство. Постоял, дурачки разводя руками, и медленно вышел.

Заходил он и в кабак. Выпил сотку, купил бутылку, глубоко запрятал ее в карман и опять поговорил с народом, опять проделал то же самое.

А от кабака он пошел под гору, где жили духовные, шорник, коновал, Ванька Махор. Смеркалось, синели снежные сумерки, чернели под горой мещанские избушки. У Ваньки избушка была всех меньше, всех ниже и грязнее. На вогнутой стене ее, с осыпающейся коркой глины, висела дощечка, на которой Махор нарисовал сапог, похожий на орудие каменного века, а вокруг него — много желтых и белых медалей. В темных сенях Ермил нащупал скобку, обмотанную тряпкой, и рванул к себе. В полутьме, в свинцовом полусвете у мерзлого и вечно мокрого, оттаивающего окна, у лавки, заваленной кусочками кожи, инструментом, жестянками с прокисшим клеем, согнувшись, сидели сам Махор и его подручный Мишка. Большая старуха спала за

ситцевой занавеской на нарах. И гнилью мешанского угла, и сапожным товаром, и всячески воняло тут. Было скучно, тяжело от присутствия больного человека, спящего в сумерки, и от двух пестрых кур, тоже дремавших возле печки. Но чернявый Мишка бойко стучал молотком по каблуку перевернутого вверх подошвой и зажатого в колени сапога, один за одним вгонял в него мелкие деревянные гвоздики. А Махор поспешно, видимо, с большой охотой, налаживал старую гармонию, вынимал из снятой крышки медные планочки с серебряными клапанами, попеременно прикладывая их к губам, без передышки тянул в себя воздух — и клапаны дребезжали, пели, пищали. Было ему лет двадцать пять, но усов у него еще не было, лицо его было длинно, крупно и очень бледно, взгляд, бараний, белый, прям и нагл. Длинно, велико было и туловище его.

И Ермилу на минуту стало очень страшно. Он переступил порог — и оба работавшие подняли головы и, увидав его, расширили глаза от удивления. Но он и тут не потерялся.

Стараясь хоть изредка встречаться с глазами Ваньки и казаться простодушной, он, войдя, тотчас же заговорил о том, что вот был он в селе, кое-что покупал, да и надумал забежать прицениться, сколько, примерно, могут стоить сапоги.

— Головки? — отрывисто спросил Махор.

— Нет, зачем же... хворменные сапоги.

Махор поднял голову, и его белые глаза холодно повеселели: — Это кому же?

— А хоть бы и мне, — сказал Ермил. — Что ж, ай я и этого не нажил себе за всю свою службу?

— Франт тоже! — сказала Махор, оглядывая его. — Да тебе околевать пора. Ай погодить хочешь?

Мишка улыбался ядовито, с любопытством.

Ермил сощурил глаза и из-под волос покосился на сапожника. «Не околевай ты прежде!» — подумал он. И с притворной развязностью ответил:

— Помри ты нынче, а я завтра. Ты про сапоги-то говори. А не хочешь — я к Кострецу, к хромому, пойду. Мне, брат, шесть целковых не деньги...

— А! Вон оно что! — свистнул Махор.

Он в упор посмотрел на Ермила и, уже совсем, как разбойник, не скрывающий своих мыслей, спросил:

— Значит, у тебя, правда, есть деньги?

Ермил дрогнул от этого взгляда и поспешно забормотал:

— Что ты, что ты... Какие у меня деньги? Откуда они у меня? Вот так-то болтают, плетут... А я сию ни жив ни мертв

в лесу... По ночам не сплю... Кто и поугасть просто вздумает, и то навек не человеком сделает...

— Родимчик приключится? — сказал Махор.

— А ты что ж думаешь? — подхватил Ермил.— Время святошное... Кто-нибудь шутку вздумает, полушубок для смеху вывернет, да под окно, а мне и каюк...

— А! — опять сказал Махор, но уже равнодушно.— Значит, ты просто пофорсить пришел, побрехать... А я-то, дурак, с тобой зубы чешу.

И опять наклонился к гармонии. Но вдруг загоготал и подмигнул Мишке.

— Чего ты? — торопко спросил Ермил.

— А то чего же! — ответил Махор весело и загадочно.

Ермил посидел еще минуту, чтобы не заметили его торжества,— он понял этот хохот, он уже не сомневался теперь, что Ванька придет в вывернутом полушубке,— и, сославшись на то, что припоздал, наобещав непременно договориться «как-нибудь на гулянках» о сапогах, вышел вон, пока Махор зажигал лампочку. Была уже ночь. Мерзлые помои у порога тускло блестели. Высоко, над самой головой, ныряли и сияли в волнистых облаках луна и какая-то яркая звезда. Сиял порою и крест церкви, когда быстро шел мимо нее Ермил.

Пришел он домой поздно. Кобель сидел у избы, против луны, ждал его. Дружно и быстро вошли они в избу и тотчас же, не зажигая огня, легли спать. Спали крепко, но оба видели путаные яркие сны. Кобель ныл, вскакивал. Ермил проснулся среди ночи. Лунный свет белел пятном как раз посреди избы, на земляном полу. На лавке сидел бледно-зеленый, сквозной старик, в длинной рубахе, с гробовым венчиком на лбу — покойник батюшка. Ермил подошел к нему и усмехнулся.

— Батюшка? Ты зачем? — спросил он.— Я теперь тебя не боюся.

Покойник, улыбаясь, поднял слабую руку и легонько перекрестил его:

— Спи, Господь с тобой. Злых людей бойся.

И Ермил проснулся и увидел, что и не думал он слезать, подходить к лавке, а лежит, как лежал. Но еще много раз казалось ему, что он просыпается, пробует, крепко ли привязан рогач к двери, вздувает лучину, вынимает похлебку из печи и ест: забыл поужинать, придя из села...

Проспал он и весь следующий день, не топил даже. Перед вечером встал, поел вчерашней, кислой похлебки и, помолившись, стал заряжать ружье. Было уже темно, но огня он не вздувал. Руки тряслись, заряд казался то мал, то велик. Кобель

26 Июля 1913 г., дача Ковалевского /подъ Одессой/

Нынче убажастъ Юлій. А наступила дивная погода. Страшно жалко его.

Каждое лѣто--жестокая измѣна. Сколько надеждъ, плановъ! И не успѣвъ оглянуться--уже прошло! И сколько ихъ мнѣ осталось, этихъ лѣтъ? Содрогаешся, какъ мало. Какъ недавно было, напр. то, что было семь лѣтъ тому назадъ! А тамъ еще семь, ну, 14--й конецъ! Но человѣкъ не можетъ этому вѣрить.

Кончилъ "Былое и Думы". Изумительно по уму, силѣ языка, простотѣ, изобразительности. И въ языкѣ--родной мнѣ языкѣ--языкъ нашего отца и вообще всего нашего, теперь почти уже исчезнушаго племени.

Старый проектъ созданія въ Нью Йоркѣ русскаго архива какъ оудто осуществляется при помощи здѣшняго Колумбійскаго У-та. Намечается комитетъ по руководству имъ въ составѣ: изъ живущихъ въ Европѣ Вы /если согласитесь/ и Шаляковъ, изъ находящихся въ Америкѣ Бахметевъ /б. посолъ/, Николаевскій, Карповичъ, Ад. Толстал и п. Мнѣ поручено запросить Васъ съ согласіемъ Надъсъ, Вы не откажетесь, правда? По освобожденіи Россіи Колумбійскій университетъ обязуется отдать его въ Москву. *Колумбу,*  
*спрашиваетъ онъ*

Дневниковая записъ Бунина 26 июля 1913 г.

Из письма М. А. Алданова Бунину 26 марта 1951 г.

стоял возле и заглядывал ему в глаза вопросительно, совсем по-человечьи.

Часов в восемь он вышел на порог. Опять ныряла в вышине, в облаках, луна, но была ночь мутнее, белее, чем вчера: по кустам несло белым, поземкой.

Потом он долго, не шевелясь, не дыша, сидел на лавке возле окна, в крепко запертой полутемной избе. И вдруг — насторожил. Тихо, тихо приподнялся и прильнул к стеклу: в белесой мути, бледно озаряемой луной, на тропинке среди кустарника, точно мукой осыпанного, чернели две поднимавшиеся из-под горы фигуры. Впереди была та, что повыше... И не прошло и минуты, как она надвинулась на завалинку, затемнила свет и уже хотела было тоже прильнуть к окошечку, как Ермил оглушительно, как из пушки, выстрелил.

Мишка кинулся, свалился назад, под гору. Махор остался на месте. Ермил, выскочив из избы за неистово лаявшим кобелем, наклонился над лежащим ничком большим человеком с нарисованными углем усами, в вывернутом тулупе. Снег под животом его был окровавлен...

А через три месяца после этого Ермила ввели в залу суда. И он произвел на всех самое приятное впечатление. Войдя, он долго крестился на золотой образ в углу, отвесил низкий поклон судьям. Вызванный, он встал твердо, разобрал густые волосы на потеющем лбу, откинул голову, отвечал точно, охотно, шурясь добродушно, с хитрецей, по-стариковски, и к каждому слову прибавлял:

— Господа начальники, судьи праведные...

Ему, видимо, нравилось, что собралось столько народу для него, что в зале сидят барыни, купцы в сюртуках, что на столе сукно с бахромой, за столом мундиры, а у золотого образа горит красная лампадка. Он говорил:

— Мой великий грех, господа-начальники, судьи милостивые. Злые люди загубить хотели, а я того весь век ждал. Казните меня тюрьмой-каторгой...

В монастыре, где он отбывал наказание, не было человека работающее его: как чисто мел он двор, как ловко колол дрова, как усердно таскал воду в братскую кухню!

И монахам понравился он. С ними и остался, отбыв покаяние, — «прижился к Богу». Но в монахи постричься не пожелал.

— Нет, я дюже преступный, — говорил он с удовольствием.

*Капри. 27 декабря. 1912*



## КНЯЗЬ ВО КНЯЗЬЯХ

Лукьян Степанов приехал в светлый сентябрьский день к помещице Никулиной. До его хутора верст пятнадцать, лошадыми он дорожит как зеницей ока. Значит, приехал он по важному делу.

Гнедой жеребец, сверкая глазами, тяжело влетел во двор, к сараю, где еще до сих пор слезают те, что не решаются слезать у крыльца. Лукьян Степанов сидел на беговых дрожках, на голой доске.

— Что же это вы, Лукьян Степаныч, без подушки-то? — смеясь, спросил его лицеист Сева, шедший от конюшни.

— Погоди, расскажу, — ответил Лукьян Степанов, привязывая жеребца к телеге без передков.

Сева стал годить. Привязывал Лукьян Степанов долго, основательно. Привязав, высморкался на землю, вытерся полою и наконец ответил:

— Вот оттого-то у вашего брата, господ, и нету ничего. Есть подушка — валяй ее и в хвост и в голову!

Взяв с дрожек мешочек, набитый чем-то тяжелым, он пошел к дому — большой, толстый от одежды. На нем была теплая поддевка, сверх поддевки бараний тулуп, голова под шапкой повязана по ушам красным платком, ноги обуты в тяжелые сапоги.

Сева опять засмеялся и сказал:

— А тепло вы одеты!

— Мне, брат, восемьдесят с гаком, — ответил Лукьян Степанов. — Доживи-ка до моего.

— Ну, уж и восемьдесят! Откуда вы столько набрали?

— В поле, брат, набрал.

— Ну, а уши-то вы зачем же завязали?

— Глухой быть не хочу — вот зачем. Отчего вы, господ, глухие-то все? Вот от этого. Выскочил в чем попало, надуло в уши — и готов.

Вышла в зал хозяйка, ее старший сын Мика, лысый, усатый, близорукий, и дочь Люлю — бледная, женственная, задумчивая, постоянно кутающая плечи в пуховой платочек и неожиданно, притворно вздрагивающая. Хозяйка угощала гостя белым хлебом, чаем и вареньем, много говорила, делая вид, что очень осведомлена в сельском хозяйстве. Сева не спускал смеющихся глаз с Лукьяна Степанова, с его загорелого лица и носа, который от загара лупился, был лиловый, в золотистой шелухе. Мика, наклоняясь к столу, курил, сбрасывал пепел в пепельницу в виде ладони и катал хлебные шарики, что всегда раздражало хозяйку. Люлю села с ногами на диван, прижалась в уголок, съежилась и, не моргая, глядела красивыми печальными глазами в большой рот Лукьяна Степанова: десны у него были розовые, голые, без единого зуба. Всех томила загадка: зачем он приехал? А ну как приторговываться к имению? Ах, если бы дал Господь! Хозяйка очень тонко, как ей казалось, подводила разговор к продаже имений, намекала на то, что, по нынешним временам, и она охотно продала бы:

— Ах, Лукьян Степаныч, с нашим народом поневоле придешь к заключению, что банк-то самое надежное место для капитала!

Но Лукьян Степанов говорил только о своих лошадях, об умолоте, очень охотно ел белый хлеб, деликатно брал ложечку варенья прямо из вазы, глубоко запуская ее в рот, клал обратно и пил чай. Он делал вид, что слушает хозяйку, изумлялся самым простым вещам, хлопал себя по колену — и опять говорил только о себе, не давая говорить хозяйке. Сидел он в расстегнутой поддевке, под которой была линючая ситцевая рубашка, вытирал лысеющую голову и лицо платком, снятым с ушей. «Совсем еще здоровый мужик! — думали все. — Только борода седая, да и то не совсем, еще видно, что она была рыжая; есть, конечно, и в глазах что-то тусклое, старческое, живот провалился...» Наконец он встал, принес из прихожей и развязал свой тяжелый мешочек, полный серебра вперемежку с золотыми. Оказалось, что он приехал только затем, чтобы похвастаться. «Да это еще что! — сказал он. — Разве это деньги? Так, продал овсишко, ну и взял маленько задатку...»

Вызвав удивление, зависть, почтение, он довольно и хитро засмеялся, вернее, засипел, открывая розовый рот, поблагодарил за чай, за угощение и пошел одеваться.

— Нет, пора, пора, — сказал он, хотя никто не оставлял его. — И так припоздал. Лучше на Покров еще приеду.

Все были разочарованы и ушли, не дождавшись, пока он оденется. В прихожей остался один Сева.

— Ну, вот вы, Лукьян Степаныч, говорите, что вам восемьдесят с гаком,— начал он, садясь на коник.— Ну, скажите откровенно: боитесь смерти? Часто о ней думаете?

— Погоди, расскажу,— ответил Лукьян Степанов, одеваясь.

И опять ничего не рассказал. Повязав уши, надвинув шапку на самые брови, туго и низко подпоясавшись, он стал нанизывать на себя тулуп. Справившись с этим, он устал, задохнулся и тяжело сел рядом с Севой.

— Смерти-то? — сказал он.— Кто же ее не боится? Чужак человек! Да ведь что ж исделаешь? И умрешь, не откажешься... И богатства своего, брат, с собой не возьмешь!

— А вот, вы с деньгами так-то ездите: не боитесь, что убьют, ограбят?

— Что я с деньгами, того никто не знает. А и узнает, не догонит. Такого жеребца, как мой, у твоего деда на свадьбе не было.

Усевшись на дрожки верхом, Лукьян Степанов шибко понесся со двора, но, миновав церковь, гумно, всех, кто мог его видеть, потянулся шагом. А в накуренном зале долго стоял столбами свет предвечернего солнца. Сева открыл пианино, в тысячный раз что-то начал. Хозяйка с грустным и важным лицом несправедливо обиженной, но покорной своей судьбе женщины занялась мытьем и вытиранием чайной посуды, брезгливо отдав горничной вазу с вареньем, из которой ел Лукьян Степанов:

— Выкиньте это и вымойте горячей водой.

Люлю встала с болезненной гримасой,— ах, уж эти доморощенные музыканты! — и, выйдя из дому, медленно пошла по липовой аллее, стараясь наступать на сухие листья, золотые и розовые. «Осень, осыпается весь мой бедный сад!» — высоким голосом запела она. Но оборвала песню на первых словах, свернула на дорожку среди сиреновой заросли, села на скамью и вдруг зарыдала, подавляя рыдания, злобно закусывая край платка, чтобы не закричать от боли. Полоса яркого вечернего света легла на серый старый стол возле скамьи. Какая-то черноглазая птичка беззвучно слетела на ветку, с ветки на стол, туго, бочком прыгнула раза два, с любопытством глядя на плачущую. На гумне, куда, притворяясь хозяином, шел Мика в австрийской куртке и высоких сапогах, ровно гудела молотилка. Ясный, равнодушный вечер был так тих, что она слышная была далеко в поле — желтом, пустом, золотившемся шелковыми сетями паутины.

Через несколько дней подали к крыльцу никулинского дома

тройку. Кучер надел плисовую безрукавку, шелковую канаречную рубашу и шляпу в павлиньих перьях, барыня и барышня — траур: всегда есть какая-нибудь умершая дальняя родственница, а это ведь так удобно, если нет хороших костюмов для вагона. Спустив вуали, натягивая фильдекосовые перчатки, они ласково и грустно прощались с прислугой, принимая зонтики, накидки, рыжий плед покойного Никулина. Сева поехал верхом, на нервной худой кобылке. До станции всего двадцать верст, поезд отходил в семь, а выехали в два. Можно было отстать. Сева отстал возле хутора Лукьяна Степанова. Тройка скрылась в степи, среди ржаных жнивий; он повернул на заросшую полынью дорогу к хутору.

Было жарко, вокруг блестела сухая вспаханная земля на картофельных обобранных полях. Вдали серебрились тополя. Навстречу шел по пыли белый толстый мальчик, лет трех, в грязной рубашечке, в большом картузе, похожий на старичка, — шел, положив голову на плечо, неизвестно куда. «Заблудится, зайдет к черту на кулички», — подумал Сева, смеясь.

Был праздник, послеобеденное время — хутор казался необитаемым. Вот плетень и въезд в широкий двор. На дворе — телеги, сорокаведерное каменное корыто, журавль колодца, тень от старых амбаров под сизой соломенной крышей. Нарушая вид степного мужицкого гнезда, белеет за амбарами еще не крашенная железная крыша нового мещанского дома на высоком фундаменте. Дальше — какой-то черный исполинский шалаш, возле которого висит на шести дохлый ястреб. Впереди — мелкий пруд, сверкающий на солнце, глиняные берега в гусином пуху. А по другую сторону двора — развалины варка, старинного, еще тех времен, когда хутор принадлежал барону Ачкасову: каменные крепостные стены, голый остов несокрушимых стропил. Все ворота настежь — виден навоз, слежавшийся, спекшийся, наросший за многие годы под самые перемыты.

Лукьян Степанов одиноко и величаво стоял среди двора, без шапки, в лиловой рубаше, опираясь на рогач. Невдалеке тихо сидел в ведре, забитый в него, закутанный в попонку, бледный ребенок в чепчике. Другой, в продранной на тугом животе рубашке, криво и старательно заносил полную ножку, взбираясь на каменное крыльцо амбара. А вокруг все было усеяно спящими: одной семьи у Лукьяна Степанова шестнадцать человек, да еще гости, кум с женой, приехали. Все ошалели, ослабели после обеда, повалились где попало и заснули. Один Лукьян Степанов не сдался: был еще во хмелю, красен, но стоял бодро.

Когда Сева въехал во двор, Лукьян Степанов, не спеша, подошел, подал ему руку и осмотрел запотевшую под седлом кобылку.

— В Москву за песнями? — спросил он с усмешкой.

Под навесом амбаров сидели на цепях овчарки. Он погрозил им. Возле них, в тени, крепко спал на спине кум, мужик с черной бородой. На солнце, в телеге — баба в зеленом платье и старший сын Лукьяна Степанова, в атласной синей рубаше, в кованых сапогах, с выпущенными из-за голенищ каемками шерстяных чулок. Эти лежали ничком, обнявшись. Прочие спали прямо на траве. Бабы — прикрывшись от солнца фартуками.

— Яишенку? А? — спросил Лукьян Степанов.

Сева, смеясь, отказался:

— Мы только что от завтрака.

— Ну, чайку?

— Право, не хочется. Да и на станцию боюсь опоздать.

— Значит, опять в Москву?

— Да... Пора. Я и так пропустил уже много уроков.

— Жисть вам! — сказал Лукьян Степанов, как бы с завистью, но не скрывая и насмешки. — Урков! А я вот тысяч на сорок имею, князь во князьях, а все сижу. В Киев и то не соберусь никак. А понужней твоих урков. Пойдем, дом покажу. Возле дома, на рвани ватного одеяла, сушилось просо.

— Кш, пропасти на вас нету! — сказал Лукьян Степанов, махнув рогачом на высоких худых цыплят, бегавших по просу, и поднялся на крыльцо, вошел в сени, делившие дом на две половины. Полов в сенях еще не настилали: навалены были тут рассыпавшиеся колеса, разошедшиеся кадушки, кирпичи, известка. В отворенные двери глядели пустые комнатки, кафельные печки, медные отдушники, стены в голубеньких обоях.

Сева спросил, оглядываясь:

— А что же вы его не доделываете?

— Это кого? Дом-то?

— Да.

— Капиталу, брат, не хватает. Это ведь у тебя одна забота — урки учить, задачи решать да диктовку гнать.

— Нет, без шуток? И не доделываете и не переходите. Ведь вы, говорят, под шалашом, в землянке живете?

— Она землянка, а лучше всякой избы, — сказал Лукьян Степанов. — А не перехожу, это правда. Третий год не перехожу, оттого и не доделываю. Не в капитале, понятно, дело. Дай ребятенки подойдут, выровняются.

— Какие ребятенки?

— А внуки. Их у меня числа нет. Пусти-ка их! Живо все шпалеры обдерут.

В задней комнате в зале, как назвал ее Лукьян Степанов, сидела на полу босая баба, миловидная, очень смиренная на вид, и рубила косарем зеленую траву.

— Это кому же? — спросил Сева.

— Свиным кушанье готовит, — сказал Лукьян Степанов. — Пойдем. Тут жарко.

— А я все-таки избу вашу хотел бы посмотретьь.

— И в избу сведу.

Под громадным, черным от старости шалашом толстый потолок из бревен покрывал громадную землянку. Спустились вниз по земляным стертым ступенькам. Внизу было мрачно, темно — свет проходил только в два крошечных окошечка под самым потолком. Сева увидел нары человек на двадцать, опять-таки заваленные старьем — попонами, лотками, ошметками лаптей, люльками; оглядел рассевающую кирпичную печь, полати, стол, занимавший чуть не половину избы, шербатые чугуны на мокром земляном полу возле печки, — в них, в воде с золой, выпаривались портки и рубахи.

— Но это ужасно! — сказал он, смеясь. — Как же вы тут живете! Ведь вас шестнадцать человек. И целую зиму спите все вместе...

— Ничего тут нету ужасного, — сказал Лукьян Степанов, что-то внимательно оглядывая под печкой, и вдруг махнул рогачом: из-под печки, раздувая золу, вылетел больной облезлый голубь. — Ничего тут нету, братец ты мой, ужасного. Девять лет прожил, как дай тебе Бог прожить. Ни разу не угорели. Диво, а не изба. А теплынь какая! Зимой прямо хоть рубаху скидавай... Мы, брат, люди земляные.

— Но сыро, должно быть, ужасно?

— Наладил! Сыро, это правда, дюже сыро. Пойдем свою охоту покажу.

«Охота» Лукьяна Степанова, его знаменитые на всю округу черно-пегие битюги помещались в особом дворе, в каменной, крытой тесом пристройке к новому дому. Отомкнули замки на высоких тесовых воротах, вошли в уютный квадрат из денников и амбарчиков с крылечками и маленькими железными дверками.

— Вот буду жить в новом доме, проснусь так-то ночью, гляну, ан мне из залу все и видно, — сказал Лукьян Степанов, показывая на окошечко, глядевшее из дома во двор. — Понял? Умно придумано? Истинно, как Адам в раю, живу! Истинно, князь во князьях.

Глаза его стали блестеть. Денники тоже были на замках. Отмыкая их, он распахивал дверь, смело шел прямо к заду лошади, оглаживал его и шел к голове.

— Ты не ходи, не ходи! — кричал он из денника. — На порожке стой. Насмерть убьет! Меня только одного подпускают...

Страшные траурные лошади вздрагивали всей кожей, шарахались, храпели, косили огненными глазами. Гривы у них были черные, густые, чуть не до земли. Раскормлены они были на удивление, до желобов на спинах и крупах.

— А? Что? Каково? — глухо кричал Лукьян Степанов из темноты. — Видал? А то Москва-а... Боле ста лет в нашем роду этот самый завод, такой масти ни у кого во всей губернии нету. Стану помирать, накажу цельную тройку запретить в самую первую телегу, — тройкой гроб помчат!

Потом, нагнувшись, переступил порог денничка, где стояла ладная жемчужная кобылка:

— А это моя любимица! Земчужная лошадка называется. У, матушка! Любишь? Любишь? — Любит, чтоб ей носик чесать, страсть любит, — сказал он с восторгом, оборачиваясь к гостю.

Все осмотрев и затворив, замкнув, он обрел еще более прекрасное расположение духа.

— Погоди, дурачок, погоди, поспеешь! — говорил он, удерживая Севу. — Пойдем чай пить. А не хочешь, давай так посидим, побалакаем...

Он сходил в избу, принес скамью, сел; глубоко и довольно вздыхая, усадил Севу рядом с собой.

— Эй, бабка! — закричал он на весь двор. — Старуха!

Толстая, сутулая старуха в шерстяных чулках, в очках, с паголенком и спицами в руках, показалась из-за шалаша.

— Княгиню-то мою еще не видал? — спросил Лукьян Степанов, кивая на нее. — Заодно уж и ее погляди. Она у меня тоже при делу. За избой сидит, мак стережет.

Старуха подошла и низко поклонилась.

— Ну, как? — спросил Лукьян Степанов. — Сидишь? Никого не видать?

— Пока, слава Богу, никого. Да ведь знают, что есть караул.

— Маку немножко для потехи посеял, — сказал Лукьян Степанов, обращаясь к гостю. — Я этих там маков, подсолнухов ни по чем не уважаю — для потехи только сею по малости, абы, абы ребятишкам хватило. Как сеяли деды-прадеды ржицу, так и нам Бог велел. Они только ее, матушку, знали, а сигарки из трехрублевок вертели. Я, братец ты мой...

Старуха стояла и блестела мелькающими спицами, слушала, глядя исподлобья, из-за очков. Лукьян Степанов слегка нахмурился.

— Ну, будя, послушала,— сказал он и махнул на нее рукой.— Что приглядываешься? На мне узоров нету. Ступай, ступай отцеда...

Вечерело. Галки, болтая, усаживались на решетчатые колпаки на трубах нового дома. Стали просыпаться спавшие. Один за одним прошли мимо, на пруд, умываться, сыновья Лукьяна Степанова — угрюмые, густоволосые, крепкие мужики. Ребенок, сидевший в ведре, повалился вместе с ведром и кричал на весь двор. Сева простился.— «Ну, во святой час,— сказал Лукьян Степанов,— подюжей учись»,— и Сева, вскочив на свою нервную кобылку, поехал по плотине пруда. Вечерняя прохлада и тишина сходили на степь. Воробьи осыпали горелую, голую лозинку на плотине сплошным треском, вечерним, уютным. Желтоватая жидкая вода кишела возле плотины мельчайшими вшами. Умывшийся мужик сидел на глиняном берегу распояской, отражался под берегом и глядел на оранжевое солнце, садившееся за степью, за неоглядной равниной, в молочно-голубом сухом тумане. Жнивья были лимонные. Пастушонок, с раздутой губой, в бараньей шапке, медленно гнал по ним стадо овец. Они двигались скопом, на ходу докармливаясь, с шумом дыхания. Сева, отъехав от хутора, ударил плеткой по лошади и понесся вскачь, оставляя за собой столб пыли. Столб этот протянулся на версту и не опадал долго, долго...

В Москве всю осень шли дожди. Мика не писал и не слал денег из деревни — опять с любовницей связался. Мама хворала,— по крайней мере, не принимали никого, говоря, что она хворает. Принимали только одного Жедринского, старого театрала, бритого, очень полного, страдавшего одышкой, славившегося своими остротами на весь город. В ноябре Люлю, неожиданно для всех, вышла за него замуж. Теперь уже валил снег, ночью вверх по Тверской одна за одною неслись, гремя глухарями, тройки. Жедринский часто проводил ночи с компаниями в Стрельне. Куря на морозе сигару, сидя в дохе между женою и маленькой знаменитой артисткой, Жедринский все наклонялся к ней и остротами вполголоса заставлял ее хохотать до упаду и бить его по рукам. Люлю, в дорогих легких мехах, в средневековом бархатном берете, печальными, молящими глазами, уткнув лицо в муфту необыкновенной величины, смотрела на сидящего напротив молоденького сумского офицера. Его сосед, знаменитый певец, с лицом екатерининско-

го вельможи, стриженный в скобку, по-мужицки, но в цилиндре и медвежьей шубе, делал ленивые, бесстрастные глаза: ревновал. Люлю грустно думала:

— Я гадкая, гадкая...

Жизнь в Стрельне, у Яра только начиналась. Весело было входить туда, в огни, тепло, блеск зеркал, теплый воздух, пахнувший сигарами, шампанским и жареными рябчиками, отряхивать морозный снег с мехов, кидать их на руки ловких людей в поддевках и помогать дамам, шуршащим шелком юбок, покрасневшимся и сияющим с мороза, расстегивать ботики!

А Лукьян Степанов, мирно ночевавший со всем своим многочисленным потомством и телятами в теплой земляной берлоге, уже третий раз просыпался в эту пору и босой выходил наверх, на скрипучий снег, под черно-синее небо и звезды.

*Катри. 30 декабря. 1912*





## ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

### I

В лунный осенний вечер, сырой и холодный, Стрешнев приказал оседлать лошадь.

Лунный свет полосой голубого дыма падал в продолговатое окошечко темного денника, самоцветным камнем зажигая глаз верхового мерина. Работник накинул на него узду и тяжелое, высокое казацкое седло, вытащил его за повод из конюшни, узлом закрутил ему хвост. Мерин был покорен. Только глубоко, раздувая ребра, вздохнул, когда почувствовал подпруги. Одна подпруга была оборвана. Работник едва вдел ее в пряжку и затянул зубами.

Кургузый, под седлом, мерин стал щеголеватей. Доведя его до дома, до крыльца, работник замотал повод вокруг гнилого столба и ушел. Мерин долго щеплял, грыз желтым зубом столб. Иногда дулся, ныл и ревел нутром. В луже возле него зеленовато отражалась неполная луна. В редком саду оседал прозрачный туман.

Стрешнев, держа в руке арапник, вышел на крыльцо. Горбоносый, с маленькой, откинутой назад головой, сухой, широкоплечий, он был высок и ловок в своей коричневой поддевке, перетянутой по тонкой талии ремнем с серебряным набором, в казачьей шапке с красным верхом. Но и при луне было видно, что у него поблекшее, обветренное лицо, жесткая кудрявая борода с проседью и жилистая шея, что длинные сапоги его стары, на полах поддевки — темные пятна давно засохшей заячьей крови.

В темном окне возле крыльца открылась форточка. Робкий голос спросил:

— Андрюша, ты куда?

— Я не маленький, мамаша, — сказал Стрешнев, нахмуриваясь и берясь за повод.

Форточка закрылась. Но в сенях стукнула дверь. Шлепая туфлями, на порог вышел Павел Стрешнев, одутловатый, с запухшими глазами, с зачесанными назад седыми волосами, в

белье и старом летнем пальто, полупьяный и болтливый, как обычно.

— Ты куда, Андрей? — хрипло спросил он. — Прошу передать мой душевный привет Вере Алексеевне. Я всегда глубоко уважал ее.

— Кого ты можешь уважать? — ответил Стрешнев. — И что ты лезешь постоянно не в свое дело?

— Виноват, виноват! — сказала Павел. — *На условное свиданье мчится юноша молодой!*

Стрешнев, стиснув зубы, стал садиться. Как только нога его коснулась стремени, мерин ожил, тяжело завертелся. Улучив минуту, Стрешнев легко поднялся и опустился на заскрипевший арчак. Мерин задрал голову и, разбив копытом луну в луже, тронул бодрой иноходью.

## II

В сырых лунных полях тускло белела полынь на межах. Большекрылые совы бесшумно, неожиданно взвивались с меж — и лошадь всхрапывала, шарахалась. Дорога вошла в мелкий лес, мертвый, холодный от луны и росы. Луна, яркая и точно мокрая, мелькала по голым верхушкам, и голые сучья сливались с ее влажным блеском, исчезали в нем. Горько пахло осиновой корой, оврагами с прелой листвою... Вот спуск в разлужья, как будто бездонные, залитые тонким белым паром. Белым паром дышит и мерин, пробираясь среди кустарников, стеклянных от росы. Хруст сучков под копытами отдается на той стороне, в высоком лесу, темнеющем по скату горы... Вдруг мерин насторожил уши. Два плечистых, толстогорлых, тонконогих волка стояли в светлом дыму разлужья. Близко подпустив Стрешнева, они взметнулись и неуклюжим галопом пошли в гору, по белой от изморози, радужно сияющей траве.

— А если она еще на день останется? — сказал Стрешнев, откидывая голову, глядя на луну.

Луна стояла над пустынными, серебристо-туманными лугами направо... Осенняя печаль и красота!

Мерин, скрипя арчаком, натуживаясь и ноя сильным нутром, поднимался в частый высокий лес, по глубокой ложбине размытой ручьями дороги, и вдруг, оступившись, чуть не рухнул на землю. Стрешнев яростно перекошил лицо и со всей силы ударил его по голове арапником.

— У, старая собака! — крикнул он с тоскливой злобой на весь звонкий лес.

За лесом открылись пустые поля. На скате, среди темных гречишных жнивий, стояла бедная усадьба, кое-какие службы, дом, крытый соломой. Как печально было все это при луне! Стрешнев остановился. Казалось, что поздно, поздно,— так тихо было кругом. Он въехал во двор. Дом был темен. Бросив повод, Стрешнев соскочил с седла. Мерин остался стоять с покорно опущенной головой. На крыльце, положив морду на лапы, калачиком свернулась старая гончая собака. Она не двинулась, только посмотрела, подняв брови, и с приветом постучала хвостом. Стрешнев вошел в сени, пахнувшие из чулана старым отхожим местом. В передней был сумрак; стекла, в холодном поту, золотились. Из темного коридора бесшумно выбежала небольшая женщина в легком светлом капоте. Стрешнев наклонился. Она быстро и крепко обвила его сухую шею обнажившимися руками и радостно, тихо заплакала, прижимая голову к жесткому сукну поддевки. Слышно было, как по-детски бьется ее сердце, чувствовался крестик на ее груди, золотой, бабушкин — последнее богатство.

— Ты до завтра? — быстрым шепотом спросила она. — Да? Я не верю своему счастью!

— Я пойду, Вера, лошадь убрать, — сказал Стрешнев, освобождаясь. — До завтра, до завтра, — сказал он, думая: «Боже мой, с каждый днем все восторженней! И как много курит, как неумеренна в ласках!»

Лицо Веры было нежно, бархатисто от пудры. Она осторожно проводила щекой по его губам, потом крепко целовала в губы мягкими губами. Крест блестел на ее раскрытой груди. Она надела тончайшую сорочку — заветную, хранимую для самых важных моментов, единственную.

«Как твердо знал я, — думал Стрешнев, стараясь вспомнить ее молоденькой девушкой, — как твердо знал пятнадцать лет тому назад, что отдам, ни минуты не колеблясь, пятнадцать лет жизни за одно свидание с ней!»

### Ш

Перед рассветом на полу возле постели горела свеча. Стрешнев, длинный, в шароварах, в расстегнутой косоворотке, лежал на спине, важно отклонив в сумрак маленькое горбоносое лицо, закинув за голову руки. Вера сидела возле него, облокотясь на колено. Блестящие глаза ее были красны, опухли от слез. Она курила и тупо глядела в пол. Она положила ногу

на ногу. Маленькая нога ее в легкой, дорогой туфельке очень нравилась ей самой. Но боль сердца была слишком сильна.

— Я для тебя всем пожертвовала,— тихо сказала она, и губы ее опять задрожали.

В голосе ее было столько нежности, детского горя! Но, открывая глаза, Стрешнев холодно спросил:

— Чем ты пожертвовала?

— Всем, всем. И прежде всего честью, молодостью...

— Мы с тобой не Бог вещь как молоды.

— Какой ты грубый, нечуткий! — ласково сказала она.

— Во всем мире все женщины говорят одно и то же. Любимое слово, только произносимое разное. Сперва с восторгом, с восхищением: «Ты такой умный, чуткий!» Потом: «Какой ты грубый, нечуткий!»

Тихо плача, она продолжала, как бы не слушая:

— Пусть из меня ничего не вышло... Но музыку я любила и люблю страстно и хоть немного, но добилась бы...

— Ах, не музыку. И как только Падарский...

— Грубо, Андрюша... А теперь я жалкая институтская таперша, и где же? В том самом проклятом городе, который я всегда так ненавидела! Разве я не могла бы и теперь еще найти человека, который дал бы мне покой, семью и любил и уважал бы меня? Но память о нашей любви...

Стрешнев закурил и стал отвечать медленно, разделяя слова:

— Вера, мы, дворянское отродье, не умеем просто любить. Это отравка для нас. И это я, а не ты, загубил себя. Пятнадцать, шестнадцать лет тому назад я приезжал сюда каждый день и готов был ночевать у твоего порога. Я тогда был еще мальчишка, восторженный и нежный дуралей...

Папироска потухла. Он далеко отшвырнул ее, уронил руку вдоль тела, глядя в потолок.

— Любовь прадедов, их портреты в овальных рамках с золотой бумажкой вокруг синей... Образ Гурия, Симона и Авива, покровителей наших древних семей... Кому, как не нам с тобой, назначалось все это? Я тогда стишки писал:

Любя тебя, мечтал я о мечтавших,  
Любивших здесь сто лет тому назад —  
И по ночам ходил в заглохший сад,  
При свете звезд, их некогда выдавших...

Он взглянул на Веру и заговорил резче:

— Зачем ты ушла — и за кем! — из своего рода, из своего племени?

Он приподнялся и стал в упор, злыми глазами глядеть на ее черные сухие волосы:

— Я о тебе, с восторгом, с благоговением, всегда только как о жене думал. А когда нас свела судьба? И чем ты мне стала? Женой разве? А была молодость, радость, чистота, темный румянец, батистовая косоворотка... Приезжать к вам каждый день, видеть твоё платье, тоже батистовое, легкое, молодое, видеть твои голые руки, почти черные от солнца и от крови наших предков, татарские сияющие глаза — не видящие меня глаза! — желтую розу в угольных волосах, твою тогда глупую, изумленную какую-то, но прелестную улыбку, даже то, как ты уходишь от меня по дорожке сада, думая о другом, а притворяясь, что играешь, гонишь крокетный шар, слышать оскорбительные фразы твоей матери с балкона — это было для меня...

— Она, а не я во всем виновата, — с трудом сказала Вера.

— Нет! Помнишь, как ты в первый раз уезжала в Москву, собиралась, рассеянно пела что-то, не видя меня, поглощенная своими мечтами, уверенностью в счастье? Я вас поехал провожать верхом, в ясный холодный вечер. Блестели яркие зеленя, розовели жнивья и занавеска в открытом окне вагона... Ах! — сказал Стрешнев со злобой и со слезами и опять лег на подушку. — От твоей руки, пахнувшей вербеной, остался запах и на моей руке. Он смешался с запахом повода, седла, пота лошади, но я все еще чувствовал его, ехал в сумерках по большой дороге, — и плакал... Если уж кто пожертвовал всем, всей своей жизнью, так это я, старый пьяница!

И, чувствуя на губах теплую соль слез, катившихся по его щекам, по усам, Стрешнев скинул с постели ноги и вышел из комнаты.

Луна садилась. Белый рыхлый туман стоял под скатом полей, мертвенно синяя. Далеко за ним занималась багряная заря. Далеко, в холодном, потемневшем лесу, пел петух в сенцах караульщика.

Стрешнев, в одних носках, сел на ступеньки крыльца, чувствуя, как обливает холодной сыростью его тело под тонкой рубашкой.

— А потом, конечно, роли переменялись, — сказал он тихо, с отвращением. — Ну, да теперь все равно. Конец...

#### IV

Утром пили чай в холодной прихожей, на огромном сундуке. Самовар стоял на нем нечищенный, позеленевший, давно потухший. Холодный пот, покрывавший окно, сошел с верхне-

го стекла. Виден был в него солнечный блеск морозного утра, корявое дерево в бесцветной, кое-где уцелевшей зелени. Босая, опухшая от сна рыжая девка вошла и сказала:

— Митрий приехал.

— Подождет,— ответил Стрешнев, не поднимая глаз.

Не поднимала глаз и Вера. Лицо ее похудело за ночь, под глазами и вокруг век был коричневый налет. Черное платье делало ее моложе и красивее, от черных волос пудра на лице казалась розовее. Сухое, жесткое лицо Стрешнева было мертво, откинуто назад. Сквозь жесткую курчаво-серую бородку глядел большой кадык.

На дворе слепило низкое солнце. Все крыльцо было седое от мороза. Мороз солью лежал на траве на сизо-зеленых раковинах капустных листьев, раскиданных по двору. Мужик, с оловянными глазами, приехавший к крыльцу в телеге, набитой соломой, тоже заиндеветшей, ходил вокруг телеги, уминал солому, держа в зубах трубку, и через плечо его тянулся сиреневый дым. Вера вышла на крыльцо в дорогой и легкой, но уже ветхой старомодной шубке и в летней шляпке из черной соломы с жесткими, ржаво-атласными цветами.

Проводил ее Стрешнев по отпотевшим проселочным дорогам до большой дороги. Ехал за телегой. Мерин тянулся к соломе. Он стегал его по морде арапником, мерин задирал голову и трудно хрипел нутром. Плелись шагом и молчали. Сзади бежала увязавшаяся за Стрешневым старая гончая собака из усадьбы. Низкое солнце пригревало, небо было кроткое, ясное.

Возле большой дороги мужик неожиданно сказал:

— А я, барышня, опять пригоню на лето к вам своего мальчишку. Я его опять к вам в пастушата предназначил.

Вера обернулась с застенчивой улыбкой. Стрешнев снял шапку, наклонился с седла, взял ее руку и поцеловал долгим поцелуем. Она прильнула губами к его седеющему виску, тихо сказала:

— Будь здоров, дорогой. Не поминай лихом.

По большой дороге мужик загремел телегой, поехал рысью, Стрешнев повернул, поехал назад без дороги, по жнивьям. Собака издали провожала его, четко видная среди золотых полей. Он останавливался, грозил ей арапником. Она тоже останавливалась, садилась. «Куда ж я пойду?» — как бы спрашивала она. И, как только он трогался, опять неспешной рысцей бежала за ним. Думал он о далекой станции, блестящих рельсах, дыме уходящего к югу поезда...

В голых, местами каменистых лугах, куда он спустился,

было почти жарко. Беззвучно сиял осенний день голубым чистым небом. Великая тишина стояла над пустыми полями, над оврагами, надо всей великой русской степью. Медленно плыла по воздуху вата с татарок, с иссохших репьев. На репьях сидели щеглы. Так они будут сидеть целый день, только изредка перелетая, перенося свою тихую, прелестную, счастливую жизнь.

*Капри. 31 декабря. 1912*





## ЖЕРТВА

Семен Новиков, живший с братом своим, сухоруким Никоном, Петровками горел. Братья согласились поделиться, и Семен, выселяясь из Брода, рубил себе избу на большой дороге.

Под Ильин день плотники отпросились ко двору. Надо было ночевать на постройке Семену. Поужинав вместе с большой семьей брата, в тесноте, среди мух, он закурил трубку, накинул полушубок и сказал своим:

- У вас тут духота. Пойду на постройку, там ночью.
- Ты хоть собак-то возьми,— ответили ему.
- Она! — сказал Семен и пошел один.

Ночь была месячная. За думами о будущем дворе Семен и не заметил, как поднялся из села по широкому прогону на гору и отмахал по большой дороге с версту — до своей запотолоченной, но еще не покрытой избы, стоявшей на опушке хлебов, в пустом поле, черневшей окнами без рам и тускло блестящей против месяца концами свежих бревен по углам, паклей, торчавшей из пазов, и щепой на пороге. Низкий июльский месяц, поднявшийся за оврагами Брода, был мутен. Теплый свет его рассеивался. Спелые хлеба тускло, сумрачно белели впереди. А к северу было и совсем хмуро. Там заходила туча. Мягкий ветер, дувший со всех сторон, иногда усиливался, порывисто бежал по ржам и овсам — и они сухо, тревожно шелестели. Туча на севере казалась неподвижной, но часто подергивалась золотым быстрым блеском.

Семен, по привычке сгибаясь, вошел в избу. В ней было темно и душно. Желтый месячный свет, глядевший в пустоты окон, не мешался с темнотой, только увеличивал ее. Семен кинул полушубок на стружки посреди избы, как раз на одной из полос света, лег на спину. Пососав потухшую трубку и подумав еще маленько, заснул.

Но вот понесло в окна ветром, глухо заворчало вдали. Семен очнулся. Ветер усилился — он бежал теперь по горячеч-

но шумящим хлебам непрерывно, и свет месяца стал еще тусклей. Семен вышел из избы за угол, в сухо и знойно шуршавшие, бледные, как саван, овсы, посмотрел на тучу. Она, темно-аспидная, заняла полнеба. Ветер дул прямо в лицо, задира, путал волосы и мешал смотреть. Мешали смотреть, слепили и молнии, загоравшиеся все жарче и грозней. Семен, крестясь, стал на колени: вдали, среди овсяного моря, выделяясь на стене туч, двигалась на Семена небольшая толпа, с обнаженными головами, в белых подпоясках, в новых полушубках, — с трудом несли саженный запрестольный образ древнего письма. Толпа была туманная, прозрачная, но образ виден хорошо — страшный, строгий лик, красневший на черной доске, опаленной свечами, закапанной воском, окованной старым, сизым серебром.

Ветер разобрал волосы на лбу Семена, приятно отдувая их, — и Семен, в страхе и радости, до земли поклонился образу. Когда же поднял голову, то увидел, что толпа стоит, неловко держа величаво откинутый образ, а на туче, как церковная картина, высится огромный зрак: белобрадый, могутный Илья в огненном одеянии, сидящий, как Бог Саваоф, на мертвенно-синих клубах облаков, а над ним — две горящих по аспиду зелено-оранжевых радуги. И, блестя очами-молниями, голос свой сливая с гулом, с громами, сказал Илья:

— Держись прямой, Семен Новиков! Слушайте, князь-хрестьяне, вот я буду судить его, временнообязанного хрестьянина Елецкого уезда, Предтечевской волости, Семена Новикова.

И все поле, белевшее вкруг, все колосья его вместе с куколем понесли, побежали вперед, поклоняясь Илье, и в шуме их сказал Илья:

— Я серчал на тебя, Семен Новиков, желал покарать тебя.

— За что, Батюшка? — спросил Семен.

— Непристойно тебе, Семен Новиков, меня, Илью, спрашивать. Ты должен ответ держать.

— Ну, ин, будь по-твоему, — ответил Семен.

— Позалетошний год я убил молоньёй Пантелея, старшего твоего: ты зачем закопал его в землю по пояс, колдовством воротил его жить?

— Прости, Батюшка, — сказал Семен, кланяясь. — Жалко было малого. Рассуди: ведь кормилец-поилец при старости.

— Летошный год я посеял, повалил твою рожь градом-вихрями: ты зачем прознал о том загодя, запродавал эту рожь на корню?

— Прости, Батюшка, — сказал Семен, кланяясь. — Сердце чужало, нуждишка была.

— Ну, а нонче, в Петровки, не я ли спалил тебя? Ты зачем спешешь строиться, отделяешься?

— Прости, Батюшка,— сказал Семен, кланяясь.— Сухорукий брат мой несчастливый: от него и все беды, думалось.

— Закрой глаза. Я подумаю, посоветуюсь, чем казнить тебя?

Семен закрыл глаза, склонил голову. Ветер шумел,— он старался сквозь шум его тайком поймать, о чем шепчется Илья с крестьянами. Но опять загремело над ним — ничего не стало слышно.

— Нет, не придумаем,— во весь голос сказал Илья.— Сам посоветуй мне.

— А глаза-то открыть? — спросил Семен.

— Не надобе. Слепой тверже думает.

— Чуден ты, Батюшка,— серьезно усмехнулся Семен.— Да и что ж тут придумывать? Поставлю тебе свечку трехрублевую.

— Не из чего. На постройку потрагился.

— Тогда в Киев схожу.

— Это только бездельничать, лапти трепать. На кого же хозяйство останется?

Семен задумался.

— Ну, девочку, Анфиску, убей. Ей и всего-то второй годок. Девочка, сказать по совести, умильная,— жалко нам будет ее, да ведь что ж сделаешь? Все не с малым сменить.

— Прислушайте, православные,— громко сказал Илья.— Соглашаюся!

И такой огонь разорвал всю высь, что у Семена чуть веки не вспыхнули, и такой удар расколол небеса, что вся земля под ним дрогнула.

— Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф! — прошептал Семен.

Очнувшись, открыв глаза, он увидел лишь пыльную тучу, хлеба и себя самого, на коленях стоящего в них. Пыль вихрем неслась по дороге, и месяц совсем замутился.

Семен вскочил на ноги. Позабыв о полушубке, он поспешно пошел к себе. Крупный дождь захватил его на выгоне. Темные облака надвинулись над стемневшими оврагами. Красный месяц закатывался. Село спало крепким сном, но скотина по дворам беспокоилась, петухи орали. И, подбегая к своей старой избе, Семен услышал в ней вопли. У порога стоял сухорукий Никон, в полушубке и без шапки, тощий и морщинистый, глядел тупо и растерянно.

— Беда у тебя,— сказал он, и по голосу его было слышно, что он еще не совсем проснулся.

Семен вбежал в избу. Бабы с криком метались в темноте, ища серников. Семен выхватил из-за образа коробочек, зажег каганец: люлька, повешенная возле печи, носилась из стороны в сторону,— бабы задевали ее, бегая,— а в люльке лежала вся сизая, мертвая девочка, и на головке ее чепчик тлел.

Жил Семен с тех пор счастливо.

*Капри. 1913*





## ЗАБОТА

Солнечный осенний вечер прохладен. Из-за дворов большого села, растянувшегося по скатам к лугам, к родниковой речке, желтеют новые ометы и скирды. Улица села в тени, солнце опускается за дворами, за гумнами — и ярко краснеют против него глинистые бугры по ту сторону лугов, блестит на этих буграх стекло в избе мельника.

Старик Авдей Забота, зажиточный мужик, собирается в город.

Возле его двора, на дороге между двором и пунькою, дремлет запряженная в телегу сивая кобыла с мелкими, врозь поставленными копытцами, с большими ресницами, с серыми усами и большой шершавой нижней губой. Авдей курчав и сед, крупен и сумрачен; на плоской спине его, под линючей ситцевой рубашкой, выдаются лопатки. Он ходит возле телеги, набитой соломой, с молотком в руке, держит губами пучок гвоздей и ни на кого не смотрит.

У него горе.

Он в последние дни мучился думами: продавать ли барана? Баран стар, но продавать его не след, не время. Продавать нужно было бы хлеб. Осень погожая, урожай отличный, одна кладушка уже обмолочена, — только бы насыпать да в город. Но цены на рожь, на овес стоят страшно низкие. Ни зерна нельзя продавать, как ни торопи нужда... Продумав неделю, Авдей решил расстаться лучше с бараном.

Но он постарел за эту неделю, осунулся и потемнел в лице. Взгляд его тверд и сумрачен. Собирается он, ни на кого не глядя.

Дочь, в нижней коленкоровой юбке, без кофточки, в одних шерстяных чулках, раза два робко и быстро перебежала дорогу от избы к пуньке. Она тоже собирается — на девишник к подруге, но боится отца, боится своей затаенной радости, своей беззаботности рядом с его заботой, — старается проскольз-

нуть незаметно. Братишка, пузатый мальчик, в огромной старой шапке, облизывая губы, разъеденные соплями, долго хлопал, размахивал обрывком кнута и падал среди дороги. Чтобы угодить отцу, она на бегу поймала его ледяную пухлую ручку и таким вихрем умчала его в избу, что он не успел даже крикнуть.

Старуха стоит на пороге и не сводит жалостных глаз с Авдея. Она положила тонкую серую руку на выдающийся живот, а другую, подпирающую подбородок, поставила в ее ладонь. Темная, морщинистая, зубастая, она имеет вид страдальческий. Понева ее коротка, ноги длинные и похожи на палки, ступни, потрескавшиеся от грязи, холода и цыпок, — на куриные лапы. Живот ее выдается, а спина горбится от трудных родов, от тяжелых чугунов. В разрез рубахи, темной от золы, видны тощие, повисшие, как у старой собаки, груди, а между ними — большой медный крест на засаленном гайтане.

Ее заботы сделали за долгую жизнь страдальцей, Авдея — нелюдимом.

Телега рассохлась, растрепалась. Раскапывая старновку в ее ящике, Авдей прибывает кое-где отставшие планки. Дует предвечерний ветер и задирает сзади его рубаху, обнажает желобок на широкой сухой спине, показывает тугой гашник, низко врезавшийся в тело. Портки Авдея висят по-стариковски — точно пустые. Подошел кобель и стал обнюхивать разбитые, блестящие, только что помазанные дегтем сапоги, в опустившиеся голенища которых заправлены эти портки. Авдей с размаху ударил кобеля по боку молотком.

— Полушубок вынеси да хлебушка завяжи, — сердито сказал он старухе.

Забив последний гвоздь, сдвинув со лба шапку, он решительно пошел в раскрытые ворота унавоженного двора. Половина его была в тени, половина озарена золотистым светом. В теневой половине куры усаживались на насест, на перемет, побелевший от их известкового помета, и заводили глаза. Нахохлившись, сбились голуби под застреху в углу. Они слабо заворковали, когда вошел Авдей... Как радовали его всегда эти хозяйственные куры, голуби, этот теплый двор, его глубокий навоз, плетенные из лозняка и обмазанные коровьяком с глиной заутки! На старой телеге без передков, давно загрязшей в навозе, валялся обрывок. Взяв его, Авдей направился к закуте, где взаперти сидел баран.

— Батюшка, мать спрашивает: огурчика положить? — крикнула девка, заглядывая в ворота.

— А сама не знает? — строго откликнулся Авдей. — Ай первый раз?

За решетчатой дверью закуты шуршала солома. Большой круторогий баран в толстой, выющейся дымчатой овчине, с удивленным бараньим взглядом, с бараньей шеголеватостью, ходил по соломе, мелко тряс жирным хвостом. Быстро распахнув дверь, Авдей кинулся на барана всем телом, сбил, повалил его и торопливо стал связывать обрывком его тонкие ножки. Баран удивился еще более, но не издал ни звука, только глаза выкатил. Авдей поддел под связанный обрывок руку, натужился и, волоча барана спиной по навозу, потащил его за ворота, к телеге. Баран, выкатив белые глаза, сделавшись похожим на турка, мелко и быстро тряс хвостом и лизал шершавым языком руку Авдея...

Через полчаса Авдей в пути.

Медлительно скрипит, тянется с горки на горку, проходит мимо изб и пунек, то в тени, то на солнце, по-дорожному пахнувшая дегтем телега. В задке ее лежит веревочный хрепуг с сеном, в передке, на старновке — связанный, спокойный баран. Авдей, в полушубке и глубоко надвинутой шапке, с кнутом под мышкой, с трубкой в зубах, изредка пуская через плечо сладкий, пахнувший донником дым, не спеша, по-дорожному, шагает за колесами.

Вот и крайняя изба, голый и широкий большак: тут поворот влево, на город. С неподвижно простертыми обломками крыльев стоит на нем ветряк, как стоял он и шестьдесят лет тому назад, когда Авдей был еще ребенком. Возле беззаботно перекрикиваются, прыгают на одной ножке, играют в лунки мальчишки... «Подождите, доиграетесь!» — думает Авдей.

Под скатом мелкая речка разливается широким плесом по белому щебню, кое-как перекинут мост на ту сторону. Плес ослепительно блестит; желто-каменистый подъем за ним весь в зеркальных веселых разводах, в медленно переливающихся отражениях. По мосту едут бездельники охотники: высокая гнедая лошадь, беговые дрожки, на дрожках, один за другим, сидят верхом два человека, и торчат из-за спин два ружейных ствола. Авдей тянет веревочную вожжу, останавливает свою кобылку и ждет, пока переберутся по узкому и зыбкому мосту встречные. Авдей глядит, но видит все как во сне. Он от горя ко всему равнодушен — как больной.

Наконец перебрался и он через мост. Поднялся на гору, спустился в котловину и опять стал подниматься... Жесткая, выгоревшая за лето мурава ржаво краснеет по каменистым перевалам старой мертвой дороги. Этим перевалам конца нет.

До города верст двадцать пять, но он всегда, всю жизнь казался Авдею очень далеким. С перевала на перевал поднимается, идет он, задумчиво глядя вперед. Солнце сзади него, краснеет, садится. Сиянием окружена лежащая по мураве тень Авдея, длинная тень телеги, лошади. Пусто кругом, далеко видно. Воронье бесприютно, по-осеннему ночует на опушке желтых жнивий. На горизонте ряд телеграфных столбов, уходящих в бесконечное поле. Алыми клубами бежит назад дым бегущего товарного поезда — длинной цепи красных вагонов. Авдей до сих пор глядит на поезда неприязненно. Раз в жизни ехал и он по железной дороге. И закаялся: все время кружится голова, все время страшно...

Дойдя до железной дороги, пересекающей большак, он ждет возле переезда, закрытого шлагбаумом. Неприятно рано, по-осеннему, зажгли огонь в будке.

Дальше — шоссе, самая скучная дорога на свете...

Авдею шестьдесят семь лет: скоро умирать. Особой нужды он никогда не знал, от бед, несчастий Бог его миловал.

— Расскажи что-нибудь интересное, что было в твоей жизни, — сказал ему однажды молодой барин.

— У меня, слава Богу, ничего такого не было, — ответил Авдей. — Вот семьдесяток живу, а, благодарю Бога, интересного ничего не было.

Но заботы всю жизнь поедом ели его. Жаден, говорили про него соседи победней. «Да ведь тебе, побирушке, хорошо говорить!» — всегда со злобой думал в ответ на это Авдей.

Солнце закатилось, дует холодный ветер. Авдей прикрывает барана соломой, надвигает шапку поглубже, запускает руки в рукава и мерно шагает по краю шоссе за скрипящей телегой.

Широкий старческий нос его сизеет, стынет, ветер косит седую бороду. Большие серые брови сурово сдвинуты, в потухших глазах — тоска.

*Капри. 24 января. 1913*





## БУДНИ

Казалось, что вечно будут стоять по горизонтам эти бледно-синеющие тучки, под которыми серели соломенные крыши, зеленели лозины и пестрели разноцветные клетки окрестных полей. Июньский день без солнца был особенно долог.

Попов сын, у которого гостил семинарист Случевский, возил с попом навоз. Ворота, возле длинной белой хаты, были открыты настежь. Две испачканных коричневой жижей телеги, две сытых лошади стояли среди взрытого двора на варке. Попов сын ворочал за троих: глубоко поддевал вилами горячие пласты и, подставив под вилы левое колено, вздирал их с сочным треском. Поп, черный, высокий человек, в одной рубахе, в розовых подштанниках и мужицких сапогах с опустившимися голенищами, не отставал: бодро тряс по плечам синими волосами, запуская в навоз вилы, и крепко шлепал по возу дымящимися ломтями, перевортывая их. Выходили из ворот и отец и сын с потными лицами, но возбужденные, довольные предстоящим в пути на поле долгим отдыхом.

— Господин Шаляпин, присоединяйтесь-ка к нам! — весело крикнул поп семинаристу, идя за колесами, держа в руках веревочные вожжи и развевая на ходу легкие полы незастегнутого подрясника.

Семинарист, сидевший на крыльце, почувствовал в этой шутке фальшивую корыстную ноту, однако не сдался.

— Да вот та-то и беда, что мечтаешь стать Шаляпиным, — отозвался он. — Запотеешь, охватит ветром — и готов. С голосом, отец Петр, нельзя шутить. А то бы я с величайшим удовольствием.

Семинарист, темноглазый юноша с широким, бледным и важным лицом, смотрел на удаляющиеся телеги, на серо-сиреневую дорогу и на потные, ржавые клоки, раскиданные по ней. Прошел мимо дьячок, приостановился, пожаловался на свою судьбу и опять рассказал о своем покойном сыне. Огромные

руки его, разбитые старостью и пьянством, лежали на костыле и все время ходили, шатали костыль. Огромные дегтярные сапоги глядели из-под коричневого подрясника. Серебряная медаль на красной ленточке украшала грудь. Лицо и крупный нос были розовы, мясисты, в рытвинах. Выпученные гноящиеся глаза, как всегда, плакали; темно-рыжие волосы, заплетенные в косу, жестко вились, как у старух-пьяниц. А говорил дьячок однотонно, с трудом выбивая каждый слог: каждый слог его дрожал, прыгал.

— Отцу Петру счастье! — говорил он. — У него помощник есть. А мой — лежит себе в могилке! Рос — восхищал всех. Бывало, похвалюсь им: «У меня не сын, а гений!» А все говорят: «Если выйдет в вас, Степаныч, лучше всякого гения будет». Вырос, — так верите ли, хозяйственнее его во всем селе не было! Чахотка в последнем градусе, а и умер, не поддался. «Вы должны на днях умереть», — говорит фельдшер. «Нет, говорит, не могу я, не свозивши рожь, умереть». Скосили мы, связали, сидит зарей на крыльце, смотрит на облака, а я ему и говорю: «Что это ты сидишь, смотришь?» А он и говорит: «Давайте, папаш, куда погодка, на двух подводах возить». — «Да Бог с тобой, куда тебе возить! Я мужика хотел нанять». — «Не надо, не надо, сами управимся». — «Как же, говорю, управимся: ее, ржи одной, тридцать четыре копны». А он все свое... Так, верите ли, по двенадцати раз в день на поле летал! И отдохнуть не отдыхал, — сядет в холодок, выпьет кваску и опять в телегу. Меня и то уходил. Чуть свет, еще петухи не крикнут, а он уж подымает: «Вставайте, вставайте скорей, тучки заходят...» В три дня все кончили — и свезли, и обмолотили, и солому прибрали... Гонит меня за веялкой, взял я веялку у Данилкиных, обвеяли, подмели ток... Как последнее зерно в амбар — входит в избу и говорит: «Ну, вот теперь дело другое. Где, папаш, свечи? Зажигайте свечи». Зажгли свечи у образов, он лег на диван — и каюк!

«Недурно», — иронически думал семинарист, слушая.

По уходе дьячка он взял тросточку, надел новенькую серую шляпу, накинул на плечи серебристый дождевик и побрел по деревне. Выйдя на выгон, он посмотрел на церковь, бледно белевшую на туче, посмотрел на раскрытые окна казенной винной лавки; хотел было зайти поболтать к сидельцу, но раздумал и пошел по направлению к погосту. Сиделец был отравлен страстью к чтению. С утра до вечера лежал он на своей высокой двуспальной кровати, опершись на локти, и страница за страницей пожирал «Вокруг света». «Сейчас, сейчас, — торопливо бормотал он в ответ на приветствие. — Дай-

те только до точки дочитаться...» А беседа с гостем, не слушал его, невпопад смеялся, ждал, когда гость уйдет. Поминутно отрываемый от книги то женой, то мужиками, он кидал на них растерянные, шальные взгляды. «Корове пора месить!» — злобно кричала жена, отворив дверь. «Еще четвертку поскорее!» — радостно орал мужик, заглядывая в раскрытое окно. А он не понимал, кто и куда его зовет. В голове его путались острова Тихого океана и прерии, Южный Крест и Гренландия, Бразилия и кафры, голландские колонисты и удавы, реки в тропических чашах и гиппопотамы... «И при чем тут Тихий океан?» — думал семинарист, шагая по безлюдной улице. Навстречу ему шел десятский, длинный, в красной рубаше, в разбитых сапогах, из которых один был связан по ступне веревкой. На плече его лежала одностволка.

— Куда это? — спросил семинарист.

— Грачей наказывать, — ответил десятский.

Десятский был человек знакомый: не раз приходил просить газет на сигарки. Полурастывавшаяся изба его стояла на краю деревни, рядом с погостом. За избой пустовало гумно, без соломы и без риги, валялись, зарастая травой, однозубые вилы, перевернутый вверх дном тележный ящик с двумя новыми, желтыми ребрами, высохшая дегтярка... На лозине вниз головой висел дохлый цыпленок — пугало, хотя отпугивать было некого и не от чего. Гордый своей отчужденностью от этого жалкого быта, своими мечтами о Москве и консерватории, семинарист вышел на погост, на бугор за деревней, небрежно откидывая голову, выставляя кадык, посвистывая, шурша серебряным плащом.

На погосте, среди репьев, татарок и могильных бугров бродила рыжая лошадь с палеовой гривой. Помахивая жидким хвостом, она щипала мелкую, сухую траву. На большой свежей могиле, на холмике из сизой рассыпчатой глины, лежал, с головой накрывшись армяком, мужик. Смирненно, с опущенными хвостами, тихо переговариваясь, гуляли индюшки лавочника. Гуськом тянулись они к мужику — и вдруг все разом пустились бежать, а добрав, подпрыгивали, вклеивались в его армяк, в голову. Мужик вскакивал, запускал в них горстями глины: индюшки подпрыгивали, треща перьями... Сделав вид, что не замечает мужика, семинарист прошел мимо.

Над господскими могилами росли две березки. Когда-то их окружала деревянная ограда, за оградой стояла скамья. «Буду приходить сюда, сидеть, вспоминать и грустить», — думал тот, кто делал все это. И ни разу не пришел. А деревня мало-помалу разломала, растаскала и ограду и скамью. Свиньи взрыли

могильные бугры, телята обглодали стволы березок... С иронической улыбкой, посвистывая, семинарист повернул назад. Поблизости от той могилы, на которой старался уснуть мужик, стоял гнилой голубец. Из него выпорхнула мухоловка. Семинарист подошел: в голубце рядом с фольговой радужной иконкой, лежало круглое гнездышко. От скуки семинарист хотел вытащить его, рассмотреть, разодрать и бросить. Но мужик открыл глаза и пристально посмотрел из-под армяка.

— Отделались? — спросил он.

Вопрос был неожиданный. Семинарист обернулся и поднял брови.

— То есть как это? — сказал он.

— А так. Отучились?

Семинарист не спеша прошел к соседнему могильному бугру.

— А, ты вот про что! — сказал он, садясь и с притворной рассеянностью поглядывая вокруг. — Да, до осени отучился. А ты, кажется, не здешний?

— Я из Рассохина, — ответил мужик. — Из волости еду. Ехал и думаю, — дай, мол, лошадь маленько покормлю... А вы? Духовные?

— Да... Но, главным образом, пению учусь.

— Как пению? — спросил мужик, зевая. — Хор, значит, будете задавать?

— Нет, брат, не хор, — сказал семинарист и оперся на трость. — Я на сцене буду петь. Да ты, впрочем, этого не поймешь... Я в театр готовлюсь.

Мужик усмехнулся.

— Ну, нет, это я даже очень хорошо могу понять, — ответил он. — Ну, только это совсем никуда, совсем скверно. Этак вы много не наживете.

— Да что ты!

— Верное слово, — сказал мужик спокойно и уверенно. — Там вы добра не приобретете. Нет, вы уж лучше по церковному ступайте, по своему ремеслу, — кур да ситники с народа огребать. А в театре петь — это уж самое последнее дело.

— Да чем же последнее?

— А так, что последнее. Там чепуха одна идет. Вы лучше мое готовое слушайте, я уж плохого не скажу. Я не простой, я бывалый человек. Я от этих мужиков теперь отбился, я все лето прошлый год в Липецке прожил. Со всяким могу поговорить...

Скучно синело по горизонтам низкое облачное небо, бледно зеленели хлеба на противоположном косогоре, — поневоле приходилось довольствоваться и такой беседой. Вынув плете-

ный портсигар, семинарист закурил папиросу, другую протянул мужику. Мужик осторожно взял.

— Вот это покорнейше благодарим,— сказал он, зажигая серник, и, пустив дым в ноздри, посмотрев на папиросу, отрывисто спросил:

— Асмолова?

Семинарист напомнил ему о театре.

— А вот слушайте,— сказал мужик.— Я этих театров нипочем не уважаю. Там, прямо надо говорить, черти живут. Раз куренья там есть,— значит, и водка есть. А уж где водка, там и баб не миновать... Нет, от этого вам надо подальше куда подаваться! Вот кто, к примеру, по монастырям живет, монахи, тем хорошо: гуляй, бесись — и вся недолга. Есть чистые борова, домовые! Цельную жизнь бражничают, весь век в том протекают! А в театрах, там водка, бабье, ну, конечно, и он тут же вертится. Уж где вино, там бесприменно.

— Это ты про черта, что ли? — спросил семинарист.

— А то про кого же? Конечно, про него. Да и верно. Там, куда ни качнись, везде он. Я давно об этом понимаю. Что там хорошего? Я такой-то, и то туда не пойду. Тошавый человек туда и не показывайся — на трояк там не разыграешься. А ездят туда бабье это самое, разные бабы шальные, да купечество: долги свои заверстал — и вали... Я в этом Липецке всего нагляделся. Там в трех верстах сад есть, ну, вот туда и ездят все. Забирают с собой ветчину, колбасу копченую, наливки... Приедут и пируют целый день. Старуха с дедом не успевают самовар кипятить...

Семинарист небрежно сказал:

— Ну, вот и видно, что ты ничего не понимаешь, несешь чепуху и все путаешь. То грех, а то — «на трояк не разыграешься...».

— Обязательно так! — твердо сказал мужик.— По капиталу глядя, конечно, можно, а таким-то, как мы с вами, голоштаным, зачем туда соваться?.

Семинарист вздернул плечами.

— Черт знает что! — ответил он, помолчав.— Несешь и с Дона и с моря.

— Нет, брат,— сказал мужик.— Умней меня во всем селе нету. Обойди всех, спроси: кто дельнее по хозяйству Назар Павлова Протасова? Со мной старики и то советоваться приходят.

— А несешь чепуху?

— Какую такую чепуху? Воспитанья на вас нету хорошего, вот и «чепуху»... Вон у нас сапожник есть.. Первое дело, как

выпил, сейчас за ребят: у него их целая война, человек двенадцать... Так они винтом от него, кто куда горазд! Ты не гляди, что он пьяный: так, брат, воспитал — по лычку ходят! А, конечно, теперь всем воля дана... Женщину, например, взять: от кого вся сумятица в государстве идет? Опять же от ней. Она теперь во все председания допущена большое количество, а куда она годится? Хоть им теперь тоже хорошее ученье пошло, ну, а все-таки мужчина-то немножко подтверже будет!

— Черт знает что! — повторил семинарист, глядя на его густую чубарую бороду.— Что такое у тебя в голове творится? То сад, то театр, то женщины... Ну, скажи на милость, какое отношение может иметь этот дурацкий сад к театру?

— А такое,— ответил мужик еще увереннее.— Такое, что без этого ему никуда податься нельзя.

— Кому ему?

— Запевале главному, вон кому. Он там, в саду-то в этом, вылупит стакан али два хороших и орет, альни ребра трещат... Он уж не может без этого.

— Да позволь: какой такой запевала?

— Говорю же вам — главный запевала. Главач этих самых певцов. Натощак он никак не станет для них глотку рвать.

— И опять чепуха,— сказал семинарист.— Певцам и совсем нельзя пить. От этого голос портится.

Мужик ухмыльнулся, поднялся и сел.

— Ну, нет, не чепуха! — сказал он.— Не может от ней голос портиться. От ней голос не хуже, а много злей становится. Как же можно ровнять! От вина человеку все нипочем. Он прямо сам не свой, когда душу свою наспиртует. Вы попробуйте-ка ее, сивухи-то нашей. Она слепому глаза продерет.

Семинарист, махнув рукой, облокотился на колени и стал осторожно давить концом трости красных козявок, парами ползавших возле его ног. Мужик что-то думал, глядя в землю.

— Нет, этот жребий ваш — жестокий,— сказал он с сожалением.— Жестокая ваша задача. Театры — это как все равно зверильница, али, скажем, циркульня простая... Как эти звери там ревут, так я такой страсти прямо с отроду не видывал! Настоятель ходит,— как какой зритель захочет, чтоб зверь встал, он его сейчас железным прутом... Хочет не хочет, а обязательно подыметя.

— Здравствуйте! — сказал семинарист.— Еще и циркульня на сцену появилась. Она-то тут при чем?

— Так, там все есть... Только я этого, говорю, никак не уважаю. Раз там молитвенного нету, все эти театры, зверильницы, циркульни всякие надо запечатывать и скилеты все пере-

ломать... Вон у меня родственник есть. Из себя так, писаришка простой, а голос — прямо беда. Молодой еще человек, а пить страшный здоровый, любитель до вина. Залез недавно на крышу и зевает на все село. Это что ж, прилично?

— Но зачем же на крышу-то?

— А спроси его! Чума его знает зачем. С сестрой вот, это они, правда, хорошо поют. Его сестра в городе живет, на машинке работает. Она хоть чахоточная, а голос много складней, чем у него, хоть под кого подтянет. Как придет к нему, сядут зарей возле избы и поют. И не что-нибудь, не мужицкие песни, а все «Накинув плащ» либо «Ах ты, воля, моя воля...». Хорошо выходит. Сулился этот писарь ко мне приехать, вот и вы приезжайте попеть с ними. Я и угостить могу всякого.

— Merci bien<sup>1</sup>,— сказал семинарист.— Приехать не мешало бы. Ты поистине достоин изучения.

Мужик радостно улыбнулся.

— Ага! — сказал он, подмигивая.

И горячо заговорил:

— Ах, брат, кабы мне ученье-то, каких бы я корней наворочал! Да ведь откуда ее взять? Я вон в городе недавно был. Так там что исделали? Там земский музей исделали и скилет крокодилии привезли, а он, может, пятьсот либо тысячу стоит. Вот, похоже, куда наши денежки-то идут, вот они мошенники-то, сукины дети! — сказал он с горечью.— А ты вот сиди тут... Да тут от одной скуки удавишься! Я уж на что бывалый человек, а и то не могу!

Скулы его порозовели, лицо приняло злое и грустное выражение. Не глядя на семинариста, он поднялся, надел армяк в рукава и, заскребая сапогами по земле, решительно пошел к лошади. «Чего он разозлился? — подумал семинарист, недоумевающе глядя ему вслед.— Вот нелепая и странная скотина!» Мужик, как бы угадав его мысли, обернулся:

— Чего вылупилися? — сказал он зло и грубо.— Ай неправду говорю? Ты должен за ученье благодарен быть, а не лупить-ся. Я с тобой задушевно, а ты — лупишься. Вот подойду, измордую тебя, в лучшем виде,— тогда судись со мной! Не посмотрю, брат, на твое духовенство, на пение!

Распутав лошадь, он кинул обрывок ей на шею и, подпрыгнув, упал животом на ее спину, перекинул ногу и бодро поехал среди могильных бугров на дорогу.

Ошеломленный таким неожиданным концом беседы, семи-

---

<sup>1</sup> Большое спасибо (*фр.*).

нарист вспыхнул, переставил трясущимися руками между колен трость.

Мужик повернул на деревню. Семинарист, посидев в оцепенении и успокоившись, пошел под гору, поднялся на косогор и свернул на какую-то высокую межу, осыпанную белым клевером и убегаящую вдаль между двумя стенами серо-зеленой ржи, бледной вдали, под тучей. Мягкий, сладкий ветер дул навстречу, рожь слабо дымилась июньским цветом... Семинарист пожимал плечами и думал:

«Да-а. Без револьвера, собственно, и выходить бы не следовало».

*Капри. 26 января. 1913*





## ЛИЧАРДА

Когда после обедни все сгрудились к подножию амвона маленькой церкви, из купола ее почти отвесно падало на толпу бледное апрельское солнце. Потушенные свечи чадили, в толпе, разнообразно пахнувшей дыханием, волосами и одеждой, стало жарко. Каждому хотелось приложиться поскорее. Низкий и ладный, чернобородый, плешивый мужик, выделявшийся из толпы очень черной сермяжной поддевкой и очень белыми, толсто и аккуратно увязанными онучами, хотел пролезть прежде всех. Но священник, держа медный крест обеими руками, поднял его и смотрел куда-то через головы, а Агафья, чистая, строгая старушка из дворовых, схватила мужика за рукав. Он покраснел, рванулся, что-то заговорил, блестя сердитыми глазами.

— И слушать не хочу, не пущу не по чину,— ответила Агафья, оттаскивая его в сторону.— Я, брат, к этому глухая.

Мужик долго глядел на нее, и краска стыда, подавленного раздражения не сходила с его лица. Толпа расступилась,— и к кресту осторожно приложился милovidный молодой человек с чрезвычайно нежным румянцем, напوماженный, в голубой короткой поддевочке и с дворянским картузом в руке. После него кинулись к священнику без толку, а тот стал совать крест кому попало. Чернобородый мужик приложился все-таки раньше многих и быстро вышел в боковую дверь, за оградой же, надевая шапку, кинулся бежать по сохнувшей дороге сзади барского сада.

Теплое солнце точно шурилось, улыбалось сквозь бледную апрельскую дымку в небе. В голом саду, за соломенным валом, пели дрозды, гудели пчелы, хотя кое-где, среди коричневой листвы, еще серел крепкий горбатый снежок. Агафья вышла из церкви на ту же дорогу, по которой пошел мужик, развязывая носовой платочек с меткой-коронной. В платочке были куски

просфоры. Она перекрестилась и на ходу стала есть, наклоняясь к ладони, боясь просыпать крошки.

Мужик ждал в конце вала, на пригретой весенней траве. Увидав Агафью, он сдвинул шапку с потного лба и, разбрасывая полы, направился прямо к ней. Агафья в страхе остановилась.

— Ты чему мою девку заучаешь? — спросил он, подходя. — Ты что барину ее подводишь? А?

Агафья хотела что-то ответить, но он сгреб ее за лицо всей пятерней, зажал рот, отламывая голову. Агафья, пытаясь вырваться и крикнуть, стала давиться, пускать слюни.

— Молчи, стерва! — крикнул мужик бешеным шепотом. — Кто ей вчера гостинцев надавал и водкой напоил? Можешь ты такие греховные дела затевать?

Разжав правую руку, он левой схватил ее за шиворот, за темный платок вместе с седыми волосами, нагнул, подставил под ее лицо коленку и крепко ударил об коленку носом. Ноги Агафьи подломились, но, пока она падала, он успел перегнуть ее назад и коротко ткнуть кулаком в зубы. Агафья повалилась, боясь даже плакать. Мужик вытер кулак об изнанку поддевки и, бледный от злобы, задыхаясь, быстро пошел назад. Агафья осталась лежать, слабо и уже притворно охая, сплевывая кровь на зеленую траву, по которой, тихо жужжа, ползали еще сонные пчелы.

Квартировала она у старосты. Староста жил на другом конце деревни, на выезде. Под голой лозинкой, бросающей чуть заметную тень, у порога кирпичной избы, глядевшей на ровный выгон, на большом камне, накрытом суровой скатертью, пили водку и закусывали ситником с творогом и сметаной двое копачей, окапывавших старостину усадьбу, и хозяйка его, Катерина, с дочерью девкой. Староста был в городе, и копачи, угощая Катерину водкой, говорили лишнее, хохотали. Девка, нарумяненная, в канареечном платье, стояла на пороге; она наелась раньше всех, но не хотела уходить и, тупо улыбаясь, хлопая белыми ресницами, слушала.

Вдруг все смолкли и подняли головы: из-за избы показался сосед, высокий белобрысый малый Гришка. Он вел Агафью, почти тащил ее, маленькую, со включенными седыми волосами, и жмурил глаза от смеха.

— В целости и сохранности! — сказал он, опуская ее под стеной избы на сухую глину. — Сюда, что ль, квартиранку-то вашу определить?

— Да ба-атюшки, кто ж это нос-то ей расшиб? — протяну-

ла Катерина, раскрывая и оставляя открытым рот с творогом на языке.

Один из копачей, Демьян, низкорослый, кривоногий, с курчавой серой бородкой и широкоскулый, посмотрел на Агафью, со стоном легшую на глину, бодро играющими глазами.

— Знать, где воевала, — сказал он. — Где воевала, старуха, а?

— Вот тебе и досводничалась! — жалобно сказала Катерина. — Да кто ж это тебя, Петровна? Что ж молчишь?

Гришка, упершись руками в бока, подмигнул и качнул головой в сторону деревни.

— Карпуха Большаков, — прошептал он. — За дочь, верно.

— Значит, ей зеркало теперь надо, — сказал Демьян, рассеянно взглянув в зеленеющее поле, в серебристый блеск пригревающего солнца и на лозинку, на суке которой лежал его армяк. — Дашка! — крикнул он девке, стоявшей на пороге с радостно выпученными глазами. — Беги, соломки принеси, ей струшней умирать будя.

— Ступай скорей, — с притворной строгостью прибавил другой копач, Тит, гнутый, широкоплечий, с волосатым, ободраным носом. — Выпей за работу, — обратился он к Гришке.

Гришка осторожно взял с краями налитый стаканчик.

— Значительная старуха, — сказал он, жмурясь от смеха и вытягивая шею, приготовляясь пить.

— Старушка дружелюбная, старая барская гнида, верная Личарда, — подтвердил Тит, разглядывая чуньки и просторные шерстяные чулки Агафьи. — Здорово земляных шмелей послухала!

— Самый разнесчастный человек! — весело прибавил Демьян. — Мы и ей сейчас поднесем... Верная Личарда, выпить хочешь? — крикнул он. — Забудь горе! Не ешь с Фомой, ешь со мной! Захмелеешь, песни зачнешь играть, танцевать пойдешь!

— Что ты ей спокою не даешь, не трожь ее, — сказала Катерина, из приличия нахмуриваясь. — Поднеси, правда. Ей полегчает.

Демьян налил стаканчик, вынул из него толстым пальцем кусочек пробки и бережно понес Агафье, одергивая короткую рубаху на широком заду и гусем ступая на своих крепких выгнутых ногах. Подойдя, он притопнул лаптями и затряс портки. Агафья приподнялась, взяла стакан дрожащей рукой, отпила немного, сморщилась, как от уксуса, и, отирая губы, отказалась.

— Нет, не неволь. Не могу.

— Допивай, допивай! — крикнул Демьян. — Никак нельзя! Агафья допила и, поправляя платок, сбитый на сторону,

опять тихо заплакала, сморкаясь в подол. Дашка подала ей кусок ситника.

Гришка выпил еще, поблагодарил и ушел, Агафья, не поднимая запухших глаз, плакала и ела, а Демьян бодро заговорил, вынимая изо рта трубку:

— Так-то вот и у нас была в селе такая-то Личарда, сводня, греховодница. Взяла и подвела нашему барину одну барышню из города, вроде как в управительницы. Барин у нас никуда, голова толкачом, голая, наденет круглые очки — чистый филин, а до женского пола первый любитель. Ну, конечно, и улестил ее, хотел, сказывали, увековечить ее, все именье под нее подписать. А барышня попалась добродушная: развеселая, словоохотная, так и распускает глаза на каждое слово. Что ей ни скажешь, на все дивится, радуется: «Да что ты? Да что ты?» Вроде дурочки.

— Видал я ее,— сказал Тит.— Часто, бывало, по селу хаживала, а не то по саду. Возьмет зонтик кружевной, подхватит белую юбочку,— наряжалась, правда, хорошо, и юбка вся в кружевцах,— и ходит по дворам, все, нет ли больных, спрашивает: «Я, говорит, жалостлива и сама из бедного быта...» А то по саду с книжкой ходит. Как захладевает, сейчас в сад. Идет с книжкой, уткнется в нее, глаза вылупит и так и жжет, только листики перевертываются.

— Верно, верно, и до чтения охотница была,— сказал Демьян.— Только приезжает, значит, к барину гостя, малый молодой, должно, из военных, а может, и служака какой... Человек капризный, тощий, а до баб тоже разбалован, зёл...

— Он самый и есть востряк,— сказал Тит.

— Да. Да и она уж, значит, до мужчин стала распущенная...

— Любила блудничать,— вставила Катерина.

— Любила,— подтвердил Демьян.— Такой уж природе была. А, может, и сам барин был стар по этому делу. Вынесут им, бывало, в сад под яблонку ковер, подушки, лежат и читают. Утром на станке на токарном точит всякую пустяковину, кровь себе полирует, после обеда — под яблонку. Она в одну сторону, он — в другую, так и блестит очками из травы, как змей. Покатается, покатается возле ней, да только и всего, только разбередит. А тут кстати помоложе подвернулся... Слухай да догадывайся! — весело и бодро сказал он, обращаясь к Агафье.— Дело до хорошего дойдет: «и ему отдалась до последнего дня...»

Он засмеялся, подмаргивая, и продолжал:

— Прекрасно. Значит, занялась она с ним, со служакой с этим. Идешь мимо саду, глянешь — сидит на скамейке, плачет

и платочком кружевным утирается... Потом, глядь, повеселе- ла: махнула, значит, на свою судьбу рукой, на отчаянность пошла. Мы весь сад в ту лето окапывали и все это хорошо видели. Сходбища у них была в самой их заветной беседке. Беседка была прямо хоть круглый год живи: столы, стулицы, чистота, пол под желтую одинарную краску, а по бокам черные каемки пропущены. Ну, вот они и повадились туда. Как вечер, как барин в поле, она сейчас проследует в сад, вроде как чтением занимается, а это и есть самая встреча их. Он, как заяц, прокрадется через задний вал — и к ней... Ну, только и от него она часто в горьких слезах выходила. Капризен был! Иду раз мимо саду, вижу, стоит в своей куртке плетеной, слюнявит платок и к руке, к мослаку прикладывает, а рука в крови,— бывает, упал, содрал на валу. Брюки синие в земле и в листу... «Здравствуйте, говорю, Чеслав Викентьич!» Запустил он меня матерком и залился в беседку...

Агафья, все выжимавшая из глаз слезы, вдруг зарыдала, поднялась и, шатаясь, пошла в избу. Дашка, сидевшая на пороге с широко раскрытыми глазами и раздвинутыми коленками, кинула на нее радостный взгляд, вскочила и тоже скрылась в сенцах.

— Горе, правда! — сказала Катерина.— Он ей весь нос размял.

Демьян быстро оглянулся.

— Не горе! — быстрым шепотом сказал он.— Это я ее разжег. Ведь барышню-то она подводила!

— Да что ты! — в один голос воскликнули хозяйка и Тит.

— Сейчас умереть! Ведь она из Голицына?

— Из Голицына, из Голицына,— подтвердила Катерина.— Говорит, к нам на покой удалилась, дома дюже много врагов, завистников нажила.

— Как же, успокоится такая-то! — сказал Демьян.— Я давно об ней наслышан, ведь Голицыно-то от нас пять верст всего. Я ее сразу признал, только говорить не хотел — угостить сулилась...

— Они страшные хитрые черти, эти дворовые,— сказал Тит.

— И, значит, она самая и загубила эту самую барышню? — спросила Катерина.

— Говорю же тебе — она,— сказал Демьян.— Она и все дело это совостожила. Да ты погоди, что дальше-то будет! Повалялись они, говорю, в беседке в энтой, отделалась она, идет по дорожке, поет песню, а сама цветы рвет, хоть, правда, дюже глаза опять заплаканы. А барин-то и вот он. Бросил

дрожки за садом и идет прямо к ней с плеткой. Она — туда, сюда, обмерла от страха да так и осталась на месте. Подходит он тут прямо к ней, скидывает с ней косынку кружевную с плеч, рвет, ногами топчет, скидывает брошку, рвет часы золотые на цепочке, зачал и их топтать, только стекла хрустят... Потом за нее принялся: дерет плеткой, и все по морде норовит... Избил, как надо, сшиб с ног, не хуже старухи этой — и поскорее прочь, домой, чтобы, дескать, от греха уйтить. Прибежал приказчик, кликнул нас, понесли мы ее в контору, а она — безо всяких чувств, лежит, как мертвая, в своем голубеньком платъице, в кружевцах, и вся лицо тоже вроде как голубая стала, альни нос блестит. Потом призывает барин кучера Никодима и кричит ему с крыльца: «Немедленно свезть ее и этого сукина сына на станцию, отыскать его немедленно, он небось в саду в лопухах хоронится. Брось их где-нибудь в страшную глубину, в пучину-яругу...» Ну, тем же вечером и оттащили ее в телеге на станцию.

— Ужли с любовником вместе? — спросила Катерина.

— Куда тебе! — сказал Демьян, поднимаясь.— Его и след простыл. Ему-то что ж! Он своего добился, обломал ей сучья-ветья, да потуда его и видели.

— Я эту историю тоже слышал,— сказал Тит, выскребывая куском хлеба остатки сметаны из чашки.— Я ее, говорю, сколько разов видал. Ее Лизаветой звали. Жидкая, праховая бабенка, а ничего все-таки, аккуратная. Я тогда у попа при молотилке служил. Рабочая пора, самый разгар, я сижу погоняю, а старостишкин сынишка, бедовый дьяволенок, все под привод, под лошадей лезет. Раз сказал, два сказал — нейметя. Я соскочил, поймал его да маленько за височки. Он в голос. Гляжу, бежит эта самая барышня, Лизавета,— по дороге возле гумна с собачкой гуляла,— прямо ко мне: «Как вы смеете, кричит, вас к уряднику надо. Надо с детьми гуманно обращаться...» Будь в другом месте, я бы ее кнутом шаррахнул.

— Гуманно! — повторил Демьян и засмеялся, снимая с лозинки свой армяк.

Встал и Тит, перекрестился и, поклонившись хозяйке, пошел вслед за Демьяном отдыхать в ригу. Качая головой, Катерина стала собирать с камня чашки, хлеб, скатерть.

— Мамушка! — крикнула Дашка, выскакывая на порог.— Я боюсь! Она пьяная, на всю избу кричит, волосы с себя дерет...

Катерина, кинув скатерть, вошла в избу. Агафья сидела на лавке и раскачивалась с шиплым воем, глядя, но ничего не видя кровавыми безумными глазами, без платка, с растерзанными седыми волосами, сизая от слез и от натуги.

— Господи, прости меня, окаянную! — сипло вскрикивала она, размахиваясь, широко крестясь и кланяясь двери.— Господи, разрази меня, старую дьяволицу, холопку лютую! Ненавижу вас, мужланы дикие! — завопила она, увидав Катерину.— Ненавижу!!

Не отвечая и улыбаясь, Катерина стала тереть хрен, чтобы привести ее в чувство.

*Катри. 27 января. 1913*





## ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Все было кончено: свели проданную скотину, увезли проданные экипажи, сбрую, мебель, настесь распахнули ворота варков и сараев, двери амбаров и конюшен: везде было пусто, просторно, на дворе — хоть шаром покати.

Новый владелец, мещанин Ростовцев, известил, что будет вечером двадцатого апреля. В тот же день, в три часа, решил уехать и Воейков; семью он отправил в город еще двенадцатого.

Из работников осталось двое: солдат Петр и Сашка. Они валялись по лавкам в пустой кухне, курили и то со смехом, то с сожалением говорили о прожившемся барине. А он, одетый по-городскому, в коричневой пиджачной паре и уланском картузе с желтым околышем, держа в одной руке костыль, в другой табурет, ходил по дому. Как было светло в его нагих стенах! Растворяя двери из комнаты в комнату, он влезал на табурет и задира л сверху вниз засиженные мухами, отставшие от стен обои: с треском и шумом падали на пол огромные куски их, с исподу покрытые известкой и сухим клейстером. В большой угловой комнате обои были синие с золотом. Они поблекли, выцвели, но много было на них темных овальных кружков, квадратов: эта комната всегда была увешана дагерротипами и мелкими старинными гравюрами, а в углу образами. Ободрать ее не удалось. Солнечный свет мягко проникал сквозь тонкие и тусклые, выгоревшие стекла четырех больших окон. Вспоминая детство, проведенное здесь, Воейков ударил костылем в одно окно, в другое... Стекла со звоном посыпались на гнилые подоконники, на желтые восьмиугольники разошедшегося паркета. В дыры потянуло мягким весенним ветром, стали видны серые кусты сирени.

Сев на табурет, Воейков решил додумать и последнее.

Он сидел долго, сняв картуз, опустив широкую голову, причесанную на косой ряд по-старинному — справа налево, с косицами на виски. Снова и снова вспомнились деды, прадеды,

жившие и умершие в этом доме, в этой усадьбе; вспомнились чуть не все имена борзых, прославивших воейковскую охоту... Теперь захудалых, обезображенных голодом и старостью потомков их осталось всего шесть штук... Они скоро поколеют, конечно... Да, но не Гришке же Ростовцеву оставить их! Воейков поднял свое тяжелое смуглое лицо, все в желчных складках и морщинах, с черно-зелеными, крашеными усами. Темные глаза его блещали строго.

Надев картуз, стуча костью, он вышел на крыльцо и крикнул через двор в кузню. На порог выскочил длинный Петр.

— Где собаки? — спросил Воейков.

Петр глянул в сенцы, по двору, в сад...

— Да все, кажись, дома.

— Ну, вот и отлично, — громко и твердо крикнул Воейков. — Всех удавить. Получишь по четвертаку за каждую.

И, закуривая толстую короткую папиросу в дорогом прокопченном мундштуке, сел на ступени крыльца. Петр скрылся в кухне, удивил и обрадовал Сашку, быстро сообщив ему о решении барина, нашел под лавкой веревку и снова вышел на порог, думая: с какой начать?

Три пегих собаки лежали среди двора, на солнце. Две белых — в тени, возле сарая. Одна бежала от ельника по светлой аллее еще сквозного сада с голыми зацветающими яблонями, по розовой весенней земле. Все были стары, стара и эта — палева сучка с черными ушами, с длинной сухой шерстью на тонких жилистых ногах. Петр посвистал и похлопал себя по коленке. Сучка направилась через двор прямо к нему, виляя густым загнутым хвостом, лизнула ему руку. Петр накинул ей на шею веревку и, заскребая сапогами, побежал по двору к саду. Схватив железную лопатку, забытую в углу сенец, коротконогий веселый Сашка побежал за ним.

Собака пошла сперва охотно. Но у ворот сада вдруг уперлась, взвилась и, завизжав, закувыркалась. Сашка на бегу поднял рогатый зелено-золотой яблоневый сук и несколько раз ударил ее по сухой спине, оставляя на рогульках лохмотья старой шерсти. Петр бежал, держа веревку через плечо и точно падая; собака, подскакивая, кидалась во все стороны, рвалась назад, приседая и отматывая себе голову. Спавшие борзые очнулись и стаей бросились катать ее.

— Отрыжь! — грозно гаркнул Воейков, вскочив с крыльца.

Сашка лопатой разогнал их. А на деснах сучки, яростно грызшей веревку, показалась кровь: давясь, она защемила язык. В боковой аллее из кустов акации Петр пошел тише: она внезапно изнемогла, перестала сопротивляться, похудела еще

более, уже шаталась, путая задними ногами, и отставила опустившийся хвост. Когда Петр перекинул веревку через толстую ветвь раскидистого клена, засыхающего на перекрестке двух дорожек, и, быстро повернувшись к нему правым плечом, рванул ее вниз, собака, вздернутая на дыбы, судорожно скорчив передние лапы, сделала усилие удержаться на взрытой под кленом земле, но повисла, едва касаясь ее. Черно-лиловый язык ее высунулся, обнажились в гримасе коралловые десны, дневной свет, отраженный в потухающих глазах виноградного цвета, стал тускнеть.

— Теперь молчи, не вякай,— сказал Петр, усвоивший себе манеру шутить сумрачно.

Сашка, напевая женским голосом, рыл яму среди голых кустов, покрытых бледно-зелеными зернами почек. Вдали, на старых деревьях в низах сада, шумели грачи. Кругом пели скворцы, стрекотала сорока, солнце сушило слежавшуюся листву в корнях кустов, а Сашка твердо и с удовольствием наступал на блестящую лопату, легко уходившую в рыхлую синюю землю и резавшую надвое жирных малиновых червей. Подошел Андрей, стерегший свою кобылу в бесхозьяном саду, молодой опрятный мужик с деревни.

— За что так сказнили? — спросил он, улыбаясь.

— Значит, так приказано,— ответил Петр, все еще державший веревку через плечо.— На прощанье, значит. Всех велел к смерти предать. Чтоб никому не доставались.

— Горюет?

— Загорюешь! А ты, кажись, пристроился лошадь в саду кормить? Смотри,— к вечеру новый приедет. У того, брат, не покормишь.

— Я к вечеру сгоню,— сказал Андрей.

Он палкой приподнял под зад собаку,— собака очнулась, зарычала, втягивая живот,— и продолжал рассеянно:

— А я тоже недавно собачонку удавил. Пристрелял чья-то, живет неделю, другую, брехать не брешет... Я подумал, подумал, взял да и удавил.

— Собак что, и людей, какие позамечательнее, и то много казнят,— сказал Петр.

— А ты что ж, видал?

— Видеть я этого никак не мог. Никого не допускают: ближним даже и то нельзя. Мне солдаты рассказывали. Сделают с ночи висельницу, а на рассвете приведут этого самого злодея, палач мешок ему на голову наденет и подымет на резиновом канате. Доктор подойдет, глянет и сейчас говорит, удавился или нет... Тут же под висельницей и могила.

— Так без гробов и валят?

— А ты думал — под стекло?

— И так ни один архитектор не найдет, — сказал, смеясь, из кустов Сашка.

Петр бросил веревку, — собака упала и осталась в сидячем положении, — и стал закуривать.

— А потом, значит, станок этот на иную место переносят? — спросил Андрей.

— Куда нужно, туда и переносят.

— А за что же их казнят?

— Понятно, не за хорошее. За всякие разноверия, за начальство, за разбой. Не буянь, не воруй...

— А палач-то этот самый, он, что ж, жалованье получает?

— А как же. И харчи и одежду дают отличную.

— Смотри, отдышит, — пошутил Андрей и пошел к лошади, трещавшей сушью в чаще старого вишенника.

— Небось, — сказал Петр и крикнул Сашке: — Готово, что ль?

Вместе с мраморными и желтыми, сухими и мокрыми листьями он потащил собаку к яме. Закидав яму землей, Сашка стал утаптывать ее, и влажная земля дышала под его сапогами.

— Ну, вечная память, — сказал он. — Нам жить-поживать, тебе гнить.

И, вскинув лопату на плечо, пошел за Петром к дому. Петр на дворе остановился и, держа веревку за спиной, манил к себе большого, уже седеющего кобеля Черкеса.

— С одной, Борис Борисыч, управились, закопали, — весело крикнул Сашка Воейкову, все еще сидевшему на крыльце.

— Чего ржешь, болван? — строго осадил его Воейков. — Как так закопали? Кто вам приказывал закапывать? В ельнике, на елках повесить всех и так и оставить. Слышишь?

— Слушаю, — ответил Сашка и кинулся помогать Петру. — Ну, скорей, что ль! — крикнул он шепотом.

К трем часам покончили со всеми собаками. Теперь старая усадьба, тихая, безлюдная, дремлющая под лаской теплого апрельского солнца, была совершенно пуста. Возбужденные, уморившиеся работники шли по аллее и считали, сколько им приходится за работу.

— Ничего, отлично, — говорил Петр с сумрачной веселостью. — Полтора целковых. Будет нам на поминки полный обед с закуской.

Воейков, с обнаженной головой, стоял у крыльца, крестился и кланялся дому.

— Прощайте, — строго сказал он, оборачивая свое энергичное темное лицо к подошедшим. — Кончили?

— Кончили,— ответили работники в один голос, снимая картузы.

— Получите.

Принимая деньги, Сашка поцеловал его смуглую руку с истончившимся обручальным кольцом. Воейков, не меня выражения лица, обнял его и поцеловал в губы. Кивнул Петру. На мгновение глаза его перекосились, подернулись мутью. Но, надев картуз, он стал еще строже и еще тверже сказал:

— Теперь можете идти. Я не велел Мирону заезжать за мной. Сам к нему зайду, от него и на станцию поеду. Я не телеги стыжусь, а просто... не желаю...

И пошел к воротам, не оборачиваясь.

Сашка сбежал в лавку, и лавочник ржавым топором отрубил ему на пороге кусок мокрой соленой свинины. Петр поджидал его возле винной лавки, на выгоне, близ усадьбы. И, закусывая, они долго сидели на мелкой и яркой весенней траве. Вечер наступал розовый. Холодел воздух, и слышнее шумели, кричали грачи на старых деревьях в сыроватых низах сада. За сквозными верхушками их уже сияла небольшая ясная луна. А за рекой, в золотом чистом блеске, садилось солнце,— и в странно молчавшей усадьбе оранжево пламенели стекла настееж растворенного мертвого дома.

Ростовцев, с приказчиком, на беговых дрожках, приехал поздно, когда деревня вся спала. В тишине чуть звенела гайка на его колесе, когда он шагом въезжал на бывший воейковский двор. У крыльца он остановился и, с трудом слезая, передал вожжи назад, приказчику. Приказчик поехал к сараю отпрягать, а он, в чуйке и глубоком теплом картузе, разминая онемевшие от долгого сидения ноги, вошел в дом. Поклонился и он дому, снимая картуз и набожно роняя волосы на пороге полных мутного лунного света комнат. Всюду были завалены драными обоями полы в них. Проходя комнату за комнатой, внимательно и уже по-хозяйски строго вглядываясь во все углы, он отшвыривал шуршавшие куски сапогом и, качая головою, с искренней горечью бормотал:

— Ах, мошенник! Ах, невежа!

В полусумраке казалось, что комнатам конца нет. Было жутко в обезображенной пустоте их, в этом остове разоренного чужого гнезда, столько лет жившего своей особой и для всех Ростовцевых загадочной, недоступной жизнью. Ростовцев повернул назад, вышел, горбясь и хмурясь, на крыльцо и, волнуемый нетерпением поскорее осмотреть все, теперь свое, собственное, пошел в сад, взглянул на цвет яблонь: очень он надеялся на сад в этом году. Но при розовой луне даже зоркие глаза

Ростовцева не могли отличить мелкого бело-розового цвета от нагих сучьев и почек. Он постоял, потянул носом, надеясь взять обонянием. Цветом пахло, но слабо. Сильней пахло холодной влажной землей, свежестью молодой травы. В глубокой тишине четко и осторожно отдавалось по саду чоканье соловья, пробующего в низах голос. Ночь была нежная, светлая, лунная, чуть туманная. Далеко сквозил сад — и, повернувшись к ельнику, Ростовцев вдруг почувствовал, как у него зашевелились под картузом волосы: на сумрачной чаще высоких густых елей стояло пять длинных бледно-голубых привидений. Вне себя от страха, он двинулся на них... А через минуту уже шел назад и бормотал с еще большей горечью:

— Ах, мошенник! Ах, невежа!

— Думал в доме лечь, — нарочно громко, на весь двор, сказал он, выходя на середину двора. — Да ну их к черту. Там жуть, безобразия. Все ободрал, старый дурак, собак всех повешал... Пойдем в избу, авось наше дело не барское.

— Корусть не велика, — громко и весело ответил приказчик, подходя к нему. — Уж чего, чего, а собак-то наживем... С новосельем вас, Григорий Кискентиныч! — сказал он, снимая картуз.

— Ну, будя, будя! — притворно сердито ответил Ростовцев. — Пойдем-ка спать...

Бросая на росистую траву две тени, они пошли в кухню. Там, на лавке, при лунном свете, они закусили колбасой и белым хлебом, отрывисто переговариваясь, и легли голова к голове на лавке возле окон, положив вместо подушек свернутые чуйки. Нужно было встать пораньше, чтобы встретить подводы из города и начать приводить усадьбу в порядок.

Но от нетерпения ночь казалась Ростовцеву бесконечной. Он просыпался и с тоской видел розовый лунный свет все на том же месте — на своих голенищах. А засыпая, вздрагивал: стеной вставала перед ним черно-зеленая чаща ельника, а на ней, в ее строгом сумраке, — висащие собаки. Он повертывался с боку на бок и сердито ухмылялся своему малодушию.

*Капри. 1 февраля. 1913*





## ВСХОДЫ НОВЫЕ

В усадьбе праздник — весна.

Днем жарко, весело, в голубом небе крулятся белые облака. Припекает облупившуюся железную крышу дома, мохнатые бревенчатые стены его, черные стекла окон. В слуховом окне, против солнца, воркуют голуби. На сохнущем и рассыпающемся фундаменте, на сирени палисадника липнет много крупных мух. Караковый жеребец князя стоит в пустой поварской, в длинной черной избе крепостных времен. Он беспокоится, не ест овса, насыпанного в лоток на лавке. Просунув голову в окно без рамы, он глядит на широкий зазеленевший двор и жалобно-страстно ржет.

Князь понемногу приходит в себя после долгой зимы. И эту зиму запивал он — все от одиночества, как говорят все; когда бывал трезв, ходил на охоту, играл в карты у лавочника, сидел в людской с работниками, случалось, и обедал с ними, а не то читал в своем теплом кабинете и часов в шесть ложился спать. Теперь он выходит из дому чаще, отдает распоряжения. Бесстрастно восточное лицо его с большими седеющими усами. Князь вспомнил, что пора чистить, подметать сад: уж таков спокон веку обычай. И приказывает старосте пригнать девкоподенщиц. Девки весь день поют, сгребая листву по аллеям, по дорожкам; их красные и желтые сарафаны мелькают в голом, нежно зеленеющем саду. В доме растворены двери на крыльцо, раскрасневшаяся баба с подоткнутым подолом и коленками цвета моркови яростно моет полы в зале; в рамах, с треском выдираемых другой бабой, сверкают на солнце стекла и зеркальными зайчиками озаряют потолки. Льется теплый, солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на сирени возле дома... Князь, в одной косоворотке, в плисовых вытертых шароварах и дегтярных сапогах, ходит с работниками по осеке за сараем, выставляет из омшаника колодки, полные сердитого и певучего жужжания.

В воскресенье на Фоминой, как опять-таки ведется спокон веку, молятся в поле, на озимях. Молится все село, заказывает молебен и платит из своих скудных средств — князь.

Ночь накануне холодная и лунная. Девки-поденщицы сидят на крыльце людской, вполголоса поют и оговаривают друг друга: грех, завтра праздник большой. Они живут в саду, в бане, но нынче баню топили, князь купается. Когда он, накинув на плечи тулуп, проходит туда в лунном свете по двору, они бегут в светлый сад, под окна бани и, давясь тем особенным таинственным смехом, которым смеются женщины весной, в лунные ночи, заглядывают, швыряют в стекла сучками. Князь с медлительной усмешкой стучит кулаком в стену. Купается и кучер князя, Николай, в той избе, где стоит жеребец: приносит туда два ведра, ставит на лавку зажженный огарок. Девки подбегают под окно без рамы, швыряют и в него. Косится на них, шуршит мокрой соломой, накиданной на полу, упруго перебирает ногами обеспокоенный огнем жеребец, а Николай сидит на соломе и намыливает голову. Услыхав смех под окном, он вскакивает и, с серьезным лицом, с седой от мыла головой, начинает плясать, потрепывать себя по голым мокрым ляжкам.

Утро теплое, солнечное. Приятно, когда звонят колокола в такое утро, приятно наряжаться под этот звон. Мягче кудрявятся белые облака над садом, млеет яркая синева между ними; со двора видно, как в полях, над зелеными и лиловеющими пашнями, бегут, струятся испарения.

— Дождь будет, парит, — сказал староста, обходя с овечьими ножницами в руке поставленный возле людской продранный стул, на который покорно, заранее вытянув и согнув шею, покрытый по плечам полотенцем, сел Николай в распоясанной рубахе.

Николай, пока подрубали на затылке его сухие рыжие волосы, все гляделся в зеленый осколок копеечного зеркала. Падают желтые клоки на полотенце, голова Николая становится меньше, уши отстают и торчат. Взяв у старосты ножницы, он подстриг и усы: стал длиннее его лебединый конопатый нос. Потом он нарядился: надел синюю атласную рубаху с рукавчиками, с тремя крупными белыми пуговицами на высоком вороте, отделанном каемкой кружев; подпоясался малиновым шелковым жгутом с махрами; вбил ноги в тесные сапоги с лакированными узкими голенищами. Рубашка коротка, ноги Николая, обтянутые кавалерийскими штанами, слишком тонки, сам он худ и сутул, глаза у него маленькие, зеленые.

В доме сумрачно. Теплый воздух, льющийся в открытые

окна, не скоро нагреет его. Все промерзло за зиму, с потолка в зале огромным животом висит отставшая, в коричневых подтеках, бумага. Морозы, время портят и зеркала, сделали их молочно-серебристыми. Расставив ноги, глядя на мутное отражение своего морщинистого лица, князь долго скоблил щеки тупой бритвой. Пора, пора бросать настаивать водку лимонными корками! Соли в черных усах все прибавляется, редуют волосы... Намочив и причесав их, князь надел поверх пестренькой косоворотки новую синюю поддевку, надел дворянский картуз и, с ремненным кнутом в руке, вышел на крыльцо, возле которого сидел на беговых дрожках и держал жеребца Николай, на оттопыренных ушах которого осталось после стрижки много мелких волос.

Обедня отошла, на колокольне жидко и празднично звонят; разрозненная, разноцветная толпа течет по выгону в поле. Пять человек без шапок, в новых калошах и поддевках черного блестящего сукна, подпоясанных красными подпоясками, несут хоругви и крест, увитый белым рушником. Две не в меру набеленные девки в ярко-зеленых платьях — икону Божьей Матери.

Когда толпа была уже за дубовым кустарником в поле, где дул теплый ветер и пели жаворонки, от церкви отъехала плетеная тележка, запряженная серым мерином в яблоках. Поп, человек чахоточный, ехал в толстой чуйке, в зимней шапке, в глубоких ботиках. На козлах сидело двое: правивший мерином дьячок и сын попа, Вася, спившийся с кругу дурачок, вечно блаженно-радостный. Он в церкви подтягивал дьячку дискантом, службы знал лучше всего причта, но отец часто выгонял его из алтаря за нетрезвость, не хотел нынче брать с собою. Однако Вася, еще с раннего утра расчистив свои сбитые сапоги, надел продранный под мышкой пиджак, грязно-синий воротничок и розовый атласный галстук, так плакал, узнав, что его оставляют дома, что поп сдался.

Князь обогнал попа и кивнул ему.

— С праздником, ваше сиятельство, с молебствием! — радостно всхлипнув, крикнул Вася, больше всего на свете любивший праздники, дни ангела, поздравления.

С правой стороны тележки, равняясь с ходом лошади, не отставая и не забегая, шла старуха Марфа, добровольная прислужница при церкви, высокая, сухая, с ореховой палкой в одной руке и медным кофейником, из которого торчало кропило, в другой. Дьячок иногда подгонял лошадь и, смеясь, оглядывался на Марфу. Она ускоряла шаг, сердилась, но молчала.

Молились на клину богатого мужика Данилы. Там, возле дороги, на молодых светло-зеленых всходах, приготовили

стол под суровой чистой скатертью, красную деревянную миску с зерном и пук свечей в хлопчатой бумаге. На юго-востоке, за серым княжеским садом и прозрачно-лимонными лозинами села, облака, мягко синяя, порою смазывались в тучку. Поглядывая то на них, то на приближающуюся тележку, выдвинувшись из пахнущей кумачом толпы, стоял сам Данила, белокурый старик. Раскорячиваясь, далеко относил руку для крестного знамения и кланяясь, он пошел навстречу попу, — и мягкий ветерок, дувший с полей запахом сырой земли, шевелил его волосы. Тележка остановилась, но поп продолжал сидеть в ней, поджидая обогнавшего его и опять отставшего князя.

Князь сдержал лошадь от волнения, охватившего его в поле. Осими, свежо зеленея, шли в одну сторону, дубовый кустарник — в другую. Сухая, коричневая листва висела кое-где на нем, но и это говорило о весне. Синели подснежники, пахло залежавшимся в чаще снегом, весенним холодком. Тройка ореховых лошадей, разукрашенных дорогой сбруей, стояла на опушке. Полулежа в новом тарантасе, кудрявый кучер богатой соседки ел с ладони просфору. И князю вспомнилась молодость, другая, далекая весна...

Впереди медленно двигалась телега, в которой лежал больной мужик, отец Николая. Малорослой лошадью неумело правила мать его, скорбная жилистая старуха в черной поневе.

— Жив? — окликнул князь.

Из телеги, из соломы торчал острый восковой нос под глубоко надвинутой шапкой. Больной в просторном полушубке лежал на спине. Силясь улыбнуться, он с трудом потянулся тонкой рукой к шапке. Николай поклонился родителям, как чужой, стыдясь их бедности, убогости. А бесстрастные глаза князя стали как будто еще бесстрастнее.

В толпе его нетерпеливо поджидали.

Марфа давно стояла наготове возле стола. Обогнав тележку, она подошла к молодой беременной бабе Данилы и передала ей свою ореховую палку. Кофейник она поставила на стол, бархатый лиловый трепник, лежавший на нем, подвинула на край. Как только поп занес ногу вон из тележки, скинув чуйку, Марфа ловко подхватила ее и, подхватывая, чмокнула его холодную, дряблую и тяжелую руку.

Поп быстро прошел к столу, поклонился той богатой барышне, полной, косою и застенчивой девушке, чья тройка стояла на опушке дубняка. Он был выше всех, издали была видна его голова, поднятое землистое лицо, сквозная бородка и серая шея. Несколько раз обернулся он, поджидая князя. Князь подъехал. Тогда мельком, но молитвенно глянув вверх, на высокие

весенние облака, он вздохнул, вынул из длинного разреза ватной рясы красный платок, вытер большой глянцеви́тый лоб, — Марфа уж подхватила его шапку, — надел потертую золотую ризу, надел золотые очки — и, став строгим, зажег пучок свечей, веселый, дрожащий блеск которых сотнями точек отразился в стеклах очков. Низко поклонившись князю, стоявшему возле стола и твердо отставившему левую ногу, он выправил жидкие волосы из-за стоячего ворота ризы, откинув голову, наполовину прикрыв тусклые глаза воспаленными раковинами век, и невнятным, теряющимся в теплом полево́м воздухе голосом начал молебен... И князю опять стало жаль себя и радостно за эту вечно юную землю, просящую небо снизить на нее благодатную весенней влагой.

Он переменял ноги, выставил вперед правую, сделал мутные глаза. Чтобы не думать, он стал слушать мирный, успокаивающий и молящий голос, порою сливавшийся в пении с голосами дьячка и Васи.

Толпа кланялась и крестилась, крепко прижимая пальцы ко лбам. Полная косяя девушка робко поглядывала на князя. Данилова баба, вся в розовом, то бессмысленно пучила глаза, то начинала быстро, испуганно креститься. В ногах ее, подпирая намащенной расчесанной головой ее круглый живот, стоял мальчик в плисовых штаниках и козловых сапожках, под мышку подпоясанный по голубенькой рубашечке. Когда запели всем причтом, она, поспешно крестясь, надавила ему на голову левой рукой, поставила его на колени. Затем с трудом опустила и сама, раскинув по молодой зелени ржи нижнюю белую юбку с кружевами и припадая к ней лбом. Мальчик замолился естественно набожно, косясь на сапоги князя.

Дул ветерок, шевелил волосы, шли легкие облака, шли по зеленым полям тени от них, — далеко было видно в весеннем прозрачном воздухе. Дрожали, бежали огоньки свечей, беззаботно-радостное пение жаворонков не мешалось с пением причта, но как-то хорошо дополняло его... Даруй, Боже, земле радость новую, новые всходы, — говорили слова молитв, пропадающих в теплом воздухе. — Благослови ее новой жизнью, да в забвении истлеет в ней семя старой, из коего и родится она, юная и чистая... Потом запели о воскресении Христа из мертвых. Глаза князя налились слезами — и он уже ничего не видал перед собою до конца молебна.

Когда он, склонив голову, поцеловал холодный, пахнущий медью крест и мертвую руку священника, солнце зашло за серо-золотистое, темное внутри облако, и на юге обозначилась синяя тучка с туманными полосами дождя.

— Поздравляю вас с праздником, ваше сиятельство, с благодатью Господней,— сказал священник, кланяясь так низко, что далеко отстала от груди епитрахиль.

Князь поехал назад, разминувшись с тройкой, с мягким громыханьем бубенчиков плывшей навстречу ему. Солнце зашло за облако — и все краски дальних, ясно видных полей стали гуще, бархатней. Слышнее стало гудение пчел на лозинах при въезде в село, потянуло свежестью, зеленью распускающихся берез. Синеватая тучка на юге поблескивала небольшими молниями... Потом солнце опять выглянуло, молодо и радостно озаряя все, с неба с сухим шорохом посыпались редкие алмазы.

У церковной ограды князь снял картуз и перекрестился на ветхую часовню над старинным княжеским склепом, вспомнив, как однажды спускался туда в молодости, тоже весной — через полгода после смерти отца... Полгода — велик ли срок! А уже ничего, ничего не осталось к той счастливой весне от старого грешного князя, кроме костей в тяжелом гробу и крупной росы на его поверхности.

Чтобы не запить, князь чем свет ушел на другой день со стариком Панкратом в Задонск. Яровое рассевали без него.

*Катри. 2 февраля. 1913*





## КОПЬЕ ГОСПОДНЕ

Красное море встречает нас дурными знаменами.

Вчера на закате дул хамсин. Слева, в пыльной, красной мгле, садилось болезненно и тускло блестящее солнце. Справа эта мгла была сумрачнее. Там темнели очертания Джебель-Таира. И оттуда, со стороны Аравии, горячий ветер гнал двух птиц. Они неслись боком, низко над водой. Перья их были измяты и взъерошены. Неожиданно наткнувшись на спасение, на наш грузовик, они взмыли к верхушке фока, на тугую струну штага, соединяющего фок с гротом. Уцепившись, они крепко встряхнулись, приводя себя в порядок, и застыли.

Мы с мостика долго разглядывали их. Таитья нечего, — всем стало не по себе: это были два старых аравийских стервятника, два «вестника смерти» и всяческих бед. А ведь мы прямехонько идем на смерть: по всему побережью Аравии, в Суэце, в Порт-Саиде — чума и холера; в Джибутти, где мы стояли сутки и общались с берегом, умирает по сто, по двести человек в день. А нервы у нас никуда, — устали мы ужасно. Переход в Японию был трудный, бурный. Не давши нам и недели отдыха, погнали нас назад, в Китай, оттуда — в Сингапур. Там мы без дела простояли месяц, изнуряемые жарой, лихорадочной влажностью... Индийский океан в марте, конечно, отдых, но ведь впереди было это проклятое Аравийское море и чума. А народ моряки чувствительный. Что же до веры в приметы, в предзнаменования, то плавающие в северных и тропических морях хуже всякого араба...

Вечером без охоты поиграли в шашки. Старший механик вспомнил покойного командира «Японии»: это было тоже во время чумы и тоже в Красном море, командир захворал, — может быть, и впрямь захворал, заразившись в Массове, где он съезжал на берег, — а захворав, поспешил принять датуры, оставив записку, что у него жар и опухоли под мышками... «Тело его было предано Красному морю...»

От песку, от горячего ветра закрыли люминаторы. Это печь с закрытой заслонкой! Свободные от вахт рано разошлись спать, — один пьяница Франц старчески ворчал, гремел в буфете, швыряя посуду. Но какой сон при хамсине! Тело ноет, сердце замирает. Поминутно, весь в поту, просыпаешься, куришь, снова задремываешь... Никогда не кажется так мала каюта! Лежа в темноте, слушая ровный плеск воды, бегущей назад, мимо, все думаешь о том древнем, мистическом, чем отравляет нас Восток — тропики, Индия, Китай... а в этом мглистом море — Аравия. Какая загадочная, доньше неведомая нам, ветхозаветная страна — эти пустыни, до шлака сожженные ветхозаветным Богом! Что там, в гористой, вечно мреющей миражами глубине ее?

Окраины мы знаем: жара, грязь и вечная холера в портах; дальше — пески и камни; где-нибудь на голой волнистой равнине их — страшный в своей доисторической неуклюжести верблюд, стоящий всегда одиноко, бесприютно, далеко от той чахлой пальмы и грязного колодца, возле которого — большой жаркий шатер из черного войлока, слабо синеющий на солнце дымок костра, свирепая собака, полусонная от зноя старуха, полуголые дети в паршах, котелок, измазанный тестом дурры, невесть откуда занесенная керосиновая жестянка с теплой водой... А там — опять то бархатные, то усеянные мелким, острым камнем пески. Там начинаются те заповедные, вечно засыпаемые песком пути из Сирии, Персии и Средней Азии к Мекке, Ятрибу, что издревле отмечают своими костями святые хаджи, гибнущие, во имя Господа, от жажды, ураганов, зноя и, уж конечно, от холеры и чумы — «Раны от Копья», как называют ее арабы. Вот за такими-то караванами и следуют они, эти стервятники.

Их зловещая близость чувствовалась всю ночь. Я выходил на палубу: горизонты мглисты, луна туманно-розова, ночь суха, горяча — точно и не в море. Высоко, возле клотика фокка — два темных комка... Где они вывелись, где скитались? Сколько раз отбивались от смерти, от таких же хищников, как и они сами, сколько раз рвали падаль, трупы и погибали от хамсина? «Господь есть Бог ревнитель и мститель» — так и доньше верует пламенная страна их. — «Перед лицом Его идет язва, а по стопам Его — жгучий ветер...» И жгучий ветер с песком дул в каюту всю ночь...

К рассвету хамсин пронесло. В шесть утра над каютами начинается топот босых ног, шум воды, пущенной из шлангов по палубам. Обычно слышишь все это одно мгновение, затем перевертываешься и засыпаешь еще крепче. Но нынче я очнул-

ся сразу. Как всегда, ослепительный свет тропического солнца бил в люминатор, до головокружения душно было в каюте — и так отраден этот свежий шум! Сбежав вниз, к ванне, я раз десять окунулся в холодную воду. Мраморный пол, мраморная ванна и эта хрустальная вода — истинное наслаждение. Самому приятно чувствовать холодок своей руки, которой пожимаешь сухую, горячую руку того, кого сменяешь на мостике. Там уже пекло. Я взял бинокль и навел его на птиц. Великолепны эти аравитяне! Сквозь стекла еще прозрачнее кажется прозрачный, сияющий среди ясного неба воздух. Четко, крупно видны блестящий на солнце бок мачты, витой стеньг-штаг и ястреба, в огромном пространстве висающие на нем: их желтоватое жесткое оперение, круглые совиные головы, покрытые редким младенческим пухом, прищуренные кошачьи глаза, короткие, крепко загнутые клювы и лимонные лапы. Оба ястреба очень велики и очень худы. И это особенно заметно тогда, когда какой-нибудь из них затрепыхается, взеброшивая перья; и плевком пустит на палубу известковый помет.

Фельдшер вышел перед завтраком на горячую палубу и стал стрелять в них из бульдога. Все окружили его, закинув назад головы. Всякому казалось, что, стреляя он, не было бы этого бесплодного треска. Вдруг один ястреб подпрыгнул и комом полетел с высоты наискось. Мелькнув своей рыжей желтизной, своими изломанными перьями в густо-синей и тяжелой, как масло, волне, он исчез под бортом. Другой испустил жалкий и злобный крик, взмахнул крыльями и опять, еще туже сжавшись, замер. Пули с визгом летели мимо него — он только втягивал в себя голову. Куда ему было деваться? В море, окружавшем его, не было ни единого камня. Ему оставалось одно — ждать, пока выйдут все пули. И наконец они вышли. Мы наводили на него бинокли, он во все глаза глядел на нас. Зол он, должно быть, невероятно; голоден так, как может быть только стервятник! Вечная брань со всем живущим и вечное выслеживание жертв или падали... Жесток и к нему Господь, определивший ему быть вестником черного Копья Своего!

И целый день не выходила у меня из головы мысль о крысе, которая, может быть, уже сеет смерть, чумая в темноте наших трюмов.

Этот желтый флаг смерти, под которым мы теперь плывем, — желтый санитарный флажок, который мы должны были поднять в Джибутти, — твердо напоминает: будь всегда готов к ней, — она и над тобой, и впереди, и вокруг, вот за этой водою, на жарких песчаных берегах, среди той нищеты и грязи,

которой живет почти все человечество: Копье Господне вечно поднято!

Матросы, те подтягиваются при вести о малейшей опасности. И у нас теперь чистота необыкновенная. Очень рано стали мы готовиться к одесскому порту в этот рейс — чиститься, краситься. Несколько дней не смолкал ладный, дробный стук молотков: с палуб, с мачт, с бортов, с труб обивали старую, потрескавшуюся краску, а на ее место клали свежую, блестящую, спиртуозно пахучую. И теперь нельзя было насмотреться на густую синеву за бортами, великолепно подчеркнутую яркой киноварью нашей железной палубы и золотой охрой труб. В небе, знойном и светоносном, весь день нынче не было ни единого облачка, ровно тянул навстречу легкий бриз. На баке иные из подвахтенных спят, иные болтают и курят. На носу, разноцветными пятнами, сохнет развешанное на веревках белье. На юте сладко щебечут канарейки и те розовые тупички, которых везем мы из тропиков на север... И только там, возле клотика фок, на блестящей в воздухе струне, в упор освещенный опускающимся солнцем, зловеще желтеет враг всяческой жизни.

Франц, больной с похмелья, лениво таскал свои разбитые ноги по палубе, яростно тряся колокольчиком.

— *Memento mori!*<sup>1</sup> — сказал командир, когда мы сошлись на этот призыв в кают-компанию, к обеденному столу, и кивнул на люминатор, в который был виден фок: — Сидит, будь он проклят!

За обедом много пили. Солнце закатилось, и была уже ночь, разгорался лунный свет вокруг кают-компания, освещенной электричеством. Шел оживленный разговор — как всегда, толковали об окладах, о начальстве, кляли свою службу, тешили себя мечтами найти береговую. По кают-компанию веял бриз. Но он был слишком тепел, тело изнемогало от пота. Даже свет электричества казался знойным.

— На два румба справа встреча,— доложил вестовой с порога.

Встречи — наша единственная радость, и все встали, пошли на палубу. Давно ждем «Меркурия» — не он ли? Но нет: слишком низко и далеко друг от друга висели за темной зыбкой равниной, уходящей к востоку, к Аравии, два далеких топовых огня... И, швыряя окурки, красными полосками мелькавшие за бортом, глядя на фок, на гладкий ствол его, прорезавший

---

<sup>1</sup> Помни о смерти! (*лат.*)

звездное небо, и на бессонную птицу, висящую на штанге, мы разбредлись по палубе...

Ночь, опять ночь. Идешь — бриз мягко дует в спину, тело под легкой одеждой наслаждается им. Из трубы клубится темный вал дыма, луна, как зеркало, мелькает в нем, по палубе бежит, волнуется широкая тень его, под ногами хрустит угольная пыль. Обдаёт теплом, запахом разогретого машинного масла и стали, дальше — опять ласковым ветром и чем-то раздражающим, приторным: это густо, приятно, как все в тропиках, пахнет из трюмов копра, кокосовые очески; этот запах вечно будет томить, напоминать пахучие гавани, теплую зеленую воду, первобытные челноки голых шоколадных людей, густые чащи высоких тонких пальм, склоненных с берегов, благовонные кумирни в вечно цветущих лесах... Волна за волной несется мимо борта, обгоняя тебя. Минуешь двери освещенных кают, — фельдшер и повар сидят на порогах и вторят друг другу на звенящих мандолинах, — проходишь на корму и останавливаешься у штурвала, над кипящей водой...

Однообразно шумит она, выбиваемая винтом из-под кормы, вырывается из-под нее тугими клубами, снежным фосфором, и убегает в океан бледно белеющей прямой дорогой. Равнина моря к востоку тяжела, темно-лилова, в небосклоне над нею — белые звезды широко и низко раскинутой Большой Медведицы, родной с детства. Под луной — бесконечная сияющая гладь, осыпанная несметными серебряными иглами. Как высока эта теплая, тропическая луна, как легки и светлы горизонты! Драгоценными самоцветами играют над горизонтом юго-западным, особенно легким и светлым, Канопус и Сириус. Ниже, в прозрачном и пустом небосклоне, стоят четыре алмаза слегка склоненного Южного Креста, каждую ночь выходящего из недр тех неведомых южных вод, которым нет предела до самого полюса...

Вот с бака раздается два коротких удара в колокол — восьмичасовая склянка. В них — поэзия старой морской жизни, безграничных водных пространств, ночи за тысячи миль от земли. Они быстро тонут в великой тишине моря и неба, после них воцаряется еще более глубокое молчание, вода шумит еще однообразнее...

Вот опять среди темной равнины к востоку — медленно идущие огни встречного парохода. Мелькает и гаснет, мелькает, мелькает и гаснет огонек на нем: беззвучно, этими слабыми и бедными знаками, которыми дает весть крохотная человеческая жизнь другой такой же, окруженной морями, пустынями, безвестностью, смертью, ведем мы нашу морскую беседу, — с

тревогой и надеждой спрашиваем о той родной точке земного шара, которая нам, скитающимся по всему свету, единственно дорога и нужна...

У нас на вахте третий помощник, он и сигнализирует. Человек он недалекий, тропики умеет сравнивать только с баней, всех цветных называет эфиопами, на стенах его каюты — копейные японские веера, открытки, подчасник турецкой туфелькой, на столе — карточка жалкой и некрасивой мешаночки... Но да сохранит Бог-Ревнитель и его счастье!

*Капри. 10 февраля. 1913*





## ИОАНН РЫДАЛЕЦ

Есть новая станция Грешное, есть старое степное село того же имени.

На станции останавливается в летние дни юго-восточный экспресс. На станции голо и скучно. Казенный кирпичный вокзал еще слишком красен. Платформу заменяет песок. Переходить по песку к вокзалу трудно, да и зачем? Вокзал пуст и гулок, нет еще в нем ни буфета, ни книжного киоска. А поезд великолепный. Из открытых окон тяжелых запыленных вагонов глядят богатые люди, едущие на Кавказ: знаменитый чудовищно толстый артист в шелковой серой шапочке, черная красивая дама с лорнетом, персиянин из Баку, не сводящий с нее сонных глаз, худой англичанин с трубочкой в зубах, молча и внимательно осматривающий эти необозримые равнины, которым не уступают только прерии... По доскам, вдоль поезда, медленно прогуливается широкий старичок генерал с маленькими ножками и делает рассеянный вид, втайне наслаждаясь одноко — и тем, что у дверей вокзала вытянулся перед ним жандарм, и тем, что вот едет он, генерал, в дорогом поезде на воды и гуляет с открытой головой, скромный, спокойный за свое достоинство и во всех отношениях порядочный. Возле пахнущего кухонным чадом вагона-ресторана, за зеркальными стеклами которого пестреют цветы на белоснежных столиках, стоят бритые лакеи во фраках с золотыми пуговицами, потный повар, поваренок, — все как будто те же самые, что видел англичанин и в Египте и на французской Ривьере. А громадный американский паровоз, весь горячий и блестящий маслом, сталью, медью, дрожит от клокочущей в нем силы, нетерпеливо сдерживая ее. Шумит рукав водокачки, наполняя глубокий тендер... И вот вода уже переливается через края, торопливо бьют в колокол у дверей вокзала, генерал, звеня серебряными шпорами, спешит в свой вагон...

Поезд скрывается в степи. Мужик, неизвестно зачем прихо-

дивший на станцию, долго стоял на песке и думал: «Вот уйдет машина, пойду и я помаленьку...» Глядел на мужика англичанин, дивясь его шапке, полушубку и первобытной густоте бороды, слинявшей на солнце. Глядел и мужик на англичанина, но рассеянно: селу нет никакого дела до поезда. Когда поезд скрывается, мужик, безо всякого желанья, с притворным наслаждением крикая, выпивает две кружки теплой воды из станционной бочки, вытирает рукой рот и бредет домой. Бредет он не спеша: время неопределенное, ни дневное, ни вечернее — в такую пору делать нечего, думать не хочется, да неопределенна и погода: зашло солнце за облачко — не жарко и в полушубке, хотя, конечно, можно было и не надевать его... Дорога от станции к селу пролегает по выгону, мимо большой княжеской усадьбы и каменной церкви, что напротив нее, на погосте. Поравнявшись с церковью, мужик снимает шапку и крестится, низко кланяясь: за оградой церкви, возле алтаря, рядом с могилой князя, ссорившегося с самим царем, почивает блаженный, Христа ради юродивый, Иоанн Рыдалец.

Княжеская усадьба, конечно, старая, давно всеми забытая: необитаем ее дом, черен и дик сад. Погост — голый, бугристый. Церковь по камню крашена темно-коричневой краской. В ограде ее немало рассеяно широких чугунных плит. А как раз возле окон алтаря высятся два огромных кирпичных гроба, тоже прикрытых плитами. И с великим удивлением прочтет всякий, не знающий преданий села Грешного, отлитые на этих плитах имена под ними покоящихся: на одной — имя князя и вельможи, а на другой — раба его, землянского крестьянина Ивана Емельянова Рябинина. Так и сказано: крестьянин такой-то, родившийся и умерший тогда-то, а ниже: Иоанн Рыдалец, Христа нашего ради юродивый. Князь, вельможа, только перед самой кончиной примирился с Богом и людьми. И, по княжескому желанию, ничто, кроме имени и начала покаянного псалма Давида, не украсило княжеской могильной плиты. Плита же юродивого, не выразившего никаких предсмертных желаний, украшена стихами и одним из любимейших плачей его: «Юрод, неряшен миру он казался» — говорит строфа, посвященная его памяти неизвестным поэтом. А под нею отлиты те горькие и страшные слова пророка Михея, с которыми и умер юродивый: «Буду рыдать и плакать, буду ходить, как ограбленный, буду выть, как шакалы, и вопить, как страусы!»

Те, что едут в экспрессе на воды, знают о князе — из книг. А в селе Грешном образ его смутен; село знает только то, что лет сто тому назад приехал он доживать свой век в грешинской глуши, что мал ростом и чудён был он, что странными поступ-

ками ознаменовал он свой приезд. Доложили ему рано утром в день Нового года, что пришел священник с причтом. «Позвать его в залу», — сказал князь — и долго заставил ждать себя. Выйдя же внезапно из боковой дверки, в эту высокую холодную залу, еще не бритый, в сафьяновых сапожках и халатике на заячьем меху, отрывисто спросил священника: «Зачем, сударь, пожаловал?» Священник оробел, смущенно ответил, что желал бы совершить служение. И князь, едко засмеявшись, будто бы сказал ему: «Так служи мне, сударь, в таком разе панихиду». — «Но осмелюсь спросить ваше сиятельство: по ком же?» — «А по старому году, сударь, по старому году!» — сказал князь — и сам подтягивал причту, не дерзнувшему послушаться... В этот-то день и отдано было первое приказание — дать полсотни розог Ивану, с плачем и лаем выскочившему из ельника на князя, на разметенную аллею, по которой гулял князь.

Те, что ездят мимо станции Грешное на богомолье, на поклон угоднику воронежскому, про угодника грешинского даже и не слышали никогда. В селе же Грешном вот что про него рассказывают. Рос, говорят, Ваня в семье честной и праведной, у родителей своих, высленных князем под Землянск-город. С ранних лет полюбил он Писание. Мать настаивает, отец кланяется: женись, сынок! А он плачет, рыдает, просит себе от Бога видения, на Афон сбирается. Вышло ему в видении испытание: послушаться отца. Встал он наравне, дал отцу полное согласие. Сыграли свадьбу, положили молодых в отхожую спальню, а они друг дружки не коснулись, вышли оба заплаканные. Сел Ваня опять за свое, за всякое священное письмо, а день хороший, морозный, за ночь снег выпал, виден следок везде: все к обедне пошли, пошла и молодая с новыми родными, только Ваня один дома, не пожелал и в церковь пойти. И видит в окно: подъезжает к окну попов работник в новых розвальнях, на вороном коню: лошадь отличная, поповская, хлебная. Подходит работник, стучит кнутовищем: «Ваня, велел тебе отец в церковь ехать, взять с собою лапти новые и денег двадцать копеек». Ваня говорит: «Да я не знаю, где деньги у отца». — «А за образами», — говорит попов работник. (По нашей местности всегда так — какую записочку, поминание — все туда кладут, а допрежь и деньги класть не боялись.) Нечего делать, достал Ваня деньги, надел армячок, вышел, сел в сани на клячки, поехал по селу, увидел на горе храм Божий: «Господи Иисусе...» И толпа указал — глядь, сидит он в сани, в поле, на снегу, не надел, не разул, разул, новые лапти на ногах, старые осметки на перевязке через плечо, а сам плачет-рыдает. Узнали о том на селе, наладили подводу за Ваней. хотят

на сборню везть, думали — бродяга какой, а он плачет, рыдает, на всех, как цепной кобель, кидается, сам кричит на все поле: «Буду, буду ходить, как ограбленный, буду вопить, как страусы!» Ну, конечно, навалились всем миром-собором, связали, повезли, а навстречу отец идет: пришел, говорит, от обедни, вижу, сына нету, а видать чей-то пеший след пробит за гумна, за овины; пошел я, говорит, по этому следу: вижу, лапти новые, а след от одной ноги до другой — более трех сажен...

Село Грешное этим и кончает житие святого. А смутно помнят его лишь старухи, доживающие свой долгий век в княжеской мертвой усадьбе. Всю жизнь свою, говорят они, Иван скитался и непристоен был. Он долго сидел на железной цепи в отцовской избе, грыз себе руки, грыз цепь, грыз всякого, кто к нему приближался, часто кричал свое любимое: «Дай мне удовольствие!» — и был нещадно бит и за ярость свою, и за непонятную просьбу. А сорвавшись однажды, пропал — и объявился странным, пошел по деревням, всюду с лаем и оскаленными зубами кидаясь на господ, на начальников и в слезах вопя: «Дай мне удовольствие!» Был он худой, жиленый, ходил в одной длинной рубахе из веретья, подпоясывался обрывком, за пазухой носил мышей, в руке — железный лом и ни летом, ни зимой не надевал ни шапки, ни обуви. Кровавоглазый, с пеной на губах, со включенными волосами, он гонялся за людьми, — и люди, крестьясь, бежали от него. Был он поражен какой-то болезнью, все лицо его покрывавшей белой известковой коркой и сделавшей еще ужаснее его алые глаза, был особенно яростен, когда пришел в Грешное, прослышав о приезде князя. Приказав отнять у него лом и при себе выпороть, — конюхи плакали, растягивая Рыдальца, с воплями кусавшего их, — князь сказал: «Вот тебе, Иван, и удовольствие. Я бы мог тебя в кандалы заковать и в тюрьме сгноить, да я, сударь, не злобен: гуляй себе, проповедуй, ори, токмо меня не ондируй. А ежели ты не уймешься, то я неуклончиво буду доставлять тебе то самое удовольствие, о коем ты кричишь, уподобляя себя страусу». И так как Иван не унялся, почитай каждую неделю пружестоко пугал князя, высакивая из-за углов и запуская в него мышами, то и таскали чуть не каждую неделю люто оравшего Рыдальца на конюшню...

В старом селе Грешном скоро забывают прошлое, быть скоро претворяют в легенду. Ивана Рыдальца запомнили надолго только потому, что на самого князя восставал он, а князь всех поразил своим предсмертным приказанием. Он, когда ему, больному и иссохшему, доложили о кончине Ивана, умершего в поле, в дождливую осень, твердо сказал: «Схороните же

сего безумца возле церкви, а меня, вельможу-князя, положите рядом с ним, с моим холопом». И стал Иван Рябинин Иоанном Рыдальцем, и видится он селу Грешному, точно в церкви написанный — полунагой и дикий, как святой, как пророк.

На станции Грешное каждый год, осенью, сходит с экспреса и направляется к церкви, сопровождаемая начальником станции, некрасивая, худая дама в трауре с красивым тонконогим корнетом под руку. У церковной ограды с поклонами встречает их полный священник в черной ризе и дьячок с кадилом. Над полями тянутся низкие тучи, дует сырой ветер. Но священник и дьячок стоят с обнаженными головами. А входя в церковную ограду, обнажают головы и корнет, и начальник станции, следующий позади всех и спокойным видом своим дающий понять, что идет он только ради вежливости. Сзади всех, спокойно и вежливо, стоит он и тогда, когда начинает развеваться по ветру пахучий кадильный дым над страшными кирпичными могилами и обходит их, кадя и поклонясь, возглашая вечную память князю и рабу его, священник. Корнет молится рассеянно. Он, юный, красиво наряженный, выставляет острое колено, крестится мелкими крестиками и склоняет маленькую головку с той не доведенной до конца почтительностью, с которой кланяются святым и прикладываются к ним люди, мало думающие о святых, но все-таки боящиеся испортить свою счастливую жизнь их немилостью. Но дама плачет. Она заранее поднимает вуаль, опускаясь на колени перед могилой Ивана Рябинина, — она знает, что сейчас навернутся на глаза ее слезы. «Юрод, неряшен миру он казался», — читает она на гробовой плите. И слова эти трогают ее. А страшные слова пророка Михея, упоминание шакала и страуса, внушают трепет и тоску. И она сладко плачет, стоя на коленях, опершись одной рукой, в перчатке, на тонкий зонтик, а другой — голубой, прозрачной, в кольцах — прижимая к глазам батистовый платочек.

*Катри. 18 февраля. 1913*





## ХУДАЯ ТРАВА

Худая трава из поля вон!

*Пословица*

### I

Аверкий слег, разговевшись на Петров день.

Молодые работники умылись с мылом, причесались, надели сапоги, новые ситцевые рубахи. Аверкий, чувствуя слабость, равнодушие, не сходил перед праздником ко двору, не сменил рубаху; что до остального наряда, то был он у него один — и в будни и в праздник. Молодые работники ели не в меру много и весь обед хохотали, говорили такое, что стряпуха с притворным негодованием отворачивалась, а порою даже отходила от стола, бросив мокрую ложку. Аверкий ел молча.

Он был уже в той поре, когда хорошие, смиренные мужики, много поработавшие, — а он-таки поработал, в одних батраках жил тридцатый год! — начинают плохо слушать, мало говорить и со всем, что им ни скажешь, соглашаться, думать же что-то иное, свое. Он был в тех мужицких годах, которых не определишь сразу. Он был высок и нескладен: очень худ, длиннорук, в кости вообще широк, но в плечах, на вид несильных, опущенных, узок. И с этой полевой нескладностью, с лаптями и полушубком, никогда не сходившим с плеч, странно сочеталось благообразие: небольшая, лысеющая со лба, в длинных, легких волосах голова, изможденное лицо с тонким, сухим носом, жидко-голубые глаза и узкая седеющая борода, не скрывающая сухой челюсти.

Все, над чем смеялись за обедом, казалось ему ненужным, несмешным. Но неприязни на его лице не было. Ел он неспешно, кладя ложку, с детства привыкнув совершать трапезу, как молитву, ибо эта трапеза всю жизнь была для него венцом трудового дня, среди вечных опасений за будущий день, хотя всю жизнь и говорил он привычное:

— Бог даст день, Бог даст пищу...

Мысли его туманились. Костлявые выступы скул, обтянутые тонкой серой кожей, розовели. Душа не принимала пищи. Но он ел пристально: и потому, что уж так полагается в праз-

дник, и потому, что еда могла, как думал он, помочь ему, и потому, что жалко было не есть: вот он заболел, с места, должно, сойдет, дома же не только сладких зарчей, а, может, и хлеба не будет.

Подали на деревянном круге круто посоленную жирную баранину. Аверкий вспомнил, как служил он когда-то зиму в городе. Подумав, он осторожно взял кусок своими тонкими пальцами и бледно усмехнулся.

— Люблю горчицу, а где я ее могу взять? — сказал он застенчиво, не глядя ни на кого.

От баранины стало нехорошо; но он досидел-таки до конца стола. Когда же работники, дохлебав до последней капли огромную чашку голубого молока и самодовольно икая, стали подниматься и закуривать, смешивая запах махорки с запахом еды и свежих ситников, Аверкий осторожно надел свою большую шапку, — в пеньковом дне ее всегда была иголка, обмотанная ниткой, — и вышел на порог сенец, постоял среди голодных собак, жадно смотревших ему в глаза, точно знавших, что его тошнит. Погода портилась. Стало сумрачно, похоже на будничное предвечернее время; мелкий дождь стрекотал по газете, валявшейся у крыльца барского дома; индюшки, опустив мокрые хвосты, усаживались на развалившейся ограде, а цыплята, которых сердито клевали они, лезли, прятались под их крылья... Сладкие харчи! Аверкий знал им цену. Последняя предсмертная тягота наступала для него, а все же крепко не хотелось ему терять их, когда брел он за избу.

## II

Воротился он бледный, с дрожащими ногами, и попросился у стряпухи на печку.

Она равнодушно спросила:

— Ай захворал?

— Служил тридцать лет, — в тон ей ответил Аверкий, влезая на нары, ставя лапоть в печурку и поднимаясь в тесное, жаркое пространство между печью и потолком, — служил тридцать лет с чистым лицом, а теперь шабаш, ослаб... Блоху не подкую, — поглутил он. — Износился, задыхаться стал, — еще тверже и даже с удовольствием сказал он, ложась.

И как только лег, получше пристроив голову в шапке на какую-то сломанную плетушку, тотчас стал задремывать и слышать свое глубокое, однообразно прерывающееся дыхание, ощущать его жар в губах. Он уже твердо решил, что

захворал без отлеку, что он — «оброчный кочет». Он давно перемогался. Больные собаки уходят со двора, ищут по межам, по лесным опушкам какую-то тонкую, лишь им ведомую траву и едят ее — тайком ищут себе помощи. Отдаляясь от дворни, Аверкий тоже искал — тайком покупал то водки, то соды... Теперь перемогаться уже не стало сил. Но все-таки надо было подумать: как быть с местом, сходить или нет? Если скоро умрешь, думать тут, конечно, нечего. Ну, а если не скоро?

Работники курили и хохотали. Слушая и думая, он стал видеть сны. Но из печальных и скучных воспоминаний складывались они. Вот он будто вышел из избы — надо ехать за хоботьем на гумно... А во двор входит и останавливается, увидя поднимающихся собак, странник: голова закутана женской шалью, на левой руке лукошко, в правой высокая палка, на худых ногах растоптанные лапти... «Если Бог подымет, пойду в Киев, в Задонск, в Оптину,— подумал Аверкий в дремоте.— Вот дело настоящее, чистое, легкое, а то не знаю, зачем и жил на свете...»

Но тут громко и дружно захохотали работники, надымившие всю избу. Аверкий очнулся. Стукнула дверь, кто-то вошел.

— Опять залил глаза! — сказала стряпуха, вытирая стол и не глядя на вошедшего.— Опять приперся... Дед, да ай у тебя стыда-то совсем нету? — спросила она, оборачиваясь.— Ну, чего пришел? Не надоел еще?

Но дед,— караульщик снятого мещанином сада, «старик плясун», как называл он сам себя для потехи, всегда хмельной, обтрепанный, всегда мучивший Аверкия своей неряшливостью, своей болтливостью, всей своей свободной, немужицкой жизнью,— дед не обратил на стряпуху внимания.

— Ребята, рассудите: мысленно ли? — понес он с неприятным отчаянием, разводя руками перед работниками.— Один как есть на этакий сад! Да я с него шести целковых не возьму! Приедет нынче, так и скажу: хомут да дуга, я тебе больше не слуга! Будя! Вон ребятишки уж зачали в завязь вникать, две яблоньки отрясли, а я что? Дули, говорит, береги главней всего... А что я один исделаю? Вишенья опять оборвали на валу — ну, и черт с ними! Я больной человек!

— Больной, а все хоть выжми! — сказала стряпуха.

— Полегче! — ответил старик, садясь на нары.— Ты-то помолчи. У меня вон моя старуха тебе в матери годится, а я ее, может, полгода не видал... да почесть и весь век не видал, не знаю, зачем и женился...

«Не хуже меня, такого-то»,— подумал Аверкий, закрыв глаза и уже не чувствуя к старику прежнего отвращения.

— А она небось мне не чужая,— продолжал тот с искренней горечью.— Я и ребятам вот говорю: что я могу? Сейчас отшел, а в салаше чуйка хозяйская, а она семь целковых! Да что ж делаешь? И увесут за милую душу! А господам я вишенья дозволяю рвать: можете! Господа, они и съедят-то два зернышка, это ведь наш брат мужик... Правду я говорю ай нет? — крикнул он, снова оживляясь.— И тебе, староста, завсегда дозволяю, ты тут, может, первый человек надо всеми! Только ты меня чем обидел: тесу на кровать не дал! Спасибо хоть барчук помогает: проплясал ему давеча маленько — ан на козушку и есть...

Аверкий стал опять забываться... Под вечер, в поле, шел он за возом. Моросило. Широко отворены были ворота на скотном дворе богатого степного мужика; бродил по двору и гоготал гусак, потерявший гусыню... «Богатому везде хорошо!» — с обидой и болью в голосе кричал где-то внизу старик. Аверкий кивал шапкой, соглашался, а сам думал свое: «Богатый, как бык рогатый,— в тесные ворота не пролезет...» И очнулся, чувствуя, что бредит. «Да, Бог не любит высоких мыслей... Да, старика жалко... Но дым и ненужный говор, чужие люди, чужая печка,— ах, какая тоска, бесприютность! Зверь и тот забивается умирать в свою собственную норь... Нет, конец, домой пора!»

### III

Он очнулся в сумерки. Ни работников, ни стряпухи в избе не было. На лавке возле окна сидела дурочка Анюта, скитавшаяся по господам, по мужикам. Она была толстая, стриженная. Она глядела в окно,— голова ее сзади была похожа на кувшин вниз горлом,— и плакала: стряпухин мальчишка не дал ей лечь уснуть — все по лавке скакал.

— А там индюшки замучили,— говорила она, плача, думая, что Аверкий спит, и жалуясь самой себе.— Легла отдохнуть в палисаднику — дождь, индюшки всю голову изодрали, а тут этот демоненок... Так-то, Анна Матвеевна! Так-то, матушка! Чужой кусок не сладок! А богатая была, умней барыни слыла!

Это она вспоминала то золотое время, когда было у нее целых тридцать шесть рублей. Она копила и хранила их долго как зеницу ока. Да выпросил, вымолил в долг мужик, у кото-

рого она стояла на квартире, поклялся на церковь, что отдаст, — и, конечно, не отдал, даже прямо сказал: так и знай, не отдам и не шатайся...

Аверкий открыл глаза. Было лучше, чем давеча, уже не мутилась голова. Он послушал дурочку и усмехнулся. Ах, Господи, из-за чего только волнуются, страдают люди! Этот старик, так растерянно жаловавшийся работникам... Эта плачущая от обиды на ребенка Анюта...

— А ты бы его за виски, — сказал он, усмехаясь.

— Ай ты проснулся? — спросила дурочка. И вдруг неприятно, неумеренно зарыдала. — Да ай я слажу с ним?

Когда она стала затихать, Аверкий негромко и ласково окликнул ее.

— Что тебе? — тупо отозвалась она.

— Сходи, матушка, к моей старухе, — сказал Аверкий. — Скажи, чтоб пришла за мной. Боюсь, ей и самой есть нечего, да ведь что ж исделаешь? Как-нибудь перебьемся. Я, видно, свое отслужил. Все дома-то лучше, пристойнее...

— Не с чужими же людьми сменить! — с горечью ответила дурочка. — Схожу, не бойся... А ты не обидишься на меня, что я тебе скажу?

— Нет...

— А может, испугаешься дюже?

— А что? — спросил он.

— Да так... Я тебе же добра желала. Пришла давеча, — говорят, ты захворал. Я и зашла к Пантюше погадать насчет тебя...

— Ну и что же?

— Тебе, батюшка, плохо вышло... Он набрал земли на сковородку, лег под святые и запел... А сам все берет землю со сковородки да на лицо себе посыпает... Берет и посыпает...

— А ты фамилию-то мою сказала? — спросил Аверкий.

— Та-то и беда, что сказала...

Аверкий помолчал.

— А ты все-таки к старухе-то сходи, — сказал он.

— Об этом ты не убивайся. Схожу.

Вынув из своего нищенского мешка крендель, дурочка стала есть, собирая с колен крошки.

— Хочешь кренделька? — спросила она.

— Нет, матушка, спасибо, что-й-то не хочется, — сказал Аверкий.

Вздыхнув, он повернулся на бок. Дурочка открыла окно, — стала доходить свежесть вечера. Тонкий, как волосок, серп месяца блестел над черной покатою равниной за рекой, в про-

зрачном небосклоне. Далеко на селе хорошо и протяжно пели девки старинную величальную песню: «При вечере, вечере, при ясной лучине...» Когда и с кем это было? Мягкий сумрак в лугу, над мелкой заводью, теплая, розовеющая от зари, дрожащая мелкой рябью, расходящаяся кругами вода, чья-то водовозка на берегу, слабо видный в сумраке девичий стан, босые ноги — и неумелые руки, с трудом поднимающие полный черпак... Шагом едет мимо малый в ночное, сладко дышит свежесть луга...

— Ай не узнала? — спрашивает он притворно небрежно.

— Дюже ты мне нужен узнавать! — отзывается нежный, грудной, неуверенно звонкий голос — и против воли звучит в нем ласка, радость нечаянной встречи.

— Ай помочь?

— Дюже ты мне нужен помогать...

Пересиливая себя, считая непристойным навязываться с разговором, он молча поднимается в гору, в росистое темное поле, глядит на звезды, слушает перепелов и деловито думает:

— Хороша, да бедна. Ишь сама воду возит...

Это было давно, в самом начале жизни... Неужели это она, та, что придет завтра, поведет его домой умирать? Она, она...

#### IV

Она пришла за ним на другой день. Она ласково и заботливо убрала своими темными руками его добришко, — армяк, онучи, линючую подпояску, — и повела его, бледного и слабо улыбающегося, домой:

— Пойдем, пойдем, батюшка. Будя, поработал. Весь свой век ждала тебя. А ты вон какой стал — совсем никуда. Износился. Да заветный перстенок и поношенный хорош...

И он все радовался первое время: вот он и дома, отслужился! Он не лег в избе, давно хотелось ему полежать на свободе, на покое, на чистом полевым воздухе. Лег он на своем гумнишке, в старенькой риге, густо заросшей кругом лебедью, лег в телеге без колес — и в открытые ворота день и ночь веял на него сырой ветер с огородов и гумен, несло ветром косой крупный дождь.

Все дела обсудили они со старухой, пожалели дочь, по нужде рано выданную в дальнее село, во двор зажиточный, но больной дурной болезнью, и порешили дать ей знать, чтоб приехала проведать отца.

Дочь, однако, не ехала — верно, не пускала погода.

Погода мучила. С утра светило солнце, парило над дымя-

щимися полями, над грязными дорогами, над хлебами, насыщенными водою, легшими на землю. С утра Аверкий, порою покидавший свою телегу и добредавший до избы, обещал старухе, что опогодится. Но к обедам опять заходили тучи, казавшиеся еще чернее от блеска солнца, меняли облака свои необыкновенные цвета и очертания, поднимался холодный ветер, и бежал по полям косой радужный дождь.

— Будут беды великие, — говорила соседка, бывшая дворовая. — Раньше и тучки не те были, все зайчики да кусточки, а теперь облако грубое пошло...

Но Аверкий, сидя в валенках и полушубке возле избы, только слабо улыбался: какое дело было ему теперь до будущих бед!

Соседи, двоившие пар, приезжали к обедам мокрые, усталые, жаловались, что на них армяки попрели, и тоже всё хотели уверить себя, что авось, Бог даст, разгуляется. Но после обедов темнело от туч, гнала буря ливень с градом. К вечеру стихало, солнце проглядывало; но на востоке громоздились розовые горы, а западный небосклон весь покрывался странной серебристой зыбью, похожей на утиный пух.

А ночи были туманные. Зеленоватые пушистые звезды, как большие светляки, глядели на Аверкия в ворота. Спал он мало, по ночам скучал. Но, вспоминая теперешнюю свою свободу от всех забот и горестей, благодарно крестился на небо.

Худел и слабел он не по дням, а по часам. Но, чувствуя, что смерть овладевает им без мук, без издевательства, часто говорил старухе:

— Ничего, ты не бойся, я удобно помру.

А старуха втихомолку надеялась, не давала веры его словам. Больше всего пугало ее его равнодушие. Но и равнодушие долго пыталась она истолковывать его слабостью, пока наконец не перешло оно меры.

В конце июля, когда кое-как стали убираться в полях и дожди перестали, пропала у нее телушка, которую с великими лишениями нажила она себе, которая ходила за ней, как собака. Старуха все поля, все соседние деревни обегала. В тоске, в тревоге, она расспрашивала каждого встречного, не видели ли рыжей телушки, и все не сдавалась, придумывала все новые места, куда надо идти на поиски. Как вдруг, в один сумрачный вечер, собаки притащили на деревню рыжую голову с маленькими рожками. У собак ее отняли и принесли старухе на крыльцо. Она растерялась и заплакала, как ребенок. И все долго стояли вокруг крыльца, не зная, что говорить, что делать. На всех эта страшная, в сухой крови и с рожками голова произвела

тяжелое впечатление. И только один Аверкий, который на говор прибрел из риги к избе, легонько рукой махнул.

— Уж чего там! — сказал он. — Смолоду не наживали, а теперь не к чему...

Все взглянули на него с удивлением и еще дружнее загалдели, что этого так оставить нельзя. Пастух сказал, что собаки рыли в лесу. Несмотря на сумерки, решили немедля ехать в лес. Сосед торопливо запряг лошадей в телегу, посадил в нее плачущую старуху, вскочил сам и поскакал, загремел по улице. Поскакали за ним верховые. В полях было темно, в лесу темно и тихо, уже пахло опавшими листьями. Лес слабо освещался с одной стороны красноватым светом всходящей луны. Приехали к караулке на поляне, возле дуба с засохшей верхушкой. Лесник ужинал и, увидя толпу, очень испугался. Потребовали у него фонарь, пошли за пастухом к тому месту, где рыли собаки, нашли зарытую в землю требуху, подняли гам и повезли лесника в деревню, к Аверкию.

Аверкий не спал, сидел в темной избе. Когда вздули огонь и стала изба наполняться народом, когда привели старосту с палевой бородой и наперебой стали кричать, обвиняя лесника, Аверкий неожиданно принял его сторону. Лесник в свое оправдание говорил только одно:

— Красть я не согласен. Мой родитель не крал, и я не согласен. Кабы я крал, у меня бы ничего не было, Бог бы не дал, а то у меня свое хозяйство есть.

Но Аверкий, со своим равнодушием к земным делам, вполне верил ему — и даже возвысил голос, настаивая, чтобы его отпустили, а не сажали в холодную. И удивленные, сбитые с толку соседи в конце концов покорились ему. Покорилась его голосу, его гробовому лицу и старуха.

На выздоровление его у нее не осталось с этой ночи никакой надежды.

## V

Дочь с мужем посулились приехать и приехали на престольный праздник, ко второму Спасу. Было решено, что зять свезет Аверкия в больницу, покажет доктору. Аверкий согласился — и на день, на два ожил.

На день, на два воротились к нему обычные человеческие чувства. С помощью старухи он с раннего утра умылся, причесался для гостей.

В обеды он лежал и прислушивался: не идут ли? Послыша-

лись шаги и голоса вдали. В раме ворот показался зять, за ним — дочь с девочкой, сзади старуха. Зять, высокий, с зеленоватыми волосами, с белыми ресницами, был подбрит и наряжен: новый картуз, новые сапоги, серая жилетка поверх новой желтой рубахи. Дочь, которую Аверкий всегда считал красавицей, и на этот раз удивила его своею красотой, скромностью, соединенной с достоинством, длинными опущенными ресницами, лиловым сарафаном и смуглостью маленьких рук. Она, женственная, милая, вела за руку белобрысую девочку в зеленом платье, которая с любопытством осматривала дыры в крыше риги и сосала деревянную катушку из-под ниток.

Подойдя, гости поклонились Аверкию, осторожно поцеловались с ним, подняли к нему не хотевшую целоваться, воротившую в сторону личико, девочку; Аверкий с нежностью заметил, что волосы у нее бело-золотистые, тверды и гладки, как трава после лета. Гости заговорили бодро, беспечно, — зять все старался шутить, — но не сводили с Аверкия глаз и, видимо, не знали, что говорить. Он это чувствовал, неловко улыбался и даже бодрился, а сам думал, сравнивая дочь со старухой: нет, моя душевнее была! И дочь была хороша и скромна, как мать в молодости, но у дочери было больше спокойствия, сдержанности. Дочь трогала его своею красотой, ресницами, блеском стеклянных капель в гребешке, а старуха — лаптями, дряблостью кожи, усталостью, искренностью. Их противоположность взволновала его, и опять почувствовал он на мгновение: сладка жизнь! Старуха не притворялась. Она вошла и стала, грустно глядя на него, как бы говоря: вот привела, хотя поглядеть на тебя — не хорош ты стал, батюшка, да что же сделаешь. А он и правда был страшен. Волосы его еще больше поредели, стали еще тоньше, они лезли, падали на широкий ворот рубахи, на ключицы, торчавшие под нею, как удила. По обеим сторонам ввалившихся висков торчали большие прозрачные уши. Глубоко западали глаза.

Гости обедали в избе. Ему прислали чашку зеленого кваса с салом, ломоть хлеба. Он приподнялся, взял чашку, низко склонился над нею, выгнул зубчатую от позвонков спину, перекрестился, зачерпнул дрожащей рукой ложку и проглотил торопливо, боясь, что не хватит сил поесть. И точно, не хватило. Он устал, задохнулся, лег на спину... И чашка так и осталась стоять на земле возле телеги. Квас запенился, подернулся солевой пленкой, в него нападало много мух. Аверкий отгонял их и рассматривал свою руку, голубые ногти. Дивила его ладонь: впалая, она была суха и блестела, будто натертая воском... И, подумав о больнице, он насмешливо улыбнулся.

Перед вечером прошел недолгий дождь. Со смехом, накрывшись подолами, гуртом прибежали с улицы девки, стали у ворот, не обращая внимания на Аверкия, ждали, пока перейдет дождь, видный в раме ворот на серой тучке. За воротами говорили, смеялись ребята, кто-то все начинал играть на сломанной, с западающими клапанами, гармонии. Подошел к воротам зять, слегка хмельной. Он выставил вперед правое колено, поставил на него свою большую, мягко и приятно рычащую гармонию. Он томно смотрел в одну точку, играя. А против него стояла и, слегка склонив голову, упорно смотрела на него солдатка, бледная женщина, с свежим, приятным ртом и серебристыми глазами в черных ресницах. Они звали друг друга взглядами, словами бесконечной «страдательной». И все долго, под редким дождем, следили за их любовными безмолвными переговорами. Потемнело в углах риги, темнело в воротах. Закрыв глаза, Аверкий слушал. Ему было хорошо.

Улица так и осталась возле риги до поздней ночи, расходясь постепенно. Поздно ночью небо расчистило, две большие звезды глядели в ригу. «Значит, так надо,— думал Аверкий,— значит, ему дочь моя не хороша, иную надо». Гармонья смолкла. Кто-то говорил за воротами дрожащим, охрипшим голосом, о чем-то упрасывая. Женщина отвечала протяжно, уклончиво, но сопротивление ее было слабое. Потом две тени на минуту заслонили звезды в раме ворот, прошли мимо, влево, к остаткам соломы...

«Ах, неладно,— подумал Аверкий.— А дочь небось любит его...» В душе зазвучала песня, нежная, любовная: «Я соскучилась, любезный, без тебя: вся постелюшка простыла без тебя, изголовьице заиндевело...» Он забылся и очнулся от громкого кашля. Зять, проводивши солдатку, смело воротился в ригу, сел на розвальни и, разуваясь, со стуком побросал сапоги наземь. Он зажег спичку, осветив петуха, ночевавшего на деревянном козле для резки.

Чтобы показать, что он не обижается, не вмешивается в чужие дела, Аверкий, усмехнувшись, сказал про петуха:

— Ишь, где квартиру себе нашел!

— А ты чего ж не спишь? — спросил зять.

— Я, почесть, никогда не сплю,— ответил Аверкий.

— Помираешь, значит,— раи нодушно сказал зять, лóжась.

— Худая трава из поля вон,— пошутил Аверкий.— А чую — конец. Чую — она. Ночью скачу, пуще всего как полу-

ночная звезда-зарница взойдет. Никакая! — сказал он безнадежно.— Стали уж колокольцы в глотке звенеть...

Зять стал засыпать, сумрачно похрапывая. И грусть, умиление одиночества нашли на Аверкия. Хотелось еще поговорить, сказать что-нибудь дружелюбное, приятное зятю. Он окликнул его:

— Спишь?

— Нет,— отозвался зять, очнувшись.— А что?

И забормотал строго:

— Будя буровить-то, людям спать не давать... Спи!

Аверкий смолк. Хотелось сказать: «Ах, хороша любовь на свете живет!» Он лежал, думал и затаивал дыхание, стараясь представить себя в могиле... Зять храпел, спал крепким сном поздней ночи. Слабое, мутное зарево долго было видно за воротами, за темными полями. Показался поздний полумесяц,— как отражение в затуманенном зеркале,— прошел низко и скрылся. Потемнело перед рассветом. Стал на всю ригу кричать петух. Стало в раме ворот серебриться небо, стал заниматься для живых новый день.

Зять проснулся, свежо и крепко зевнул, снова разбудив тонко дремавшего Аверкия. Утро настало веселое. Весело и молодод глядело в ворота голубое, по горизонту оранжевое небо. Холодная роса сверкала на траве. Зять, надевая сапоги, надувался и стучал ими в землю.

— Обузил хромой дьявол! — сказал он хрипло и бодро, разумея сапожника.

— Тесный сапог осеннее дело никуда,— ответил Аверкий.— Мука.

— Да это еще по чулку,— сказал зять.— А по портянке и совсем не вобьешь!

Старуха с дочерью нарядили Аверкия. На него надели ситцевую рубаху, давно слинявшую, но чистую, легкую, узкие серые брюки в полосках,— подарок с барского двора,— и кожаные бахилки; надели полушубок, большую шапку и под руки повели к телеге. Девочка гонялась по риге за петухом, все норовила поймать его за хвост. Поджимаясь, петух мелко убегал от нее, и Аверкий усмехался. После риги небо показалось ему бесконечно просторным, светлым и радостным, воздух в полях — упоительным. Дорога уже объяла. День был августовский — прохладный, блестящий, со стальными облаками. О больнице, о выздоровлении не хотелось и думать: и так было хорошо.

Прошел еще месяц. Жизнь еще больше отодвинулась от Аверкия за этот месяц. Черные катышечки в пахучем желтом порошке, конечно, не помогли,— только палили изжогой. Но он все-таки ел их — целых двадцать дней. Когда же проглотил последнюю и зачем-то спрятал круглый пузырек под подушку, вздохнул так облегченно, точно свалил с плеч последний тяжкий долг. А с людьми он мысленно уже простился: люди понемногу забывали о нем, заходили к нему все реже, а заходя, говорили то трогательное, то смешное, то грустное, но всегда неважное. Все время он чувствовал себя гостем, заезжим в какой-то край, где он жил когда-то и где теперь живут еще беднее и скучнее, чем жили прежде, при нем.

Воротился домой и заходил раза два солдат, побывавший в Порт-Артуре и в Японии,— на войне и в плену. И не рассказал ничего путного ни о войне, ни о плене, говорил то же, что говорили и все, побывавшие на войне и в чужих странах. На войне страшно, а потом ничего, и не думаешь, а в чужих странах все не по-людски: земли много, а ходить негде, везде горы, людей всяких — и не честь, а поговорить не с кем... Много рассказывал солдат о японках, но и их осуждал: «малы ростом и не завлекательны».

Заходила Анюта. С ней Аверкию было легко, она сидела долго, никуда не спешила, не говорила притворно: «Ну, я пойду, дельце есть...» Она была задушевна, проста, хотя и задевала Аверкия тем, что стала говорить с ним теперь, как с равным, как с дурачком, со своим братом, лишним человеком.

Заходил старик плясун, в полушубке и старой господской соломенной шляпе, приносил яблок, с неумеренной настойчивостью совал их под подушку Аверкию, с неумеренным оживлением болтал, внутренне радуясь своему постоянному хмелю, а жизнь свою то восхваляя, то ни в грош не ставя. Он дышал перегаром, говорил без умолку.

— Хм! — говорил он.— Мне тут, в селе, рай! Тут я маленько оправился, человеком стал. А то сослали меня прошлый год... Именьишко в поле, сад в поле — хоть бы тебе дворишко! Скука — избавь Бог! Не то, что у вас в селе: тут в поле выдешь, и то что-нибудь увидишь обязательно: либо где ребята в конопях, либо бабу примешь к сведению...

Хозяйственным людям было не до Аверкия: они веяли новое зерно и опять рассевали его. Раз эта мирная жизнь была нарушена тревогой, набатом, торопливо сзывавшим испуганное село к месту неожиданной беды, к омету на дальнем гумне,

внезапно охваченному среди жаркого полдня весело и торопливо разгоравшимся оранжевым пламенем. У Аверкия, всегда боявшегося пожаров, заколотилось сердце. Он, насколько мог, поспешно приподнялся и долго глядел в ворота, на голубое спокойное небо, по которому беспокойно и высоко неслись черные хлопья, «галки». Он жадно прислушивался к тому шуму и гаму в селе, который люди, бегущие на пожар, всегда зачем-то преднамеренно увеличивают. Он, по старой привычке, заразились было этим чувством, но скоро понял, что пожару он только обрадовался — обрадовался развлечению, тому, что прибегут к нему, потащат его из риги вон, понял и то, что пожар далеко и что ничего этого не будет — и опять почувствовал равнодушие, опять лег.

Раз зашел к нему дьячок в парусиновом подряснике: поси-дел, сперва пошутил над его болезнью, потом сказал:

— Да... «И возвратится персть в землю, яко же бе, и дух возвратится к Богу, иже даде его...» Этого, брат, не минуешь!

И Аверкий, которому очень понравились его слова, торопливо ответил:

— Избавь Бог! Как можно того миновать!

На мгновенье ему стало жутко от церковных слов дьячка, но, подумав, он еще тверже повторил:

— Нет, избавь, Господи,— не миновать-то! Я вон жалюсь иной раз, я, мол, кочет оброчный, как говорится, а разве не правда? И Бог оброку требует...

И, запутавшись в своих мыслях, прибавил некстати:

— Нет, как можно... А то бы столько греха развелось! Так-то, святые люди говорят, шла Божья Матерь от креста и плакала навзрыд... Все цветы от слез пожглись, посохли, один табак остался... За то-то вот и жгут его, курят...

После больницы он часто делал попытки вспомнить всю свою жизнь. Казалось, что необходимо привести в порядок все, что видел и чувствовал он на своем веку. И он пытался сделать это, и каждый раз напрасно, воспоминания его были ничтожны, бедны, однообразны. Вспоминались пустяки, безо всякого толку и все в картинах — неясных и отрывочных. Только начнешь вспоминать жизнь по порядку, с начала, с детства, как все сольется в один какой-нибудь день, в один какой-нибудь вечер, часто и не относящийся к детству и такой далекий, такой ненужный, что только рукой махнешь. С тоскою махнул рукой Аверкий и на все свои знания, на все свои способности умственные. «Ведь вот какое чудо! — думал он. — Жил, жил, а ничего не помню, ничего не понимаю...» Говорят, например, что родился он вот там-то и тогда-то. А что это значит — родился?

Не оказывалось даже понимания собственного рождения, не оказывалось даже в него ошутительной веры! Всегда и все говорили, что отцом его был вот тот-то, а матерью — вот та-то. Теперь он и этому не верил, и этого не понимал. Он всю жизнь считал родителей самыми близкими людьми; но, когда умер отец, он совершенно забыл его, точно так же, как и мать: не только жалеть перестал, а даже лица отцовского не мог ясно представить себе. Так сближался он на своем веку и с многими другими людьми. Но и их забыл — вот как сны, например, разве мало видел он снов, а попробуй-ка вспомни их!

Только далекие сумерки на реке, далекую встречу свою с той молодой, милой, которая равнодушно-жалостно смотрела на него теперь старческими глазами, ошутительно помнил он да ясно видел лицо дочери.

## VIII

И еще месяц прошел, и приблизилось время принести этот горький и сладкий оброк Богу.

Осень наступила рано. Замученный холодами, старой одеждой, пролежнями и сухими ранами на локтях, Аверкий только головой качал, разумея смерть:

— Ну и норовиста! Не докличешься!

Мир он по-прежнему видел только в ворота — видел только частицу огромной картины. Шли по горизонту за обнаженными лозинками все белевшие, все холодевшие облака. Умирая, высохли и погнили травы. Пусто и голо стало гумно. Стала видна сквозь лозинки мельница в бесприютном поле. Дождь порой сменялся снегом, ветер гудел в дырах риги зло и холодно. Аверкий тупо думал:

«Едет осень на пегой кобыле...»

А в черные, ледяные и мокрые ночи, когда только рама ворот мутным и неподвижным призраком стояла перед ним, свинцово глядела на него, ему было жутко. Перейти же в избу он не решался: знал, что задохнется в первую же ночь — и умрет мучительно.

Раз приснился ему такой сон. Очень холодно, низкие тучи вдали над зелеными, над желто-красной грядой леса за ними. Возле грязной дороги едет он сам — древний, длинноволосый, длинноногий, в длинном полушубке на иссохшем длинном теле — и поталкивает лаптем пегую кобыленку, глубоко вязнущую в сырой земле, комами выворачивающую зеленя. Нагнал его барский староста верхом, в седле, молча, злобно дал

ему в душу. Он, Аверкий, молча, легко съехал со спины кобылы вместе с армяком, на котором сидел, повалился на колени, снял тяжелую шапку с лысой головы, стал плакать, просить прощения, говорить, что он глух, стар, слаб, едет к дочери... Оскалив зубы, староста стал драть его кнутом по чем попало, — и от боли и от ужаса Аверкий проснулся весь в слезах. И до рассвета лежал, глядел на свинцовый призрак ворот, чувствовал, что замирает, бьется последним торопливым боем его истомленное сердце, и не понимал, — сон ли это был, или сама земная жизнь его, слившаяся в ту тоску, в то горе, с которым он во сне повалился перед старостой на колени. И, вытирая мокрое от слез лицо, засмеялся и твердо сказал себе:

— Нет! Пойду в избу! Задохнусь — туда и дорога...

А наутро и поневоле пришлось переходить. Внезапно пришла зима. И жизнь в Аверкии вспыхнула еще раз.

Ах, в зиме было давно знакомое, всегда радовавшее зимнее чувство! Первый снег, первая метель! Забелели поля, потонули в ней — забивайся на полгода в избу! В белых снежных полях, в метели — глушь, дичь, а в избе — уют, покой. Чисто выметут ухабистые земляные полы, выскребут, вымоют стол, тепло вытопят печь свежей соломой — хорошо!

И дочь приехала: «точно почуяло ее сердце», — подумал Аверкий, хотя и знал, что приехала она к подруге на стговор. Белой курой несло над деревней, убеляя ее, гнилую и темную. Белы были косогоры и берега реки — только сама река, еще не застывшая, чернела, и по ней еще плавали белые гуси. А в сенцах избы стояла дочь, веселая и красивая. Теперь ей совсем не жалко было отца, — ведь все равно ему не встать. Осенью умерла ее девочка — это снова сделало ее молодой и свободной. Старуха готовила на нарах постель Аверкию. И дочь ждала ее, чтобы идти за отцом, на розвальнях перетаскивать его в избу.

Приехав, она скинула шубку, скинула шаль с головы на плечи и стояла на пороге в сенцах. В раскрытую дверь несло серебристой пылью. Она стояла в голубом шерстяном платье, от которого хорошо, душисто пахло. На волосах ее блестели остинки снега. Соседский теленок лез в сенцы. Она несколько раз выгнала его, потом выскочила на порог. Ей казалось, что она опять живет дома, у батюшки с матушкой, девкой. Ее радовало, что она знает, чей это теленок и кому нужно крикнуть о нем.

— Мишка, родимец тебя расшиби! — крикнула она, выскакивая на порог и радуясь, что может, как своя, тутошняя, не обидно ругаться. — Я за твоим быком гоняться не стану!

В сенцы, грязя подсолнухи, вошла подруга, та, на чей стго-

вор она приехала, девка серьезная, с широкими черными бровями, тоже наряженная, в новом большом платке стального цвета с серебристыми листьями.

— Пойдем батюшку перевозить,— торопливо сказала ей дочь Аверкия.— Совсем помирает, за попом велел итить...

Аверкий, возбужденный и бессонной ночью, и первой метелью, и переходом в избу,— близкой смерти,— лежал в розвальнях и слушал, как холодно, по-зимнему шумит ветер, несущий белые хлопья, как шуршит сухой решетник, сквозь который дует он. Аверкий дрожал, ежился в своем истертом полушубке, накрытый для тепла пегими попонами, и все надвигал на лоснящийся лоб свою глубокую шапку. Лицо у него было ждущее, но глаза, большие, потемневшие, ничего не выражали. Он сам, своими силами, шатаясь и пьянея от слабости, перебрался из телеги на розвальни и с детским довольством думал: придут, чтобы перекладывать его,— ан у него уж все готово, только за оглобли берись... Вдруг раздался звонкий голос дочери:

— Батюшка! Жив?

Дочь, увидя его, внезапно заплакала: так велик и древен показался ей этот живой покойник, с остатками жидких волос, отросших до плеч, в шапке, ставшей от ветхости каким-то высоким шлыком, вроде скуфьи, и в длинном армяке цвета сухого ржаного хлеба поверх полушубка. Он поздоровался с ней чуть слышно. И, опустив глаза, она почти без помощи подружки потащила розвальни к избе. И по белоснежному покрову потянулись от риги до избы две черных полосы — траурный след полозьев, все лето стоявших на влажной земле.

## IX

На дворе сизели сумерки, но еще светло было, бело от снега. А изба уже наполнилась сумерками.

В сумерки, весь в снегу, нагибаясь на пороге низкой двери, вошел в избу священник.

— Где он тут у вас? — бодро крикнул он, и голос его раздался, как голос самой смерти.

В тихом страхе встала с лавки старуха. (Дочь, не думая, что конец отца так близок, ушла на стовор.) Упираясь дрожащими руками, приподнялся и сам Аверкий и замер в ожидании, как вставший из гроба. В темноте мертвенно-бледно синело его ужасное лицо. Взглянув на него, священник понизил голос и быстро, с испугом, таким тоном, точно вошел в избу еще

кто-то, тот, для кого все это и делалось,— сам Бог как будто,— сказал:

— Шапку-то, шапку-то снимите!

Аверкий стащил ее, положил на колени...

Потом затеплилась желтым огоньком восковая свеча. Исповедовавшись, причастившись, Аверкий чуть слышно спросил:

— Батюшка! Ну, как по-вашему,— вы это дело хорошо знаете,— есть уж она во мне?

И священник ответил ему громко и поспешно, почти грубо:

— Есть, есть. Пора, собирайся!

Не глядя на старуху, он поймал ее руку, в которой уж давно отпотел приготовленный двугривенный, и поспешно шагнул за порог. Старуха, перекрестившись, подошла к нарам и стала, подпирая рукой подбородок, наглядываясь в последний раз на того, кого она так мало видела при жизни... «Пора, пора!» — крикнул на него священник. И он покорно лег на спину, зажав свечу в костлявых пальцах. Сердце его млело, таяло — он плыл в тумане, в предсмертной зыби. Желтый дрожащий свет скользил по его пепельным губам, сквозившим в редких усах, по блестящему острому носу, по большим лиловым яблокам закрытых глаз. Чувствуя чью-то близость, он сделал над собой усилие — хотел что-то сказать и приоткрыл глаза. Но только дрогнуло его лицо. Может, его пугал и беспокоил этот свет, эта черная дрожащая тьма, напоминающая церковь? И старуха, думая, что до конца еще далеко, тихо вынула свечу из рук Аверкия и, дунув на нее, села возле него.

И в тишине, в темноте Аверкию стало легче. Представился ему летний день, летний вечер в зеленых полях, косогор за селом и на нем — его могила... Кто это так звонко и так жутко кричит, причитает над нею?

— Родимый ты мой батюшка, что ж ты себе сдумал, что ты над нами сделал? Кто ж будет нами печалиться, кто будет заботиться? Родимый ты мой батюшка, я шла мимо вашего двора: никто меня не встретил, никто не приветил! Я, бывало, батюшка, иду мимо вас — ты меня встречаешь, ты меня причаешь! Уж ты грянь, громушек, просветися, молонья, расступися, мать сыра земля! Уж вы дуньте, ветры буйные,— вы раздуйте золотую гробную парчу, распахните мово батюшку!

«Ах, это дочь!» — подумал Аверкий с радостью, с нежностью, с затрепетавшей в груди сладкой надеждой на что-то...

Умер он в тихой, темной избе, за окошечком которой смутно белел первый снег, так неслышно, что старуха и не заметила.



## ПЫЛЬ

Высокие запыленные тополя шумели от знойного ветра возле большого белого вокзала. В тяжелых вагонах длинного почтового поезда, поравнявшегося с навесом, потемнело и стало тесно, все поднялись с мест, разбирая вещи. Ворвались в вагон рослые мужики в белых фартуках. Хрущов отдал одному из них чемодан и приказал взять билет на курьерский поезд, отходящий в двенадцать с половиной.

Все по эту сторону вокзала было знакомое, московское. Но по ту — совсем другое, забытое: глубокая провинция, край просторный, хлебный, богатый и скучный. Пыльное солнце пекло ухабистую площадь. Несколько запыленных извозчиков стояло вдали. Серый от пыли вагон трамвая ждал чего-то. И Хрущов вспомнил Восток, Турцию...

Мещанин, в рыжей, выгоревшей чуйке, в картузе, надвинутом на уши, в истертых, с пылью в складках, сапогах, грыз на площадке вагона подсолнухи. Грыз и кондуктор, поводя голубыми хмельными глазами. Неожиданно для всех и рассеянно он дернул за темный ремень, и впереди шелкнуло. Вагон покатился вниз, завернул к трактиру в угловом домишке, тоже как будто турецком, — ветхом, деревянном, и навстречу целой тучи пыли понесся под изволок — по широкой и бесконечной улице с горбатой шоссейной дорогой посредине и мещанскими хижинами по сторонам.

Тусклое солнце жарко светило сквозь тусклое стекло. Хижины мелькали все нищие, с высокими и гнилыми, почерневшими тесовыми крышами. Навоз сушился перед ними. Над воротами торчали шесты с желто-седыми пучками ковыля. Хрущов с радостью почувствовал, что всю жизнь будет любить все это. Но далеко впереди виднелись каменные триумфальные ворота. За ними начинался город чиновничий и купеческий, весь белый, каменный. Хрущов вспомнил себя юношей, коректором губернских ведомостей, вспомнил холеру, запах хло-

ристой извести на вокзале, серебристое от пыли и зноя небо за его белым фасадом...

Остановились в центре города. Тут на площади, перед думой, биржей и старыми колониальными магазинами, надо было ждать пересадки: Хрущову хотелось побывать на окраинах, на Пушкирной улице, где он жил когда-то у сапожника Мухина. Хрущов прошел по каменистому тротуару мимо пекарни Чаева, мимо столетнего винного магазина братьев Шафоростовых, мимо подъезда гостиницы «Париж», в красных, помпейских сенях которой круто поднималась лестница, покрытая истоптанным половиком. Запах пекарни был скучен. Запах лимонов, бакалеи из прохладного, полутемного магазина с политыми полами снова пробудил молодые чувства — еще тех дней, когда Хрущов ездил с отцом в город на лошадях, и отец покупал у Шафоростовых карты, мелки, стеариновые свечи и херес, — темные бутылки, оплетенные тонкой проволокой. Мимо шли как будто все те же черные салопы со стекларусом, все те же лоснящиеся на солнце купеческие сюртуки, и заунывно, по-восточному, кричали все те же квасники в красных рубахах, что кричали двадцать пять лет тому назад. Выбритый, рыжеусый, краснолицый городской, стоя среди площади, оправлял нитяные перчатки на толстых руках.

Пришел вагон с Карачевской. Он направлялся как раз на те пустынные улицы, куда двадцать пять лет тому назад Хрущов попал из-под родительского обнищавшего крова, из деревни. Опять неожиданно шелкнул звонком кондуктор. Опять стало припекать спину сквозь тусклые стекла, и понеслась навстречу пыль... Жил Хрущов на Пушкирной улице среди чужой, грязной семьи. Застенчивый барчук, как не шел он к ней! Но как, значит, счастлив он был своей молодостью, если и теперь еще запах сапожного товара, герани и гнили мещанского угла волнует его, если от его хождения в казенную типографию остались в памяти только ранние солнечные утра и свежесть городского сада, мимо которого проходил он, перейдя по деревянным лавам мелкую речку и поднявшись на гору!

«Пушкирная!» — крикнул кондуктор. Вагон остановился на половине широкой немощеной улицы: здесь путь обрывался, рыжие рельсы упирались в песок, поросший кое-где муравой. Вагоновожатый стал переводить железный лук, соединяющий вагон с проволокой, убегающей от столба к столбу назад, в город... Тишина и жаркий, ослепительный свет. По правому тротуару, по каменистым колчам, Хрущов долго шел мимо всяческих мещанских домишек — и серых, и голубых, и белых, но одинаково нищих. Он внимательно глядел на них,

читал надписи на дощечках над калитками... Чуть не вся улица принадлежала женщинам: редко-редко где владелец, а то все владелицы,— странная черта русского захолустья! Он расспрашивал встречных старух, далеко ли до дома Мухина,— они не знали и робели, отвечая. Ладный, коротконогий, чем-то довольный солдат, шедший навстречу, отирал рукавом губы от мокрой шелухи подсолнухов. Хрущов хотел спросить и его, где дом Мухина,— и не мог. Усталость он чувствовал смертельную.

Лицо его горело под тенью соломенной шляпы, в голове мутилось от жары. Он опять остановился. Хижину Мухина трудно было найти, слишком она была похожа на другие. Он стал искать глазами тот дом, что когда-то белел напротив Мухина, далеко выделялся среди этой бедной улицы своей железной крышей и садом за забором. Но и этого дома не было. А улица точно на край света шла. И вдруг вся эта затея — шататься в жару, ломать ноги по песку и камням, вызывать удивленные взгляды встречных своей легкой одеждой и шляпой — показалась глупой и бесцельной. Навстречу медленно ехал извозчик, молодой парень на ободранной пролетке, на кляче с кривыми, опухшими ногами. Хрущов крикнул, замахал шляпой, испугавшись, что он скроется куда-нибудь в переулок.

«На вокзал да поскорее!» — сказал он, садясь. И кляча понесла его с такой неожиданной прытью, что он не чаял живым остаться, ныряя по тем пустырям и буеракам, которые избрал извозчик для сокращения пути на вокзал.

Курьерский поезд подходил. Хрущов торопливо соскочил с пролетки. Радость оживила его. Он прошел пахнущий самоваром вокзал и через минуту уже сидел в купе международного вагона. Как легко и плавно тронулся поезд! Какая чистота в этой маленькой каютке, сияющей зеркалами, медью, красным лакированным деревом и темно-зеленым рытым бархатом дивана!

Вагон уже мотало. Приноравливаясь к его качке, Хрущов снял шляпу, поглядел в зеркало на свое бледное лицо, сел... Полуденное солнце, светившее за большим пыльным стеклом, горячей полосой ходило по дивану. Хрущов протер стекло; раскачиваясь от бега ревушего на станционных путях поезда, он долго разглядывал огромную измененность, в тусклом блеске которой туманно лежал город. Потом наполовину спустил кожаную занавеску,— и сердце его сжала тоска, тоска как бы последней разлуки с этим уходящим из глаз городом и с бледными воспоминаниями молодости.

В дверь осторожно постучали: лакей с карточкой завтрака заглянул в купе.

— Прекрасно, оставьте мне место,— сказал Хрущов с той приятной легкостью, с которой, верно, говорит на своем языке иностранец, переехавший границу своей страны после России. Сейчас будет сидеть за столиком с букетом цветов, за бутылкой вина, и что впереди — серо-сиреневые горы, белый город в кипарисах, нарядные люди, зеленые морские волны, длинными складками идущие на гравий, их летний, атласный шум, тяжесть, блеск и кипень... Лакей деликатно притворил дверь. Хрущов лег на диван,— и мысли его опять возвратились к молодости, к началу его бездомной жизни, к этому большому мертвому городу, вечно заносимому пылью, подобно оазисам среднеазиатских пустынь, подобно египетским каналам, засыпаемым песками...

«Пыль, пыль, пыль! — думал он с какой-то едкой и сладкой тоской, глядя на тончайшую сухую мглу, наполнявшую его жаркое купе.— Азия, Азия!»

Вагон мотало...

*Катри. 23 февраля. 1913*



перепечатывайте  
Это ~~вещь~~ по тому  
тексту, что в издании  
ЛИРНИКЪ РОДИОНЪ „Изгатель-  
ства шме-

Сказывалъ и пѣлъ этотъ стихъ о сиротѣ лирникѣ  
Родионѣ, молодой нищій, рябой слѣпецъ, безъ поводы-  
ря странствовавшій куда Богъ на душу положить: отъ  
Гадяча на Сулу, отъ Лубенъ на Умань, отъ Хортицы  
къ гирлаамъ, къ лиманамъ. Сказывалъ и пѣлъ въ Хер-  
сонскихъ плавняхъ, въ низовьяхъ Днѣпра, въ теплый и  
темный весенній вечеръ.

Изъ конца въ конецъ Днѣпровья странствовалъ и я  
въ ту весну. Въ Полтавщинѣ она была прохладная, съ  
звонкими вѣтрами «суховіями», съ изумрудомъ ози-  
мей, съ голыми метлами хуторскихъ тополей, далеко  
видныхъ среди равнинъ, гдѣ, какъ въ морѣ, были ма-  
лы и терялись люди, пахавшіе на волахъ подъ яровое.  
А на югѣ тополя уже одѣлись, зеленѣли и церковно  
благоухали. Розовымъ цвѣтомъ цвѣли сады, праздни-  
чно бѣлѣли большія старинныя села, и еще праздновали.  
наряжались молодыя казачки: еще недавно смолкъ пас-  
хальный звонъ, подъ вѣтряками и плетнями еще валя-  
лась скорлупа крашенныхъ яицъ. Въ гирлахъ-же было  
совсѣмъ лѣто, много стрекозъ вилось надъ очеретомъ,  
много скигало рыбалокъ, отражавшихся въ серебри-  
стыхъ разливахъ рѣки.

ни  
Телова  
Но по  
сферы  
арфо-  
гра-  
фич.



## ЛИРНИК РОДИОН

Сказывал и пел этот «Стих о сироте» молодой лирник Родион, рябой слепец, без поводыря странствовавший куда Бог на душу положит: от Гадяча на Сулу, от Лубен на Умань, от Хортицы к гирлам, к лиманам. Сказывал и пел на пароходике «Олег» в Херсонских плавнях, в низовьях Днепра, в теплый и темный весенний вечер.

Из конца в конец Днепровья странствовал и я в ту весну. В Полтавщине она была прохладная, с звонкими ветрами «суховіями», с изумрудом озимей, с голыми метлами хуторских тополей, далеко видных среди равнин, где, как в море, были малы и терялись люди, пахавшие на волах под яровое. А на юге тополя уже оделись, зеленели и церковно благоухали. Розовым цветом цвели сады, празднично белели большие старинные села, и еще праздновали, наряжались молодые казачки: еще недавно смолк пасхальный звон, под ветряками и плетнями еще валялась скорлупа крашенных яиц. В гирлах же было совсем лето, много стрекоз вилось над очеретом, много скиглило рыбалок, отражавшихся в серебристых разливах реки.

На юг, в Никополь и дальше плыл я на этом «Олеге», очень грязном и ветхом; весь дрожа, все время дымя и поспешно шумя колесами, медленно тянулся он среди необозримых камышовых зарослей и полноводных затонов. В первом классе «Олега» никого не было, кроме какой-то девицы, знакомой капитана, державшейся особняком. Во втором было несколько евреев, с утра до ночи игравших в карты, да какой-то давно не бритый, нищий актер. А на нижней палубе набилось душ полтора хохлушек, плывших куда-то на весенние заработки. Днем у них было шумно, тесно, жарко; днем они ели, пили, ссорились, спали. Вечерами долго сумерничали, разговоры вели мирные, задумчивые, вполголоса пели.

Этот вечер был особенно прекрасен, особенно располагал к тому.



По палубе бродила, останавливалась и притворялась залюбовавшейся облаками на закате знакомая капитана. Она накинула на голову зеленый газ, тонкий, как паутина, обвила его концы вокруг шеи, и сумеречный ветерок чуть играл ими. Она была в прозрачной кофточке, высока и так хрупка станом, что казалось, вот-вот он переломится. Одной рукой она придерживала газ, другой — юбку, обтягивая ею ноги. А за нею все время следил актер.

Актер боком прислонился к спинке скамьи и закинул ногу на ногу, как бы показывая, что он ничуть не стесняется своими ужасными ботинками. Он поднял воротник клетчатого пальто с широким хлястиком на поясище, надвинул на лоб широкополую шляпу и, шевеля тросточкой, поводил глазами.

Девица гуляла, останавливалась, будто и не замечала его. Но взгляды из-под широкополой шляпы делались все пристальнее. Внезапно, вздрогнув, как бы от вечерней свежести, она вскинула брови, подхватила юбку и, будто беззаботно, побежала по трапу вниз. И, прикрыв глаза, актер притворился дремлющим. За мягкой чернотой правобережья, его ветряков и косогоров, слившихся с затонами, с густыми камышами, медленно блекли в чем-то сумрачно-алом слабые очертания мутно-синих облаков. В вышине проступали мелкие, бледные звезды. «Олег», дымя, дрожал и однообразно шумел колесами... И вот, вполслуха, стройным хором, запели хохлушки, выпавшие за день.

Я в те годы был влюблен в Малороссию, в ее села и степи, жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его. Пел он чаще всего меланхолически, как и подобает сыну степей; пел на церковный лад, как и должен петь тот, чье рожденье, труд, любовь, семья, старость и смерть как бы служение; пел то гордо и строго, то с глубокой нежностью. С ярмарки на ярмарку, в передвижениях гуртами на работы часто сопровождали его бандуристы и лирники, наводившие мужчин на воспоминания о былой вольности, о казацких походах, а женщин на певучие думы о разлуках с сыновьями, с мужьями, с любимыми. Бог благословил меня счастьем видеть и слышать многих из этих странников, вся жизнь которых была мечтой и песней, душе которых были еще близки и дни Богдана, и дни Сечи, и даже те дни, за которыми уже проступает сказочная, древнеславянская синь Карпатских высот. Родион, случайно пристравший к женщинам и плывший вместе с ними, был молод и безвестен. Он говорил, что даже не считает себя певцом, лирником. Но певец он был поистине удивительный.

Если он еще жив, Бог, верно, дал ему старость счастливую и отрадную за ту радость, что давал он людям.

Слепые — народ сложный, тяжелый. Родион не похож был на слепца. Простой, открытый, легкий, он совмещал в себе все: строгость и нежность, горячую веру и отсутствие показной набожности, серьезность и беззаботность. Он пел и «псалмы», и «думы», и любовное, и «про Хому», и про Почаевскую Божью Матерь, — и легкость, с которой он менялся, была очаровательна: он принадлежал к тем редким людям, все существо коих — вкус, чуткость, мера. Голова у него была небольшая, темные волосы, ровно подрубленные в кружок, закрывали челкой лоб. Сухое, рябое лицо с закрытыми и глубоко запавшими маленькими веками без ресниц обычно ничего не выражало. Но лишь только он открывал рот, чтобы петь и играть, оно преображалось: одними движениями бровей и улыбками, озарявшими его лицо на множество ладов, он выражал тончайшие и разнообразнейшие чувства и мысли. Ростом он был невелик, плечи имел узкие, покатые и худощавые, пальцы тонкие и цепкие. Носил короткую сермяжную свитку, огромные сапоги. И чудесно, по-славянски краснела ленточка, которой завязывал он ворот своей сорочки из сурового холста.

В этот сумеречный и теплый вечер женщины начали со старинной казацкой песни о сыне и матери, ласково и безнадежно уговаривавшей его не губить своей молодости ради одной пьяной удали. Кончив ее протяжные, спокойные и грустные укоры, — «ой ты, сыну, мій сын, ты, дытына моя!» — долго не запевали другой; запели было в три голоса какую-то визгливую, мещанскую и тотчас бросили. Родион вполголоса занял первую строку песни еще более старинной, чем о матери и сыне, — «край Дунаю трава шумить» — и вдруг окликнул кого-то какой-то прибауткой, и вокруг него радостно прыснули, покатались со смеху.

И долго только шутки, тихий говор слышались в дремоте теплой вечерней тьмы, среди ровного, уже ночного шума колес. Кое-где по смутно чернеющим берегам шли поздние огоньки. Впереди, на чуть видном затоне, между двух черных стен камыша, ночной рыбак лучил рыбу: спокойное отражение его огня в воде было похоже на зажженную длинную восковую свечу. Кто-то заговорил о Киеве. Может быть, глядя именно на это отражение, заговорили о Софиевском соборе, о Михайловском, — многие впервые побывали на этом пути в Киеве — и стали с умилением дивиться их красоте и ужасаться картинам Страшного суда, которыми славятся многие киевские церкви.

Несамона про српству:

Српствама негути негути српствама рудити:

По негути негути, негути негути.

Негути српствама рудити - рудити не-са-негути,

и негути негути - српствама негути.

Негути српствама рудити - рудити негути негути

и негути негути - српствама негути.

Онегути негути негути, негути негути негути

негути негути негути негути негути негути...

Негути негути српствама негути негути негути,

негути негути српствама негути негути негути.

негути негути српствама негути негути негути

негути, негути негути негути негути негути

негути, негути српствама негути негути негути,

негути негути, негути негути негути.

Магути негути негути негути, негути негути негути

негути негути, српствама? негути негути негути.

негути, негути негути негути, негути негути негути,

негути негути негути негути негути негути негути.

To fban ncfmada ne tncokm-rcopa  
~~Mada~~ caotmbae gnamfcauy regota.  
bn, nmanla c. ne fca ygabm-namcafa  
na ne obybeten je zpoly pujan nctm  
obufhalas lntowd) nca pudnas nctm  
ma n' cftm in cftm, cctbcam nctm:  
bn dfo zupko, nctm na nctm zpoly  
dca, ye s, n. nctm n' nctm ad colu.  
Kactm nctm fcaula, nctm bnc n' ne bctm  
Cactm nctm oca bnc n' na cbaft ne nctm.  
bn, nctm fcaula bctm nctm nctm  
bn, nctm fcaula - bctm fcaula ad colu bctm  
Kctm nctm fcaula, c. na nctm, na nctm  
Mctm nctm bctm T. nctm cctm fcaula nctm  
Mctm - bn fca, c. nctm nctm nctm  
nctm nctm nctm, nctm nctm.  
- nctm in nctm, nctm in nctm  
nctm nctm nctm nctm nctm.  
n. - bn fca, c. nctm nctm  
n. bn nctm, nctm nctm  
nctm nctm.  
nctm nctm nctm nctm.



Тогда, как бы продолжая их мерную речь, медленно и певуче заныла, заскрежетала и зажужжала старая лира Родиона.

Он как бы тоже перебирал в своей памяти картины соборов, проходов под златоверхими колокольнями, темных и тесных полуподземных приделов. И, дойдя до картин судных, усилил тон: лира его зажужжала и запела смелее, тверже. Послышались вздохи, слабые восклицания нежности и грусти. И он еще усилил — и сквозь восточную степную меланхолию мотива ясно проступило подобие органного хорала. Он почувствовал, понял, что именно должен спеть он для своих слушательниц, и стал им, матерям и невестам, сказывать нечто самое близкое женскому сердцу, — о сироте и о мачехе, — мешая органные угрозы и назидания с песней, с мягкими славянскими укорами.

— Ой, зашуміли луги ще й быстрій ріці, — вздохнул и строго сказал он, возвысив голос и заглушив лиру.

И пояснил, снова уступая место ее звенящему жужжанию:

— Померла матинка, zostалися діти...

Потом он просто и серьезно стал напоминать женскому сердцу, — сердцу и беспощадному и жалостливому, — какова она, эта сиротская доля. Отец, сказал он, тот утешится:

— Отец жону знайде, буде в парі жити...

А сиротам никто не заменит родной матери:

— Нещасні сиріткі — ті підуть служити...

Но не спасет их, сказал он, никакая служба, никакая самая старательная работа:

— Що сирота робить — робота ні за що, а люди говорять: сирота ледащо!

Одним тоном слов и лиры он дал трогательный образ всем чужого, всем покорного ребенка, стриженной, босой, в грязной сорочке и старенькой плахте девочки. Она долго опускала заплаканные глазки, долго надеялась терпением и непосильным трудом снискать милость мачехи — но напрасно: даже родной отец, раб этой безжалостной, хозяйственной женщины, избегал глядеть на свою сироту, боялся хотя бы словом вступить за нее. А уж если родному отцу в тягость собственное дитя, то где же правда, где справедливость, где сострадание? Их надо искать по свету, по миру, паче же всего где-то там, куда скрылась мать, единственный нескудеющий источник нежности. — И, опять со вздоха возвышая свой грудной голос, опять усиливая звенящий тон лиры, Родион продолжал:

— Ой пішла сирітка темними лугами, — вмивається сирітка дрібними сльозами. Не могла сирітка мачусі вгодити, — ой, пішла сирітка по світу блудіти: по світу блукати, матінки шукати...

Сын народа, не отделяющего земли от неба, он просто и кратко рассказал о страшной встрече ее «в темных лугах», в светлые пасхальные дни, с самим воскресшим Господом:

— Тай зустрів ї Христос, став ї питати: «Куди йдешь, сірїтка?» — «Матери шукати». — «Ой, не йди, сірїтка, бо далеко зайдешь, вже ж своєю матінки й по вік не знайдешь: бо твоя матінка на високій горі, тіло спочиває у смутному гробі...»

С великою ніжністю, но все так же просто передал он горькую «розмову» сироты с матерью, — точнее говоря, с «Янголем» (ангелом), отзывавшимся из могилы за усопшую:

— Ой, пішла сірїтка на той гроб ридати: чи не обізветься в гробу рідна мати? Обізвався Янголь, як рідная мати, та й став ї стихо, словесно питати:

— Хто це гірко плаче  
На мойому гробі?  
— Ох, це я, матінко:  
Прийми мене к собі!  
— Насипано землі,  
Що вже ж я не встану,  
Сліпилися очі,  
Вже й на світ не гляну!  
Ох, як тяжко, важко  
Каміння глодати:  
А ще тяжче, важче  
Тебе к собі взяти!  
Нема тут, сірїтка,  
Ні їсти, ні піти,  
Тільки велів Господь  
В сирій землі гніти!  
Пішла б ти, сірїтка,  
Мачусі б просила:  
Може б змілувалась —  
Сорочку пошила...

И с непередаваемой трогательностью ответил ребенок Ангелу-матери:

— Я ж ї просила, я ж ї годила. А злая мачуха сорочки не шила!

Как все истинные художники, Родион сердцем знал, когда надо сказать, когда помолчать. Сказав последние слова, он смолк, опустил незрячие очи, наслаждаясь горькими и счастливыми вздохами своих слушательниц. А насладившись, вдруг грозно и радостно возвысил голос и развернул уже иные картины — картины Христова суда, его возмездия:

— Посилаєз Христос-Бог Янголів от Себе,— сказав он торжественно, чистым и звонким голосом.— Візьміть ту сірїтку до ясного неба, посадїть сірїтку у світлому рау, у Господа Бога, у честі і славі!

И со скрежетом и звоном лиры далеко разлил свой зазвевший от радостного гнева плач:

Посилаз Бог з пекла  
По злую мачуху,  
По злую мачуху  
І по і духу:  
Підніміть мачуху  
У гору високо,  
Закіньте мачуху  
У пекло глибоко!

Кончив, он опять помолчал и твердо сказал обычным голосом, без лиры:

— Слушайте ж, люди: хто сироти мае, нехай доглядае, на путь наставляе.

И сказав, уже не нарушил молчания ни единым добавлением. Только долго покрывал сказанное однообразным нытьем, ропотом лиры, как бы смягчая силу впечатления.

Актер спал, прислонясь к скамейке. Выходила большая теплая луна, видно было его лицо, грустное во сне. Тускло золотились под луной дальние чащи черных камышей. Широкий золотой столб погружался в зеркальную глубину между ними, и жабы, чувствуя лунный свет, начали сладострастно, изнемогая, стонать в них, похохатывать. Следуя изгибам затонов, «Олег» все поворачивал; и тянуло то теплом, то сыростью, гнилью — весною, плавнями. Только крупные, лучистые звезды остались в небе, и дым из трубы поднимался прямее, выше...

А записывал я стих про сироту в Никополе, в жаркий полдень, среди многолюдного базара, среди телег и волов, запаха их помета и сена, сидя вместе с Родионом прямо на земле. Диктовал Родион ласково и снисходительно, повторяя одно и то же по несколько раз, и порою останавливался, сдерживая легкую досаду, когда я ошибался. А чем я был виноват? Некоторые стихи он говорил то так, то сяк, кое-что улучшая по своему вкусу.

Когда мы кончили, он долго что-то додумывал, и солнце пекло его непокрытую голову, его незрячее, ничего не выражающее лицо. Потом с тонкой улыбкой наемкнул насчет корчмы. Я положил в его ладонь несколько пятаков. Он быстро зажал их своими цепкими пальцами, быстро приподнялся, сунув лиру под мышку, и, поймав мою руку, радостно и осторожно пощелкал ее.



## СКАЗКА

Идут с севера тучи и закрывают запад, который еще дает неверный свет деревенской грязной улице. В избе почти темно.

Баба разводит огонь на загнетке: набила в чугуны яиц, хочет делать яичницу. В другом чугуне, щербатом, она принесла из лавки два фунта гречневой крупы. Она поставила его на нары, и ребятишки, один за другим, заголяясь, сошмыгнули с печки, сели вокруг чугуна, горстями, торопливо едят сырую крупу, закидывая назад головы, и от жадности дерутся.

На лавке возле стола, облокотясь на подоконник, сидит мелкопоместный барин, в глубоких калошах, в теплой поддевке и каракулевой шапке. Ему двадцать лет, он очень велик, худ и узкогруд. Глаза у него чахоточные, темные; рот большой, белая тонкая шея, со впадинами за ушами, закутана розовым гарусным платком жены. Он недавно женился на дочери винокура, но уже соскучился с женой и ходит по вечерам к соседу, к Никифору: заставляет его рассказывать сказки и были, плохо слушает, но дарит за работу то гривенник, то двугривенный.

Никифор — мужик еще молодой, но сумрачный. Как попал он в сказочники, ему самому непонятно. Началось с шутки: рассказал однажды какой-то пустяк, а барину понравилось, — смеясь, он дал на полбутылки и, зайдя на другой день, потребовал нового рассказа. Пришлось вспоминать всякую чепуху, порою выдумывать что попало, порою врать на себя всякую небылицу. Притворяться балагуром, сказочником неловко, но неловко и сознаться, что нечего рассказывать. Да и как упустить заработок? Все-таки не всегда засыпают голодными ребятишки, закусишь и сам иной раз, купишь табаку, соли, мучицы, а не то, как вот нынче, крупы, яиц.

Никифор сидит за столом, насупясь. Надо рассказывать, а ничего не придумаешь. Держа в зубах трубку, вытянув верхнюю губу, глядя в землю, он до зеленой пыли растирает на ладони над кисетом корешки, выгадывая время. Барин ждет

спокойно, но ждет. Хворост под чугуном разгорается, но свет держится только возле печки; уже не видно визжащих ребятишек, смутно и лицо барина. Однако Никифор не поднимает глаз, боясь выдать свое раздражение. Рассказывать нечего, но раздражение помогает. Притворяясь думающим, он медленно, невыразительно начинает:

— Старые права были хитрыя... Вот так-то поехал один мужик за дровами в лес, дело было, конечно, зимой, самый холод ужасный, и встречается с барином... У мужика, конечно, лошадь плохая, а барин попался злой. Ну, встречается с ним, кричит: «Сворачивай с дороги...» Снег был глубокий, мужик с дороги не сворачивает, говорит: «Куда ж мне сворачивать? вы, говорит, на тройке, а я на одной, да еще с возом...» Барин вскакивает,шиб его с ног долой, давай кутузкой гладить... Отгладил раз, мужик отвечает: «За вами, говорит, должок». Барин глядит, что такое он буровит, дурак, мол, опять его кутузкой... И он его четыре раза порол, этот самый барин... Потом бросил его пороть и говорит на кучера: «Ну, он, верно, дурак, ну его к черту, сворачивай...» Поехал, значит, своей дорогой, а мужик своей. Приезжает домой, «ну, говорит, девка, вряд жив буду; избил барин, вся тело синяя...» Мужик этот шесть недель отлежал от сильного удара...

Что дальше, Никифор не знает и, выгадывая время, насыпает трубку. Затем продолжает:

— Выздоровел, конечно, а он был плотник, и собирается в дорогу. Положил в мешок рубанок, аршин, топор... А барина этого была фамилия Шутов. Шел, шел, приходит, спрашивает, где такой-то барин проживает... Входит на двор. Лакей выходит, говорит: «Вы плотник?» Говорит, плотник. «Вас, говорит, барин требует». Приходит к барину. «Вы, говорит, из рязанцев?» Мужик отвечает: «Так точно». — «Вы, говорит, откуда?» — «Я, говорит, Танбовской губернии, Рязанского уезда». — «Вот мне нужно дом сделать». Ну, конечно, договорились ценой, — за двести рублей. Написали между собой расписку, дал пятьдесят рублей задатку... А у него был лес свой, у барина у этого... «Ну, говорит на барина, как бы нам съездить посмотреть лес этот». Велели запречь, сели, поехали. Приезжают. Мужик этот самый и говорит кучеру: «Ты, говорит, ступай на опушку, а мы тут будем стоять». Кучер отправляется, а мужик подходит сейчас к дереву, расколосил ее топором, затесал клин и загнал в трещину...

Тут Никифор нагибается к трубке и поспешно закуривает, стараясь не глядеть на барина, растянувшего рот в ласковую,

наивную улыбку. Табачная пыль в трубке горит синим огоньком. Никифор тушит его пальцем, пускает дым и кашляет.

— Ну, раздвоил мужик эту дереву и давай нюхать в середке. Барин спрашивает у мужика: «Что это ты, братец, нюхашь?» — «А вот что нюхаю, узнаю, какой лес, сух ли будет». — «Да твой нос не чувствительный, дай-ка я понюхаю». А мужику того и надо, вытолкнул клин, нос-то баринов и прихватило как следует. А у этого мужика тоже плетка была треххвостовая; он поскорей ему брюки долой и давай этой плеткой полосовать... Он его до того драл, что барин кричал, а то и кричать перестал... «Ну, говорит, еще два раза за тобой». Сел на лошадь — и час добрый. Кучер приходит — лошадей, саней нету, а барин у дереве носом забит, и тело вся изрублена до живого мяса...

— Очень глупо,— говорит барин, улыбаясь, и косится на загнетку, откуда тянет шипящей в сале яичницей...

Теперь пламя под чугуном совсем красно, в избе совсем темно. Дети, доев сырую крупу до зернышка, слушают отца. А он небрежно отвечает барину:

— Старики чего не наплетут... Конечно, сказка.

— И предурацкая,— говорит барин.— Ну, ну, продолжай.

— Да что ж тут продолжать. Барин, конечно, заболел, чуть не помер, месяца два большой был, а мужик прослышал об этом и заявляется к нему доктором. Выходит опять лакей. «Вы, говорит, из докторов?» Говорит, из докторов. «Вас, говорит, барин требует». Мужик входит прямо в дом, велит самовар ставить. Принесли самовар, закуски наклали, белого хлеба... Мужик напился, наелся как надо, потом идет свидетельствовать, чем он нездоров. Обнаготил его всего, «это вы, говорит, от побоев нездоровы, что, говорит, у вас баня есть?». Он отвечает, есть. Сейчас приказал натопить баню, велит несть барина в баню на простыне, растирку делать. Лакей с кучером понесли, а он и говорит: «Погоди, говорит, я с тебя спущу шкуру-то, дай только выздороветь». А этот мужик идет сзади и говорит: «Погоди, погоди, я с тебя еще половчее спущу». Начинает его парить, а на лакея с кучером сказал: «Вы можете отсюда удалиться». Те ушли, остался доктор, мужик этот самый, с барином один на один в бане... Он его парит, а барин говорит: «Вот вы тут-то да вот тут-то». Он как выхватит треххвостку, да вдоль хрипа — раз! «А тут-то, мол, не надо?» До тех пор его парил, чуть живого оставил, да в холодную воду головой. Приходит в дом, говорит барыне: «Мне барин приказал сто рублей выдать». Получил денежки и отправился ко двору. А барина чуть живого выгтащили, уж бульки стал пускать и весь кровью подплыл...

Приложив к краям чугуна ветошки, баба несет его от печки

и ставит на стол. Потом режет на ломти краюшку хлеба, вдавливая ее себе в грудь.

— Кушайте на здоровье,— говорит она притворно, кладя по ломту перед баринном и перед Никифором.

— А ты-то что ж? — спрашивает Никифор.

— Да мне что-й-то не хочется. У меня от ней изжога всегда...

— Ну, а я не любитель до ней...

Яиц всего десяток, хлеба тоже мало, но так вкусно пахнет салом и хлебом, что барин, пересиливая неловкость, с деланной беззаботностью, снимает с нагретой головы шапку.

— Ну, а я глазок съем,— говорит он, придвигая к себе чугунок и берясь за деревянную шершавую ложку.

Он, обжигаясь, ест и с улыбкой мотает головой, делая вид, что думает о сказке.

— Очень глупо! — говорит он с удовольствием.

Никифор злобно глядит на его маленькую голову, на его мягкие волосы, причесанные на косой ряд и приглаженные шапкой.

— А глупо, вы бы не слушали,— говорит он.

— Нет, уж рассказывай до конца,— отвечает барин, заставляя себя положить ложку и отодвинуться.— Чем же дело-то кончилось?— спрашивает он, между тем как баба берет чугунок и несет его на нары, к детям.

— А тем и кончилось,— говорит Никифор,— что окончательно предал к земле мужик этого самого барина. Он после этой самой бани опять месяца три большой отдернул... То охотой прежде занимался, а тут и охоту свою забыл... Лежит и обещается: «Вот как выздоровлю, поеду по святым местам молиться». А мужик этот прослышал, что он хочет шинель себе походный шить, моментально разжился себе иглу, аршин взял и приходит на барский двор. Конечно, его сейчас увидели. «Это, говорят, портной, его-то нам и надо». Призывают в дом, барин говорит, «мне нужен, говорит, шинель из такого-то вот материя», а мужик с отроду не видал даже, как крают. Подумал и говорит: «Этого сукна, говорит, не хватает, надо в город посылать». Барин подошел, глянул и прямо велит в город ехать. Сейчас запрет кучер лошадей, барыня села в сани и в город, а мужик сидит, складывает это сукно, как мешок. Барин говорит, «что это ты делаешь, портной?» — «А вот я что делаю: я сперва наживлю, а потом на вас надену, мерку сниму». Надел на него этот мешок, «вы говорит, только руки подберите». Подпоясал его совсем с руками, да как выхватит плетку, да через морду, по чем попало! До тех пор его порол, пока кричать перестал... Подобрал сукно да драло...

— Однако ты не изобретателен! — говорит барин.

Никифор и сам чувствует, что конец сказки, несмотря на все его раздражение, вышел слаб, и, краснея от стыда, спешит вывернуться.

— Как так? — спрашивает он, поднимая лицо и в упор глядя сквозь темноту на барина. — Вы не дослушали, а говорите, сами не знаете что. Он его не одной плеткой, а еще и аршином железным перекрестил как следует... Он ему, говорят, все руки, ноги переломал, до того бил. Барыня заявила, а он уж убитый лежит... «Ну, говорит, теперь похватались...» Выскочил в окно и прямо через сад, — потуда и видели. Там «ах, ах», «лови лови», а его уж и след простыл...

Грубым тоном сказав последние слова, Никифор смолкает. Молчит от неловкости за него и барин. Никифор это чувствует и пытается убожество своей выдумки оправдать нравоучением:

— Да и верно, — говорит он, глядя в сторону. — Не наказывай зря. Вы вот еще молоды, а я этих побасок мальчишкой конца-краю нету сколько наслушался. Значит, в старину-то тоже не мед был...

— Разумеется, не мед, — отвечает барин, поглядывая в окошечко и напевая. — Разумеется, не мед, — вздыхает он. — А дождь-то опять, кажись, пошел... Черт знает что такое! Скажи, на твое настроение очень действует такая погода, или тебе все равно?

— Как же так все равно? — говорит Никифор. — Конечно, жалко. Да у меня-то еще милость: и строенья-то всего одна изба... А, конечно, и та прет, протекает... Железная крыша, и та ржавеет, не то что солома...

Барин, легонько усмехнувшись, медленно надевает шапку, медленно застегивается. В избе темь, — следовало бы дать хоть гривенник на керосин. Но нынче давать особенно неловко.

Думая о дурацкой сказке, он бредет в темноте под мелким дождем к своей жалкой усадьбе, мимо ограды старенькой церкви. За оградой, слабо освещая могилы, горит фонарь: церковь недавно обокрали. И говорят, что Никифор пропивал в шинке на большой дороге мелкие складни.

*Анакарт. 12 марта. 1913*





## ХОРОШИХ КРОВЕЙ

— Я хороших кровей,— говорит про себя коновал Липат.— А все оттого, что мы спокон веку едим хорошо. Со скотине взять пример: у смореной лошади дрянь носом идет, и она даже может других заразить. А мы всегда хорошо жили. Дед страшный колдун и первый однодворец во всей округе был. А покойный родитель еще потягался бы с ним. Ну, вот и считай, что мне по наследству пришлось... Я, брат, не простой коновал.

Говорит он мерно, низко, с приятной грубостью. Зовут его, конечно, не Липатом, но Ипат — это мужикам да и ему самому не нравится. Отца его звали так же, как деда,— Борисом. Он уверяет, что нет такого имени — Борис, а есть Борисоглеб, что был в старину святой, благоверный князь-однодворец, носивший это имя, и что далеко не всякий мужик достоин быть тезкой Борисоглеба.

— И меня обязательно надо было так же назвать,— говорит он.— Только, конечно, мы попам нож вострый, они наш род спокон веку не любят, вот и сделали назло нам.

Росту он большого, волосом бледно-желт; глаза у него мутно-синие, ресницы белые, крупные. «Мы, сказывают, из Сибири пришли,— говорит он.— Оттого у меня и рост и волос сибирский. Одного не пойму,— и тут он сдвигает рукав полушубка и показывает жесткую, покрытую красноватой шерстью руку.— Волос у меня везде лисий, бланжевый, а по рукам с красниной: верно, меченые мы все...» Зимой он носит черную баранью шапку, сверх полушубка длинный тулуп нараспашку, с большим, раскинутым по плечам воротом из белой овчины, и длинные, кожей обшитые валенки.

Он богат. Живет на дедовском поместье, в голом поле. Хозяйствует без работников, с двумя женатыми сыновьями. Не жаден, не зол, но беспощаден. Раз подкараулил поджигателя, пьяницу старика, убил — «как лярву» — слегой, заявил,

куда следует,— и забыл. Воров ни в грош не ставит — «мышь копны не боится» — говорит он насмешливо, но держит целых семь штук ужасных собак. Они часто выходят под дорогу, в поле. Прошлый год на клоки разорвали нищенку, рвут пастухов и овец,— только подгони стадо к хутору! — и почему-то особенно злы осенью.

Коновал он знаменитый. Но слывет и редким крысомором. А морить, изгонять крыс — это уже с колдовством связано.

По достатку своему он давно бы мог оставить такие дела. Но они перешли к нему по наследству, от покойников родителей; они дают ему известность, окружают его двор и все предания двора таинственностью. А это для него важнее всякого богатства.

Он очень дорожит тем, что его считают не простым человеком. Он чувствует себя носителем какой-то большой и жуткой силы, с которой он, если бы даже и хотел того, не мог бы расстаться,— невольным восприемником каких-то знаний, высоких тем более, что, соприкасаясь с колдовством, они, однако, творят на земле не злое, а доброе.

Он рассказывает:

— Есть разные колдуны. Есть от Бога, есть и от врага. Кто к сатане захочет прикачнуться, тот уж и делает так. Перво-наперво он в самую темь, в ночь-полночь в овин обязан итить и ружье с собой и образ взять. Собака не брешет, лягушка не турлычет, а он знай, иди. Придет, вздует огонь в печи, снимет с себя крест, сядет на него и ждет, сидит... Как полночь, так он и вот он: зашуршит, как собака, в соломе, подыметесь рогами под самый решетник из этой самой страсти, темени, и корыто поганое перед тобой постановит. Сам молчит, а сам дело делает. Наблюдает в него, нагадит, а ты — ешь. Потом ружье у тебя из рук возьмет. Зарядит, как надо, забудет дохлой шерстью, а образ над печью пристроит: хочешь не хочешь, а стреляй...

— Это значит, на гибельные дела силу человек получает,— говорит слушатель.— А на хорошие?

— А на хорошие тоже не мед. Ночью надо на перекресток пойтить и свиным ножом кровь себе из левой руки кинуть. Он ее страсть как любит. Всю подберет, вылизет вместе с пылью. Ну, вот таким-то побытом и дед наш, конечно, делал. Зато и богат, жаден был. Стал помирать, отец стоит над ним, ждет от него *силы*, а он велел подать себе на блюде серебра, золота — и давай его в рот горстями пхать. Подавился, заплакал — «нет, говорит, видно, с собой не унесешь!» — и открылся отцу во всем... А мне покойник родитель только и сказал, что одно

слово до трех раз. «Все мое — твое, все мое — твое, все мое — твое...» Шутка-то, кажись, не хитрая, а поди-ка, откажись!

Ездит он на крыс с мешочком «белого камня», мышьяка, а то и просто «с голыми руками». Он говорит, что стоит ему войти в дом, где, предвещая всяческие беды, множатся крысы, как гурьбой потянется крысиное пискучее племя вон из дому, в степь, в яруги. Он появлением своим повергает в тревогу пауков, ткущих сети по углам, за образами. Он знает какие-то, только его роду ведомые, «отдушины» у скотины. Взглянув на скотину, он без ошибки может определить время ее болезни или смерти. Распухнет у свиньи горло, он обложит его с наговором теплым пометом. Обьестся корова вёху, он пробьет ей бок гвоздем. Очумеет, закружится «круговая» овца, он зальет ей в ухо горячего масла. Март, начало весны — время его усиленных разъездов. Тут он работает не покладая рук. Прибыль животворящих сил, бродящих во всем живом, он начинает чувствовать рано. Голос его приобретает тогда особую крепость, движения — силу и точность. Он осматривает скотину, ломает молодым лошадям «дурной зуб» и властно вторгается в самые сокровенные уставы природы.

Нынче утро тихое и снежное. Много молодого мартовского снега выпало за ночь за господскую усадьбу. Снег и теперь еще падает, но такой редкий, что виден он только на темной глубине в раскрытых воротах конюшни. Белые пухлые крыши мягко и свежо выделяются на сером небе. Сад весь в лебязьем пуху; налипло на все стволы, на все ветви и склонило их. Чуть морозит, но воздух не зимний. Не по-зимнему пахуч кухонный дым, встающий ровно и высоко, сизым витым стобом. С закрытыми глазами стоит на варке скотина, густо обросшая за зиму шерстью, коротконогая, бокастая... Что чувствует она? Она в сладкой предвесенней истоме, пьянеет.

Липат приехал в усадьбу рано. Дома, на хуторе, он встал чуть свет. Осторожно слез с нар, одернул рубаху, плеснул на лицо водою и, покрестившись в темный еще угол, шагнул вон из душной, полной спящими избы: надо погоду взглянуть, да и сладко глотнуть в этот ранний час душистой мартовской свежести. Возле избы, на рыхлом снегу, слабо белеющем в сумраке, валялись, играли собаки. Одна вскочила и бросилась к нему на грудь: он крепко охватил ее, теплую, сильную, с бьющимся сердцем, зорко заглянул ей в прозрачные глаза — и она тотчас же отвела и притушила их... Потом пошел будить семью, одеваться, завтракать. Лошадь запрягли и подали к крыльцу сыновья.

Лошадь старая, умом не уступающая человеку, нескладная

и машистая, легко несла его по снежной дороге. Раскинув по плечам ворот тулупа, овчина которого так приятно воняет на воздухе своей кислотой, он глубоко сидел в низких козырьках с лубочным круглым задом и чуть держал вожжи. Зыбко белел снежный простор перед ним. В селе стало светлей, ярче. Лошадь на полном ходу сама завернула во двор усадьбы.

Птичница вела резать гусака, держа его за одно крыло, и он, важно переваливаясь, следовал за нею.

— Буди батраков! — крикнул ей Липат.

Не привязывая, остановил он лошадь недалеко от конюшни, у стопудового каменного корыта, похожего на скифскую гробницу. Собаки нигде не брешут на него. Все они поднялись и побежали к нему, окружили, обнюхали его. Он, стоя среди них, не спеша скинул тулуп, хорошенько свернул его, уложил в козырьки, в овсяную солому, и остался в коротком полушубке. Полушубок этот весь блестит, весь замаслился и заскоруз от крови. Подпоясан он черным и скользким ремешком — и сколько ржавых железок, крючков и ножей всяческой длины, спрятанных в кожаные ножны, висит, болтается на этом ремешке! В конюшне уже сидели, ждали работники.

Вот и последних, редких снежинок не стало видно. В тишине и спокойствии белого утра ясно слышны зычные окрики Липата на горячих непокорных жеребчиков. Дело совершается над ними жестокое, ужасное, но разве не на то и дана мудрая власть человеку, чтобы смирять, уравновешивать буйные силы природы? Работники кричали bestолково, не в лад. Жеребчики шарахались, они ловили их, галдели, торопя друг друга, когда нужно было навалиться разом. А окрики Липата были кратки и властны: он-то понимал, на что восстал он — зло и грубо, но с целями благими.

Конопатая, в рудых волосах, жесткая рука его, засученная по локоть, часто мелькала в воротах конюшни — далеко выплескивала из деревянного, вырубленного топором корца темную густую кровь. Алыми пятнами были обрызганы и порог, и ящик старой телеги, занесенной снегом у конюшенной стены, и борзые собаки, которые с визгом отскакивали, когда мелькала рука Липата, а потом, дрожа от жадности, лизали, ели красный снег.

Выводили и валяли лошадей работники. Липат командовал и наваливался на лошадь только тогда, когда она была уже связана, сбита с ног и со всех сторон прижата к земле. Никитка, толстомордый малый, был неповоротлив. Липат дал ему подзатыльник. Солдат, унылый человек, был болен зубами и левив. Липат сурово и твердо глянул ему в глаза — и солдат

нахмурился, но ожил. Старика Гаврилу, услужливого, но глупого, торопливого, ему не раз хотелось взять за шиворот и выкинуть вон.

Напоследок делали другое дело: ломали зуб молодой кобылке золотистой масти, с «лысиной» на лбу и светлой гривой. Она выскочила из денника легко и доверчиво — и, подбитая под ноги, рухнула на солому, очень удивленная этим. Старик, упираясь лаптями в землю, лежал, надувался на ее крупе, но все сползал с него, подхватывая левой рукой гашник сползающих порток. Солдат тянул конец веревки, которой захлестнули морду кобылки, — задирает ей кверху голову, раскрывает рот, в который веревка была пропущена. Никитка вытащил на сторону и крепко держал голой рукой ее розовый, слюнявый, все выскальзывающий язык. А Липат, держа в руке короткую железную палку, острую по краям и с желобком на конце, глядел на белые крупные зубы и внушительно говорил:

— Держите крепче. Теперь гляньте на вон этот желтый зуб. Этот зуб называется, по старому преданию, вредный зуб, он называется — сухой зуб. Тут весна, самые корма, самый нагул скотине, а лошадь от этого зуба щеки проедает, ворочать языком ей нельзя, и бывает заражение. Не догляди, не сломай вовремя — она будет как шальная ходить, и жизненности в ней никакой не будет.

Потом он сразу, со всего роста, рухнул боком на плечо кобылки, сунул ей в рот железную палку, поймал нужный зуб желобком и с треском стал выворачивать. Кобылка забилась, заметалась, разбрасывая во все стороны мерзлую землю, мерзлый помет и солому из-под своих блестящих подков. Работники тоже бились, тяжело дышали и надувались, сдерживая ее. У старика опять показалось голое тело.

Облив кровью руки и солому, Липат поднялся, сдвинул шапку с потного лба и твердо сказал октавой:

— Шабаш. Благодарение Богу.

Кобылку отпустили, распутали. Она долго лежала, вся дрожа. Потом разом рванулась, чуть не упала, вскакивая, но справилась и, вскочив, легко побежала в денник. Там она крепко встряхнулась, как собака, выскочившая из воды.

— Свят, свят, свят! — сказал Липат, не спуская с нее блестящих, радующихся ее силе, молодости и красоте глаз. — На доброе здоровьице!

Но сейчас же и нахмурился. И, вытирая окровавленные пальцы о завернутую полу, сурово стал приказывать подтянутому солдату:

— А вороному меринку надобно лекарству составить. Я

составлю. Вели принести шесть горстей муки пшеничной. Этой мукой ты обязан шесть ден посыпать ему резку. Для припорции нынче сам посыплю, покажу. А в муке этой будет семибратская кровь и кониный хинин. После шести ден кровя у него зачнут расходиться, внутренность очишшаться, и зачнет он как ото сна отходить, будет опять полноту иметь и даже грудь зачнет наливать. К Егорию не узнаешь — не нарадуешься. А если бы его так кинуть, безо всякого внимания, сейчас он сохнуть зачнет, дрянь носом кинется, и он даже может других заразить...

Потом он отдыхал — перед тем, как идти осматривать прочую скотину. Весь день он будет наслаждаться своей кровной близостью к ней, к тайникам и силам природы. Сидя возле конюшни на тележном ящике, он глядел на белый двор, белый сад и белые крыши. За облаками уже много света — и эта весенняя белизна и без солнца слепит.

*Анакапри. 15 марта. 1913*





## ПРИ ДОРОГЕ

### I

Устин, отец Парашки, жил при большой Новосильской дороге.

Место, что он выбрал себе, отойдя от господ, было безлюдное. Ржи морями разливались по волнистым полям вокруг его степного двора. Во ржах за двором стояли два бесприютных дубка, шли неглубокие овраги, густо зараставшие к лету белыми цветами. Во ржах насупротив, за большой дорогой, терялся дубовый лесок; в той стороне было и село — однодворческое старинное село Баево, да волнистые поля скрывали его. До воли было много проезжих по большой дороге. Потом их следы, колеи затянулись, заглохли, закудрявились редкой мелкой муравой.

Устин давно вдовел, — говорили, что он убил жену из ревности, — жил не по-мужицки: не землей, а тем, что в рост деньги давал, сеял кое-что только для домашнего обихода, вокруг дубков и над оврагами, и даже скотины путной не держал: хороши у него были одни лошади. В избе хозяйничала сперва его любовница, вдова-однодворка, сероглазая красавица, потом старшая дочь, Евгения. Но Евгению, чуждую и немилую ему, он рано выдал и заместил работником, пожилым придурковатым мужиком Володей. А сам часто отлучался из дому — и росла молчаливая Параша одиноко.

Однажды, — ей шел тогда четырнадцатый год, это было как раз в то лето, когда Евгения переселилась в Баево, — гнали по большой дороге порядочный гурт овец: часто так делают — покупает купец сто, двести голов на одной ярмарке и перегоняет их на другую, нанимая для того босяков, а для надзора за босяками посылая приказчика. Дотлевала летняя заря далеко позади хутора. Поджидая отца из города, Парашка сидела на пороге избы, глядела на вечерние поблекшие поля, на голый простор дороги. Овцы густой грязно-серой отарой медленно двигались мимо с тем неопределенным шумом, что производят и движение ног и дыхание их, с запахом своего руна и

корма — степных трав и полыни. А за ними шли собаки с высунутыми красными языками, запекшимися и запыленными за день, оборванный высокий малый рядом с оборванным стариком и верхом ехал на белом горбоносом киргизе с кутузкой в руке, в картузе на затылок, молодой мещанин.

— Здравствуй, красавица,— сказал старик, отделяясь от гурта.— Помоги нам, прохожим, попроси у отца серничка...

Она долго не отвечала, разглядывая его. Он был без шапки, клоки ее были надеты на его скользкий костыль. Он положил на него крупные блестящие руки, удерживая их дрожь, и с трудом дышал. В лохмотьях рыжего пальто, надетого на голое тело и подпоясанного обрывком, в подштанниках и сбитых опорках, зелено-седой и кудлатый, мертвенно-бледный и с запухшими глазами, он имел вид яростный, но в хриплом его голосе была доброта, усталость. Видна была серая шерсть на его груди, видно было, как трепещет под грудью сердце.

— Отца дома нетути,— ответила Парашка, нагладевшись.

— Так я и знал, так я и знал,— сказал старик.— Все катается, а ты одна растешь... «Вечор наша перепелушка,— сказал он, глядя в землю,— вечор наша рябая всею ноченьку прокликала, всею, темную, протрюкала...» Как же нам быть-то, красавица?

Подошел малый, мелкой бойкой рысью подъехал верховой, по-степному поджимая ноги в стремях под брюхо своего толстогрудого киргиза, уморенного, но все горячившегося, задиравшего назад большую голову на крутой шее. Они поглядели на старика насмешливо,— знали его манеру разговаривать,— на Парашку внимательно. Малый был очень длинен и тонок, с покатыми плечами, с круглым кошачьим лицом, в сером арестантском картузе, а верховой — сухощав, но широк, очень смугл и с блестящими глазами.

— Я ее отца знаю,— сказал он, глядя с седла на Парашку, на ее маленькие ноги, загорелые плечи и грязную сорочку.— Богатый плут... Ступай в печурке либо за образами поищи,— прибавил он строго.

Парашка, не сводя глаз с киргиза, короткого, плотного, все мотавшего тяжелой головой и грызшего желтыми зубами слюнявые удила, вскочила с порога, сбегала в избу и вернулась с коробочком спичек. А мещанин тем временем слез со старого, сухого и замасленного казачьего седла, расправляя короткие ноги. Взяв спички, он молча пошел прочь, повел киргиза к остановившемуся с опущенными головами гурту. Но Парашка навсегда запомнила его пропыленный пиджак, лоснящиеся штаны, заправленные в сапоги с узкими голенищами, грязный ворот вышитой рубахи и то, что все лицо его было, точно

порохом, усеяно синеватыми точками, что на смуглых скулах его вились редкие жесткие волосы, такие же редкие, жесткие и смоляные, как и над углами рта. Он взглянул на нее, уходя, и поразил ее силой своих твердых глаз. А старик, верно, заметивший это, сказал ей на прощанье странные слова:

— Ну, вот мы и жители... Прощай, спасибо тебе, красавица. Попомни, что сказал тебе страшный старый босяк: этот вор-мещанин может погубить тебя. Ты на таких-то не заглядывайся...

А потом на парáх за дорогой, там, где заночевал гурт, долго пылал в темнеющей синеве вечера желтый жаркий костер. Ночь шла — отца все не было. Сидя на пороге, Парашка слушала, как Володя доит на варке, за сенцами, корову, и не спускала глаз с костра. «Вечор наша перепелушка...» — вспомнила она слова старика — и, чувствуя сладкую тоску их, видела темную-темную ночь и робкую перепелку, трюкающую в темном разливе хлебов... Все красней горел костер — и он, этот черноглазый мещанин, который мог погубить ее, был там, еще близко... Наконец ровный, успокаивающий звук отцовской тележки донесся до ее слуха. Она вскочила в темную избу и легла, притворяясь спящей. Отец подъехал к порогу, крикнул Володе; вошел и стал что-то вешать на стену. Зашумели сонные мухи в решетках и ситах возле печки.

— Батюшка! — негромко позвала Парашка.

— Аюшки? — отозвался отец вполголоса.

— Это какой босяк бывает?

— А разуйся хоть ты такая-то, вот тебе и будет босяк.

— Да он не босой. Он в полсапожках.

— Ну, знать, пропилился догола. А где ты могла видеть его?

Парашка рассказала о прохожих, умолчав о последних словах старика.

— Знать, бальмашевский гурт гонят,— сказал он, не слушая толком и перевешивая наборную узду с одного колка на другой.— То-то, я гляжу, костер горит...

— А отчего у него лошадь в крови?

— У кого это?

— У приказчика. Вся грудь в струпах.

— А это оттого, что она киргиц называется,— сказал отец.— Эти лошади, дочка, злые, горячие живут. Вот и секутся, сами себе кровь бросают... И тавро небось есть?

Парашка подумала.

— А какая она?

— А вроде печати... как печать выжжена на ляжке, чтоб видать было, что это не простая лошадь, а из тавра, из косяка

киргического... Ну, спи, спи, коли поужинала,— прибавил он.— А я в холодную пойду, там закушу...

И, отворив окно, ушел в другую половину. В окно было видно летнее ночное небо в бледных звездах, чуть тянуло свежестью, смешанной с запахом гари потухавшего костра... И, волнуясь от этого запаха, что-то как будто напомилавшего, слушая отца, негромко говорившего под окном с Володей, Парашка заснула в чувстве того жуткого и манящего, что есть в неизвестных прохожих и проезжих людях, очарованная смутной думой о том, как погубит, как увезет ее куда-то вдаль молодой мещанин.

## II

С тех пор прошло два года; пошел третий. Парашка изменилась. Мало-помалу она заняла свое место в хозяйстве, стала таскать, надрывая свой девичий живот, горшки и чугуны из печки, доить коров, обшивать отца... Но нрав ее менялся мало. Одно лето на нее напала страсть к селу. Она стала наряжаться, гостить у сестры, бывать с девками в хороводах, петь и плясать с ними, притворяясь бойкой. Потом бросила, опять почувствовала себя чужой селу, девкам, Евгении. Евгения тоже навещала ее,— она ходила солдаткой, детей не имела, вдового своего свекра не боялась. Но были обе они молчаливы, да и слишком разны во всем. Миловидную, на вид спокойную Парашку никто бы не назвал сестрой Евгении: та была крепка, плечиста, глядела из-под сдвинутых бровей, сжав губы; странно было видеть ее скуластое, короткое, решительное лицо рядом с нежным овалом нерешительного девичьего лица.

Близок был Парашке лишь отец. Ее любовь к нему росла с каждым годом. Но не простая, не спокойная была эта любовь.

Она любила отца застенчиво, той обостренной любовью, которой часто любят дочери вдовых отцов. Заменять ему мать, хозяйку, заботиться о нем, таскать для него горшки из печки было для нее радостью и гордостью. Но порой эта радость отравлялась болью — вспоминалась однодворка, хозяйничавшая когда-то в отцовской избе... В том страшном и малопонятном, что случилось между отцом и матерью, о чем еще в детстве несвязным шепотом, с чужих слов, рассказывала Евгения, Парашка была на стороне отца. Но порою находило сомнение: да так ли, прав ли он был? — и тогда казалось, что не было на свете человека лучше и красивее матери. Отца Парашка мало видела, а понимала и того меньше, постоянно чувст-

вуя и робость и неловкость в разговоре с ним. Да и у всех он слыл не легким, не простым человеком. Чистотою и правильностью черт, тонким станом, бронзовой бородкой и зоркостью зеленых глаз он напоминал старикам-дворовым объездчика-черкеса, жившего когда-то у господ его. Но и крестьянского немало было в его осторожных манерах, в неуклюжих сапогах, в густых кудрях, разобранных на прямой ряд, в вороте суровой рубахи и сермяжной поддевке. Он умен и приветлив был, даже добр, но все его побаивались: уж очень рассудителен. Приходили к нему из сел, из деревень за помощью. Он никому не отказывал. Он внимательно выслушивал, кивал головою, все приподнимая со лба свои бронзовые завитки. В глаза поглядывал не строго, но пытливо, поддакивал, никогда не перебивая, вполголоса. Лихву назначал скромную. Но ведь лихвой и жил он, а такие люди всегда страшны немного.

Вырастая, Парашка худела. В лице ее появлялось то неуловимое сходство с отцом, которое так нежно проявляется у дочерей, любимых отцами и на первый взгляд как будто и несхожих с ними. Многие одинаково затаивали, сдерживали они в себе, многое одинаково воспринимали: как, например, волновал их обоих вид цыганского табора, идущего осенью по большой дороге на низы, к югу!

— А я, мальчишкой, раз было убег за цыганами,— сказал однажды Устин, усмехаясь.

— Да что же? Одумался? — спросила Парашка.

— Одумался. Без этого нельзя, дочка,— сказал Устин уже без улыбки.— Сгоряча делать не годится...

— Чего делать не годится?

— Да ничего,— ответил он не сразу и поглядел в сторону.— А то кровь в глаза кидается, беду творит...

Она поняла его, оробела и смолкла.

Но не только таинственностью отца, его прошлого, его разъездов и забот, о которых он никогда ни с кем не говорил, окружена была она. Осенью, зимою она много спала. Летом могла не спать хоть три ночи подряд. Любимым местом ее был порог, по часам сидела она на нем, чуть склонив к плечу голову. Далеко куда-то, в счастливую страну, направлялись все те, что порою проезжали, проходили мимо. Смело и внимательно глядя вперед, разметав по плечам свои чубарые от солнца волосы, где мочальные, а где темные, в скуфье, в подряснике, широко шагал стороной бродяга, отставляя на ходу свой высокий посох: она провожала его долгим взглядом, хоть и боялась бродяг, боялась, когда они сворачивали к хутору за поданием. Ровной рысцей, часто спотыкаясь и перхая, бежала

посередине дороги захудалая помещицья тройка — звук дребезжащих рессор, дорожный вид запыленного тарантаса пробуждали в ней тоску, какие-то желанья. Гнали овец — она жадно всматривалась в провожатых, вспоминая беду, предсказанную ей... Морями разливались по полям ржи и овсы... Тень ложилась от избы. Впереди, за дорогой, блестящей мелкой муравой, густая рожь клонилась в ярком вечернем свете, лоснилась против солнца, уходившего за избу. Розоватые клубы юго-восточных облаков, нежных, чуть заметных, сливались выше горизонта с матовой лазурью небосклона... В эту сторону, томимая зовом степной дали, она смотрела чаще всего.

А любовь — это слово она узнала и почувствовала рано и тоже не просто. Еще в детстве поразило оно ее. Однажды, в жаркий летний полдень, сидела на камнях возле Устинова амбара мещанка из Баева, пьяница и бобылка. Она разложила возле себя спички, жестянку с махоркой, курила и глядела на Парашку, возившуюся в пыли возле нее. «Что ж, отец не прогнал еще *любовницу-то?*» — сильным таинственным шепотом спросила она. И Парашка навсегда запомнила это особое слово и наитием угадала его сокровенный смысл. С тех пор всякий раз, когда случалось ей не вовремя забежать в избу и видеть на коленях у отца однодворку, сладким страхом и стыдом обжигало ее. А потом от сестры, от сельских девок стала она заучаться песням. Во всех песнях говорилось о том же, об одном — о любви. И она певала их, но мысленно — так трогали они ее, особенно одна, старинная: «Уснул, уснул мой любезный, у девушки на руке, на кисейном рукаве...» Все подружки готовились только к одному — к замужеству, к жизни, к близости с мужем. Рано стало волновать, страшить и ее предчувствие этой близости. Сестра просто говорила: «Батюшка распутный, он опять с кем-то живет. Сто рублей отдам, а дознаюсь!» А Парашка и сама бы не взяла ста рублей за то, чтобы дознаться о любовнице отца, хотя думала о ней дни и ночи. Сестра, когда угнали ее мужа в солдаты, вскоре пришла однажды на хутор. «Батюшка дома?» — глухо крикнула она, подойдя к замерзшему окну. Потом вошла, села на лавку, стала есть хлеб и все говорила, что она на минутку, все поглядывала на входившего и выходившего Володю, высокого худого мужика. Он, роясь на лавке в веревках и вожжах, картаво бормотал: «Сто ж не раздеваешься?» А сестра медленно мотала головой, закутанной в пеньковый платок: «Я на минутку...» Была она в промерзлых лаптях, в красной юбке грубой шерсти, в сермяжной куртке, туго застегнутой на полной груди, и крепко пахло от нее, крепкой, здоровой бабы, избяным дымом и ржаным

хлебом, который она не спеша жевала. «Ох, что ж это я сижу-то!» — говорила она. И вдруг поднялась и решительно вышла, но не домой, а в сени, к Володе. Парашка кинулась к двери и замерла, прильнув к ней ухом. Бежали минуты за минутами, все гуще сеял кто-то ночную муть в избе, и ни звука не слышно было за дверью. Но Парашка, казалось, все видела, все слышала...

### III

Заменяв отцу мать и хозяйку, она стала чувствовать себя взрослой и порою заводила с ним беседы.

Раз зимним вечером он перебирал возле лампочки, коптившей на столе, какие-то истертые бумажки, вынимая их из-за пазухи, из кармана поддевки. Он напряженно соображал что-то, шевеля губами, и писал огрызком карандаша, ложась грудью на стол, отодвигая рукав и долго ерзая по бумажке, перед тем как вывести цифру. Она, сидя возле печки, прядла: сучила, доила нитку левой рукой, а правую отставляла — ловко пускала до самого пола волчок веретена. В пестреньком ситцевом платье, с раскрытой головой, с опущенными ресницами, она была хороша: она сама чуяла это по тем странным и ласковым взглядам, что порою, отрываясь от работы, кидал на нее отец. Она сидела на скамье легко и спокойно, чуть раздвинув округлые колени, с мягкой силой нажимая носком левой ноги на приступку прялки, и жужжала колесом.

— Батюшка,— сказала она вдруг,— ты всегда был такой красивый?

— А что? — спросил он, по своему обыкновению, вполголоса.— Всегда. А что?

— Чего ж тебя мать не любила?

— А кто тебе это сказал?

— Да уж я знаю,— сказала она загадочно.

Он помолчал, стал прятать бумажки за пазуху и застегивать крючки поддевки, мотнул головою, откидывая со лба завитки волос.

— Ты того, дочка, не слухала бы,— сказал он негромко.

— Ты, говорят, убил ее... За что? За любовника?

— И этого не надобно говорить,— сказал он еще тише.— Вот ведь я ни о чем не пытаю тебя.

Она подумала.

— Да меня что ж пытаться? Я вся наружи...

— Толкуй! — сказал он.— Ты вся в нее.

Она покраснела.

— Ан в тебя... Я тебя в свете ни на кого не променяю!

— Променяешь, дочка...

Она вспомнила мещанина, провожавшего овец, летний вечер, который казался теперь таким далеким и прелестным, старого, желтозубого, но горячего киргиза, его сильную грудь в рубцах засохшей крови... А он продолжал задумчиво:

— Рано тебя никому не чаю отдать. Для тебя, дочка, для тебя одной с утра до вечера бьюсь. Буду ждать, высматривать человека хорошего, нужного.

— У тебя ж есть любовница,— прошептала она.

— Все пустое, все пустое,— ответил он, не повышая голоса.— Все тебе, это постороннее. С отцом стыдно об этом балакать...

Она заплакала. Он подошел, обнял ее голову, поцеловал в волосы. Сквозь тонкую кожу его проступил румянец, зеленые глаза горели ярко и нежно. Она успела взглянуть в них, когда он, обернувшись, пошел вон из избы, и заплакала от какой-то непонятной радости и еще более непонятного горя. Ах, да кто ж мог быть лучше его!

Она худела. Но округлялись ее руки, ноги, приподнялись маленькие груди, глянцеви́тее и гуще стали волосы. Купаясь, она стала стыдиться своей наготы... Скоро, скоро станет она невестой, будут приезжать сваты к отцу, узаконится ее право любить и выбирать... хотя, конечно, никогда, ни за кого на свете не выйдет она... Сестра сделалась откровеннее с нею,— это льстило ее самолюбию. Сестра открывала ей тайны любви, она ждала мужа и говорила, что никак не дождетсЯ его. Хотелось и Парашке поговорить о себе, о своих думах, о своей истоме. Хотелось намекнуть, что и про Володю она знает... Провожая сестру, она долго стояла на пороге. Пели петухи — она слушала их, закрывая глаза. Дремал сумеречный мартовский туман над серыми снегами полей — ей казалось, что уже слышно в тумане волнующее карканье первых грачей. Убегала в туман, пропадала в нем зимняя дорога — и влекла к себе, тянула вдаль. Капали капли, куры стояли под ними, тоже дремали — и вдруг начинали тревожиться, кудахтать сквозь дрему. С веселой, притворной яростью играл, взвиваясь на цепи под амбарами, жарко дышавший пес... Резко вздрогнув, она вбегала в избу.

Но в теплой избе только Володя делил ее одиночество. Володя, живший уже пятый год, был страшен и противен ей — с того самого вечера, когда Евгения вышла к нему. Но ведь она так часто оставалась наедине с ним... Она знала, что никогда

не решится он тронуть ее,— отец убил бы его,— но ведь думала же она об этом... И сладость тайных дум ее даже увеличивалась страхом и отвращением к Володе. Он наружно был даже недурен,— пожилой, но стройный, легкий, как малый в двадцать лет. Иногда она пыталась разговориться с ним о чем-нибудь, не касающемся хозяйства, о селе, о девках, о ребятах. Он задумывался. Он бросал веревку, которую вил, сидя на конике, вертел сигарку. Серое худое лицо его склонялось, прядь серых волос падала на узкий лоб — он был красив. Но вот он открывал рот — и сразу превращался в дурака. О чем бы она ни заводила речь, он сводил на то, кто у кого живет в работниках и, главное, сколько жалованья берет.

— Хоросую, хоросую залованью получает,— бормотал он косноязычно, и от бормотанья усы его делались слюнявыми.

А когда дул южный весенний ветер, съедая таявшие снега, и она делалась тревожнее, он видел и чувствовал это. Он входил в избу, как будто по делу, вешал или снимал обротъ с деревянного гвоздя в стене, нарочно мешкал, начинал шутками: «Где-й-то тут обротъ покрепче, пора тебя обротать, к бычку весть...» Она странно и звонко смеялась. Он проходил мимо, внимательно посматривая на нее. Она встречала его глаза широко раскрытыми ждущими глазами. Казалось — еще минута, и она будет в полной его власти. Но, как только он протягивал руки, брови ее резко вздрагивали, лицо искажалось и вспыхивало. Она вскакивала и с той внезапной грубостью, которой так часто ошеломляют мужчин девушки, звонко вскрикивала, хватаясь за что попало:

— Тронь только, всю морду расшибу! Батюшке скажу, только на порог ступит! Духу твоего тут не останется, побирושка, черт!

#### IV

Пришла весна. Серый снег съедали ветры и туманы, пегими стали мокрые поля. Кончилась Страстная неделя, наступила Великая Суббота. В пасмурный вечер Парашка поехала с отцом в село, к церкви, уж на телеге. Неприютно гудели голые лозинки на окраинах села, из-за них, в неверном вечернем сумраке, глядели сине-белесые тучи, грозя дождем, делая зонты зловещими. Но в ледяном ветре, что дул из-под туч, была весна, свежесть. Лицо Парашки горело и от ветра, и от румян, и от волнения,— от того, что она испугалась, надела все

чистое, нарядилась и села в новую телегу, рядом с красивым, богатым отцом, который правил дорогой сытой лошастью.

На широкой улице было грязно, лежал горбами лед. Вечер в селе, на улице, вдоль которой уже горели огни по избам, уютным, но бедным и чужим, казался еще нелюдимее. Но и в этих ранних огнях, и в хлопьях снега, которые внезапно погнал ветер вдоль улицы, странно убеляя ее грязь, ее темные крыши, — во всем был весенний праздник. Жмурясь от снега, Парашка и Устин нагнули головы. Изредка Парашка взглядывала исподлобья — и сердце ее заходило от непонятной радости при виде милого отцовского лица, его тонкой кожи, помолодевшей от ветра, блестящей бороды в крупных снежинках и мокрых ресницах... И вдруг кто-то громко крикнул над ними:

— Ай ослеп? Держи правее!

И, раскрыв глаза, Парашка увидела высокую лошадь и телегу с передком, а в телеге — поднявшего ворот чуйки и тоже согнувшегося от ветра и снега мещанина. Он взглянул на нее — и она мгновенно признала его.

— Чего кричишь? — ответил Устин веселым криком. — Завтра, праздник большой!

— Виноват, Устин Прокофич, — отозвался мещанин. — Ничего не видать...

И телеги разъехались.

Долго помолчав, Парашка, спокойно спросила:

— Ай ты его знаешь?

— А кто ж его, плута, не знает! — ответил Устин. — Он у Бальмашева на хуторе жил, теперь свое дело затевает, кружится, как вор, хочет в селе лавку открывать...

Парашка запахнула лицо шалью, задержала дыхание... Сердце ее колотилось, лицо стало серьезно...

А на Святой мещанин приехал в гости к Устину. За три года он ничуть не изменился, только беспокойнее стали его глаза. И одежда на нем была все та же, только чист был ворот рубашки. Она узнала, что зовут его Никанором, из его разговоров с отцом поняла, что он еще гадает: не уехать ли «на низы», в Ростов. Он пил с Устином чай и водку. Она не вникала в то, что он говорит, слышала только звук его четкого голоса. Не поднимая глаз, она, набеленная, нарумяненная, сидела в углу и грызла подсолнухи, как бы не замечая гостя. Не замечал, или делал вид, что не замечает, и он ее. Прощаясь, он протянул ей руку. Она не привыкла касаться чужих рук, подала ему свою неловко — и побледнела: и польстило ей это рукопожатие, и обожгло стыдом, точно это было начало тайного сближения их.

После этого он долго не показывался. Она по целым дням

стояла на пороге и нетерпеливо, с настойчивостью и требовательностью подростка, ждала его. Ей казалось, что он обязан, должен теперь приезжать и продолжать то, что начал, хотя и понимала, что он ничего не начинал. «Как только он приедет,— думала она,— повернусь и уйду, покажу, что не нуждаюсь им...» Но прошел месяц, завернули майские холода с дождями — его все не было. Накануне Николы она почему-то особенно ждала его, так томилась желанием видеть его, что, казалось, не может не исполниться ее желание. Спать она легла рано и плакала так зло и горько, что намочла вся ее подушка, но так беззвучно, что отец, спавший в двух шагах от нее, и не подозревал о ее слезах. Он только слышал, что она перевертывалась, и порою спрашивал странным и тревожным голосом, что это она не спит.

Утром отец уехал куда-то. Она увидела стекла, залитые дождем, и почувствовала, что уже ничего не ждет, ничего не хочет, что просто ей приятно вставать, прибирать избу, топить печь, заниматься обыденными делами. К вечеру она нарядилась, воткнула два сухих василька в косу, обвитую вокруг головы, и вздумала поставить самовар.

Дождь перестал. Все было мокро — и зеленая дорога, и зеленые хлеба, за которыми влажно-синими стенами стояли тучи, на все бросая тень свою. Самовар кипел, краснел решеткой в темных сенцах. Она вышла из избы с закопченным чайником в руке, напевая: «страшно итить к суду Божьему, золотой венец примать...», и стала ждать, пока самовар раскипит еще больше. Со двора перешагнул порог Володя, свежо пахнувший дождем и затхло — мокрым армяком. Но только что хотел он подойти к ней, как возле рамы двери показалась голова чьей-то высокой лошади. Володя твердо прошел дальше, отворил дверку на варок и скрылся, а она замерла, не поднимая глаз.

— Здорово! — смело сказал мещанин, появляясь на пороге.— Ловко попал, прямо под чай...

И, засмеявшись, снял и отряхнул картуз. Черная поддевка его лоснилась от дождя. Смуглое лицо, точно посыпанное порохом, было мокро.

Она не ответила и вспыхнула: он говорил теперь совсем не тем тоном, что при отце. Помолчал и он,— слышно было, как спросонья заворковали в темном углу под крышей голуби,— потом подошел к ней и, глядя на самовар, спросил:

— Отца нету?

— Нету,— ответила она тихо, склоняя голову, на которой синели два цветочных венчика.

— Жалко, — сказал он и похлопал кнутом по голенищам. — Так ты одна и спасаешься?

— Так и спасаюсь, — ответила она, слабо улыбнувшись.

— Ну, да ничего, в другой раз заеду, — сказал он. — Благо придирка есть... Я прямо сам не свой, как соскучился по тебе, — добавил он.

Она помолчала.

— Не веришь? — сказал он, осторожно обнимая ее. — А я правду говорю. Я в тебя влюбился еще в тот раз, когда гурт гнал. А увидел тебя в селе, ослеп от радости, чуть в буерак не заехал. Я прямо почувствовал: быть роману промежду нас, а не то мне прямо пропадать!

— Я эти побаски слыхала, — с трудом ответила она. — Пусти, — бесстрастно сказала она, локтем отводя его руку.

Но он не пустил, он знал, что еще не слыхала она этих побасок. Он крепче обнял ее и горячо заговорил:

— Дай Бог мне без покаянья помереть, если брешу! Не видать мне отца-матери...

Она молчала. Ей казалось, что она вот-вот упадет. Он воровски оглянулся, нагнул голову, нашел ее губы и откинул ее лицо назад. У нее перехватило дыхание от насильственного и долгого поцелуя. Потом он с притворным отчаянием махнул рукой и пошел к порогу.

— Ну, теперь шабаш мне! — сказал он, садясь в телегу. — Потерял я свой покой навеки...

И шибко погнал высокую лошадь по ярко-зеленой траве на тучу, тень которой уже мешалась с сумерками.

Скоро он скрылся за перевалом, и стало так тихо, что как будто в двух шагах раздавался бой перепелов, перекликавшихся в самых дальних хлебах, за чуть синевшим леском.

## v

Он заезжал еще два раза, но все не вовремя: Устин был дома. И она притворялась, что не замечает его, пока он деловито болтал с Устином. От напрасного желания увидеть его хоть на минуту глаз на глаз она ходила как пьяная.

Вернулся солдат, муж Евгении. С женой, отцом и с мачехой он приехал Петровками в гости к Устину на толстой, низкой соловой лошади, в новой телеге, крытой новым войлоком и по колесам облитой свежим коричневым дегтем. Отец солдата, коротконогий мужик в черной бороде с сединой возле рта, странно веселый человек, не стыдясь женатого сына, женился

в третий раз на хромой бабе с дерзким взглядом и острыми грудями. И всем было неловко за него, да и сам он был весел и разговорчив, вероятно, от неловкости. От неловкости неумеренно пили за обедом. Ели тоже неумеренно, угощая друг друга с излишней настойчивостью, говорили без толку, чаще всего загадками, намеками и пословицами. Парашка весь обед боялась, что вот-вот разразится ссора. Все быстро захмелели, кроме Евгении, которая только бледнела от водки и грубо, властно вырывала стакан у своего пьяного солдата, притворявшегося злобным и серьезным. С губ Устина не сходила ядовитая усмешка, когда он вполголоса, но твердо, перебивая все объяснявшегося ему в любви солдата отца, говорил ему пословицы и загадки, намекая на бесстыдство троеженцев. Хромая была дерзка и криклива, она тоже так и сыпала пословицами, обрезая Устина. Володя пытался перевести беспорядочный и тревожный разговор на свое любимое, на беседу о работниках и жалованье. Его никто не слушал. Он неприятно покраснел, стал со слезами кричать песни. Устин молча взял его за плечи, подвел к двери и вытолкнул вон. Он ушел на варок и, свалившись в сани, заснул мертвым сном. У Парашки, измученной ожиданием ссоры, как от угара замирало сердце.

После обеда пили чай и водку перед избою, в тени, на зеленой траве. Потеряв во хмелю всякий стыд, отец солдата, шатаясь, принес из своей телеги гармонию, стал совать ее в руки солдату, требуя играть плясовую. Солдат, с помутившимися глазами, в расстегнутом мундире, сидел на скамье возле стола и раскачивался, каждую минуту готовый упасть. Он долго не понимал, чего требует отец. Наконец понял и бешено, отрывисто задергал «Кабы курочка бычка родила...». Троеженец подсунул руки под черный армяк за спину, присел, раскорячился, забил сапогами в землю. Ударив в ладоши, сделала перед ним выходку хромая, затрясла своими козьими грудями. Лицо Евгении окаменело от сонной злобы. Устин облокотился на стол, запустив тонкие пальцы в свои бронзовые завитки, стиснув зубы. В углах его губ так и застыла ядовитая усмешка. Сумрачным весельем играли глаза.

— Дочка! Поди сюда! — крикнул он строго, не в лад со словами сдвигая брови. — Поди поцелуй меня!

— Ты пьяный, — ответила Парашка. — Глаза б мои на тебя не глядели!

Губы ее задрожали. Она повернулась и ушла за избу. За избой слепило низко опустившееся солнце. Блеснув крыльями, с дубков слетели, пали в рожь, в неглубокие лужи, заросшие цветами, две горлинки... Как тихо было тут после гама пьяных!

Простор хлебных полей был к закату неоглядный, золотой, счастливый... Парашка села на межу и дала полную волю слезам.

Наплакавшись, она решила вернуться к избе и, с помощью сестры, прекратить это безобразие — растащить пьяных, убрать водку, самовар. Была уже ночь — светлая, странная. Высоко на небе громоздились огромные матовые облака — небо казалось больше и величественнее, больше и зеркальнее казалась и высокая луна, сиявшая среди них. По широкой дороге, по хлебам пятнами проходили тени. Грядка телеги, стоявшей перед избою, и солома в ней серебрились. В телеге лежал отец солдата — боролся и ссорился с пьяной женой. У стола валялась опрокинутая скамейка. Самовар блестел медным боком, тускло блестела лужа на столе: кто-то выдернул кран из самовара. Под навесом амбара, как будто радуясь то сиявшей, то таявшей луне, играл, взвизгивал и давился на цепи жарко дышавший пес. Парашка заглянула в избу. Солдат сидел за столом, облокотясь на обе руки и положив на них ошалевшую голову. Он что-то бормотал. Мухи сонно и угрюмо шумели в решетах и ситах, развешанных на стене возле печи. А солдат что-то кому-то рассказывал, хвастался, что он, в силу своего значения, «присвоит» к какому-то барину какого-то Якова Иваныча...

Но где отец, Евгения? Парашка повернулась, вышла в сенцы, на порог. Высокая теплая луна ярко сияла среди матовых облачных громад. Против порога стоял, держа в одной руке повод, в другой кнут, мещанин, сзади него — его высокая лошадь под седлом. Лицо его от лунного света меняло выражение.

— Отец твой совсем готов, на девятом обруче,— с усмешкой сказал он онемевшей от страха Парашке.— Сейчас встретил во ржак: пьян хоть выжми, буровит — «в село иду», а Евгения его назад тащит...

Парашка молчала. Он бросил повод, взял ее ледяную руку в свою, горячую и крепкую, втянул ее в темные сенцы. Она вошла, упираясь. Он прижал ее, тупо глядевшую через его плечо на дымно-зеленую полосу лунного света, падавшую сквозь дыру крыши в темноту, притиснул к холодной каменной стене и стал целовать ее лицо, приговаривая:

— Погоди, за-ради Бога погоди... «Энтих нету уж дён, что летели стрелой, что любовью нас жгли, что палили огнем...» Я памяти по тебе лишился! Увезу тебя в Ростов, повенчаюсь там с тобой, вдаримся мы в степя,— на одних лошадях тысячи наживем... Лучше всякой модистки будешь наряжена!

Она вспомнила его таким, каким увидала впервые, — среди овец и собак, на старом, тавреном киргизе, — обняла его за шею одной рукой, вся задрожала от счастья и нежности, спрятала лицо на его груди. Он приподнял и положил ее на солому.

## VI

Придя в себя, она долго сидела на соломе в этом темном углу. Мещанин пытался целовать ее, что-то торопливо говорил. Она оттолкнула его, замотала головой, показывая, что не слушает. Он воровски выглянул из сенец, быстро сказал, что придет завтра ночью, что она должна выйти к нему под дубки за избой, что у него есть большое дело к ней... «Приду, приду», — ответила она. «Смотри же, не обмани», — сказал он естественно, поняв, что она не придет. Слышно было, как звякнул он стременем, поднимаясь в седло, как затопталась на месте и тронула лошадь... Она то глядела на полосу лунного света, то опускала глаза.

Когда мещанин, обернувшись, сказал ей: «смотри же, не обмани», — она вдруг увидела в окошечке, пробитом в дверке на варок, шапку и лицо Володи. Это было так страшно, как если бы сама смерть заглянула в сенцы. «Да теперь все равно!» — подумала она. Сердце ее билось так сильно, что трудно было дышать. Высоко поднимая и опуская грудь, она прижимала к нему руки. Но все это не мешало ясности мысли. А мысль была проста: она пропала! и так страшно, неожиданно, как бывает это во сне!

Несколько дней после праздника Устин хмурился: стыдно, дюже напился. А она изнемогала от слабости, разбитости во всем теле и желания лежать с утра до вечера. Но нужно было ходить, быть бодрой и покойной, и даже шутить за обедом с отцом и с Володей. Думала же она с утра до вечера все одно и то же.

Устин уезжал и приезжал. Казалось, что, посиди он дома, никуда не спеша, не волнуй ее своими отъездами и приездами, она бы пришла в себя и выдумала бы какой-нибудь исход, какое-нибудь подобие спасения. Было страшно, что он, посидев дома и приглядевшись к ней, все поймет; но и хотелось, остро хотелось порою, чтобы он понял: тогда бы само собой как-нибудь развязалось все это. Казалось, что, будь дождливо, сумрачно, было бы легче. Но настали дни светлые, знойные и бесконечно-долгие; близилась рабочая пора, стали поспевать, желтеть моря отяжелевших и подсохших хлебов, — и некуда

было скрыться от света и зноя. После того нечаянного праздника, что нарушил будни в хуторе, хутор стал как будто еще молчаливее, и напряженная тишина стояла вокруг него в желтых и светлых полях.

Она по целым дням сидела на лавке возле стола в жаркой и пустой избе, глядя на несметных мух и мельчайших новых мушек на горячих мутных стеклах. Володя ничего не делал, но, как всегда, имел озабоченный вид, отыскивал какие-то пустяковые занятия и входил в избу. А входя, был прост, как будто ничего не случилось, только прекратил любовные попытки. Что это значило? Верно, он ждал какой-то удобной минуты и надеялся, что теперь уже не даст промаху. И Парашка горько усмехалась: вот дурак! Взял бы лучше да рассказал отцу все, что видел!

Однажды в полдень, когда в мягком светоносном блеске млели в высоком млеющем небе, над хлебами и нагретой пыльной дорогой, чуть видные сияющие облака, возле амбара остановилась пара лошадей. В тележке сидела полная барыня, которая, как знала Парашка, много была должна Устину. Вид у нее был усталый, озабоченный, на сером лице и на крыльях носа пыль. Она задумчиво говорила все одно и то же, жалея, что не застала Устину, томительно-долго не уезжала. Кучер исподлобья глядел на пристяжную, которая зубом чесала свою отставленную ногу, барыня — не то в землю, не то себе в переносицу. Потом, прищурившись, стала рассматривать похудевшее лицо Парашки, ее позеленевшие прозрачные глаза.

— Ты здорова? — спросила она вдруг.

Парашка просто и твердо ответила, что здорова, но, когда барыня уехала, все смотрела в зеркало, сидя на лавке у окна, и замирала от страха. Она очень изменилась, это ребенок мог заметить — как же не замечал отец? Но вот-вот и он заметит: сразу поймет все, что случилось, — и что тогда?

Думая, она охватила всю свою недолгую жизнь. Оказалось, что она даже и не подозревала прежде, в каком наваждении жила она, как много думала все об одном и том же, сколько смутных пленительных картин каких-то дальних счастливых городов, степей и дорог дали ей думы, как нежно любила она кого-то... Сделав свое страшное дело, Никанор убил и ее и себя. Он, этот коротконогий вор, вдруг стал живым, настоящим — и ненавистным ей. Не могла любить и никогда не любила она его. Теперь без стыда, отвращения и отчаяния нельзя было вспомнить об этом человеке. Сбылось предсказание страшного босяка! Она чувствовала себя как бы зараженной какой-то постыдной неизлечимой болезнью и навеки отделенной от отца бездонным провалом.

Но, думая, тихо плача, снимая столовые платок и разглаживая его, она незаметно для самой себя давала волю сердцу — и мысли ее туманились. Она вспоминала, как любила, ждала кого-то — и любовь эта возвращалась, и она не могла найти себе места от тоски по прошлому, от жалости к себе, от нежности к тому, кого она, казалось, так долго любила. Она думала об отце, которому говорила когда-то: «Я вся наружи перед тобою», — и готова была закричать, вскочить в холодную полонину, где он жил, ночевал, отдыхал после обеда, и кинуться ему под ноги, чтобы он истоптал, убил ее сапогами, лишь бы утолилась ее мука о невозвратном, прежнем времени. «Для тебя, дочка, для тебя одной», — вспоминала она слова его и плакала, изнемогая от сладострастия горя и слез.

Как-то вечером Устин с Володей поехали в село, повезли отбивать косы. Вечер был ясный, покойный, равнины спелых ржей за блестящей в вечернем свете муравой по большой дороге розово желтели, черные стрелчатые касатки, мелькая розовыми грудками, пронеслись мимо открытого окна, у которого сидела Парашка. Вдруг на опушке хлебов, во ржи за дорогой, выросла короткая фигура Никанора: он, видно, давно сидел в хлебах, прятался и вдруг встал, выпрямился. Она в ужасе отшатнулась от окна. А он быстро пересек сухие колеи и вошел в избу.

— Здравствуй, — сказал он негромко, останавливаясь у порога. — Никого нету?

— Никого, — ответила Парашка, чуть шевельнув побледневшими губами.

— Дело есть. Пойдем за избу, под дубки.

Он говорил, как муж, как близкий, как власть имеющий, как человек, с которым у нее уже есть нерушимая связь и тайна. И она молча встала и пошла.

Под дубками он твердо, кратко, оглядываясь, сказал ей, зачем пришел: она должна помочь ему свести с отцовского двора двух кобыл и бежать с ним в Ростов. Она тупо ответила, не поднимая глаз:

— Хорошо.

Солнце опускалось за усатыми колосьями, среди которых они сидели на меже, и осыпало остинки колосьев золотистой пылью. От большой дороги, с юго-востока чуть тянуло мягким ветром близкого июля, рабочей поры, когда так равна и матова сухая синева неба, и мягко жужжали сухие, жесткие подкрылья опускающихся на колосья и качающихся на них рыжих хлебных жучков.

Никанор говорил так: ровно через неделю Устин уедет в ночь на Тихвинскую ярмарку, возьмет и Володю с собой, а

вернется только поздним вечером; все это он, Никанор, доподлинно знает, так как обещал Устину тоже быть на ярмарке и помочь ему продать жеребца. Значит, в обеде, когда ни души не будет в полях, можно спокойно вывести кобыл со двора, привязать их к телеге и гнать что есть духу по проселкам, особенно глухим пред рабочей порой, в сторону Лебедяни. Ночуют они в таких артебах, в таких заповедных логах среди хлебов, куда ни один черт не заглянет. Чем свет — дальше. А в Лебедяни есть верный, золотой человек: ему-то они и сбудут кобыл за три, четыре сотни, и составитя тогда у них больше пятисот рублей, на которые они и до Ростова добьются, и дело начнут, давно уже обдуманное.

— А какое? — спросила Парашка.

— Ну, ты по этой части еще тупорыла, — сказал Никанор с усмешкой.

— Лучше бы ночью, — сказала она серьезно.

— Да что ты! — насмешливо сказал Никанор, делая папиросу из газетной бумаги.

И вздохнул:

— Никак, девка, не выходит. Уж слушай мое готовое.

— А скорей нельзя? — спросила Парашка, разглядывая свои маленькие босые ноги.

— Скоро делают, слепых рожают.

Она помолчала, и в сердце у нее опять задрожала злоба против него. Ждать целую неделю! Как он не чует ее муки! Ах, да не лучше ли взять да повеситься вот на этом дубке? — подумала она без слов и стала крепко кусать губы, удерживать дрожь мускулов на лице, но не выдержала и заплакала.

— О чем ты? — спросил удивленный Никанор.

Она не ответила и заплакала пуще.

— Тебе говорю ай нет? — грубо крикнул Никанор.

— Отстань! — крикнула она в ответ с такой ненавистью и бешенством, что Никанор даже отодвинулся от нее.

— Ну, будя, будя, — сказал он смущенно и хотел обнять ее. Она оттолкнула его локтем. Он все-таки насильно овладел ею.

## VII

Целую неделю, до самой Тихвинской, Устин, как нарочно, сидел дома. Приходила Евгения — жаловаться на своего солдата, оказавшегося после службы совсем дураком и пьяницей, и на свою хромую свекровь, злую и распутную, помыкавшую свекром. Но Парашка не слушала ее. Она уже ничего не думала,

ничего не чувствовала — тупость, какая-то обреченность владели ею. Спала она эту неделю очень много — и днем и ночью. Просыпаясь, вскакивала, поражаясь мыслью о том, что вот-вот предстоит ей.

Наконец пришла последняя ночь.

Было уже поздно, но она не спала, лежала на нарах. Так же, как в темной избе, видела в окно небо в бледных звездах, слушала, как что-то говорил под окном отец... Потом дверь избы бесшумно распахнулась.

— Дочка! Спишь? — негромко спросил он, останавливаясь у порога.

— Нет... — с трудом пробормотала она.

Но он не заметил странного звука ее голоса — и двинулся к нарам. Найдя ее в темноте, он сел возле нее и положил на ее обнаженное плечо руку.

— Дочка, что с тобою? — тихо и таинственно сказал он, наклоняясь к ее лицу, — и она почувствовала его бороду, тепло его дыхания и приятный, хлебный запах водки. — Ты не таись, — еще тише сказал он, обнимая ее и царапая плечо сермягой поддевки.

Сердце ее затрепетало. «Батюшка! — со слезами хотела крикнуть она — и одним криком этим выразить всю свою муку и беспомощность. — Батюшка, — хотела она сказать, — он погубил, опоганил меня, я не его, я не знаю, кого люблю, а тебя в свете ни на кого не променяю...» Но он еще ближе прижался к ней и вдруг зашептал совсем на иной лад, заискивающе, слащаво, путаясь:

— А гостинчика, обоновочки хочется? Я в город, на ярманку еду сейчас — что тебе купить? А? Говори-ка скорей, не бойся...

И дрожащей рукой скользнул по ее спине. И, пораженная, она так рванулась из-под него, что он чуть не упал с нар. Вскочив на ноги, она забилась в угол, протянула вперед руки, а он отступил и забормотал:

— Что ты? Что ты? Да ты что подумала-то?

— Уйди, — едва слышно выговорила она, чувствуя свои оледеневшие губы. И в радостном изумлении, в светлом восторге иступления, отчаяния, подумала:

«А-а! Так вот оно что!»

Он постоял и вышел. Она слышала его неестественно-звонкий голос на дворе, слышала скрип телеги, окрики на привязанного к ней и шарахавшегося жеребца, слышала, как они с Володей сели и тронулись... С кошачьей зоркостью глядя в темноту избы, она долго стояла на нарах в глубокой тишине

степной ночи, обступившей ее со всех сторон. Потом осторожно легла и сразу заснула...

А день настал глухой, палящий, ослепительный, хотя блестящие горизонты были от зноя мутны и белесы. Она очнулась чуть не перед обедами. Солнце било в тусклые, засиженные мухами окна, наполняло избу жаром и светом. Заспанная, не умываясь, с тупой и тяжелой головой, она босиком выскочила на порог, под солнце, стоявшее уже очень высоко, и сухой жар так и облил ее всю. Море спелых хлебов как будто сдвинулось, теснее обступило и двор и дорогу, тускло блестящую глубокой пылью. И этот песочный цвет хлебов, низко склонивших тяжелые колосья и застывших в тишине, в густом горячем воздухе, давал впечатление отчаянной духоты.

Она растерянно оглянулась и попыталась вспомнить: что это она должна сделать сейчас? То, что за нею сейчас приедут и что надо будет после этого поскорее уезжать, скрываться, она твердо помнила. Но как же это она не простилась с отцом, не сказала ему того, что придумала ночью и что надо было сказать? Правда, после вчерашнего, с отцом можно было и не прощаться и ничего не говорить, но как же она не подумала, что взять с собою, ничего не собрала, не умылась, не обулась? Она стояла на зное с открытой головой, держала руки под мышками, чувствовала жар на своих открытых плечах, касалась босой ногой горячего камня у порога. Белый пес с высунутым языком лежал в короткой тени под амбарами. Она со страхом глядела то на него, то на хлеба, на проселок...

И вдруг во ржах, на тускло-серебристом небосклоне, появилась дуга и высокая худая лошадь. Никанор сидел на грядке телеги, сдвинув на затылок картуз, и усердно дергал вожжи. Рысью, поднимая пыль, перерезал он большак и, гремя, подкатил к самому порогу. Глаза у него были расширены, черное от загара лицо все в поту, вид удивленный.

— Что же ты? — быстрым шепотом спросил он, соскакивая с телеги и не замечая, что Парашка разута и почти раздета. — Все готово? Уехали?

Она, не отвечая, дико глянула на него, спрыгнула с порога, блеснув голыми ногами, и направилась к воротам, на варок. Навалившись на них плечом и чувствуя, что и ворота горячи от солнца, со скрипом распахнула обе половинки. По глубоко-му пересохшему навозу пошла к темному деннику, где стояли кобылы. Никанор въехал за ней, сделал круг, бормоча: «Да что ж ты не оделась-то?» — На двери денника висел большой замок. Парашка обернулась.

— Ключа у меня нету,— сказала она, глядя на Никанора большими, стоячими, прозрачно-зелеными глазами.

Никанор оглянулся, увидел голыш, на котором точили топоры, схватил его в обе руки и с навесу стукнул по замку. Замок отвалился вместе с петлей — и Парашка, не дав ему упасть, подхватила и крепко зажала его в своей маленькой загорелой руке. Еще больше сдвинув на затылок картуз, мокрый от пота, Никанор с тяжелой обротью в руке вошел в денник и склонил голову к плечу, вглядываясь в сумрак, где, отшатнувшись, изогнулась и прижалась к стене гнедая кобыла, красавица с лиловыми глазами. Парашка, сделав большой шаг, неумело, но изо всей силы ударила его в висок замком. Он коротко споткнулся и упал, ткнулся головой в навоз. Парашка подскочила, как стрела метнулась вон из денника и понеслась к воротам. Лошадь Никанора, стоявшая у ворот, всхрапнула — и вместе с нею вылетела на дорогу. Пыля и гремя телегой, она подхватила в одну сторону, к городу, в белесую блестящую даль за перевалом, а Парашка — в другую, через дорогу, к ржам. На бегу обернувшись, она вдруг остановилась: из ворот выскочил без картуза, весь облитый по лицу и по рубашке алой кровью, Никанор и, почти падая, ударился догонять свою обезумевшую лошадь. Парашка взвизгнула и нырнула в душную гущу колосьев...

Многие, что ехали в этот день по проселкам, видели ее, быстро бежавшую целиком, без дорог, по хлебам. Порою она приседала, выглядывала — и опять бежала, мелькая среди желтых колосьев белой сорочкой и раскрытой головой.

Поймали ее только через пять дней. И, отбиваясь, она проявила страшную силу, искусила трех мужиков, крутивших ей руки новой вожжовкой.

*Капри, март, 1913 г.*



И. А. БУНИНЪ

Ч А Ш А  
Ж И З Н И



П А Р И Ж Ъ

1922



## ЧАША ЖИЗНИ

### I

Тридцать лет тому назад, когда уездный город Стрелецк был еще проще и просторней, семинарист Кир Иорданский, сын псаломщика, влюбился, приехав на каникулы, в Саню Диесперову, дочь заштатного священника, за которой от нечего делать ухаживал консисторский служащий Селихов, пользовавшийся отпуском. Саня была особенно беззаботна и без причины счастлива в то лето, каждый вечер ходила гулять в городской сад или кладбищенскую рощу, носила цветистый мордовский костюм, большим бантом красной шелковой ленты завязывала конец толстой русой косы и, чувствуя себя красивой, окруженной вниманием, все напевала и откидывала голову назад. Из всех ее поклонников нравился ей один Иорданский. Но она его боялась. Он пугал ее своей молчаливой любовью, огнем черных глаз и синими волосами, она вспыхивала, встречаясь с ним взглядом, и притворялась надменной, не видящей его. А Селихов был губернский франт, он держался всех любезнее, смешил ее подруг, был остроумен, находчив и заносчиво, играя тросточкой, поглядывал на Иорданского, даром что мал был ростом. Да и заштатному священнику казался он приятным и дельным молодым человеком, не то что Иорданский, дюжий и нищий семинар. И однажды, в июльский вечер, когда в городе все катались, все гуляли и в золотистой пыли, поднятой стадом, садилось в конце Долгой улицы солнце, когда шла Саня в кладбищенскую рощу под руку с Селиховым, азади, среди подруг Сани, шагал сумрачный Иорданский и, покачиваясь, гудел великан Горизонтов, тоже семинарист, Селихов небрежно глянул на них через плечо и, наклоняясь к ее лицу, нежно прижимая ее руку, вполголоса сказал:

— Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна.

## II

Тридцать лет, избегая встречаться, почти никогда не видя друг друга, не забывали друг о друге Иорданский и Селихов. Все свои силы употребили они на состязание в достижении известности, достатка и почета. Давным-давно жили они оба в Стрелецке и, состязаясь, многого достигли. Иорданский стал протоиереем и весь уезд дивил своим умом, строгостью и ученостью. А Селихов разбогател и прославился беспощадным ростовщицеством. Иорданский купил дом на Песчаной улице. Не отстал от него и Селихов: нагло ему купил дом вдвое больше и как раз рядом с ним. Встречаясь, они не кланялись, делали вид, что даже не помнят друг друга; но жили в непрестанной думе друг о друге, во взаимном презрении. Презирали они, не замечали и жен своих. Иорданский на десятом году супружества равнодушно лишился своей некрасивой жены. А Селихов почти никогда не разговаривал с Александрой Васильевной. Вскоре после свадьбы он застал ее однажды заплаканной: в мордовском костюме, с косой, заплетенной по-девичьи, она стояла в спальне перед своим комодом, перед раскрытой венчальной шкатулкой, где лежали фотографические карточки, между ними и карточка Иорданского,— пудрила свое распухшее лицо и покусывала губы, чувствуя приступ новых слез. Он знал, что это были слезы по молодости, по тому счастливому лету, что однажды выпадает в жизни каждой девушки, что не в Иорданском тут дело. Но простить ей этих слез не мог. И всю жизнь ревновал ее к о. Киру, самолюбивый, как все маленькие ростом. А тот всю жизнь чувствовал к ней тяжелую, холодную злобу.

И шли дни за днями, годы за годами, и осталась у Александры Васильевны одна дума, одна мечта — о доме.

## III

Она была уже слаба, полна и склонна к слезам, к грусти. Состарился и Селихов. Но о своей посмертной воле он упрямо молчал. Аккуратный, спокойный и бескровный, чуть горбясь и заложив холодные пальцы своих всегда дрожащих рук в немодные, прямые карманы панталон, он похаживал по своим чистым пустым комнатам, среди мебели в чехлах, да насмешливо что-то обдумывал. Жизнь прошла, прошла и злоба на глупость

людскую,— осталось одно презрение. Он делался все суше и меньше, вынимал золотое пенсне все небрежнее и прикладывал его к переносице при осмотре вещей, приносимых в заклад, все мимолетнее: всему цену знал он теперь! Дом купил он у помещика, старый, с деревянными колоннами, с садом. Дом попался ему удивительный. На дворе в морозном пару краснело солнце — в доме было тепло. На дворе палил летний зной — в доме было прохладно и смешивался с прохладой мирный запах нафталина. Летом часов с десяти до трех пекло как раз ту сторону, на которой стоял дом; но спасали зимние рамы — они никогда не вынимались. Весь дом дрожал и гудел, звеня люстрой, когда вскачь неслись с вокзала на вокзал извозчики. Они тучей поднимали рыжую пыль, которая покрывала все крыши, все стены и окна на Песчаной улице. Но Селихов на улицу никогда не выходил. Бродя по комнатам, он обдумывал и все изменял завещание. Александра же Васильевна сидела в своей спальне окнами во двор и вязала чулок. Она думала о прошлом, о будущем, порою привычно, не бросая работы, плакала. Под мерный стук часов муж мерно ходил из комнаты в комнату, равнодушно поджидая закладчиков, то слезливых, то не в меру развязных, и с загадочной усмешкой поглядывал в кабинет, на железный несгораемый шкаф с большими железными шишками на скрепах, похожими на большие глаза. Но порою наступала полная тишина: он останавливал часы, садился за громадное старинное бюро — и слышался в доме только неторопливый и прилежный скрип гусяного пера... Но что писал Селихов? Что готовил он ей под старость?

Она знала одно — что ему ничего не стоило обречь ее на нищету, на позор перед целым городом, лишить ее не только денег, вещей, но и этого дома, своего угла. Он ведь не замечал, не видел ее. Он сперва на «ты», а потом и совсем запретил ей разговаривать с ним. При гостях он был иной: со всеми любезен, шутлив, меток на слово, мил и сдержан даже в карточных спорах. Но гости — два-три человека и все одни и те же: помощник исправника, податный инспектор и нотариус — бывали не больше двух-трех раз в году.

#### IV

Отец Кир пил. Вечный хмель свой он оправдывал своим умом и тем, что живет он в Стрелецке, в этом полустепном городишке, где только возле неуклюжего собора и базарной площади белеют каменные дома хлеботорговцев, а по окраинам — хибарки, нищета.

Высокий, дородный, он похож был на боярина; долго был силен и красив. В женской прогимназии, где он преподавал, в него влюблялись самые восторженные девушки, те, полные, волоокие, до времени развившиеся, у которых бывают такие чудесные пепельные волосы, такой нежный цвет лица и такой горячий румянец застенчивости: не могли они спокойно видеть его черных соколиных глаз, его синих кудрей, лежавших по плечам, осыпанным перхотью, по коричневому подрыску, сладко пропахнувшему ладаном и табачным дымом. Портили его только зубы, коричневые от неумеренного курения.

Всегда и всем, не делая никаких исключений, он говорил «ты»: ведь были же пастыри, говорившие так вельможам и князьям, даже царю самому. Они поучали, наставляли их сурово, порою обрывали их.

— Благослови, пастух,— сказал как-то один вельможа одному такому пастырю.

— Благословляю, во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, самую глупую овцу стада моего,— отвечал пастырь.

Скупцами о. Кир был груб, с начальниками скор и находчив на резкое слово, с вольнодумцами краток и беспощадно логичен. В Стрелецке редко попадали в руки адресатов цветные открытки. Но о. Кир исправно получал даже самые красивые, с видами Кавказа и Крыма — от племянника, молодого, но уже видного чиновника при губернаторе: о. Кир пригрозил почтмейстеру лишением места за пропажу хотя бы одного письма к нему. И весь город говорил об этом с восхищением. Весь город восторгался о. Киrom, как человеком необыкновенного ума и редкой учености. За великую честь считали принять и угостить его. Но приглашения о. Кир принимал разборчиво, в свой же дом никого не пускал.

Дом его, длинный и невысокий, по кирпичу беленный мелом, был далеко виден по широкой улице. Нигде не росло ни единого деревца — разве какая-нибудь кривая яблонька на мещанском пустыре. Но за железной крышей протоиерейского дома пыльно и бледно зеленели верхушки молодых тополей. Везде входом служили калитки. У о. Кира был подъезд (к которому, впрочем, никто не подъезжал).

Вечно заперты были ворота о. Кира, подворотня заложена тяжелой тесиной. Отворялись эти ворота только тогда, когда приезжал водовоз, старичок в кумачной рубахе. Только он один мог свободно выведывать о домашней жизни о. Кира у плечистой стряпухи в сапогах, когда она подставляла под бочку ушат, а он пускал в него толстую струю воды. Только к водовозу был снисходителен о. Кир. Он шутил над ним, шут-

ками отвечал ему и водовоз: это был удивительный человек — он никого не боялся, ни о чем не тужил, доволен был решительно всем.

— Жолудь! — громко и строго кричал о. Кир, выходя на крыльцо.

— Аюшки? — беззаботно отзывался старичок, подъехавший на бочке к воротам и с трудом, согнувшись в три погибели, поднимавший тесину.

— Опять не полную привез?

— Опять.

— Смотри: отколочу!

— И то не плохо! Дураков и в алтаре бьют...

Но однажды, узнав, что Жолудь привез бочку воды и Селихову, о. Кир и Жолудя лишил своего благоволения, навсегда прогнал его со двора долой.

## V

Зимой на Песчаной улице было много снега, было серо и пустынно, весной — солнечно, весело, особенно при взгляде на белую стену протоиерейского дома, на чистые стекла, на серо-зеленые верхушки тополей в голубом небе. Летом было очень жарко. От пыли небо тускло серебрилось. В полдень вскачь неслись извозчики, поспешая к вокзалу, стоявшему за городом, под горой. В час они медленно тянулись назад и везли приезжих, чаще всего купцов с ковравыми сумками, которые и теперь еще называются сак-де-войяжами, а не то распространителей граммофонов, молодых бритых евреев в английских картузах, с английскими трубочками в зубах. Встречаясь с о. Киrom, кажется, одни эти евреи глядели без страха, хотя он не терпел их, особенно их языка: он однажды, на вокзале, запретил евреям разговаривать на своем языке, сказав:

— Здесь вам не синагога.

Дородный и строгий, проходил он по Песчаной улице, в коричневом подряснике, в палевой соломенной шляпе, поглаживая кончиками пальцев наперсный крест, — и все боялись его. Под забором сапожника когда-то по целым дням играли в лодыжки мещанские подростки; там, бывало, стучали в забор свинчатки и раздавались крики: «Плоца! Жог! Ника!» Подростки эти были лодыри дерзкие. Но от протоиерея они ушли играть подальше — к хибаркам на спуске к вокзалу. Бегали ватагой мальчишки — запускали в небо змея, постоянно цеплявшегося за струны телеграфных столбов и оставлявшего на них свой мочальный хвост. Но, завидя о. Кира, они рассыпа-

лись куда попало. Пробиралась по теневой стороне, по ухабистому тротуару, мимо ворот и окошечек с горшками цветов, какая-нибудь старуха, настолько переломленная, склоненная к земле, что было удивительно, как может идти этот прямой угол. Но совсем не из-за тени, жидкой и короткой, пробиралась она там, а лишь бы не попасть на глаза о. Киру: он не любил старух, этих страстных поклонниц юродивого Яши, обитавшего в старой часовне над склепом в кладбищенской роще, он ненавидел человеческое безобразие. Загорелый мещанин, потевший в черном картузе и толстой чуйке, шел по середине улицы как будто вольно, заложив руки назад: что ж ему, он ведь не здешний, он шел с вокзала. Но, увидавши о. Кира, он с решимостью отчаяния вдруг обнажал голову и быстро направлялся к нему. В левой руке о. Кира была высокая палка с серебряным набалдашником. Правой, приостановясь, он благословлял — широко и властно. А благословив, совал к губам, покорно искавшим ее.

— Откуда? — громко спрашивал он.

— Липецкий, — бормотал мещанин.

— Надень картуз. Как у вас нынче сады?

— Цветы дивно, ваше преподобие, но ветер, Господь с ним... Всю завязь обил.

— Садоводы, а бестолочь. Не знаете своего дела. Ну, ступай с Богом...

Не терпел отец Кир и бродяг, беспаспортных, пришлых людей. Песчаная улица была не избалована зрелищами. Однажды, когда появился на ней серб с бубном и обезьяной, несметное количество народа высыпало за калитки. У серба было сизое рябое лицо, синеватые белки диких глаз, серебряная серьга в ухе, пестрый платочек на тонкой шее, рваное пальто с чужого плеча и женские башмаки на худых ногах, те ужасные башмаки, что даже в Стрелецке валяются на пустырях. Стуча в бубен, он тоскливо-страстно пел то, что поют все они спокон веку, — о родине. Он, думая о ней, далекой, знойной, рассказывал Стрелецку, что есть где-то серые каменные горы,

Синее море, белый пароход...

А спутница его, обезьяна, была довольно велика и страшна: старик и вместе с тем младенец, зверь с человеческими печальными глазами, глубоко запавшими под вогнутым лобиком, под высоко поднятыми облезлыми бровями. Только доловины покрывала ее шерсть, густая, остистая, похожая на енотовую накидку. А ниже все было голо, и потому носила обезьяна ситцевые в розовых полосках подштанники, из которых

смешно торчали маленькие черные ножки и тугой голый хвост. Она, тоже думая что-то свое, чуждое Стрелецку, привычно скакала, подкидывала зад под песни, под удары в бубен, а сама все хватала с тротуара камешки, пристально, морщась, разглядывала их, быстро нюхала и отшвыривала прочь.

Лохматый сапожник, прибежавший позднее всех, крикнул, что надо бить и обезьяну и серба, что этот серб — непременно вор. Все подхватили его слова, зашумели. Но показался вдали о. Кир. И улица мгновенно опустела: все скрылись по калиткам. Он же, приблизясь к сербу, запретил ему ходить по улицам Стрелецка. Он строго и кратко приказал ему уйти вон из города, постараться добиться до родины, исправиться и заняться честным трудом.

## VI

Александре Васильевне порою казалось, что была в ее жизни большая любовь: что схоронила она ее в своей душе, что судьба обошла ее и заставила быть покорной другому, нелюбимому, велела идти разными дорогами с любимым и искать отрады лишь в покорности. Но, может, не о. Кира любила она, а только свою девичью косу, свой мордовский наряд, свою недолгую беззаботность в то, далекое лето? О. Кир служил в соборе; нѣ она никогда не бывала там, ходила в Никольскую церковь, — Селихов запретил ходить в собор. Не будь о. Кир священником, могла бы она мечтать о тайной греховной связи с ним; но Богу предстоял он, тайны рождения, брака, причастия и смерти были в его руках. И страшные слова слышала однажды Александра Васильевна: уже больной, мрачный, во хмелю, встретился о. Кир с Селиховым возле его дома и сказал, грозя посохом:

— Селихов! Помни час, его же не минует ни единое дыхание: это я — слышишь ли, Селихов? — я, облеченный в траур, в оный день воздам тебе последнее земное целование, окружу тебя кадилным дымом и осыплю лицо твое могильной перстью.

— Кто знает, отец Кир, — ответил ему Селихов с усмешкой. — Кто знает, не придется ли *мне* стоять у возглавия вашего? Не забывайте, что вы пьяница, отец Кир.

Тем кончился их первый и последний спор. Но каково было Александре Васильевне — быть между ними, всю жизнь состязавшимися о первенстве, уступающими друг другу только к могиле дорогу? Одна мечта, одна дума осталась у нее — о доме.

Иметь дом, свой, собственный, где бы то ни было, хоть бы в слободе, на буераках, и какой угодно,— это было заветнейшее желание каждого чиновника, каждого мещанина, каждого сапожника в Стрелецке. И все имели дома, и все переводили их на жен: чуть не весь Стрелецк принадлежал женщинам. Одна Александра Васильевна лила слезы бесплодно.

Все соседки говорили: «мой дом», «у меня в доме». А она? Сколько раз, придя от обедни, усталая, жаркая, полная, с потом в складках горла, стучала она в пол зонтиком и, рыдая, требовала, чтобы отдали хоть приданое ее! Сколько раз кричала, что ведь выгонят ее вон из дому родные Селихова, только умри он!

— Не беспокойся,— отвечал ей Селихов.— Ты раньше меня умрешь. Не забывай, что у тебя грудная жаба.

Он становился все страннее. Он иногда по часам смотрелся в зеркало, удивленно, испуганно искажив брови; дня по два не притрагивался ни к одному кушанию ни за обедом, ни за ужином, говоря, что все пахнет телом. Он купил граммофон — и никогда не заводил его. Но однажды, когда Александра Васильевна воротилась от всенощной раньше времени, не достоя, по слабости, службы, и вошла в дом с черного хода, услышала она крикливые плясовые звуки. А заглянувши в залу, обомлела: Селихов, легкий, старенький, один во всем полутемном доме, дико вскидывал ноги перед трубой граммофона, весело и хрипло кричавшей: «Ай, ай, караул! Батюшки мои, разбой!..»

Только одна яблоня в саду, возле беседки, знала, как много пролито слез старыми глазами Александры Васильевны, как тряслась болевшая от слез голова. А над калиткой селиховского дома была все та же надпись:

«Сей дом принадлежит Петру Семеновичу Селихову. Свободен от постоя».

## VII

Одним из тех, что когда-то, томясь любовью, ходили за Александрой Васильевной в городской сад, был и Горизонтов. Теперь, почти тридцать лет прожив в губернском городе, выслужив пенсию, возвратился и он в Стрелецк, а возвратясь, стал известен Стрелецку не менее, чем о. Кир и Селихов.

Горизонтов кончил семинарию, кончил академию. В молодости он обладал сверхъестественной памятью, необыкновенными способностями и прилежанием. Голос у него был такой, что, напевая свое любимое: «Et tonat, et sonat, et pluvium coelum

dat...<sup>1</sup>, он потрясал, как говорится, стекла. Велик ростом и широк в кости он был настолько, что на улицах в изумлении останавливались при встрече с ним прохожие. Далеко мог бы пойти этот человек! Но избрал он путь скромный — учительство. Пройдя его, он воротился на родину и стал сказкой города: поражал своей внешностью, своим аппетитом, своим железным постоянством в привычках, своим нечеловеческим спокойствием и — своей философией.

Он ходил в крылатке, в широкополой шляпе, в широконосых кожаных калошах, с костылем в одной руке и громадным парусиновым зонтом в другой. К старости он еще более раздался в кости, стал еще более велик, сутул, неуклюж — и был прозван в Стрелецке Мандриллой. Вся купальня дивилась на него, когда в первый раз появился он в ней. Медленно вошел он, насупив свои серые брови и слегка согнувшись, как бы напружив свои и без того страшные плечи, свои руки, подобные дубовым корням. Старомодно со всеми раскланявшись, внушительно-серьезный и спокойный, он стал раздеваться — и все ахали, видя, как обнажается его сизо-серое тело, его чудовищные ступни, безобразно искривленные, лежащие друг на друге пальцы и ногти их, похожие на раковины. А он хоть бы глазом моргнул — не спеша разделся, не спеша окунулся ровно пятнадцать раз... С тех пор его видели в купальне каждый день. Каждый день вплоть до Покрова купался он. Уже дул осенний ветер в щели пустой купальни, тучи висели за речкой над полями, оловянная рябь шла по воде; а Горизонтов купался. Белел снег по берегам, по бледной синеве туч тянулись на юг последние гуси; но, как только било на соборе час, с косогора, тяжело опираясь на костыль, спускался к речке сутулый гигант в серой крылатке.

Ел он за десятерых. Квартирные хозяйки из себя выходили, отказывали ему. Но ведь он предупреждал! Твердо отчеканивая слоги, уговаривался он:

— Суп, борщ, лапшу прошу подавать мне не в тарелочках: предпочитаю в мисочках. Живность — штучно, а не кусочками. Жаркое обязательно с картофелем, с овощами. Кашу гречневую равно как и пшеничную — чугунчиками.

— Мандрилла, Мандрилла! — орали мальчишки, стаями гоняясь за ним по Стрелецку. Но он даже не удостоивал их взглядом, он шел так же мерно, как изо дня в день входил,

---

<sup>1</sup> И шумит, и гремит, и разверзаются небеса (*лат.*).

бывало, в буйный класс, чтобы начать своей неизменной фразой:

— Итак, повторим сначала предыдущее. Вспомним, что именно предпринял Цезар, узнав от лазутчиков о грозящей ему опасности со стороны неприятеля...

А философия его заключалась в том, что все силы каждого человека должны быть направлены-исключительно на продление жизни, для чего и потребно: полное воздержание от сношений с женщинами, существами суетными, злыми, низкими по интеллекту, полное спокойствие во всех жизненных обстоятельствах, самое точное выполнение своих разумных, продуманных привычек и строжайший уход за своим телом — прежде всего в смысле питания его и освежения водою.

— Nullus enim locus sine genio est<sup>1</sup>,— насмешливо сказал однажды больной и сумрачный о. Кир, встретясь с ним на улице.— Давно слышу я, Горизонтов, о причудах твоих. Ответь мне: юрод ты или мудрец? Зачем живешь ты на свете, уподобляясь тем, которые жили во времена зоологические, на первых ступенях развития?

Горизонтов, держа над головою зонт и опираясь на костыль, долго думал, глядя в землю и насупя свои ежом торчащие серые брови.

— Но скажите и вы мне, отец Кир,— ответил он наконец,— зачем *вы* живете?

— Я тебя не о цели жизни спрашиваю,— сказал о. Кир.— Я тебя спрашиваю о ее образе.

— Но ведь образ соответствует цели?

— Ага! Цели! Ну, допустим. В чем же заключается твоя цель?

— В долголети и наслаждении им.

— Но наслаждаешься ли ты?

— По мере сил и возможностей. Крепко и заботливо держу в своих руках драгоценную чашу жизни.

— Чашу жизни? — строго перебил о. Кир и широко повел рукой по воздуху.— Жизни здесь? На этой улице? Я не могу спокойно говорить с тобой! Ты достоин своей позорной клички!

— В земле не распознаешь костей человека от костей животного,— ответил Горизонтов и медленно двинулся по улице, опираясь на костыль.

---

<sup>1</sup> Ни одного места без гения (*лат.*).

И вот смолкли наконец шаги в пустых комнатах селиховского дома. На тридцать первом году замужества Александры Васильевны, великопостным вечером, вытащили из толпы, наполнявшей Никольскую церковь, белого как мел старичка, хорошо и чисто одетого, в крахмальной рубашке с отложным тугим воротом, в дорогой шубе, в дорогих золотых часах. Через два дня его уже отпевали.

Была пятница, базарный день, началась весна, — му́ка была извозчикам нырять на колесах по ухабам грязных улиц, му́ка мужикам тащиться на розвальнях по базару, по мокрому навозу! Трудно было и Александре Васильевне идти за гробом до собора: ее под руки вели дальние родственники Селихова, — лысый остроглазый человечек в николаевской шинели, у которого ветер все заворачивал ленту крашенных волос, вкось от затылка, положенную на лысину, и его жена, женщина в трауре, высокая и сильная, никогда не терявшая присутствия духа. Воздух был сырой, острый. И Александра Васильевна была пьяна и от воздуха, и от слез. Поставили у дверей парчовую, желтую с белым крестом крышку гроба, внесли покойника в зимний придел, теплый, низкий, старинный, со многими сводами... Какими радостными рыданиями гремел под ними громогласный хор! Как зловеще возносил руку толстоплечий дьякон, возглашая о упокоении новопреставленного! Как смиренно, под рыдания хора, поклонялся усопшему обступивший его траурный синклит иереев в скуфьях и камилавах и как тяжело, сотрясая пол своею тяжестью, ходил вокруг гроба и кадил на блестящий нос, на рисовое лицо пьяный и торжественно-мрачный, исполнявший свое предсказание о. Кир! Но, Боже, что случилось и с ним за последний год! Уже не страшны были его возгласы, его каждение и поклоны, которыми провожал он из этого брэнного мира того, с кем столкнула его судьба на пороге жизни. Страшен был он сам, его ноги, раздутые водяной, его живот, выпиравший под ризой, его отекавшее, почерневшее лицо, остеклевшие глаза, поседевшие, ставшие прямыми и масляными волосы, трясущиеся руки... Все нежнее и страстнее взглядывала на покойника, — как бы не видя о. Кира, — изнемогавшая от слез Александра Васильевна. А когда ударила по сердцам скорбно ликующая песнь о той обители, иде же несть печали и вздыхания, она вскрикнула и потеряла сознание.

Ее понесли на паперть, на воздух. И Горизонтов, стоявший

у входа, вежливо посторонился,— и опять загудел, подтягивая хору и оглядывая низкие своды, расписанные шестикрылыми серафимами.

## IX

В больших ветхих сенях с тремя ступеньками и тремя выгоревшими на солнце окнами перестала дергаться ржавая проволока, перестал длинковать под руками закладчиков разбитый звонок. Теперь свободно могла ходить Александра Васильевна по большим пустым комнатам среди мебели в чехлах, столиков, комодов с инкрустацией. Теперь все это было ее: и комнаты, и мебель, и драгоценные вещи на железных красных полочках в глазастом несгораемом шкапу, и двор, и корова в сарае, и сад, и завалившийся забор сада: в двадцать первый раз в здравом уме и твердой памяти переписанное завещание сделало ее полной хозяйкой всего этого, к великому ее удивлению и даже растерянности. Все в городе говорили, что вот может она пожить наконец в свое полное удовольствие. А она была сбита с толку, жизнь для нее стала пресна, как та просфора, которую с усталым лицом ела она перед чаем, воротясь от обедни...

На Святой, на Фоминой по целым дням трезвонили колокола над городом — и казалось, что это трезвон в честь ее новой жизни, ее первой радостной весны. А вкуса к жизни уже не было! Она обходила комнаты, и порой жалостная улыбка довольства морщила ей губы. Но дрожала голова, дрожали руки — что ей было делать с этими комнатами? Приходила кухарка, Александра Васильевна была ласкова с ней — и не знала, что заказать на обед, на ужин. Почти каждый день она бывала в Никольской церкви — и всегда ужасно утомлялась. Была она полна при низком росте, с жидкими пепельно-седыми волосами и грустным взглядом бесцветных глаз. Дома она носила темное старушечье платье, старушечьи туфли. К обедне собиралась долго и выходила с зонтиком, в крохотной шляпе на макушке, в черном бурнусе со стеклярусом. Все слеза набегала на ее левый глаз, и все подтирала она ее за обедней батистовым платочком, устало глядя на иконы над царскими воротами. Ноги ныли, в церкви было жарко, душно, многолюдно. Горячо пылали свечи, горячо лился солнечный свет на толпу из купола. Страшно заносил руку дьякон, поднимая толстые плечи и готовясь оглушить многолетием царствующему дому и святейшему правительствующему синоду. Но что ей было до синода! С тоской чувствовала она, что не о чем стало ей мо-

литься. Только о царстве небесном разве? Да, но какие права были у нее на него? Что она такое сделала? За что было награждать ее?

Однажды в апрельский день она пошла в кладбищенскую рошу — хотела просто погулять, развлечься, вспомнить прежнее, молодое время, а сказала кухарке, что хочет посмотреть могилу мужа. Было тепло, легко, все радовало — и воздух, и небо, и белые облака, и весенний простор. Но сколько раз останавливалась она на зеленом выгоне, поднимаясь на отлогий изволок к роше и смотря на город, на его крыши и колокольни, на овраги, на серо-зеленый дымок одевающихся лозин и мещанские хибарки по оврагам! А в роше, еще голой, зазеленевшей только снизу, было еще очень сыро, в проходах между могильными памятниками стояла жидкая грязь. Хорошо, приятно, молодо, но все-таки чересчур буйно шумели грачи, в несметном количестве наполнявшие вершины старых деревьев. Нужно было проходить мимо розовой часовни над склепом купца Ершова, где сидел Яша, а он мог высунуться из окошечка и крикнуть что-нибудь иносказательное, злое... И, спотыкаясь, горбясь, придерживая подол, Александра Васильевна спешила, спешила мелкими шажками пройти дальше — и сама не заметила, как пришла к могиле мужа! Вовсе не желала она того, шла за другим, а пришла. И, усталая, опустилась на ближний могильный камень, тупо глядя на эту еще не оправленную могилу. Не было ни дум, ни воспоминаний. Было только чувство горькой весенней нежности к кому-то — не то к себе, не то к о. Киру, не то к Селихову... Да, да, и к нему!

А когда она возвращалась домой, думая только одно: дай Бог встретить извозчика! — Яша таки подстерег ее. Из часовни выходили и крестились бабы и мещане, некоторые со слезами. И вдруг выскочил на порог сам Яша. Он был небольшой, тощий, — ему было уже лет восемьдесят, — в длинном халатике, подпоясанном веревкой, в алой бархатной шапочке, надетой набекрень. Усы, бородку он выстригал — они торчали у него колючими серыми пучками возле глубоко запавших пепельных губок. Глазки у него были хитрые-прехитрые. Поглядев на Александру Васильевну, он сделал из руки щиток над глазами и быстро засеменял к ней.

— Радуйся, Афродита Розоперстая! — закричал он старчески-детским голосом.

И, подбежав, поплевал и сунул ей в руку, — как бы украдкой и надеясь обрадовать, — четыре щепочки, связанные лычком.

Александра Васильевна рассердилась, что он испугал ее, и, оттолкнув его руку, почти побежала от него. А потом долго

думала: что это значит — эта Афродита и эти четыре щепочки? И почему они связаны?

Часто в эти апрельские дни она горевала, что Бог лишил ее детей, думала, как бы, если бы у нее был мальчик, назвала она его; не раз переглядывала портреты в венчальной шкатулке. Странно было видеть девушку в мордовском костюме, с детски-милым взглядом, кокетливо облокотившуюся на какую-то, будто бы крестьянскую изгородь, и крепкого, плечистого семинариста, с густой шевелюрой над большим лбом, с такими мрачными и все-таки лучистыми глазами, с таким упрямым, даже злым выражением стиснутых скул и таким нежным очерком пухлых губ! Был и портрет Селихова. Он снимался с какими-то молодыми чиновниками. Они кружком, в деланно-непринужденных позах расположились на креслах, а он,— тоже молоденький, щеголеватый,— зачем-то сел у их ног на полу.

Раз она встретила возле городского сада Горизонтова и слабо окликнула его. Тот вежливо раскланялся, но не ответил. Она долго с робостью и удивлением смотрела ему вслед.

## Х

На сороковой день никольский причт служил панихиду в селиховском доме. Повис в комнатах густой запах ладана, и велела Александра Васильевна, боясь, что у нее разболится голова от этого запаха, подать самовар под свою любимую яблоню в саду. Был майский день, зеленел сад, кипел расчищенный самовар, белела скатерть, блестела посуда, бодро вел житейскую беседу веселый, с большими ноздрями, никольский священник, здоровый мужчина с широкой тугой поясницей, в широком, вышитом розанами поясе по серебристому подряснику. Отвечая ему, слабо улыбалась и наливала чай Александра Васильевна. Но передвигалась жидкая тень яблони, пекло горячее солнце темя Александры Васильевны,— и вдруг отнялись ее руки, ноги, поплыла красная муть перед глазами... Когда, распахнув все двери, внесли ее в гостиную и положили на диван, она все ползла с него, цеплялась пухлой рукой за золотую бахрому тяжелой старинной скатерти и, захлебываясь, стонала, силясь что-то выговорить. Но отваливалась челюсть, язык не ворочался, в бессмысленных, бесцветных глазах стояли светлые слезинки...

Однако напрасно качали над ней головами — удар был легкий. Видно, была еще какая-то капля меда в чаше ее жизни, как сказал бы Горизонтов. Еще жаждало старое сердце этой

капли,— и Александра Васильевна стала поправляться. Сладко утешаясь возврату жизни, лежа в постели, она застенчиво рассказывала кухарке, что под сороковой день всю светлую майскую ночь кричала она,— чувствовала, что кричит, и никак не могла очнуться, подавленная странным сном: вошли будто в ее спальню два молодых монаха, стали раздевать ее, а она отбивалась, протівилась — и так радостно, страшно и стыдно ей было, как никогда в жизни не было. Монахи одолели, раздели ее, положили на пол, и она уже не могла двинуться и все только кричала — от стыда, страха и радости... И когда рассказывала Александра Васильевна, не выходила из ее души нежность к о. Киру. Казалось ей, что с восторгом отдала бы она эту снова обретенную жизнь за одно только свидание с ним — последнее... Нет, не возгласы его, не кажение, не поклоны усопшему врагу страшны были тогда, в соборе! Страшно было глядеть на них на обоих, страшно было вспоминать то счастье, тот страх, ту любовь, что когда-то горячей краской заливали девичье лицо, чувствовать, как доходит до сердца эта далекая, еще не истлевшая любовь — и в одно сливает и того, кого любила она, и того, с кем, с кем, нелюбимым — а все-таки всю жизнь, кто сказал ей когда-то, прижимая к сердцу ее руку:

— Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна.

## XI

Целый месяц она жила затаенной мечтой увидеть о. Кира десятого июня: десятого должен был приехать в Стрелецк один очень важный человек, которому готовили торжественную встречу, для которого на перекрестках сооружали и белили мелом триумфальные арки, чтобы потом увить их гирляндами зелени. С рыжей худой модисткой Александра Васильевна сходила в магазин «Общая польза» и набрала шерстяной коричневой материи на новое платье. Раз, когда примеряли это платье, донеслось в открытые окна глухое громыхание бубна, заунывное пение, потом шум, крики. И модистка, и Александра Васильевна, в кофте с одним рукавом, выскочили на крыльцо: по улице бежал народ, а возле калитки о. Кира шумела толпа, и лохматый сапожник бил бубном по голове кричавшего серба, опять появившегося в Стрелецке... И Александра Васильевна горько заплакала: Боже мой, как, значит, ослабел о. Кир!

А десятого была страшная жара. В новом платье, в бурнусае, в разноцветных перстнях на пальцах, Александра Васильевна поехала на извозчике к вокзалу. На этом же извозчике и привез ее обратно городской — мертвую: ее задавили, замяли в толпе.

На панихидах никто не плакал, кроме модистки, очень мало знавшей покойную. Опять приехал остроглазый господин, в доме всем распоряжалась его властная жена. Они привезли с собой детей — большеротую бойкую девочку и реалиста, все затевавших возню и беготню по дому. Покойница, под коленкором, лежала на столе в зале, и ее никто не боялся. Завесили зеркала в знак печали. Строго, точно вразумляя неразумную, читала псалтырь рясофорная монахиня, родственница Александры Васильевны, нарочно приехавшая из монастыря, из уезда, — толстая свежая старуха в очках, с большим белым лицом, обрезанным черным головным убором. Но ни печали, ни строгости в доме не было. Не унимались дети, беззаботно залетали мухи и шмели в открытые окна гостиной, за которыми сиял горячий день, в которые лился радостный свет.

После похорон дом пустовал. Всю мебель вынесли из него и увезли на вокзал ломовые. Старухи закидали мокрым осиновым листом и вымыли полы, растворили все двери, и ветер ходил по голым комнатам, которые стали казаться темнее и меньше. Прилепили белые билетки на тонкие старые стекла — и нашелся постоялец, прожившийся дворянин Хитрово, пьяница с висячими усами, в котелке и засаленной визитке с круглыми полами. Перебираясь на новую квартиру, он ехал на извозчике и держал за ошейник черно-атласного гордона. Ломовой вез два стула, кухонный стол и огромный красный шкаф — больше мебели у дворянина не было. Занял дворянин только одну комнату и окна завесил газетами. Против солнца газетные листы скоро порыжели, выгорели.

## ХП

Был июньский вечер, накрапывал дождь. Шел поезд по Стрелецкой железной дороге. В сером темнеющем вагоне второго класса сидели разные господа и говорили — некоторые о том, кто куда едет, некоторые о непорядках на русских железных дорогах и вообще о России, о ее богатствах и некультурности. Вагон грохотал и раскачивался, а жерло вагонного вентилятора прерывисто гудело, и слышно было, как стрекочет в нем мелкий предвечерний дождь.

Открылась впереди широкая пустая низменность, заливные

луга, извилистая речка, а за речкой, на скате полей — Стрелецк, железные и тесовые крыши его низких домов, колокольни, темная кладбищенская роща... По мосту поезд пошел тише — мост весь визжал, ныл и скрипел. Речка была мутная, мелкая, город был запылен, казался очень бедным. Ярко заблестели сквозь мелкий дождь ранние огни на станции...

Постояв пятнадцать минут, снова тронулись. Кондуктор зажигал одна об одну короткие свечи. Они пылали ярко, но, попадая в тусклые фонари, сразу меркли. Перезнакомившиеся пассажиры курили, располагались на ночь и оживленно беседовали. Но вот отворилась дверь — и с большим саком в одной руке, с парусиновым зонтом в другой вошел в вагон Горизонтов, такой большой и неуклюжий, что многие смолкли и уставились на него. Старомодно всем раскланявшись, он сел в уголок на маленький диванчик возле двери.

Больше всех говорил, стоя у поднятой спинки дивана и отстегивая под жилетом подтяжки, щуплый господин в очках, человек, как можно было понять из его слов, московский, известный Москве и придерживающийся в вопросах общественных мнений крайних. Он выпил на вокзале в Стрелецке. Измятое его лицо было красно и возбужденно. Строго блестящие его очки, энергично падали в разные стороны рога сальных волос, энергично и резко лилась речь. Внимательно и удивленно оглядев нового пассажира, он долго притворялся, что не думает о нем, и наконец не вытерпел, спросил:

— А вы далеко изволите ехать?

— А в Москву, — не спеша ответил Горизонтов, держа свои железные руки на зонте, поставленном между колен.

Господин в очках подумал, оглядывая его.

— А жить, вероятно, изволите в том городке, который мы только что проехали?

— Да, я из Стрелецка.

— И в Москву, конечно, по делам?

— По делам, — сказал Горизонтов. — Веду переговоры с анатомическим театром Московского Императорского университета. Московский Императорский университет, получив от меня мою фотографическую карточку во весь рост и предложение купить после смерти моей мой костяк, ответил мне принципиальным согласием.

— Как? — с изумлением воскликнул господин в очках. — Вы продаете собственный скелет?

— А почему бы и нет? — сказал Горизонтов. — Раз эта сделка увеличивает мое благосостояние и не наносит мне никакого ущерба?

— Но позвольте! — перебил господин в очках.— И вам не странно... да скажу даже — не жутко совершать подобную сделку?

— Ничуть, — ответил Горизонтов.— Надеюсь, что Московскому Императорскому университету придется еще не скоро воспользоваться своим приобретением. Надеюсь, судя по тому запасу сил, который есть во мне, прожить никак не менее девяноста пяти лет.

В окне, куда поглядывал он, отвечая, уже отражалась свеча, горевшая в вагонном фонаре, и, отражаясь, как бы висела в воздухе за окном. Проходили мимо косогоры в зеленых хлебах, низко висело над ними облачное небо. Гудело жерло вентилятора, говорили и смеялись в вагоне... А там, в Стрелецке, на его темнеющих улицах, было пусто и тихо. На лавочке возле хибарки сапожника сидел квартировавший у него Жолудь, гнутый старичок в кумачной рубашке, и напевал что-то беззаботное. Лежал в своем темном доме уже давно не встающий с постели, седовласый, распухший, с заплывшими глазами, о. Кир. Дворянин Хитрово был трезв и осторожно ходил за своим гордоном, с ружьем наперевес, по мокрым овсам возле кладбищенской рощи, выпугивая перепелов и наугад стреляя в сумеречный воздух, в мелкий дождь. Вечным сном спали в кладбищенской роще Александра Васильевна и Селихов — рядом были бугры их могил. А Яша работал в своей часовне над склепом купца Ершова. Отпустив посетителей, весь день плакавших перед ним и целовавших его руки, он зажег восковой огарок и осветил свой засаленный халатик, свою ермолку и заросшее седой щетинкой личико с колючими, хитрыми-прехитрыми глазками. Он работал пристально: стоял возле стены, плевал на нее и затирал плевки сливами, дарами своих поклонниц.

*2 сентября 1913*





## Я ВСЕ МОЛЧУ

Молодым Александра Романова все звали Шашей, жил он тогда с отцом, в селе, в доме под железной крышей, а бил его отец, Роман.

Роман мнил себя первым человеком в округе, самым господам дворянам совал руку при встрече. Была у него лавка в селе, мельница за селом, а богател он тем, что скупал помещичьи рощи на сруб. Макару, родному брату его, есть было нечего; он, оборванный, плелся по выгону и смиренно говорил, снимая шапку: «Здорово, брат!» А Роман, сытый, похожий на дьякона, отвечал ему с крыльца: «Ты меня, дуралей, не обращай. Брат, брат! Поклонись да иди, куда шел, а в разговоры не лезь». Что же должен был чувствовать единственный наследник такого человека? Он по селу гулял в поддевке тонкого сукна, в сапогах с лакированными голенищами, наигрывал польки на дорогой ливенке. Встречались ему девки и ребята и провожали его теми взглядами, от которых у людей известных мурашки бегут по спине. Но мрачным и даже свирепым взглядом встречал он эти взгляды: вся молодость его прошла как бы в приуготовлении себя к той роли, в которой достиг он впоследствии такого совершенства.

Роман на вершине благополучия стал слабеть, запутываться в делах. Сивый, бородатый, длиннопузый, в казинетовой поддевке, похожей на подрясник, он только во хмелю бодрился, а трезвый был уныл и нарочито груб. Слава и могущество еще были у него. Он на выгоне, возле церкви, против своих окон, выстроил школу, был попечителем ее и в любую минуту мог заставить учителя в ногах у себя валяться. Он еще мог угостить гостя шпротами, кислым омаром в ржавой жестянке, цимлянским и, угощая, покрикивал на кого попроще: «Пей, глупец!» Но пора, пора было сменить его. А кому? Смены-то и не было. Шаша все больше втягивался в свою роль, роль человека, чем-то кровно оскорбленного,— и отношения между ним

Передъ вечеромъ пошли на дугъ, на мельницу. Тамъ Абакумовъ со своими  
ястребинными глазами /много есть мужиковъ, похожихъ на Удѣльныхъ Великихъ  
Князей/. Пришелъ странникъ /березовскій мужикъ/. Вошелъ, не глядя ни на ко-  
го, и прямо заоралъ:

Придетъ время,  
Потрясется земля и небо,  
Всѣ камушки распадутся,  
Престолы Господни нарушатся,  
Солнце съ мѣсяцемъ примеркнутъ,  
И пропуститъ Господь огненную рѣку,  
И поморитъ насъ, тварь земную,  
Михаилъ Архангелъ съ небесъ сойдетъ,  
И вострубитъ у трубн,  
И возбудитъ всѣхъ мертвыхъ отъ гроба,  
И возглаголетъ:  
Вотъ вы были-жили  
Вольной волей,  
Въ ранней обѣднѣ не бывали,  
Позднiя обѣдни прожирали:  
Вотъ вамъ рай готовый, --  
Огни невгасимые!  
Тады мы къ матери сырой землѣ припадаемъ  
И слезно восплачемъ, возрыдаемъ.

(Я этотъ стихъ слышалъ и раньше, немного иначе).

Дневниковая записъ Буннина 19 мая 1912 г.  
Стихъ онъ приводитъ. — несколько изменивъ стилистически. в рассказѣ  
«Я все молчу».

и Романом сводились только к тому, что Роман таскал его за «виски». Шаша, по его словам, ангела мог вывести из себя, не таскать его нельзя было. И он таскал. А чем больше таскал, тем все нестерпимее становился Шаша.

Ему ли было не гордиться домом, могуществом и повадками отца! Отец при гостях кричал на него: «Да будь ты маленько поразвязней, дуралей!» Но ведь это была повадка тех, кому подражал отец, повадка купцов, а разве не высшая гордость — чувствовать себя купеческим сыном? Отец даже хвастался им порою, самодовольно говорил гостю: «Постой, я тебе сына покажу!» — и горланил на весь дом: «Шаша, подь суда, тобой Миколай Михайлыч интересуется!» Но, ах, как входил Шаша в комнату, где сидел гость с отцом! Он входил, багровея, глядя из-под насупленных и перекошенных бровей, руки держал туго, кренделем, ступал еще туже, внутрь носками и так щеголевато, точно пятую фигуру кадрили танцевал, а шаркнув гостю, тотчас же отскакивал к окну, к притолке, раздувая ноздри, кусал заусеницы, на вопросы отвечал с нелепейшей краткостью и резкостью. Как же было не бить его? Гость уезжал: Роман, проводив его, молча подходил к Шаше и, размахнувшись, крепко сгребал Шашу за волосы. Шаша молча вырывал голову из его пятерни и, выскочив в прихожую, бил себя кулаком в грудь:

— Нну, папаша! Я молчу! Я все-е молчу! — шипел он зловеще.

— Да животная ты этакая! — орал Роман. — Ведь за это за самого молчанье да ломанье я и бью-то тебя! Значит, ты сам того добиваешься? Зачем? Почему?

— Прах моей могилы все узнает! — отвечал Шаша яростно и загадочно.

Он ли не в рубашке родился! Деньги у него не переводились, одевался он щеголем, ухаживал на вечеринках за кокетливыми поповнами, за дочерьми станового, танцевал с ними под аристон. Но и ухаживал он как-то едко, срыву. Да что! Даже наедине с самим собой, глядясь в зеркало и взбивая металлическим гребешком свое бурое руно, изверски косился он. Нос у него был раздавленный, голос хриплый, вид каторжный, мужики называли его палачом. Кажись, не велика честь! Так нет, он и этим наслаждался. «Подколодный дьявол! — говорили мужики. — Все ему не нравится, все не по его, не так!» И он изо всех сил старался оправдать эти клички. «Хто? Это Шаша-то подколодный? — спрашивал Роман с негодованием. — Да такими подколодными хоть мосты мости! Он дурак, ахтер, лодарь прирожденный, и боль ничего. Чего он корежится? Какого

ему рожна надобно?» А Шаша глядел с ядовитой усмешкой да помалкивал. «Ну вот, глянь, глянь на него! — говорил Роман. — Глянь, что он строит из себя!» А Шаша все выше косил брови и уже сам верил, что закипает в нем что-то ужасное. «Ох, папаша! — шипел он, как бы не выдержав. — Ох, сказал бы я вам одну штуку!» Роман, унылый, с обвислыми мешками под глазами, страдальчески ухмылялся: «А что же это за штука такая? У? Ну-ка, скажи?» — «Это я-то?» — спрашивал Шаша, кидая взгляд исподлобья. «Да. Ты-то». — «Прах моей могилы все узнает!» — «Да что узнает-то? Ты пьян, негодяй?» — «Пьян! — отвечает Шаша. — Пьян! Я молчу! Я все-е молчу!» И, чуть не плача, Роман опять вставал на него, как медведь, опять ловил за голову и таскал с мучительным упоением.

Он женился и чудесно — на дочери управляющего барским именем, смешливой и хорошенькой веснушчатой девице. Женильбу его праздновали удивительно. Господа жили за границей, поэтому венчаться ездил Шаша в господской карете, и священник, из уважения к ней, поздравлял его с законным браком так изысканно, что казалось Шаше, что над ним издеваются. В господском доме шел и свадебный пир. Вино рекой лилось, Роман, при общих восторженных кликах, плясать пошел, сотрясая паркет, зеркала и люстры. Господский лакей превосходно изобразил поезд: гремуче засвистал в пальцы, затем начал медленно и тяжело отбивать грохот все расходящегося поезда и кончил буйным галопом. Дьячок, опившись на пиру коньяком, по дороге домой помер. Дьякона, на собственном дворе упавшего в навоз, едва не затоптали овцы. Мерзейший осенний рассвет бледно синел из тумана в господские дымные залы, а там все еще горели огни, все еще захлебывался охрипший аристон то «Лезгинкой», то «Вьюшками», все еще кричали мокрые от жары и хлопот шаферá, управлявшие танцами, и у барышень мутились глаза от усталости, от пляса. Но Шаша и собственного торжества не пощадил: притворясь пьяным, убедив себя, что он адски приревновал свою молодую жену к одному молоденькому помещику, он внезапно наступил во время вальса ей на шлейф, с треском оторвал его. А затем кинулся к ножу, пытался зарезаться и, будучи обезоружен, дико рыдал и рвал с себя белый галстук, взывая к памяти покойной матери.

Достигнув вершины, Роман неминуемо должен был, как это всегда водится, покатиться опять вниз, в прежнее мужицкое логово. Вскоре после свадьбы оказалось, что он весь, с руками и ногами, запутан в долговых тенетах. Он стал страшен. Сивая борода его побелела. Лицо уподобилось грязно-серому выдо-

енному вымени. Глаза околели. Брюхо обвисло, издрябло. А Шаша злорадствовал: «Я говорил, говорил!» — и добивал его: бушевал, скандалил, требовал раздела. И Роман, зеленея от злобы, медведем вставал на него, жаждал изувечить — и уже не мог, не мог! Пришибленный мыслью о близком позоре, нищете, он пьянствовал на сломную голову. Потеряв всякий стыд, он в дом перетащил свою любовницу, солдатку-кухарку. Жил с нею, назло ему, и Шаша. А жену он изнурял ревностью и страхами, — пропал из дому и присылал ей с мужиками записки, где стояло: «Прощай навеки, благословляю детей», а внизу нарисована могила с крестом. Кончилось тем, что Романа разбил удар, что осталась от всего его богатства одна ветрянка за селом, что жена Шаши, забрав детей, бежала к какому-то своему любовнику.

Из села, на мельницу, вышел Роман нищим и еле живым. Нищим и вдовым, скрипя зубами в ярости, вышел за ним и Шаша. Можно было не плохо жить и мельницей. Но до того ли было Шаше? И прежде-то ему, непонятому, неоцененному, осужденному жить среди врагов, недоброжелателей, оставалось только одно: молчать, молчать! А теперь? Вот он тысячи мог бы нажать на одной этой мельнице, к ней ни проходу ни проезду не стало б от телег с зерном, будь у него хоть две, три сотни на новый стояк и новые жернова. Да где их взять? Это ведь только дуракам счастье само в руки прет, а дельного, умного судьба в бараний рог корежит!

Для Романа дело было вовсе не в том, что вместо шпротов и цимлянского на столе его очутилась краюха черного хлеба и корец с водой — он ел бы с прежним вкусом: дело было в страданиях гордости, самых лютых человеческих страданиях. В большой покосившейся избе с земляным полом и дырами в углах, на холодной печи спал теперь Роман. Утром он вылезал за порог с высокой палкой в руке. Лебедой и бурьяном зарастала снаружи изба, крапива глушила огромный остов раскрытой ветрянки. Все это стояло на голом горбе полей, у проезжей дороги. И Роман выходил под дорогу и клал дрожащие, холодные лапы на палку. Он был без шапки, ветер путал его седые космы, седую бороду — бороду мужицкого Иова. Он был бос, в затрапезных портках, в длинной рубахе, грязной от золы, от печного сора. Ноги его были тонки, туловище велико и худо. Ехали те, что знали его в славе и богатстве, те, что прежде трепетали его, те, кого угощал и поучал он когда-то. И Роман, — недаром же породил он Шашу! — даже радовался, что видят его люди в нищете, позоре, и до земли кланялся им. Шаша, тот упивался своим унижением по шинкам и кабакам,

пропивая скудные остатки прежнего и расплачиваясь за свой язык синяками уже от мужицких кулаков. Особенно страшной муки добивался он ежегодно пятнадцатого июля.

Роман к тому времени уж помер,— ах, как злорадно горд был этим Шаша! Воротился со службы муж солдатки. Нужна она ему была, как летошний снег, но все-таки он счел неременным долгом своим мстить за свою поруганную честь, узнав, что она была любовницей Романа и Шаши. И мудро приурочил эту месть ко дню большого многолюдства в селе.

Ежегодно пятнадцатого июля, на престольный праздник, называемый Кириками, в селе бывает ярмарка. Льют холодные ливни, о лете напоминают только грачи в полях, густота хлебов и трав да жаворонки, распевающие над ними под дождем, вкось сдуваемые ветром. А на выгоне села уже растет кочевой городок палаток. Приехали торгаши из города — и с непривычки странно видеть в селе этих городских людей в длиннополых сюртуках,— они, застраивая и делая тесным выгон, изменили простую сельскую картину своими крепкими телегами с товаром, покрытым кожами и ладно увязанным, привезли вместе с этим товаром базарный запах — дымят самоварами, чадят жаровнями, на которых жарится баранина. С раннего утра пятнадцатого они уже стоят за прилавками, заваленными жамками, рожками и красным товаром, а мужики с бабами и ребятишками едут и едут, отовсюду тянутся под мелким дождем к селу, запруживают возами выгон так густо, что иголке негде упасть, а надо всей этой теснотой, говором, гамом и скрипом телег гудит праздничный звон к обедне.

Под этот звон, на глазах едущих по грязному проселку мимо ветрянки, Шаша стоит возле своего порога, распояской, согнувшись, держит в одной руке корец с водой, а другой, мокрой, трет свое бородатое, корявое, распухшее со сна лицо. Как не похож этот коренастый мужик в разбитых сапогах на прежнего Шашу! С виду он стал спокойнее, но еще мрачнее, чем прежде. Волосы его и теперь страшно густы, но уже стали по-мужицки лохматы. Умывшись, он раздирает их деревянным овечьим гребнем, расчесывает спутанную круглую бороду, хрипло откашливается и косится в зеркальце — на свое широкое, пористое, с раздавленным носом лицо. Он не забыл, что он похож на палача. И точно — похож, теперь особенно: причесавшись, он надевает хранимую для торжественных случаев линючую кумачную рубаху. В будни он тупеет от скуки, от долгого сна, от того, что никто не обращает внимания на него, никто его не слушает: его хвастовство своим прежним богатством, его намеки на то, что будто бы таится у него в

душе, и гнусные рассказы про сбежавшую жену давно всем надоели; нынче же — праздник, нынче он будет играть перед огромной толпой, нынче он будет страшно, до беспамятства избит на глазах этой толпы — и вот он уже входит в свою роль, он возбужден, челюсти его крепко сжаты, брови искажены... Нарядившись, он надевает рыжий картуз и тугим шагом, решительно и твердо идет в село.

Страннее всего благочестие, с которого он начинает этот день. Он направляется прямо к церкви и, ни на кого не глядя, но всем существом чувствуя на себе взгляды окружающих, с размаху кланяется и крестится. В церкви он продирается к самому амвону, где стоял когда-то по праву, и в эту минуту до мозга костей презирает мужиков, напоминает им кратко и строго, как власть имеющий, что не мешало бы догадаться посторониться. И мужики торопливо сторонятся. Быком, исподлобья глядя на священнослужителей, на иконы, он до самого конца обедни истово и сурово молится, надменно показывает всем, что только он один знает, когда именно нужно кланяться и креститься. Так же сурово ходит он и по ярмарке, после обедни, гордится тем, что он уже выпил, что он может подойти как равный к торгашу под палатку, поздороваться с ним за руку, облокотиться на прилавок, взять горсть подсолнухов и мешать торгашу разговорами о городе, о торговом деле, а порою прикрикнуть на девок, которые стадами, как овцы, дают друг друга к прилавку, на мужика, который с мешком под мышкой, — в мешке ерзает поросенок, — перепробовал уже все свистульки, все губные гармоньки и никак не может решить, какую взять. Народ, вылившийся из церкви, затопил весь выгон, на колокольне трезвонят, нищие гнусаво горланят, скотина, которую тоже торгуют на Кирики, блеет и гогочет, — и среди густой толпы, плюющей подсолнухами и скользящей по грязи между палатками, уже много пьяных. Шаша успел еще выпить и чувствует: пора! Наговорившись с торгашами, он решительно шагает к каруселям. Там сгрудилось несчетное количество народу, до головокружения глядящего на мелькающих кольцом деревянных коней и на их всадников. Там чуть не все село и головой выше всех — солдаткин муж. У Шаши холодеют руки, дергаются губы, но он делает вид, что не замечает своего врага. Он подходит к знакомым, громко говорит, хохочет, а сам ждет, начеку. И вот, шатаясь, притворяясь вдребезги пьяным, в новом картузе, на котором еще белеет лавочный билетик с ценой, выбритый, сытый, с сонными синими глазами, солдат идет прямо на него и со всего размаху, как будто ничего не видя, бьет его плечом в грудь.

Шаша, стиснув зубы, сторонится и продолжает беседу. Но солдат возвращается, опять проходит мимо и опять — раз его плечом в грудь! Тогда, как бы не выдержав такой наглости, Шаша с упоением искажает свое и без того искаженное лицо и сквозь зубы говорит:

— О-х, малый! Как бы я не толкнул тебя по-своему!

И вдруг солдат, сразу осадив свое наклонное стремление вперед, отшатывается назад и бешено взрывает:

— Што-о?

Среди ярмарочного гама, грохота и позвонков бешено крутящейся карусели и восторженных притворно-сострадательных криков ахнувшей и раздавшейся толпы солдат оглушает и окровавливает Шашу с первого же удара. Шаша, норовя, по старой мужицкой манере, запустить ему пальцы в рот, разорвать губы, зверем кидается на него и тотчас же замертво падает в грязь, под кованые каблуки, тяжко бьющие в грудь, в лохматую голову, в нос, глаза, уже помутившиеся, как у зарезанного барана. А народ ахает и дивуется: вот настырный, непонятный человек! Ведь он же знал наперед, чем кончится дело! Зачем же он шел на него? И правда: зачем? И к чему вообще так настойчиво и неуклонно идет он, изо дня в день опустошая свое разоренное жилье, стремясь дотла искоренить даже следы того, что так случайно было создано диким гением Романа, и непрестанно алкая обиды, позора и побоев?

Ужасные люди в две шеренги стояли во время обедни в церковной ограде, на пути к паперти! В жажде самоистязания, отвращения к узде, к труду, к быту, в страсти ко всяким личинам, — и трагическим и скоморошеским, — Русь издревле и без конца родит этих людей. И что это за лица, что за головы! Точно на киевских церковных картинах да на киевских лубках, живописующих и дьяволов, и подвижников мати-пустыни! Есть старцы с такими иссохшими головами, с такими редкими прядями длинных серых волос, с такими тончайшими носами и так глубоко провалившимися шелками незрячих глаз, точно столетия лежали эти старцы в пещерах, где замуровали их еще при киевских князьях и откуда вышли они в полуистлевшем рубище, крест-накрест возложили на свои останки нищенские сумы, на веревочных обрывках повесили их через плечо и пошли себе странствовать из конца в конец Руси, по ее лесам, степям и степным ветрам. Есть слепцы мордастые, мужики крепкие и приземистые, точно колодники, холодно загубившие десятки душ: у этих головы твердые, квадратные, лица топором вырублены, и босые ноги налиты сизой кровью и противоестественно коротки, равно как и руки. Есть идиоты, толсто-

Юва. Онъ былъ босъ, въ затрапезныхъ порткахъ, въ  
давленной рубахѣ, грязной отъ золы, отъ печного сора.  
Ноги его были тонки, туловище велико и худо. Вла-  
ли тѣ, что знали его въ славѣ и богатствѣ, тѣ, что  
прежде трепетали его, тѣ, кого угощала и поучала онъ  
когда-то. И Романъ, — не даромъ же породилъ онъ  
Шашу! — даже радовался, что видятъ его люди въ  
нищетѣ, позорѣ и до земли кланялся имъ. Вечерами  
~~же она стояла въ тамной избу передъ дощаткой въ~~  
~~утру и съ тяжкими ведеками кланялся ей еще ниже.~~  
~~Она людямъ, то шепотомъ, то тряско читая молит-~~  
~~вы, перне благодаря Бога за все, что происходило~~  
~~Она, несчастному старому ~~Шашу~~ упивался~~  
своимъ униженемъ по шинкамъ, по кабакамъ, пропья-  
ная скудные остатки прежняго и расплачиваясь за свой  
языкъ снялками уже отъ мужицкихъ кулаковъ. Осо-  
бенно страшной муки добивался онъ ежегодно пятна-  
дцатаго юля.

~~Родителю оставило вѣрны Романову двору. Она те-~~  
~~же переселилась на мельницу. И тогда Романъ умеръ.~~  
— ахъ, какъ злорадно-гордо была эта несправедли-  
вая Шаша! — перешла въ руки Шашы открыто. А когда  
тѣмъ воротилась со службы ея законный мужъ. Нужна  
ей ему была какъ лѣтошній снѣгъ, но все-таки онъ  
счелъ священнѣйшимъ долгомъ своимъ мстить за свою  
поруганную честь. И мудро приурочилъ эту месть ко  
дню большаго многолюдства въ Лимовомъ.

Ежегодно пятнадцатаго юля, на престольный  
праздникъ, называемый Кириками, въ Лимовомъ бы-  
ваетъ ярмарка. Лютъ холодные дѣвня, о лѣтѣ напо-  
минаютъ только грачи въ поляхъ, густота хлѣбовъ и  
травъ да жаворонки, распѣвающие надъ нѣми подъ

Жизни  
и  
мощи

она, жорд аста, мол сто ма сав,

Серб

80  
Н. Кухаркой жила въ послѣднѣе  
годъ Романъ одна овладатка  
изъ слав. И онъ

плечие и толстоногие. Есть горбуны, клиноголовые, как бы в острых шапках из черных лошадиных волос. Есть карлы, осевшие на кривые ноги, как таксы. Есть лбы, сдавленные с боков и образовавшие череп в виде шляпки желудя. Есть костлявые, совсем безносые старухи, ни дать ни взять сама Смерть... И все это, напоказ выставив свои лохмотья, раны и болячки, на древнецерковный распев, и грубыми басами, и скопческими альтами, и какими-то развратными тенорами вопит о гнойном Лазаре, об Алексее Божьем человеке, который, в жажде нищеты и мученичества, ушел из-под отчего крова «ня знамо куда...».

Все эти люди, двигая бровями над своими темными очами, наитием, инстинктом, острым, точным, как у каких-нибудь первичных особей, мгновенно чувствуют, угадывают приближение дающей руки и уже немало нахватили огрызков хлеба, баранок и зеленых от махорки мужицких медяков. После обедни, с пением уже более бодрым и требовательным, они растекаются по народному морю, по ярмарке. Двинулись за ними и калеки — безногие, ползающие на задах и четвереньках и лежащие на вечном одре, в тележках. Вот одна из этих тележек: в ней — маленький человечек, лет сорока, по ушам повязанный бабыным платком, со спокойными молочно-голубыми глазами, высушенный из ветошек тонкую фиолетовую ручку с шестью пальцами; возит его живоглазый мальчишка с очень острыми ушками и лисьим пухом на голове. Вот мужик с большим белым лицом, весь изломанный, исковерканный, совсем без зада, в одном прелом лапте. Верно, и его, — не хуже Шаши, — били где-то: весь платок его, ухо, шея и плечо в засохшей крови. В длинном мешке — куски сырого мяса, вареные бараньи ребра, корки и пшено. А сиденье подшито куском кожи — и вот весь он искривился, заерзал и пошел чесать задом по грязи, выкидывая вперед необутую ногу, до половины голую, в известковых струпах, сочащихся гноем и залепленных кусками лопуха.

— Гляньте, православные, гляньте скорее: йето считается, по старинному заведению, болезнь проказа! — развеселым, быстрым речитативом вскрикивает возле него рябой оборванец, его имперарио.

И вот к этим-то людям и шел Шаша. Живет он еще три-четыре года на мельнице; встречает еще три-четыре ярмарки; вступает еще три-четыре раза в бой с солдатом; поливают его, бездыханного и безгласного, водой из жбанов добрые люди; он медленно приходит в себя; не раскрывая глаз, возит по земле кроной головой и сквозь зубы тяжело стонет:

— Нну, добрые люди. Я молчу! Я все-е молчу!

Затем его везут на мельницу, он недели две лежит на печи,

понемногу оправляется и вскоре уже опять гуляет по шинкам, хвастается, лжет, все и всех шельмует, бьет себя кулаком в грудь, грозит всем своим врагам и особенно — солдату. Но однажды выпадают несчастливые Кирики: солдат переламывает ему каблуком руку и раздробляет переносицу, выбивает глаза. Вот Шаша и слепой и калека. Солдатка бросает его; мельницу, землю берут за долги добрые люди. И Шаша — у пристани; теперь он равноправный член, кость от кости, плоть от плоти нищей орды, стоящей на Кирики в церковной ограде. Босой, в лохмотьях, густобородый, с головой, стриженной ежом, в мешках крест-накрест, дико ломает он брови над выбитыми и затянувшимися глазами и сипло орет в лад с прочими за душу хватающие нищенские стихиры. Хор мрачно дерет кто во что горазд — звонко выделяются голоса поводырей, выкрикивающих каждый слог:

Три сестры жили, три Марии Египетские были,  
На три доли свою богатству делили:  
Одну долю отделили на незрящее тело,  
Другую долю отделили по тюрьмам, темницам,  
Третью долю отделили по церквам, соборам:  
Не сокращайте свое тело хорошим нарядом,  
Сокрасьте свою душу усердным подаянием,  
Ета ваша подаяния на первом присутствии будет,  
Как свеча перед образом-Богом!

Вступает и выделяется резкий голос Шаши:

Придеть время,  
Потрясется земля, небо,  
Все камушки распадутся,  
Пристолы Господни нарушатся,  
Солнце с месяцем примеркнет,  
И пропустит Господь огненную реку!

И сливаясь, сходясь, достигая зловещей силы и торжественности, зычно горланит весь хор:

Михаил Архангял  
Тварь земную поморить,  
Он вструбить в трубы,  
Возглаголит людем:  
Вот вы жили-были  
Своей вольной волей,  
В церкви не бывали,  
Заутреню просыпали,  
Позднюю обедню прожирали:  
Вот вам рай готовый —  
Огни негасимые,  
Муки нестырпимые!



## СВЯТЫЕ

Дом был, полон гостей, — гости бывали часто и гостили подолгу, — светлая морозная ночь сверкала звездами за мелкими стеклами старинных окон. К кафельным печкам подойти было нельзя, — так накалили их. По всем комнатам горели праздничные лампы, в самой дальней, диванной, даже люстра, мягко игравшая хрусталем, смугло-золотистым от времени. В гостиной сдавали на трех зеленых столах, за высокими канделябрами, в блеске свечей. В столовой стол был уставлен закусками, посудой и разноцветными графинами: гости то и дело выходили из гостиной, наливали рюмки, чокались и, потыкав вилками, возвращались к картам. В буфетной кипел ведерный самовар: старик буфетчик волновался, ссорился с Агафьей Петровной, шипел и замахивался серебряной ложкой на Устю, накладывая граненые вазы вареньем, наливал стаканы черным чаем и посылал подносы в гостиную. Вся лакейская была завалена хорошо пахнущими шубами, шапками и лисьими поддевками... А там, в дядиных комнатах, сидел Арсенич.

Дети заходили и в лакейскую и в буфетную, стояли возле играющих в гостиной; от нечего делать таскали со стола в столовой кружочки колбасы, смотрели в нижние стекла: видно было глубокое небо в редких острых звездах, снег, солью сверкавший под луною, длинная волнистая тень дыма из поварской; а дальше, за белыми лугами — высокие косогоры, густо поросшие темным хвойным лесом, сказочно посеребренным луной сверху. Подражая гостям, дети говорили друг другу «вы».

— Мить, а Мить, — сказал застенчивый Вадя, — вы нынче пойдете к Арсеничу?

— А вы? — спросил Митя, как всегда, очень строго. — Я непременно пойду.

И, оглянувшись на гостиную, на буфетную, — ходить к Арсеничу запрещалось, потому что у него было очень холодно, — дети медленно, как будто гуляя, перешли зал и вдруг быстро

шмыгнули за небольшую дверку возле печки в углу — в те необитаемые комнаты, где жил и умер дядя-охотник и где теперь гостил Арсенич, раза два-три в год приходивший повидать своих господ.

Дом жил своей жизнью, веселой, праздничной, эти комнаты своей — бедной, всем чужой. Но Арсенич наслаждался своей близостью к той, первой. Два-три раза в год барыне докладывали, что он стоит у крыльца. Она приказывала сказать ему, чтобы он шел в дядины комнаты, и Агафья Петровна посылала ему самовар, колбасы, белого хлеба, графинчик водки. Арсенич, сидя весь день один-одинешенек, пил чай, курил, сладко плакал и поздно ночью, — в одно время с господами, — укладывался спать, усталый и растроганный, на соломе возле печки. Прожив так с неделю, он искал случая увидеть барыню и, наклонявшись ей, несколько раз поймав ее руку для поцелуя, удалялся на деревню, на свою квартиру у мужика. Это и называлось — повидаться со своими старыми господами.

Дядиных комнат было две. Теперь в первой комнате было темно, только на полу лежали и наполняли темноту таинственным лунным светом два белых частых переплета; пахло тут седлами дяди и крысами. В другой сумрачно, дрожащим пламенем полыхала на кухонном столе возле остывшего самовара толстая сальная свеча в черном железном подсвечнике и густыми волнами плавал дым: посылали Арсеничу и табаку, но слабого, турецкого, и Арсенич, чтобы накуриться, принужден был курить без передышки. Топили тут плохо, окно было запущено серым инеем, и от него несло морозом. Большая черная картина висела в углу вместо образа: на руках чуть видной Богоматери деревянно желтел нагой Иисус, снятый со креста, с запекшейся раной под сердцем, с откинутым назад мертвым ликом. Арсенич, взлохмаченный, как кипень седой, красный и небритый, в истертом дядином пиджаке, сидел, подложив под себя одну ногу в валенке, на табурете возле стола. Он курил толстую вертушку и в какой-то радостной задумчивости плакал горькими слезами, не стирая крупных капель, катившихся по носу. Как всегда, дети, не спуская с него любопытных глаз, подошли к столу и стали пристально разглядывать сизые старческие руки, ворот грязной ночной рубашки, тоже дядиной, и красное, измятое, в колючем серебре лицо. Арсенич, стыдливо отвернувшись, стал искать по карманам свой ужасный носовой платок.

— Вы опять свои дудки курите? — спросил Вадя, остановив большие чистые глазки на этой ветошке, давно и бережно хранимой.

— Опять, сударь, — покорным шепотом, тихо и радостно улыбнувшись, ответил Арсенич.

— И водку пили? — спросил Митя.

— Пил и ее, окаянную...

— Всю?

— Всю-с, — прошептал Арсенич. — Только вы за-ради Бога не скажите мамаше про мои слезы. Это я не от этого-с. Сами извольте знать — не первый раз...

— Я ни за что не скажу, — сказал Митя твердо. — А вы? — спросил он Вадю. — Вы ведь тоже не скажете?

Вадя, что-то думая, нежно покраснел, поспешно перекрестился и помотал головой. Из зала доносился смех, говор. Кто-то, на время освободившийся от карт, играл на фортепьяно польку «Анну». Слушать старинные звуки было и приятно и грустно. Слушая и думая что-то, Вадя спросил:

— Вы бедные?

Арсенич вздохнул.

— Бедность не беда-с, и в богатстве, например, пропадают люди, — ответил он. — Мне ваша мамаша мещину выдают и рубль серебром денег, а за квартиру я не Бог весть что плачу, всего четвертак в месяц... В этом случае я на Бога не жалуясь.

— Вы теперь умрете скоро, — сказал Митя.

— Сушая правда ваша-с. Полагаю, даже нонешней зимой.

— А охотником вы были?

— Нет-с, этого не привел Бог. Я у вашего дедушки буфетчиком был.

— Вы о дедушке плачете?

— Ну, что ж о них плакать-с! — сказал Арсенич. — Они, например, еще в сорок осьмом году скончались. Да и прожили по нашему времени немало — восемьдесят семь лет с лишком. Я нонче плакал по поводу блудницы и мученицы Елены, о судьбе ее несчастной...

Из-под печки вынырнула мышь, метнулась было к столу и побежала в темную комнату. Дети проводили ее заблестевшими глазами, потом, облокотившись на стол, опять стали рассматривать глянцевиные рукава Арсенича, жилы на его сморщенной розовой шее.

— Ее казнили? — спросил Вадя, вспоминая других мучениц и мучеников, о которых постоянно рассказывал Арсенич.

— Это уж как водится, — ответил Арсенич. — Только не мечом, не пыткой, а еще хуже того...

— Вам ее жалко?

— Понятно, жалко-с. Только я ведь больше не от жалости плачу, а, например, от своего чувствительного сердца. Это

дело-с, по старому преданию, так было, — сказал Арсенич, стараясь не глядеть на детей, отводя от них глаза, опять покрасневшие. — Жила-была, например, самая что ни на есть отпетая блудница, по имени Елена, девушка богатого роду, отменная красавица и бездушная кокетка...

— А где она жила? — спросили дети, перхая от дыма. — В лесу?

— Нет-с, это ей потом Господь привел жить и пострадать за свою верную любовь в лесу, а сперва она проживала в столичном городе, в пространной и чудной квартире, в пирах, в веселии, по балам да маскарадам, — попросту сказать, блуд творила за большие деньги. Была же она, например, все-таки не настоящая госпожа и называлась промеж господ Адель, а брала, конечно, с кого попало, и с пьяного, и с тверезого, даже, может, не побрезгала бы приказным творением, будь у того средства. Ездили к ней первые князья и графы, делали ей подарки из последнего, многие даже руки на себя наложили из-за ней... ну только она в этом случае и бровью не вела и была ко всем, например, бесчувственна, как Ниоба, ни к кому не питала привязчивости: была у нее вечная-бесконечная тоска на душе. Такая-с тоска, что и сказать невозможно!

— А вы у ней в гостях были? — спросил Вадя.

— Статочное ли дело-с! — сказал Арсенич. — Я, сударь, холоп простой, дворовый человек всего-навсего. Меня оттуда господа палками выгнали бы; да и поделом было бы!

— А дедушка?

— Дедушка — те иное дело, но только они тогда, может, и на свет не рожались еще. Это, сударь, в старинные времена было, и тому теперь никогда не бывать, теперь век настал бездушный... Ну, так вот я и докладываю вам: была эта Елена просто алчная блудница, и множество господ пропали, например, из-за ее красы, как червь капустный. Только всходит однажды в ее уборные комнаты, уж этак поздно вечером, главный ее камердинер и докладывает, что желает ее немедленно видеть молодой и прелестный граф из свиты самой государыни императрицы. Она сидит, например, за своим туалетом, в одном капоте, чешет бесподобным черепаховым гребнем роскошные волны кудрей и отвечает, что, мол, я бы весьма рада, да теперь слишком поздно, я и так, говорит, из-за своей корысти день-деньской как в смоле киплю и, значит, принять его и осчастливить никак не могу, беру ванну с духами, а потом спать ляжу, меня тоска съела, ненавижу всех, зреть не могу... Слуга удаляется, но только воскорости опять всходит и говорит, что, мол, так и так... граф проиграл в штос все свое состояние и хочет на

последние свои средства... — Арсенич при этих словах с трудом овладел голосом... — и хочет, говорит, на последние свои средства провести ночь прекрасной любви... А будучи, например, допущен к ней, несказанно пленил ее своей младостью и томной грустью, и порешили они тут же умереть одной смертью в один час и даже миг. Да Господь-то, видно, не по-ихнему судил! Может, на то вон Ее святая воля была, — сказал Арсенич, поднимая воспаленные глаза и указывая ими на Богоматерь. — Всякие там богини никогда не могли по-нашему страдать и сердечность иметь, они только страсть свою питали, а ведь Она Сама за Свою любовь к кресту пошла скорбеть... Но только Спаситель Ей так сказал: «Не плачь, Моя мать, дева Мария, Моя мука — живот вечный отныне и во веки веков...»

И Арсенич, заплакав, на минуту смолк, прижимая рукав к лицу, облитому слезами.

— Все? — тихо спросили дети, подождав продолжения.

— Нет-с, не все еще, — со вздохом облегчения сказал Арсенич. — Они, докладывая вам, умереть решились, и, конечно, молодой граф тотчас же скончался, а ее этот яд не мог взять, ей вскорости полегчало, и осталась она еще жить на белом свете, чтобы, например, пострадать и награду получить за свою первую и последнюю любовь... Мужское дело, конечно, иное... мужчина может, и любя свой предмет, прельщаться на других, а уж женщина нет, никогда себе этого не позволит, она, может, оттого и грех делает, что не нашла себе достойного... Ну, вот так и тут. Она, конечно, даже в лице изменилась, исхудала, стала еще прекраснее прежнего и совсем отвратилась, например, от бездушной светской жизни, стала negliжировать своими обязанностями и уж ни за какие блага в мире не соглашалась предать свое тело, полюбивши одного до гробовой доски. Тут, в скором ли, в долгом ли времени, хозяйка оказалась ей недовольна, зачала ее всячески maltретировать, она же безо всякого ответа собрала в ночное время все, например, самоцветные камни и брошки, какие ей надарили, завязала свое голландское белье в узелочек, да и удалилась в дремучий лес, где, может, только одни орлы скрывают да рыси по дубам прядают. Взяла она, значит, с собой лишь этот узелок да, например, материнò благословение, образ Николая-угодника в серебряной вызолоченной ризе, идет по межам куда глаза глядят и плачет горькими слезьми, не хуже меня такогото — конечно, уж от радости, что вырвалась, значит, на волю, под голубые небеса, и доходит до большого стада. Пастух спрашивает, кто она такая, а она безо всякого страха подходит прямо к нему, отдает ему свой драгоценный узелок, всякие свои

редкости, снимает с себя роскошные наряды и кринолины и просит его отдать ей свое нищее рубище. Тот, понятно, рад-радехонек, скинул поскорей свой пошлый зипун и прикрывает, например, ее почеть нагое тело. А она, низко ему поклонившись, идет бедной странницей дальше и приходит в тихий монастырь, в прекрасную женскую обитель в этом дремучем лесу, просит стариц принять ее простой послушницей и начинает вместе с ними спасаться, грехи свои, например, замаливать и изо всех сил просить себе у Бога вечной-бесконечной жизни.

— Где тля тлит, — добавил Вадя, вспоминая прежние рассказы Арсенича.

— Нет, сударь, не тля, — сказал Арсенич, — а напротив того, радость безмерная. И вот, по воле Божьей, происходит такой нечаянный случай: оказался в той обители старец древний, живописец крепостной, пожелавший к монахиням на спокой удалиться. Писал он, например, всякие образа, всякие священные живописи для ихней церкви и начинает, видя ее красоту и муку, всякий ее самый низкий труд, умолять ее позволить списать с нее образ Царицы Небесной, всех скорбящих Радости. Она падает в ноги ему, закликает Христом-Богом не делать того. «Я, говорит, великая грешница, я предана вечному унынию, смертному греху, я имею на душе страшную тайну», — ну, словом, почеть признается, что я, мол, и до сих пор не могу расстаться с любовью к одному человеку... да, наконец того, просто и одежда моя не позволяет, я, мол, в черной бедной рясе, а снять ее не могу ни на одну минуту — такой обет Богу дала... Но только тот старец остается, например, непреклонен: говорит, эта одежда разрешается, ты бледна и прекрасна, как мраморный групп, и черный цвет тебе как нельзя кстати... Жалуется, наконец, самой матери игуменьи... А та возьми да и прикажи немедленно же снять этот портрет с нее. Старец, конечно, радуется несказанно, регулярно делает свое дело, остается только венчик золотой округ головы подрисовать и в церковь несть... И уж хотели было так и сделать, как думали, венчик, значит, подрисовать и освятить этот образ прелестный, чтобы в церковь его, например, поставить, как оказывается вдруг страшное, несказанное дело: оказывается, эта девица Елена... ну, просто сказать, тяжелая, беременная, и уж никак нельзя скрывать этого больше, сама природа не позволяет... Боже мой, — воскликнул Арсенич, качая головой, — что тут было делать монахиням! Свет везде бездушен, а ведь она плод любви понесла! Она никогда того положения не знала, не могла, не любя, зачать дитя в своей утробе, а тут полюбила как на грех, а уж раз она стала не простая девица, а мать беременная, как могла она блуд в этом случае творить?

— Они ее убить велели? — спросил Митя.

— Нет-с, хуже, они ее в ночь-полночь в лес выгнали, — сказал Арсенич. — И вот извольте подумать, что она должна была прочувствовать в этом случае? Может, одна Фекла-старуца то испытала в сновидении, в хождении своей души по мукам. А ведь, однако, один платочек белый, какой она подала нищему старику и какой ангел на весы, в посрамление бесам, кинул, и то спас ее, всех ее грехов тяжелее оказался!

— А зачем ее выгнали в лес? — спросили дети.

— А куда же-с? — ответил Арсенич. — Конечно, в лес дремучий, непроходимый...

— Где орлы скрыжут, — добавил Вадя.

— Истинно-с, где орлы скрыжут и всякий зверь необузданный съест может, — повторил Арсенич с горьким торжеством. — Где дивья темь лесная и одна скала-пещера могла служить ей приютом! А она в той пещере принуждена была дитя родить, и пеленает его, например, чем может, дерет в этом случае свою последнюю рубашку на свивальнички, а тут, может, всякие рысы голосят, глядят с дубов зелеными глазами и летит и шумит сама птица-Игра, — Арсенич крепко сделал ударение на первой букве, — летит птица-Игра, вся белая с черными крыльями, вьется, кричит, хочет его, например, крыльями до смерти затрепать... И, конечно, не смогли они, беззащитный младенец с матерью, стерпеть такой муки, голоду-холоду, поругания, и тут же и скончались, потому что у ней не только молока в грудях, а и хлеба ни синь пороха не осталось для пропитания... И что же тут случилось, какое внезапное чудо! Звери, птицы, и те возрыдали, восскорбели о ней, и такой вихорь поднялся по лесу, что в самую ночь-полночь проснулась вся обитель от такого шума, а древний этот старец, живописец, вскочил, например, с ложа в своей студии, слышит в этом страшном шуме чей-то голос, повелевающий ему поскорее в лес идти, и, как был, так и выбегает вон, всех будит, зовет мать игуменью, зовет самую старую старицу-схимницу, и отправляются они, значит, в трех лицах, с огнями, с фонарями, в этот самый непроходимый лес. А там, например, только уж бездыханное тело лежит! Стоит чаща дремучая — и лежит под ней, под сосной, которая певг называется, мать красы неопи-санной, вся как снег белая, в своей ризе черной, гробной, с мертвым младенцем у бесплодной груди — и горит округ ее головы венчик огненный, весь лик ее бледный и ризу озаряет: значит, тот самый, какой не насмелился старец-живописец на своей иконе подрисовать, узнавши о грехе Елены, про то, как она такая в миру была! — Это ли-с не чудо великое, это ли не

указание? — воскликнул Арсенич восторженно и горько, глядя на детей вопрошающими красными глазами, от которых еще белее казалась его взлохмаченная седина.

— Ее в монастырь принесли? — спросили дети.

— Понятно-с, куда же больше. И, конечно, с великими почестями, отпели и схоронили, как мощи, в самой церкви, даже и с младенцем вместе, и к ручке ее со слезами прикладались... Вот тут-то небось и вспомнили, что апостолы-то святые нам наказывали: помните, мол, — великое, несметное множество грехов прикрывает любовь!

Темная свеча полыхала, как лучина, Арсенич смолк и долго молчал в какой-то думе, глядя на свою руку и на ветошку, зажатую в ней. Митя пристально и серьезно ковырял подсвечник, облитый застывшим салом. Вадя не сводил с огня неподвижных и уже дремотных глаз. В зале опять играли польку «Анну», и кто-то смеясь кричал: «Не пускать, не пускать!» Вдруг Вадя очнулся и спросил охрипшим голосом:

— А вы будете святой?

Арсенич закачал головой.

— Ах, сударь, какой вы грех великий говорите! Да я, как пес какой, округ господ весь век свековал, дня одного страдания не знал! За что же награждать-то меня?

— А вы это все сами выдумали?

— Боже избави! Я все это по народу слышу да из книг сличаю-с. Сижу и читаю-с на гулянках, — у меня книги бесподобные, старинные есть... Душа у меня, правда, не нынешнего веку... Мне Господь не по заслугам великий дар дал. Этого дару старцы валаамские только при великой древности, да и то не все, домогаются. Это прелестный дар — слезный дар называется. А уж как я стихи, например, люблю, того и сказать даже невозможно!

И, глядя на детей грустно-радостными глазами, Арсенич, на старинный лад, певуче продекламировал:

И в последний мой час я завет вам даю:  
Посадите вы ель на могилу мою!

За окном, по сугробам, скрипели полозья саней, со скрипом шли к крыльцу лошади, громыхая бубенчиками: кто-то уезжал в светлую морозную ночь, в те туманно-серебристые леса, что сказочно темнели по косогорам за лугами.

В зале играли и танцевали польку «Анну», и Арсенич, закрыв глаза, с улыбкой покачивал в такт головою.

— Ах, но и светская жизнь хороша-с! — сказал он, вздыхая. — И кабы моя воля, прожил бы я на свете тыщу лет!

— А зачем?

— А затем-с, что все бы жил, смотрел, на Божий свет дивился... Очень я расстроился нонче, раздумавшись об этой Елене, вечной печальнице, а потом вспомнил, например, великомученика Вонифатия — и залился в три реки от радости! Тоже простого звания человек был... раб крепостной, только и всего-с... И уж совсем иного складу: отпетый бокутир, беспутная головушка, все нипочем... Пишут его, например, на образах русым... в житии так прямо и сказано: желтоволос был, — значит, весь, небось, в веснушках, ростом не велик, и глаза веселые, наигранные, не то что у этой Елены-страдальцы. Был он в городе Риме, у госпожи своей Аглаиды стольником, при столе, например, прислуживал — ну, и пленил ее... В житии, конечно, уж очень бездушно сказано — мол, не будучи замужней, жизнь свою протекала в грехах, сделалась преклонна своим похотям, проживала в незаконном сожителстве с рабом своим Вонифатием, а ежели судить в этом случае по человечеству, то, небось, так случалось: увидит его, глянет и усмехнется, — вот, мол, хороший человек, а там и полюбила и приблизила к себе... Ну, живут они таким побытом год, живут другой, она за ним небось как за ребенком заботится, — есть такие женщины, ласковые, прелестные, богомольные душой, хоть и в грехе всегда, никому, например, не умеют отказать по своей доброте... Он день и ночь с приятелями, на гитарах там на разных играет и винцо пьет, — в житии так и сказано: был обуреваем страстьми, погрязал в грехах, — а она все дома, щает, небось, ему что-нибудь, нежно о нем думает, все измены прощает ему, вроде матери... Только-с время-то не ждет, проходят, например, ее лета, стала она над своей судьбой задумываться, иной раз, небось, и поплачет тишкóм... И, как говорится, насмелилась раз. Дорогой, говорит, мой возлюбленный, есть у меня мечта заветная: я для тебя всем пожертвовала, ни людей, ни Бога, например, не боялась, а живем мы все-таки не венчанные, не признанные — надо нам в дом часть мощей внести, просветить наш дом. Умоляю тебя — снаряди корабль, возьми злата, серебра, дорогих благовонных плащаниц всяких, чтобы, например, эти честные мощи увить, и плыви ты в Киликийскую страну, в город Тарс, там много святых страсотерпцев свои главы за Христа сложили... Ну, он, конечно, на это соглашается, снаряжает корабль парусный, устилает его, например, всякими коврами и шелками шамаханскими и отплывает в путь с друзьями-приятелями, с винами, с музыкой, со всякой дворовой прислугой...

— А дорогой буря поднялась? — спросили дети.

— Нет-с, напротив того, все они преблагополучно достигли

тех стран. Опустили там все свои якоря, паруса — и отправляется он в этот город Тарс, в гостинный дом, чтобы, значит, отдохнуть, погулять, а с утра и за дело взяться. Проходит, например, градские ворота, идет вверх по улице, конечно, беспечный, беззаботный, напеваает свою арию и вдруг слышит страшный шум... Спешит, понятно, поскорей туда и видит бесчеловечное смертоубийство: сгрудился народ на площади, кричит, махает руками и требует казни, а посеред площади сидит жестокий судья и мучает лютейшими муками святых христиан, — кого велит надвое рубить, кому глаза выколоть, кому голову отсечь, — а перед ним старец на коленях, преклонился под острый обоюдный меч и восклицает в свой последний час: «Да святится имя Господне, Христово, пречистое!» И как услышал это Вонифатий, этот, например, беззаветный бокутир, так и загорелся весь, — в житии так прямо и сказано: возвеселился духом за имя Господне, — кинулся в самый народ, выскочил наперед всех да и подхвати, даже не подумавши, тот старцев крик: «Да прославится, мол, имя Господнее! Что вы, мол, делаете, язычники бездушные, пропустите меня — хочу и я пострадать за Спасителя!» Тут все, понятно, к нему — ужасаются за него, уговаривают — побойся, например, за жизнь свою, одумайся, ты чужеземный гость, какое тебе дело... А он — все свое: «Знать ничего не хочу, недостойны вы меня склонить, прельстить — проклинаю ваших мраморных богов, секите мне голову!» Разорвал единым махом все свои одежды разноцветные, пал на колени середь площади, уронил свою головушку...

— И принял мечное сечение, — добавил Вадя тихо.

— Да-с, и принял мечное сечение, ненаглядная моя деточка! — воскликнул Арсенич и, поймав его ручку, крепко прижался к ней своими холодными губами, на которые закапали горячие слезы. — Ну, да что! — прошептал он потом, отвертываясь и лоя по столу свой платок. — Никуда я стал, совсем никуда!

Утершись, он достал из кармана осьмушку табаку, стал, облегченно вздыхая, вертеть толстую папиросу. Дети долго смотрели то на его седую голову, то на большую дрожашую тень ее на стене, слушая нестройный, уже застольный говор и смех в зале.

— Вам Вонифатий больше нравится? — строго спросил Митя.

— Грешный человек, — прошептал Арсенич, поспешно наклоняясь, чтобы языком заклеить свою вертушку, — уж очень мне его кураж нравится!



## ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР

На Фоминой неделе, в ясный, чуть розовый вечер, в ту прелестную пору, когда земля только что вышла из-под снега, когда в степных лощинках еще лежит под голыми дубками серый затвердевший снежок, ходил по одной елецкой деревне, от двора к двору, старик нищий — без шапки, с длинной холщовой кисой через плечо.

Деревня эта большая, но молчаливая, полевая. Да и вечер такой выдался. Пусто было вдоль бесконечно разлившегося глинистого пруда, на ровном выгоне, где, в тени от изб и пунек, шел, держа в руке высокую ореховую палку, этот лысый и еще черный старик, похожий на святителя. Выгон чисто, ярко зеленел, в воздухе свежело, пруд, выпукло-полный, зеркально-телесного тона, очень хорош был, хотя еще плавала на нем одна бутылочко-зеленая льдина. Где-то на том боку, тепло и ласково освещенном в упор низким солнцем, — где-то, как казалось, очень далеко, — плакал ребенок, заблудившийся за какой-нибудь ригой или амбаром, и мило было слушать по заре его жалобный однообразный плач... Но подавали плохо.

Там, при въезде, возле старого богатого двора с вековыми дубами в грачиных гнездах, за красной кирпичной избой в три связи, подала молодая сероглазая бабочка, да и то пустяк. Стояла она у каменного порога среди подсыхающей весенней грязи, на тугой тропинке, держала сидевшую у нее на руках хорошенькую девочку с бессмысленными голубыми глазами, в разнолоскутном чепчике, и, прижимая ее к себе, плясала, притоптывала босыми ногами и повертывалась, раздувая ситцевую юбку.

— Вон старик, сейчас в сумку отдам, — заговорила она сквозь зубы, впиваясь губами в щечку девочки. —

Ппайду плясать,  
Альни пол хрустит...

# 1, не вступу

~~прозрачный~~ и заглубивший въ степи ликъ ничего не выражалъ.

— Гдѣ таскался? — грубо и шало спросилъ мужикъ. — Воровать ~~рушкету~~ благо народъ въ полѣ?

— Затѣмъ воровать? — ровно и скромно отозвался нищий. — У меня шесть человѣкъ дѣтей было, свой домъ, хозяйство...

— Слѣпой, слѣпой, а небось, сколько натаскалъ ~~идерска прутья~~ у свою яругу!

— ~~Итакъ~~ Я въ черной работѣ на шахтахъ харьцызскихъ десять лѣтъ работалъ...

— Это не работа. Это...

— Ты лишняго не говори, — не возвышая голоса, не поднимая рѣсницъ, сказала хозяйка и перекусила нитку. — Я похабно не слушаю.

— Ну, молчи, не буду... барыня! — сказалъ мужикъ.

— Низвините... Я тебя спрашиваю, — сказалъ онъ, нахмуриваясь, нищему: — какія такія шахты, когда земля не сѣяна, не скорожена?

— Да вѣдь, конечно... у кого она есть, къ примѣру...

— Потоди, я тебѣ умнѣй! — сказалъ мужикъ, хлопнувъ ладонью по столу. — Отвѣчай на вопросъ: въ солдатахъ служилъ?

— Уидер-церь десятого гренадерскаго малороссійскаго генераль-фитъмаршала графа Румянцева-Задунайскаго полка... Какъ-же такъ не служилъ?

— Молчи, не вякай лишняго! Въ какомъ году взяли?

— Семьдесятъ шестомъ году, въ ноябрѣ мѣсяцѣ.

— Ничѣмъ не былъ провиненъ?

И, перевернувшись, переменяла голос на звонкий, кому-то подражающий, кокетливый:

— Старик, старик, не надобно ли вам девочку?

Девочка не испугалась, она спокойно сусолила толстую баранку — и мать, шутя, на все лады, стала уговаривать девочку отдать ее подошедшему и улыбавшемуся нищему:

— Отдай, деточка, отдай, а то мы с тобой во всем дворе одни-одинешеньки, нам и милостинку сотворить не из чего...

И девочка тупо протянула короткую ручку, свой маленький кулачок с зажатой в нем слюнявой котелкой. И нищий, с улыбкой качая головой на чужое счастье, взял и пошел, на ходу закусывая.

Он шел, держа палку на отлет, наготове: то кубарем катится под ноги злая хрипучая шавка — и, докатившись, неожиданно смолкает; то желтый пушистый кобель яростно дерет, кидает землю задними ногами, стоя возле пуньки, и рычит, захлебываясь, с огненными глазами... Подойдя к избе, к маленькому окошечку, нищий смиренно кланялся и легонько стучал батошкой в раму. Но часто никто не отзывался на этот стук: еще досевали, допахивали многие, были в поле. И старая крестьянская душа даже втайне радовалась: в поле народ... это время год кормит... не до нищих... А порой за стеклами, в которые постукивал нищий, склонялась сидевшая на лавке с грудным на руках белолица баба. В окошечке, маленьком, бедном, она казалась очень большой. Ничуть не стыдясь, что нищий видит ее мягкую пшеничную грудь, она махала крупной рукой в серебряных кольцах, а ребенок, не выпуская сладкого соска изо рта, лежал, смотрел ей в лицо темными ясными глазами, драл голые каряки в розовых точках от блох. — «Бог даст, не прогневайся!» — говорила баба спокойно. Что до старух, то каждая болезненно морщилась, непременно высовывалась наружу и долго жаловалась, все твердила, что рада б радостью подать, да нечего... все в поле... а без спросу боязно, ее, старуху, и так заглодали... Нищий соглашался, говорил: «Ну, прости за-ради Бога», — и шел дальше.

Он сделал за день верст тридцать и ничуть не утомился: только одеревенели, притупились, стали неладно вилять ноги. Длинный мешок его был до половины набит корками и кое-каким добришком; а под низками, под армяком в больших заплатках, под овчинной курткой и заношенной рубахой, давно висела на кресте ладанка, где зашито было девяносто два рубля бумажками. И на душе у него было покойно. Конечно, стар, худ, выветрился, — рот стянутый, пересохший дочерна, нос как кость, шея вся в трещинах, клетчатая, точно пробковая, —

но бодр еще. Глаза, когда-то бывшие черными, гноились и туманились легкими бельмами; да все-таки видели — и полный пруд, и розовый свет на избах на том боку, и даже чистое бледное небо. Воздух свежел, слышнее, но как будто еще дальше замирал детский плач, пахло холодеющей травой... Два голубя дружно пронеслись над крышами, пали на глинистом берегу пруда и, подымая головки, стали пить... Давеча на большой дороге, в одиноком дворе, расщедрились бабы: подали большой кусок коленкора и хорошие, совсем еще хоть куда штаны: справил себе ихний малый, да придавило его в яме, в пищуле, где мужики глину копали. Теперь нищий шел и думал: не то сбуть их, не то самому надеть, а свои, уж очень непарадные, в поле под межу кинуть?

Кончив деревню, он пошел в короткий переулочек, на выезд в степь. И в глаза ему глянуло лучистое, погожее апрельское солнце, опускавшееся далеко за равниной, за серыми парами и яровыми взметами. На самом выезде, на повороте укатанной блестящей дороги в ту дальнюю притынную деревушку, где думал заночевать нищий, стояла небольшая новая изба, плотно крытая вприческу, лимонного цвета старновкой. Ото всех отделясь, поселились тут с год тому назад, — еще щепя валялась кое-где, — муж с женой, люди хозяйственные и приятные, тайком торговавшие водкой. Нищий и пошел прямо к этой избе: штаны можно было продать хозяину ее; да любил он и просто заходить в нее, любил за то, что живет она какой-то своей особенной жизнью, тихой и прочной, стоит на выезде и глядит чистыми окошечками на закат солнца, при котором допевают в холодеющем воздухе свои вечерние песни жаворонки. Под глухой стеной, выходящей в переулок, была тень. А с лица было весело. Прошлой осенью хозяин посадил под окошечками три куста акации. Теперь они принялись и уже опушились желтоватой зеленью, нежной, как на вербе. Обойдя их, нищий вошел через сени в горницу.

Сперва, после солнца, он ничего не видел, хотя солнце и сюда глядело, освещая голубой прозрачный дым, плававший над столом, под висячей жестяной лампой. Выгадывая время для глаз, он долго кланялся, крестился на новую фольговую икону в углу. Потом сложил мешок и палку возле двери на пол и различил крупного мужика в лаптях и оборванном полушубке, сидевшего спиной к двери, на скамейке за столом, а на лавке — нарядную хозяйку.

— Благодать вам Господня, — негромко сказал он ей, еще раз кланяясь. — С прошедчим праздником.

Хотел было спеть «Христос воскрес», да почувствовал, что будет некстати, и подумал:

— А хозяина-то, знать, дома нету... Жалко...

Хозяйка была хороша собой, с ладным станом, с белыми руками, точно и не баба простая. Одета она была, как всегда, по-праздничному: перловое ожерелье, миткалевая сорочка с тонкими вздутыми рукавами, красным и синим расшитая занавеска, шерстяная кубовая юбка в кирпичную клетку и грубые, но крепко и по ноге сшитые полсапожки со стальными подковками. Склонив аккуратную голову, чистое лицо, она вышивала рубаху мужу. Когда нищий поздоровался, она подняла на него твердые, без блеску глаза, пристально посмотрела и приветливо кивнула. Потом, легонько вздохнув, отложила работу, ловко воткнула в нее иголку, прошла, постукивая по деревянному полу полсапожками и виляя задом, к печке, вынула из шкапчика косушку водки и толстую чашку в синих разводах.

— А притомился, однако... — как бы про себя сказал нищий — и в извинение за водку, и слегка смущаясь молчанием не повернувшегося к нему мужика.

Мягко ступая лаптями, скромно обойдя его, он сел на другую лавку, на угол стола, напротив. А хозяйка поставила перед ним косушку, чашку и вернулась к работе. Тогда тяжело поднял голову этот здоровый оборванный степняк, — перед ним зеленел целый полштоф, — и, прищурившись, уставился на своего скромного собутыльника. Может, он и притворялся малость; но все же лицо его воспалено было, глаза пьяны, налиты мутным блеском хмеля, пересмягшие губы полураскрыты, точно в жару: видно, уж не первый день пил он. И нищий слегка подтянулся и осторожно стал наливать свою чашку. Что ж, мол, всякий свое пьет... тут шинок, и мы друг дружке не мешаем. Он поднял голову, и туманно-черные глаза его цвета спелого терна и весь выветренный и загубевший в степи лик ничего не выражали.

— Где таскался? — грубо и шало спросил мужик. — Воровать пришел, благо народ в поле?

— Зачем воровать? — ровно и скромно отозвался нищий. — У меня шесть человек детей было, свой дом, хозяйство...

— Слепой, слепой, а небось сколько натаскал перьев, прутьев у свою яругу!

— Зачем? Я в черной работе на шахтах харцызских десять лет работал...

— Энто не работа. Энто...

— Ты лишнего не говори, — не возвышая голоса, не подни-

мая ресниц, сказала хозяйка и перекусила нитку. — Я похабно-го не слушаю. От мужа еще не слыхала.

— Ну, молчи, не буду... барыня! — сказал мужик. — Низвините... Я тебе спрашиваю, — сказал он, нахмуриваясь, нищему, — какие такие шахты, когда земля не сеяна, не скорожена?

— Да ведь, конечно... у кого она есть, к примеру...

— погоди, я тебе умней! — сказал мужик, хлопнув ладонью по столу. — Отвечай на вопрос: в солдатах служил?

— Ундер-цер десятого гренадерского малороссийского генерал-фитцмаршала графа Румянцева-Задунайского полка... Как же так не служил?

— Молчи, не вякай лишнего! В каком году взяли?

— Семьдесят шестом году, в ноябре месяце.

— Ничем не был провинён?

— Никак нет.

— Начальство ублажал?

— Не мог того не делать. Присягу примал.

— А это что за шрам на шее? Понял ай нет, куда я вижу? —

Это я его испытываю, — сказал мужик, угрюмо двигая бровями, но меняя властный тон на более простой и обращая к хозяйке свое шальное лицо, золотисто освещенное сквозь табачный дым закатом. — Я его насквозь вижу... Не лаптем щи хлебаю!

И опять нахмурился, взглянув на нищего:

— Перед святым крестом — евангелием преклонялся?

— Так точно, — ответил нищий, успевший выпить, вытереться рукавом, сесть опять прямо и придать своему лицу и туманным глазам бесстрастное выражение.

Мужик мутно оглядел его:

— Встань передо мной!

— Не шуми. Тебе сказано ай нет? — спокойно вмешалась хозяйка.

— Постой ты за-ради Бога, — отмахнулся мужик и повторил: — Встань передо мной!

— Да что-й-то вы, ей-Богу... — забормотал было нищий.

— Встать, тебе говорят! — крикнул мужик. — Я тебе вопрос сделаю.

Нищий поднялся и переступил с ноги на ногу.

— Руки по швам! Так. Пачпорт есть?

— Да ай вы урядник, что ли...

— Молчи, не смей так со мной балакать! Я умней тебе! Я сам тянул. Показывай сию минуту!

Покорно, поспешно отстегнув крючки армяка, потом ов-

чинной куртки, нищий долго рылся за пазухой. Наконец вытащил завернутую в красный платок бумагу.

— Поддай сюда, — отрывисто сказал мужик.

И, развернув платочек, нищий подал ему истертую серую книжечку с большой сургучной печатью. Мужик неловко раскрыл ее корявыми пальцами и, делая вид, что читает, далеко отставил от себя, откинулся и долго смотрел сквозь дым и краснеющий свет зари.

— Так. Вижу. Все в аккурате. Бери назад, — с трудом сказал он спекшимися губами. — Я беден, беден, я, может, другую весну не пашу, не сею... меня люди зарезали, я у него, у собаки, в ногах валялся... а мне, может, цены нету... А что наворовал, сказывай, а то убью сейчас! — крикнул он свирепо. — Я все знаю, все приизошел... сам в смоле кипел... Жизнь нам Господь дает, а отымает ее всякая гадина... Давай сюда мешок, и боле никаких!

Хозяйка только головой качнула и отклонилась от вышивки, разглядывая ее. Нищий пошел к двери, подал мужику и мешок. Мужик взял, положил возле себя на скамейку и, приминяя его, сказал:

— Правильно. Теперь садись, давай побалакаем. Я все эти дела разбюру. Я свою ревизию сделаю, не бойся!

И замолчал, уставившись в стол.

— Вясна... — пробормотал он. — Ах, да разнесчастная субботушка, нельзя в поле работатъ... Делай! — крикнул он, стараясь щелкнуть пальцами.

Пошла барыня плясать,  
Голубые пальцы...

И опять замолчал. Хозяйка заглаживала наперстком вышивку.

— Я корову пойду доить, — сказала она, поднимаясь с места. — Огня без меня не вздувайте, а то еще пожару спьяну наделаете.

Мужик очнулся.

— Господи! — воскликнул он обиженно. — Хозяюшка! Да неужто мы... Об мужу небось скучились?

— Это не твоя печаль, — сказала хозяйка. — Он в городе, по делу. По кабакам не таскается.

— Потаскаешься! — сказал мужик. — Что ж мне, ай подорогу теперь выходить? Вам, чертям, богатым, хорошо...

Хозяйка, захватив подойник, вышла. В избе темноло, было тихо, и розовый свет разливался в темноте, мягкой, весенней. Мужик, облокотясь на стол, дремал, насывая потухшую ци-

гарку. Нищий сидел смиренно, неслышно, присклонясь к темному простенку, и лица его почти не было видно.

— Пиво пьешь? — спросил мужик.

— Пью, — послышался негромкий ответ.

Мужик помолчал.

— Бродяги мы с тобой, — сказал он хмуро и задумчиво. — Сволота несчастная... побирушки... Мне с тобой скушно!

— Это правильно...

— А пиво я люблю, — опять помолчав, громко сказал мужик. — Не держит, стерва! А то бы я и пива выпил... и закусил бы... у меня язык намок, есть хочется... Закусил бы и выпил... да... А эта, хозяйка, хороша лицом! Мне бы такую-то на пристяжку, я бы... Ну, ничего, сиди, сиди... Я слепых уважаю. Придет престольный праздник, я их, слепых-то, бывало, человек двадцать за стол посажу, у нас двор был — поискать такого-то! Они мне и стих споят и поклоняются... Стихи можешь петь? Про Алексея Божьи человеки? Я этот стих доллюбаю. Бери чашку, — своей угощу...

Взяв из рук нищего чашку, он поднял ее на слабый свет зари и налил до половины. Нищий встал, низко поклонился, вытянул чашку до дна и опять сел. Мужик потащил к себе на колени его мешок и, развязывая, забормотал:

— Я тебя сразу понял... У меня, брат, денег хватит, я тебе не ровня... Я их хладнокровно проживаю... пропиваю... В год по лошади пропиваю, по хорошему барану прокуриваю... Ага! Наколелся на мужичка, понял, кто я такой? А мне тебе жалко... Я понимаю! Вас, таких-то, тыщи весеннее время идут... Грязь, чичер, ни путя ни дороги, а ты иди, кланяйся... да еще не то дадут, не то нет... Брат! Разя я не понимаю? — спросил мужик горько, и глаза его налились слезами.

— Нет, вешнее время ничего, хорошо, — тихо сказал нищий. — Идешь полем, большаком... один, как есть... Опять же солнушко, тепло... Правда, большие тысячи нас таких-то идут.

— Я две лошади пропил, — сказал мужик, выгребая из мешка корки, вытаскивая жилетку, коленкор, штаны и лапоть. — Я все твои хрунки, лохмотья несчастные разберу... Стой! Брюки! Это я у тебя, с деньгами справлюсь, обязательно куплю... Сколько?

Нищий подумал.

— Да я бы за два отдал...

— Трояк дам! — сказал мужик, поднимаясь, подсовывая под себя штаны и садясь на них. — Мои! А лапоть где другой? Совсем новый, — значит, обязательно украл... Ну, да уж лучше воровать, чем так-то, не хуже меня, сердце себе терзать вешнее

время, с голоду околевать, сенцы последние раскрывать, когда последний пастух, и тот при делу... Я лошадь пропил, а она, скотина-то, дороже человека стоит... Ай я не пахарь, не косец? — А теперь пой стих, а то убью сейчас! — крикнул он. — Мне с тобой скушно!

Дрожащим, скромным, но привычным голосом нищий запел из темноты:

Жили-были братья рѳдные,  
Богом-Христом братья свѳдные...

— Ах, да и свѳднаи! — высоко и жалостно подхватил мужик, надрываясь.

Нищий ровным церковным напевом продолжал:

Один беден-скуден,  
У гною-проказе...

— А другой бога-атый! — не в лад, заглушая его, со слезами в голосе подхватил мужик. — Сердитей! — крикнул он, срываясь. — Мне горе съело, у всех людей праздник, у всех людей севы, а я грызу землю, она, родимая, другую весну у меня пустуя... Подай сюда чашку, а то убью сейчас! Открой мне окошко!

И опять нищий покорно подал чашку. Потом стал отворять окно. Новое, оно забухло и долго не подавалось. Наконец, подалось, запахнулось. Свежо, хорошо запахло полем. Поле было уже совсем темно, розовая заря потухла, чуть реяла над мягкой тьмой его, тихого, счастливого, оплодотворенного. Слышно было, как допевали свои самые последние песни полусонные жаворонки.

— Пой, Лазарь, пой, родный мой братец! — сказал мужик, протягивая нищему полную чашку. — Оба мы с тобой... Только что ты передо мной? Бродяга! А я рабочий человек, всех страдающих поилец-кормилец...

Он тяжело, срыву сел и опять полез в мешок.

— А это что у тебя такое? — спросил он, разглядывая коленкор, чуть порозовевший от едва уловимого света зари.

— Так... бабы подали, — сказал нищий тихо, чувствуя, что от хмеля все плывет под ним, что пора уходить и что надо как-нибудь вытянуть из-под мужика штаны.

— Как — так? Брешешь! — крикнул мужик, ударяя кулаком по столу. — Это саван! Вижу! Это гробный саван! — со слезами крикнул он, отпихнул от себя мешок и, замотав лохматой головой, заплакал. — Возгордился я на Бога! — горько сказал он, плача.

И, натуживаясь, ладно, сильно запел:

Зародила-сохранила меня мать,  
Непростительного!  
Усе муки приызашел,  
Все печали приызашел,  
Нигде счастья не призрел!  
Говорила мне мать,  
Приговаривала:  
Кабы знала-ведала,  
Такой чады никогда  
Не стерпела бы...

— Душа моя грешница, веретенница! — дико закричал он, плача, и вдруг с жутким хохотом захолопал в ладоши. — Нищий человек, отдай мне свои деньги! Я тебе насквозь знаю, я тебе насквозь чую — отдай! Знаю, что есть! Не может того быть, чтобы не было, — отдай за-ради самого Господа Бога!

И, шатаясь, поднялся, и у нищего, тоже поднявшегося, отнялись ноги от страха, заныло в ляжках. Заплаканное лицо мужика, чуть видное в сумерках, было безумно.

— Отдай! — повторил он сразу охрипшим голосом. — За-ради Царицы Небесной — отдай! Вижу, вижу — за грудь, за пельки ухватился, — значит, есть, — у вас у всех есть! Отдай — тебе все равно ни к чему, ты в гробу одной ногой, а я навеки человеком стану! Отдай добром, — брат, рódный, не доводи до греха!

— Никак нет, — тихо и бесстрастно сказал нищий.

— Как?

— Никак нет. Двадцать лет собирал. Не решусь.

— Не отдашь? — силло спросил мужик.

— Нет, — едва слышно, но непоколебимо сказал нищий.

Мужик долго молчал. В темноте было слышно, как у обоих стучали сердца.

— Хорошо, — с безумной покорностью проговорил мужик. — Я тебе убью. Пойду, найду камень и убью.

И, шатаясь, пошел к порогу.

Нищий, прямо стоя в темноте, широко и медленно перекрестился. А мужик, быком склонив голову, уже ходил под окнами.

Потом послышался хруст, — видно, он выдирает камень из фундамента.

И через минуту дверь снова хлопнула — и нищий вытянулся еще более.

— Остатный раз тебе говорю... — пробормотал мужик спаленными губами, подходя к нему с большим белым камнем в руках. — Брат...

Нищий молчал. Лица его не было видно. Размахнувшись левой рукой и поймав нищего за шею, мужик крепко ударил его в откачнувшееся лицо холодным камнем. Нищий рванулся назад и, падая, задевая лаптем стол, стукнулся затылком об лавку, потом об пол. И, навалившись на него, мужик стал яростно, сдавив в груди дыхание, перебивать ему камнем горло.

Через десять минут он был уже далеко в темном ровном поле. Было звездно, свежо, металлически пахло землей. Со всем трезвый, он шел так быстро и так легко, что, казалось, можно было еще сто верст пройти. Ладанку, сорванную с креста нищего, он крепко держал в кулаке. Потом вдруг швырнул в темные взметы. Глаза его стояли по-совиному, зубы были стиснуты, как клещи. Раскрытую голову, — шапку он не нашел в темноте, хотя искал долго, — обливало холодом. Он была как каменная.

*Капри. 31 января. 1914*





**ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  
НЕ ВКЛЮЧАВШИЕСЯ И. А. БУНИНЫМ  
В СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ**

**В СТРАНЕ ПРАЩУРОВ**

В Коломбо выехал рано утром и занял место в вагоне по левой стороне: так советовал путеводитель; кроме того, справа шел за окнами вагона слишком ослепительный блеск сожнца, несмотря на то, что над окнами, как во всех тропических поездах, был навес.

Поезд шел сначала по обработанным равнинам, среди кокосовых пальм и прочих растений, свойственных низменностям острова, среди рисовых нив, минуя иногда маленькие селения. Потом железная дорога стала постепенно подниматься, потом снова спустилась и пошла по долине, страшной своими лихорадками, именуемой Долиной Теней Смерти. Вдали уже виднелись двойные вершины Алагаллы.

Когда переменяли обыкновенный паровоз на горный, пересел к окну направо. Дорога пошла среди гор, по их скатам, изгибаясь по обрыву громадной горы, прошла десять туннелей. Видел под ними глубокую долину, за долиной тонущие в солнечном тумане вершины Верблюжьей Горы и Горы Библии. Дальше дорога стала только уступом на гранитной скале Алагаллы, над головокружительной бездной.

Возле Перадени поезд пересек по мосту реку Махавели.

Сад Перадени был в десяти минутах ходьбы от станции.

Там поместился в правительственной гостинице против входа в сад. Это было большое одноэтажное строение с просторной верандой. Белую крышу ее поддерживали грубые деревянные колонны; между колоннами висели горшки с цветами; на деревянном полу веранды всюду были разбросаны большие кресла с далеко выступающими вперед подлокотниками, куда клали ноги все лежащие в этих креслах, на веранду выходили двери четырех комнат.

В гостинице не оказалось ни одного жильца. Свободно выбрал себе одну из этих комнат, очень обширную и высокую, без потолка, — деревянная крутая крыша падала своими откосами не прямо на стены, а на столбики, стоящие вдоль стен, так что воздух всегда мог ходить по комнате. В ней все было

просто, прочно, а у стены стояла прочная железная кровать, возле другой — умывальник, между двумя окнами, выходящими на веранду, стоял большой деревянный стол; в одном углу ровно жужжал под крышей электрический вентилятор. С другой стороны к комнате примыкал широкий и грубый бревенчатый коридор: в конце его была большая и все-таки всегда горячая от зноя, душная уборная, где стояло ведро с песком, которым нужно было засыпать жерло отхожего места, — тут же стояла цинковая ванна, в которую слуга должен был натаскивать воду ведрами.

В седьмом часу утра ходил купаться в этой ванне, — она была уже налита, и слуга стоял возле нее, выжидательно и подобострастно улыбаясь, с босыми смуглыми ногами, в белом халате, женственно полный, с волосами по-женски длинными и зачесанными назад, схваченными на темени круглым черепеховым гребнем, блестящим, как вороново крыло. Искупавшись, пил у себя чай, — все тот же и все так же улыбавшийся слуга приносил поднос с чайником, горячим тостом и вареньем-желе. Затем шел в сад. В саду было жарко, роскошно и парно, пахло теплой водой реки, окружавшей его с трех сторон; сад особенно был богат видами лиан, пальм, бамбуков, орхидей и теми особыми растениями, которые питаются пожиранием насекомых. В полдень возвращался к завтраку, ел вареную и безвкусную местную рыбу, жесткое вареное мясо, огненные керри и фрукты.

После завтрака сидел на веранде и читал, положив ноги на подлокотники, в четыре часа пил чай, потом снова шел в сад, к семи возвращался домой, брал ванну и обедал: снова жесткая говядина или австралийская баранина, какая-нибудь дичь, опять-таки вареная, безвкусная, плоды и сыр. После обеда опять сидел на веранде, пил сода-виски и думал, думал.

Веранда была широка и длинна. Перед ней расстился зеленый луг, дальше стояла великолепная гуща сада. Быстро темнело, потом на минуту странно, сказочно светлело — и все тонуло в черной теплой темноте. Иногда с громким жужжанием ударялся в грудь громадный жук и гудел, запутавшись в складках легкой белой одежды; плавными точками, потухая и загораясь, плыли в разные стороны зеленые огоньки светящихся мух; бесшумно, с ласковым, чуть слышным гортанным говором проходили сингалезы, низко светя огоньками фонарей возле ног — от змей. А ночью из темноты непрерывно раздавалось короткое чиканье: зажигал спичку и видел скользящего по стене огромного, плоского серо-чешуйчатого хамелеона — на мгновенье мелькал отблеск спички в его глазах с узким кошачьим зрачком. Потушив же спичку, чувствовал, как все существо таяло, растворяясь в этой черной, теплой тьме.

Часто ходил в непролазные леса, окружавшие Перадению. Там, в этих влажных зарослях, так все кишело громадными черными пиявками, что выше колен нужно было оббивать ноги бинтами; по целым часам наблюдал там работу термитов, в непрестанном движении которых сверху донизу чернели их высокие конусообразные домики; наблюдал жизнь «стыдливой» мимозы: как только протягивал руку к ней, она тотчас же быстро складывала свои светло-зеленые перистые листочки, быстро опускала их вниз и прятала между широкими стеблями своими; иногда плавал в пироге по Махавели, быстро крутившейся желтыми клубами.

Город Кенди был в древности столицей сингалезского царства. Он лежит в горной котловине, среди лесистых холмов. Искусственное озеро его имеет две мили в окружности. Кенди брали португальцы и голландцы, сто лет тому назад его осадили и взяли англичане — и сингалезский царь сжег весь город, так что уцелел лишь священный Храм Зуба.

Храм Зуба — это древние, черные зубцы крепостных стен и низкая осьмиугольная башня с острой крышей. Богослужение совершается в нем утром и вечером, каждый раз в шесть часов. Храм — узкий колонный зал, на задней стене его страшное изображение мучений в аду. Дверь в орнаментах ведет в четвероугольный двор, окруженный колоннами, посреди которого стоит часовня с Зубом Будды. При входе в нее стоят на жертвеннике бронзовые тарелки с густо и сладко благоухающими цветами Храмового Дерева. Здесь же стоят и музыкальные инструменты для богослужения.

Наглядевшись на священные черепки в канале, окружавшем Храм Зуба, входил в Храм. Народ смиренно и быстро нес на жертвенник рис, цветы, мелкие монеты и, кланяясь, шепотом возносил моления Садгу, Доброму, Несравненному, соединял ладони у лба, быстро и бесшумно падал на них, и жрец, стоя среди лежащих, мерно бормотал, — читал тоненькие пальмовые дощечки, исписанные правилами доброго поведения. Выйдя из Храма, смотрел, как неподвижное озеро становилось зеркально-розовым от заката, как оно потом покрывалось золотым блеском, и слушал древесных лягушек, тысячами звеневших вокруг, подобно бесчисленным жестяным колокольчикам. Потом, полулежа, мчался в глубокой темноте, <на> рикше по бесконечной сводчатой алее, ведущей в Перадению, и глядел, как мелькали кругом крохотные лампочки внутри сингалезских лесных хижин.



# КОММЕНТАРИИ







Произведения данного тома печатаются по Собранию сочинений И. А. Бунина в шести томах (т. 3. М.: Художественная литература, 1987), в основу которого были положены издания: Б у н и н И. А. Собр. соч., т. 1 — 11. Берлин: Петрополис, 1934—1936; сборники «Весной, в Иудее. — Роза Иерихона». Нью-Йорк, 1953; «Митина любовь. — Солнечный удар». Нью-Йорк, 1953; «Петлистые уши и другие рассказы». Нью-Йорк, 1954 — с позднейшей авторской правкой. Произведения, вошедшие в настоящий том, для издания 1987 г. сверены по прижизненным изданиям, в результате чего были внесены необходимые исправления по сравнению с текстами предыдущего издания в девяти томах.

Рассказ «В стране пращуров» печатается по «Литературному наследству» (т. 84, кн. 1. М.: Наука, 1973).

## СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

*Бунин* — Б у н и н И. А. Собр. соч.: В 9 т. М.: Художественная литература, 1965—1967.

«*Весной, в Иудее*» — Б у н и н И. А. Весной, в Иудее. — Роза Иерихона. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953.

«*Горьковские чтения*» — Горьковские чтения 1958—1959. М.: Изд-во АН СССР, 1961.

*Дневник* — Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы/Под ред. Милицы Грин: В 3 т. Т. 1. Франкфурт-на-Майне: Изд-во «Посев», 1972; т. 2, 1981; т. 3, 1982.

«*Жизнь Бунина*» — М у р о м ц е в а-Б у н и н а В. Н. Жизнь Бунина 1870—1906. Париж, 1958.

*ЛН* — Литературное наследство. Т. 84. Кн. 1—2. М.: Наука, 1973.

«*Материалы*» — Б а б о р е к о А. К. И. А. Бунин: Материалы для биографии. 2-е изд. М.: Художественная литература, 1983.

«Митина любовь» — Б у н и н И. А. Митина любовь. — Солнечный удар. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953.

ГМТ — Государственный музей И. С. Тургенева в Орле.

«Петлистые уши» — Б у н и н И. А. Петлистые уши и другие рассказы. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1954.

Полное собрание сочинений — Б у н и н И. А. Полн. собр. соч. Т. 1—6. П.: Изд-во т-ва А. Ф. Маркса, 1915 (Приложение к журналу «Нива»).

«Последнее свидание» — Б у н и н И. А. Последнее свидание. Париж: Изд-во Н. П. Карбасникова, 1927.

РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки.

Собрание сочинений — Б у н и н И. А. Собр. соч. Т. I—XI. Берлин: Петрополис, 1934—1936.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства.

Д е р е в н я (стр. 25) — Журн. «Современный мир». СПб., 1910, № 3 (март), 10—11 (октябрь — ноябрь), с подзаголовком: «Повесть». Ранее в газ. «Утро России» (М., 1909, № 34—1, 15 ноября) появился отрывок, озаглавленный «Утро».

Бунин «задумал писать «Деревню», — писала В. Н. Муромцева-Бунина 9 июля 1959 года, — ...еще в 1908 году».

Первую часть повести Бунин завершил в сентябре 1909 года, в Москве, работая с большим напряжением. Он писал 22 сентября Горькому, что готово «около трех журнальных листов (всего, верно, будет семь), и так устал, что не спал почти всю ночь и руки трясутся» («Горьковские чтения», с. 44). Работа подвигалась быстро. По словам В. Н. Муромцевой-Буниной, «в три дня Ян написал начерно первую часть «Деревни». Иногда прибегал к маме, говорил: «Жуть, жуть», — и опять возвращался к себе и писал».

Написанные главы Бунин читал осенью 1909 года в кругу друзей. Вера Николаевна говорит в «Беседах с памятью»: «Ян позвонил к нам по телефону и сказал, чтобы я приезжала с Колей (Пушешниковым. — А. Б.) в Большой Московский и захватила рукопись, он там будет читать «Деревню». Когда мы вошли в отдельный кабинет, то увидели Карзинкина (брата жены Телешова. — А. Б.), Телешова, Белоусова и еще кого-то... Ян приступил к чтению и прочел всю первую часть. Читал он хорошо, изображая людей в лицах. Впечатление было большое, сильное. Даже мало говорили» («Материалы». 1967. С. 135).

Бунин также читал «Деревню» в литературном кружке, в Москве. В газетах сообщалось, что новое произведение «выразительно окрашено с идейной стороны и, вероятно, вызовет разговоры и полемику справа и слева» (газ. «Биржевые ведомости», веч. вып., СПб., 1909, № 11348, 6 октября). 10 февраля 1910 года Бунин отослал первую часть в «Современный мир» для мартовской книги, рассчитывая дать вторую на апрель и май. Но продолжение повести в этих номерах не

появилось: в конце апреля Бунин выехал за границу, в Северную Африку и Италию, на Капри. В четвертом номере «Современного мира» редакция извещала читателей: «По желанию автора печатание повести И. А. Бунина «Деревня» переносится на осень». Вернувшись из поездки, он сказал корреспонденту газеты «Одесские новости» (1910, № 8117, 16 мая): «Сейчас я всецело занят мыслью об окончании повести «Деревня», начало которой напечатано в «Современном мире». Отсюда еду на два дня в Москву, а оттуда — в Орловскую губернию — в деревню. Там я и займусь энергично окончанием «Деревни». Болезнь, а затем смерть матери прервали работу Бунина над повестью, он продолжал писать уже в Москве. 20 августа 1910 года он сообщал Горькому: «В Москве я писал часов по пятнадцати в сутки, боясь оторваться даже на минуту, боясь, что вдруг потухнет во мне электрическая лампочка и сразу возьмет надо мной полную силу тоска, которой я не давал ходу только работой. А потом это напряжение привело меня к смертельной усталости и сердечным припадкам до ледяного пота, почти до потери сознания... Повесть я кончил (считаю, что погубил, ибо сначала взял слишком тесные рамки, а последнее время было чересчур тяжело работать)» («Горьковские чтения», с. 48). Лишь 2 сентября 1910 года рукопись была отправлена в «Современный мир», для 10-го и 11-го номеров. В Москве, в литературном кружке «Среда», Бунин читал вторую часть «Деревни», которая, как информировал «Наш журнал» 19 сентября 1910 года, «произвела на слушателей сильное впечатление. Несомненно, это новый большой вклад в сокровищницу русской литературы»<sup>1</sup>.

В ноябре 1910 года «Деревня» вышла отдельным изданием в «Московском книгоиздательстве» — сразу же после опубликования в журнале. Она была напечатана также в следующем году и имела большой успех.

При переизданиях Бунин сделал значительные сокращения текста и стилистические поправки: для Полного собрания сочинений 1915 года, а затем — для Собрания сочинений (т. 2, 1934), по тексту которого в последние годы жизни он снова многое исправлял.

Горький говорил о «Деревне», что слишком «густо» написано — «каждая страница — музей! Перегружено знанием быта, порою — этнографично» («Горьковские чтения», с. 50).

Бунин признавал справедливость такой оценки, сам повторял это определение позднее в беседах с друзьями. Он вычеркнул многие бытовые подробности и сократил отдельные эпизоды, в частности некоторые из тех, которые касались прошлого Кузьмы Красова, — придав повествованию большую стройность и динамичность. Кузьма

<sup>1</sup> Эта часть комментария к «Деревне» и некоторые другие фактические сведения о повести, а также о «Суходоле», которые здесь приводятся по Собранию сочинений в девяти томах (т. 3. М., 1965), написаны автором данного комментария.

рос в Черной Слободе захолустного уездного города, в Ельце, «он видел в детстве грязь и пьянство, лень и скуку... Детство дало только одно поэтическое впечатление: была темная кладбищенская роща да выгон на горе за Слободой, а за ним — простор, жаркое марево степи...» (*Полн. собр. соч.* Т. 5. С. 61).

Обдумывая свою жизнь, Кузьма вспоминал: «На базаре воспринял он много постыдного. Там их с братом научили высмеивать нищету матери, то, что она стала запивать, брошенная подростками сыновьями» (там же, с. 62).

Прототипом Кузьмы Красова послужил поэт-самоучка Е. И. Назаров. «Озерский кабатчик как-то сказал мне, — пишет Бунин, — что в Ельце появился «автор». И я тотчас же поехал в Елец и с восторгом познакомился в базарном трактире с этим Назаровым, самоучкой-стихотворцем из мещан (с которого списан отчасти Кузьма в моей «Деревне»)».

В деревне Глотова Орловской губернии, где обычно Бунин проводил лето у двоюродной сестры С. Н. Пушешниковой, и в окрестных деревнях он знал крестьян, которые стали персонажами его повестей и рассказов. 26 мая 1909 года он записал в дневнике: брат Евгений Алексеевич «чудесно рассказывал о Доньке Симановой и о ее муже. Худой, сильный, как обезьяна, жестокий, спокойный. «Вы что говорите?» И кнутом так перевьет, что она вся винтом изовьется. Спит на спине, лицо важное и мрачное». (*Дневник.* Т. 1. С. 83).

В этих лицах нетрудно узнать персонажей повести «Деревня» — Молодую и ее мужа Родьку.

«Много было разговоров у Яна с родными, — пишет Вера Николаевна Муромцева-Бунина, — что ему хочется написать длинную вещь, все этому очень сочувствовали, и они с Евгением и братьями Пушешниковыми вспоминали мужиков, разные случаи из деревенской жизни. Особенно хорошо знал жизнь деревни Евгений Алексеевич, много рассказывал жутких историй. Он делился с Яном своими впечатлениями о жизни в Огневке, вспоминал мужиков, их жестокое обращение с женщинами. У Евгения Алексеевича был огромный запас всяких наблюдений. Рассказывал он образно, порой с юмором» («*Материалы*», с. 137).

Н. А. Пушешников отметил в дневнике имена крестьян, которых Бунин, по его выражению, «изучал»: «Яков Никитич предмет изучения. В «Деревне». Лысый, необычайно жадный, кривоносый, богатый мужик. Никогда не отвечал на вопросы прямо, все шутил. Любимая его фраза: «Как сказать?» Он не мог ни о чем говорить и ни о чем не думал, кроме хозяйственных расчетов. Одет всегда был: в армяк-поддевку и белую, длинную, из мужицкого холста рубаху. На бледном лице кривой, розовый нос. Николай Муругий. Тоже в «Деревне». Высокий, нескладный. Что-то забавно-детское поблескивало в лице. Сашка Копченка. Нежный овал лица, сероглазая» (*Музей Тургенева*).

Яков Никитич — прототип Якова Микитича, богатого и жадного мужика из Дурновки. Двое других, наряду с упомянутыми выше Донь-

кой Симановой и ее мужем, дали Бунину некоторые характерные черты для Родьки и Молодой.

О создании образа Тихона Бунин говорил: «...захотелось написать одного лавочника, был такой, жил у большой дороги. Но по лени хотел написать сначала ряд портретов: его, разных мужиков, баб. А потом как-то так само собой вышло, что сел и написал первую часть в четыре дня. И на год бросил» (*ЛН*, кн. 2, с. 274). Имя этого лавочника, возможно, и было Тихон Ильич. Оно часто упоминается в дневниковых записях Бунина о крестьянах.

Относится к «Деревне» и следующая запись в дневнике: «Люди, наиболее живыми и по-новому написанные, наиболее значительные, разнообразные и в большинстве своем новые в русской литературе: *Деревня*. Тихон и Кузьма Красовы, старая жена Тихона, кривой солдат Родька и его жена, по прозвищу Молодая, мужик Николка Серый и его сын сапожник Дениска, девки и бабы, «величавшие» Молодую накануне ее свадьбы с Дениской» (Новый журнал. Кн. 107, с. 169. Нью-Йорк, 1972.).

«Деревня» вызвала большие споры и была началом огромной популярности Бунина. За этой первой крупной вещью последовали другие повести и рассказы, как писал Бунин, «резко рисовавшие русскую душу, ее светлые и темные, часто трагические основы. В русской критике и среди русской интеллигенции, где, по причине незнания народа или политических соображений, народ почти всегда идеализировался, эти «беспощадные» произведения мои вызвали страстные враждебные отклики. В эти годы я чувствовал, как с каждым днем все более крепнут мои литературные силы» (Б у н и н И в а н. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. М., Советский писатель., 1990, с. 26).

В «Деревне», как и в «Мужиках» Чехова, ничего не было от народнической идеализации русской деревни. И это дало повод критикам упрекать Бунина в пессимизме, в незнании народа.

Многим казалось, что «деревня в восприятии Бунина — сплошной кошмар, «ужас и безумие» (Утро России. 1912. № 17. 21 января), что он зарисовывает ее «сплошь черным-черно» (Запросы жизни. 1912, № 38). Рецензенту газеты «Россия» (1910, № 1546, 1 декабря) «Деревня» Бунина, в которой, по его мнению, воспроизводится «только грязь, грубость, озлобленность», представлялась «чудовищной». Критик газеты «Киевская мысль» (1912, № 272, 1 октября) называл «Деревню» «возмутительной, насквозь лживой книгой».

Автора упрекали в незнании изображаемой среды, писали, что он «горожанин, живущий кабинетной жизнью» (К о л о с о в А. Литературные наброски//Мысль. 1913. № 4), обвиняли в барской точке зрения на народ (Г и з е т т и А. Возрождение или вырождение?//Ежемесячный журнал, 1916. № 4).

Бунин писал брату Ю. А. Бунину 17 августа 1911 года: «Есть обо мне фельетон в «Речи» (на днях) г-жи Колтоновской. Говорит, между прочим, что таких книг, как «Деревня», немного во всей русской

литературе. Но что все-таки я — «может быть, не подслушал биения сердца деревни», ибо я «пришлый интеллигент» в ней».

Горькому Бунин писал 20 апреля 1911 года, что некоторые критики говорят о его «страхах мужицких бунтов». У Бунина, писал А. В. Амфитеатров, «городской господский перепуг его пред новым мужиком» (Современник. 1911. Кн. 2). Писатель В. Муйжель также упрекал Бунина в незнании деревни и в помещичьей точке зрения на мужика: «Из окна вагона-ресторана скорого поезда так же, как из просторного помещичьего тарантаса <...> видел автор деревню с ее пьяными, больными, купающимися, возвращающимися с базара мужиками <...> Он не был в деревне» (статья «На господском положении»//Живое слово. 1911, № 9, 2 мая; № 10, 9 мая; № 11, 16 мая).

Бунин говорил корреспонденту одной из газет: «Большинство критиков совершенно не поняли моей точки зрения. Меня обвиняли в том, что я будто озлоблен на русский народ, упрекали меня за мое дворянское отношение к народу и т. д. И все это за то, что я смотрю на положение русского народа довольно безотрадно. Но что же делать, если современная русская деревня не дает повода к оптимизму...» (*Музей Тургенева*).

На одном из собраний литературного кружка «Среда» в 1912 году Бунин «взволнованно отвечал критикам, — вспоминает П. Мурашев, — указав на то, что он полжизни прожил в деревне; в детстве товарищами его были крестьянские дети; позднее он не порывал с ними связи и до последнего времени ежегодно и подолгу живет в деревне, погружаясь в самую гущу деревенской жизни, живя ее интересами, радостями и горем» (*Музей Тургенева*).

О знании деревни Бунин говорит также в письме к Н. С. Клевову: «И деревню воспринимаю я по-своему. Но ведь и Толстой, и Гл. Успенский, и Эртель, — только их изображения деревни считаю я ценными, — воспринимали по-своему. Важно прежде всего — знать. А я — знаю. И, быть может, как никто из теперь пишущих. Важно и восприятие иметь настоящее. Есть у меня и этого доля» (Новый мир. 1956. № 10, с. 210).

Множеству резко критических оценок «Деревни» противостояло немало статей, в которых отвергались несправедливые нападки на ее автора. П. Н. Сакулин писал, что нельзя противопоставлять повесть литературе 40-х годов — «Запискам охотника», «Деревне» Григоровича — и старым народникам и на этом основании относиться с осуждением к ней, говорить о неверном изображении народа. Эпоха, в которую выступил Бунин, совсем иная, с иными общественными задачами, нежели время Тургенева, и литература отображает исторически изменившуюся действительность. Но и тогда, в ту отдаленную пору русской жизни, «Чернышевский приветствовал рассказы Н. Успенского», в которых деревня изображается едва ли не в более мрачных тонах, чем у Бунина. «И. А. Бунин глубоко вскрыл процесс деревенской жизни, взбудораженной революционным движением. Как тонкий наблюдатель... он заглянул в самые глубины коллективной

психологии... Читатель чувствует, что в народной жизни произошел большой сдвиг» (Вестник воспитания. М., 1916. С. 82—83).

Писательница Л. Я. Гуревич восхищалась описаниями в «Деревне», которые «по своей свежей и выразительной красоте, волнующей воображение, по своему чудесному, простому, сдержанно-красочному языку, напоминающему порою язык Чехова, могут быть названы «классическими»... Великолепно выписана и центральная фигура повести — этот выбившийся в люди своей сметливой энергией деревенский делец, умный и властный Тихон Ильич Красов» (Русская мысль. 1910, кн. 5).

Художник и писатель П. А. Нилус говорил Бунину в октябре 1910 года о его «Деревне» как о большой творческой удаче, в ней главное — «дух земли, крепкий, настоящий <...> Отдельные места из странствий Кузьмы превосходны, особенно меня поразили соловьиная ночь и слякоть, тасканье по постоялым дворам, трактирам. грязь, мерзость, ночевки не раздеваясь, старчество Кузьмы, все эти чудесные штрихи» (РГАЛИ).

Горький писал М. К. Куприной-Иорданской в 1910 году: «Это — произведение исторического характера, так о деревне у нас еще не писали» (Бунин И. А. Собр. соч. Т. 2. М., 1956. С. 403—404). Бунину Горький писал 7—13 ноября 1910 года: «Так еще не писали. Превосходна смерть нищего, у нас бледнеют и ревут, читая ее <...> Я почти уверен, что московские и петербургские всех партий и окрасок Иваны Непомнящие и Незнающие, кои делают критические статьи для журналов — не оценят «Деревни», не поймут ни существа, ни формы ее... Но я знаю, что когда пройдет ошеломленность и растерянность, когда мы излечимся от хамской распущенности — это должно быть или — мы пропали! — тогда серьезные люди скажут: «Помимо первостепенной художественной ценности своей, «Деревня» Бунина была толчком, который заставил разбитое и расшатанное русское общество серьезно задуматься уже не о мужике, не о народе, а над строгим вопросом — быть или не быть России? Мы еще не думали о России, как о целом — это произведение указало нам необходимость мыслить именно обо всей стране, мыслить исторически» («Горьковские чтения», с. 52—53).

За неверие в народ, писал Горький в 1918 году, ругали и Чехова, который показал «Мужиков» в мрачном освещении. «Иван Бунин мужественно стусил темные краски — Бунину сказали, что он помещик и ослеплен классовой враждой к мужику. И, конечно, не заметили, что писатели-крестьяне — Ив. Вольнов, Семен Подъячев и др. — изображают мужика мрачнее Чехова, Бунина».

Горький также писал о Бунине: «Его «Ночной разговор» и другая превосходная по красоте языка и суровой правдивости повесть «Деревня» утвердили новое, критическое отношение к русскому крестьянству» (Горький М. О русском крестьянстве. Берлин: Изд-во И. П. Ладьяжникова. 1922. С. 25).

Андре Жид записал в дневнике о Бунине: «Его «Деревня» удивительна» (ЛН, кн. 2, с. 384).

О французском издании «Деревни» («Le Village». Paris, 1923) Анри де Ренье писал: «... Тихон, Кузьма! — г. Бунин так нарисовал портреты этих двух персонажей своего удивительного и ужасающего романа, что забыть их уже невозможно, — столь живо врезаются они в нашу память. Кузьма, Тихон — вокруг них вращается жизнь всей деревни, в ее мрачной и убогой обыденности, а вокруг деревни чередуются, сменяя друг друга, времена года: ледяная зима, знойное лето, пьянящая весна, задумчивая осень!» (ЛН, кн. 2, с. 377).

Томас Манн читал «Деревню» по-французски, и в переводе, по его словам, она «сохранила полностью свою захватывающую силу», «это необычайно скорбный роман из крестьянской жизни» (ЛН, кн. 2, с. 380).

Бунин отметил в дневнике 8 октября 1917 года: «Думал о своей «Деревне». Как верно там все! Надо написать предисловие: будущему историку — верь мне, я взял типическое» (Подъем. Воронеж. 1979, № 1, с. 113).

2 сентября 1947 года Бунин писал М. А. Алданову: «Поражен «Деревней» — совсем было возненавидел ее (и сто лет не перечитывал) — теперь вдруг увидел, что она на редкость сильна, жестока, своеобразна» (Новый журнал. Нью-Йорк, 1983, кн. 152, с. 186).

Стр. 25. *Шибай* — мелкий торговец, скупщик.

Стр. 30. ...*опойковые сапоги*... — Опоек — телячья кожа, выделанная на сапожный товар.

Стр. 32. *Подрукавный хлеб* — из муки «второго разбора, из-под рукава (на мельнице)» (Вл. Даль).

Стр. 39. *Замашка* — холст из пыльниковой конопли.

Стр. 41. ...*толпа... повалила... к усадьбе... прижала его к двери*. — Бунин, изображая бунт крестьян, основывался на реальных фактах, которые он наблюдал в Огневке, в имении брата Евгения Алексеевича. Он писал М. П. Чеховой из Огневки 7 июня 1906 г., что крестьяне сожгли скотный двор, погорели лошади, свиньи, птица и, «вероятно, запалат еще разок, ибо волнуются у нас мужики» (об этих событиях см.: сб. «Время». Смоленск, 1962. С. 101—102).

Стр. 47. О *Доньке* Бунин пишет в дневниках: в Глотове, орловской губернии, «заглянули в избу Донькиной старухи — настоящий ужас! И чего тут выдумывать рассказы — достаточно написать хоть одну нашу прогулку» (запись 3 июля 1911 г.).

Стр. 49. Строки из былин и народных песен, которые приводит Кузьма, Бунин взял из своих фольклорных записей. Опубликованы в ЛН, кн. 1, с. 405, 417.

Стр. 55. ...«...*отец наш, воин смелый, Сулейман-пашу разбил*...»... — Генерал-фельдмаршал О. В. Гурко (1828—1901) в русско-турецкую войну (1877—1878) совершил переход со своим отрядом через Балка-

ны, занял Софию и разбил под Филиппополем турецкого генерала Сулейман-пашу.

Стр. 55. *Трегубый мужик*. — Упомянется в дневниковых записях Бунина 15 июля 1911 г. о деревне Глотова.

Стр. 60. *Жан-Поль Рихтер* — псевдоним немецкого писателя Иоганна Пауля Фридриха (1763—1825).

Стр. 62. *...торгующего... халуем...* — отрубями, кормом для скота.

Стр. 68. Рассказ Оськи о похоронах собаки — народная сказка. (см.: *ЛН*, кн. 2, с. 148).

Стр. 72. *Он рос в Черной Слободе...* — Черная Слобода, Бабий базар, Пушкирная Слобода, Торговая улица, упоминаемые в повести, — реальные наименования в городе Ельце Орловской губ.

Стр. 73. «*Подсим памятником...*» — О надписи на памятнике А. В. Кольцову сообщалось в «Москвитяине» (1853, № 19, с. 93—94) и «Воронежских губернских ведомостях» (1853, № 46); о ней много писали в 1892 г., в пятидесятилетие со дня смерти поэта; см. также Литературная Россия. 1976. № 36. 3 сентября. С. 10. Бунин стилистически изменил надпись. Ее текст был такой:

Просвещенои безнауку  
Природою награждень  
Монаршою милостию  
скончался 33 годовъ  
и 26 дней в 12 часу  
брака неимель.

Стр. 74. *Персидский марш* — австрийского композитора Иоганна Штрауса-сына (1825—1899), автора нескольких музыкальных произведений этого названия. В данном случае, по-видимому, речь идет о «Персидском военном марше».

Стр. 79. *Муромцев* Сергей Андреевич (1850—1910) — председатель Первой государственной думы, дядя В. Н. Буниной.

Стр. 80. *...стражники играли «Тореадора»... «Матчиш»...* — Имеется в виду ария тореадора Эскамильо из оперы французского композитора Жоржа Бизе (1838—1875) «Кармен». «Матчиш» — мелодия популярной песни по мотивам известного «Испанского марша».

Стр. 81. *Дурново* Петр Николаевич (1844—1915) — министр внутренних дел.

«Витя» — Витте Сергей Юльевич (1849—1915), глава царского правительства в 1905—1906 гг.

Стр. 84. *Макаров* Степан Осипович (1848—1904) — в русско-японскую войну командовал Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артуре; погиб на броненосце, подорвавшемся на mine.

*Велик День* — день Пасхи.

Стр. 90. *Нонче ты, завтра я...* — искаженные слова арии Германна из «Пиковои дамы» Чайковского («Сегодня ты, а завтра я...»).

*Митрофана... босяка*. — Бунин писал в дневнике 21 июня 1912 г., будучи в д. Глотова: «Пришел Алексей (прообраз моего Митрофана в «Деревне»). Жалкий, мокрый, рваный, темный, глаза слабые, уста-

лые. Все возмущается, про что-нибудь рассказывает и — «вот бы что в газетах-то пронести!»). Жил зимой в Липецке, в рабочем доме, лежал больной...» (Здесь и в дальнейшем цитируем дневники Бунина 1911—1920 гг. по фотокопиям, полученным от доктора М. Э. Грин, Эдинбургский университет. Выдержки опубликованы: Подъем. Воронеж, 1979. № 1. С. 113—121.)

Стр. 97. *Ты, коровья смерть...* — Картина «дикой оргии», которую разыгрывали, чтобы прекратить падеж скота, написана Буниным со слов его брата Евгения Алексеевича. В воспоминаниях Е. А. Бунина, написанных «исключительно для брата своего Вани», читаем: «...за амбарами, в поле идет целая процессия с песнями, свистом, гиканьем, хлопаньем бичами, звоня в косу. Впереди, со свечами и образами, идет много народу, несколько женщин запряжены в соху. Нас предупредили, чтобы близко не подходили, иначе они могут и имеют право кого попало встречного убить или застегать кнутами до полусмерти и не будут отвечать — будто бы по закону старых древних обычаев. И вот видим: они, припльсывая, в одних рубашках, с растрепанными волосами, выкрикивают: «Нас восемь девок, восемь баб, девятая удова, мы опахиваем, обмахиваем, ты, коровья смерть, не ходи в наше село». И еще пели и опять повторяли: «Ты, коровья смерть, не ходи в наше село...» В это время была какая-то эпидемия на скотину, дохли коровы, и бабы, собравшись, решили предупредить или прекратить падеж. Во многих деревнях и селах бывали подобные дикие оргии, доходившие до экстаза и изуверства, — верили и рассказывали повсюду, что там, где подобное проделывалось, падеж быстро прекращался» (ЛН, кн. 2, с. 229).

Стр. 103. *Падрина* — подстилка под стог или скирд.

Стр. 110. *Кузьма называл себя Дрейфусом на Чертовом острове.* — Французский офицер А. Дрейфус был осужден в 1894 г. по сфабрикованному обвинению в шпионаже на пожизненную каторгу на Чертовом острове близ Гвианы. Под давлением общественного мнения он был помилован и в 1906 г. реабилитирован.

Стр. 117. *...продажа братьями Иосифа.* — Здесь говорится о картине на библейский сюжет. Иосиф, сын Иакова и Рахили, был продан братьями в рабство.

Стр. 118. *Козырьки* — маленькие санки.

Стр. 119. *«Хаз-Булат удалой...»* — романс А. Н. Аммосова.

Стр. 124. *«Прикрасна, как андел небесный, как деман, коварна и зла...»* — искаженные строки из стихотворения Лермонтова «Тамара», ставшего народной песней; музыка Э. Ф. Направника.

Стр. 130. *Маленькое зеленое деревцо... стояло на столе...* — Обряд свадьбы Бунин описал таким, каким он должен быть при выдаче замуж девушки, а не вдовы (см.: ЛН, кн. 2, с. 146). В песнях и причетах этого обряда много грусти и скорби, что гармонировало с тем, чего могла ждать Молодая в ее будущей нелегкой жизни. с Дениской. «Чужая сторонушка» для невесты «горем населена, слезами поливана,

тоской покрывана и печалью горожена». Свадебные народные песни Бунин изучал по сборнику «Песни, собранные П. В. Киреевским».

С у х о д о л (стр. 135). — «Вестник Европы». СПб. 1912, № 4, апрель.

Бунин начал писать повесть летом 1911 года в деревне Глотова, в имении двоюродной сестры С. Н. Пушешниковой Васильевском. Он говорил корреспонденту газеты «Московская весть» (1911, № 3, 12 сентября): «...мною написана первая часть большой повести-романа под заглавием «Суходол».

Закончил в декабре 1911 года на Капри. В заметках для автобиографии Бунин записал: «Суходол — Глотова, VII, 1911 г. Капри, XII. 1911 г.» (*Музей И. С. Тургенева*).

Первоначально он намерен был отдать повесть в альманах символистов «Шиповник». «Сговорился с «Шиповником», — писал он с Капри Н. С. Клецову 6 декабря 1911 года, — обещал дать ему в январе повесть «Суходол» (Б у н и н И. А. Собр. соч. Т. 2. М., 1956. С. 405). От этого намерения он затем отказался.

На Капри, у Горького, Бунин прочитал рукопись, с большим успехом, 8(21) февраля 1912 года. По свидетельству Н. А. Пушешникова, повесть очень понравилась Горькому и присутствовавшему при чтении М. М. Коцюбинскому, сравнившему ее со «старинным гобеленом» (сб. «В большой семье», Смоленск, 1960. С. 242).

При переизданиях Бунин сделал стилистические исправления и сокращения (см.: Б у н и н И. А. Собр. соч. Т. 2. М., 1956. С. 405—406).

Семейная хроника обитателей Суходола создавалась по преданиям, сохранившимся в семье Буниных. В ней отражены черты различных лиц из их рода. В. Н. Муромцева-Бунина писала 3 апреля 1958 года: «Совершенно верно, что Суходол взят с Каменки, родового имени Буниных. От Глотова верст двенадцать, но от Озерок версты две, если я не ошибаюсь, их разделяет большая дорога, идущая в Елец... Я была в Каменке... От имени ничего не осталось... Вы правы, что и «Суходол» и «Жизнь Арсеньева» не хроника, не автобиография и не биография, а художественные произведения, основанные на биографическом материале».

Дед И. А. Бунина, Николай Дмитриевич, получил при разделе имущества в 1818 году имение «Елецкой округи в сельцах Семеновском, Каменка тож, и в Озёрках <...> 300 десятин с лесы, с санными покосы и со всеми угодьями» (Г о н ч а р о в Ю. Предки И. А. Бунина//Подъем. Воронеж. 1971. № 1. С. 137).

У деда, Николая Дмитриевича Бунина, было трое детей: Николай, Алексей и Варвара. Все они были людьми незаурядными. Некоторые черты деда Бунин придал Петру Кириллычу («Суходол») и помещику Хвоцинскому («Грамматика любви»). Дети Николая Дмитриевича также являются прототипами изображенных в «Суходоле» лиц. В. Н. Муромцева-Бунина вспоминала: Алексей Николаевич Бунин рассказывал, что мать его (рожденная Уварова) была красавицей; «она рано умерла, и отец так тосковал, что даже тронулся, впрочем,

говорят, что во время Севастопольской кампании, когда мы были на войне, он как-то лег спать после обеда под яблоней, поднялся вихрь, и крупные яблоки посыпались на его голову... После чего он и стал не вполне нормальным» (ср. гл. IV «Суходола»).

Алексей Николаевич, отец писателя, был участником Крымской войны, куда отправился добровольцем вместе с братом Николаем со своим ополчением. Там встретился с Л. Н. Толстым. В «Суходоле» тоже братья «охотниками» пошли на войну.

Смерть Ивана Чубарова, брата матери Бунина, как писала В. Н. Муромцева-Бунина, перенесена в «Суходол» — смерть Петра Петровича, — «лошадь, шедшая сзади розвальней, убила его копытом».

В то время, когда Иван Алексеевич, подростком, бывал в Каменке, Бунины жили в Озерках, а Каменка принадлежала уже семье покойного брата отца, Николая Николаевича. Однажды, после долгой ссоры, когда они не встречались, Бунины нанесли визит владельцам Каменки, «и там Ваня с Машей, — пишет В. Н. Муромцева-Бунина, — впервые увидели свою родную тетку, Варвару Николаевну Бунину, жившую рядом с барским домом во флигеле, вернее в просторной избе. Тетя Варя была не совсем нормальна: заболела после того, как отказала товарищу брата Николая жениху-офицеру, которому все играла полонез Огинского. А отказав, после его отъезда, заболела нервно. Она прототип тети Тони в «Суходоле» (*«Жизнь Бунина»*, с. 22).

О «Суходоле» Бунин говорил: «Это произведение находится в прямой связи с моею предыдущей повестью «Деревня». Там в мои задачи входило изображение жизни мужиков и мещан, а здесь...

Я должен заметить, что меня интересуют не мужики сами по себе, а душа русских людей вообще.

Некоторые критики упрекали меня, будто я не знаю деревни, что я не касаюсь взаимоотношений мужика и барина и т. д.

В деревне прошла моя жизнь, следовательно, я имел возможность видеть ее своими глазами на месте, а не из окна экспресса... Дело в том, что я не стремлюсь описывать деревню в ее пестрой и текущей повседневности. Меня занимает главным образом душа русского человека в глубоком смысле, изображение черт психики славянина.

В моем новом произведении «Суходол» рисуется картина жизни следующего (после мужиков и мещан «Деревни») представителя русского народа — дворянства. Книга о русском дворянстве, как это ни странно, далеко не дописана, работа исследования этой среды не вполне закончена. Мы знаем дворян Тургенева, Толстого. По ним нельзя судить о русском дворянстве в массе, так как и Тургенев и Толстой изображают верхний слой, редкие оазисы культуры. Мне думается, что жизнь большинства дворян России была гораздо проще, и душа их была более типична для русского, чем ее описывают Толстой и Тургенев <... > Мне кажется, что быт и душа русских дворян те же, что и у мужика; все различие обуславливается лишь материальным превосходством дворянского сословия. Нигде в иной стране

жизнь дворян и мужиков так тесно, близко не связана, как у нас. Душа у тех и других, я считаю, одинаково русская. Выявить вот эти черты дворянской мужицкой жизни, как доминирующие в картине русского поместного сословия, я и ставлю своей задачей в своих произведениях. На фоне романа я стремлюсь дать художественное изображение развития дворянства в связи с мужиком и при малом различии в их психике» (Московская весть. 1911. № 3. 12 сентября).

Появление «Суходола» оживило давнишние суждения некоторых критиков о Бунине как о певце старой усадьбы России, грустящем о разоряющихся дворянских гнездах и оплакивающим вырубленные вишневыя сады. Наиболее прямолинейно писал в начале 1900-х годов о Бунине как о меланхолическом лирике, писателе-пейзажисте народник П. Ф. Якубович в «Русском богатстве».

И теперь многим казалось таким несомненным, что Бунин «вздыхает по умершей жуткой душе Суходола» (Г р и г о р ь е в Р. Новые книги. И. А. Бунин. «Суходол»...)//Современник. 1913. № 3), что он, подобно Тургеневу, отразил «грустную поэзию разоряющихся дворянских гнезд» (А.Л. И. А. Бунин. К 25-летию литературной деятельности//Россия. 1912. № 2136. 28 октября), и генеалогии его творчества надо будто бы вести от Тургенева (К о л т о н о в с к а я Е. Бунин как художник-повествователь// Вестник Европы. 1914. Кн. 5). Вместе с тем Колтоновская с восхищением говорит о том, что «Суходол» так «лиричен, так глубоко пропитан интенсивными авторскими настроениями, что к нему гораздо больше подходит название поэмы, чем повести» (с. 340). У Бунина, пишет она, «постепенно реалистические приемы сильно преобразились... Самое понятие реализма можно применять теперь в отношении к Бунину только с оговорками. В своем реализме он является в большей степени импрессионистом» (с. 341).

В критике отмечалось, что «Бунин как художник проявил в «Суходоле» силу и чистоту таланта, превосходящие все прежде им написанное. Повесть чисто бытовая, «Суходол» местами обращается в яркий и громадный символ: из-за помещичьей усадьбы Хрущевых вдруг выступает вся Россия, проглядывает лицо всего русского народа» (П е т р о в Г р. С. Суходолия//Кругозор, 1913, № 2).

На суждения критиков о том, что Бунин в таких произведениях, как «Божье древо» или «Суходол», пишет о жизни, которая канула в вечность, он возражал: «Я пишу о душе русского человека, при чем здесь старое, новое. Вероятно, и теперь какой-нибудь Яков Ефимыч трясет портками и говорит теми же присказками. А они: все это картины старой жизни, — да не в этом дело» (запись в дневнике В. Н. Муромцевой-Буниной 2 января 1928//Дневник. Т. 2. С. 172).

Критики, которые обращали Бунина в прошлое, полагая, что он следовал за Тургеневым в своем мастерстве пейзажиста, не постигали его как художника. Ф. Степун писал: «Бунин, как художник, гораздо чувственнее Тургенева; эта чувственность определенно роднит его с Толстым. Бунинский мартовский вечер не только стоит перед глазами, но проливается в легкие; его весну чувствующешь на зубу, как клейкую

почку. У Тургенева <...> Ирина скачет верхом по Лихтенгальской аллее; Паншин въезжает верхом на двор калитинской усадьбы, в «Вешних водах» — опять верховые лошади. Во всех трех случаях мы представляем себе прекрасных лошадей, но лошадей вообще. У Бунина же таких лошадей вообще нет. Лошади в «При дороге», лошади в «Деревне», лошадь в «Звезде любви» все совсем разные, до конца конкретные лошади. И это относится, конечно, не только к лошадям, а ко всему, что описывает Бунин». «Природа Бунина, — продолжает критик, — при всей реалистической точности его письма все же совершенно иная, чем у двух величайших наших реалистов — у Толстого и Тургенева. Природа Бунина зыблее, музыкальнее, психичнее и, быть может, даже мистичнее природы Толстого и Тургенева». (Степун Ф. Встречи. Мюнхен, 1962, с. 109—110 и 99).

У Бунина, в сравнении с Толстым, «все картинней, «безумней», как выразился о себе он сам», — пишет в «Грасском дневнике» поэтесса Г. Н. Кузнецова.

В этот период в замыслах Бунина было также написать роман об интеллигенции «обоих столиц», под заглавием «Зима», но планы эти не осуществились. Он позднее говорил В. Н. Муромцевой-Буниной, что «в Москве остался неоконченный роман листов в шесть или повесть» (ЛН, кн. 1, с. 371). Он предполагал также написать в 1912 году драму, «где будут затронуты и город, и деревня» (там же).

«Деревня», «Суходол», «Зима», драма должны были охватить все слои русского общества. В интервью, в речах, дневниках и письмах этих лет Бунин затрагивал важнейшие проблемы: о национальном русском характере, о судьбах современной литературы, о языке — о том, что касалось России в целом.

«Суходол» Бунин называл романом, — в некоторой мере это автобиографический роман-хроника, предшествующий совершеннейшему образцу этого жанра — «Жизни Арсеньева». Г. Н. Кузнецова под впечатлением разговора с Буниным записала в дневнике:

«Читала «Суходол» и потом долго говорила о нем с Иваном Алексеевичем... Несомненно, вещь эта будет впоследствии одной из главноопределяющих и все творчество, и духовную структуру И. А. Он сам не знает, до какой степени раскрыл в «Суходоле» «тайну Буниных» (по Мориаку)» (ЛН, кн. 2, с. 292).

В Суходоле, писал Бунин, «жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна». Вероятно, именно в этом смысле следует понимать слова, что в повести он раскрыл «тайну Буниных» по Мориаку.

В повести — истоки нового письма, элементы стиля той прозы, в которой на переднем плане не историческая Россия, с ее жизненным укладом, как в прозе начала 1910-х годов, в «Деревне» например, а душевная жизнь людей, — прозы лирической.

Развитию этого рода прозы предшествовал опыт «прозаических поэм» странствий Бунина по Востоку — «Тень Птиць» (1907—1911), и дневников 1911 года о плавании по Индийскому океану, изданных

почти без изменений в 1925—1926 годах под заглавием «Воды многие».

Бунин исследует человеческую природу особенно глубоко в прозе 1920—1940-х годов («Митина любовь», «Жизнь Арсеньева», «Темные аллеи» и др.). Но и «Суходол» — уже пример прозы психологической, с ее захватывающими страстями и с ее тайнами. Здесь не только «жизнь семьи, рода» таинственна и страшна. Таинственна и страшна своей непреборимостью, непостижимостью и любовь, из-за которой трагически ломались судьбы суходольцев, от которой сходили с ума, как сошла тетя Тоня.

Что-то есть почти фантастическое в том, как в «Суходоле» филин ночью, томимый любовью, «ухал и плакал. Он неслышно носился вокруг риги, по саду, прилетал к избе тети Тони, легко опускался на крышу — и болезненно вскрикивал... Тетя просыпалась на лавке у печки», шептала молитву. «...Выйдя на порог, наугад запускала вверх, в звездное небо скалку»; филин перелетал на ригу, «внезапно принимался истерически ухать, хохотать и взвизгивать; опять смолкал — и раздражался стонами, всхлипываниями, рыданиями».

В «Митиной любви» этот большой ушастый филин, пугач, с еще большей силой, чем тетю Тоню и Наталью, потрясал своим криком Митю (см. гл. X). «Митина любовь» — шедевр прозы лирической, которой предшествовал «Суходол».

Польский писатель Ярослав Ивашкевич полагал, что «Суходол» «не только формой своей предвосхищает современную американскую литературу, но и по содержанию как бы близок целому ряду фолкнорских рассказов об упадке зажиточных некогда семей...» (предисловие Ивашкевича к его переводу «Суходола»//«*Twórczość*». Warszawa, 1968. № 8. С. 11—12).

Стр. 137. *...без усадьбы-то этой и не могла жить Наталья.* — Прототипом Натальи, несомненно, в какой-то мере послужила крестьянка, с которой Бунин, живя в имении Васильевском, в д. Глотово, встречался и беседовал в те дни, когда писал «Суходол». Он отметил в дневнике 20 июня 1911 г.: «...катались на Жадовку. Долгий разговор с Натахой о крепостной, старинной жизни. Восхищается». (*Дневник*, т. 1, с. 108).

Стр. 137. *Шестая книга* — родословная книга, в которую были внесены Бунины, принадлежавшие к дворянам древнего рода.

Стр. 139. *Комолая корова* — безрогая.

Стр. 140. *Меркурий Смоленский.* — Легенда о Меркурии Смоленском, древнее народное предание, содержится в русской житийной литературе; икона безглавого Меркурия, как пишет В. Н. Муромцева-Бунина, хранилась у Буниных с дедовских времен.

Стр. 141. *Трошин лес* действительно был в ближайших к Глотову местах.

Стр. 155. *Огинский* — М. К. Огинский (1765—1833), польский композитор.

Стр. 157. «Людмила» — баллада В. А. Жуковского.

«Ты мертвецу святыней слова обручена...» — Неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Любовь мертвеца».

Стр. 158. *Будылястый* — от слова «будыль»: голень, кость, то есть костистый.

*Парс.* — Парсы — огнепоклонники, выходцы из Персии, ныне живущие в Индии, последователи пророка Зороастра (не позднее 1000 г. до н. э.); в его учении — противопоставление двух вечных начал: добра и зла. Бунин, говоря о парсах, подчеркивает этим приверженность Герваськи всему злему, что было в жизни.

Стр. 160. *Мартын Задека.* — Имеется в виду, вероятно, толкователь снов «Гадательный, древний и новый оракул...».

Стр. 172. *На море, на окляне...* — Заклинание, схожее с заклинанием Климата Ерохина, есть среди фольклорных записей Бунина (опубликовано в ЛН, кн. 1, с. 402). Блок писал: «...Заговоры, а с ними вся область народной магии и обрядности, оказались той рудой, где блещет золото неподдельной поэзии»; тут, по его словам, непонятная для нас «древней души вера в слово» (Б л о к А. А. Поэзия заговоров и заклинаний // Собр. соч. Т. 11. Л., 1934. С. 134, 144).

Стр. 174. *Юшка, «провиненный монах»...* — Лицо реальное. Бунин записал в дневнике 20 мая 1911 г., будучи в д. Глотова: «Был довольно молодой мужик из Домовин. Говорит, был четырнадцать лет в Киеве, в Лавре, и хвастается: «...выгнали... Я провиненный монах, значит». Почему хвастается? Думаю, что отчасти затем, чтобы нам угодить, уверен, что это должно нам очень нравиться. Вообще усвоил себе (кому-то на потеху или еще почему-то?) манеру самой цинической откровенности. «Что же, значит, ты теперь так и ходишь, не работаешь?» — «Черт меня теперь заставит работать!» — В подряснике, в разбитых рьжих сапогах, женский вид, — с длинными жидкими волосами, — и моложавость от бритого подбородка (одни русые усы). Узкоплеч и что-то в груди — не то чахоточный, не то слегка горбатый. «Нет ли, господа, старенькой рубашечки, брючишек каких-нибудь?» Я подарил ему синюю косоворотку. Преувеличенный восторг. «Ну, я теперь надолго житель!» (Подъем. Воронеж, 1979. № 1. С. 114).

К р и к (стр. 182). — Газ. «Русское слово». М., 1911, № 225, 1 октября. Печатается по кн. «Петлистые уши». Датируется по Собр. соч., т. 3, 1934.

В автографе рассказ озаглавлен «Атанас», а дата указывает на начало и конец работы над произведением: «26—28 июня 1911 г.» (РГАЛИ). В основе сюжета рассказа, как видно из черновой записи, сделанной Буниным, лежит действительный факт: во время плаванья матросы напоили для забавы пассажира-грека (Б у н и н И. А. Собр. соч. Т. 2. М., 1956. С. 406).

С м е р т ь п р о р о к а (стр. 187). — Газ. «Русское слово». М., 1911, № 298, 28 декабря, под заглавием «Смерть Моисея».

Рассказ написан на библейский сюжет — о пророке Моисее, освободившем еврейский народ «от рабства и идолопоклонства».

Повествуя о смерти пророка, Бунин развивает идею: стремление к нравственному идеалу побеждает страх смерти и в конце концов, в своей деятельности, человек обретает бессмертие. Таков в своих стремлениях, для Бунина, Толстой (см.: *Бунин*. Т. 9. С. 18—19).

Бунин говорил: «Ведь я не верю в смерть» (запись в дневнике В. Н. Муромцевой-Буниной 18 марта 1925 г. // *Дневник*. Т. 2. С. 138).

Стр. 189. *Искандер Двурогий*, или Искандер Зулкарнайн («двурогий»), — прозвание Александра Македонского (356—323 до н. э.), царя Македонии, завоевавшего Малую Азию, Палестину, Египет, Персию и часть Индии, запад и восток — оба рога вселенной.

*Вода вечной жизни*. — Согласно персидским легендам, Искандер мечтал найти «воду жизни». Вода жизни — символ бессмертия для посвятивших себя тому, чтобы творить благие дела, для душ чистых и праведных, — как пророк Моисей в рассказе Бунина или Левий Матвей в «Мастере и Маргарите» М. А. Булгакова. Левий принес пергамент — хартию, где записаны слова Иешуа, которые прокуратор Иудеи Пилат прочитал: «Смерти нет <...> Мы увидим чистую реку воды жизни» (Б у л г а к о в М и х а и л. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита. М.: Художественная литература. 1973. С. 744). Далее были слова о том, что нет большего порока, чем трусость. Из трусости перед чернью Пилат обрел на смертные муки безвинного Иешуа. Через это обессмертил себя. Но он «более всего в мире ненавидел свое бессмертие и неслыханную славу» (т а м же, с. 797).

Атабек-Абубекр, или Абу-Бакр, — правитель Фарса (Фаристана, в 1226—1258), области на юге Ирана, которая была самостоятельной и подчинила себе значительную часть Ирана. Благодаря мудрой политике Абу-Бакра Фарс не был разорен монголами, от которых он откупился золотом. За это Саади превозносил Абу-Бакра и посвятил ему свои книги «Бустан» и «Гулистан».

*Древо Заккум*. — По Корану, плоды этого древа будут причинять мучения отверженным в аду — «таков будет пир у них в день возмездия»: «Древо это растет на дне ада. Вершины его уподобляются главам демонов» (Коран. М., 1901, сура 37).

Стр. 192. *Сура о Великой Вести* — 78-я. К ней по сюжету примыкает 81-я, отрывок из которой пересказывает Бунин.

*Я Син* — эти буквы, смысл которых остается неясным, дали название 36-й главе Корана; ее читают как отходную молитву.

*Книга вечная* — *Гильюн* — согласно Корану, «книга, находящаяся на небе и заключающая в себе описание деяний всех людей» (Коран. М., 1901. С. 208). О человеке, опьяненном запахом роз, говорится во вступлении к «Гулистану» Саади.

С н е ж н ы й б ы к (стр. 194). — Журн. «Путь». М., 1911, № 1, ноябрь, под названием «Из рассказов без заглавия». Черновой автограф озаглавлен «Бессонница» и имеет дату: «29 июня — 2 июля 1911 г.». В сб. «Иоанн Рыдалец» (М., 1913) и в *Полн. собр. соч.* рассказ помещен

под названием «Без заглавия». В дальнейшем Бунин искал новые заглавия: «Снегур» (газ. «Возрождение». Париж, 1926, № 534, 18 ноября; сб. «Последнее свидание». Париж, 1927) и наконец — «Снежный бык» (*Собр. соч.*).

Древний человек (стр. 197). — Газ. «Русское слово». М., 1911, № 187, 14 августа, под заглавием «Сто восемь». Новое название рассказ получил в газете «Последние новости» (Париж, 1930, № 3441, 24 августа), датирован: «1911—1930». Дата в автографе: «3—8 июля 1911 г., Глотово» (*РГАЛИ*).

Стр. 197. Таганок — крестьянин д. Глотово, которого хорошо знал Бунин. В дневнике в июле 1911 года он пометил: «Из жизни долготелетнего человека можно написать настоящую трагедию» (см.: Подъем. Воронеж, 1979. № 1. С. 115, 116).

С и л а (стр. 205). — Газ. «Русское слово». М., 1911, № 214, 18 сентября. Рассказ датирован Буниным: «16. VIII. 1911». Но в заметках для автобиографии он написал: «Сила — под Одессой у Буковецкого на даче Климовича 16 авг. 1911, кончено в Москве 1 сентября 1911» (*Музей Тургенева*).

История, которую рассказывает Буравчик, основана на народной — солдатской сказке; ее по-своему передает бунинский герой (см.: А т а н о в Г. М. Проза Бунина и фольклор. — Русская литература, 1981, № 3).

Х о р о ш а я ж и з н ь (стр. 214). — Журн. «Современный мир». СПб., 1912, № 1, январь. Датируется по *Собр. соч.* ноябрем 1911 года.

Бунин писал 8(21) декабря 1911 года Н. Д. Телешову о своих встречах с Горьким на Капри: «Бываем у него через день, через два, по вечерам. Сидим, поругиваем современную литературу и нравы писательские. По целым дням пишу. Написал два рассказа, отослал в «Современный мир» и «Всеобщий ежемесячник» (*ЛН*. Кн. 1. С. 601). Рассказы «Хорошая жизнь», «Сверчок», о которых говорится в письме, Бунин читал у Горького. «Имею очень большой успех», — сообщал он Ю. А. Бунину в ноябре 1911 года. В письме 23 января (5 февраля) 1912 года он спрашивал брата: «Читал ли «Хорошую жизнь»? Что скажешь? Мне кажется, много здорово я завернул!» (сб. «Время». Смоленск, 1962. С. 106).

М. А. Алданов, прочитав два последних тома *Полн. собр. соч.* Бунина, писал ему 22 августа 1947 года: «Почти все изумительно. Самое изумительное, по-моему: «Хорошая жизнь» и «Игнат». Но какой вы (по крайней мере тогда были) мрачный писатель! Я ничего безотраднее этой «Хорошей жизни» не помню в русской литературе <...> Это никак не мешает тому разнообразию, о котором вы мне совершенно справедливо писали. Да, дорогой друг, не много есть в русской классической литературе писателей, равных вам по силе. А по знанию того, о чем вы пишете, и вообще нет равных; конечно, язык «Записок охотника» или чеховских «Мужиков» не так хорош, как ваш народный язык <...> Нет ничего правдивее того, что вами описано. Как вы все это писали *по памяти* иногда на Капри, я просто не понимаю. По-моему,

сад, усадьбу, двор в «Древнем человеке» можно было написать только на месте. Были ли у вас записные книжки? Записывали ли вы отдельные народные выражения (есть истинно чудесные, отчасти и по неожиданности, которой нет ни у Тургенева, ни у Лескова в его *правдивых*, а не вымученных со всякими «мелкоскопами» вешах («Новый журнал»). Нью-Йорк, 1983. Кн. 152. С. 179—180).

Бунин ответил 23 августа 1947 года: «Что иногда, да даже и частенько, я «мрачен», это правда, но ведь не всегда, не всегда. Я сейчас, благодаря вам, стал перечитывать свое «Собрание» (издание Петрополиса), кое-что правлю (чуть-чуть) и, поправив книжку, надписываю по-дурачки на ней: «Для нового издания!» — потому по-дурачки, что не видать мне как своих ушей этого нового издания при жизни (да и после смерти-то будет ли оно такое, какое мне было бы нужно: ведь где ж издадут, кроме Москвы, ну а Москва есть Москва, чтоб ей в тартарары провалиться!). Да, так вот я и хотел сказать: наряду с «мрачным» сколько я написал доброго, самого меня порой до слез трогающего! Впрочем, вы и сами соглашаетесь, что я разнообразен. Насчет народного языка: хоть вы и жили только в Вольнской деревне, — и как жили, Бог мой! — *такой* писатель, как вы, с таким удивительным чутьем, умом, талантом, конечно, не может не чувствовать правды и языка великорусского, и пейзажа, и всего прочего. И опять я рад вашим словам об этом. Только я не понимаю, чему вы дивитесь. Как я все это помню? Да это не память. Разве это память у вас, когда вам приходится говорить, напр., по-французски? Это в вашем естестве. Так и это в моем естестве — и пейзаж, и язык, и все прочее — язык и мужицкий, и мещанский, и дворянский, и охотничий, и дурачков, и юродов, и нищих — как в вас русский (и теперешний, и разных старинных людей ваших романов, и французский, и английский). И клянусь вам — никогда я ничего не записывал; последние годы не мало записал кое-чего в записных книжках, но не для себя, а «для потомства» — жаль, что многое из народного и вообще прежнего языка и быта уже забыто, забывается; есть у меня и много других записей — лица, пейзажи, девочки, женщины, погода, сюжеты и черты рассказов, — которые, конечно, уже никогда не будут написаны, — я, верно, «уже откупался», как говорил Толстой в свои последние годы про свое «художественное» (и, увы, все еще писал кое-что, что больно и совестно читать — «От ней все качества», например), — но и тут: клянусь, что девять десятых этого не с натуры, а из вымыслов: лежишь, например, читаешь — и вдруг ни с того ни с сего представишь себе что-нибудь, до дикости не связанное с тем, что читаешь, и вообще со всем, что кругом. И опять, опять твержу (бесстыдно хвастаясь и, верно, уже будучи тем противен вам): как девять десятых *всего* написанного мною на девяносто девять процентов *выдуманно*, так и «Игнат» и «Хорошая жизнь» выдуманы <...> Ходила к нам, «на барский двор», одна баба, жена мелкого деревенского торгаша (вся его лавка была в большом сундуке), женщина бойкая, пронзительная, говорливая, соединил я ее не то с Ельцом, не то с Ефремовым — отсюда и пошла

«Хорошая жизнь» (там же, с. 181—182; письма Бунина Алданову цитируются по публикации профессора А. Зверса, Канада).

О правде вымысла Бунин писал (запись не датирована): «Какая у Бунина память! Как живо помнит он всякие события, послужившие ему темой для какого-нибудь рассказа, лица, обстановки, картины природы, цвета, запаха!»

Это так, да не так. Память у меня на что-нибудь более ли менее обыденное, простое, бывшее со мной или при мне, на дни, на годы, на лица — словом, на все то, что порой перечисляется моими критиками, даже ниже средней. Зато в меня сильно входит и без конца тайно живет во мне то общее, что было воспринято мной само собою, для меня вполне бессознательно, в тот или иной период моей жизни, в той или иной стране, в той или иной природе, в той или иной человеческой среде, в том или ином быту, в том или ином бытовом языке» («Новый журнал». Нью-Йорк, 1972. Кн. 107. С. 168).

Бунин также говорил: «...мое существо сильно воспринимает, запоминает не частности, а нечто общее, а из этого создает вымысел», и так убедительно, что «чуть не все любовные истории, написанные мною, не только мои читатели, но даже и критики считали и считают мною самым пережитым» (там же; см. также: Б а б о р е к о А. Поэзия и правда Бунина//Подъем. Воронеж, 1980. № 1. С. 136).

С в е р ч о к (стр. 234). — Журн. «Всеобщий ежемесячник». СПб., 1911, № 12, декабрь. В заметках для автобиографии Бунин указал двойную дату: «Капри 28—30 ноября 1911 г.» (*Музей Тургенева*). Печатается по кн. «Летистые уш».

П. А. Нилус писал Бунину 7 января 1912 года: «...читал <...> «Сверчка» в «Ежемесячнике». И воистину прочел с удовольствием. Ах, молодец, чудесно написано и до такой степени не похоже на наших лобезных писателей, точно ты из другого теста слеплен. Ах, хорошо!» (*РГАЛИ*. Письма Бунина Нилусу цитируются по фотокопиям с автографов из парижского архива Бунина. Получено от М. Грин).

В иностранной критике сравнивали «Сверчка» с рассказами Толстого. Писательница Зинаида Тулуб сообщила Бунину 10 октября 1914 года, что профессор Краковского университета Яновский, который намерен быть посвятит ряд лекций его творчеству, прилагал усилия к тому, чтобы Бунин был переведен на польский, немецкий и французский языки. Он восхищался прозой Бунина, говорил, что с рассказом «Сверчок» можно сопоставить только «рассказы Толстого — например, «Хозяин и работник». По его словам, «Бунин — писатель мирового калибра, быть может — лучший в России» (*Музей Тургенева*).

Андре Жид писал Бунину 23 октября 1950 года:

«Я не знаю писателей, у которых внешний мир находился бы в более тесном соприкосновении с другим миром, с миром внутренним, чем у вас, у которых ощущения были бы более точны и незаменимы, слова более естественны и в то же время неожиданны. Вы с одинаковой уверенностью изображаете нищету и убожество, с одной стороны, и

благополучие, с другой, отдавая все же некоторое предпочтение самым обездоленным людям на свете <...>

В одном из самых захватывающих ваших рассказов («Туман») вы описываете страшную смерть несчастного человека: отец, сам полумертвый от холода, затерянный в тумане, в крошечной тьме, еле тащит его на спине. Эту историю рассказывает отец кухарке. «Дивное дело, — сказала кухарка, когда он кончил, — не пойму я того, как ты сам-то в такую страсть не замерз?» А рассказчик рассеянно отвечает:

— Не до того было» (*ЛН*, кн. 2, с. 385—386. Перевод Н. М. Любимова). «Пусть в вашем изгнании, пусть в тумане, — продолжает Андре Жид, — который окутывает нас со всех сторон, нет-нет да и мелькнет луч света; не приходите же в отчаяние от того, что творится вокруг, — пусть этот луч света вызовет у вас, пусть он все еще вызывает у вас улыбку при взгляде на жизнь» (там же).

Ночной разговор (стр. 243). — «Сборник первый», СПб.: Издательское товарищество писателей, 1912. Написан на Капри в пять дней (19—23 декабря 1911 г.). «Рассказ для вас готов, — сообщил Бунин Н. С. Клестову 24 декабря. — Он о мужиках, называется «Ночной разговор». Позавчера я читал его у Горького (был Коцюбинский и еще кое-кто) и теперь спокоен — рассказ имел большой успех, — хоть знаю, что вызову большое озлобление (и опять дурацкое) — у господ критиков» (Бунин И. А. Собр. соч. Т. 2. М., 1956. С. 407). Об успехе своего произведения в кругу литераторов, собиравшихся у Горького, он говорит в письме к Ю. А. Бунину 28 декабря 1911 года: «Клестову даю рассказ «Ночной разговор»... Читал его у Горького — и снова с огромным успехом» (там же).

«Большое озлобление», говоря словами Бунина, рассказ вызвал в правой печати. А Бурнакин писал в «Новом времени» (1912, № 12928, 9 марта): «...как в «Деревне», *опачкивание народа* и опять соответствующее выполнение: поэзия дурных запахов, загаженные проходы, миллионы блох и вшей, портянки и портянки». Обвинение в безмерном стужении красок прозвучало и на страницах газет «Столичная молва», «Запросы жизни», «Русские ведомости» и т. д. Напротив, Любовь Гуревич видела в Бунине хранителя великих заветов Толстого. Истекший литературный год, замечала она, значителен тем, что вышел том посмертных произведений Толстого с «Хаджи Муратом» — «перед нашим растерянным литературным поколением <...> встал образец строгого, гениально простого и могучего художественного письма». Бунин относится к тем писателям, которые, пишет Гуревич, «являются как бы живыми звеньями, соединяющими наших, уже ушедших из жизни классиков с тою классическою литературою будущего, которая должна же вновь народиться». Его «Ночной разговор» и «Веселый двор» представляют собою «настоящее художественное очарование <...> И, читая его, все время упиваешься его дивным, правдивым, метким языком, вылепляющим при посредстве нескольких слов живые характерные фигуры, передающим в диалоге мужиков всю первоначальную наивность и свежесть крестьянской психологии вообще и

тембр каждой представленной нам индивидуальности» («Ежегодник газеты «Речь» на 1913 год». СПб., изд. редакции газеты «Речь», с. 372, 388, 389).

Французский писатель Анри де Ренье писал, что рассказ «Ночной разговор» «преисполнен трагической и своеобразной красотой» (*ЛН*, кн. 2, с. 376).

Рассказ Пашки об убийстве арестанта очень близок по содержанию записи Бунина в дневнике 29 июля 1911 г. о глотовском крестьянине Илюшке: «Поразительно рассказывал на днях Илюшка, как он убил человека. Умывался у водовозки — пошла кровь носом, косил на солнце. Возле него мальч... Мальч Илюшке: «Полей мне». Илюшка: «Ай я тебе прачка?» Милый смех, умное лицо. Заговорили о его молодой бабе. Спокойно, громко говорит при всех... Потом о том, как убил — и все так же весело, бодро, легко. «Неужели правда убил?» — «Ей-Богу, правда, об этом даже в газетах писали и в приказе по полку. Нас с Козловым дивизии начальник за это убийство арестанта, во время препровождения, к медали хотел представить, да нас в Киев перевели. На смотру по рублю дали». А убили так. Три солдата препровождали несколько арестантов из Ново-Сенак в Зухдены. По дороге ночевка, припоздали. Один арестант лежал в телеге, больным прикинулся. Привели в пересыльную казарму. Сторож пошел с солдатам пробовать окна — крепки ли решетки. Арестант сидел на крыльце. Вдруг вскочил и за угол. «Козлов за ним, я наперерез». Стреляли на звон кандалов. По пяти зарядов выпустили. «Я еще зарядил — раз! — слышу, потишал зук. Я еще раз. Слышу — стихло, упал. Я подбежал — он сел на ж..., на руки: добей меня, ради Бога! Я приложил штык и вот в это место, где бронхит бывает — так штык в спину выскочил... А он как бежал? Разрезал кандальный пояс и деру, на бегу его рукой держал. Мы в него попадали, — два зуба выбило, в десны и в сустав, в пальцы попали. А тут подбежал Козлов, взяли за кандалы и поволокли...» — «И тебе не грех?» — «Какой же тут грех? Мне за него год пришлось бы сидеть». — «Да лучше год...» (Подъем. Воронеж, 1979. № 1. С. 116).

Стр.245. *Ливингстон* Давид (1813—1873) — английский путешественник. *Беккер* Самуэль Вайт (1821—1893) — английский путешественник и исследователь, открывший один из истоков Нила.

В е с е л ы й д в о р (стр. 261). — Журн. «Заветь». СПб., 1912, № 1, апрель, с подзаголовком: «Повесть».

Бунин начал писать повесть не позднее июля 1911 года в Глотове: этим временем датирована черновая рукопись, первоначальное заглавие которой — «Мать и сын» (*РГАЛИ*). Начало Бунин читал летом жене Вере Николаевне и другим лицам в Глотове. Работа над произведением была завершена в конце 1911 года. В письме к Ю. А. Бунину 28 декабря 1911 года Бунин сообщал: «Про печника и старуху рассказ еще никуда не давал: хотел было Овсянику (Овсянико-Куликовскому. — А. Б.) в «Вестник Европъ»... да приехал Миролубов и Чернов —

сотрудники какого-то нового, имеющего выйти в январе в Петербурге журнала — и просили этот рассказ дать им. Почти согласился» (Б у н и н И. А. Собр. соч. Т. 2. М., 1956. С. 407). На Капри, под Новый, 1912 год, Бунин читал рассказ у Горького, который сообщил Е. П. Пешковой: «С восьми часов Бунин читал превосходно написанный рассказ о матери и сыне: мать умирает с голода, а сын ее, лентяй и бездельник, пьет, пьяный пляшет на ее могиле, а потом ложится под поезд, и ему отрезает ноги. Все это в высшей степени красиво сделано, но — производит угнетающее впечатление. Слушали: Коцюбинский, у которого большое сердце, Черемнов — туберкулезный, Золотарев — человек, который не может найти себя, и я, — у меня болит мозг и в голове, и во всех костях. Потом долго спорили о русском народе и судьбах его». (Письмо 3/16 января 1912 г. Архив А. М. Горького. Вып. 9. М., 1966. С. 131.)

4 января 1912 года Бунин писал Ю. А. Бунину: «Кончил и расширил рассказ про Егорку-печника и его мать, назвал так: «Мать и сын, будничная повесть». Под Новый год читал у Горького. Все очень хвалили, сам Горький — сдержанно, намекнул, что России я не знаю, ибо наши места — не типичны, «гиблые места»... Думаю, что Горький полагает, что касаться матерей, души русского народа — это его специальность, он даже Гоголя постоянно толчет с ... за «Мертвые души» — писал Гоголь Ноздревых да Собакевичей, а Киреевского, Хомякова, Бакунина — проглядел» (*Музей Тургенева*).

Бунин знал не только «гиблые места», он изъездил и исходил пешком многие украинские хутора и села. «Прекраснее Малороссии нет страны в мире» (*Бунин*. Т. 6. С. 260), — восклицает он, и далее — словами Гоголя: «Ты, древний корень Руси, где сердечней чувство и нежней славянская природа!» (т а м ж е, с. 261).

Жил Бунин и в Витебской губернии, очень много ходил здесь пешком, присматривался к нравам крестьян, изучал белорусский язык. «У крестьян этой полосы, — говорил он корреспонденту «Московской газет» (1912, № 217, 22 октября), — по моему мнению, в наиболее чистом виде сохранились неиспорченные черты славянской расы. В них видна порода. Да и живут они хорошо, далеко не в тех ужасных некультурных условиях, как наш мужик в средней России».

Крестьян, как говорил Бунин, — «совершеннейших аристократов», умных, талантливых, он наблюдал и в его родных местах — орловских деревнях. В Осиновых Дворах он однажды восхищался мужиком с ласково-лучистым взором, который напомнил своим видом профессора; «другой поразил, — писал он, — XVI век, Борис Годунов». На Прилепах один крестьянин казался ему «великим удельным князем» — умный, с «чудесной доброй улыбкой. Вот кем Русь-то строилась», — пишет Бунин в дневнике (Неман. Минск, 1980. № 6. С. 153).

И произведения Бунин писал не только, по его определению, «жестокие», но и «благодетельные», такие, как «Захар Воробьев» и «Лирник Родион». А повести и рассказы «мрачные» не внушают чувства безна-

дежности. «В повести «Веселый двор», — писала Л. Гуревич, — сквозь обычную уравновешенность Бунина проступает теплота авторского чувства и глубокая серьезность его основного настроения. У другого писателя самая тема вызвала бы читательскую слезу <...> Благородная сдержанность бунинского письма придала его повествованию величавую красоту и поэзию» («Ежегодник газеты Речь на 1913 год». СПб., с. 389).

Весной 1912 года Бунин читал не опубликованный тогда еще рассказ на собрании телешовской «Средь», он произвел сильное впечатление. По опубликовании рассказа в критике указывалось на подспудную, глубоко скрытую, но осязаемую во всем контексте произведения любовь и сострадание писателя к деревенскому человеку, к его тяжелой и сумрачной доле. Пересказав содержание рассказа, Ю. Айхенвальд продолжал: «И вот, когда про все это читаешь у Бунина, то не только беспредельную жалость чувствуешь и болит сердце, болит совесть, но и бесспорным становится, что пусть сколько угодно свидетельствует о себе автор: «Я не люблю, о Русь, твоей несмелой, тысячелетней рабской нищеты», — он все-таки не может не любить Анисьи, он не может не испытывать к ней самой жалостливой нежности, и невольно в свою как будто бесстрастную манеру, в свое эпически невозмутимое повествование, в эти безжалостные подробности объективного рассказа он влетает нити-нервы своего острого чувства, быть может даже — заглушенное отчаянье» (Речь. СПб., 1912, № 305, 6 ноября).

И г н а т (стр. 289). — Газ. «Русское слово». М., 1912, № 162, 164—167, 17—20 июля. Печатается по кн. «Петлистые уши».

Рассказ написан в конце февраля 1912 года. Бунин сообщал П. А. Нилусу 20 февраля 1912 года: «Я написал еще рассказ — развратный». В заметках для автобиографии отметил: «Игнат — конец февраля 1912 г. Капри». В. Н. Муромцева-Бунина писала Юлию Бунину 1/14 февраля 1912 года о работе Ивана Алексеевича над «Игнатом»: «Он увлечен своим рассказом и пишет его в запале. Рассказ «с щекоткой!» («Материалы», с. 180).

О том, как был «выдуман» «Игнат», Бунин писал М. А. Алданову 23 августа 1947 года: «...Был... у нас на деревне подросток пастух, про которого говорили», что он порочных склонностей, «вот почти и вся правда, от которой пошла выдумка «Игната» («Новый журнал». Нью-Йорк, 1983. Кн. 152. С. 182). «...одно дело сидеть и описывать то дерево, что у меня перед окном, — или заносить в записную книжку кое-что об этом дереве, — и совсем другое дело писать «Игната», сидя на Капри: неужели вы думаете, что для того, чтобы написать зимнюю ночь, в которую Игнат шел с вокзала в свое село, в Извалы, я вынимал записные книжки?» (там же, с. 185).

Посылая рассказ Ф. И. Благову, Бунин писал 18 июня 1912 года: «Многоуважаемый Федор Иванович, посылаю вам рассказ, о печатанье которого мы с вами уговорились в мае перед моим отъездом. Называется он действительно «Игнат» и настолько сильно сокращен,

что думаю, вы сможете напечатать его в 2—3 фельетонах. Делите его как хотите — это, в конце концов, неважно. Будьте добры известить меня о получении его, а также и о том, когда (приблизительно) начнете его печатать» (Б у н и н И. А. Собр. соч. Т. 2. М., 1956. С. 407). Публикация рассказа откладывалась еще почти на месяц из-за того, что Благов находил в нем «некоторую рискованность положений и описаний» (т а м ж е) для газеты, имеющей широкую аудиторию (письмо к Бунину 29 июня 1912 г.), и требовал переделок.

В автографах (три рукописи, *РГАЛИ*) рассказ имел заглавия «Грушка», «Любовь». Бунин сделал многие сокращения рукописного текста в ранних изданиях и потом — по тексту последнего прижизненного Собрания сочинений 1934 года, а также готовя рассказ для сборника «*Петлистые уши*». Он вычеркнул в авторском повествовании о персонажах многие фразы и эпизоды, которые должны были, по первоначальному замыслу, яснее высветлить личность Грушки (Любки) и Игната. Вот некоторые вычеркнутые строки, в которых говорится о Любке: «Чувствовалось, что ей ничего не стоит признаться в каком угодно стыдном деле», «Она и все позволила бы, если бы нашла это выгодным, возможным, и была бы с любовником проста, деловита, придавая таинственность своим отношениям с ним лишь из хитрости, из желания одурманить...». Вычеркнут эпизод, в котором Любка выглядит крайне бесстыжей в своей связи с барчуком. Лаконичнее после сокращения стал рассказ о раздумьях Игната, как склонить Любку к взаимности: «У, будь деньги, была бы она его: смертным боем бил бы он ее, увел бы в город, нанялся к купцу или лавку открыл, и за все за это полубила бы она его! Но мало было дворов в Извалах беднее Игнатов, жалованья Игнат получал четыре рубля... Бродили в голове нелепые мысли — убить барыню, убить монополющика... Казалось порою, что даже церковь мог бы он обокрасть, лишь бы достигнуть своего... Но мысли эти были случайны, оне не касались сердца. Он только все молчаливее становился, все чаще напивался, тратя последнюю копейку, и ходил оборванный, с голыми коленками, в разбитых, сопревших лаптях: сапоги он выменял, но хранил их, на какой-то случай, как зеницу ока». А вот как выглядит в рукописи эпизод, когда перед Любкой неожиданно вырос Игнат с топором:

«— Мой грех, Игнат, — сказала она. — В последний раз прости. До веку буду любить тебя. Скорей добей его. Богаты будем. Тебе ничего не будет. Скажем — захватил меня, из ревности убил... Скорее».

Любка — личность примитивная. И Игнат под стать ей. Атмосфера, изображенная в рассказе, оттеняет его личность: «оженственно красивая Стрелка», собачья свадьба и т. д. — фон, на котором вырисовывается Игнат, раскрываются его любовные страсти. В Любке есть что-то влекущее, непреборимое, чему Игнат не в силах противиться.

Уже в рассказе «Игнат» зарождаются замыслы Бунина, которые он развил в книге «Темные аллеи».

Стр. 300. *Глухарь* — большой бубенчик, в отличие от колокольчика, открытого снизу.

Стр. 304. *Поярковые валенки* — сделанные из шерсти, «руна с ярки, с овцы по первой осени, первой стрижки» (Вл. Даль).

Захар Воробьев (стр. 313). — «Сборник товарищества «Знание» за 1912 год». Кн. 38. СПб., 1912.

Дата написания в заметках для биографии указана: «Середина февраля 1912 г. Капри».

Об этом рассказе Бунин писал Н. Д. Телешову из Одессы 10 марта 1912 года: «Вот в следующем сборнике «Знания» (верно, он уже вышел) будет мой Захар — он меня защитит. Почитай. Хвалят» (*ЛН*, кн. 1, с. 610). Рассказ имел большой успех. 22 марта 1912 года Бунин писал Н. С. Клестову из Одессы: «Тут «Ночной разговор» и «Захар Воробьев» сделали некий шум» (Б у н и н И. А. Собр. соч. Т. 2. М., 1956. С. 407).

Шум был и в прессе. В. Н. Муромцева-Бунина писала Ивану Алексеевичу 11 апреля 1912 года: «Сейчас я получила вырезки из газет. Очень ругает тебя «Новое время». Кончается так: «От писаний наших венчаных лаврами изящных словесников станвится не по себе». Это по поводу «Захара Воробьева». Консервативная газета увидела в этом рассказе Бунина пасквиль на Россию. (См.: «Новое время», 1912, № 12928, 9 марта.)

О чтении рассказа на Капри сообщал племянник Бунина, переводчик Джека Лондона, Голсуорси, Тагора — Н. А. Пушешников в письме к Ю. А. Бунину в 1912 году: «По прочтении его Горький сказал: «Об этом ни слова никому не говорите. Это пойдет ко мне». Чтение было вчера, когда к нам неожиданно вечером пришли гости: Г <орький>, В. С. М <иролобов>, М. М. К <оцобинский> и М. Ф. <Андреева>. В. Н. <Бунина> и М. Ф. ушли в номер к Чер., а мы остались одни. Сначала разговор не вязался — молчали, мычали — и <Бунин> предложил гостям прослушать его новый небольшой, на полчаса, рассказ. После двух первых страниц Горький сказал: «Это что-то хорошо! Пойдите, дайте дух перевести». Горький был захвачен — «это великолепно! Какие люди у нас бывают!» Мих. М. <Коцобинский> сказал, что рассказ прекрасный, «он словно пропитан ржаным запахом». В. С. тоже хвалил, но особенно много и долго, несколько раз возвращаясь к теме, хвалил Горький. Даже дорогой, пока мы провозжали его до дома, он продолжал о рассказе. Он шел отдельно с Иваном Алексеевичем и был как-то особенно нежен, ласков и интимно мягок с ним. Он очень любит, когда говорят о больших людях, героях» (На родной земле. Орел, 1958. С. 307).

Стр. 313. *Захар Воробьев из Осиновых Дворов*. — Название деревни не вымышленное. Здесь бывал Бунин, приезжая в Глотова, он сделал записи в дневнике о встречах с крестьянами этой деревни.

Стр. 315. ...пыль по дороге как пыс. — Как пысняк, поросль.

Стр. 317. ...осты веиать. — Ость — щетинистый усик на зернах ячменя, ржи, пшеницы; в данном случае — в мякине, в отходах после обмолота колосеы и отвейванья зерна; речь идет о корме для скота.

Стр. 317. ...церковный титор... — Правильно: китор — церковный староста.

Стр. 319. Шат — нечистый дух, черт, шайтан.

Е р м и л (стр. 324). — Журн. «Современник». СПб., 1913, № 1, январь, под заглавием «Преступление». Заглавие «Ермил» дано рассказу в сб. «Последнее свидание». Печатается по кн. «Пемлистые уши».

Бунин записал в дневнике 9 мая 1912 года: «Юлий, Митя и я ездили в Симонов монастырь. Потом в пятом часу были у Тестова (ресторатора. — А. Б.). Говорили о Тимковском (о писателе Н. И. Тимковском. — А. Б.), о его вечной молчаливой неприязни к жизни. Об этом стоит подумать для рассказа».

В рассказе «Ермил» неприязнь к жизни анализируется Буниным как один из существенных элементов психологии преступности.

Стр. 324. Он внушил себе, что все ему лходеи... — Озлобленность, вечное недовольство всем претили Бунину, в ком бы это ни проявлялось — в интеллигентах или в темных деревенских людях. В рассказе «Пыль», увидев мужиков с «замученными» скукой лицами, рассказчик спрашивает: «Откуда эта мука скуки, недовольство всем? На всем земном шаре нигде нет этого».

Стр. 326. Удавили же когда-то мужики лесника в Дехтярном, чтобы натопить из покойника каких-то свечей колдовских. — По-видимому, убийство с ритуальной целью факт не вымышленный. В журнальной редакции «Деревни» упоминается аналогичное преступление: «Мужики из Колодезей удавили в Курасовском лесу караульщика — с тем, чтобы разделить для каких-то колдовских целей веревку, снятую с мертвого».

К н я з ь в о к н я з ь я х (стр. 335). — Журн. «Вестник Европы». СПб., 1913, № 3, март. Заглавие в черновом автографе — «Лукьян Степанов» (РГАЛИ), и дата: «Вечер 30, утро 31 декабря 1912 г. Капри».

Стр. 337. Сева открыл пианино... что-то начал. — В Собр. соч., 1935, зачеркнуто: «Лунную сонату, из которой знал только первую страницу».

«Осень, осыпается весь мой бедный сад!» — Романс на слова А. К. Толстого; известна музыка Кюи, Бюцова и О. Клема.

Стр. 341. С пáголенком — с голенищем чулка.

Стр. 342. ...стадо овец... на ходу докармливаясь, с шумом дыхания. — Деталь, которая повторяется в прозе Бунина. Есть запись в дневнике 16 июня 1912 г.: «Шла отара, — шум от дыхания щиплющих траву овец» (Подъем. 1979. № 1. С. 118).

П о с л е д н е е с в и д а н и е (стр. 344). — Журн. «Вестник Европы». СПб., 1913, № 3, март, под заглавием «Вера». Новое заглавие дано в кн. «Последнее свидание». Печатается по сб. «Митина любовь».

При переизданиях Бунин правил стиль и сделал сокращения. Исключил, в частности, некоторые фразы Стрешнева, говорившего о дворянстве, которые были в *Пол. собр. соч.*, например: «Любовь огаревских дней, когда «шиповник алый цвел, стояла темных лип аллея...», — строки из стихотворения Н. Огарева, которые десятилетия спустя, слегка измененные, приводятся в рассказе «Темные аллеи». И далее: «— Зачем ты ушла — и за кем! — из своего рода, из своего племени? Мы должны умереть в нем. Будь мы трижды прокляты, но это так! Сколько сумасшедших от любви в наших, дворянских, летописях! Но это лучше, лучше, — мы для теперешних распутных романов не годимся».

Ж е р т в а (стр. 351). — Журн. «Современный мир». СПб., 1913, № 3, март, под заглавием «Илья Пророк». Новое заглавие дано в кн. «Последнее свидание». В рукописи (машинопись с правкой автора) дата: «17/30 янв. 1913 г. Капри» (*Музей Тургенева*). Печатается по сб. «Весной, в Иудее».

В. Н. Муромцева-Бунина пишет в дневнике 9 июня 1923 года о возникновении замысла рассказа: «Ян <...> говорил о своем творчестве, как соиздался у него «Илья Пророк». Ехал в Елец и увидел — на большой дороге изба строится и стружки блестят на лунном свете». (*Дневник*. Т. 2. С. 112).

В рассказе отразились другие реальные впечатления Бунина. В дневнике он записал 17 июня 1912 года: «Вечером были на выезде из Глотова, в крохотной избушке, где молнией убило малого лет пятнадцати и девочке-ребенку голову опалило» (*Дневник*, т. 1, с. 126).

Сюжет рассказа отчасти основан на народной сказке «Илья Пророк и Миколай Угодник», записанной Д. Н. Садовниковым со слов крестьянина Ставропольского уезда Самарской губернии Абрама Новосельцева (Сказки и предания Самарского края. Собраны и записаны Д. Н. Садовниковым//Записки императорского русского географического общества по отделению этнографии. Т. 12. СПб., 1884. С. 270—272. См. также: Русская литература. 1981. № 3. С. 14—31).

Стр. 351. *Петровки* — пост перед Петровым днем 29 июня ст.ст.

Стр. 352. *Бог Саваоф* — одно из ветхозаветных именовании Бога, Бог сил.

З а б о т а (стр. 355). — Газ. «Русское слово». М., 1913, № 55, 7 марта.

Стр. 356. *Старновка* — идущие на крышу снопы.

...*Хрентуг* — веретье, вроде простыни; подвизывалось к приподнятым оглоблям для корма коней овсом.

Б у д н и (стр. 359). — Газ. «Русское слово». М., 1913, № 34, 10 февраля. В газете «Возрождение», Париж, 1926, № 544, 28 ноября, — под заглавием «На погосте. Рассказ». Дата в рукописи (машинопись с правкой автора): «25 — 26 января — 7 — 8 февраля 1913 г. Капри» (*РГАЛИ*).

В тексте 4-го тома *Собр. соч.* (1935) Бунин вычеркнул (после слов: «...Несешь и с Дона и с моря») в апреле 1953 года следующий диалог семинариста и мужика:

«— Ну, а скажи, пожалуйста: как относятся к тебе твои односельчане? За кого они считают тебя?

— Никак они ко мне не могут относиться».

Эти фразы Бунин перенес в статью «Думая о Пушкине», напечатанную в 1926 году:

«Дивлюсь и сейчас, глядя на этот анкетный листок. А потом — какой характерный вопрос: «Каково ваше отношение к Пушкину?» В одном моем рассказе семинарист спрашивает мужика:

— Ну, а скажи, пожалуйста, как относятся твои односельчане к тебе?

И мужик отвечает:

— Никак они не смеют относиться ко мне.

Вот вроде этого и я мог бы ответить:

— Никак я не смею относиться к нему» (*Бунин*. Т. 9. С. 454).

Некоторых лиц, изображенных в рассказе, Бунин наблюдал в деревне Глотова. Он записал в дневнике 23 мая 1912 года: «Ездили через Знаменье к Осиновым Дворам.

Дьяконов сын. Отец без подрясника, в помочах, рвет вилами навоз, а сын: «Ах, как бы я хотел прочитать «Лунный камень» Бальмонта!» (*Дневник*, т. 1, с. 120).

Стр. 361. ...*лошадь с палевой гривой*. — Грива соломенного цвета, бело-желтоватого.

Стр. 365. ...*каких бы я корней наворочал!* — Фраза из обиходной речи самого Бунина. В 1911 г., будучи в Нюрнберге, он восхищался готическими соборами с их «порталами, цветными стеклами и органом» и говорил, что жизнь устроена так, что многие изумительные создания искусства никогда не услышишь и не узнаешь, «а каких можно было бы корней наворочать!» («*Материалы*», с. 176).

Л и ч а р д а (стр. 367). — Газ. «Русское слово». М., 1913, № 61, 14 марта.

Стр. 367. *Личарда* — персонаж популярной русской народной сказки о Бове Королевиче; верный слуга Бовы.

Стр. 372. *Яруга* — овраг, ручей в овраге.

П о с л е д н и й д е н ь (стр. 374). — Газ. «Речь». СПб., 1913, № 47, 17 февраля. Дата авторизованного машинописного текста — «1/15 февраля 1913 г.» (*РГАЛИ*).

Бунин знал людей, подобных персонажам рассказа Петру, Сашке и Андрею, безжалостных к животным, обрисованных в параллель тем, кто «плодей, какие позамечательнее», вешают. Андрей говорит: «— А я тоже недавно собачонку удавил. Пристрелял чья-то, живет неделю, другую, брехать не брешет... Я подумал, подумал, взял да и удавил».

В дневнике Бунин, будучи в Глотова, записал 7 июня 1912 года: «К

Андрею Сенину прибилудилась собака. «Пожила, пожила, вижу — без надобности, брехать не брешет, ну я ее и удавил» (*Дневник*, т. 1, с. 124).

В с х о д ы н о в ы е (стр. 380). — Газ. «Речь». СПб., 1913, № 102, 14 апреля, под заглавием «Весна». Новое заглавие дано рассказу в сб. «*Последнее свидание*». Авторизованный машинописный текст датирован: «2 февраля 1913 г. Капри» (*РГАЛИ*).

Запись Бунина в дневнике 20 мая 1911 года — в тон рассказу, в котором изображены люди больные, отживающие, и в то же время Бунин рисует — весну, «вечно юную землю», колокольный звон и пение о том, что родится жизнь «юная и чистая»: «Молились о дожде мужики <...> было отдание Пасхи, Вознесение — по целым дням трезвон на колокольне. Так и свяжется в воспоминании эта весна с этим трезвонком. И станет все милым, грустным, далеким, невозвратным» (*Дневник*, т. 1, с. 105).

Стр. 380. *Караковый жеребец* — «темно-гнедой, почти вороной, с подпалинами, желтизною на морде и в пахах» (Вл. Даль).

Стр. 380. *Осека* — огороженное место.

К о п ь е Г о с п о д н е (стр. 386). — Газ. «Русская молва». СПб., 1913, № 88, 10 марта, под заглавием «Рана от копыя». В рукописи (машинопись с поправками Бунина — *Музей Тургенева*) рассказ озаглавлен «В Красном море».

Стр. 386. *Хамсин* — сухой и жаркий ветер в Африке, несущий пыль и песок. Бунин писал об этом по живым впечатлениям своих путешествий по Алжиру и в глубь Сахары.

И о а н н Р ы д а л ь ц (стр. 392). — Журн. «Вестник Европь». СПб., 1913, № 4, апрель. Печатается по кн. «*Пемлистые уши*». Черновой автограф датирован: «3 марта/18 февраля 1913 г. Капри» (*Музей Тургенева*). Фотокопия листа первого и последнего — в *ЛН*, кн. 2, с. 473.

В. Н. Муромцева-Бунина сообщала с Анакапри Ю. А. Бунину 28 февраля (13 марта) 1913 года, что Иван Алексеевич написал «рассказ про святого «Иоанна Рыдальца». Горький с Золотаревым обалдели от этого рассказа» (сб. «В большой семье». Смоленск, 1960. С. 251).

Критик А. А. Измайлов писал в газете «Биржевые ведомости» (1913, № 13582, 6 июня) о «Иоанне Рыдальце», что здесь не вымысел — «это жизнь, это правда. Так не сочинить».

Бунин на вырезке из газеты сделал помету к этим словам: «А именно весь «Иоанн» сочинен мною от слова до слова» (*Музей Тургенева*).

В письме (4 октября, без указания года) А. А. Измайлову Бунин говорит: «Не раз... слышал я от критиков, что я что-то «записываю», собираю, рассказываю свои семейные предания и т. д. ...Когда будете писать обо мне, не говорите, пожалуйста, о моих «Записях», можно ошибиться. «Иоанн» весь выдуман. А вы целый фельетон построили на контрасте выдумки и *были*» (Институт русской литературы Российской Академии наук (Пушкинский Дом), ф. 115, оп. 3, № 47).

По словам критика В. П. Кранихфельда, книга «Иоанн Рыдалец» «так богата содержанием, так полна интереса, что просто теряешься, как и подойти к ней». Удивителен «мощный язык Бунина, достигшего в последних его произведениях неподражаемой красоты и чистоты... его чудодейственная способность поднимать в мир поэзии самые, так сказать, будничные явления жизни... Среди наших современных художников, оторвавшихся от жизни и населивших мир своей фантазии какими-то отвлеченными категориями и бесплотными призраками, Бунин представляет одно из редких и счастливейших исключений. Он цепко держится за корни жизни и, питаясь их целебными соками, продолжает неизменно расти в своем здоровом творчестве, сближающем его чеканные произведения с лучшим наследием наших классиков» (Современный мир. 1913, № 11, с. 278).

Стр. 393. *Юродивый, Иоанн Рыдалец*. — Бунин писал в дневнике 8 июня 1911 г.: «...Умер ефремовский дурачок Васька. Похороны устроили ему ефремовские купцы прямо великолепные. Всю жизнь над ним потешались <...> а похоронили так, что весь город дивился: великолепный гроб, певчие... Тоже «сюжет» (Дневник, т. 1, с. 108). Этим «сюжетом», по-видимому, и стал рассказ «Иоанн Рыдалец».

Бунина интересовали люди, обрекшие себя на подвижничество, и те, что по своей доброй воле надевали на себя личину безумия — юродивые. Он отметил в дневнике в июле 1915 г., что «читал о персидских мучениках» (1. VII), «житие Серафима Саровского» (3. VII), «житие юродивых» (4. VII) (т а м же, с. 145).

Были на Руси юродивые «Христа ради», как юродивый Федор, о котором повествует в своем «Житии» протопоп Аввакум, или у Пушкина Николка («Борис Годунов»), у которого под личиной глупости скрывалась святость и мудрость, Василий Блаженный, — в их странных поступках не было «греховной гордыни». В отличие от всех них Иван Рябинин, Корейша (в «Чаше жизни») и многие другие в рассказе Бунина «Слава» — лжеюродивые и лжепророки. В них подмечена характерная черта русской жизни того времени: «...Мы, русичи, исконные поклонники плутов и вырождков и... эта наша истинно замечательная особенность, наша «бабская охота ко пророкам лживым» есть предмет, достойный величайшего внимания» (Бунин. Т. 5. С. 168). О «своекорыстных пророках» и лже-Мессиях Бунин писал в стихах («На исходе»).

Стр. 394. *На Афон собирается*. — Новый Афон на Черноморском побережье Кавказа, где был монастырь.

Х у д а я т р а в а (стр. 397). — Журн. «Современник». СПб., 1913, № 4, апрель. В сб. «Последнее свидание» и в *Собр. соч.* рассказ печатался под заглавием «Оброк». К прежнему названию Бунин возвратился, готовя рассказ для кн. «Петлистые уши», по тексту которой он печатается.

В. Н. Муромцева-Бунина писала Ю. А. Бунину 28 февраля (13 марта) 1913 года: «Ян еще рассказ посылает в «Современник», по-моему,

очень хороший, о больном мужике. Как он умирает. Описана там и Анюта-дурочка» (сб. «В большой семье». Смоленск, 1960. С. 251).

В рассказе нашел отражение также эпизод из жизни отца Бунина. Он записал в дневнике 28 мая 1912 года: «Потом о последнем дне нашего отца. Исповедуясь, он лежал. После исповеди встал, сел, спросил: «Ну, как по-вашему, батюшка, — вы это знаете, — есть во мне она?» Робко и виновато. А священник резко, грубо: «Да, да, пора, пора собираться» (Дневник, т. 1, с. 124).

В письме к Н. С. Клестову 19 мая 1913 года Бунин назвал рассказ «Худая трава» — «Мужицкий Иван Ильич», по сходству со «Смертью Ивана Ильича» Толстого, в котором повествуется о раздумьях героя рассказа перед смертью. Общее того и другого рассказов состоит только в тематическом сходстве. Иван Ильич, в отличие от Аверкия, в болезни и в страхе смерти, мучительно сознавал, «что он прожил свою жизнь не так, как должно было», что она была «ужасная», — только об этом и думал теперь; у него — полное одиночество и злоба на жену, на дочь; в настоящем — ничего, что могло бы его утешить, а воспоминания — «ничтожны и гадки».

Аверкий не цепляется за жизнь, как Иван Ильич, он, зная безнадежность своего положения, равнодушен к житейским заботам и находит великую отраду в воспоминаниях о счастье любви к той, которая и теперю с ним. Он все забыл, «только далекие сумерки на реке, далекую встречу свою с той молодой, милой <...> ошутительно помнил». И вокруг себя замечает он больше всего то, чем наполняют его душу воспоминания, — с вниманием слушает, как под «мягко и приятно рычащую гармонию» зять и солдатка «звали друг друга взглядами, словами, бесконечной «страдательной». В его жизни было это прекрасное, неумирающее, — только это и остается, только то, что возвышает душу, а все ничтожное, низменное исчезает, предается забвению.

Бунин говорил, что «ничто не определяет нас так, как род наших воспоминаний». В Аверкии, несомненно, выразилось то, чем в немалой мере жил сам Бунин, когда жизнь обращала его мечтой к прошлому. В. Н. Муромцева-Бунина пишет в дневнике 23 декабря (5 января) 1918 года: «У Яна был жар один день, и в этот день он был очень трогательный. Говорил все из «Худой травы», уверял, что он похож на Аверкия» (Дневник. Т. 1. С. 203).

Аверкий, как определил Бунин, «персонаж небытийный», живет отрешенно от всего, чем живут другие, «живет в пустоте».

Стр. 409. *Все цветы от слез пожглись... один табак остался.* — Эту легенду Бунин слышал от странника, посетившего его в Глотове. Бунин записал с его слов 19 мая 1912 г.: «...шла Богородица от Креста и плакала, и все цветы от слез Ее сохли, один табак остался; вот Бог и сказал — жгите его» (там же, с. 118—119).

Пыль (стр. 414). — Журн. «Заря», 1914, № 5, 2 февраля.

Некоторые впечатления, по-видимому, дал Бунину для рассказа

Орел, где он жил в молодости, и, возможно, Елец. В дневнике он писал: «19 мая <1912> Глотова (Васильевское). Приехали позавчера. Пробьли по пути пять часов в Орле у Маши <...> Орел поразил убожеством, заброшенностью. Везде засохшая грязь, теплый ветер несет ужасную пыль. Конка — нечто совершенно восточное. Скучная жара» (там же, с. 117).

Л и р н и к Р о д и о н (стр. 419). — Газ. «Русское слово». М., 1913, № 87, 14 апреля, под названием «Псальма», вместе с рассказом «Сказка», под общим заглавием «Псальма и сказка». Заглавие «Лирник Родион» дано рассказу в кн. *«Последнее свидание»*. Дата в *Собрании сочинений*: «Капри. 28.2.1913».

Черновой автограф озаглавлен «Псальма про сироту» и датирован: «28 февраля/13 марта 1913 г. Анакапри» (*Музей Тургенева*). Рукопись начинается: «Я эту псальму, этот южнорусский сказ слышал в херсонских плавнях, в низовьях Днепра, в теплый и темный весенний вечер — давно, в молодости...» Печатается по сб. *«Весной, в Иудее»*.

Бунин записал «Псальму про сироту» во время путешествия по Днепру в 1896 году. Бунинский вариант этой широко известной «псальмы» не вошел ни в один из сборников украинского фольклора; опубликован в *ЛН*, кн. 1, с. 400—401; автограф — в *Музее Тургенева*. Лирник Родион — лицо реальное: в конце записи «псальмы» Бунин указал: «Киевская губ., Васильковский у., Рокитянского стану, с. Ромашек. Родион Кучеренко. Записано на Днепре, 1896 г.» (см. фотокопию автографа в данном томе).

По свидетельству Н. А. Пушешникова, Бунин читал рассказ Горькому в марте 1913 года н. ст. и «довел его до слез. Во время чтения вставного четверостишия Горький заплакал, встал и стал ходить:

— Вот, черт его дер! — и как бы стыдась: — Вот и Тургенева не могу читать — реву» (сб. «В большой семье». Смоленск, 1960. С. 251).

В. Н. Муромцева-Бунина приводит в дневнике (30 марта 1949 г.) слова Бунина: «Вот рассказ замечательный, — сказал неожиданно Ян, — это «Лирник Родион»». (*Дневник*. Т. 3. С. 192).

Стр. 422. *Сермяжная свитка*. — Сермяга — от мордовского «сермяг»; одежда из грубого некрашеного сукна.

С к а з к а (стр. 429). — Газ. «Русское слово». М., 1913, № 87, 14 апреля. Рукопись (*РГАЛИ*) датирована: «12—15 марта 1913 г. Анакапри».

В рассказе Никифор пересказывает по-своему народную сказку «Барин и мужик», которая была опубликована незадолго до написания «Сказки» Бунина (см.: *ЛН*, кн. 2, с. 140 и 152, сноска 13); она бытовала и в Орловской губернии.

Стр. 429. *Гарусный платок* — из гаруса, мягкой крученой шерстяной пряжи.

Стр. 430. *Кутузка* — арапник, длинная охотничья плеть.

Х о р о ш и х к р о в е й (стр. 434). — Газ. «Русское слово». М., 1913, № 174, 28 июля.

Стр. 435. ...*семь штук ужасных собак... на клоки разорвали нищенку...* — Здесь отобразились впечатления тех глухих мест, которые хорошо знал Бунин, живя в Глотове. В дневнике он записал 16 июня 1912 г.: «В лесу усадьба, полумужичская. Запах елей, цветы, глушь. Огромные собаки во дворе. Говорят, как-то разорвали человека» (*Дневник*, т. 1, с. 125).

Стр. 436. *Обьестся корова вёху.* — Вёха — пустырник.

При дороге (стр. 440). — Сб. «Слово». М., 1913, № 1. Заглавие в черновой рукописи — «Большая дорога». В белой рукописи был эпиграф — видоизмененные строки из собрания П. Киреевского (см.: *ЛН*, кн. 1, с. 411, № 139):

Жарко каменю самоцветному  
На крутой горе протів солнушка.  
Жарко в тереме свеча горит —  
Жарче сердце воску ярого.

(*РГАЛИ*)

В рукописи рассказ заканчивается словами о том, что Парашку мужики до обморока били «сапогами и повезли в Елец, в больницу».

Печатается по сб. «*Петлистые уши*».

Много позднее у Бунина были планы сделать из рассказа драму. В. Н. Муромцева-Бунина записала в дневнике 25 июля (7 августа) 1921 года: З. Н. Гиппиус «занята тем, как из рассказа «При дороге» сделать пьесу. Все уговаривает Яна <...> Вечером, после обеда, они около часу разговаривали на эту тему <...> З. Н. советует вывести на сцену и любовницу отца Парашки. Ян стал выдумывать, какая она должна быть, какой у нее муж. «Она может быть лавочницей, мало говорящей, но властной, с густыми волосами и прекрасной шеей. Муж у нее маленький, чахленький старикашка. Сидит на полу вечером, разува-ется, стучит сапогом и говорит: «Да, нонче все можно» (намекая на связь жены). «Да, — повторяет она спокойно, — все можно. Только бы лучше об делу подумай!..» Она уже лежит в постели. З. Н. не понимает, что в деревне есть свой бон-тон, что женщине заехать к любовнику почти невозможно» (*Дневник*. Т. 2. С. 50—51).

Некоторые лица и обстоятельства, изображенные в рассказе, Бунин уяснил из разговора с Н. А. Пушешниковым; в этом разговоре и зародилась у него мысль написать рассказ. Он отметил в дневнике 28 мая 1912 года: «Коля говорил о босяках, которые перегоняют скотину, покупаемую мещанами на ярмарках. Я подумал: хорошо написать вечер, большую дорогу, одинокую мужичью избу; босяк — знаменитый писатель (Н. Успенский или Левитов)...» (*Дневник*, т. 1, с. 123).

В рассказе «При дороге» Бунин сумел извлечь правду жизни из самых будничных ее явлений, обнажить таившийся в ней ужас серых и однообразных будней. И. С. Шмелев писал Бунину 21 сентября 1913 года: «...прочел я рассказ ваш «При дороге», не дотерпел. Чудесно, любовно, чисто, целомудренно...» Осквернили тело девушки, но она «чиста, как чист остается бегущий ключ, в который проходом сплонул

пьяный похабный солдат. И немая безвольность, и любовный восторг оскверняемой, не сознающей себя чистоты, небо, которое не заплещешь, и стихийное чувство сопротивления, и ужас полусознания... Чудесно. И мучительно, и славно. Радостно, что протест, и протест бессознательный» (*Музей Тургенева*).

В. Л. Львов-Рогачевский в отзыве на рассказ особо подчеркивал, что художник заставляет читателя любить жизнь, хотя повествуется в нем о событиях столь грустных. Это, писал он, «трепещущий поэзией очерк... Он написан со строгой сдержанностью, недосказанностью, его не читаешь, а жадно пьешь строка за строкой и, кончив, долго не можешь успокоиться, долго сидишь, как очарованный» (журнал «За семь дней», 1913, № 39).

Ф. Степун считал, что «При дороге» — вещь более совершенная и более значительная, чем очень близкая по теме повесть «Митина любовь». Он писал: «В «При дороге» Бунинным рассказано, как в душе и крови деревенской девушки Парашки сначала дремотно-растительно, нежно («ночным перепелиным трюканьем»), потом острее и томительнее («тоскою горизонтов, дорог, видом и песнею цыганского табора») постепенно нарастает любовь; как эта безлика любовь постепенно распалает душу и, слепая, мечется во все стороны, охлестывая задумчивое и страстно-мечтательное сердце Парашки глухими, грешными порывами то к собственному отцу, то к городскому мещанину, то к глупому и страшному работнику Володе; как, наконец, эта любовь, — такая прекрасная в природе и в предчувствии и такая оскорбительная и смрадно-душная между людьми, — доводит ни в чем не повинную Парашку до преступления и безумия». (Степун Федор. Встречи. Мюнхен, 1962. С. 112—113).

Стр. 444. *Чубарые... волосы* — пестрые; примесь рыжих к серым или к черным и белым.

Стр. 445. «Уснул, уснул мой любезный, у девушки на руке, на кисейном рукаве...» — строки народной песни, записанные Бунинным (см.: ЛН, кн. 1, с. 410, и примеч., с. 414).

Стр. 453. «Этих нет уж ден...» — искаженные строки из «Русской песни» («Не скажу никому...») А. В. Кольцова:

И тех нет уж и дней,  
Что летели стрелой,  
Что любовью нас жгли,  
Что палили огнем!

Ч а ш а ж и з н и (стр. 462). — Журн. «Вестник Европы». СПб., 1913, № 12, декабрь. Отрывок из рассказа под заглавием «О. Кир» напечатан в газете «Русское слово» (1913, № 120, 26 мая). В автографе этот фрагмент первоначально был озаглавлен «Портрет» (*Музей Тургенева*). Не сразу нашел Бунин название и для всего рассказа: сперва озаглавил «Дом» (автограф, с датой «31 августа 1913», РГАЛИ), потом — «В Стрелецке» (машинопись, датирована: «2 сентября 1913 г.»), РГАЛИ). Наконец, и это заглавие в машинописном тексте переименовал

на «Чаша жизни», заимствовав его у Лермонтова, из стихотворения «Чаша жизни»:

Мы пьем из чаши бытия  
С закрытыми очами,  
Златые омочив края  
Своими же слезами...

В автографе Горизонтов именовался Высоцким. Печатается по кн. «Митина любовь». Бунин начал писать рассказ в марте 1913 года. В эти дни В. Н. Муромцева-Бунина сообщает в дневнике: «Ян пишет «Чашу жизни». Нервен, раздражителен, придирчив». (Дневник. Т. 1. С. 132).

Бунин рассказывает, из чего создалась у него «Чаша жизни»: «То, что у каждой девушки бывает счастливое лето, — это, между прочим, вспомнилась сестра Машенька. Перед замужеством она все выходила в сад, повязывала ленточку, напевала лезгинку. А после замужества, когда на год оставила мужа, помощника машиниста, то тоже как-то повеселела, часто ездила на заводы в соседнее имение Колонтаевку, там была сосновая аллея, как-то особенно пахло жасмином в то лето... Эту аллею я взял потом в «Митину любовь», и так все это было жалко и горестно! А мордовские костюмы носили барышни Туббе (винокура у помещика-соседа Бахтеярова в Глотове. — А. Б.), и там же был аристон, и опять эта лезгинка... Отец Кир? Отец Кир... это от Леонида Андреева. Ведь он мог быть таким, синеволосый, темнозубый... А кое-что в Селихове — от брата Евгения. И он тоже купил себе граммофон, и в гостиной у него стояла какая-то пальма. А главное, отчего написалось все это, было впечатление от улицы в Ефремове. Представь песчаную широкую улицу, на полугоре, мешанские дома, жара, томление и безнадежность... От одного этого ощущения, мне кажется, и вышла «Чаша жизни». А юродивого я взял от Ивана Яковлевича Корейши...

Его вся Россия знала. Был такой в Москве. Лежал в больнице и дробил кирпичом стекло. И день и ночь, так что сторожа с ума сходили. И когда он спал, неизвестно! И вот валит туда валом народ, поклонницы заваливали его апельсинами... Когда он умер, везли его через весь город, он долго стоял в кладбищенской церкви... И дурак я, что не написал жития этого «святого». У меня и материалы все были... Там стихи его были» («Материалы», с. 209—210).

Прототипом Горизонтова, с его исключительной заботой о зоологическом существовании, послужил, по устному свидетельству писателя С. М. Малашкина, преподаватель духовного училища в городе Ефремове Орловской губернии. Подобно герою рассказа он постоянно ходил с парусиновым зонтом и в калошах, купался летом и зимой в Красивой Мечи и продал свой скелет для анатомических целей.

Бунинскому герою близок Ипполит в романе Достоевского «Идиот», эта «ничтожная, самодовольная посредственность»; он говорил: «Завещаю мой скелет в Медицинскую академию для научной пользы» (Достоевский и Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 8. Л., 1973. С. 392). В

«Бесах» Достоевского Лебядкин разяснял свои намерения: «Хочу завещать мой скелет в академию...» (там же, т. 10, с. 209). Такое же завещательное распоряжение сделал и аптекарь Оме в романе Флора «Мадам Бовари» (М., 1958. С. 334—335).

О персонажах «Чаша жизни» газета «Волжское слово» (Самара, 1913, № 271, 11 декабря) писала: «...люди, судьба которых предопределена от рождения, которые не будут бороться с судьбой, ничего не ищут, никуда не стремятся, ничего не преодолевают. Казалось бы, что может быть интересного для читателя в мире их переживаний? Но могучая сила таланта заставляет читателя проникнуться интересами их незаметной жизни, пережить вместе с ними и трагедии, незаметные трагедии этой насквозь трагической, хоть и незаметной жизни, скорбеть хоть на минуту об их смерти...»

Рецензент журнала «Современный мир» (1915, № 2) говорит: «Чаша жизни» — это чаша испытаний жизни. В этой чаше много сладкого яда любви <...> Мудрость видит в этой чаше малую чашу жизни, большой, страшной русской обывательской жизни»; «...тоскуя над любовью, автор точно мудро говорит: «...все равно, все равно... счастья не было бы у девушки и с тем первым <...> И от этого чаша жизни становится еще страшней».

Критик Г. Кипен писал о произведениях, вошедших в книгу Бунина «Чаша жизни. Рассказы 1913—1914 гг.» (М., 1915), что в его эпосе «нет так называемых чисто объективных образов; все они связаны с личным настроением автора, проникнуты лиризмом. В свой эпос Бунин все более вносит <...> элемент субъективности <...> Эпик и лирик все более сливаются у Бунина в одно целое <...> Лиризм Бунина, слитый с эпически мощной формой, уже есть источник драматизма» («Северные записки», 1915, июль—август).

Отзывы иностранной критики — свидетельство прочно завоеванного Буниным мирового признания. Анри де Ренья писал в газете «Фигаро» (1924, 8 января): чувство природы у Ивана Бунина «сквозит в его рассказах, которые он предлагает нашему вниманию в сборнике «Чаша жизни»; то же заглавие носит первая повесть сборника, одна из самых захватывающих своей беспощадной суровостью. В этот сборник входит «Пастух» («Игнат». — А. Б.) и удивительный рассказ, который называется «В стране мертвых» («Тень Птиць». — А. Б.), где искусство г-на Бунина, с его глубиной, с его изобразительной силой, искусство таинственное, тонкое и могучее, предстает во всей своей зрелости. У г-на Бунина воображение пессимистическое; он наблюдает живые существа со всепонимающей иронией, с такой именно иронией он показывает в «Чаше жизни» молчаливое соперничество священника Иорданского и купца Селихова — соперничество, в котором сторают их жизни. Мрачная, цепкая, безмолвная ненависть — это все, что у них осталось от жизни, жалкий гнилой плод, который она им оставила! Конечно, люди не прекрасны и не добры, но разве вокруг них нет красоты? Есть деревья и цветы, небо и свет, текущие воды, плывущие облака; есть времена года: весна — время обновления,

осень — время увядания, лето, с его полнотой бытия, зима с бесконечными снегами, с судорожными объятиями морозов, с короткими днями и долгими ночами, усыпанными ледяными звездами, с темными алмазными ночами, с холодом, который представляет собой и живое существо и в то же время аромат; обо всем этом г-н Бунин дает точное представление, дает нам почувствовать это физически. Г-н Бунин глубоко понимает язык вещей <...> У г-на Бунина понимание природы сочетается с проникнутой горьким чувством пронизательностью, какую отмечено его знание человека» (перевод Н. М. Любимова; фр. текст — ЛН, кн. 2, с. 378).

Французский писатель, поэт и литературный критик Рене Гиль писал Бунину в 1921 году: «Высокоцитимый собрат, я даже смущен, — так велика моя благодарность за вашу книгу «Le calice de la vie» («Чаша жизни». — А. Б.) о глубинах жизни с ее телесными основами и изначальными тайнами человеческого существа.

Вы говорите в предисловии к своему первому сборнику, что некоторые упрекают вас в пессимизме; нельзя себе представить ничего более ошибочного, чем этот упрек, ибо вы всюду даете действенное ощущение того, как глубоко охватываете вы жизнь — всю, во всей ее сложности, со всеми силами, связующими ее в те моменты, когда человек уже не находится или еще не находится под влиянием законов человеческой относительности, когда он действует и противодействует первобытно...

Как все сложно психологически! А вместе с тем, — в этом и есть ваш гений, — все рождается из простоты и из самого точного наблюдения действительности: создается атмосфера, где дышишь чем-то странным и тревожным, исходящим из самого акта жизни! Этого рода внушение, внушение того тайного, что окружает действие, мы знаем и у Достоевского; но у него оно исходит из ненормальности, неуравновешенности действующих лиц, из-за его нервной страстности, которая впитает, как некая возбуждающая аура, вокруг некоторых случаев сумасшествия. У вас наоборот: все есть излучение жизни, полной сил, и тревожит именно своими силами, силами первобытными, где под видимым единством таится сложность, нечто неизбежное, нарушающее привычную нам ясную норму.

Скажу еще об одной характерной вашей черте, — о вашем даре построения, о гармонии построения, присущей каждому вашему рассказу. Ваш разнообразный и живописующий анализ не разбрасывает подробности, а собирает их в центре действия — и с каким неуловимым и восхитительным искусством! Этот дар построения, ритма и синтеза как будто не присущ русскому гению: он, кажется, — позвольте мне это сказать, — присущ гению французскому, и когда он с такой ясностью выступает у вас, мне (эгоистически) хочется в ваших произведениях почтить французскую литературу. И, однако, вы ей ничем не обязаны. Это общий дар великих талантов.

Что до вашего широкого и тонкого чувства природы в ее нежности, в ее радостном и печальном великолепии, то я не говорю о нем: я выше

пытался определить ваше страстное отношение к бытию, к жизни, и в этом анализе уже заключено то, что я думаю о вашем чутком общении со всем вещественным («*Материалы*», с. 228—229).

Стр. 468. *Осыплю лицо твое могильной перстью* — то есть горстью земли.

Стр. 470. *Мандрилла* — крупная обезьяна, абиссинский горный папиан.

Я все молчу (стр. 480). — Газ. «Русское слово». М., 1913, № 231, 8 октября. Печатается по кн. «*Петлистые уши*».

Машинописный текст с правкой автора, представляющий собой окончание рассказа, датирован: «1913, 14 сентября, г. Одесса» (*Музей Тургенева*). Эта дата стоит под окончательным текстом рассказа. Но, по-видимому, в основном он был написан уже в июле: Бунин читал его это время на даче Ковалевского под Одессой Д. Н. Овсяннико-Куликовскому и художнику В. П. Куровскому, а несколько позднее — в Москве на «Среде» Телешова.

Известно реальное лицо, послужившее прототипом Шаша, — это крестьянин из тех мест, которые Бунин знал, живя в Глотове. Он был женат на падчерице винокура помещиков Бахтеяровых в селе Глотове, немца Отто Карловича Туббе — Дуне, в которую был влюблен гимназист Бунин. В. Н. Муромцева-Бунина пишет: «Зимой сыграли свадьбу младшей подчерицы Отто Карловича, той Дуни, которая некогда пленяла Ваню. Выдали ее за сына Вукола Иванова, Александра, в будущем послужившего Бунину прототипом для рассказа «Я все молчу». Он в молодости играл роль мрачного человека, никем не понятого, делал вид, что он что-то знает, и это его слова: «Прах моей могилы все узнает» и «я все молчу»... Свадьба была пышная, свадебный пир происходил в помещичьем доме Бахтеяровых, которые все зимы проводили в городе. На пиру «молодой», сделав вид, что приревновал «молодую», оборвал ей шлейф, нарочно наступив на него, мучил он ее и в замужестве, иногда очень гадко, в конце концов она не выдержала и бросила его, а он понемногу дошел почти до нищеты.

Когда рассказ «Я все молчу» был напечатан в газете «Русское слово», кто-то показал его «Шаше». Тот прочитал и с возмущением сказал: «Уж если писать, так должен был писать всю правду, а не выдумывать...» (Видимо, он все же был доволен, что о нем напечатано в газете...) («*Жизнь Бунина*», с. 46).

Бунин говорил, возражая своим оппонентам, не видевшим в персонажах его рассказов символического значения, утверждавшим, будто бы у него, в отличие от произведений писателей-модернистов, нет «безумия, невнятищ», что он «о безумии, о невнятице говорит внятно, разумно...

— Как! Как! А Иоанн Рыдалец, а Шаша, раздирающий собственную печенку...» (*Галина Кузнецова*. Грасский дневник. Вашингтон, 1967. С. 224).

Это и есть, как говорил Достоевский, «реализм <...> доходящий до фантастического».

Бунин, по его признанию, в ту пору «искал» новые формы творчества: «Я нашел, — говорит он, — через некоторое время себя, свою музыку <...> «Деревня» — реализм. «Господин из Сан-Франциско» — симфоничен». (*Дневник*. Т. 2. С. 106).

Стр. 485. ...на престольный праздник, называемый Кириками, в селе бывает ярмарка. — Ярмарка изображена Буниным по впечатлениям от ежегодных ярмарок в д. Глотова, где он обычно проводил лето у двоюродной сестры. Некоторые подробности из дневниковых записей о Глотове перенесены им в рассказ «Я все молчу». 15 июля 1911 г. он записал: «Нынче Кирики (день Кирика и Иулиты — 15 июля ст.ст. — А. Б.), престольный праздник, ярмарка. Выходил. Две ужасных шеренги нищих у церковных ворот. Особенно замечателен один калека. Оглобли и пара колес. Оглобли наполовину заплетены веревкой, на оси — деревянный щиток. Под концами оглобель укороченная, с отпиленными концами дуга, чтобы оглобли могли стоять на уровне оси. И на всем этом лежит в страшной рвани калека, по-женски повязанный платком, с молочно-голубыми, почти белыми, какими-то нечеловеческими глазами. Лежит весь изломанный, скрюченный, одна нога, тончайшая, фиолетовая, нарочно (для возбуждения жалости, внимания толпы) высунута. Вокруг него прочая нищая братия, и почти все тоже повязаны платками.

Еще: худой, весь изломанный, без задницы, один костреч высоко поднят, разлапые ноги в сгнивших лаптях. Невероятно мерзки и грязны рубаха и мешок, и то и другое в запекшейся крови. В мешке куски сального недоваренного мяса, куски хлеба, сырые бараньи ребра. Возле него худой мальчишка, остроухий, рябой, узкие глазки. Весело: «Подайте, папашечки!» Еще: малый, лет двадцати пяти, тоже рябой и веселый. Сказал про одного нищего, сидевшего на земле, у которого ноги в известковых ранах, залепленных подорожником, и в лиловых пятнах: «Его считается по старинному заведению проказа». Потом все нищие деловито двинулись на ярмарку. Прокаженный поехал, заерзал задницей по земле...

Мужик на ярмарке, держа елозившего у него под мышкой в мешке поросенка, целый час пробовал губные гармонии и ни одной не купил. Веселый, ничуть не смутился, когда торгош обругал его» (*Дневник*, т. 1, с. 110—111).

В. Н. Муромцева-Бунина также вспоминала о Глотове: церковь «стояла в двух шагах от нашего дома, рядом с нашим фруктовым садом. Перед ней был большой выгон, а вокруг нее шла каменная ограда. В ограде находились могилы помещиков, сзади церкви — часовня, где образа писались с покойных Глотовых».

«В церковной ограде стояли два ряда нищих, кончалась обедня, и они все приняли надлежащие позы в ожидании подающих. Такого количества уродов, калек мы не видали и на Востоке! Описывать их я

не стану. Они даны в рассказе у Ивана Алексеевича «Я все молчу»... Ян, пока слепые пели, внимательно всматривался в каждого...» Одно-го из калек Бунин заставил «рассказывать свою биографию, иногда шутил с бабами, девками, давал пятаки мальчишкам, чтобы они погарцевали на деревенных конях».

На ярмарке «уже много пьяных, мне показывают высокого солдата в щегольских блестящих сапогах, ежегодно в этот день бьющего смертным боем лохматого мельника, который отбил у него жену. Солдат, уже выпивши, хорохорится, готовясь к драке» (В. Н. Муромцев-Бунина. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М., 1989, с. 387, 390, 391, 394).

Стр. 489. ...о... *Лазаре, об Алексее Божьем человеке...* — Духовный стих, прототип которого — евангельская притча о богатом Лазаре.

...калеки... *Вот одна из этих тележек...* — Бунин сфотографирован с одним из таких калек, рядом с тележкой; см.: ЛН, кн. 2, с. 233.

Стр. 490. «*Три сестры жили...*» — Этот стих и следующие Бунин записал в Глотове 19 мая 1912 г. со слов странника Ивана, который рассказал ему приведенную в «Худой траве» легенду о табаке. Текст духовного стиха дан в рассказе, по сравнению с записью в дневнике, в немного измененном виде.

Святые (стр. 491). — Журн. «Вестник Европы». СПб., 1914, № 4, апрель. Заглавие в машинописном тексте, датированном «23 января/6 февраля 1914 г. Капри», было: «Блудница Алина» (РГАЛИ). Печатается по кн. «*Митана любовь*».

Бунин записал в дневнике: из наиболее «любимого, ценного» для него — «Святые» больше всего».

Это рассказ — во хвалу жизни и любви. Блудница Елена, претерпев жестокие гонения за свою любовь, которую в конце концов дано было ей познать, стала святой. «...Великое, несметное множество грехов прикрывает любовь!»

Стр. 491. *Арсенич*. — Бунин писал Б. К. Зайцеву 12 сентября 1943 г.: «...Весь этот Арсенич сплошь выдуман, — никакого такого, даже подобного я никогда не видал, — как выдуманно девять десятых всего мною написанного». («Новый журнал». Нью-Йорк, 1979. Кн. 136).

Стр. 494. *Ниоба* — в греческой мифологии — дочь Тантала. Она оскорбила, хвастаясь своими многочисленными детьми, богиню Лето, мать Аполлона и Артемиды, за что были убиты все ее дети, а Ниоба от горя окаменела.

Весенний вечер (стр. 501). — Сб. «Слово». Книгоиздательство писателей в Москве, 1915, № 4. Печатается по кн. «*Петлистые уши*». Рукопись (машинопись) датирована: «31 января/12 февраля 1914 г. Капри». Наборная рукопись (машинопись с исправлениями Бунина) — в собрании рукописей Марии Федотовны Муромцевой; на первой странице Бунин написал: «Прошу как можно тщательнее воспроизвести оригинал. Есть умышленные ошибки, ударения на словах и т. д. — все это надо сохранить. Ив. Бунин». Сохранилась у

М. Ф. Муромцевой и корректура рассказа — верстка с надписью автора: «Исправить и дать мне в 2-х экз. Для подписи. Ив. Бунин. 2 дек. 14». Корректурa «Весеннего вечера» (без даты) имеется также в Институте мировой литературы.

Е. Колтоновская писала: «Как отточенный кинжал, ранят бунинские слова, тоже отточенные, холодноватые и прозрачные — колошние и жгущие, как ледяные кристалль» («Вестник Европы». 1915, кн. 3).

Писательница Л. А. Авилова поражалась лаконичностью языка Бунина, жанровым своеобразием его произведений. «Вот у вас: «брат! отдай!» — говорит она о рассказе «Весенний вечер», — и одним словом «брат» выдвигается целый характер. И как только он крикнул: брат! — так можно было предчувствовать, что он и убьет, и деньги бросит. Очень сложно, а ясно» (РГАЛИ).

Бунин, по словам Авиловой, разрушил многие литературные условности, которые до него никто не замечал. «Анекдота, — писала она, — вы никогда не пускали к себе на порог. Но вы изгнали и фабулу, и определенную мелодию со всеми ее нежностями, теноровыми нотками и веянием теплоты. Вместо мелодии стало то, чего шарманки играть не могут» (там же).

Куприн так определил творческие достижения Бунина того времени: «Бунин тонкий стилист, у него громадный багаж хороших, здоровых, метких, настояще-русских слов; он владеет тайной изображать, как никто, малейшие настроения и оттенки природы, звуки, запахи, цвета, лица; архитектура его фраз необычайно разнообразна и оригинальна; богатство определений, уподоблений и эпитетов умеряется у него строгим выбором, подчиненным вкусу и логической необходимости; рассказ его строен, жив и насыщен; художественные трудности кажутся достигнутыми непостижимо легко... И многое, многое другое» (Куприн А. Чтение мыслей//Журнал журналов, 1916, № 20).

#### ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧАВШИЕСЯ И. А. БУНИНЫМ В СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

В стране пращуров (стр. 512). — ЛН, кн. 1, с. 76—78. Печатается по этому тексту.





## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Иван Бунин.</b> Предисловие Ф. А. Степуна . . . . .	5
<b>Чайка Жгизин.</b> Предисловие Мих. Цетлина. . . . .	18

### ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1909—1914

Деревня . . . . .	25
Суходол . . . . .	135
Крик . . . . .	182
Смерть пророка . . . . .	187
Снежный бык . . . . .	194
Древний человек . . . . .	197
Сила . . . . .	205
Хорошая жизнь . . . . .	214
Сверчок . . . . .	234
Ночной разговор . . . . .	243
Веселый двор . . . . .	261
Игнат . . . . .	289
Захар Воробьев . . . . .	313
Ермил . . . . .	324
Князь во князьях . . . . .	335
Последнее свидание . . . . .	344
Жертва . . . . .	351
Забота . . . . .	355
Будни . . . . .	359
Личарда . . . . .	367
Последний день . . . . .	374
Всходы новые . . . . .	380
Копье Господне . . . . .	386
Иоанн Рыдалец . . . . .	392
Худая трава . . . . .	397
Пыль . . . . .	414
Лирик Родion . . . . .	419
Сказка . . . . .	429
Хороших кровей . . . . .	434

При дороге . . . . .	440
Чаша жизни . . . . .	462
Я все молчу . . . . .	480
Святыя . . . . .	491
Весенний вечер . . . . .	501

**ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  
НЕ ВКЛЮЧАВШИЕСЯ И. А. БУНИНЫМ  
В СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ**

В стране пращуров . . . . .	512
Комментарии . . . . .	517

**ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН**

*Собрание сочинений*

**ТОМ ТРЕТИЙ**

Редактор *Н. Снитко*

Художественный редактор *И. Лопатина*

Технический редактор *А. Ериова*

Корректоры *Е. Коротаева, Т. Нарва*

Лицензия № 010184 от 05.02.92.

Сдано в набор 12.04.93. Подписано к печати 12.04.94. Формат 84 × 108/32.

Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 31,13. Усл. кр.-отг. 33,49. Уч.-изд. л. 36,46.

Тираж 30 000 экз. (1-й завод 1—15 000 экз.)

Заказ 3697.

Издательство «Московский рабочий»,  
101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в полиграфической фирме «Красный пролетарий»  
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.





·МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ·

1995